



---

Е. С. КУБРЯКОВА

# ЯЗЫК И ЗНАНИЕ

НА ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЗНАНИЙ О ЯЗЫКЕ:  
ЧАСТИ РЕЧИ  
С КОГНИТИВНОЙ  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ



РОЛЬ ЯЗЫКА  
В ПОЗНАНИИ МИРА



Елена Самойловна Кубрякова — главный научный сотрудник отдела теоретического языкознания Института языкознания РАН, окончила филологический факультет МГУ в 1951 г., в 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1972 г. — докторскую. В 2002 г. ей было присвоено звание почетного доктора Киевского национального лингвистического университета и звание почетного профессора Минского государственного лингвистического университета. Автор 10 монографий и более 300 научных работ.

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

---

Е. С. КУБРЯКОВА

# ЯЗЫК И ЗНАНИЕ

НА ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ О ЯЗЫКЕ:  
ЧАСТИ РЕЧИ С КОГНИТИВНОЙ  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

РОЛЬ ЯЗЫКА  
В ПОЗНАНИИ МИРА



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
Москва 2004

ББК 81.031  
К 88

Издание осуществлено при поддержке  
*Российского гуманитарного научного фонда*  
(РГНФ)  
проект № 02-04-16011

**Кубрякова Е. С.**

К 88      Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 560 с. — (Язык. Семиотика. Культура).

ISSN 1727-1630  
ISBN 5-94457-174-8

Собранные в настоящем томе публикации освещают принципы и установки той новой парадигмы знания в отечественной лингвистике, которая получила название когнитивно-дискурсивной, и показано, как органично вписывается в эту парадигму теория номинации. Здесь получают свое подробное описание те разнообразные связи, которые существуют между языковыми структурами и структурами знания, и предлагается анализ роли языка в познавательных процессах разного типа и обработке получаемой в результате этих процессов информации.

В книге рассматривается широкий круг проблем современной теории языка и уточняются многие ключевые понятия, относящиеся как к характеристике разных единиц системы языка (от частей речи до текста и дискурса), так и совокупности терминов, важных для когнитивного подхода к явлениям языка и описания последних в когнитивном плане.

Книга может рассматриваться как своеобразное введение в когнитивную лингвистику, особенно грамматику и словообразование. Издание рассчитано на аспирантов и специалистов в области общего языкознания.

**ББК 81.031**

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-94457-174-8

© Е. С. Кубрякова, 2004  
© Языки славянской культуры, 2004

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	9
-------------------	---

### *Раздел первый*

## **НА ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ О ЯЗЫКЕ: ЧАСТИ РЕЧИ С КОГНИТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ**

ВВЕДЕНИЕ .....	29
----------------	----

### **ЧАСТЬ I.**

#### **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

<i>Глава первая.</i> Когнитивная парадигма научного знания и особенности когнитивного подхода к явлениям языка .....	41
<i>Глава вторая.</i> Когнитивизм и теория номинации .....	58
<i>Глава третья.</i> Язык и восприятие .....	76
<i>Глава четвертая.</i> Проблемы категоризации человеческого опыта .....	96

### **ЧАСТЬ II.**

#### **МАТЕРИАЛЫ К НОВОЙ ТЕОРИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ**

<i>Глава первая.</i> Из истории изучения частей речи (уроки прошлого) .....	115
<i>Глава вторая.</i> Новые направления в изучении частей речи (последние десятилетия) .....	132
<i>Глава третья.</i> Части речи в генеративной (универсальной) и эмерджентной грамматиках .....	152
<i>Глава четвертая.</i> Заключительные замечания о системе частей речи и новых аспектах в методике ее исследования .....	170

### **ЧАСТЬ III.**

#### **ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В КОГНИТИВНОМ ПЛАНЕ**

<i>Глава первая.</i> Семантика и функции словообразовательных процессов как источник сведений о когнитивных основаниях частей речи .....	189
<i>Глава вторая.</i> Части речи как естественные прототипические категории и роль дискурсивных характеристик в их организации .....	210

<i>Глава третья.</i> Онтология мира и части речи: формирование когнитивных оснований системы .....	232
<i>Глава четвертая.</i> Противопоставление объектов их процессуальным и непроцессуальным признакам .....	252
<i>Заключение</i> .....	268
<i>Литература</i> .....	287

### *Раздел второй*

## **РОЛЬ ЯЗЫКА В ПОЗНАНИИ МИРА**

### *ЧАСТЬ I.*

#### **ПОЦЕССЫ КАТЕГОРИЗАЦИИ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ МИРА**

<i>Глава первая.</i> Категории и концепты .....	305
<i>Глава вторая.</i> Теория номинации и проблемы категоризации мира .....	321
<i>Глава третья.</i> Процессы транспозиции в категоризации мира. Проблемы взаимодействия категорий .....	339

### *ЧАСТЬ II.*

#### **ОРГАНИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ В ГОЛОВЕ ЧЕЛОВЕКА**

<i>Глава первая.</i> О памяти .....	355
<i>Глава вторая.</i> О концептуальном анализе слова «память» .....	371
<i>Глава третья.</i> О ментальном лексиконе. Лексикон как компонент языковой способности человека .....	378

### *ЧАСТЬ III.*

#### **РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА В ОБРАБОТКЕ ЗНАНИЙ**

<i>Глава первая.</i> Актуальные проблемы изучения словообразовательных систем славянских языков .....	390
<i>Глава вторая.</i> Когнитивные аспекты словообразования и связанные с ним правила инференции (семантического вывода) .....	405
<i>Глава третья.</i> Словообразование и другие сферы языковой системы в структуре номинативного акта .....	417
<i>Глава четвертая.</i> О разноструктурных единицах номинации и месте производного слова среди этих единиц .....	429
<i>Глава пятая.</i> Когнитивная лингвистика и проблемы композиционной семантики в сфере словообразования .....	439

### *ЧАСТЬ IV.*

#### **МИР И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОПИСАНИЯ В ЯЗЫКЕ**

<i>Глава первая.</i> Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) .....	459
---	-----

---

<i>Глава вторая.</i> О концепте «контейнера» и формах его объективации в языке .....	475
<i>Глава третья.</i> Возвращаясь к определению знака .....	492
<i>Глава четвертая.</i> О тексте и критериях его определения .....	505
<i>Глава пятая.</i> Дискурс: определение и направления в его исследовании .....	519
<i>Литература</i> .....	533
<i>УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН</i> .....	549



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Со времен Ф. де Соссюра многие ученые разделяли мнение о том, что в задачи теории языка входит главным образом задача описания его системы, рассматриваемой в самой себе и для себя. Но в последние несколько десятилетий положение дел радикально изменилось. Было осознано, что данные о языке — специально отобранные и специально обработанные — могут и должны использоваться для освещения более широкого круга проблем, касающихся как природы человеческого разума и интеллекта, так и его поведения, проявляющегося во всех процессах взаимодействия человека с окружающим его миром и другими людьми. Язык стал изучаться не только как уникальный объект, рассматриваемый в изоляции, но в значительной мере и как средство доступа ко всем ментальным процессам, происходящим в голове человека и определяющим его собственное бытие и функционирование в обществе. Подобное понимание языка и целей теоретического языкознания рождалось прежде всего под влиянием возникновения новой науки — науки когнитивной, и собранные в настоящем томе когнитивные исследования отражают особенности когнитивного подхода к языку, т. е. такого подхода, при котором делается попытка рассмотреть все изучаемые явления и процессы, единицы и категории и т. п. по их связи с другими когнитивными процессами — с восприятием и памятью человека, его воображением и эмоциями, мышлением.

Вынесенные в заглавие книги два ключевых для нее понятия указывают, таким образом, не только на сферу личных интересов автора или на принадлежность включенных в этот том исследований когнитивной парадигме научного знания, — они также ограничивают круг рассматриваемых здесь проблем, которые, с одной стороны, определяются задачей лучшего познания самого устройства языка, но которые, с другой стороны, определяются попыткой показать исключительную роль языка в процессах обработки информации о мире, в процессах концептуализации и категоризации мира, во всех процессах, способствующих росту и прогрессу знаний. Когнитивная наука есть наука междисциплинарная. Рожденная под ее эгидой когнитивная лингвистика ставит, соответственно, сложнейшую задачу — объяснения тех постоянных корреляций и связей, что обнаруживаются между структурами языка и структурами знания.

Чтобы обеспечить себе нормальное существование, человек должен обладать определенной совокупностью сведений об окружающем его мире и обязательно об объектах, включенных в разные типы его повседневной деятельности, а также о способах обращения с ними. Такую совокупность данных и называют обычно **знанием**, разделяя его на знания *декларативные* («знания, что...») и *процедуральные* («знания, как...»). Фактически, однако, трудно отделить одно от другого: зная, что такое телефон, мы знаем, как его надо использовать, хотя и можно уметь ездить на машине, но не знать досконально, как она устроена. Нелегко также соотнести выделенные типы знаний с научными и обыденными. Люди пользуются языком, не испытывая при этом особых трудностей, более того, они не знают, как именно он организован и какие единицы выделяются в нем в ходе специального исследования. По этой причине, обращаясь в настоящей книге к теме «Язык и знание», мы считаем возможным принять иное деление знаний — **языковое** и **объектное**, т. е. выделять по отдельности знания о разных объектах и таким образом противопоставлять прежде всего **знание о языке** и **знание о мире**. При этом мы отнюдь не отрицаем того, что первое входит составной частью во второе.

Вместе с тем мы считаем, что лингвистические знания — знания об устройстве системы языка, о его единицах и категориях, о закономерностях его развития и современного состояния, о его функциях и т. п. — противопоставлены знаниям внелингвистическим или же экстралингвистическим, знаниям об устройстве мира и обо всем в этом мире, кроме языка. В таком противопоставлении нет ничего, что бы указывало на способы представления знаний, но в их характеристику следует ввести и этот признак: знания могут быть **ословленными** (вербальными), т. е. имеющими языковую привязку, и, напротив, **неословленными** (невербальными), такой привязки не имеющими (например, умениями или навыками шить, вязать, водить машину и т. п.).

Но разве ословленные знания не являются языковыми, а значит, и лингвистическими? Такое словоупотребление не должно вводить нас в заблуждение, и мы должны уметь различать знания как по их предметной отнесенности, так и по форме их представления. В противном случае, одна из центральных задач настоящего издания — определение роли языка в обработке знаний о мире и во всех типах деятельности с информацией — решенной быть не может. Таким образом, соотнося здесь понятие языка и знания, мы будем постоянно учитывать, о каком именно знании идет речь, а в известном смысле, дифференцировать знания о языке и знания о мире, демонстрируя, как происходит **познание языка** в первой части книги, и рассматривая эту проблему на вполне конкретном материале — на примере частей речи, но посвящая вторую часть книги скорее тому, как участвует язык в **познании мира**.

Поскольку вся книга посвящена в принципе вопросу о том, как отражается человеческий опыт в языке и в виде каких единиц в языке оказываются представленными отдельные крупные знания, а части речи рассматриваются как классы

слов, служащие членению мира и сортировке разных фрагментов его бытия, возникает вопрос о том, почему именно анализ частей речи предпослан разделу о познании мира. Ведь по сравнению со всеми прочими знаниями о мире то, что человек знает (или должен знать) о своем родном языке, это лишь очень небольшая доля общих его сведений о мире. Но здесь мы должны встать на иную позицию, подчеркнув, что дело заключается совсем не в этой доле сведений, а в том, чем является для человека сама его способность говорить и понимать услышанное, само **владение** языком и разные виды его использования. Рассуждения о частях речи и весь относящийся к ним анализ помогают понять именно это: роль языка в познании мира, во взаимодействии человека с окружающей его действительностью и ее осмыслением.

В этой же первой части книги мы начинаем излагать теоретические основания нашего подхода к явлениям языка и той парадигмы знания, для которой эти основания и эти установки оказываются конституирующими и определяющими принимаемые нами методы исследования языка.

Второй раздел книги продолжает начатую тематику, но она рассматривается в более общем плане, а не применительно только к частям речи. Поэтому акцент здесь делается на ином: на принципах процессов концептуализации и категоризации мира, осуществляемых с помощью языка, на формах хранения знания в мозгу человека, на «ословливании» мира разными языковыми единицами и т. п. Основное внимание здесь уделяется тому, чтобы связать понятия языка и знания представлениями о **добывании знаний** — в том смысле, в каком об этом говорит в своей замечательной книге о концептах духовной культуры Ю. С. Степанов (см. [Степанов 1997: 346 и сл.]). Совокупность сведений о мире человек получает разными путями — в простом восприятии мира, в актах соприкосновения с действительностью на всем пути жизни человека, но также и в ходе осуществления разных типов своей предметно-познавательной и практической деятельности, а главное, в процессах размышления над испытываемыми ощущениями о мире и о людях, окружающих человека, в процессах осмысления увиденного, прочувствованного и пережитого и — что, конечно, особенно важно — в процессах научно-теоретического познания мира и обучения человека на всем протяжении его сознательной жизни и ознакомления его с разными **описаниями** закономерностей мира в разного рода руководствах и учебниках, справочниках, словарях, научной и художественной литературе. Можно сказать поэтому, что подавляющая масса знаний приходит к человеку через ословленные знания, т. е. через язык. К тому же язык вплетен во все, буквально все виды человеческой деятельности. Задача лингвиста состоит в том, чтобы определить меру воздействия и влияния на них языка. Для того чтобы осуществить это, надо выделить и охарактеризовать разные типы деятельности языка с информацией — с ее обработкой, хранением, извлечением из недр сознания и формированием новой, с ее фиксацией и обобщением; со всеми другими разновидностями операций над нею и т. п.

Приходящая к человеку извне, информация подлежит не только ее непосредственному восприятию, но и сложнейшей ее обработке вплоть до того момента, когда она, отраженная в мозгу человека и получившая в нем определенную ментальную репрезентацию, станет, в свою очередь, объектом дальнейших ментальных, в том числе и познавательных процессов с нею. А поскольку в большинстве этих процессов у современного человека участвует язык и именно знание языка детерминирует значительную часть этих процессов, исследование языка становится важным не только для постижения сущности языковой способности как главной когнитивной составляющей инфраструктуры мозга, но и для познания самой этой инфраструктуры — познания того, что представляет собой разум человека как *homo sapiens*'а и что мы называем его интеллектом.

Постановкой этих и многих аналогичных проблем мы обязаны когнитивной науке, этому крупнейшему достижению второй половины прошлого века. Настоящая книга — это исследование когнитивного плана, и в ней рассматриваются возможности применения когнитивного подхода к явлениям языка. В то же время в ней ставятся также, соответственно сказанному выше и согласно общим установкам когнитивной науки, и иные проблемы, связанные с выяснением того, что может дать исследование языка пониманию человеческого разума.

Традиционные определения лингвистики подчеркивали ее ориентацию на анализ всех свойств языка и на их выявление в процессе наблюдения над речью, над непосредственно представленными в коммуникации фактами языка, из которых «извлекались» данные о системе языка. В генеративной грамматике уже был совершен отход от этого понимания задач теоретической лингвистики, и последней надлежало, по мысли Н. Хомского, переключить внимание от экстерииоризованных форм языка к формам его интериоризованного существования в голове человека, то есть к языковой способности говорящих и вопросу о ее ментальной репрезентации в сознании человека. В когнитивной науке лингвистике отвели центральную роль, поскольку она могла пролить свет не только на языковую компетенцию говорящего, но и на взаимосвязь языка с другими когнитивными способностями человека — с его памятью, восприятием, воображением и мышлением. Здесь подчеркнули, что язык не только в известном смысле отражает действительность или же воздействует на это отражение, — он является «окном» в сознание человека. Его можно и нужно вследствие этого рассматривать как средство **доступа** к разуму человека и тем мыслительным (ментальным, психическим, внутренним) процессам, которые осуществляются в его мозгу. Для лингвиста стал весьма существенным вопрос о том, что является конечной целью лингвистического анализа, а при весьма широком истолковании этих задач и целей — вопрос и о том, как и в какой форме должен проводиться сам лингвистический анализ, чтобы данные этого анализа могли интерпретироваться далее как освещающие не что **за пределами языка**.

В когнитивной науке не прекращается дискуссия о том, каково соотношение действительности и человеческого опыта, формирующегося во взаимодействии с ней, с ментальными ее репрезентациями и объективирующими их формами языка. В. Крофт замечает по этому поводу, что само определение природы ментальных репрезентаций как единиц, ответственных за хранение и обработку единиц опыта, выходит за пределы лингвистики. Лингвисты якобы не знают, как представлены языковые формы или факты в сознании носителей языка, и такой анализ — дело психолингвистики [Croft 1998]. Но, с одной стороны, эта наука находится на пересечении психологии и лингвистики, и устанавливать жесткие границы между ними внутри психолингвистики вряд ли целесообразно, а значит, определить, сколько в ней психологии, а сколько — лингвистики, невозможно. С другой стороны, соотнесение ментальных структур с языковыми можно изучить разными методами (не только экспериментальными), что, собственно, и доказано в когнитивной лингвистике. Наконец, немалый опыт соотнесения идеального с материальным был накоплен при изучении семиотики, в анализе природы языковых знаков.

Лингвистам обязательно надо ответить на вопрос, четко сформулированный Доминик Сандра: *What linguists can and can't tell you about the human mind*—что лингвисты могут и чего не могут сказать о человеческом разуме? [Sandra 1998: 361 и сл.]. Мы бы только расширили этот вопрос, добавив к нему «о человеческом разуме и о том, каким представляется ему окружающий его мир».

Выражая общую установку современных когнитологов, Ж. Фоконье сказал: «Лингвистика становится чем-то бóльшим, чем самодостаточная ограниченная (self-contained) область изучения языка; она вносит свой вклад в открытие и объяснение общих аспектов человеческого познания» [Fauconnier 1999: 124]. Соглашаясь с мнением одного из наиболее талантливых представителей когнитологов второго поколения, мы хотели бы, однако, более конкретно продемонстрировать настоящей работой, о каких именно открытиях и объяснениях общих принципов человеческого познания может идти речь при обращении к языку и к языковым данным. Иными словами, мы хотели бы ответить данной книгой на вопрос о том, что можно сегодня узнать нового, изучая язык (естественно, в теоретическом, а не практическом плане, т. е. не для того, чтобы говорить на нем, лучше выражать свои мысли и т. п.). В известном смысле эта книга и замышлялась как доказательство того, что, исследуя язык с когнитивной точки зрения (т. е. по его участию во всех типах деятельности с информацией, протекающей в мозгу человека), можно **одновременно** вынести суждения не только о рассматриваемых языковых явлениях, но и о стоящих за ними ментальных сущностях — концептах, концептуальных структурах как структурах знания и опыта, мнений и оценок, планов и целей, установок и убеждений. Перечисленные же ментальные сущности — особенно имеющие языковую привязку — ключ к рассмотрению специфики человеческого интеллекта и человеческого поведения. В своей совокупности эти единицы помо-

гают также понять, почему окружающая человека действительность осмыслена им именно так, а не иначе. Уже к концу 80-х гг. мы выдвинули и сами некоторые новые задачи при исследовании языка. «Мы считаем не только возможным, но и целесообразным, — писали мы тогда, — описать, какие стороны, черты, свойства и особенности образа мира в сознании человека обусловлены существованием языка, какая часть сведений о мире и установок по его восприятию и познанию имеет **своим субстратом языковые формы**» [Кубрякова 1988: 142].

В зарубежной науке за когнитивной лингвистикой закрепляется прежде всего та область анализа, которая связана с семантикой языковых единиц и категорий. Нередко ее задачей объявляется изучение **языковых репрезентаций** концептуальных структур человеческого сознания в грамматике и лексике, причем отдельные участки системы языка рассматриваются как осуществляющие структуриацию этих концептов. «Исследования по когнитивной семантике, — писал Л. Телми, — это исследование концептуального содержания и его организации в языке, а поэтому — и природы концептуального содержания и ее организации как таковой» [Talmy 2000]. И хотя, действительно, главным свойством языка можно признать его способность объективировать, материализовать с помощью языкового знака основные концепты нашего сознания, задачи его исследования, в том числе и в области семантики, должны быть сформулированы гораздо более широко. Все это и побуждает нас внести свои собственные коррективы в существующую ныне за рубежом когнитивную парадигму знания, раздвигая ее рамки и вводя в предписываемую ею систему координат новые параметры и новые измерения — прежде всего семиотические и дискурсивные (ср. также [Кубрякова 2001]).

Предлагаемая нами и развиваемая в настоящем исследовании научная парадигма лингвистического знания наследует традиции отечественного языкознания и отечественной психологии и во многом продолжает идеи ономаσιологического направления в анализе языковых явлений. Поскольку принципы и установки этой парадигмы знания, которую мы именуем **когнитивно-дискурсивной**, будут подробно изложены далее на страницах книги, здесь мы считаем возможным довольствоваться лишь самыми общими соображениями о ее отличительных чертах.

Уже в ранних работах Л. С. Выготского содержались идеи о том, что мысль формируется в слове, что объективация мысли во внешнем высказывании отнюдь не означает «одевания» готовой мысли в языковые одежды и т. п. (см. подробнее [Выготский 1996; Кубрякова 1991; Фрумкина 1995: 108; Шахнарович 1999] и др.), и мы полностью поддерживаем эту точку зрения. «Готовой» мысли до ее ословливания вообще не существует: завершенность ей придает именно ее постепенное языковое оформление в ходе порождения речи или, как это совершенно правильно указывает А. В. Бондарко, ее «языковая интерпретация». И хотя, думается, что частью такого оформления является переход от складывающейся пропозициональной структуры к ее реализации в виде суждения, или предложения, т. е. сам

процесс проходит определенные этапы и стадии, этот процесс носит творческий характер как потому, что для реализации интенции говорящего строится определенная синтаксическая структура, так и потому, что выбираемая структура согласуется с заполняющими ее грамматическими конструкциями и, главное, с создаваемыми по ходу этого процесса единицами номинации. Складывающаяся в голове человека концептуальная структура во время указанного процесса и сама уточняется, видоизменяется и трансформируется под влиянием активизируемых во внутреннем лексиконе единиц.

Характеризуя ту концепцию, которая объединяет разные тома монографии, посвященные роли человеческого фактора в языке, и которая, на наш взгляд, в наиболее концентрированной форме отразила взгляды на язык, сложившиеся к концу 80-х годов прошлого века в отечественном языкознании, Б. А. Серебренников писал: «В структуре языка отражаются отношения между предметами и явлениями материального мира, которые существуют независимо от сознания человека и независимо от общественных потребностей человека», ибо в нем «отражаются не только законы общества, но и законы природы», причем отражаются они «вполне объективно, а не в зависимости от того, как человек хочет их себе представить» [Серебренников 1988: 3–4]. Уточняя понятия отражения языком окружающей его действительности, он правильно подчеркивал, что «фактически результатом отражения являются концепты, или понятия» и что связи языка с действительностью опосредованы знаками [Там же: 6]. Они устанавливаются благодаря приданию концептам овеществленной формы, формы, выводящей внутренние элементы нашего сознания **вовне** с помощью материальных языковых знаков, их звукового (или графического) «воплощения», *embodiment*, не только в смысле их нейронной реализации в тканях мозга, как об этом любят говорить зарубежные когнитологи второго поколения, но и в их простых реализациях в словах и предложениях, в текстах и в дискурсе.

При описании этого процесса чрезвычайно полезным оказывается использовать и мысли советских психологов о конструировании субъективного образа объективного мира, представление о том, что один и тот же реальный объект в окружающей нас действительности и одна и та же объективная ситуация и положение дел в мире могут быть — по воле говорящего — описаны по-разному. В разных лингвистических школах и направлениях эта мысль получала разное развитие и различное преломление (см. подробнее [Баранова 2000]) — она имеет длительную историю своей реализации и в теории номинации, и в теории словообразования, и, наконец, в теории синтаксиса. Нашла она свое специфическое отражение и в выдвинутом когнитологами понятии «конструирования мира» (см. [Language and the Cognitive Construal of the World 1995]), в соответствии с которым отражение и описание мира говорящим человеком понимается как деятельность, фиксирующая субъективную позицию человека в видении им окружающей действительности, ее членения, ее категоризации и понимания им смысла про-

исходящего. До определенного предела эти положения кажутся вполне разумными и направляющими лингвистический анализ по правильному руслу. И все же абсолютизация принципа субъективности восприятия приводит к мнению о том, что «коротко говоря ... <мир> — это не что-то объективно данное, это нечто <конструируемое> человеческой когнитивной» [Taylor 1995: 4]. Однако из того, что мы идентифицируем при описании объекта или ситуации разное количество ее деталей, как и из того факта, что сами эти детали выступают как функции наших интересов, опыта, предшествующего знания и т. п., то есть как функции нашего познания, совсем не вытекает, что они никак не связаны с реальным положением дел в мире и объективностью его существования **вне** нашего сознания, как онтологической данности.

Я бы не хотела вступать в полемику по поводу того, что представляет собой окружающая нас среда: это, действительно, не та проблема, которую может или должен решать лингвист, занимающийся реальными языковыми фактами и посвятивший свою сознательную жизнь наблюдениям за ними. Вместе с тем вопрос о том, что же «отражает», «отображает» или же, наконец, «вербализует» язык, не должен повисать в воздухе. Психологи предлагают нам считать, что в принципе мы обозначаем не вещь, не отдельный объект, а совокупность ощущений и впечатлений от этого объекта. Но можно ли полностью согласиться с этим, если эволюция человека уже привела его к тому, что в восприятии мира ему дано четкое представление об отдельно стоящем объекте (фигуре на фоне), а его родной язык уже предлагает ему конвенциональные формы для обозначения разных сущностей, а тем самым — и для интерпретации мира? (Подробнее о понятии интерпретации см. в работах В. З. Демьянкова, например, [Демьянков 1994] и др.)

Рассматривая теоретические предпосылки когнитивной лингвистики, Р. М. Фрумкина подчеркивает: «Мир не отображается, а интерпретируется — таков один из важнейших девизов когнитивизма. Постоянно акцентируется, что человек не просто воспринимает мир, но конструирует его». Комментируя эти положения, она заключает: «Мир и в самом деле не дан нам в непосредственной эмпирии; по этому поводу уместно сказать, что *мы создаем мир с помощью нашей психики*» [Фрумкина 1999: 90]. Следует ли из этого, однако, что мир «не дан нам» и в объективном знании о нем или что мир (как он есть) и наша психика разделены пропастью? Следует ли, наконец, из сказанного, что «отображение» и «интерпретация» так радикально отличаются друг от друга, что в них нельзя усмотреть общего — стремления к «правильному», «истинностному» и согласованному с практикой людей представлению мира? Мы придерживаемся мнения о том, что в язык проецируются обыденные знания человека о мире, которые могут существенно отличаться от научных, но и такие знания имеют право на специальный анализ и на объяснение их происхождения. Когнитивная лингвистика уже сделала немало в этом отношении, в том числе и отечественная.

Можно ли серьезно отрицать и тот факт, что наука внесла свой огромный вклад в понимание онтологии мира и что ученые смогли высказать целый ряд правильных предположений о его реальных закономерностях и категориях, характеризующих образующую мир материю? В конечном счете это не может не сказываться и на том, что именно отражает или интерпретирует язык своей грамматической и лексической системой, а следовательно, и на том, что мы — как лингвисты, специально изучающие язык, — можем увидеть **за** всеми языковыми формами.

Особую привлекательность для лингвистов представляют, как мне кажется, альтернативные способы описания одного и того же, и именно потому, что они возвращают нас к онтологически тождественным реалиям, увиденным людьми с разных сторон и в разных аспектах, а также и потому, что мы можем задуматься о причинах такого разного осмысления разных явлений мира.

Не вызывает никакого сомнения, что, изучая язык, мы можем восстановить лишь то, каким видит мир человек в «зеркале языка». Это не означает, однако, что, сделав этот первый шаг, мы должны остановиться на достигнутом и не пытаться соотнести далее полученные нами данные с чем-то, находящимся за пределами наблюдаемого и связанным с более глубокими пластами научного познания. Ведь сравниваем же мы научную картину мира с языковой, или обыденной, и, кстати говоря, получаем при этом важные и интересные сведения о специфике обыденного сознания и его отражения в языке. Возвращаясь к вопросу об альтернативных способах описания мира, мы считаем необходимым высказать по этому поводу следующие соображения.

В изучении концептуализации и категоризации мира мы постоянно сталкиваемся с разными совокупностями концептов и разными наборами категорий, из чего следует, что способность создавать вариативные способы описания одного и того же — это неотъемлемое свойство языка, выходящее за рамки простой синонимии. Надо попытаться понять, чем это свойство обусловлено и к каким конкретно последствиям оно приводит. Сделать это можно на любом языковом материале — в нашем исследовании в качестве такого материала были использованы части речи. Общие выводы их анализа могут быть распространены и на более широкий круг явлений, так как они помогают понять: возможность описать одно и то же явление по-разному (субъективно) совсем не означает, что в этом описании не были установлены **объективные** характеристики описываемого и что мы так и не приблизились к пониманию истины. Интересы людей могут касаться разных сторон строения мира, в фокусе их внимания оказываются разные аспекты их бытия. Вполне естественно, что язык отражает эту способность человека видеть мир и осмыслять его в разных ипостасях и проявлениях. И все же именно реальное положение дел ограничивает во вполне определенном смысле способы его описания, точно так же, как ограничивает оно и человеческий опыт.

Когнитологи за рубежом придают огромное значение телесному опыту, опыту непосредственного восприятия мира и канонам такого чувственного восприятия.

Но современный человек — да и вообще *homo sapiens* — это личность, не только пассивно что-то воспринимающая, это активное существо, стремящееся поступать рационально. Такой естественный рационализм диктуется необходимостью взаимодействовать со средой с наименьшим числом отрицательных последствий. Нельзя понимать чересчур буквально положения о том, что язык набрасывает свою сетку категорий на членение мира, хотя его роль в этом отношении и достаточно велика. В языке есть всегда нечто, нам «навязываемое», но это не значит, что в описаниях мира мы не можем этого частично преодолеть. Созданием альтернативных средств описания одного и того же уже достигается такое преодоление. Достигается оно и за счет гибкости и подвижности разных языковых форм, возможностей их динамических преобразований, способности приспосабливаться к нуждам коммуникации и условиям ее произведения. Вследствие этого изучать каждое языковое явление надо в его использовании — в тексте и дискурсе, а когнитивный подход должен быть дополнен дискурсивным анализом и наблюдениями за функционированием существующих форм и созданием новых.

Критика узкого когнитивизма, ведущаяся сейчас за рубежом и направленная там против недостаточного учета в этой парадигме знания референции (см., например, [Sinha 1999: 233 и сл.]) или против недооценки в системе языка ее организации в виде системы знаков (ср. [Keller 1998; Кубрякова 2001; Кравченко 2001]), а также против изгнания из многих когнитивных теорий проблем онтологии мира [Harder 1999] и т. д., должна быть дополнена и другими соображениями (см. ниже). Одним из них является соображение о том, что хотя понятию дискурса и уделяется в когнитивной лингвистике большое внимание, он изучается просто как особая данность языка, тогда как мы подчеркиваем настоятельную необходимость постоянного учета самой этой данности в исследовании языковых единиц и категорий. Обращение к текстовым и дискурсивным данным обязательно и при изучении феномена созидания мира или конструирования мира с помощью разноструктурных единиц номинации, с помощью вариативных способов описания одного объекта или одной ситуации. Мы употребляем при этом термины «интерпретация», «описание», «отражение» и т. д. для характеристики того, что обозначается в нашей работе общим термином «осмысление мира».

Нам кажется, что именно это понятие более всего подчеркивает связь освоения и познания мира человеком с формированием смыслов в концептуальной системе и с простым пониманием концепта как оперативной единицы нашего сознания — иногда очень простой (отдельного смысла), а иногда очень и очень сложной (при объединении смыслов в те или другие структуры знания). Как очень хорошо сказал Р. Келлер: «наша система концептов — это не зеркало мира, а зеркало того, как мы с ним взаимодействуем» [Keller 1998: 27]. Но способы взаимодействия с миром задаются тем, что он представляет собой по существу, и, таким образом, проблемы формирования концептов, о которых мы специально говорим в разных частях книги, снова возвращают нас к идее «мира как он есть» и

языка — как средства выражения результатов познания мира и их передачи сменяющим друг друга поколениям. Такие результаты можно представить либо в форме обозначения отдельных фрагментов мира, либо в форме его описаний. В настоящей книге акцент делается на первом: здесь исследуются в первую очередь проблемы наречения мира, проблемы номинации формируемых структур знания, поисков надлежащих средств наименования этих структур и специфики разноструктурных единиц номинаций в когнитивном плане. По отношению к процессам номинации нам представляется особенно уместным использовать такое представление об осмыслении мира, которое можно охарактеризовать как его **конструирование**.

Термин «конструирование» (мира, ситуации, положения дел) был впервые предложен в когнитивной грамматике Р. Лангакера [Langacker 1987: 487–488], который определил его как «отношение между говорящим (или слушающим) и некоторой ситуацией, которую он концептуализирует и портретирует». В создаваемом говорящим описании, по Лангакеру, могут:

- 1 — варьироваться та степень детализации, с которой изображается ситуация или объект, так, объект может быть назван *красным* или *темно-красным* или *красным как кровь* или просто *цвета крови*. Мы также можем выбросить вообще из описания любые детали ситуации;
- 2 — варьироваться и та степень точности, которая наблюдается при сличении ситуации с реальным положением дел: про время события можно сказать, что оно случилось *около двух* или *в час сорок восемь* или *без четверти два* и т. п.;
- 3 — возбуждаться разные когнитивные модели (сценарии, фреймы и пр.), ассоциируемые с использованным словом: если применительно к описываемому лицу используется слово *холостяк*, мы должны предположить, что слушающему известны сведения о возрасте человека, о его отношении к браку, хотя и можем предположить в то же время, что такая совокупность сведений о холостяке у говорящего и слушающего не вполне одинакова;
- 4 — использоваться слова или конструкции как в их переносных, так и в их прямых значениях: в первом случае одна ситуация изображается в терминах другой; ср. обороты типа *он взорвался от гнева*, *его переполняла печаль* и т. д.;
- 5 — наконец, для описания происходящего может быть выбрана разная перспектива (ср. *картина над диваном* или *диван под картиной*; *зал был полупустым* или *наполовину заполненным*); эти случаи включают также использование обозначений *муж Анны*, *доктор Иванов*, *неплохой окулист* по отношению к одному и тому же лицу (ср. [Taylor 1995: 4–5 и сл.]).

Конечно, в описании ситуации могут быть подмечены и другие моменты (так, в первом разделе мы подробно описываем, чем отличаются друг от друга случаи типа *Мы приехали* и *Наш приезд*). К перечисленному выше можно было бы добавить также различия в изображении ситуации, связанные с использованием раз-

ных форм глагола (это особенно ярко продемонстрировано в работах А. В. Бондарко, см. прежде всего [Бондарко 2002]).

Проблеме выбора в языковых представлениях ситуации посвящена и специальная работа К. А. Переверзева [Переверзев 1998], в которой обращение к проблеме позволяет установить не только два разных мотива в выборе способа представления ситуации в языке (прагматический, определяемый условиями создания высказывания в дискурсе, и эпистемический, связанный с категоризацией ситуации в зависимости от знаний говорящего), но и выделить среди знаний говорящего два их типа — «знание по знакомству» в противовес «знанию по описанию» или же «знание о предмете» в отличие от «знания понятия о предмете». Таким образом, само исследование альтернативных способов описания одного и того же кажется нам весьма перспективным, а выдвижение когнитивно-дискурсивной парадигмы знания — позволяющим уточнить природу и реальные проявления указанного феномена. И все же все эти работы демонстрируют лишь относительную свободу выбора у говорящего, на деле скорее ограниченную. Ведь разные языковые формы выбираются или создаются говорящим, во-первых, в определенном типе дискурса, соотнесены, во-вторых, с определенной социальной активностью человека; в-третьих, они обусловлены определенным психическим состоянием самого человека и тем, каким типом языковой личности он является и какими знаниями он обладает. Но не менее существенным фактором в указанном выборе являются ресурсы, реально представленные в его родном языке, а они ведут к обязательности передачи определенных грамматических категорий, принятых в системе его родного языка, способами существующих здесь приемов моделирования вторичных единиц номинации и т. д. (см. подробнее [Кубрякова 1999: особенно 7–8]).

Все эти факторы учитываются нами и при анализе роли отдельных единиц номинации или отдельных языковых процессов в концептуализации и категоризации мира (например, при анализе актов семиозиса, совершаемых с помощью производных слов или же процессов транспозиции в словообразовании). Можно поэтому утверждать, что предлагаемый нами ниже анализ понятий в лингвистике (включая понятия знака, текста и дискурса) базируется на более широком фоне данных по сравнению с тем, как это часто принято в специальных когнитивных исследованиях.

Важное отличие отечественной версии когнитивизма мы усматриваем и в отходе от других установок когнитивного подхода за рубежом. В своем последнем фундаментальном труде о когнитивной науке и ее достижениях Дж. Лакофф и М. Джонсон подчеркивают, что эта наука бросает вызов всей предшествующей западной философии. Они выдвигают три следующих постулата когнитивной науки:

- разум существует как воплощенный в особую материю (нейронную ткань мозга);

- мышление осуществляется по большей части бессознательно;
- абстрактные концепты создаются преимущественно метафорически [Lakoff, Johnson 1999].

Три этих постулата, с одной стороны, подытоживают основные результаты исследований когнитологов; с другой стороны, они выражают credo когнитологов второго поколения и систему их убеждений; наконец, они в значительной степени определяют то, что сейчас делается зарубежными когнитологами и очерчивают круг их интересов. Очень важно поэтому разобраться в сути этих постулатов и высказать собственное мнение по их поводу.

Первым постулатом диктуется особая необходимость сближения когнитивной науки и когнитивной лингвистики с нейронауками (см. также [Lakoff 1999: 4]). «Когнитивная лингвистика имеет право называться “когнитивной”, — указывает Берт Петерс, — только в том случае, если под эгидой когнитивной науки будут дифференцироваться две разновидности “лингвистик” — нейрокогнитивная и прикладная». По его мнению, следовательно, уточнение термина «когнитивный» требует замены на термин «нейрокогнитивный» [Peeters 1999: 52–53]. Полагая, что разум может изучаться не только в нейронауках, мы считаем, что в специальном выделении нуждается именно нейролингвистика, когнитивная же лингвистика может по-прежнему заниматься собственно лингвистическими аспектами протекания познавательных процессов.

Что же касается второго постулата, принять его можно, по всей видимости, с известными оговорками. Строго говоря, мы еще не знаем, как протекают процессы мышления, но можем предположить, что некоторые из них протекают все же на сознательном (осознаваемом) уровне, т. е. приобретают характер мышления рационального. (Ср. планирование наших действий и выступлений, обдумывание необходимых формулировок и т. д.) Если исходить из постулата о бессознательности мышления, не означает ли это отказа от научного его изучения? Так или иначе, но нам кажется целесообразной попытка выяснить, какова природа умозаключений человека, природа **выводных знаний**, и даже в том случае, если часть процессов мышления осуществляется автоматически, нам следует понять механизм этого автоматизма. В сущности, все эти проблемы встают перед лингвистом, когда он стремится описать, как человек понимает текст и дискурс. Аналогично, т. е. со множеством оговорок, следует принимать и третий постулат, — тезис о том, что все абстрактные концепты создаются по образу и подобию телесных путем метафоры. Не отрицая важности этого чувственного опыта человека и, возможно, базового характера структур телесного опыта для всего процесса познания в его исторической последовательности, мы бы подчеркнули и другое — преодоление в этих процессах значимости непосредственно воспринятых данных и выходы за границы наглядного сенсомоторного опыта, что, собственно, и характерно для науки.

Но опровержение третьего постулата можно обнаружить и в самом языке, где многие абстрактные понятия созданы силой человеческого разума и номинальным определением, когда в одну концептуальную структуру объединяются концепты, общей совокупности которых нет прямых соответствий в реальном мире, типа *холостяка*, *культуры* и пр. Хотелось бы в этой связи специально подчеркнуть, что в современных языках многие новые понятия формируются и оформляются с помощью производных слов, которые должны быть рассмотрены в свете возможных операций с концептами или над концептами в актах семиозиса как примеры фиксации нового, иногда весьма абстрактного знания в уме человека. Хотелось бы также привлечь внимание лингвистов к тому факту, что если в языке присутствуют как жесткие, так и нежесткие десигнаторы, как слова, обладающие реальными референтами в предметном мире, так и слова, таких референтов не имеющие (типа *кентавра*, *русалки* и т. п.), само наличие этих последних свидетельствует о том, что «сборка» концептов в концептуальные структуры, предваряющая создание языкового знака, может быть весьма разной по своему характеру и что абстрактные понятия — не только результат метафоры. Свидетельствуют эти абстрактные слова, конечно, и о том, что акты номинации заключаются не столько в прямом обозначении реальных фрагментов мира и даже не в обозначении ощущений от этих фрагментов, но также в поисках формы «упаковки» для создаваемых человеком концептуальных структур (независимо от того, складываются ли эти структуры в процессе прямого взаимодействия человека с миром или в процессе оперирования самими ментальными концептами нашего сознания).

На первом этапе своего развития когнитивная наука складывалась так, чтобы в известной мере ограничить области своего анализа. Так, в известной книге Х. Гарднера о когнитивной революции, подводящей итоги первому периоду существования когнитивизма, автор отмечал, что при изучении когнитивных структур можно отвлечься от факторов эмоционального, исторического, культурологического и пр. порядка, хотя такое отвлечение и будет носить, возможно, временный характер [Gardner 1985: 6–7]. Когнитологи второго поколения, действительно, признали, что все эти факторы неизменно присутствуют в мыслительных процессах и что их понимание неполно без учета этих факторов. Таким образом, важные шаги в сторону расширения исследовательских задач когнитивизма и его научных программ, несомненно, уже сделаны и продолжают делаться. В каждой из версий когнитивизма эти версии принимают разную форму. О том, насколько они успешны, можно судить только по тому, к чему они приводят при анализе реальных лингвистических данных в практике описания языковых явлений и категорий, в процессах их познания и осмысления.

В настоящей книге система языка понимается как проекция познанного человеком, как рефлекс его размышлений о мире и о языке, как совокупность средств, служащих описанию всего этого. Знание о языке и знание языка предполагает выделение разных единиц и категорий как составляющих системы. Они опреде-

ляют его роль в понимании мира и в фиксации структур опыта и знания, мнений и оценок, в их хранении и возможности оперирования ими в сознании человека. Проследив шаг за шагом отдельные этапы приобретения и накопления знаний о языке, а также анализируя функции языка в организации знаний о мире, назначение его разных единиц в общем процессе постижения и осмысления окружающей нас действительности, мы только начинаем рассмотрение темы «язык и знание» — темы необъятной и невероятно сложной, но столь же важной и интересной.

Остается надеяться, что мне удалось показать этой книгой и привлекательность темы, и ее огромную сложность, и саму необходимость ее рассмотрения на конкретном языковом материале. Возможно поэтому, что мне удастся и другое — привлечь внимание моего читателя к разрабатываемой в книге парадигме лингвистического знания и приобщить его к дальнейшей ее разработке.

Завершая это предисловие, не могу не выразить своей искренней и сердечной благодарности всем тем, кто окружал меня эти годы, — моим детям, родным, друзьям, коллегам, ученикам и последователям. Я горжусь тем, что их поименный список был бы слишком велик для этого предисловия. Но особенно я хотела бы все же поблагодарить моих коллег по отделу Института языкознания РАН, где я проработала более сорока лет, и моих коллег по Словообразовательной комиссии при Международном славянском комитете, без неоценимой помощи которых мои работы последнего десятилетия и не могли бы быть написаны.

Я неоднократно получала различные гранты написание работ, на их издание и на поездки за рубеж и по стране. От души благодарю поэтому и РФФИ и РГНФ, Открытый фонд Сороса и, наконец, немецкий фонд поддержки ученых Г. Даймлера и К. Бенца (ноябрь—декабрь 2001 г.). Большое спасибо моим помощникам по подготовке рукописи к печати, редакторам и издателям.

## Литература

- Баранова 2000 — *Баранова К. М.* Разноструктурные средства выражения посессивности в современном английском языке. М., 2000.
- Бондарко 2002 — *Бондарко А. В.* Теория значения в системе функциональной грамматики (на материале русского языка). М., 2002.
- Выготский 1996 — *Выготский Л. С.* Мышление и речь. М., 1996.
- Демьянков 1994 — *Демьянков В. З.* Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 17–33.
- Кравченко 2001 — *Кравченко А. В.* Знак, значение, знание: Очерк когнитивной философии языка. Иркутск, 2001.
- Кубрякова 1988 — *Кубрякова Е. С.* Роль словообразования в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988. С. 141–172.

- Кубрякова 1991 — *Кубрякова Е. С.* Язык и порождение речи // Человеческий фактор в языке. М., 1991. С. 4–185.
- Кубрякова 1999 — *Кубрякова Е. С.* Семантика в когнитивной лингвистике // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 1999. Т. 58. № 5–6. С. 3–12.
- Кубрякова 2000 — *Кубрякова Е. С.* В начале XXI века (Размышления о судьбах когнитивной лингвистики) // Когнитивная семантика. Ч. 1. Тамбов, 2000. С. 6–7.
- Кубрякова 2001 — *Кубрякова Е. С.* Размышления о судьбах когнитивной лингвистики на рубеже веков // Вопросы филологии. 2001. № 1 (7). С. 28–34.
- Переверзев 1998 — *Переверзев К. А.* Высказывание и ситуация: об онтологическом аспекте философии языка // Вопросы языкознания. 1998. № 5. С. 24–52.
- Серебренников 1988 — *Серебренников Б. А.* [Предисловие к кн.] Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988. С. 3–7.
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
- Фрумкина 1995 — *Фрумкина Р. М.* Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца XX века. М., 1995. С. 74–117.
- Фрумкина 1999 — *Фрумкина Р. М.* Когнитивная лингвистика или «психолингвистика наоборот» // Язык и речевая деятельность. СПб., 1999. С. 80–93.
- Шахнарович 1999 — *Шахнарович А. М.* Детская речь в зеркале психолингвистики. М., 1999.
- Croft 1998 — *Croft W.* Linguistic Evidence and Mental Representations // Cognitive Linguistics. 1998. Vol. 9. № 2. P. 151–173.
- Fauconnier 1999 — *Fauconnier G.* Methods and Generalizations // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology. Berlin; N. Y., 1999. P. 95–124.
- Gardner 1985 — *Gardner H.* The Mind's New Science. A history of the Cognitive Revolution. N. Y., 1985.
- Harder 1999 — *Harder P.* Partial Autonomy. Ontology and Methodology in Cognitive Linguistics // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology. Berlin; N. Y., 1999. P. 195–222.
- Keller 1998 — *Keller R.* A Theory of Linguistic Sign. Oxford, 1998.
- Lakoff 1999 — *Lakoff G.* Integrating Cognitive Linguistics and the Neural Theory of Language // Abstracts of the 6<sup>th</sup> International Cognitive Linguistics Conference. 10–16 July 1999. Stockholm, 1999. P. 4.
- Lakoff, Johnson 1999 — *Lakoff G., Johnson M.* Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. N. Y., 1999.
- Langacker 1987 — *Langacker R. W.* Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical Prerequisites. Stanford, 1987.
- Language and the Cognitive Construal of the World 1995 — Language and the Cognitive Construal of the World / Ed. J. R. Taylor, R. E. MacLaury. Berlin; N. Y., 1995.
- Peeters 1999 — *Peeters B.* Does Cognitive Linguistics live up to its name? // Abstracts of the 6<sup>th</sup> International Cognitive Linguistics Conference. Stockholm, 1999. P. 52–53.

- 
- Sandra 1998 – *Sandra D.* What Linguists Can and Can't Tell you about the Human Mind // *Cognitive Linguistics*. 1998. Vol. 3. № 4. P. 361–378.
- Sinha 1999 – *Sinha Ch.* Grounding, Mapping, and Acts of Meaning // *Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology*. Berlin; N. Y., 1999. P. 223–248.
- Talmy 2000 – *Talmy L.* *Toward a Cognitive Semantics*. Vol. 1–2. Cambridge (Mass.), 2000.
- Taylor 1995 – *Taylor J. R.* Introduction: On Construing the World // *Language and the Cognitive Construal of the World* / Ed. J. R. Taylor, R. E. MacLaury. Berlin; N. Y., 1995.



*Раздел первый*

**НА ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ О ЯЗЫКЕ:  
ЧАСТИ РЕЧИ С КОГНИТИВНОЙ  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ**

*Настоящий раздел представляет собой переработанный вариант книги:*  
Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997

## ВВЕДЕНИЕ

Отраженная в названии раздела тема — части речи — отнюдь не является новой. Части речи изучаются уже не одно тысячелетие и входят в число тех фундаментальных понятий лингвистики, которые доказали свое право на существование длительным их использованием в описаниях разных языков и грамматиках разного типа, начиная от школьных и кончая академическими. Принадлежат к терминам, служащим для типологической характеристики языков и распределения материала в грамматиках и словарях, для отражения различий в семантике знаков разного типа и демонстрации различия поведения слов в составе высказываний и текста, части речи неоднократно привлекали к себе внимание лингвистов разных направлений и школ и продолжают исследоваться в разных аспектах и с разных точек зрения и в настоящее время. Они, безусловно, принадлежат к числу наиболее полно описанных разрядов слов, ибо в каждой грамматике и каждом словаре отдельно взятого языка должно быть принято какое-либо решение относительно числа и номенклатуры представленных в нем частей речи. Между тем вопрос о частях речи как особых категориях или классах слов, о границах этих классов и самих принципах их выделения, хотя и относится к числу вопросов, имеющих давнюю традицию их изучения, все же не принадлежит к числу решенных. К тому же едва ли найдется в современной грамматической теории какая-либо другая область исследования, в которой было бы представлено столько различающихся между собой мнений как по поводу критериальных свойств отдельных частей речи, так и по поводу оснований деления общей категории частей речи на ее составляющие. Принятые классификации слов подвергаются постоянным изменениям, постоянной критике, а схемы подобных классификаций обвиняются в непоследовательности, нелогичности и несоответствии реальному положению дел. «Распределяя слова по частям речи, — писал М. И. Стеблин-Каменский, — ... утверждая, что среди слов есть так называемые существительные, прилагательные, глаголы и т. д., мы примерно делаем то же самое, как если бы мы, суммируя то, что мы знаем об окружающих нас людях, сказали, что среди них есть блондины, есть математики, есть профессора, а есть и умные люди...» [Стеблин-Каменский 1974: 21]. Но ведь среди людей есть, действительно, и те, и другие, и третьи, а сами рубрики не так уж бессмысленны, да и классификация людей кажется необходимой...

Не вызывает сомнения, что и в языке существуют нетождественные классы слов, что они могут быть противопоставлены по разным основаниям: одни отличаются от других по своей семантике, другие — по своим функциям, третьи — по своему материальному облику и т. п. Ясны, по всей видимости, и те параметры, по которым слова могут быть противопоставлены друг другу. Неясно, однако, может ли быть отражено такое различие слов единой классификационной схемой, как не ясно и то, выбор каких именно признаков обеспечивает наиболее рациональную классификацию слов и можно ли предложить такую классификацию, которая была бы универсальной. Вся история изучения частей речи и представляет собой поиски в указанном направлении, а поскольку подобные поиски велись издавна и касались множества разноструктурных языков, опыт использования и объяснения частей речи в лингвистике стал фактически необозримым. Потребность в новом описании частей речи можно было бы по этой причине связать просто с необходимостью как-то обобщить и систематизировать существующие взгляды: накопив грандиозный опыт в указанной области и располагая множеством разумных взглядов на природу и сущность частей речи, ученые так и не подвели **итоги** всей этой работы, а сведения об истории изучения частей речи, сами по себе достаточно объемные, носят до сих пор фрагментарный характер и не сведены воедино.

За редким исключением не стали предметом изложения и те новые работы, которые появились в печати в последние десять-пятнадцать лет. Да и появление этих работ, выполненных в разном ключе и в рамках разных парадигм научного знания, сказывается в том, что само освещение новых публикаций по проблеме происходило от случая к случаю и не охватывало все разнообразие существующих точек зрения. И хотя мы уже пытались восполнить имеющиеся пробелы [ср.: Кубрякова 1990; Теория грамматики... 1990], в настоящей монографии нам представляется необходимым дать более компактное и более полное представление о тех **направлениях**, по которым шло изучение частей речи в прошлом, и особенно о тех, которые появились в последнее время и еще не являлись предметом критического анализа. И все же не история изучения частей речи как таковая интересует нас в данной монографии, и если мы отчасти ею и занимаемся, то только с одной целью — систематизировать те подходы, которые уже оправдали себя при исследовании частей речи и заложили тот фундамент, на основе которого может быть в будущем предложена новая теория частей речи или, вернее, теория, опирающаяся на оправдавшие себя традиционные взгляды, но уточненная и усовершенствованная под влиянием того нового, что знаменовало общий прогресс нашей науки.

«Проблема выделения частей речи в языках различного строя, — писал в середине 70-х гг. Б. А. Серебренников, — обычно считается одной из наиболее дискуссионных проблем общего языкознания» [Серебренников 1976: 16]. Можно было бы в этой связи, определяя далее задачи нашего исследования, считать необходи-

мым остановиться в нем специально на освещении тех и только тех проблем, которые, по мнению большинства ученых, еще входят в число нерешенных или же решенных бездоказательно. И, конечно, на многих таких дискуссионных проблемах мы специально остановимся. И все же далеко не все эти спорные решения привлекают наше внимание в дальнейшем изложении. Частично это объясняется тем, что нам более близки вопросы о **природе** частей речи, о самых общих основаниях их выделения и развития. Уже это заставляет нас отказаться от обращения к тем проблемам в изучении частей речи, которые обсуждались применительно к отдельно взятым языкам. Ср. например, полемику вокруг категории состояния в русском языке или вопрос о сателлитах как отдельной части речи в английском. В сущности для каждого развитого языка сложились определенные традиции рассмотрения его слов в терминах известного количества частей и частиц речи. На анализ таких спорных проблем в книге наложено ограничение. Оно отражено и в названии книги, и можно было бы считать, что именно этим — рассмотрением частей речи с когнитивной точки зрения — определяются ее новизна и ее границы; фактически, однако, дело обстоит несколько сложнее.

С одной стороны, для того, чтобы осуществить анализ частей речи в когнитивном плане, надо прежде всего разобраться в том, что такое когнитивная наука и какой подход в лингвистике мы называем когнитивным. Ведь и по этому поводу в современной науке высказано немало противоречивых суждений, и мы должны объяснить, какое содержание вкладываем мы в понятие когниции и в понятие когнитивного, или концептуального анализа частей речи. Уже это требует экспликации целого ряда используемых в книге понятий и процедур анализа. С другой стороны, утверждая, что лингвистическая наука сегодня частично перестраивается под влиянием нового понимания языка как когнитивного процесса и когнитивного явления, имеют в виду, что когнитивная наука затрагивает определенные сферы лингвистики и получает разные преломления и проявления при исследовании разных языковых феноменов: значения языковых единиц, их категоризации, их использования в актах номинации и т. п. Поскольку части речи так или иначе связаны со всеми этими феноменами, необходимо остановиться в книге и на том, что нового было привнесено когнитивным подходом в рассмотрение этих отдельных феноменов. Наконец, когнитивный подход сам существует в современной лингвистике как один из возможных, и для его оценки следует, по всей видимости, охарактеризовать хотя бы в общих чертах его преимущества перед другими подходами и — в то же время — его недостатки. Но для этого необходимо рассмотреть когнитивный подход на более широком фоне, ибо в анализе частей речи мы считаем в принципе обязательным учитывать не только собственно когнитивный взгляд на вещи. Теория частей речи, которую мы развиваем, исходит из понимания частей речи как когнитивных и дискурсивных образований и мы называем ее дискурсивно-когнитивной на основаниях, которые попытаемся раскрыть более подробно всем нашим изложением. Но с этой точки зрения ког-

нитивный аспект частей речи — это просто тот, который выбран здесь для более подробного и детального обоснования. Фактически же защищаемая нами концепция учитывает по мере возможности и другие достижения современной лингвистики (дискурсивный анализ, семантику синтаксиса, функциональную грамматику и т. д.).

Последнее нам кажется важным отметить особо, ибо на рубеже двух тысячелетий невольно возникает желание, с одной стороны, подвести вообще некоторые итоги достигнутому в нашей науке, а, с другой, опираясь на опыт прошлого, постараться определить возможные перспективные пути будущих исследований и наметить их общее направление. Иными словами, хочется знать, с чем подошла лингвистика к новому тысячелетию и что обусловит ее интересы к этому времени, что войдет в область ее предпосылочного знания и будет являться ее теоретическим фундаментом, определит систему ее исходных данных и перспективы будущих поисков.

В отличие от многих наук, отказывающихся на определенных этапах своего развития от прежних представлений о своих объектах и даже меняющих сами эти объекты в процессе научных революций, лингвистика всегда характеризовалась устремлениями к познанию такого объекта, как язык, и более устойчивым набором тех явлений, которые в ней старались понять и описать, более стабильным набором тех единиц и категорий, которые в ней неизменно изучались уже на протяжении длительного времени и которые постоянно служили предметом ее изысканий. Можно с полным на то основанием утверждать поэтому, что историей нашей науки и ее прогрессом двигали не только научные революции, не только «обнаружение новых реальностей», но и изменение взгляда на вещи и на аспекты этих вещей, требующих специального рассмотрения. Не меньшую роль, чем в других науках играли революции и **открытия**, здесь играло изменение точки зрения на объект, его помещение в более широкие или более узкие рамки, его рассмотрение в том или ином ракурсе. В сущности изменение именно в этом фокусе рассмотрения языка лежало и в основе смен парадигм научного знания о языке, где каждую такую парадигму объединяла принимаемая научным сообществом **точка зрения** на язык [Степанов 1985; Руденко 1990: 261–262; Серио 1993: 37–38; Кубрякова 1994]. Это понятие, выдвинутое Ю. С. Степановым в связи с обсуждением вопроса о применимости понятия парадигмы знания к эволюции лингвистической мысли, разъяснялось им в свете предложенного некогда Ч. Пирсом деления семиотики на семантику, прагматику и синтактику. Оно трактовалось как последовательное рассмотрение языка «поочередно по одной из... осей — сначала семантики, затем синтактики и, наконец, прагматики» [Степанов 1985: 5]. Хочется добавить к этому, что хотя язык, действительно, «как бы незаметно направляет теоретическую мысль» на указанные оси (а также, возможно, и на некоторые другие, что отчетливо проявляется в истории изучения частей речи — подробнее см. ниже), со временем меняется и само представление о каждой из этих

осей. К тому же интеграция данных, следующая за этапом отдельного рассмотрения «по осям», имеет место в разные периоды истории, осуществляется под эгидой разных наук, а все это способствует не просто накоплению разносторонних данных об объекте, но и более глубокому его познанию. В формировании подобного «интерпретативного аспекта знания» (Ю. С. Степанов) немаловажную роль играет именно то, с точки зрения какой научной дисциплины происходит обобщение знаний об объекте и какими новыми задачами, в ней ставящимися, мотивировано обращение к определенному аспекту изучаемого объекта. В настоящей работе мы стремимся показать, какой синтез знаний о частях речи возможен в настоящий момент и представляется плодотворным в рамках когнитивной науки.

В связи со сказанным кажется также необходимым отметить, что преобладание в развитии лингвистики поддерживается здесь не только за счет следования в анализе каким-либо из традиций прошлого или же приверженности определенному стилю мышления, но и за счет возвращения на новом витке истории к ее извечным проблемам. Целью такого возвращения становится тогда пересмотр и реинтерпретация накопленных данных с новых позиций, с новой точки зрения.

В одной из недавно вышедших историографических работ по лингвистике, в которой ставится задача осветить эволюцию лингвистических взглядов в XX веке, ее автор — Р. де Богранд — приходит к пессимистическим выводам относительно ее современного статуса: основанием для заключения о том, что лингвистика вступила в период стагнации, служит, по его мнению, с одной стороны, отказ от традиционных понятий лингвистики (таких, например, как слово), а, с другой — пренебрежение к тем проблемам, которые не могут потерять своей значимости. В качестве подобной проблемы им называется и вопрос о частях речи [Beaugrande 1991: 2 и 345]. Признавая критерии их выделения непоследовательными и неконструктивными, указывает автор, — специалисты все же продолжают использовать их в повседневной практике. Решению этой проблемы отдавали дань многие знаменитые языковеды, когда они пытались заменить прежнюю классификационную схему новой (Л. Ельмслев) или же внести существенные коррективы в существующую (Э. Сепир). Несмотря на это полной замены предложенных ранее критериев на другие не происходило, и с полным отказом от этого понятия в общем никто так и не согласился. В конечном счете, — отмечает Богранд, — в каждом конкретном языке причисление слова к существительным, прилагательным или глаголам представлялось, по всей видимости, разрешимой задачей. Ирония здесь заключается, однако, в том, что в таком направлении, как генеративная грамматика, где стремились к созданию грамматики формального типа, те, кто это делали и прежде всего Н. Хомский, полагались одновременно на наименее формализованные определения отдельных частей речи [Beaugrande 1991: 345–346].

Еще раньше мы тоже отмечали тот факт, что хотя в современных генеративных грамматиках понятие кардинальных частей речи широко используется во всех

видах формализованных записей, применяясь как в моделях порождения и восприятия речи, так и при описании лексикона и действия всех деривационных правил, рассматриваются они здесь как некие аксиоматические сущности и по существу без сколько-нибудь строгих правил отождествления. Здесь как бы молчаливо признают, что частеречные свойства всех единиц языка записаны в специальном лексиконе, откуда они и проецируются в высказывание, т. е. они как бы заданы заранее [Кубрякова 1990: 5, 6]. Но для того, чтобы представить данные о единицах в словаре, все равно нужна процедура установления их частеречных свойств. На каком, однако, основании одной единице приписывается в словаре примета «прилагательное», а другой — «существительное» (естественно, в тех языках, где об этом не свидетельствует морфологическое оформление единицы)? В ходе какого анализа была выявлена частеречная принадлежность лексемы? Какими соображениями руководствовались составители словаря? Если считать, что все такие пометы поданы в словаре правильно, почему признается все же, что признаки отдельных частей речи не вполне ясны, и авторы специального издания о частях речи в типологии языков справедливо подчеркивают «необходимость принятия той или иной точки зрения при описании конкретных языков требует разработки общей методики выделения частей речи» [Алпатов 1990: 3], что скептическое отношение к возможностям решить эту проблему вряд ли оправданно и что в то же время обычные указания типа «существительные обозначают предметы, глаголы обозначают действия и т. д., выглядят достаточно наивными» [Там же: 4].

Пытаясь ответить на эти и аналогичные им вопросы о сути частей речи и, таким образом, возвращаясь к тематике, интересовавшей нас и раньше [Кубрякова 1978], мы полагаем, что тематика эта отнюдь не потеряла своей актуальности и что, напротив, наступило время, когда в ее освещении можно попытаться сделать что-то новое. Более того. Чем разветвленное становится вся лингвистическая деятельность и чем сложнее оказываются запросы к лингвистике, тем настоятельнее представляется необходимость более адекватного описания частеречных свойств лексических единиц. Так, с развитием компьютерной техники и стремлением достичь больших успехов в разработке программ по автоматическому распознаванию текстов части речи стали объектом пристального внимания в работах прикладного характера [ср. Гарвин 1984; Шевченко 1990: 254]. Выявились, что имеет смысл ввести данные о частях речи в банк знаний.

Хорошо известно, что последние десятилетия были связаны в языкознании с расширением его эмпирической базы — в поле зрения лингвистов оказались огромные массивы новых языков, диалектов, разных функциональных вариантов языка и т. д. Проблемы частей речи встали во всей своей остроте применительно к редким или экзотическим языкам. На страницах специальных публикаций появилось немало интересных сведений о специфике тех или иных разрядов слов в отдельных языках. Все большую поддержку стало получать мнение о том, что в

мире нет таких языков, в которых отсутствовало бы противопоставление имен и глаголов. Но для того, чтобы объяснить эту ситуацию, а также обосновать саму правильность идеи обязательного противопоставления нескольких разрядов слов в каждом языке, нужны не столько новые эмпирические данные, сколько четкая договоренность о том, что же понимается под отдельной частью речи, отдельным классом слов и какое название при этом ему можно дать. Как правильно отметил Дж. Лайонз, рассматривая части речи, нередко смешивали две проблемы: одна из них касается определения условий, при которых можно считать, что данное слово принадлежит той или иной категории, другая — наименования этих категорий [Лайонз 1978: 159–160]. Естественно, что в первую очередь нас интересует именно первый вопрос, т. е. вопрос о том, каким требованиям должно отвечать рациональное распределение слов по классам и с какой целью производится такое распределение.

Поскольку ответ на этот вопрос, хотя и в самом общем виде, для нас ясен (разбиение слов по классам должно отразить особенности их использования и нетождественность их функций в дискурсе и тексте), как очевидна значимость разных формальных признаков нетождественности лексем, начиная от морфологических и словообразовательных примет и кончая дистрибутивными особенностями, самое трудное в определении частей речи кажется нам связанным все же с их содержательной характеристикой, и именно в этом отношении когнитивный подход обещает принести свои плоды.

Из этого последнего замечания вытекает, что главной причиной нового обращения к частям речи являются те кардинальные изменения в области теоретической лингвистики, которые наметились с середины 70-х гг. и которые обязывают осуществить пересмотр многих фундаментальных понятий с новых позиций и в новом свете. Конечно, в первую очередь речь идет о возникновении самого когнитивного подхода со всеми его стимулирующими идеями, ответвлениями, версиями и даже новыми направлениями в изучении языковых явлений (ср. прототипическую и фреймовую семантику). Хотелось бы вместе с тем подчеркнуть, что в описании и объяснении частей речи приходится использовать такие концепты и понятия современной лингвистики, которые сами получали разъяснение не только с когнитивной точки зрения, но и за рамками этого подхода, — прежде всего в коммуникативной или прагматической, или функциональной лингвистике. Без учета достижений этого направления нельзя сегодня говорить ни об интерпретации дискурса и текста, ни о функциях слова и его разнообразных модификациях в процессах словообразования и формообразования, ни о значениях языковых единиц и мотивах их вставления в синтаксические конструкции, ни о многом другом. А поскольку части речи существуют, будучи объективированными с помощью слов, языковых знаков, имеющих определенные фонологические, морфологические, деривационные и ономазиологические структуры и служащих для организации высказывания и текста, а также поскольку словам свойственны оп-

ределенные синтаксические — позиционные, сочетаемостные, валентностные и пр. параметры, никакие описания частей речи не могут стать адекватными при некорректном использовании указанных понятий. Немудрено, что достижения в любой из областей лингвистики могут — прямо или косвенно — использоваться и при описании частей речи.

Еще больше это относится к новым типам анализа, которые могут быть связаны с когнитивным подходом, но могут считаться рожденными и за его пределами. Именно в силу этих причин мы полагаем, что развиваемый в монографии подход является когнитивным по своей общей ориентации, но не обязательно по своим историческим истокам и синхронным научным связям. Впрочем, мы разделяем мнение о том, что «понятие когниции может рассматриваться как всеобъемлющее понятие для всей лингвистической работы», ибо оно предполагает прежде всего знание языка как непрерывной когнитивной составляющей психики человека, ответственной за все языковое поведение говорящих, а, значит, и употребление языка [ср. Nuyts 1992: 5 и 13, 21–22]. Такая программа исследования, включающая задачи постижения языковой способности человека в широком смысле слова, представляется нам достаточно перспективной, но она, конечно, диктует выходы не только за рамки узкого когнитивизма, но и за пределы лингвистики как таковой. Это объясняет и то, почему читатель найдет в нашей книге не только немало ссылок на новые имена, но и на новые работы, написанные за пределами лингвистики и излагающие гипотезы о том, как происходит познание и членение мира, о том, как человек воспринимает и осмысляет окружающую его действительность, как он классифицирует свой опыт и как все это можно связать с языком. Возможно, что по этой причине книга покажется перегруженной нелингвистическими, казалось бы, данными, а также содержащей больше теоретических размышлений, нежели собственно эмпирического материала. Но без этого выдвигание новых взглядов на части речи и невозможно.

Мы полностью отдаем себе отчет в том, что все, предлагаемое в книге, — это только первые шаги на пути создания теории, и ее главная цель — это демонстрация того, как сложны ставящиеся здесь проблемы, каких грандиозных совместных усилий требуют они для их решения и от лингвистов, и от психологов, и от философов, и от логиков. Задача книги — показать возможные пути решения проблем, необходимость подхода к ним с разных позиций и — одновременно — перспективности того из них, который именуется сегодня когнитивным подходом и который привел нас к концепции частей речи, которую мы предпочитаем все же называть не когнитивной, а когнитивно-дискурсивной или же дискурсивно-когнитивной. Правомочность такого названия для общей характеристики частей речи мы связываем со следующими соображениями.

Современное состояние теоретической лингвистики характеризуется выдвиганием в ней двух главных парадигм научного знания — когнитивной и коммуникативной. У каждой из них уже сложилась собственная область исследования,

определились свои цели, выявились особые проблемы и модели их решений. В одной парадигме язык и его анализ связываются в основном с исследованием функции общения, в другой — когнитии. В одной основное внимание уделяется самой коммуникативной деятельности и влиянию на эту деятельность контекста ее осуществления, в другой — связи языка с познавательными процессами, со всеми способами получения, обработки, фиксации, хранения и т. п. информации о мире в их корреляции с языковыми формами. В то же время становится все более очевидным, что для решения целого ряда актуальных проблем современной лингвистики необходим своеобразный синтез указанных парадигм знания. Так, например, вне интеграции данных разных парадигм не может быть адекватно решена проблема понимания языка или проблема его порождения. Не меньшую значимость имеет объединение данных из двух парадигм знания и для освещения вопроса о сути частей речи [ср. Кубрякова 1991].

Ведь для характеристики каждого слова с синхронной точки зрения важно установить и то, какую когнитивную структуру (концепт или совокупность концептов) оно объективирует, и то, в какой функции может выступать оно в дискурсе и тексте. Если считать, что слова в своей совокупности разворачивают перед нами определенную картину мира, присутствующую в сознании говорящих и организующую его внутренний лексикон, то членение слов по определенным параметрам не может не отражать их функционального и содержательного своеобразия, и насущной проблемой анализа классификации слов становится вопрос о том, насколько скоррелированы между собой указанные параметры.

Уже на предыдущих этапах изучения частей речи вставал вопрос о том, с какими именно группировками имеет дело лингвист: с лексическими или грамматическими. Но чаще всего части речи именовали лексико-грамматическими классами. Предлагаая для частей речи термин когнитивно-дискурсивные категории, мы тоже хотим подчеркнуть, что они, как двуликий Янус, имеют две главных ипостаси, две разных стороны, два разных, но скоррелированных между собой аспекта в системе языка и что эти корреляции (частей речи и членов предложения, как сказали бы раньше) обладают более глубокими концептуальными основаниями, нежели то считали прежде. Сталкиваясь с частями речи, мы сталкиваемся с особым речемыслительным феноменом, и если в одной части термина мы хотим подчеркнуть связанность частей речи с психическими, ментальными и познавательными процессами и в первую очередь — с определенными содержательными структурами знания, то другой частью термина мы хотим отразить созданность подобных структур для их дальнейшего участия в актах коммуникации. В синтезе начал (когнитивного и коммуникативного) отражены, на наш взгляд, и те факторы, которые действовали в генезисе частей речи и которые считаются нами главными для характеристики всей языковой системы.

Если согласно общепринятой точке зрения на язык последний служит в первую очередь передаче информации, а такая передача осуществляется в процес-

сах коммуникации, когда некая информация становится предметом сообщения, понятно, почему сообщение (текст, дискурс) «должно иметь как когнитивные, так и коммуникативные свойства» [ср. Рамендик, Зонабенд, Клименко 1994: 88]. Категории и единицы, формирующие сообщение, тоже должны обладать и теми, и другими свойствами, причем эти свойства должны выступать как согласованные друг с другом. Как происходит такое согласование в языках разного типа и какую форму оно может принимать, мы и постараемся показать своей книгой.

Для обоснования этой точки зрения мы обращаемся далее к характеристике методологических и теоретических предпосылок настоящей работы. Как будет ясно из последующего изложения, мы связываем их и с возникновением когнитивной науки и такими ее ответвлениями как теория прототипов, теория восприятия и памяти, когнитивная грамматика и т. п., и с общей тенденцией к лексикализации грамматики, и общим прогрессом в понимании онтогенеза речи, и с развитием коммуникативно-функциональной лингвистики, и, наконец, с новыми веяниями в самом учении о частях речи.

Завершая наше Введение, мы бы хотели сделать еще одно замечание по поводу задач настоящего исследования и его ориентации. С начала 70-х гг. мы все, работавшие в секторе общего языкознания Института языкознания Академии наук, а также многие наши ученики были увлечены разработкой теории номинации и соответствующего ей ономаσιологического направления в анализе языка. В центре наших исследовательских интересов находились тогда проблемы наречения мира и номинативной функции языка, номинативные аспекты главных языковых единиц и всей речевой деятельности, особенности актов номинации, осуществлявшихся с помощью разных средств и систем, обеспечивающих номинативную деятельность в языке в целом, и т. п. В этом русле были выполнены и многие работы, освещавшие смысл и технику осуществления словообразовательных процессов, а также уточнявшие представления о семантике производного слова (см., например, [Кубрякова 1981]). В этом же русле, наконец, находилась и книга о частях речи [Кубрякова 1978].

Вопрос о сущности частей речи решался здесь как вопрос о том ноэтическом пространстве, которое покрывалось отдельными частями речи и которое, формируя особые участки в языковой картине мира, создавалось в основном за счет единиц вторичной номинации, за счет словообразовательных процессов. Рассматривая категориальный аспект этих процессов и возникающие в результате этих процессов сложно структурированные единицы номинации, мы стремились описать стоящие за ними ономаσιологические структуры, выдвигая тезис о том, что части речи можно считать проекциями в мир языка разных по своей сути или по их восприятию человеком объектов действительности [Кубрякова 1978: 4].

Лишь позднее многие из нас осознали, что с современной точки зрения ономаσιологическое направление само должно рассматриваться как достаточно ранняя версия когнитивизма (см., например, [Жаботинская 1992: 5 и 34–35]),

имевшая свои яркие отличительные черты хотя бы в том отношении, что этому направлению была чужда оторванность от актов коммуникации и их смысловых заданий, их прагматических установок, тесной связи, прослеживающейся в этих актах когниции и эмоций и т. д. Отгалкиваясь во многом от сложившегося тогда понимания теории номинации, мы смогли органично перейти в своих последующих исследованиях к анализу более широкой проблемы — роли человеческого фактора в языке и, думается, так же естественно сочетать в этих исследованиях когнитивную ориентацию анализа с коммуникативной. Лингвистический анализ в этих работах, как легко видеть в серии о роли человеческого фактора в языке, интегрировал семантику и ономастиологию, семантику и прагматику, создавая в итоге определенный сплав когнитивного и коммуникативного подходов.

Продолжая эту линию исследования, мы полностью осознаем, что часть поставленных тогда проблем нуждается, возможно, в более точных формулировках, а некоторые из выводов сегодня могли бы быть сформулированными в иных терминах. И все же то, что будет изложено в данной книге, не могло бы быть созданным, не будь этих ранних публикаций, и, кажется, ничто им и не противоречит. Ведь номинативные процессы изучались нами как речемыслительные, акты номинации никак не противопоставлялись актам предикации, а номинативная деятельность определялась как непрменный компонент речевой деятельности в целом, требующей для своего осуществления не только определенных мыслительных операций (сравнения, отождествления, соединения и разъединения понятий и т. п.), но также определенных знаний и оценок, установок и целеполагания, осмысления ситуации речи и ее участников, учета социальных и ролевых характеристик партнеров по коммуникативному акту и т. п. Все это позволило уже тогда сформулировать основания ономастиологического подхода при изучении частей речи, когнитивно осмысленный вариант которого мы предлагаем в данной книге. Более конкретным связям теории номинации и когнитивизма мы поэтому и посвятим далее специальный раздел.

«Наименование предмета, — писал Б. А. Серебренников, — совершенно немислимо без предварительного, хотя бы самого элементарного, знания данного предмета» [Серебренников 1983: 103]. Вопрос о том, какие именно знания подводятся под крышу одного знака и под крышу знаков разного типа, неоднократно поднимался в наших работах. Сегодня он определяет центральную проблему настоящей книги — вопрос о том, какие структуры знания стоят за словами разных классов, в каких процессах познания и восприятия мира получены эти знания и в какой форме, в каком субстрате отражены они в нашей голове, какие фрагменты мира выделены и осмыслены человеком и как именно языковые обозначения свидетельствуют об этом процессе, и, наконец, как все это связано с существованием и функционированием таких разрядов слов, какими являются части речи.

Дальнейшее изложение в разделе строится по следующему плану. В **первой** его **части** освещаются теоретические предпосылки исследования, для чего рас-

сматривается сущность когнитивной науки и ее связи с теорией номинации, принципы восприятия мира и его членения и, наконец, современные взгляды на понятие категории и категоризации человеческого опыта вообще и лингвистического материала, в частности. Во всех этих главах основной акцент делается на уточнение тех понятий, которые участвуют в характеристике частей речи, т. е. понятия слова и языкового знака, значения и обозначения, категории и принципов ее развития. Но, естественно, наибольшее внимание уделяется здесь самому когнитивному подходу и разъяснению того, что же представляет собой когнитивный взгляд на вещи и такие связанные с ним концепты, как структура знания и структура представления, или репрезентации знания, когнитивные способности человека и особенности тех когнитивных систем, которые участвуют в восприятии мира и отражении воспринятого и осмысленного в языковых знаках.

Истории изучения частей речи, классификации существующих направлений в их исследовании — урокам прошлого — посвящается **вторая часть** раздела. И если в первой ее главе мы стараемся выбрать из работ наших предшественников все рациональное, все оправданное эмпирическими данными о частях речи и особенно подчеркнуть роль представителей отечественного языкознания, то во второй и третьей главах этой части мы стремимся осветить работы (теоретические и практические) последних двух десятилетий и более подробно охарактеризовать то, что менее известно нашему читателю. С этой целью мы выделяем в особую главу вопрос о частях речи в генеративной и эмерджентной грамматиках. Вместе с тем эта часть, озаглавленная нами «Материалы к новой теории частей речи», предполагает не только обращение к прошлому. Мы как бы отбираем в этой части монографии все то, что может и сегодня войти в учение о частях речи. Это, собственно, и позволило нам включить в состав этой части еще одну главу, в которой мы высказываем общие соображения о системе частей речи и новой методике ее изучения.

Наконец, в **третьей части** раздела, освещающей анализ частей речи как дискурсивно-когнитивных образований, образующих классы слов, которые существуют и функционируют в языке в качестве естественной прототипической категории, мы пытаемся обосновать более подробно новую интерпретацию частей речи, т. е. применить по отношению к ним те теоретические и методологические подходы, которые были рассмотрены выше. Мы специально аргументируем положение о том, что семантика и функции словообразовательных процессов должны рассматриваться как особый источник сведений о когнитивных основаниях частей речи, нередко недооценивавшийся в работах наших предшественников и не получивший еще вообще должного освещения в исследованиях о частях речи. Предлагая когнитивную интерпретацию частей речи, мы включаем в нее и представление о дискурсивных особенностях отдельных знаменательных частей речи и о прототипических их характеристиках, а также некоторые данные об организации самой системы частей речи.

## Часть I

# ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

---

### *Глава первая*

## КОГНИТИВНАЯ ПАРАДИГМА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА К ЯВЛЕНИЯМ ЯЗЫКА

Ни когнитивная наука в целом, ни когнитивная лингвистика, в частности, еще не имеют общепринятого определения в современной науке, и хотя когнитивная парадигма научного знания представляет, на наш взгляд, одно из самых перспективных направлений в исследованиях междисциплинарного характера, споры о ее конкретных целях все еще продолжаются. В нескольких работах мы уже рассмотрели подробно истоки когнитивной науки (далее — КН) и особенности ее формирования [Кубрякова 1992; 1993; 1994], а потому остановимся в настоящей главе лишь на тех аспектах КН и когнитивного подхода, которые существенны для того, чтобы понять, что мы имеем в виду, изучая в настоящей книге с когнитивной точки зрения части речи. По всей видимости, стержнем этой науки является ее направленность на получение знания о знании, и в фокусе ее внимания находятся многочисленные проблемы, связанные с получением, обработкой, хранением, извлечением и оперированием знаниями, относящиеся к его накоплению и систематизации, его росту, ко всем процедурам, характеризующим использование знания в поведении человека и, главное, его мышлении и процессах коммуникации. Такая широкая исследовательская программа означает, что КН занимается информацией о мире в самых различных ракурсах и отношениях, изучая такие сложнейшие феномены человеческого бытия, как восприятие мира и отражение воспринятого в голове человека, как строение мозга, как память и организация когнитивных способностей человека, в том числе языковая способность.

Соответственно, деятельность специалистов в области КН связана с постановкой и решением круга разнообразных проблем, касающихся работы сознания (mind) и создания ментальных моделей мира, широкого спектра ментальных, психических процессов, человеческого интеллекта и разума, устройства систем, обес-

печивающих разного рода когнитивные или же мыслительные акты и т. п. Но с какой бы стороны ни исследовались перечисленные явления, в конечном счете отличительные особенности КН связаны с тем, что область ее непосредственных интересов определяется обращением к знанию и познанию. Нередко глобальную задачу КН видят вследствие этого в том, чтобы «понять, каким образом человек с его относительно ограниченными возможностями оказывается способным перерабатывать, трансформировать и преобразовывать огромные массивы знаний в крайне ограниченные промежутки времени» [Петров 1987: 10]. Даваемые разными исследователями определения КН демонстрируют, что она может пониматься то более широко, то более узко, то более обще, то достаточно конкретно. Так, Р. Шепард полагает, что КН представляет собой науку о главных принципах, управляющих мыслительными процессами [Shepard 1988: 45], а Ф. Джонсон-Лэрд определяет КН как науку, которая ставит своей целью понять человеческий разум, а потому должна создать работающую модель этого разума, как своеобразный «дубликат» работы мозга [Johnson-Laird 1983: 11–12]. Ст. Андерсон полагает, что эта наука исследует человеческое поведение, исходя из того, что оно детерминировано некими структурами знания в его мозгу [Anderson 1988: 808], а Я. Ньютс делает акцент на необходимости познать когнитивную инфраструктуру мозга со всеми ее способностями и прежде всего — способностью говорить [Nuyts 1992: 5].

В становлении КН многими учеными подчеркивался тот неоспоримый факт, что человеческое знание и процессы познания слишком сложны, чтобы обеспечить их описание в рамках какой-либо одной науки, будь это философия, психология, логика, медицина и т. п. (ср., например, [Bruner 1988: 82; Johnson-Laird 1983: XI; Schwarz 1992: 14]). КН и возникла поэтому как наука междисциплинарная, призванная объединить усилия специалистов в разных областях знания — психологов и лингвистов, философов и логиков, специалистов по искусственному интеллекту и теории информации, по организации баз знаний в компьютерах и математическому моделированию. Но с самого начала ее возникновения особую роль неизменно отводили психологии и лингвистике, подчеркивая их значимость не только для выработки особой исследовательской программы, но и особое положение объектов их анализа — психики, сознания, языка — в самой речемыслительной деятельности человека. С развитием КН мысль об исключительной значимости **языка** для всех процессов обработки знания, для его передачи от одного поколения к другому, для роста и накопления опыта по познанию мира, по его описанию и т. д., получала все большее признание.

Объяснение такой позиции вполне понятно. «Язык, — пишет один из основателей КН Г. Харман, — главная тема в когнитивной науке. Частично это происходит потому, что язык *отражает* познание, выступая как основное средство выражения мысли, так что изучение языка — это косвенное изучение познания. Возможно также, что язык *воздействует* на познание, ибо влияет на то, какие есть у

нее или него понятия и какие мысли придут в голову ей или ему» [Harman 1988: 259]. Думается, что изучение языка через исследование частей речи — это, действительно, «косвенное изучение познания» в наиболее наглядном его варианте, ибо если даже с отдельным словом всегда так или иначе связана какая-то информация о мире, то и в классификации слов не может не отразиться ее суть и ее типы.

«Язык, — утверждает У. Чейф, — до сих пор лучшее окно в знание, ведь мы все время используем язык, чтобы выразить его... Язык к тому же наблюдаем, поддается анализу, и нам хочется думать, что он предлагает неплохую возможность анализировать и знание». «И все же, — продолжает далее этот ученый, — существуют мысли, которые очень трудно выразить словами, и при объективации которых мы сталкиваемся со значительными трудностями... существуют и такие объекты, которые не имеют привычных “кодовых” названий, и их обозначение в речи тоже может вызвать затруднения. Таким образом, приравнивать знания и язык невозможно, и модели человеческого знания, чересчур “привязанные” к языку, вряд ли имеют право на существование» [Chafe 1987: 109].

Аналогичное разъяснение делает и Н. Хомский. «Для многих ученых, — отмечает он, — изучать язык значит изучать сознание; я этого мнения не разделяю» [Chomsky 1980: 4].

Несмотря на такие понятные оговорки, совершенно ясно, что именно язык позволяет наиболее естественный доступ к сознанию, притом вовсе не потому, что все структуры сознания или же результаты мыслительной деятельности оказываются вербализованными (достаточно в этой связи вспомнить о наличии в голове человека разнообразных образов, с одной стороны, а с другой — обратиться к таким доказательствам мыслительной деятельности, которые представлены произведениями искусства, любыми артефактами, другими плодами ума). Просто мы знаем о структурах сознания только благодаря языку, который позволяет сообщить об этих структурах и описать их на любом естественном языке. Проще говоря, хотя с информацией о мире мы сталкиваемся постоянно, а получение ее осуществляется всеми органами чувств, все объяснения и об объектах и о чувствах мы получаем благодаря языку — через дискурс, общение, тексты. Подавляющее большинство необходимых сведений о мире (прежде всего — научных и теоретических) мы постигаем не в ходе нашей чувственной, предметной, практической деятельности, какой бы важной и базовой она в нашей жизни ни являлась, но в ходе деятельности, опосредованной языком. В итоге масса информации приходит к нам через учебники и руководства, через книги и лекции, через знакомство со специальной литературой, научными публикациями, газетами и журналами. Не случайно что целое направление в КН связано сегодня с решением проблемы понимания текстов и извлечения информации из речевых произведений, дискурса.

В настоящей книге мы, однако, отвлекаемся от этой проблемы, и она встает перед нами только как косвенная. Нам же важно более всего то, как соотносено в естественном языке знание (восприятие) мира с языковыми категориями, классами слов, а, следовательно, и то, как лучше исследовать эту корреляцию и какой метод анализа пригоден оптимально для достижения этой цели.

В монографии изучается в качестве центральной проблемы другая проблема КН — роль языка как «упаковки» знания, но не в дескрипциях мира, а в наречении его отдельных фрагментов, а также в последствиях этого наречения — фиксации, хранении, дальнейшей передаче знания об отдельных «составляющих» мира, а, главное, его категоризации [ср. Чейф 1983: 39; Петров, Герасимов 1988: 6; Беляевская 1994: 89].

О том, что делает язык, чтобы «упаковать» знания, очень хорошо сказано у Дж. Серля. В его известной работе об интенциональности, в которой он усматривает главную составляющую нашего сознания и которую он определяет как «то свойство многих ментальных состояний и событий, посредством которых они направлены на объекты и положения дел внешнего мира», он подчеркивает далее следующее обстоятельство. «Объясняя интенциональность в терминах языка, — пишет Серль, — я вовсе не подразумеваю, что интенциональность носит по существу лингвистический характер... Пытаясь разъяснить интенциональность в терминах языка, я опираюсь на знание языка как на эвристическое средство объяснения» [Серль 1987: 96, 100–101]. Обращение к языку в рамках КН связано поэтому и с тем, что язык являет собой едва ли не самую яркую когнитивную способность человека, и с тем, что язык выступает как универсальное эвристическое средство объяснения всего сущего, в том числе — и непосредственно языка. К тому же, как правильно отмечает Серль, «способ, каким язык представляет мир, является расширением и реализацией, посредством которого **сознание представляет мир**» (подчеркнуто мною. — *Е. К.*). Можно полагать вследствие этого, что если язык представляет мир разделенным на разные сущности — объекты, события, признаки, явления и процессы, он как бы уже одним этим утверждает экзистенцию в действительности отдельных тел, лиц, их атрибутов и т. п. Язык членит действительность, поскольку ее членит наше сознание, и делит на такие составляющие, которые оно выделило и «признало». Материалистический взгляд на вещи заключается не только в том, чтобы признавать мир существующим объективно и вне нашего сознания, но и в том, наверное, чтобы признавать, что восприятие мира и его членение происходит сообразно онтологии вещей, соответствуя реальному и объективному положению дел и в значительной мере детерминируя складывающуюся у человека языковую модель мира.

Нам близки соображения, высказанные еще в конце 70-х гг. Дж. Лакоффом, который тогда писал: «Если считать, что язык отражает тот способ, с помощью которого человек представляет себе мир, то необходима теория языка, отражающая человеческий опыт. Именно такое требование предъявляется к основанной

на опыте лингвистике: широкий круг эмпирических факторов — восприятие, мышление, устройство человеческого тела, эмоции, память, социальные структуры, сенсорно-моторные и познавательные процессы и т. п. — в значительной степени, если не целиком, обуславливает универсальные структурные характеристики языка» [Лакофф 1981: 350]. И, конечно, если к числу этих характеристик испокон веков лингвисты относили само существование в языках мира разных частей речи, то все указанные им факторы следует рассмотреть более конкретно именно по их роли для вычленения частей речи и появления у них универсальных или же близких к универсальным признаков.

Развивая когнитивный взгляд на вещи, мы не только признаем преимущества междисциплинарного подхода к такому сложному явлению, как язык, полагая, что специалисты в области КН правильно указывают на необходимость для его адекватного описания достаточно разносторонних сведений. Мы признаем и то, что сами разнообразные когнитивные способности человека образуют в его сознании некую единую инфраструктуру, куда составляющей входит и язык. Эта инфраструктура управляет интеракциональным, совместным использованием когнитивных способностей для достижения единой глобальной цели. Не обязательно считать, что язык интегрирует все указанные способности, сводит их результаты на один уровень — так, например, считает Рэй Джекендофф, — несомненно, однако, что в жизни человека разные когнитивные способности не просто кооперируют, взаимодействуют, они взаимосвязаны и взаимозависимы.

С когнитивным подходом связано не только рассмотрение в новом свете разных языковых процессов, категорий и единиц. По существу с ним сопряжено в лингвистике и новое понимание языка как такового: если к обработке текстов необходимо привлечение не только собственно языкового знания, но и знания экстралингвистического, в основе новых моделей языка должен лежать тезис о взаимодействии различных типов знания, а из этого следует, что «лингвистика уже не обладает монополией на построение общей модели языка» [Петров, Герасимов 1988: 6]. В представление о языке органично включаются сведения о том, что такое память, что такое восприятие, на каких принципах организована когнитивная, или концептуальная система в нашем сознании [ср. Демьянков 1992: 40 и сл.]. Конечно, мы вовсе не хотим этим утверждать, что в обычных описаниях языка или для проведения лингвистического анализа в неких конкретных целях перечисленные сведения тоже обязательны. Но когда речь идет о сущностных характеристиках языка, об общей модели его организации, наконец, о языке как отличительной черте *homo sapiens*, игнорировать указанные свойства уже невозможно. Думается также, что и для адекватной характеристики универсальных черт языка это *sine qua non*. Между тем наличие частей речи в устройстве языка представляет собой как раз такую универсальную черту, в связи с чем на протяжении всей книги нам приходится рассуждать о вещах, выходящих за пределы собственно лингвистики. Когнитивный подход и обеспечивает такие «выходы»,

т. е. меру разумного вторжения лингвиста в когнитивную психологию, теорию восприятия, онтогенез речи. По сути дела он означает прежде всего расширительное понимание когниции — процесса познания и его результатов, откуда и широкозначность термина «когнитивный», как обозначающего уже не только «относящийся к познанию, знанию», но и нередко синонимичного термину «концептуальный» (ибо латинское *cognitio* означает также «понятие», «представление»), а зачастую и терминам «мыслительный», «ментальный».

Возникновение КН датируется серединой 60-х гг., и с этого же времени происходит постепенное, но постоянное увеличение функциональной нагрузки термина «когнитивный». Несколько позднее с представлением о КН начинают связывать и понятие когнитивизма как направления, противопоставляемого бихевиоризму и использующего специальный набор когнитивных понятий [см., например, Pylyshyn 1984; Nuyts 1992]; иногда параллельно понятию когнитивизма в том же примерно значении используют и термин «концептуализм» (развернутую критику этого направления дает, например, Дж. Катц, — см. [Talking Minds ... 1984: 26–27, 33–44 и Nuyts 1992: 17 и сл.]). См. также подробнее [Демьянков 1992].

Понимание языка как когнитивного процесса у Т. Винограда, определение его как наиболее характерного типа когнитивной деятельности человека у Дж. Лакоффа [1988: 31] сделало излюбленной темой КН не только когнитивные способности человека в целом и языковые когнитивные способности, в частности, но и вопрос о том, как должны соотноситься между собой лингвистика и психология в рамках когнитивной науки и в каких аспектах каждая из этих дисциплин должна изучать язык.

Ясное представление о том, в каком направлении развиваются за рубежом разные мнения о поставленной проблеме, дает полемика, развернувшаяся в связи с появлением к концу 80-х гг. введения в когнитивную науку, принадлежащего одному из ведущих специалистов в области когнитивной психологии Ф. Джонсон-Лэрду [Johnson-Laird 1988]. По мнению Ст. Андерсона, облик этой науки охарактеризован автором неудовлетворительно вследствие того, что здесь «мало лингвистики» и что в книге не отражено как раз то, что для нее самой существенно, — данные о строении фонологии и грамматике и т. д. А между тем именно лингвисты обладают множеством сведений об одной из главных и сложнейшим образом структурированных систем, образующих человеческое сознание [Anderson 1989: 800 и сл.]. Именно от лингвистики в КН шли новые революционные идеи о том, как нужно изучать знание и процессы обработки информации, не ограничиваясь непосредственно наблюдаемыми явлениями на поверхности и пытаясь установить за ними нечто, стоящее на глубине. Лингвистика Н. Хомского дала пример того, как строить гипотезы о языковой способности человека и совершить переход от изучения внешних проекций языка к исследованию его внутреннего устройства, обращаясь для этого к анализу ментальных репрезентаций языкового знания (компетенции).

Конечно — продолжает далее Ст. Андерсон — не вся КН сводится к лингвистике, но значительная доля современной лингвистики уже приобрела когнитивный характер и приходится на когнитивные исследования. Этими исследованиями нельзя пренебрегать: если КН будет стремиться реализовать свою программу по изучению человеческого сознания, она не сможет обойтись без лингвистики. Верно, однако, и обратное: лингвисты тоже должны разяснять импликации своих теорий о языке для анализа человеческого мозга и не забывать о том, что язык является в настоящее время той самой единственной когнитивной системой, о которой известно более, нежели о других системах и которая как-никак уже получила стараниями лингвистов подробное структурное, формальное и функциональное описание [Anderson 1989: 809–810]. Нельзя, конечно, не согласиться с автором рецензии, когда всей своей публикацией он защищает мысль о центральном положении лингвистики в КН, ибо язык представляет собой самую существенную часть человеческого сознания — его общей когнитивной системы: мозга, разума, интеллекта. Познание ментальных процессов и всей ментальной организации без теории языка и теории языковой способности, как и теории овладения языком, просто нереально.

Отражая своего рода программу когнитивных исследований, сформулированную крупным лингвистом (типологом и грамматистом), рецензия Ст. Андерсона послужила далее стимулом для обсуждения общих вопросов о связях лингвистики и когнитивной науки в целом. Оценивая рецензию как вдумчивую и серьезную попытку разобраться в путях сближения лингвистики с психологией, один из основателей КН Дж. Миллер отстаивает в этой полемике позицию представителя другой дисциплины — психологии. Поддерживая всячески стремление ввести большее число лингвистических данных в психологию, он вместе с тем справедливо указывает на то, что не лингвисты должны описывать структуру мозга и тем более — обнаруживать ее: у них собственные задачи, относящиеся к языку. Не мысля «адекватного психологического описания ментальной жизни человека без характеристики его языковой способности», Дж. Миллер полагает все же, что в указанном феномене психолога и лингвиста интересуют разные вещи: грамматиста интересует скорее то, что может быть сказано и выражено на языке, а психолога — то, что говорится и выражается на самом деле. Они должны относиться по-разному, однако, не только к противопоставлению языковой компетенции и использования языка, но и к дихотомии структура — функция (структура мозга и функции мозга не могут быть выявлены только в ходе лингвистического анализа). Психолог считает все утверждения о языке подлежащими экспериментальной проверке, а лингвиста это раздражает: они понимают по-разному суть **объяснения** в науке. Но несмотря на существование подобных разногласий и нетождественных подходов к объектам своих наук в познании языка, усилия представителей названных специальностей должны быть объединены. Это, собственно, и происходит под эгидой КН, которая уже продемонстрировала плодотворность

такого объединения и его крайнюю необходимость [Miller 1990: особенно 321 и сл.].

Внося свою посильную лепту в когнитивную науку разъяснением одной из фундаментальных категорий лингвистики — частей речи, а значит, стремясь осуществить конкретный анализ на стыке лингвистики и психологии, мы все же хотим подчеркнуть преимущественно лингвистический характер нашей работы в том смысле, что осмыслению в ней подвергаются именно лингвистические явления и языковые факты. Когнитивный подход помогает, однако, выйти в проводимом нами анализе за пределы собственно лингвистики и несколько расширить горизонты исследования, привлекая для объяснения данных новые сведения, почерпнутые из КН и прежде всего — когнитивной психологии. В целом поэтому мы бы хотели, с одной стороны, ввести в КН «больше лингвистики» (как на этом настаивает правильно Ст. Андерсон), но с другой, и больше сведений, полученных за пределами лингвистики, ввести их в саму лингвистику и показать преимущества такого расширительного взгляда на вещи для интерпретации чисто языковых форм. Естественно в то же время, что в лингвистической работе это требует экспликации разных когнитивных концептов — восприятия, памяти, внимания, категоризации и т. п.

Не вызывает сомнения, что подключение к КН разных теоретических дисциплин и разных областей исследования вело в конечном счете к необходимости определить роль каждой из них в общем пространстве КН, и начиная с 70-х гг., можно наблюдать, с одной стороны, уточнение главных задач самой КН, а, с другой — переориентацию отдельных отраслей науки под возрастающим влиянием когнитивной науки. Подобный процесс был весьма характерным и для лингвистики. Если в рамках КН ее теоретики пытались обосновать то, почему для решения многих проблем о ментальной деятельности человека и разных аспектах его поведения принципиально необходимы языковые данные, то в рамках лингвистики многие ее видные представители учитывали, на решение каких новых задач ориентирует когнитивная психология и почему без известной переориентации самой лингвистики успеха в постижении когнитивных процессов и человеческого мышления ожидать не приходится. Ведь КН нередко называют просто «наукой о мышлении» [см., например, Виноград 1983: 126]. Этот процесс, вообще говоря, никак нельзя считать завершенным, и в настоящей монографии тоже высказываются немало соображений о том, какие новые проблемы в сфере теоретической лингвистики были вызваны появлением КН, а, главное, о том, что представляет собой когнитивный взгляд на вещи. Полагая, что лингвистические исследования носят сегодня именно когнитивный характер и являются по преимуществу связанными так или иначе с когнитивизмом, многие специалисты поэтому пытаются дать разъяснения относительно того, что же представляет собой когнитивная теория языка — это и хорошо известные работы Дж. Лакоффа и его коллег, и публикации Р. Лангкра, и исследования Т. Гивона и В. Чейфа, и новая книга

Я. Ньютса и ряд других, которые найдут критическое рассмотрение и на страницах нашей книги. Но все названные работы отражают тот несомненный факт, что в интерпретации того, что такое когнитивная точка зрения на язык, существуют значительные расхождения.

Поскольку зарождение когнитивного подхода за рубежом совпало не только по времени, но и чисто концептуально с этапами формирования и развития разных версий генеративизма, а тот значительный вклад, который внесла генеративная грамматика и лично Н. Хомский в становление КН, ни у кого ни малейшего сомнения не вызывает [ср., например, Carston 1989; The Chomskyan Turn... 1991]; важно понять, с чем была связана так называемая хомскианская революция в изучении языка и с какими новыми установками она была сопряжена. В недрах генеративной грамматики идея языка как порождающего устройства обернулась обращением к обеспечивающему порождение и восприятие речи механизму **внутри** человека, а следовательно, она была с самого начала связана с пониманием языка как главной составляющей когнитивной системы, психики. Генеративная грамматика оказалась при этом не только первым научным направлением, серьезно занявшимся вопросом о том, как репрезентирован язык в голове человека и какие ментальные структуры составляют языковую способность человека, но и направлением, нанесшим решительный удар влиянию бихевиоризма в языкознании, который, как общеизвестно, препятствовал непредвзятому рассмотрению сути стимулов и реакций в речевом поведении говорящих. Генеративизм поставил своей целью изучить язык как когнитивную составляющую мозга, все процессы, связанные с этой составляющей, и ее собственную архитектонику. Генеративизм вызвал целый поток исследований о когнитивных основаниях языка и языковых категориях, постулируя важность выдвижения новых гипотез относительно внутреннего устройства языка взамен господствовавших тогда в американском языкознании индуктивных методов его анализа.

Уже к концу 70-х и особенно в начале 80-х гг. Н. Хомский выдвинул в качестве основных задач теоретической лингвистики описание **репрезентаций** языка в мозгу человека, т. е. тех структур сознания, которыми оперирует человек в своей речевой деятельности. Предостерегая против того, чтобы выдавать общие принципы языковой способности (способности говорить и понимать услышанное) за принципы организации мозга человека в целом, он высказал свое убеждение в том, что любые убедительные результаты в области исследования языка могут оказаться чрезвычайно полезными и за пределами лингвистики [Chomsky 1980: 27]. Хотя эмпирические наблюдения сами по себе не вскрывают полностью природу языкового знания, поведение человека служит доказательством того, что подобное знание существует, и дело науки строить разумные предположения о том, из чего оно состоит [Там же: 48]. Такие предположения должны касаться устройства языка в человеческой психике, его сознании.

Интересно, что именно это теоретическое положение Н. Хомского подверглось острой критике со стороны А. Парре, подчеркнувшего неприемлемость такого «онтологизирующего взгляда на грамматику языка»; по его мнению, мысль о том, что весь аппарат грамматики существует в действительности, т. е. как некоторая реальность сознания, в котором язык обретает свое «место», кажется ему несостоятельной. Скорее мы должны поддержать более умеренный взгляд на вещи, предполагая, что соображения о грамматическом аппарате являются следствием формирования определенной **теории**, которая хотя и реконструирует гипотетически подобный аппарат, не должна приписывать ему свойства объективного существования [Parret 1979: 70; Nuyts 1992: 23]. На наш взгляд, однако, следует различать задачу реконструкции того, что соответствует «внутри нас» языку (эта задача в высшей степени сложна, но и своевременна), от того, во-первых, в каком виде мы реконструируем языковую способность и знания языка, а, во-вторых, какой статус мы приписываем этому знанию. Ведь моделью языкового знания не обязательно должна являться модель универсальной грамматики по Н. Хомскому со сложным аппаратом формальных принципов: на наш взгляд, близкий идеям Ю. Н. Караулова и тому, что мы подробно описали в наших предыдущих работах о порождении речи, грамматика в голове человека не существует «самостоятельно» или «отдельно от». Грамматика не отделена от лексики, а, наоборот, «синкретична с ней», лексикон же организован по сетевому принципу, он «представляет собой ассоциативно-семантическую сеть с включенной в нее и в значительной мере лексикализованной грамматикой» [Караулов 1987: 87; Караулов 1992: 6]. Психологическую реальность мы приписываем тем самым прежде всего репрезентациям слова со всеми сопровождающими слово знаниями о его строе, частях, семантике, особенностях употребления и включения в синтаксические конструкции разного типа и т. п. (подробнее об этом мы расскажем также ниже).

Трудно сказать, разрешима ли вообще сегодня на современном уровне развития науки проблема отражения знаний в голове человека, но постановка этой проблемы явно назрела, а знания языка могут вполне рассматриваться как более очевидный объект анализа по сравнению с другими более сложными типами знания. Ведь в лингвистике накоплено столько сведений о **проявлениях** языка в тексте и дискурсе, что здесь строить предположения о том, какой когнитивной системе в голове человека это **может** соответствовать, не значит строить что-либо на песке. Одной из таких теорий является и генеративная универсальная грамматика Н. Хомского. С начала 80-х гг. он неоднократно утверждал в своих лекциях, что лингвистика слишком долго занималась всеми внешними проявлениями языка, т. е. его экстерииоризированными формами (Э-языком), наступило время изучать язык через его интерииоризированные формы, т. е. обратиться к И-языку. А для этого теоретическая лингвистика должна решить следующие проблемы:

- какова точно природа языковой способности;
- как происходит ее использование;

- как возникает она у отдельного человека [ср. Carston 1989: 38; Кубрякова 1992: 30 и сл.; Chomsky 1991: 6].

Не сомневаясь в том, что лингвистика, действительно, должна ставить эти проблемы — хотя, безусловно, не только эти, — мы тем не менее не соглашаемся со многими **ответами** на них, данными в генеративной грамматике [ср. Кубрякова 1995]. Да и многие лингвисты, вышедшие из этого направления и работающие сегодня в области когнитивной лингвистики, выражают свое несогласие с постулатами генеративизма и подчеркивают, что их деятельность осуществляется в иной парадигме научного знания (так начинаются многие работы Дж. Лакоффа, У. Чейфа, Ч. Филлмора, Р. Лангакра). Это не мешает им считать, что ключом к познанию когнитивных способностей человека оказывается в значительной степени понятие представления знания, его **репрезентации** теми или иными структурами сознания, отражающими воспринятый человеком мир в его голове. Посвятив структурам представления знаний в языке и языковым структурам репрезентации специальные работы [ср. Кубрякова 1992; 1994], мы считаем это понятие чрезвычайно важным и для настоящей работы.

Работа мозга, мышление, есть прежде всего оперирование структурами сознания, деятельность по их активизации, связыванию, совмещению вербальных структур с невербальными, объективации тех и других. Когда мы утверждаем, что мир как-то репрезентирован нашему сознанию, мы ставим одновременно множество взаимосвязанных проблем. Часть из них относится к тому, как мы воспринимаем чувственный, предметный, реальный мир вокруг нас и в каких формах происходит его отражение; часть из них относится, несомненно, и к тому, как организована наша память, наш внутренний лексикон; другой круг проблем определяется существованием разных каналов, по которым к человеку приходит информация разных типов, в связи с чем возникают вопросы о том, как интегрируется и обрабатывается совместно информация, воспринятая разными органами чувств в текущем сознании (что нередко приписывается языку) и т. п. Но, пожалуй, самый важный круг проблем — это проблемы определения самого концепта представления, репрезентации, разных типов и видов структур сознания, что имеет прямое отношение и к нашей работе.

В ходе огромного количества экспериментов специалисты по когнитивной психологии доказали, что структуры сознания существуют, что хранятся они в упорядоченном виде, что они разнообразны по своему типу и по своей сложности и соотносительности опыта как с языковыми, так и образными единицами. В предложенных к настоящему времени ментальных моделях, конечно, еще полно неясного, но сам факт манипулирования этими структурами в процессах мышления тоже как будто бы сомнения не вызывает, как и положение о том, что подобные операции представляют собой операции с символическими структурами. В конечном счете в репрезентациях отражен опыт с чем-то находящимся «вовне», а потому они являются стоящими **вместо** чего-то — символами, или знаками. «Символь-

ные структуры и оперирующие ими процессы, — пишет Т. Виноград, — играют главную роль в формализации мыслительной деятельности», при этом «человеческий интеллект может с успехом изучаться как *материальная символическая система* (курсив в тексте автора — см. [Виноград 1983: 126—127]; ср. также [Jorna 1990: 17 и сл.]).

В такой ситуации самая большая трудность заключается в том, чтобы найти выход из заколоченного круга, образуемого при соотношении языка и сознания. Если первоначально мы утверждаем, что исследуя язык, мы получаем доступ к структурам сознания и человеческому мозгу, тогда в нашем анализе исходными данными должны быть языковые формы. Однако, приступая к исследованию языка, мы утверждаем далее, что он устроен так, чтобы оптимальным образом кодировать знания, полученные в ходе восприятия и осмысления мира, т. е. рассматриваем языковые формы как производные концептуализации мира человеческим сознанием. Мы также утверждаем, что значения языковых форм — это определенные структуры знания, это концепты, схваченные языковыми знаками, т. е. пытаемся определить сущность знаков, апеллируя к ментальным сущностям и представлениям. Что же мы определяем через что, если в одном случае считаем отправным моментом исследования объективные языковые формы, а в другом — идеальные сущности? Если учесть к тому же, что задача изучения природы языка ставится в генеративной грамматике как задача изучения ментальных состояний, как задача определения его устройства в психике говорящего, получается, что через внешние проявления языка мы должны проникнуть одновременно и в тайны мозга, и в тайны языка.

Ясно, однако, что из двух названных феноменов языка и сознания более сложен, абстрактен и менее доступен именно второй. К тому же изучен лучше и «достовернее» именно язык: его внешние проявления достаточно детально описаны во всем их своеобразии и разнообразии. Не вызывает поэтому сомнения тот факт, что материал для размышления и обобщения представляет эмпирическая данность языка [ср. Nuys 1992: 17]. Справедливы в этом отношении мысли Н. Хомского о необходимости расширить эту эмпирическую базу, хотя в этом требовании у самого Хомского отражено не намерение расширить круг изучаемых языков, а стремление подключить к этой базе данные биологического, нейробиологического, онтогенетического характера. Уйти от языковых форм, от эмпирии ни когнитологу, ни лингвисту попросту невозможно, да никому это и не удавалось. Интериоризованные формы и языка и сознания мы изучаем через объективно наблюдаемые (экстериоризованные) явления, а из этого следует, что чем полнее они изучены и описаны, тем более обоснованные и убедительные (*plausible*) предположения о их природе мы можем высказать. Возможно, что как раз относительная изученность языка, описанного по уровням, по единицам, по функциям, по передаваемым разными его элементами значениям и т. п., позволяет опираться в анализе

когнитивных способностей человека и на данные языка, и на данные языковых описаний.

Думается, что лингвистов и когнитологов объединяет задача извлечь из собственно языкового материала как можно больше сведений и о нем самом, и о том, что стоит за этим материалом. Данные о частях речи — этот языковой материал — тоже могут служить двоякой цели, свидетельствуя, с одной стороны, о том, как обычно устроен язык, а, с другой — помогая понять, какие же структуры сознания оказались «первичными» или формировались ранее других в филогенезе. Но из этого следует, что все догадки такого рода должны быть согласованы и с тем, что мы знаем о принципах восприятия и принципах категоризации воспринимаемого по разным каналам. Эмпирические данные о частях речи сегодня очень важно как бы осмыслить в новом свете, осветить их в новом ракурсе, занимаясь, собственно, уже не их сбором, накоплением и увеличением, но пытаясь выяснить с новых позиций, какую им можно дать когнитивную интерпретацию.

Отношение к эмпирическим данным всегда считалось одним из центральных вопросов лингвистической теории. Разъясняя сущность хомскианской революции, указывали обычно и на то, что Н. Хомский самым решительным образом отвергал «процедуры открытия» как связанные с анализом непосредственно наблюдаемых фактов, считая это нереалистическим [Tanenhaus 1989: 5]. Взамен этого Хомский предлагал строить дедуктивно гипотезы о строении языка, которые могли бы объяснить эти факты. Теории языка следует оценивать прежде всего по их объяснительной силе. Но жестко противопоставлять эмпирический и рациональный путь познания в науке мы считаем неправильным. Полагая, что в принципе, конечно, кроме фактуальной информации и наряду с ней в любом акте познания должны присутствовать «конструктивные факторы формирования содержания научного знания», мы поддерживаем и общие идеи о том, что «эмпирия выступает, конечно, как исходный материал формирования научных образов реальности, как импульс к дальнейшему развитию этих образов, но научное познание — это по сути своей отражение, опережающее по отношению к имеющейся наличной информации. Оно призвано открывать новые перспективы виденья мира» [Швырев 1988: 21–22]. Дедуктивно-гипотетический метод характеризует и эту книгу. Тем не менее некоторые оговорки необходимы. Наука, без сомнения, начинается тогда, когда она выделяет идеальные объекты своего познания. И все же пределы допустимой идеализации именно в лингвистике существуют: подобные объекты должны быть согласованы с эмпирией. По словам Ф. Кликса, у всех процессов абстрагирования есть и обратная сторона — отдаление когнитивных (постулируемых) структур от реальности, потеря контакта с действительностью [Кликс 1983: 281–282]. Таких потерь мы, естественно, стремимся избежать.

Процедуры нашего анализа тесно связаны с тем, что можно было бы назвать челночными операциями — от собранного огромного материала мы переходим к догадкам по поводу его возможной классификации и строим некую гипотезу о том,

в какую систему укладываются факты. От фактов, уже «нагруженных теорией», от их проверки мы приступаем далее к процессу уточнения теории и т. д. В изучении частей речи такой путь вполне реален. У нас есть обширный материал, накопленный другими исследователями и касающийся соотношения лексических единиц (слов) с их значениями. У нас есть также богатый опыт по классификации этого материала и его разнесению по разным классам слов. У нас, наконец, есть немало работ, предлагающих те или иные критерии выделения и описания частей речи как в конкретных языках, так и в общем плане и т. д. Мы, естественно, попытаемся обобщить опыт наших предшественников и выбрать из него то, что кажется нам наиболее рациональным. Мы, наконец, сделаем попытку осмыслить все такие данные как определенным образом категоризирующие и членящие мир, рисующие картину или модель мира соответственно тому, как он был репрезентирован человеческому сознанию. В процессе накопления и анализа таких сведений, в процессе извлечения их из языковых знаков с присущими им формами и содержанием мы постараемся сделать некие догадки о том, почему членение мира происходило именно этим путем, усматривая причины в том, как человек воспринимал мир. Главной целью будет при этом выявить **мотивы** обозначений в определенных языковых формах и связь обозначений с другими когнитивными способностями человека — восприятием, требованиями памяти и внимания, особенностями развивающихся у человека перцептуальных систем, и в фокусе нашего внимания будет, таким образом, находиться корреляция номинативной деятельности человека со всеми прочими видами когнитивной деятельности.

Характеризуя особенности когнитивного подхода, нередко указывают на то, что в настоящее время ему присуща сознательная ориентация на сужение области исследования в том смысле, что в исследованиях этого порядка ученые отвлекаются от факторов социального, исторического, эмоционального и культурологического характера [ср. Gardner 1985: 38]. Мы полагаем, что такая — иногда вынужденная — ориентация все же обедняет исследование. В течениях, близких генеративизму, настаивают также на формализации исследования, видя в ней залог его научности. Но можно согласиться с Р. Лангакром — ученым, который предложил первую когнитивную грамматику языка, — что с когнитивной точки зрения главным следует считать в лингвистическом анализе не его формализацию, а точное определение и разъяснение его концептуальных оснований [Langacker 1987]. Среди фундаментальных понятий грамматики, которым надо дать концептуальное обоснование, им называются в первую очередь и части речи [Там же: 1 и сл.].

Правильность более широкого взгляда на когнитивизм поддерживается сегодня появлением целого ряда интересных концепций языка, в которых отдают должное и воображению, и образному мышлению человека, и его «естественному» взгляду на мир. Многие грамматики, появляющиеся за рубежом, сознательно противопоставляются их авторами как общему потоку генеративных работ, квали-

фицируясь как антигенеративные: это и разные версии падежных грамматик, и конструктивная грамматика Ч. Филлмора (ср. их анализ [Демьянков 1992; 1994]). В целом можно поэтому полагать, что когнитивная лингвистика выступает в настоящее время как новая постгенеративная парадигма научного знания, формирующаяся под влиянием КН и характеризующаяся, как и вся КН, достаточным разнообразием теоретических позиций.

Одно из существенных различий, разделяющих генеративные и негенеративные концепции, касается вопроса о том, насколько когнитивные механизмы языка зависимы или же независимы от других когнитивных систем, обрабатывающих информацию другими видами рецепторов. Далеко не так очевидно, — отмечает, например, Дж. Лакофф, — что в языке используется «наш общий когнитивный аппарат». Во многих широко распространенных теориях языка господствует противоположное мнение: язык является самостоятельной «модулярной» (т. е. состоящей из отдельных автономных модулей) системой, независимой от остальных когнитивных систем. «Независимость грамматики от всего остального, — продолжает Лакофф, — это, пожалуй, самое фундаментальное допущение в теории языка Н. Хомского» [Lakoff 1987: 58]. См. также [Carston 1989: 40].

Однако именно это допущение представляется нам маловероятным. Как писал сам Лакофф, «предположение, что языковые способности не имеют ничего общего с другими аспектами человеческого сознания, кажется нам маловероятным. Для меня наиболее интересными лингвистическими результатами были бы именно такие, которые показывают, каким образом язык соотносится с другими аспектами человеческого существования» [Лакофф 1981: 351]. В общей дискуссии о большей адекватности модулярных или же интеракционных систем мозга [ср. Tanenhaus 1989: 17 и сл.] мы склоняемся к мнению о преимуществах последних, т. е. предпочтительности коннекционистских или же сетевых моделей.

В своей простейшей форме «семантическая сеть есть совокупность точек, называемых узлами; каждая из них может мыслиться как представление некоторого понятия... каждый узел может иметь имя» [Скрэгг 1983: 230–231]. Близкие взгляды мы находим, как мы уже указывали выше, в работах Ю. Н. Караулова, где дано подробное описание строения вербально-ассоциативной сети русского языка. Важно отметить, что сети часто мыслятся не только как отражающие лексические связи и ассоциации слов, но и как образ языковой способности в более широком смысле. Так, задавая вопрос о том, как можно представить себе образ синтаксиса, Ю. С. Степанов указывает, что синтаксис можно уподобить «обширному континууму, в котором имеется хорошо структурированная часть — сетка или решетка, состоящая из узлов (структурных моделей предложения) и линии отношений (трансформаций), связывающих узлы, и в котором одновременно имеются почти непрерывные ряды синтаксических единиц, различающихся вариациями в своем типично лексическом составе (лексическими вхождениями) и заполняющих промежутки между линиями решетки» [Степанов 1989: 7]. Хотя в нашем пред-

ставлении модель языкового знания носит более конкретный характер и почти не содержит сложных абстракций, соответствующих общим правилам — по нашему мнению, все сведения концентрируются вокруг **слова** или содержатся в образцах типовых конструкций — и в конечном итоге мы скорее разделяем мнение о пропозициональной по преимуществу форме репрезентации языковых единиц (ср. [Панкрац 1992]), центральная часть энграмм слова в общей картине ментального пространства кажется нам не вызывающей никаких сомнений.

«Существует такой единый уровень ментальной репрезентации, концептуальная структура, — подчеркивает Р. Джекендофф, — на котором лингвистическая, сенсорная и моторная информация оказывается сопоставимой (совместимой, compatible)», и такая интеракциональная модель представляется нам наиболее вероятной (см. [Jackendoff 1984: 53]). Интересно также, что в такой концептуальной структуре, которая, как считают многие ученые (ср. работы Ж. Пиаже, А. В. Запорожца, Р. Павилёниса, К. К. Жоля и др.), формируется еще до того, как ребенок овладевает языком, и хотя «...многие концептуальные сущности предшествуют и логически, и во времени любому употреблению языка, другие первоначально создаются в качестве соответствия некоторому слову» [Виноград 1983: 130]. Существующие представления о концептуальной картине мира в нашей голове и о якобы имеющихся в ней когнитивных картах должны быть уточнены, на наш взгляд, во-первых, за счет минимизации тех концептов, которые предшествуют языку, и, во-вторых, за счет признания большей значимости тех концептов, которые уже получили в языке материальную форму их объективации и, наконец, тех, которые **возникают** в мозгу человека либо благодаря обобщениям лексических значений в разные категории, либо благодаря **комбинаторике** значений в новых постоянно пополняющих язык знаках и категориях. Семантические, или, лучше, ноэтические пространства языков со своей метрикой и топологией находят аналоговое отражение в голове человека: языковая картина мира имеет свой специфический «двойник» во внутреннем лексиконе. Первая характеризуется языковыми формами, второй — ментальными репрезентациями этих форм. Следует, на наш взгляд, различать и дифференцировать языковые формы, репрезентирующие какую-либо категорию или класс единиц, — языковые репрезентации, и структуры сознания, **ментальные** репрезентации этих форм, а также установить, как те и другие между собой соотносятся.

Понимание языка как формально организованной системы логически ведет к тому, чтобы обнаружить в этой системе такие же формально устроенные категории, т. е. чтобы считать, что лингвистические классификации (а части речи — это прежде всего лингвистическая классификация слов) базируются тоже на неких формальных основаниях. Они тогда должны отвечать представлениям о категориях, господствовавшим начиная с античности. Но в естественных языках таких категорий нет. Обращение к частям речи показывает — и по литературным данным, и по эмпирическим описаниям языков, что они едва ли не всегда демон-

стрируют всяческие «непоследовательности», «противоречия», «исключения» и т. д. Уже это свидетельствует о том, что традиционный подход к ним как к логически организованным категориям не дает результатов. Но если центральные для языка классы слов устроены «естественно», может быть, формальный характер его тоже сильно преувеличен! Сказанное отнюдь не означает отказа от формальных методов исследования, но, разумеется, означает несогласие с допущениями о жестком характере моделирования в языке. Когнитивный взгляд на вещи привлекает нас своим стремлением разобраться в том, почему язык организован так, а не иначе, и в чем именно проявляются его свойства как **естественной** системы средств коммуникации и обобщения человеческого опыта.

Когнитивная точка зрения на части речи — это стремление выявить их роль в той материальной символической системе, какой является человеческий интеллект [Виноград 1983: 127], это попытка ответить на вопрос о том, какой составляющей общей концептуальной модели мира они являются, это, наконец, вопрос о том, каким образом «когнитивное расчленение мира реальности отражается в системе языковых названий» [Кликс 1983: 158]. К рассмотрению этих проблем в более детальном виде мы и приступаем в следующих частях книги.

Подведем некоторые итоги. Развитие когнитивного подхода к явлениям языка способствовало его пониманию как источника сведений о концептуальных или когнитивных структурах нашего сознания и интеллекта. По признанию многих специалистов, язык представляет собой лучшее свидетельство существования в нашей голове разнообразных структур знания о мире, в основе которых лежит такая единица ментальной информации как концепт. Концепты разного типа (образы, представления, понятия) или их объединения (картинки, гештальты, схемы, диаграммы, пропозиции, фреймы и т. п.) рождаются в процессе восприятия мира, они создаются в актах познания, отражают и обобщают человеческий опыт и осмысленную в разных типах деятельности с миром действительность. Язык выявляет, объективирует то, как увиден и понят мир человеческим разумом, как он преломлен и категоризован сознанием. Каждая языковая единица и особенно каждая языковая категория могут рассматриваться как проявление указанных выше когнитивных процессов и в качестве специфических их результатов. Именно с этой точки зрения будут рассмотрены в книге языковые категории, фиксируемые системой частей речи и каждой отдельной знаменательной частью речи. Теоретические предпосылки исследования связываются нами главным образом с теорией номинации, позволяющей проанализировать слова по их номинативному потенциалу и номинативной ориентированности на обозначение особых фрагментов мира, выделенных и осмысленных в процессах его восприятия и познания. Вместе с тем основания этой теории должны быть уточнены за счет привлечения данных, полученных в рамках развивающейся сегодня КН и относящихся, прежде всего, к новому пониманию влияния перцептуальных систем на язык и на осуществляемую в нем классификацию и категоризацию человеческого опыта.

## *Глава вторая*

### **КОГНИТИВИЗМ И ТЕОРИЯ НОМИНАЦИИ**

Хорошо известны слова Л. Блумфилда о том, что термин «части речи» традиционно применяется по отношению к наиболее обширным и существенным классам слов в языке [Блумфилд 1968: 209]. Из этого следует, что термин относится к распределению **слов** в такие группировки, которые для языка существенны, релевантны [ср. Алпатов 1990: 25]. Но вопрос о релевантности частей речи уже давно решен практикой описания языков, обширность класса не всегда характерна для отдельных частей речи (так, прилагательные в некоторых языках охватывают ограниченные классы слов, а числительные вообще можно рассматривать как достаточно замкнутый класс слов и т. п.). О свойствах же слов можно сказать очень много, и, собственно, каждое из них могло бы явиться основой определенной классификации. В настоящей главе мы рассмотрим, однако, лишь те черты, которые характеризуют слово как единицу номинации, полагая, что именно этот ракурс рассмотрения особенно плодотворен для выявления сущности частей речи.

Возможно, что известная часть лингвистов придерживается мнения о том, что более существенно для каждого конкретного языка его деление на формальные — синтаксические или дистрибутивные классы слов. Мы полагаем, однако, что в классификации языковых единиц не следует смешивать причинно-следственные связи и что причины существования у частей речи различных синтаксических и морфологических примет есть следствие выражаемых ими значений, т. е. что такое различие — результат семантической, а далее и функциональной дифференциации слов.

Приципиально важным является для нас положение о том, что сам процесс создания слов в генезисе языка трудно отличим от процесса их использования в коммуникативных целях и что в то же время он был детерминирован концептуальным осмыслением действительности и потребностью, рождающейся в совместной деятельности людей, объективировать это осмысление и сделать его достоянием себе подобных. В прекрасном обзоре Б. А. Серебренникова [1976: 24 и сл.] подробно изложены взгляды ученых, развивавших близкие взгляды, и далее мы

еще к ним вернемся. Здесь, предваряя дальнейшее изложение, мы только хотим подчеркнуть, что когнитивный подход позволяет аргументировать высказанную нами ранее мысль о том, что части речи возникают как разные назывные, т. е. номинативные классы слов, закрепляя в актах номинации разные структуры сознания.

Начало когнитивного подхода в лингвистике было положено предложением Н. Хомского рассмотреть грамматику как систему правил и репрезентаций языкового материала в голове человека. Как было впоследствии указано в специальной литературе, двумя центральными проблемами КН и когнитивного подхода к языку оказываются проблемы представления (репрезентации) знания языковыми формами и проблемы концептуальной организации знаний в процессах понимания и порождения языковых сообщений [Петров, Герасимов 1988: 7]. Неотъемлемой частью этих проблем является и вопрос о том, каким структурам сознания соответствует слово и какую роль выполняет оно в речемыслительной деятельности человека. Первая из указанных проблем является центральной и для настоящего исследования, в задачу которого входит понимание того, каким структурам знания следует отвести ведущую роль в формировании частей речи и какой опыт познания мира отражают слова разных знаменательных частей речи.

«Неформально говоря, — указывает В. З. Демьянков, — когнитивная теория — та, которая стремится учесть степень близости конкретного исследуемого феномена к сознанию» [Демьянков 1992: 39]. Когнитивный взгляд на вещи рождается, согласно нашей точке зрения, лишь тогда, когда изучаемый феномен — в нашем случае это части речи — исследуется не просто по степени его близости сознанию, но, скорее, по тем реальным связям и **корреляциям**, которые могут быть выявлены между структурами сознания или структурами знания и объективирующими их языковыми формами. Подойти к решению названной проблемы мы и пытаемся, анализируя, с одной стороны, разные типы и виды структур сознания, возникающие в процессах восприятия мира и создающие в голове человека определенную коцептуальную, когнитивную модель (картину мира), а, с другой, изучая языковые картины мира и, наконец, устанавливая по возможности корреляции между ними. Ключом к решению поставленной проблемы мы считаем совмещение данных о языковых и ментальных формах репрезентации определенных структур знания, т. е. ответ на вопрос о том, какие структуры сознания активизируются (возбуждаются) в нашем мозгу словами разных частей речи. Таким образом, основная гипотеза, выдвигаемая в книге, заключается в том, что существительные, прилагательные, глаголы, предлоги и т. п. активизируют при их использовании **разные структуры сознания** и вызывают у нас разные ассоциации, впечатления, образы, картины, сцены и т. п.: разные представления или разные типы репрезентаций. Разъяснению и конкретизации этой гипотезы и посвящается книга. Ясно, однако, что для того, чтобы подобная дифференцированная активизация структур сознания могла происходить, ей должны предшествовать дли-

тельные периоды номинативной деятельности, в ходе которых подобные структуры сознания получали свое обозначение дифференцированными языковыми формами.

Части речи, обретая свою форму для передачи разных значений как разных структур знания, оказываются поэтому со временем способными отражать не только специализацию отдельных типов значений (предметных в отличие от непредметных и т.п.), но и закрепленность подобных разных значений за разными «телами» знаков, а, следовательно, связанность — пусть и в очень общем виде — тела (формы) знака со способом представления в нем определенной семантики. Отголоски такой формальной дифференциации можно увидеть и в разном с морфологической точки зрения оформлении корней разных частей речи (во многих африканских языках корни глаголов строятся не совсем так, как корни имен, а во многих европейских языках для реализации местоименных корней используются выборочно особые фонологические комплексы и т. п.), и в сохраняющихся иногда различиях в строении корней и аффиксов или же в маркированности отдельных частей речи собственными типами альтернатив. Перекрытые поздними наслоениями в истории языков, они тем не менее существуют, доказывая существование тенденции различать знаки с нетождественными типами значений.

При такой постановке проблемы вопрос о частях речи неминуемо связывается с определением того ноэтического пространства, которое «покрывается» словами разных частей речи, ибо изучив его чисто эмпирически, мы можем делать выводы о том, какие главные концепты включены в это пространство и организуют его строение. С другой стороны, поскольку носителем значений является языковой знак, вопрос о частях речи должен рассматриваться уже не только с семантической или ономазиологической точек зрения, но и семиотически. Из всего этого следует, что части речи изучаются здесь как бы в новой, более сложной системе координат, а значительная часть описания приобретает в книге характер описания этой новой системы. В ней семиотика и семантика, ономазиология и прагматика, лексическая семантика и семантика синтаксиса — все они оказываются связанными в единый узел и как бы согласуемыми между собой. Ниже мы постараемся показать логику их синтеза, такого взгляда на вещи, при котором внутреннее единство проблем значения и обозначения, обозначения и структур знания, знака и его интерпретант и, наконец, восприятия мира в разных типах деятельности со средой, стало бы более очевидным и естественным. Распутывая этот узел, мы придаем особое значение номинативному аспекту этой проблемы, и в этом смысле продолжаем то направление исследования, которое было начато книгой о частях речи в ономазиологическом освещении [Кубрякова 1978]. Ср. также [Жаботинская 1992: 5; 34 и сл.; Харитончик 1986].

Выше мы уже отметили бегло тот факт, что ономазиологическое направление в отечественной науке являлось, несомненно, одной из ранних версий когнитивизма. Существенной его чертой являлись здесь в отличие от зарубежных вер-

сий той же парадигмы научного знания его меньшая скованность рамками узкого когнитивизма и, следовательно, более широкий подход к явлениям номинации, сообразно которому в анализ номинативной деятельности включался и эмоционально-экспрессивный аспект, и прагматика, и национальные особенности картин мира и ее культурологический аспект и т. п. [ср. Языковая номинация, I–II; Телия 1991].

Напомним, что когнитивизм за рубежом был в этот период сопряжен с сознательным отстранением от «возмущающих» воздействий на ментальные процессы эмоций, контекста, культуры и истории, — их *de-emphasis* [Gardner 1985: 38 и сл., 41; Eckardt 1993: 55 и сл.].

Не вызывает, однако, сомнения тот факт, что в работах ономаσιологического направления ярко прослеживалась тенденция отразить собственно когнитивные, познавательные моменты в номинативной деятельности и особенности создаваемых в этих процессах структур сознания, которые надлежало объективировать в актах номинации. Эта позиция была четко выражена, например, в трудах Г. В. Колшанского. «Сущность номинации, — писал он, — заключается не в том, что языковой знак обозначает вещь или каким-то образом соотносится с вещью, а в том, что он репрезентирует некоторую абстракцию как результат познавательной деятельности человека», абстракцию как отображение реальных предметов и явлений в сознании [Колшанский 1976: 12]. Вещь или явление, — продолжает он, развивая те же идеи, — это только исходное звено в исследовании искомой формы конкретного знания о предмете, за которым закрепляется то или иное обозначение. Номинация должна поэтому рассматриваться как «языковое закрепление понятийных признаков, отображающих свойства предметов» [Там же: 15–16, 19]. В другой, более ранней работе он указывает: «Словом создается возможность отчужденной формы абстракции для объективизации признака с помощью создания для его отражения отдельной материальной сущности» [Колшанский 1975: 70]. Таким образом, в преддверии акта номинации должно находиться формирование той структуры сознания, которая ищет формы своей фиксации.

В итоге задолго до того, как в работах зарубежных когнитологов были сформулированы аналогичные взгляды, поколение лингвистов было подготовлено к их восприятию трудами отечественных ученых. Ср. в этой связи концепцию «спроцированного мира», отражаемого языком, у Рэя Джекендоффа [Jackendoff 1984] или же представлений о том, что мышление организует знания посредством особых структур, которые, по Дж. Лакоффу, можно охарактеризовать как идеальные когнитивные модели фрагментов мира [ср. Беляевская 1994: 92]. Да и, собственно, мысль о том, что в номинативной деятельности наречение получают и денотаты и сигнификаты в их нерасторжимом единстве, была давно распространена во многих семиотических теориях, т. е. положения о том, что означиванию подлежат не столько сами вещи как таковые, сколько мысли об этих вещах, в той или иной форме восходили едва ли не ко времени работ первых специалистов по те-

рии номинации (ср., например, идеи Р. Шухарда о союзе значения и обозначения). Но главное, по всей видимости, заключается в том, что акт номинации трактовался не просто как особый речемыслительный акт, что тоже было, разумеется, очень важным, но как акт познавательный и закрепляющий постигнутое в форме языкового знака.

Приводя слова Г. В. Колшанского, мы бы хотели подчеркнуть в них указание связанности акта номинации и с абстрагирующей деятельностью ума и с вещным миром. Акт номинации, который подлежит рассмотрению в разных аспектах (например, как отражение особых интенций говорящего, его прагматической ориентированности, ситуативной зависимости и т. п.), с семиотической точки зрения, в плане семиозиса, может изучаться как устанавливающий сложную цепочку отношений между телом знака и тем, что находится **вне** знака. Знак соотносит с ним самим нечто за его пределами. В качестве этого «нечто» выступает предмет обозначения. Как указывает А. Ф. Лосев, «всякий знак есть отражение предмета», при этом «смысловое отражение»: получив смысл «от тех предметов, которые они обозначают», знаки отбрасывают затем некую тень и на предмет. При этом «предметы эти, бывшие до тех пор предметами неизвестными, малоопределенными и для человеческого сознания туманными, только здесь впервые получают для себя свой смысл» [Лосев 1976: 105–106]. Удивительное свойство акта номинации заключается, по-видимому, как раз в том, что являясь первоначально актом индивидуальной деятельности человека и объективируя в сущности субъективную структуру сознания, сложившуюся по определенным причинам в уме одного человека, этот акт по своему материальному результату — сформированному языковому обозначению — становится достоянием говорящих на том же языке, позволяющим соотнести тело знака со сложившейся структурой сознания, определенным значением. Благодаря словам такие сложившиеся структуры сознания, объединения концептов, приобретшие характер гештальта, целостного объединения, проникают в ментальные лексиконы многих людей и позволяют им оперировать новыми структурами сознания. Та трансформация чего-то дотоле неизвестного или «туманного», о которой писал А. Ф. Лосев, во что-то оформившееся, определенное, **отдельное** происходит именно благодаря созданию знака, притом знака, тоже обособленного от других и потому позволяющего предположить своей отдельностью такую же отдельную и отличную от других структуру знания.

Работая постоянно с языками развитыми, богатыми всевозможными обозначениями для мельчайших деталей внешнего и внутреннего мира, трудно вообразить, что происходило в актах первичного наречения мира, когда, собственно, весь мир выступал для человека как непознанный, малорасчлененный языковыми обозначениями и когда вследствие нахождения самого человека на определенной ступени его эволюции индивидуация вещей, лиц, животных, явлений природы и т. п. еще не достигала современного уровня. И все-таки нам надо понять как раз то, как все окружающее, «для человеческого сознания туманное»,

останавливало постепенно, попадая в орбиту деятельности, внимание человека, позволяло обобщать и идентифицировать воспринятое, выделять из этого континуума отдельные концепты или группы концептов в зависимости от того, с какими из них ассоциировались те или иные предметы и другие сущности из этого окружения. Фиксация связи предмета и его имени, явления и его обозначения, структуры сознания и ее объективного (материального) языкового аналога — это тоже весьма важная сторона акта номинации, его содержательный результат.

В своих предыдущих работах по номинации мы уже подчеркивали речемыслительный характер этого процесса и его последствий, делая основной акцент на когнитивной подоплеке акта номинации и выборе средств реализации его смыслового задания. Иными словами, нами более всего изучались когнитивные основания номинации — подведение обозначаемого под определенный базис, осознание ономаσιологического признака и предиката как мотива обозначения и т. п. Сегодня мы бы хотели подчеркнуть, что в меньшей степени акт номинации зависит и от **коммуникативных** факторов, т. е. от того, в какой роли мыслится его результат как единица дискурса. Возвращаясь еще раз к выбранному нами термину для определения частей речи, мы бы поэтому хотели указать на то, что в названии «когнитивно-дискурсивные образования» содержится прямая отсылка к их существенным признакам. Проще говоря: новые обозначения создаются не только для того, чтобы фиксировать результаты познавательной и эмоциональной деятельности человека, но и для того, чтобы сделать эти результаты достоянием других людей. В иерархии целей и задач номинативной деятельности трудно поставить на первое место либо когнитивные, либо коммуникативные задачи, поскольку в принципе они не должны расходиться. Но поскольку акт номинации имеет своего инициатора и создателя и поскольку в целом ряде случаев синхронная реконструкция такого акта является возможной, реальные мотивы конструирования новой единицы номинации могут различаться. И все же в акте номинации всегда прослеживается его прагматическая направленность — желание что-то объяснить своему собеседнику, связать свои интенции со знанием адресата и его характеристиками, эмоциями. Нахождение средств подобного воздействия на адресата требует когнитивных усилий, а сами побуждения говорящего — следствие его участия в дискурсе и адресатной направленности акта общения.

Говоря о том, что выбирая любую грамматическую единицу или конструкцию в речи, мы одновременно выбираем способ описания ситуации и ее образ, Р. Лангакер справедливо отмечает, что это совершается «в коммуникативных целях» [Langacker 1991: 12]. Но сказанное им можно явно распространить и на создание любой единицы: конечная ее ценность определяется именно тем, насколько хорошо она будет служить передаче данной структуры знания не только в системе языка в целом, но и в том фрагменте речевой деятельности, для участия в котором она была создана. Предназначение языка — быть инструментом передачи зна-

ний в актах общения, служить выражению значений в коммуникации, дискурсе, ярко прослеживается и в номинативной деятельности.

Труднее всего в реконструкции номинативной деятельности ответить не столько на вопросы о том, какие объекты и явления привлекли первыми внимание человека — в конце концов связь имен с предметами и ситуациями дает возможность установить этот факт, сколько на вопросы о том, как сформировались понятия объекта, движения, пространства, времени и т. п., разновидности и детали которых стали затем служить предметом номинации. Когнитивный подход дает эту возможность, т. е. разрешает выдвинуть определенные предположения о том, почему окружающий человека мир оказался увиденным, воспринятым и осмысленным в том, а не ином виде, — через сетку определенных координат, устанавливающих отличие объектов от процессов, процессов от признаков и т. п. (см. подробно часть III наст. разд.).

Суть эмического принципа в языке, замечает Дж. Хайман, заключается в том, чтобы ради целей классификации многие вещи, отнюдь не тождественные, рассматривались бы так, как если бы они были идентичными [Haiman 1985: 16–17]. Такая способность к абстракции равна способности чем-то пренебрегать, опустить какие-то детали и отсечь их. Но как именно протекает подобный процесс генерализации и «отсечения» лишнего? Почему одно отбрасывается, а другое, напротив, становится ядром остающегося? Частично ответы на эти вопросы дает теория восприятия, на которой мы подробнее остановимся ниже, частично — теория естественной категоризации, которая тоже будет нами специально рассмотрена, но, разумеется, и конкретные наблюдения за языком и результатами актов номинации, а также — особенностями протекания номинативной деятельности. Методика такого наблюдения была выработана нами для так называемой синхронной реконструкции словообразовательных актов и восстановления того, что мы называем языковой картиной мира.

Поскольку языковая картина мира создается в ходе номинативной деятельности, характер соотношения концептуальной и языковой систем лучше всего изучать, исследуя саму эту деятельность и устанавливая в процессе такого анализа и направление номинативной деятельности на обозначение вполне определенных фрагментов мира (ср., например, [Заботкина 1997]), и реальные средства и приемы номинации, и национальный и культурный колорит происходящего, и, наконец, причины, мотивы и интенции говорящих. Изучение более общих свойств языковых картин мира разных языков помогает пролить свет и на некоторые, по видимому, универсальные их характеристики (ср. [Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1991]), среди которых нас здесь интересуют принципы ее организации и строения.

Языковая картина мира — это особое образование, постоянно участвующее в познании мира и задающее образцы интерпретации воспринимаемого. Это — своеобразная сетка, накидываемая на наше восприятие, на его оценку, совокуп-

ность обозначений, влияющая на членение опыта и виденье ситуаций и событий и т. п. через призму языка и опыта, приобретенного вместе с усвоением языка и включающего в себя не только огромный корпус единиц номинации, но в известной мере и правила их образования и функционирования. В то же время языковая картина мира — это проекция концептуальной системы нашего сознания, куда, возможно, входят как некоторые врожденные концепты, так и концепты, сложившиеся в ходе предметно-познавательной деятельности, и, наконец, концепты, вычлененные из повторяющихся в семантических структурах слов объединений значений.

В формировании языковой картины мира, складывающейся у говорящего по мере того, как он овладевает родным языком, важную роль с лингвистической точки зрения приобретает внутренний лексикон, куда «записываются» усвоенные слова вместе с их свойствами, или система, именуемая иногда словесной памятью. Фактически здесь оказывается репрезентированным постепенно коллективный опыт говорящих по индивидуации разных объектов мира и их категоризации и классификации. Грамматика вступает в свои права и во внутреннем лексиконе, поскольку основная единица номинации — слово — включается во внутренний лексикон вместе с присущими ей грамматическими, а значит, объяснительными значениями, в том числе — и со значениями «своей» части речи.

Поскольку, как мы уже говорили выше, в обозначения подведена лишь определенная часть информации об обозначаемом объекте, сами обозначения выступают как метонимические единицы, т. е. как единицы, представляющие **весь объект** через **часть** его значений. В этом отношении семантическая и ономаσιологическая структура слов, неполные по существу (т. е. отражающие выборочно свойства обозначенного объекта), служат тем не менее для представительства объекта в целом и потому «открыты» для пополнения их новыми семантическими признаками в процессе развития структуры знания об объекте. Слово, отражая **часть** знаний об объекте — их обычно и фиксируют словари, — способно при необходимости использоваться в новых значениях, отражающих новое виденье объекта или помещение его в новую структуру деятельности и т. д. Под крышу одного и того же знака можно подвести любые энциклопедические знания об объекте, но для словаря отбирают знания, связываемые с употреблением слова в типовых контекстах и окружениях. Замечательный феномен памяти слова обеспечивает удержание во внутреннем лексиконе сведений, связанных со словом во всем разнообразии и гетерогенности подобных свойств, начиная с особенностей его формальной организации и фонологических черт, кончая семантическими деталями его использования и синтаксического функционирования (валентность, сочетаемость и т. п.). Таким образом, за словом (его репрезентацией во внутреннем лексиконе — его энграммой) стоит всегда значительная совокупность знаний о слове как языковом знаке с его интерпретантами, но также и набор знаний об объекте, названном данным словом.

«Память, — пишет А. А. Леонтьев, — понимается как психическая функция системы следовых состояний нервно-мозгового субстрата» [Леонтьев 1979: 58]. Чтобы охарактеризовать эту «систему следовых состояний», когнитологи проделали немало интересных экспериментов, в ходе которых были убедительно продемонстрированы разные структуры сознания — как языкоподобные, так и образные, картиноподобные [см., например, Paivio 1971; 1986]. К одним относятся разного рода образы, картины, рисунки, «слежки» или отпечатки чувственных отображений объекта и т. п., к другим — отображения символов, знаков, в связи с чем иногда противопоставляют репрезентацию объекта и его символизацию [Бейтс 1984: 96]. Как отмечает Э. Бейтс, репрезентации связаны с памятью на отсутствующие в поле зрения объекты и их пространственное расположение, на схемы действий с ними, и они по своему типу скорее «статичны»; символизация же сводится к созданию облегченного ментального «следа» объекта, знака, «на место которого можно подставить весь объем знаний для целей когнитивных операций более высокого уровня» [Там же: 96]. Поэтому, подытоживает Бейтс, — «репрезентация создает ментальные целостности, символизация отбирает какие-то части, которые должны представлять это целое».

Это исключительной важности положение мы истолковываем и в том смысле, что хотя в любом обозначении как языковом знаке (символе) нечто целостное (объект) представлено выбором из гештальта определенных его составляющих (сторон, аспектов, признаков, характеристик и т. п.), это создает дополнительные преимущества в использовании символов: «в ментальном плане, по-видимому, манипулировать символами легче, чем в рамках одной операции манипулировать всем, что мы знаем о явлении или событии, которые представлены символами» [Бейтс 1984: 96]. Символ при необходимости «вытаскивает» из памяти именно тот объем знания, который нужен прагматически человеку в конкретной ситуации. Представьте себе, что бы было, если б в момент употребления слова мы вспоминали все, что можно связать с ним, полностью!

«...Обозначение, — указывал совершенно правильно Р. Титоне, — представляет собой особый когнитивный феномен», и потому «символы должны быть соотносимыми с особой когнитивной структурой» [Титоне 1984: 342]. С какими же когнитивными структурами надо соотносить слова? — Вообще говоря, лингвистике известны ответы на эти вопросы, и все, кто занимался лексикографической работой, изучал семантические и ономаσιологические структуры слова, исследовал понятие памяти слова и так или иначе пытался эксплицировать все, связанное и ассоциируемое со словом, знает и то, какие сведения входят в знание слова.

Прекрасный итог таких знаний обобщен в исследовании Дж. Миллера и Ф. Джонсон-Лэрда, когда они утверждают: значение слова определяет круг объектов или явлений, к которым это слово может быть отнесено; оно инкорпорирует данные о восприятии и перцептуальных характеристиках обозначенного и его

отношениях с другими объектами и явлениями в мире; оно фиксирует данные о функциях и назначении того, что обозначено словом; значение слова «может привести вас ко всему тому, что вы знаете об обозначенном. Оно позволяет доступ к энциклопедической информации в долговременной памяти» и т. п. [Miller, Johnson-Laird 1976: 702].

Аналогичный итог мы обнаруживаем и в обобщающей работе Н. Ю. Шведовой, посвященной описанию активных потенциалов, заключенных в слове [1984]. Она указывает, что слово, выступая, с одной стороны, как единица лексической системы, а, с другой стороны, как единица системы грамматической, несет на себе отпечаток и той, и другой. Как единица лексическая слово обладает лексическими значениями, которые могут уходить в далекое прошлое, а могут быть современными. В целом оно отражает изменения в структуре знания об обозначенном и сохраняет отчасти опыт предыдущих поколений. Это значит также, что под одно обозначение подводятся разные обозначаемые и что номинативная, репрезентативная функция слова оказывается весьма сложной. Слово репрезентирует к тому же не только мир вещей, но и те лингвистические классы, по которым эти вещи распределены в языке: слово является представителем своей части речи, своего лексико-семантического разряда и, наконец, тех обязательных грамматических значений, которые эту часть речи отличают. Оно одновременно «знаменует» и «служит», выполняя различные связующие и текстообразующие функции [Шведова 1984: 7 и сл.].

Демонстрируя имевшую некогда объективацию структуры сознания при ее наречении, сосредоточенность сознания на определенном объединении концептов (как соответствующих какому-то реальному объекту в мире, так и объекту воображаемому, конструируемому его умом), слово представляет собой форму «презентации и актуального удержания знания в индивидуальном сознании» [Крюков 1988: 27]. В принципе для нас существенно при этом, что слово выступает как представитель наличной в языке категории [ср. Беляевская 1994: 91]. Природе этих категорий мы и хотим прояснить в своей книге. Предпосылкой обсуждения этой проблемы является для нас мысль о том, что если символизация заключается в отборе таких аспектов объекта, которые могут затем представлять весь объект, т. е. репрезентировать целостность в системе, репрезентирующей весь мир, — языковой картине мира, внутреннем лексиконе, памяти — в акте наречения должны быть выбраны такие релевантные части (аспекты) объектов, которые характеризуют самые общие свойства их бытия во времени и пространстве. В качестве подобных системных оснований языковой картины мира и ее ментальных аналогов — главных ее координат — мы и рассматриваем концептуальные базы назывных частей речи, а метонимически и части речи как таковые.

Чтобы говорить о мире и описывать его, надо первоначально иметь средства такого описания и названия для описываемого. Образованию номинаций, разных по своей протяженности и сложности, служит номинативная деятельность

человека. Но в итоге этой деятельности — в результате «крещения» объектов и явлений — фактически происходит не только образование новых имен. С возникновением названия и репрезентацией этого языкового знака во внутреннем лексиконе говорящего мир, по меткому выражению А. Р. Лурия, как бы удваивается, ибо объект оказывается отраженным в голове человека тоже дважды — один раз в виде представления о нем самом (например, в виде его визуального образа), в виде идеи объекта, а вторично — в виде энграммы его ярлыка, названия, имени (чаще всего — слова, но нередко и несколькословного обозначения, каких теперь немало особенно в науке, технике, публицистике и т. п.). Заместителями объектов в голове человека могут, соответственно, в процессах мышления выступать как вербализованные, так и невербализованные (концептуальные) единицы. Названия служат метками разных ипостасей самого объекта: в мире действительном, когда имена соединяют реальный объект с его языковым обозначением, и в мире психическом, когда имя объекта указывает на его смысл, его идею, структуру сознания. Номинативное пространство языка выполняет поэтому довольно сложные функции, одной из которых является функция служить языковой картиной мира. Подобно географической карте, изображающей на одной плоскости разные рельефы местности и использующей двухмерные измерения для передачи трехмерных представлений, языковая картина мира «картирует» прежде всего отдельные единицы номинации как точки номинативного пространства, но за каждой такой точкой и тем более их группировками стоят разные «рельефы». Есть в языковой карте своя «суша» и свои «водные пространства» (ср. оппозицию назывных и неназывных слов), есть «дороги» — связи и отношения между словами и т. д.

Развиваемая нами концепция внутреннего лексикона (ср. также [Кубрякова 1991; 1993]) и памяти [Кубрякова 1990] строится не только на признании центральной их единицей слова, но и признании особой роли в свойствах слова его номинативного потенциала, его ономаσιологической и семантической структур, т. е. способности слова репрезентировать и заменять в сознании человека определенный осмысленный им фрагмент действительности, указывать на него, отсылать к нему, возбуждать в мозгу все связанные с ним знания — как языковые, так и неязыковые — и в конечном счете оперировать этим фрагментом действительности в процессах мыслительной и речемышлительной деятельности.

Хочется специально подчеркнуть, что в число указанных знаний входит также как схема действия с реальным объектом, обозначенным словом, так и схема действия со словом как таковым. Этим объясняется, почему слово выступает не только как носитель определенных знаний об объекте, но и как представитель определенного **правила** обращения с ним и стратегий его нормального использования в дискурсе и тексте. Из этого также следует, что за словом стоят знания о его включении в синтаксическую конструкцию и/или способах ее линейного

развертывания, что делает слово не только средоточием грамматических и семантических, но и дискурсивных свойств.

Подобное виденье слова ярко отражено во всех теориях лексических грамматик и связано непосредственно с тенденцией к лексикализации грамматики, в чем мы усматриваем одну из ведущих тенденций современной лингвистической мысли. Если раньше подчеркивали, что слово является сквозной единицей языка (А. И. Смирницкий), то когнитивный подход позволяет утверждать, что слово выступает также как кардинальная единица языковой картины мира, нашего внутреннего лексикона и, таким образом, всей языковой способности, причем связь языковой картины мира с концептуальной осуществляется именно через посредство слова. «Я убежден в том, — пишет Ч. Филлмор, — что многие из употребляемых нами слов подобны именам вещей и имеют такие значения, о которых реально нельзя говорить без отсылок к знанию об этих вещах» [Fillmore 1984: 89].

Рассматривая соотношение концептуальной и языковой моделей мира и определяя первую как «язык мысли», «язык мозга» — *lingua mentalis*, — современные ученые расходятся как во мнениях относительно генезиса этих систем, так и относительно природы и статуса каждой из них и корреляций между ними. Так, Дж. Фодор в двух своих известных работах о языке мысли и модулярности мозга [Fodor et al. 1974; 1983] высказывает мнение о том, что люди обладают знанием множества концептов врожденно, что вся когнитивная деятельность протекает как операция с ментальными репрезентациями, по своей природе символическими. В отличие от многих когнитологов он считает, однако, что подобные репрезентации не сохраняют сходства с тем, что есть в действительности: это некие абстрактные единицы, не связанные обязательным конфигурационным сходством с тем, что они денотируют (ср. подробнее [Gardner 1985: 81 и сл.]).

Одновременно Фодор полагает, что «язык мысли может быть очень близок естественному языку. Вполне возможно, что средства (ресурсы) внутреннего кода довольно прямолинейно представлены в средствах тех кодов, которые используются нами для коммуникации... это объясняет, почему естественные языки легко выучиваются» [Fodor 1975: 156]. Такое заключение может многих поставить в тупик и вряд ли его следует воспринимать серьезно, как и все мысли о богатстве врожденных идей и их разнообразии (ср., например, полные иронии высказывания А. Вежбицкой о том, насколько серьезно можно воспринимать указания Н. Хомского о разветвленной системе врожденных идей применительно к таким концептам как «карбюратор» или «электричество»).

Понятие врожденности, справедливо отмечает Я. Ньютс, должно в определенной форме приниматься всеми нами (в биопрограмму человека входит, во всяком случае, способность образовывать концепты, способность говорить и мыслить и т. д.), но многих шокирует та крайняя степень, которую приняло это положение в работах Н. Хомского и его последователей [Nuyts 1992: 161 и сл.]. Вообще говоря, именно от того, какие идеи считаются врожденными, зависит и тот набор при-

митивов, который принимается для языка мозга и/или с помощью которого может создаваться специальный метаязык коцептуального и семантического описания языка (ср. работы Ю. Д. Апресяна, А. Вежбицкой, Р. Джекендоффа, М. Бирвиша и др.). Интересно, однако, что даже и самые умеренные версии врожденности языка находят своих противников: так, А. Гетин считает, что если наиболее важная для системы языка единица — слово — придумывается человеком и возникает в актах его креативной номинативной деятельности, таким же изобретенным и придуманным кодом следует считать и весь язык в целом [Gethin 1990: 218, ср. также 200 и сл.]. Слова же придумываются для того, чтобы назвать нечто **внутри** нас, а такие структуры появляются с опытом познания мира.

В этом положении есть какая-то доля истины, однако не каждое слово раскрывает свою историю даже при его этимологическом анализе. Тем ценнее оказываются данные, которые реконструируют такую историю либо в диахронической перспективе (см., например, [Топорова 1985]), либо в плане современном, когда прослеживается возникновение неологизмов или же реконструируется синхронный номинативный деривационный акт. Поскольку нас интересуют когнитивные основания всех указанных процессов, мы используем саму реконструкцию словообразовательных актов, — ведь они демонстрируют нам деривационную историю мотивированных слов, а следовательно, разрешают понять мотивы, условия и средства образования новых названий. Определенная часть нашей книги и будет далее посвящена такому специальному анализу, позволяющему также выявить роль категориальных, частеречных значений в процессах словообразования и словосложения и судить о конкретном характере каждого из этих значений по результатам деривационных актов. Не вызывает сомнения, что именно мотивированные с синхронной точки зрения слова, т. е. слова с прозрачной и расчлененной семантикой, могут служить прекрасным источником сведений о том, какие структуры знания фиксируются в слове в момент его создания, при «первичном» обозначении объекта, и каким интенциям говорящего отвечает подобное создание слова. Лексические инновации и представляют собой, собственно говоря, отражение особой техники введения в обиход новых понятий, возникающих в целях удобного и емкого хранения информации, причем для осуществления и концептообразующей, и концептоопределяющей функции одновременно [Lipka 1990: 63].

Таким образом, когнитивный подход и теория номинации тесно между собой связаны, поскольку одним из важнейших вопросов последней является вопрос о том, какая часть знаний об объекте, переработанная или перерабатываемая сознанием и превращающаяся постепенно в концепт объекта, получает отдельное наименование, или, в других терминах, о том, совокупность каких смыслов становится поводом для их объединения и подведения под определенную материальную последовательность — «крышу» (тело) знака с последующей апробацией обществом скореллированного с этим телом знака его языкового значения. Осмысление акта

номинации с когнитивных позиций означает поиски и нахождение ответа на вопрос о том, какие наборы концептов и почему вербализуются в данном языке и какая конкретная языковая форма выбирается при этом для решения задачи. Можно полагать также, что так как теория номинации формировалась в отечественном языкознании для освещения многих из указанных проблем, она сама может рассматриваться как вариант когнитивной теории, а ее достижения могут быть использованы для дальнейшего прогресса и развития КН. Более конкретно связи КН с теорией номинации могут изучаться также и по другим линиям.

Так, например, обращает на себя внимание возможность изучать влияние наименований на когнитивное развитие ребенка в онтогенезе. Как обобщает сведения о соотношении когниции и языка П. Меньюк, в настоящий момент представлены три точки зрения по вопросу: согласно Ж. Пиаже, когнитивное развитие происходит как поэтапный процесс, в котором сенсомоторная стадия опережает стадию более конкретных действий с объектами, и в принципе когнитивное развитие опережает языковое. Понимание слова предшествует его использованию, а это означает, что ребенок уже относит названия к каким-то элементам опыта и репрезентациям. Согласно Х. Вернеру, главные успехи в когнитивном развитии ребенка связаны с его социализацией, и они проявляют явную зависимость от перцептуально-двигательного опыта ребенка. К символизации ведет именно этот опыт. Дальнейшие ступени развития — концептуальная и аналитическая — зависят уже от языка, получаемого ребенком от взрослых в ходе их интеракции. Процесс усвоения названий облегчает формирование абстрактных репрезентаций объектов, без которых абстрактное мышление невозможно. Наконец, по Л. С. Выготскому, языковое и когнитивное развитие происходят первоначально раздельно, но с двухлетнего возраста одно влияет на другое, а ярлыки вещей становятся источниками обобщенных сведений об объектах (см. [Меньюк 1988: 48–56; McShane 1991]).

Исследования, подобные проанализированным выше, помогают понять, какие знания обретает ребенок, осваивая лексикон, т. е. знакомясь с обозначениями вещей и процессов: помимо знаний о денотате обозначений, ребенок усваивает иерархию отношений лексических единиц — суперординацию и субординацию названий, а, следовательно, понимает характер родо-видовых связей в мире и языке и те генерирующие категории, под которые подводятся лексические единицы. Поскольку не у всех слов есть визуальные аналоги, образы, и не всем могут сопутствовать сенсорные представления, не все слова могут вызывать их при своем употреблении, а из этого следует, что для слов типа «думать» и более сложных абстрактных понятий референциальная теория значений менее удачна. Трудно, например, определить, под какую категорию подводится такое обозначение как «стол», но, по всей видимости, при возможном различии в реальных репрезентациях этого объекта люди одинаково понимают это слово именно потому, что они понимают его отнесение к категории объектов [Меньюк 1988: 138]. Но это зна-

чит, что концепт объекта предвосхищает в своем появлении и генезисе его конкретные обозначения. Строя гипотезы о концептуальных основаниях частей речи, надо поэтому строить предположения о том, какие концепты являются врожденными или, что кажется нам более предпочтительным, выступают ранее всего в развитии детей.

Представляется, что путь анализа когнитивного и языкового развития у детей весьма перспективен уже в той мере, что он позволяет делать предположения о том, что дети познают чисто индуктивно и что, напротив, познать в актах индуктивного мышления просто невозможно. Одна из поучительных работ такого рода — статья о том, как развивается система общения у глухонемых детей [Goldin-Meadow, Mylander 1990]: авторы не случайно озаглавили ее «За пределами данных на входе». Сведения онтогенетического характера будут нами использованы и тогда, когда далее мы остановимся на установлении прототипических характеристик существительных и глаголов.

Используя в книге гипотетико-дедуктивный путь анализа, мы, однако, не считаем возможным отказаться и от индуктивных методов исследования. Их применение кажется особенно продуктивным как раз при изучении реального протекания актов номинации, т. е. при извлечении сведений об условиях, механизмах, предпосылках и результатах этих актов. Отсюда то огромное значение, которое имела вся теория номинации как применительно к словообразованию, так и применительно к синтаксису (Н. Д. Арутюнова), когда непосредственному анализу были подвергнуты такие структуры, которые служили обозначению ситуаций, событий, фактов и т. п. Очевидно в то же время, что за их обозначениями стоят уже не индивидуальные сущности, а их группировки, и что в таком случае прежде чем изучать номинацию высказыванием, предложением, надо изучить то, что образует их костяк и входит в область пропозиции, объединяющей особой функцией сами индивидуальные сущности (отдельные аргументы). См. подробнее [Панкрац 1992].

Можно спорить о том, что представляло собой в генезисе языка диффузное имя и чему оно соответствовало — слову или предложению. Однако, что бы ни называла такая единица (предмет или ситуацию, событие или эмоцию), она называла обозначаемое нерасчлененно, целостно, но все же называла. В этом смысле номинативная, репрезентативная функция языка может рассматриваться как опережающая его другие функции или, возможно, как выступающая в нерасторжимом единстве с функцией коммуникативной, которая, совершенствуясь и эволюционируя, вызывала превращения диффузного имени в конструкцию, разводящую «название» (топик) и «истолкование» (коммент). Такой конструкцией и становится формируемое на основе пропозиции высказывание, или предложение, в котором предикат приписывает субъекту некий вычлененный из него признак и в котором идентифицирующее и характеризующее начала не только дифференцируются материально и позиционно, но и обретают для своего выражения раз-

ные языковые формы — части речи. Подобная трактовка носит когнитивный характер и объясняет возникновение частей речи, так сказать, на когнитивных и рациональных основаниях. Но высвечивание в ней номинативной функции, значимости наречения отдельных фрагментов мира и т. п. — все это связывает в единый узел проблемы когнитивизма с проблемами теории номинации и позволяет считать, что решение хотя бы некоторых когнитивных проблем вне понимания роли и природы актов наречения мира кажется нереальным.

Завершая эту часть книги, хотелось бы отметить, что если в отечественном языкознании теория номинации разрабатывалась с середины 70-х гг. и органично перешла затем в серию работ о человеческом факторе в языке и языковой картине мира, в зарубежном языкознании ономаσιологическая тематика привлекла к себе внимание значительно позднее. Здесь проблемы номинации начинают интересовать ученых уже тогда, когда когнитивизм приобретает достаточно определенные формы и когда в его рамках развиваются такие направления, как прототипическая и фреймовая семантика, т. е. тогда, когда само когнитивное виденье языка уже приводит к серьезным изменениям в понимании семантики. Хотя характеристика особенностей ономаσιологических исследований в разных зарубежных школах выходит за пределы настоящей книги, некоторые из них могут пролить свет и на ставящиеся в ней вопросы. Одним из первых ученых, поставивших вопрос о том, как может именоваться ситуация локации и перемещения объектов и какие концептуальные структуры подводятся при этом в разных языках под глагольные корни, был Л. Телми (см. [Talmy 1985]). Работы Л. Телми способствовали пониманию сложности тех концептуальных структур, которые могут быть переданы глаголами, и продемонстрировали те концепты (направления движения, точки отсчета, перемещения фигуры, способа перемещения и некоторых других), которые фиксируются глаголами. Интересно отметить, что главным концептом в моделях описываемых глаголов автор считал либо идею движения, либо идею местонахождения объекта: первый концепт Телми характеризовал с помощью английского глагола **move**, второй — с помощью глагола бытия **be**. По существу им была совершена попытка выделить в составе глаголов определенных классов их концептуальное ядро.

В этом же свете можно рассматривать и когнитивную грамматику Р. Лангакра в той ее части, где им анализируются концептуальные структуры, стоящие за существительными и глаголами, и где он пытается определить схематически, как обозначаются в языке сущности трех типов: вещи, процессы и атемпоральные свойства. По его мнению, структура, соответствующая представлению о вещи, обозначается с помощью существительного. Однако референтами существительных являются не столько сами физические объекты, сколько некие когнитивные события, соответствующие их восприятию: выделению ограниченного фрагмента реальности в определенной области знания [Langacker 1987: 183 и 189].

Вопрос о том, «как обретают люди ярлыки для концептов, не имеющих ранее обозначений, или для концептов, которым нужны новые обозначения», считается центральным и для исследования Б. Хейне, У. Клауди и Фр. Хюнмейера [Heine, Claudi, Hünne Meyer 1991: 27], в котором речь идет, по сути дела, о том, как конкретные лексические единицы приобретают постепенно более абстрактные грамматические значения. В качестве примеров грамматизации они рассматривают переход от полнозначных глаголов к вспомогательным, случаи превращения обозначений частей тела в предлоги, развития у таких глаголов как «ходить» (англ. *go*) значений будущего времени и т. п. Подчеркивая, что процесс грамматизации представляет собой проявление когнитивной активности человека, они связывают саму эту деятельность со способностью человека совершать концептуализацию и освоение более сложных абстрактных сущностей через более простые, конкретные, лучше знакомые. Для нас имеет исключительное значение общий вывод авторов о том, что вербализации абстрактных понятий или концептов всегда предшествует вербализация конкретных концептов из числа определенного ряда «примарных» обозначений — названий частей человеческого тела, некоторых активных и стативных глаголов (типа *ходить*, *схватывать*, с одной стороны, и *быть*, *стоять*, *иметь*, с другой) и т. п. Сформированные в ходе чувственного восприятия мира, такие концепты и их обозначения явно проступают в исторической перспективе как первичные, благодаря чему вся область наречения конкретных предметов (лиц и вещей, физических тел) и конкретных действий, имеющих наглядную физическую природу, становится источником формирования более абстрактной лексики и грамматических единиц. Такой же процесс можно, собственно, предположить не только для развития регулярной полисемии для отдельно взятой единицы, но и для развития целого класса слов, имевшего в своем исходе названия для остенсивно наблюдаемых явлений и затем строящего на этой базе благодаря категориальным или концептуальным переносам более сложные обозначения.

Формирование и развитие КН за четверть века ее существования способствовало осознанию исключительной важности тех проблем, которые издавна волновали человечество, но которые по традиции изучались разными науками — философией, логикой, психологией. У них, помимо вопросов о знании и путях познания, были и другие интересующие их вопросы. В КН вопросы о сознании и мышлении получили иной характер как потому, что изменился уровень развития отдельных наук, так и потому, что наука в целом подошла к возможности решения глобальных проблем бытия человека и оказалась способной для решения этих проблем объединить усилия многих научных дисциплин. Ответов на центральные для КН вопросы — о формах представления знания, о разных типах структур сознания, о протекании ментальных процессов и участии в них языка — стали ожидать и от лингвистики. Под влиянием этих задач произошло и продолжает происходить изменение в ориентации теоретической лингвистики, которая об-

---

ратилась к исследованию того, в чем заключается знание языка (языковая способность) и как оно представлено в голове человека. Не вызывает сомнения, что существенную часть таких знаний составляет знание слов, подавляющее большинство которых образуют единицы, созданные в актах номинации. Одним из самых сложных вопросов теоретической ономастологии становится с этой точки зрения вопрос о том, какая именно часть знаний об объекте фиксируется в его названии, какой концепт или группа концептов получают отдельное наименование словом определенной части речи и особенно — наличие каких признаков, свойств, атрибутов и т. п. является необходимым, чтобы человек обозначил некую реалию словом определенной части речи. Но чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, как вообще человек воспринимает мир и какие принципы характеризует этот процесс.

## *Глава третья*

### **ЯЗЫК И ВОСПРИЯТИЕ**

С какой бы точки зрения ни рассматривались части речи, при их анализе неизменно возникает вопрос о том, каковы основания их выделения и противопоставления в языке и что же является коррелятами этих единиц как в объективной реальности, так и в мире нашего сознания. Признавая, что «в основе категорий лежит в конечном счете отражение и обобщение явлений объективного мира» [Степанов 1981: 36], анализируя категорию частей речи, мы должны, таким образом, попытаться понять, что же в них отражено и обобщено. В рамках когнитивного подхода эта проблема должна быть сформулирована как проблема о том, в ходе каких процессов возникает то знание, которое затем отражается и обобщается в отдельных знаменательных частях речи, а также, более конкретно, каково содержание и природа этого знания.

Обращение к поднимаемым в настоящей главе проблемам вызвано, с одной стороны, тем, что в большинстве представленных сегодня когнитивных концепций о языке постулируется исключительная роль чувственного, наглядного восприятия мира для всего строения языка (см., например, обширный список литературы по этому поводу в [Carlson-Radvonsky, Irwin 1994: 670]). Представлено в специальной литературе, однако, с другой стороны, и иное мнение, притом касающееся непосредственно частей речи. Подчеркивая, что «потерпели неудачу и попытки лингвистов-типологов создать универсальную классификацию глаголов, по крайней мере универсально отличить имя от глагола на морфологической основе», и подводя итоги «досемиологического» этапа таксономии, Ю. С. Степанов цитирует слова Э. Бенвениста о том, что «... такие понятия, как процесс или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности...» [Степанов 1981: 116]. Разъясняя свою позицию, Э. Бенвенист указывает далее: «Различие между процессом и объектом обязательно только для того, кто рассуждает, исходя из классификаций своего родного языка, которые он превращает в универсальные явления; но даже такой человек, если его спросить, на чем основано это различие,

вынужден будет скоро признать, что если “лошадь” — объект, а “бежать” — процесс, то это потому, что первое — имя, а второе — глагол» [Бенвенист 1974: 168 и сл.]. Но с приведенными соображениями, увы, согласиться никак нельзя. Различие между объектом и процессом основано на различии того, как воспринимаются эти сущности в чувственном опыте человека: только объект можно выделить из окружающей его среды (фона) в качестве фигуры, целостности, отдельности, имеющей свои собственные физические очертания и физические характеристики — цвет, размер и т. п. Лошадь характеризуется человеком как одушевленное существо не потому, что она обозначена существительным, а потому, что она передвигается по своей воле, дышит, рождает себе подобных... Обладая определенной совокупностью свойств, позволяющих описать тело лошади как физический объект, это животное вряд ли найдет в каком-либо языке мира не-предметное обозначение и потому попадет в разряд слов, специально предназначенных для наименования тел, вещей, объектов, — существительных. Думается, что среди языков мира не встретится и такого, в котором противопоставление лошади (объекта) и бегания (процесса) не найдет никакого отражения или в котором эти сущности, как не различаемые человеком, будут отождествлены. Возможно, что именно в понимании всех подобных различий и проявляется отчетливее всего влияние и воздействие КН, уже сказавшей свое веское слово об особенностях человеческого восприятия и заставившей пересмотреть многие из сложившихся ранее представлений о человеческой психике и ментальных моделях мира в голове человека.

Хотя истории изучения частей речи в языкознании мы посвятим далее специальную часть нашей книги, уже здесь мы, в качестве преамбулы к настоящей главе, должны отметить, что переход от «досемиологического» к семиологическому или когнитивному этапу в описании языка был ознаменован и радикальным пересмотром точки зрения на части речи.

Важнейший шаг в трактовке частей речи был сделан именно в семиологической грамматике. С теоретической точки зрения это можно связать с тем, что сущность любой категории объяснялась здесь через обобщение, осуществленное одновременно «в трех сферах — мышлении, психике и языке» [Степанов 1981: 36]. Это означало, что и основания частей речи надо соотносить с указанными тремя сферами. Язык в такой ситуации может быть рассмотрен как создающий особые способы представления, особые языковые формы обобщения в мышлении и психике человека. В более конкретном плане в рамках семиологической грамматики утверждалось, что «сквозь всю лексику проходит различие имен “предметов” и имен “процессов”, отражающееся в ней как различие “имен” в узком смысле слова — имен существительных, с одной стороны, и предикатных слов — глаголов и предикативов — с другой» [Там же: 48]. В семиологической грамматике подчеркивали также справедливо то обстоятельство, что если в целом определение частей речи на понятийной основе и следует поддержать, это не означает, что в пре-

жних концепциях частей речи был точно указан тот способ, с помощью которого можно осуществить необходимую категоризацию слов. «Если не указан способ категоризации частей речи, — писал Ю. С. Степанов, — то само по себе правильное положение о том, что их нужно выделять на понятийной, семантической основе, явно недостаточно». Интерпретация категорий Аристотеля показывает, что способом категоризации может явиться обращение к простому предложению-высказыванию и его предикату — их анализ приведет к установлению основных семантико-синтаксических «частей речи» [Степанов 1981: 134]. Но что же выявляет анализ предиката? Отправным моментом исследования здесь становится положение о том, что «предикаты существуют **как-то иначе**, чем имена» [Там же: 139; выделено нами. — *Е. К.*]. Продолжая эту линию исследования уже с когнитивных позиций, мы хотим утверждать нечто прямо противоположное тому, что говорил Э. Бенвенист, — отражение не только в голове человека, но и в языке, в его единицах и категориях, «объективных свойств действительности».

В приведенной выше цитате Э. Бенвениста обращает на себя внимание не только отрицание факта воспроизведения в языке объективных свойств действительности, — скорее здесь примечательно противопоставление этих объективных свойств тому, что «уже является результатом языкового выражения действительности». Мы же полагаем, что одно никак не противоречит другому и что в определенном смысле можно утверждать, что наречение мира, каким бы субъективным и стихийным ни являлся этот процесс, происходит в согласовании с онтологией мира и, во всяком случае, не вступая в кричащее противоречие с объективной действительностью. Из этого никак не следует, однако, что объективные свойства внешнего и внутреннего мира лежат на поверхности или что их познание связано **только** с восприятием. Из сказанного не вытекает также, что отдавая дань онтологическим характеристикам мира, мы хотим преуменьшить как роль человека в процессах познания, так и роль языка. Напротив, рассматривая действительность, ее восприятие человеком и язык в единой триаде, мы стремимся выявить подлинную суть складывающихся между ними отношений. Выходя в область, находящуюся явно за пределами собственно лингвистики, мы все же делаем это ради одной-единственной цели: прояснить природу языка и его категорий. Если правильно, что язык кодирует мир, то следует уточнить и то, какой именно «мир» он кодирует — мир «как он есть» или мир нашей психики, мир, данный нам и постигаемый нами в прямом его непосредственном восприятии или же «пропущенный» через наше сознание и каким-то образом уже препарированный мозгом, рассудком, интеллектом то ли в соответствии с некими врожденными схемами, идеальными образами вещей, то ли в соответствии с сеткой, набрасываемой языковыми категориями, то ли еще каким-либо неведомым образом. Вторжение в подобные философские проблемы, вряд ли решаемые до конца и на современном уровне развития науки, все же входит сегодня в сферу когнитивного анализа, а в принципе их рассмотрение всегда привлека-

ло внимание всех тех, кто хотел понять истоки знания [ср. Степанов 1981: 36 и сл.].

Вопрос о том, как возникает знание и откуда оно приходит к человеку, ставился прежде всего в философии и был предметом анализа в специальной теории — теории познания. В этом смысле, несомненно, у когнитивной науки с ее сравнительно недавней историей немало подлинных предтеч в давнем прошлом [Gardner 1985: 9]. Считается, что проблема эта начата Платоном и Аристотелем, которые наметили два главных направления в решении соответствующих проблем — рационализм и эмпиризм. Согласно Платону, когда ребенок узнает что-либо об этом мире, он не столько постигает его, сколько «пробуждает» встроенные в его мозг врожденные идеи. Аристотель же, напротив, полагает, что мысли не могут возникать без некоторого чувственного опыта. В самом общем виде рационализм определяется подчеркиванием значимости логических рассуждений и догадок о мире, выведением закономерностей его бытия с помощью разума и интеллекта, эмпиризм — утверждением ценности опытного познания мира. Две этих концепции — эмпирико-индуктивистская и рационально-дедуктивистская [Швырев 1988: 17 и сл.] характеризуют и современное положение дел в методологии науки. Отголоски этой полемики ощутимы и сегодня, будучи возобновленными с новой силой в связи с обсуждением вопроса о врожденности целого ряда общих представлений и лингвистического знания в особенности, ср. [Talking Minds... 1984].

Выше мы уже говорили о том, какие знания тянет за собой употребление слова и понимание его значения. В то же время психологи утверждают, что «значение является типичным результатом психологического процесса восприятия» [Титоне 1984: 341] и что его функция не может быть сведена к функции «простой замены референта». Объясняя это, указывают прежде всего на то, что референт обозначения выступает в составе языка в особым образом обработанном виде и не только за счет обобщения, но и за счет выбора в акте восприятия лишь ограниченной совокупности признаков из всей массы связанных с ним сенсорных ощущений. С одной стороны, подобная выборочность фиксируемых свойств зависит от биологических и физиологических ограничений, наложенных на организм человека и составляющих часть его биопрограммы. Существуют определенные пороги восприятия, притом специфические для каждой из его «модальностей», т. е. разных органов чувств. Но входит ли в такую биопрограмму то, **как** членится мир, или то, почему одни свойства мира привлекают к себе внимание человека, а другие — нет?

Проблеме определения восприятия, его противопоставления таким когнитивным явлениям, как внимание, память, выводные знания, умозаключения и т. п., посвящена огромная литература. Между тем вопрос о том, как становится возможным выделение звуков речи из потока шумов, выделение событий из всего происходящего на глазах человека, распознавание объектов и т. п., все еще не получил окончательного разрешения. «Перцептуальные системы, — указывают

психологи, — подвергаются массивной бомбардировке сигналами из окружающей среды. Подобные сигналы зачастую неожиданны и непредсказуемы. И все же из этого потока непредвиденной информации выделяются звуки и сцены...» [Pylyshyn 1988: 4]. Отчасти такое выделение совершается потому, что определенная дифференциация форм материи наблюдается, несомненно, в самом мире. Со стороны перцепции это сказывается в том, что человек реально сталкивается с определенными «сгущениями» материи, «пучками признаков», «кластерами сведений» и прочими группировками свойств в самих природных явлениях. Тела животных часто симметричны, характеризующие их признаки скоординированы — ср. плавники и чешую рыб в отличие от крыльев, клюва и перьев птиц. Открывая мир, человек постигает подобные закономерности. Иными словами, подобно многим когнитологам мы считаем, что воспринимаемый мир наполнен распознаваемыми предметами, расположенными в определенном пространстве или среде, как-то между собой взаимодействующими и существующими во времени. Наиболее убедительные факты о мире — это то, что мы видим **разные** формы материи, наблюдаем за **разными** перемещениями предметов, слышим **разные** звуки и т. д. Возможно, что различие ощущений от восприятия всего этого разнообразия и создает базу для будущих когнитивных обобщений.

Характеризуя особенности развития процесса восприятия у человека, труднее всего объяснить трансформацию сенсорного раздражения в факт сознания — ощущение. «Начальный психологический факт, на котором основывается восприятие, — пишет А. В. Запорожец, — есть ощущение» [Запорожец 1986: 56]. Но ведь никакое ощущение не способно само по себе сформировать представления о целостном предмете. Чтобы совершить это, и необходима известная система действий с предметом: мышление обнаруживает себя как практическое действие. «Действительной чувственной основой мышления, — отмечает А. В. Запорожец, — является не только восприятие, не только чувственное созерцание, но и в первую очередь и главным образом практика человека, его практическое отношение к действительности» [Там же: 178–179]. Разъясняя, в каком смысле мышление представляет собой деятельность субъекта по отношению к объекту, он перечисляет такие простейшие операции, которые помогают человеку вынести суждения о целостном объекте: это и разглядывание предмета со всех сторон, и обегание взгляда по его контурам, и ощупывание, и т. д., это **движения** относительно предмета. «Исходную единицу анализа психической реальности» Запорожец определяет поэтому через понятие действия и совокупности действий, зависящих от практических нужд и потребностей в предмете. Когнитивную функцию, по его мнению, выполняют именно действия, поскольку они выступают и как источник сведений о предмете, и как операции, способствующие созданию целостного образа предмета. Очевидно в то же время, что «перцептивный образ предмета представляет собой известное подобие воспринимаемого предмета» [Там же: 126], т. е. отражая его целостность, не является его дубликатом или двойником. Но обыч-

но для совершения каких-либо действий с предметом, его надо оценить зрительно, визуально, выделив из окружающей его среды. Репрезентация объекта сознанию должна сохранить черты подобия, и в этом смысле она соответствует «миру как он есть», однако, из-за ограниченности такого подобия она оказывается одновременно единицей, обработанной нашим сознанием, и, конечно, разные репрезентации могут различаться существенно по степени их подобия оригиналу. Дистанцию между объектом и его репрезентацией можно далее сравнить с дистанцией между репрезентацией и ее обозначением, а также — на более высоком уровне абстракции — с различием между перцепцией чего-либо и его концептуализацией.

Оценивая исследования восприятия за предыдущие четверть века, У. Найссер отмечает, что когнитивная психология находится сегодня в состоянии радикальных перемен. В ней осознается, что когнитивные процессы (к которым принадлежат и процессы восприятия) оказались и более врожденными, и одновременно более экологически и культурно зависимыми, чем то полагали ранее. Новые открытия в области восприятия у грудных младенцев; ознакомление с трудами Л. С. Выготского и его мыслями о социальном характере всей человеческой жизни и значимости социализации в становлении ребенка и его приобщении к языку; новое понимание организации мозга (модулярные теории) и, наконец, анализ культурных факторов и структур знания по их влиянию на поведение человека — все это заставило пересмотреть прежние когнитивные концепции и внести в них существенные коррективы. Согласно мнению Найссера, адекватная характеристика поведения человека может строиться лишь на дифференцированном подходе к его когнитивным способностям и требует различения, по меньшей мере, трех следующих систем: системы прямого восприятия, системы межличностного восприятия и, наконец, системы репрезентированного восприятия [Neisser 1994]. Из сказанного Найссером следует, что репрезентации как сложившиеся единицы сознания, которыми человек оперирует во время процессов мышления, формируются лишь постепенно, а наряду с ними существуют, возможно, иные представления текущего сознания. Такие представления появляются на уровне прямого восприятия — они соответствуют ощущениям и оценке ситуации, непосредственно окружающей человека: определению его местоположения и положения предметов вокруг него, их движения, действий самого человека с этими предметами и т. п. Человек видит, что одни предметы достижимы рукой, а другие — нет, решает, какие действия с ними возможны, даже если этот предмет вообще ему не знаком, и никаких его репрезентаций у него в сознании не существует. Этот тип восприятия — фундамент для всего остального, но им одним человек никогда не ограничивается.

Параллельно системе прямого восприятия даже у младенцев начинает складываться система межличностных связей и деятельности; она позволяет нам воспринимать коммуникативные жесты, а далее — речь, разрешает вступать в отношения учителя — ученика, налаживать контакты с другим / другими и кооператив-

ную деятельность с ними. Наконец, лишь третья система создает предпосылки для распознавания объектов и их классификации и категоризации; в отличие от первой и второй систем, связанных с непосредственным окружением человека, они ориентируются на прошлый опыт: складывающиеся репрезентации позволяют сличать новый опыт со старым. Независимые до определенного возраста, эти системы далее работают совместно, и каждая из них играет свою роль в интеллектуальном развитии человека. Поскольку, однако, каждая работает в опоре на разные механизмы и разные принципы, объяснение когнитивного аппарата человека на основе какого-либо одного из них — это перевернутая страница когнитивной психологии, и ее будущее — за дифференцированным описанием работы каждого модуля по отдельности [Там же: 239]. Для объяснения работы мозга не может быть предложен какой-то один общий фактор.

Теория У. Найссера подкупает своей естественностью, и несомненная доля истины в ней присутствует. Вместе с тем смутная неудовлетворенность ею остается, ибо переход от простого отражения мира на нашем внутреннем экране к отработанным и более устойчивым, конвенциональным репрезентациям не описан. Остается нерешенным и центральный для всей когнитологии вопрос — вопрос о том, что же **привносится** человеком в его простой, непосредственный опыт и что именно невыводимо из этого опыта **индуктивным** путем. Но то, что воображение, фантазия, интуиция, память и прочие когнитивные способности всегда вносят свою лепту в освоение и осмысление мира, кажется бесспорным. В ситуации отсутствия ответа на этот вопрос мы и продолжаем приписывать особые роли либо языку, либо научению, исходя из того очевидного факта, что ребенка **учат** и что в онтогенезе уже по этой причине не повторяется процесс филогенеза.

Считается, что чтобы отложиться в памяти, стимулы из внешнего мира должны быть значащими — имеющими непосредственное значение для выживания человека, его благополучия, получения положительных эмоций и т. д., ср. [Paivio 1971: 73–74, 92, 116–117]. Но ребенка в современных условиях подвергают воздействию именно таких стимулов — во-первых, ограничивая их приток, а во-вторых, помещая ребенка в ситуацию наиболее для него благоприятную и знакомя его с теми предметами, которые как бы соответствуют когнитивному уровню его развития. Ребенок входит в мир, «обжитой» и не просто осмысленный взрослыми, но и приспособленный специально для его нормального развития. Обучение ребенка определенным значимостям и ценностям начинается с момента его вступления в этот мир, с первых актов его контактов с матерью; сегодня все этапы его развития изучаются в изолированных и сложных экспериментах, и это, конечно, очень важно. Но это не может ответить полностью на вопросы о том, как эволюционировало человечество и что было до того, как человек овладел речью и смог передавать свой опыт от одного поколения к другому. По этой причине судить о «первых» классификациях фрагментов мира и «первых» обозначениях этих фраг-

ментов достаточно сложно. Но, думается, что и тогда мир выступал для человека, помимо всего прочего, как конструктивный фактор его познавательной деятельности, а, следовательно, можно предположить, что и все виды практической деятельности с объектами мира по их освоению были согласованы с чувственно воспринимаемыми их свойствами. Теория У. Найссера свидетельствует о том, что прямое восприятие возможно и при отсутствии репрезентаций некоторых объектов, т. е. в ситуации незнакомства с ними. Поэтому рассматривая восприятие как особую форму переработки информации, мы бы хотели избежать крайностей выдвигаемых в настоящее время теорий — как со стороны тех, кто считает, что мир членится исключительно в соответствии с нашим опытом, так и тех, кто полагает, что членение мира происходит в соответствии с некоторыми врожденными идеями. По-видимому, в этом последнем случае очень важно провести хотя бы условную границу между бытийными категориями, которые можно считать врожденными и уже входящими в биопрограмму человека, и теми, которые индуктивно выводимы из его чувственного, перцептуального опыта. Наряду с этим нам кажется очень важным дифференцированно подходить к этой проблеме и в зависимости от того, какой ракурс исследования нами при этом принимается — филогенетический или же онтогенетический, т. е. проще говоря, в зависимости от того, рассматриваем ли мы восприятие **современного** человека или же человека в его эволюции и развитии. Думается, например, что когда психологи говорят о том, что такие категории бытия, как пространство и время, категория существования, категория движения и т. п., характеризуют человека и в пре-когниции (см., например, [Miller, Johnson-Laird 1976: 38–39]), это, несомненно, относится прежде всего к современному человеку. Ср. также [Chomsky 1982: 119].

Существует огромная литература по поводу того, что уже грудные младенцы очень рано воспринимают мир как полный всяческих объектов и что в качестве объектов они, по всей видимости, рассматривают нечто, воспринимаемое ими как топологически единое объединение поверхностей, сохраняющее свою связанность при движении: два соприкасающихся объекта воспринимаются по этой причине как одно целое, несмотря на различие цвета, формы и даже размера у отдельных объектов. Поэтому якобы когда ребенок узнает, что у объектов есть имена, он уже подготовлен к этому узнаванием самих целостных объектов [Gleitman L., Gleitman H., Landau, Wanner 1989: 170–171]. Но ведь и все эксперименты и наблюдения такого рода тоже относятся к наблюдениям за современным человеком, уже прошедшим бесчисленные стадии своего развития. Конечно, данные такого рода заставляют нас думать, что концепты объекта, его стабильности во времени и во время движения, концепт движения и немногие другие, действительно, входят в концептуальную систему человека как примитивы. Но это не может исключить того, что в формировании таких примитивов участвовал и язык и что он фиксировал своими категориями в эволюции человека его постепенно складывающиеся обобщения и абстракции.

Настаивая на том, что восприятие оказывает огромное влияние на язык, надо решительно подчеркивать и то обстоятельство, что само восприятие не представляет собой простой регистрации чувств и сенсорных раздражителей. Убедительные подтверждения такой точки зрения обнаруживают и последние исследования процессов виденья мира. Мы видим мир не как потоки света, не как хаотическую совокупность волн с разными физическими характеристиками, не только как игру света и тени, переплетения красок — такой тип виденья мира называют спонтанным. Мы видим его как мир лиц и вещей, движений и событий. Это и называется видением **чего-то** (*seeing-as*). Восприятие, — указывает в этой связи З. Пылишин, — является в конечном счете когнитивным процессом, вовлекающим интерпретацию, умозаключения, память, и образующиеся репрезентации зависят от каждого из этих факторов. Однако, роль этих факторов на разных ступенях восприятия может быть различной [Pylyshyn 1988: 228–229]. Так, например, еще до того, как о чем-то, попавшем в поле нашего зрения, делаются какие-либо заключения, уже происходит остановка и фокусировка внимания на некие пучки признаков и их группировка в определенные целостности. Только эти пучки и подвергаются дальнейшей обработке. Отправным моментом такой обработки оказывается вместе с тем именно то, что попадает в фокус внимания.

Как это ни парадоксально, но оказывается, что и видеть в мире объекты человека **учат**. Обычно мы, конечно, не отдаем себе отчета в том, что умение видеть не приходит автоматически. Но роль этого фактора — обучения как части восприятия — была продемонстрирована на примере слепых от рождения, подвергнувшихся далее операции по восстановлению у них зрения. Как пишут М. и И. Голдстейны, такие люди, впервые открывая глаза, говорят только о вращающихся массах цвета и света, их пятнах, они совершенно не в состоянии зрительно выделить объекты, распознать и назвать их. Ведь они их узнавали раньше только по тактильным признакам и не могут сразу соотнести их со зрительными. Такому соотнесению их обучают [Голдстейн М., Голдстейн И. 1984: 38–41].

Поступление информации в человеческий организм начинается с того, что некие стимулы извне обнаруживаются специальными детекторами — рецепторами и затем начинают обрабатываться когнитивными системами. Во многих случаях такая информация «на входе», уже обработанная сознанием, совершенно не похожа на тот стимул, которым она была вызвана. Как указывает Р. Лангакер, «качество нашего перцептуального опыта зависит лишь отчасти от стимулов, воздействующих на органы чувств, и сигналов, вызванных непосредственно этими стимулами. Не менее важной оказывается при этом структура, налагаемая на эти периферийные события на более высоких уровнях обработки данных, что соотносится с известными ожиданиями и доступным человеку инвентарем перцептуальных и интерпретирующих моделей» [Langacker 1987: 101]. Естественно, что в таком случае следует более конкретно определить, что же имеется в виду при упоминании о структуре, налагаемой на наше текущее восприятие, — обобщен-

ный опыт прежних ощущений и представлений или же опыт вербального означивания подобных репрезентаций.

По мнению А. Пейвио, сомневаться в том, что невербальные репрезентации формируются до вербальных, сегодня не приходится. Вместе с тем, суждение о том, что формирование вербальных структур и всей системы языковых единиц **полностью** зависимо от сложившейся до этого образной системы, кажется ему тоже неоправданным. Известные мысли по этому поводу, высказанные Г. Кларком или Ж. Пиаже, кажутся ему убедительными лишь постольку, поскольку некоторые языковые умения и навыки все же, действительно, связаны с чувственно воспринимаемым пространством (*perceptual space*) и другим наглядным опытом [Paivio 1986: 90]. Его собственная теория двойного кодирования мира — образного и вербального — отдает приоритет образному кодированию, и он сам подчеркивает близость его подхода к тем концепциям, которые признают важность сенсорного опыта и образного восприятия (отражения) мира для становления языка. В связи с этим он называет работы Ч. Филлмора, У. Чейфа и Дж. Лакоффа. Эта точка зрения близка и развиваемой в нашей книге. Мы должны признать, что некоторые обобщения опыта присущи живым существам вне наличия у них языка (ср. по этому поводу [Серебrenников 1983]).

Рассматриваемый вариант когнитивной теории Дж. Лакофф называет «образным экспериенциализмом», поскольку здесь утверждается, что главные сведения о мире, отраженные в языке, были получены прежде всего опытным путем и связаны с «естественным» образом мира. Как указывает Лакофф, опытный реализм или экспериенциализм базируется на допущении о существовании реального мира вне нас как налагающего свои ограничения на формирующиеся у человека концепты (см. [Lakoff 1987: XV]). Исследования, выполненные в этом русле, служат познанию человеческого интеллекта (*mind*), доказывая, что рассудок или разум — не просто зеркально отражают (репрезентируют) мир и не только обрабатывают информацию знаковым образом, они — нечто более грандиозное, ибо обеспечивают способность к содержательному мышлению и этим, безусловно, отличаются от «разума» машин. Хотя работы Лакоффа имеют своей целью доказать, что «ни формальный синтаксис, ни формальная семантика в сегодняшнем понимании неспособны адекватно анализировать экспериенциальный, образный и экологический аспекты мышления» [Лакофф 1988: 50], а именно эти аспекты мышления ярче всего характеризуют его специфику, думается, что развиваемое им направление сильно не только акцентированием этих аспектов мышления, но и творческого его начала. Указанные аспекты мышления можно рассматривать как базовые, но, по всей видимости, самое сложное заключается как раз в том, чтобы понять, как совершается от них переход к более сложным формам мышления, на чем основана интуиция, как совершается прорыв в получение нового знания. Без догадок по этому поводу трудно пытаться восстановить и переход от отдельных ощущений к целостному восприятию, что, на наш взгляд, и составляет глав-

ное отличительное свойство сознания человека и что предполагает не просто «сложное действие органов чувств, которое сформировалось в процессе жизни человека и включает в себя ряд сенсорных операций, соответствующих объективно воспринимаемым предметам и взаимоотношениям различных их качеств и сторон» [Запорожец 1986: 62], но интеграцию всех данных в ходе их сопоставления, оценки их соотносительной значимости и их объединение.

Какое отношение имеет все рассмотренное здесь нами к генезису языка и генезису частей речи? Если многие языки существуют тысячелетия, они не могут не отражать некоторых пластов мышления архаичного человека, а в этом смысле — и тех структур сознания, которые ему тогда были свойственны. Гетерохронность и гетерогенность систем языкового обозначения мира, наблюдающаяся в самых древних из известных нам языков, может считаться тогда свидетельством принципиальной неоднородности складывающихся к тому времени структур как членящих человеческий опыт по определенным образцам. Такие устойчивые образцы — носители коллективного опыта — К. Г. Юнг называл архетипами мышления, полагая, что именно они «придают определенную форму конкретным психическим переживаниям». И хотя позиция Юнга неоднократно подвергалась критике, в частности, и за то, что оставалось неясным общее число подобных архетипов и их более конкретное содержание, сама идея классификации чувственного опыта по неким априорным категориям, идея «формообразующих элементов чувственно-перцептивного опыта, отражающих всеобщую структуру бытия и способных спонтанно проявлять себя в психике в виде идеальных образов этого бытия», кажется нам весьма убедительной. Складывающиеся исторически и под влиянием естественного отбора генетически закрепляющиеся, универсальные образцы-архетипы «образуют самый низший, биологический, когнитивный “фундамент”, над которым по мере индивидуального развития будут “надстраиваться” более сложные и дифференцированные функции восприятия и мышления» [Иванов 1994: 24–25, 29]. Найдя со временем свою объективизацию с помощью языковых форм, рубрики членения человеческого опыта все более связываются с категориями языка и «перекладываются» на язык, создавая впечатление, что опыт структурируется не за счет абстракций в голове человека, а за счет языка.

Но как нам кажется, прав А. В. Запорожец, когда он утверждает, что «отношение к предмету, соответствующая предметная деятельность **предшествует** слову не только хронологически, но и необходимым образом, так как только выделение предмета в деятельности может придать слову значение, специфическое для человеческого языка. Это забегание предметного опосредования “вперед” речевого...» [Запорожец 1986: 170] (выделено нами. — Е. К.). Ср. также [McShane 1991: 203], где он подробно рассматривает аналогичные взгляды у Ж. Пиаже.

Анализ принципов восприятия у современного человека позволяет предположить, какая длительная история в развитии человека предшествовала возникновению этих принципов, а также зарождению самой способности разума выйти

за пределы непосредственно воспринимаемого. Не удивительно, что в ряде существующих в настоящее время теорий сознания и мышления последнее определяется в виде важнейшей, но отнюдь не единственной сферы сознания, представляющей собой «отражение индивидом в идеальных формах (представлениях, суждениях, понятиях, умозаключениях) чувственно не данных свойств и связей реальности посредством системы логических операций (сравнения, категоризации, абстракции, обобщения, классификации, вывода» [Иванов 1994: 13]. Вместе с тем такой анализ позволяет высказать предположения о том, под какие рубрики подводился предметно-познавательный опыт человека в период генезиса языка и, таким образом, на основе каких обобщений и структур сознания формировались будущие части речи. Во всяком случае, концепты объекта (предмета, цельности) и его частей, концепты действия с объектами, концепты пространства и изменения местоположения объекта в пространстве, а возможно, и концепты разных атрибутов (частей) объектов можно считать входящими в число архетипов коллективного сознания, универсальных для всего человечества. Эти концепты мы и считаем лежащими в основе частей речи, рассматриваемых с когнитивной точки зрения.

Проблема соотношения языка и восприятия с когнитивных позиций стала предметом специального анализа в монографии Дж. Миллера и Ф. Джонсон-Лэрда [Miller, Johnson-Laird 1976]. Подчеркнув многосторонность связей языка и восприятия, эти авторы отметили, что есть основания полагать, что люди воспринимают мир под влиянием того, как они говорят о нем. Но надо заниматься и тем, как восприятие мира оказывает свое воздействие на язык, поскольку восприятие относительно независимо от языка, а языковые формы — от восприятия. Вместе с тем часто, чтобы определить значение языковых форм, люди опираются на перцептуальные данные. Исследуя поставленную проблему, видные когнитологи считают необходимым обратиться к анализу лексической семантики, т. е. полагают возможным искать решение проблемы, изучая корреляции между словом и ощущением, исследуя путь от ощущения до значения лексической единицы. Они подчеркивают, что в значение единицы входят суждения о ее восприятии. Это позволяет им утверждать, что если в английском языке существуют такие отдельные единицы, как «красный», «глухой», «кислый» и т. п., в сознании человека существует концепт, соответствующий свойствам или атрибутам вещей, отдельный от концептов об объекте или движении. В то же время они отмечают, что хотя указанным атрибутам и присуща некая самостоятельность, в психике они все же представлены не так, как объекты [Там же: 17 и сл.]. По всей видимости, первыми возникают именно представления об объектах, соответствующие восприятию комплекса целостных ощущений, интерпретируемых как нечто конкретное, трехмерное и способное сохранить тождество самому себе — например, независимо от движения объекта или его ориентации по отношению к человеку. Само такое суждение требует, однако, предварительного представления о пространстве

(фоне), в котором объекты занимают определенные места и в котором они перемещаются, двигаются. Таким образом, в качестве когнитивных примитивов, участвующих в обработке чувственной информации, постулируются такие концепты, как пространство и движение. Интересно, что концепт пространства связывается названными учеными не только со зрением, но и с возможностями что-то потрогать, услышать, попробовать и т. п.

Все наблюдения видных психологов весьма существенны и для того, чтобы очертить круг значений прототипических существительных, которые, вне всякого сомнения, отсылают к остенсивно определяемым сущностям, данным человеку в его чувственном опыте. Сами они тоже посвящают рассуждениям о частях речи немало интересных страниц. Психологически кажется очень привлекательной мысль о том, — пишут психологи, — что обозначения вещей можно соотнести с существительными, обозначения событий — с глаголами, а обозначения атрибутов вещей — с прилагательными. Но таких простых отношений между ними нет. И все же противопоставление объекта и события (а в основе события лежит представление о движении и вызванном им изменении) — это две радикально различающиеся формы категоризации опыта, отражаемые в языке [Там же: 85—86]. Для того, чтобы констатировать движение, человек должен зафиксировать некое исходное **состояние** (положение дел), а движение возникает в результате наблюдений за **изменением** состояния. Движение, интенционально каузированное самим человеком, расценивается им как **действие** и, следовательно, влечет за собой понимание различий в одушевленности и неодушевленности объекта: только первые двигаются по своей воле [Там же: 100—101].

Из рассмотренного ясно следует, что многие характеристики частей речи, имеющие концептуальный характер, освещены в книге с предельной четкостью и они дают отчетливое представление о том, что же связывается в сознании человека со словами разных частей речи. Вместе с тем границы между восприятием и интерпретацией, между когницией и концептуализацией оказываются достаточно зыбкими, и даже на основании этой замечательной книги судить о том, что входит в биопрограмму человека врожденно, а что приходит к нему индуктивно, весьма сложно. Существенно, однако, что и здесь авторы постулируют некоторое число исходных концептов и что именно на их основе можно строить предположения о том, какие познанные человеком структуры знания легли в генезисе частей речи в их фундамент.

Если согласно современным представлениям о языке он является одним из когнитивных механизмов, участвующих в процессах переработки информации, а также если он является главным средством ее передачи, вряд ли можно предполагать, что такой механизм и такое средство организованы несовершенно. Странно было бы думать, что, например, язык неточно или неверно передает информацию о мире. Такими преамбулами начинается серия публикаций Рэя Джеккендофа, касающихся соотношения языка и познания и поднимающих вопрос о том,

какой должна быть в этой связи семантическая теория языка [Jackendoff 1984; 1991; 1993]. Выделяя в языке ограничения двоякого порядка — и когнитивные, и грамматические, — Джекендофф имплицитно утверждает положение о том, что не все в системе языка имеет когнитивное происхождение. Некоторые свойства языка, особенно его синтаксиса, не могут быть предсказаны в опоре на знание основных черт когниции и ее общих принципов (см., например, [Jackendoff 1984: 53]). Точно так же нельзя все свести в языке к тому, что он отражает исключительно чувственный опыт человека. Быть может, величайшее достижение языка — это выход за пределы, диктуемые непосредственно наблюдаемыми сущностями, и способность создавать сущности одним человеческим воображением. Познание — это выход за пределы наблюдаемого, проникновение в суть вещей, а не «отражение» мира «как он есть». Эти логические следствия, вытекающие из многих положений Джекендоффа, представляются нам очень важными. Интересно, однако, что сам он не связывает высказанных им идей с другим положением его теории: язык занимает особое место в том уровне ментальных репрезентаций мира, уровне концептуальной структуры, на котором «собирается» и перерабатывается информация, полученная благодаря синтезу активности всех перцептуальных систем. И хотя по нашему глубокому убеждению, роль языка не рядоположна роли других органов чувств, вопрос, заданный Джекендоффом о том, какая информация обрабатывается языком и о чем эта информация, конечно, очень важен. По мнению самого ученого, подобная информация не представляет собой сведений о мире «как он есть», а о мире, уже «спроецированном» (projected) в наше сознание, т. е. об ощущениях, прошедших определенную концептуальную обработку (см., например, [Jackendoff 1984: 62]).

В своих более поздних работах Р. Джекендофф, говоря о языке мысли, пытается даже определить тот исходный список концептов, которые структурируют познаваемый чувственно мир. Число таких концептов незначительно: это — **вещь, событие, состояние, место, свойство и количество** или **объем**. Язык обеспечивает доступ к этим понятиям, свидетельствуя о том, что указанные единицы, подобно кваркам в физике, не имеют самостоятельного существования, вычленяясь исключительно из определенных комбинаций рассматриваемых единиц. И все же каждая концептуальная категория имеет реализацию, при которой она встречается в структуре «функция — аргумент». В составе такой конструкции и надо изучать **единицы**, связывая их свойства с представлениями о том, связаны (ограничены) они или нет, дискретны или же недискретны и т. д. [Jackendoff 1993: 17 и сл.].

Концепция Р. Джекендоффа кажется нам весьма плодотворной: современный человек членит мир, подвергая свои ощущения определенной когнитивной переработке, т. е. он структурирует действительность сообразно сложившейся генетически концептуальной схеме. Как мы отмечали выше, такие же данные о восприятии были получены и в последних исследованиях в области зрения (см., на-

пример, [Pylyshyn 1988; Mulhall 1990]). И все же роль онтологии мира кажется в этих теориях учтенной недостаточно, т. е. «мир как он есть» накладывает больший отпечаток на восприятие, чем это рисуется многими «концептуалистами». Ведь можно предположить, что вся эволюция человека и все развитие его мышления (а мышление тоже, несомненно, развивалось, ср. [Иванов 1994]) было подчинено правильному и неискаженному, хотя, быть может, и «наивному» отражению онтологических закономерностей существования форм материи и способов ее бытия во времени и пространстве. Эволюция органов чувств должна была происходить в таком направлении, которое могло бы обеспечить человеку правильную ориентацию в этом мире и создать все для способности верно отражать окружающую среду и для эффективного взаимодействия с нею.

Как отмечает Дж. Хайман, многим выдающимся лингвистам нашего времени — Р. Якобсону, Э. Бенвенисту, Д. Болинджеру, Дж. Гринбергу и некоторым другим — было ясно, что язык и языковые универсалии отражают, причем достаточно очевидным способом, общие результаты перцепции — *percepts* [Haiman 1985: 3–4]. Это не исключает того, что сами подобные ощущения у современного человека — осмысленные, структурированные, упорядоченные, **обобщенные** и т. п., т. е. отсеянные из потока информации определенным образом благодаря действию механизмов, заложенных в биопрограмме человека, согласованы с их конвенциональной передачей в языковых формах и, конечно, сущностными характеристиками самого объективного мира.

Язык часто уподобляли зеркалу, отражающему мир. Но понимание языковой картины мира как «зеркальной» вряд ли корректно. В видении мира и его рефлексии в языке ярко отражены и воображение, и фантазия, и эмоции, и оценки и просто жизненные потребности человека. Если уж прибегать к образу зеркала, стоит сказать, что язык подобен автопортрету художника, который он рисует, глядя на себя и изображая себя таким, каким он видит самого себя в зеркале.

Последнее, что мы хотели бы подчеркнуть в сложной теме соотношения языка с восприятием, касается того, что восприятие заключается прежде всего не в пассивном созерцании мира, а в активном взаимодействии с ним. Именно в понятии деятельности мы усматриваем поэтому ключ к формированию той сетки концептов, которые входят в концептуальную систему человеческого сознания и, возможно, предшествуют языку. Только через деятельность объясняются такие ее продукты, или, как говорил А. Н. Леонтьев, дериваты, как психика и сознание, а также и такой способ ее самовыражения, как язык. Деятельность как понятие, обобщающее разнообразные и многообразные формы человеческой активности, представляет собой в конечном счете преобразование одних объектов в другие, трансформацию их свойств или признаков, и яснее всего раскрывается смысл этого понятия при обращении к трудовой, предметной деятельности человека. Из всего огромного круга проблем, поднимаемых и решаемых в теории деятельности,

нам важно в основном лишь то, что сознание и мышление человека зависимо от этого фактора.

Рождение структур сознания и структур знания происходит в процессах человеческой деятельности, имеющих в своих истоках чисто человеческие устремления, мотивы, причины, потребности, а также характеризующихся поэтому своими установками и целями. Понятие деятельности является отправным моментом в наших рассуждениях не только потому, что это позволяет увидеть исторические перспективы в эволюции сознания и психики человека, понять само восприятие с его главными принципами как развивающийся и меняющийся с течением времени феномен, но и потому, что понятие интеракции, деятельности разрешает сформулировать одно из центральных допущений развиваемых нами постулатов о наречении мира. «В акте номинации, — подчеркнули мы уже почти пятнадцать лет тому назад, — получают названия лишь те реальные или фиктивные объекты, на которые направлена деятельность человека. Сами объекты могут принадлежать миру внешнему и миру внутреннему, они могут составлять равно принадлежность мира действительного (так, как он есть) и мира вымышленного, выдуманного (отсюда проблема иных миров), но название дается “остановленной” мысли об объекте. В любом случае поэтому акт номинации представляет собой речемыслительный акт, из протекания которого не может быть выключено промежуточное звено: когнитивное, отражательное, концептуально-логическое или образное, но деятельностное, т. е. свидетельствующее о включенности подлежащего наречению объекта (или совокупности объектов) в деятельность и жизнь человека» [Кубрякова 1986: 37].

Из приведенной цитаты на деле и сегодня вытекают важные следствия. Интерпретируя сказанное с современной точки зрения, отражающей развитие когнитивной науки за последние годы, можно сделать заключение о том, что в языке, во-первых, именуются сущности, имеющие достаточно прямые и определенные аналоги в объектном мире. Это такие фрагменты мира, которым можно приписать онтологический статус и которые входят в число сущностей, определяемых остенсивным путем: это жесткие десигнаторы. Означивание мира началось, по всей видимости, их выделением и обозначением: таковы были номинации лиц и животных, орудий труда и простейших форм движения и т. п. Можно, однако, с развитием типов человеческой деятельности говорить и о создании обозначений, объекты которых формируются благодаря языковому определению. Такому обозначению (типа *холостяк*, *культура*, *белизна*) предшествует объединение разных концептов в единую структуру — концептуальный гештальт. Это так называемые номинальные классы слов, созданных человеческим воображением и фантазией, с одной стороны (ср. русалку или кентавра), но и такие обозначения, как *лектиричество*, *доброта*, *белизна* и пр., с другой. Номинальные классы слов подключаются со временем к тем, которые заданы существованием жестких десигнаторов. Мысль может объединить в единое целое концепты, которые в мире «как он есть»

или в природе объединены не были: творчество и познание нового были бы без такого объединения, без новых ассоциаций невозможны. Но «первичны» в определенном смысле те обозначения, которые относились к номинации чувственно воспринятых объектов. Именно они должны изучаться тогда, когда мы хотим реконструировать генезис частей речи. В этом случае мы должны всегда принимать во внимание, что любые объекты, любые признаки и любые операции с теми и другими воспринимались в определенных видах деятельности, прежде всего — предметно-познавательной, а поэтому и «откладываться» в сознании и именоваться могли исключительно в разных структурах деятельности.

Любой акт номинации — косвенное свидетельство не только определенного вида деятельности, но и факта «остановленного» внимания на одном из ее компонентов. Он демонстрирует также заинтересованность человека в таком отдельном выделении этого компонента (производителя действия или задействованного в деятельности объекта, орудия или средства, места или цели деятельности и т. д.). Это и создает принцип **релевантности** не только для номинации, но и для самого восприятия деятельности в целом или ее отдельных компонентов. Саму реальность объекта надо связывать в какой-то мере с онтологией мира, а в какой-то — с тем, в каких актах взаимодействия с миром и в каких целях был задействован данный фрагмент мира в определенном виде деятельности.

О сущности подобной позиции хорошее представление могут дать некоторые данные экспериментов Э. Рош. Она рассказывает, что когда ею задумывались эксперименты по выделению человеком признаков вещей и установлению корреляций естественного порядка между ними (например, крыльев, перьев и клювов у птиц), она полагала, что этот процесс естественно соотнесен и естественно ограничивается тем, что есть в самой природе. Но по дальнейшим размышлениям мы поняли, — подчеркивает она, — что указанному взгляду на вещи противоречит перечисление испытуемыми признаков, которые: 1 — предполагают предварительное знакомство с предметами (например, сиденьями у стульев), 2 — имеют смысл только по отношению к уже осуществленной ранее классификации вещей (так, приписывание роялю признака «большой» возможно после знания о других предметах мебели), 3 — относятся к признакам функционального характера, для чего тоже нужно некое предварительное знание о том, в каких типах деятельности человек встречал данные объекты (ср. признаки «то, на чем сидят» или «то, за чем едят» для стула и стола). Иными словами, отмечает Э. Рош, категоризация, анализ объектов и приписывание им признаков оказались довольно сложными и изощренными процедурами, которые испытуемые субъекты могли выполнять лишь тогда, когда они, собственно, уже обладали развитой системой категоризации мира (цит. по [Lakoff 1987: 51]).

Интересный пример аналогичного плана приводит и З. Пылишин. Описывая зрительные впечатления от восприятия точек . . . , он указывает, что их нахождение на одной линии и место точек по отношению к срединной точке может трак-

товаться как «непосредственно данное». Но уже заключение о том, что одна точка расположена **между** двумя другими, он считает переходом от индукции к другой ступени наблюдения [Pylyshyn 1988: 229]. Такое выражение знания — следствие появления особых языковых форм. Соответственно, ставя вопрос о том, что же кодируется и обозначается в языке, надо отдавать дань как физикализму (или материализму), так и концептуализму (идеализму), пытаясь установить меру воздействия на наречение мира принципов восприятия и одновременно учитывать экологические, культурные, общественные и пр. факторы такого восприятия, т. е. и конкретные условия существования человека и его биологическое устройство.

Нельзя не согласиться с Ф. Кликсом, который в своей замечательной книге о пробуждающемся, т. е. развивающемся во времени мышлении, писал: «Когнитивную функцию можно определить очень просто: с помощью языка можно обозначить словами (или знаками) не только вещи воспринимаемого мира, фиксируя их в памяти, но результаты мышления, которые связываются при помощи названий в единое целое. Этот зафиксированный в языке мир результатов мышления образует — как итог познавательных процессов — внутреннюю реальность, по отношению к которой операции мышления могут быть применены точно так же, как и к продуктам восприятия внешнего мира. Самыми существенными результатами мышления в языковых категориях являются образование и фиксация в памяти различного уровня абстракций» [Кликс 1983: 13].

«Внутреннюю реальность» составляют разные структуры знания (концепты, их объединения, пропозиции, схемы, образы и т. п.). Языковые формы, передающие значения подобных концептов, можно считать языковыми репрезентантами соответствующих перечисленных выше единиц. Их существование — доказательство того, что такие концепты и их разновидности, действительно, составляют части нашего сознания, притом коллективного и потому разделяемого обществом говорящих на одном и том же языке.

Подведем некоторые итоги. Некоторые ученые считают, что выделяемые человеком фрагменты мира и обозначаемые им сущности «зависят **не от** самих объектов, независимых от людей, но от способа, с помощью которого люди взаимодействуют с объектами: от того, как они их воспринимают, представляют их, организуют информацию о них, и от того, как люди ведут себя по отношению к этим объектам своими телами» [Lakoff 1987: 51]. Мы не столь категоричны: мы полагаем, что люди ведут себя по отношению к объектам **сообразно их объективным характеристикам**. Мы полагаем, таким образом, что в самом мире, существующем помимо и вне нашего сознания, в самих физических объектах и их материальных свойствах тоже уже нередко заложены условия деятельности с ними. Для выживания и продолжения рода на определенных ступенях развития человечества оно должно было приспособливаться к окружающей среде: человек был вынужден считаться с объективными свойствами мира, различать разные фор-

мы материи и ее движения, обращать внимание на те параметры объектов, которые были нагружены прагматически.

Объясняя феномен, благодаря которому из всех сигналов и стимулов, обрушивающихся на человека, он выделяет и выбирает лишь некоторые из них, Д. Шпербер и Д. Вильсон вводят принцип значимости, релевантности, управляющий поведением человека: из потока информации выбирается лишь то, что для этого поведения существенно и что согласуется с пониманием релевантности подобной информации в его картине мира [Sperber, Wilson 1986]. В своем развитии перцептуальные системы отрабатывают и усовершенствуют этот принцип [Carston 1989: 57–59]. Этот же принцип, думается, можно постулировать как для наречения мира, так и для его категоризации.

Рассмотрев явления восприятия, мы рассмотрели тем самым один из важнейших, когнитивных механизмов человеческого существа. Говоря о биологических предпосылках строения языковых систем, мы должны учитывать и то, как сказались на этой организации принципы восприятия мира. Что же вытекает из данного нами описания этих принципов?

Во-первых, не вызывает сомнения сам факт воздействия этих принципов на развитие языка, особенно в период его становления и генезиса: косвенного в той мере, в какой вычленение фрагментов реальности и возникновение неких ментальных их репрезентаций осуществлялось вне связи с языком, еще на доречевом уровне существования человека, но также и более непосредственного, когда подобные фрагменты и соответствующие им структуры сознания стали связываться с возникающими языковыми. Как писал Б. Рассел, мы так поглощены языком, что склонны пренебрегать связями между языком и экстралингвистическими явлениями. Меж тем именно эти связи придают значение словам и смысл предложениям... (цит. по [Slagle 1974: 29]).

Во-вторых, важно осознать, что уже в процессах непосредственного восприятия реальности формировались первые обобщенные представления человека о мире и что, таким образом, «язык мозга» начинает формироваться, опережая язык. Нет ничего удивительного в том, что некоторые сформированные в нем концепты становятся врожденными, и что, следовательно, какие-то из них (типа **кто-то**, **что-то**, **место**, **изменение** и пр.) **предшествуют** языку и (или) первыми получают свои частные обозначения. Ясна поэтому значимость и релевантность как раз тех концептов, существование которых можно предположить в качестве элементов языка мозга и его простейшей концептуальной системы, складывающейся до языка (ср. также [Павилёнис 1983: 5 и 12]). Лишь с появлением языка эта система начинает свою более сложную эволюцию и начинает включать концепты, не имеющие прямых аналогов в действительности.

По сути дела такое же опережающее влияние структур сознания на язык наблюдаем мы и сегодня в актах порождения речи и особенно в актах номинации:

для рождения нового наименования необходима потребность в означивании некоторой новой структуры знания, мнения или оценки мира.

В-третьих, изучая восприятие с когнитивной точки зрения, мы можем выдвигать некоторые предположения о том, какой список «первичных» концептов, определявших концептуальную систему человека в начале его эволюции, может считаться включающим первичные онтологические категории или же простейшие категории бытия (помимо рассмотренных выше работ можно указать также на [Moravcsik 1990; Bickerton 1990] и рецензию Ст. Пинкера на него — см. [Pinker 1992: 381] и др.). И хотя в дальнейшем мы вернемся еще раз к обсуждению этих концептов, уже сейчас хочется подчеркнуть неизменность указания на наличие в этом списке концептов объекта и движения, действия или изменения вместе с концептом пространства. Несмотря на то, что даже здесь мы не хотели бы наводить читателя на мысль о том, что мы усматриваем такое же отношение категории объекта к существительному, какое проявляется в отношении между категорией движения и категориями глагола (см. также [Maratsos 1990]), мы не можем не заключить на этом этапе анализа, что именно небольшой список выявленных когнитологами и психологами концептов — архетипов сознания — создает основы будущих частей речи и требует в силу их исключительной важности для человека своей языковой объективизации и вербализации<sup>1</sup>.

Наконец, последнее: несмотря на исключительную роль чувственного, перцептуального, наглядного, сенсомоторного, непосредственного восприятия действительности, следует признать что **не оно одно** осуществляло **обработку информации**, поступавшей к человеку извне, и что отношения в цепочке «реальность — ощущения — восприятие — когниция» носят весьма сложный характер. Язык — отнюдь не простое зеркало мира (ср. [Jorna 1990: 21]), а потому фиксирует не только воспринятое, но и осмысленное, осознанное, интерпретированное человеком. В структурировании воспринятого существенно сказываются моменты его чисто человеческой обработки — **категоризации и концептуализации** (ср. работы М. Бирвиша и указания на них в этой связи в [Miller, Johnson-Laird 1976: 9], см. также [Lichtenberk 1991: 477]).

---

<sup>1</sup> Уже после написания этой главы мы получили возможность ознакомиться с мыслями М. Рикхейт об основных бытийных категориях, отражаемых в системах языков мира. По ее мнению, не стоит утверждать, что онтологические категории полностью независимы от лингвистического материала, примером чего якобы могут служить онтологические категории массы (вещества) в отличие от индивидуального объекта [Rickheit 1993: 193 и сл.]. Но зависимыми от языка мы считаем исключительно **способы языкового представления** онтологических категорий и, главное, их субкатегорий. Сами же онтологические категории (в небольшом их количестве) считаются универсальными, не зависимыми от языка и входящими в виде обязательных в концептуальные системы человека как такового (т. е. свойственными сознанию человечества, а в эмбриональном состоянии, возможно, данными и развитым живым существам).

## *Глава четвертая*

### **ПРОБЛЕМЫ КАТЕГОРИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОПЫТА**

Понятие категоризации является одним из самых фундаментальных понятий человеческой деятельности и одним из ключевых понятий когнитивного подхода. Тесно связанное со всеми когнитивными способностями человека, оно также связано со всеми компонентами самой когнитивной системы — вниманием и распознаванием объектов, умозаключениями, памятью. Способность классифицировать явления, распределять их по разным классам, разрядам и категориям свидетельствует о том, что человек в восприятии мира судит об идентичности одних объектов другим, об их сходстве или, напротив, различии. Категоризация — это главный способ придать воспринятому миру упорядоченный характер, систематизировать как-то наблюдаемое и увидеть в нем сходство одних явлений в противовес различию других. Важно поэтому попытаться понять, на основании каких критериев человек выносит подобные суждения и разносит увиденное, услышанное или прочувствованное по определенным группировкам. Пожалуй, ни в одной области КН разрыв с предшествующей традицией в понимании мира не ощущается так сильно, как в рассмотрении вопроса о том, как человек классифицирует, категоризирует и/или концептуализирует оружающую его действительность. Новые идеи оказались здесь действительно революционными и перевернувшими классические представления о категориях и категоризации, которые существовали более тысячелетия.

За последнее десятилетие появилось огромное количество публикаций, посвященных принципам категоризации, как принципам подведения изучаемых объектов под те или иные объединения, т. е. монографий и статей, освещающих проблемы категоризации в самых разных ракурсах. Возможно поэтому, что еще в одном изложении результатов анализа явления и не было бы особой необходимости, и в силу этого можно было бы ограничиться ссылками на то или иное положение в теории категоризации, сложившееся к сегодняшнему дню. Ряд причин, однако, заставляет нас обратиться хотя бы к краткому анализу того, что представ-

лено в специальной литературе. Во-первых, центральная для настоящей книги тема — о частях речи — есть прежде всего вопрос о том, как распределяются слова в разных языках по таким категориям, как части речи. Соответственно, установление принципов подобного распределения входит в одну из основных задач исследования. Во-вторых, в существующей литературе для доказательства правильности той или иной точки зрения используется самый разнообразный материал, не всегда только лингвистический, и важно рассмотреть вопрос о применимости той или иной концепции к языковому материалу. Наконец, в существующей литературе по вопросу представлено немало противоречивых суждений и взглядов, а для проведения настоящей работы необходимо наличие непротиворечивой исходной концепции, относящейся к естественной классификации вещей.

Вообще говоря, можно было бы согласиться с мнением о том, что все классификации человека являются лингвистическими (см. [Taylor 1989: VI]). Не будь имен, как знали бы мы, к какому классу или категории человек относит определенное явление или процесс. Понятие категоризации тесно связано с такими умозаключениями, о которых мы узнаем благодаря языку. С другой стороны, не следует понимать сказанного буквально: если считать, что при категоризации или классификации вещей главное — принятие решения относительно их идентичности, сходстве, подобии и т. п. друг другу, т. е. в их рассмотрении в виде «того же» или «не того же самого», придется признать, что суждения такого рода не обязательно сопряжены с языком или облечены в языковую форму. Ведь и животные различают одни и те же или разные стимулы и по-разному на них реагируют [Jackendoff 1993: 77]. Ср. также эксперименты с детьми, когда маленькие дети складывают по разным кучам предъявленные им предметы в ответ на просьбу сгруппировать их: несмотря на незнание общих имен типа «фрукты», дети складывают вместе яблоко и грушу, нож и ножницы, игрушки и т. п. Не зная названий для таких объединений, они охотно объясняют их смысл. И все же, конечно, в большинстве случаев членение мира у взрослого человека опосредовано языком, из чего следует, что эта операция имеет как категоризационный, так и лингвистический характер. Называя что-то «столом», а что-то «стулом» или же описывая ситуацию высказыванием «Дождь идет», мы уже относим это что-то к определенному разряду, соглашаясь с фиксацией аналогичного опыта в тех же терминах у предшествующих поколений. Естественно, что такие «классификации» происходят едва ли не автоматически, они конвенциональны для носителей одного языка, и не случайно, что многие ученые полагали в связи с этим, что решение о тождестве вещей, именуемых одним именем, — следствие лингвистической конвенции. Такова позиция номиналистов: как подчеркивается ими, в серии объектов, именуемых собаками, нет ничего общего, кроме этого названия [Taylor 1989: VII]. Но ведь это явно не так: за «привычкой» называть одним словом не ограничиваемую заранее серию однотипных сущностей стоит явное понимание их однотипности. Какова же здесь действительная логика рассуждений? Что здесь является причи-

ной, а что следствием? Разве мы потому объединяем в класс всех собак, что обладаем общим для них названием, а не потому, что усматриваем в этом объединении объектов вполне определенные мотивы? По всей видимости, человеку более близка вторая точка зрения, и он предполагает у того, что им объединено, наличие общих черт.

Номиналистам поэтому и сегодня противостоят ученые, которые считают, что сходство или общность вещей существует «в природе», независимо от языка, и что слова отражают эту общность, называя одним словом то, что связано онтологически. Такова позиция реалистов. Наконец, концептуалисты полагают, что применение одного имени для серии объектов опосредовано общим для них концептуальным основанием, т. е. возможностью представить каждый объект одного ряда единой ментальной репрезентацией, одним и тем же концептом. Но, как правильно указывает Дж. Тейлор, концептуализму тоже свойственна либо номиналистическая, либо реалистическая ориентация: ведь можно утверждать либо что единый для серии объектов концепт появляется в результате применения к ним одного названия, либо, напротив, что подобный концепт возникает в результате формирования сходных ментальных репрезентаций, т. е. не в актах наречения, а в актах восприятия мира и отражения действительного положения дел.

Соответственно указанным философским позициям, можно было бы сказать, что для номиналистов название словами одной части речи разных сущностей приводит к тому, что однотипность имен ведет к выводу об идентичности стоящих за ними когнитивных структур (язык диктует членение мира: такова суть знаменитой гипотезы Сэпира—Уорфа). Для реалистов существование частей речи как разных слов есть верное отражение того факта, что онтологически в мире представлены разные объекты и разные явления и что такое верное виденье мира и объективируется в языке. Наконец, для концептуалистов, позиция которых нам наиболее близка (в ее материалистической ориентации), за разными частями речи стоят разные когнитивные (концептуальные) структуры, но в общем это соответствует онтологии мира, с той, однако, оговоркой, что мир «как он есть» пропущен все же через голову человека и отражен там поэтому в том виде, в каком он и его восприятие ограничено, во-первых, биологически (тем, что свойственно человеку как определенному живому организму), во-вторых, социально (в широком понимании этого условия, т. е. включения в него всего того, что делает человека детищем своего времени, своей эпохи, цивилизации, своего общества и т. п.) и, в-третьих, прагматически, что предполагает оценку воспринятого по его значимости для совершаемой человеком деятельности и его общего благополучия (выживания).

Рассмотрев в предыдущей главе основные принципы восприятия и охарактеризовав их зависимость от всех этих перечисленных факторов, мы, собственно, и пытались объяснить ту компромиссную точку зрения, которая защищается в настоящей работе. Да, несомненно, «слова светятся отраженным светом вещей»

[Дорошевский 1973: 109; Кубрякова 1978: 3], а распределение слов если и не вполне диктуется существующим положением дел в мире, то во всяком случае с ним вполне согласовано. Это значит также, что классификации в языке хранят в себе черты **естественных** классификаций, т. е. классификаций с образным началом, с их нежесткими границами и отсутствием жесткой логики, с особыми правилами включения в них новых членов и, следовательно, особыми закономерностями их функционирования и развития, с возможностью отхода от взаимоисключающих решений. Эти черты языковых классификаций ярко проявляются на всех уровнях строения языка, — не составляют в этом смысле исключения и части речи.

Согласно тонкому наблюдению Т. Гивона, новое объяснение принципов категоризации мира начинается с Ч. Пирса, и оно связано именно с рассмотрением лингвистических категорий. Понимание у Пирса языковых знаков как знаков трех типов с отсутствием строгих границ между этими классами уже вводит представление о классификации как способе выделить отдельные точки в виде единиц многомерного пространства на достаточно условных основаниях, притом для утверждения о наличии не совсем «чистых» категорий [Givón 1989: 21–22]. Развитое затем Р. Якобсоном, это учение о знаках четко выявило разные типы возможных отношений знака к объектам вне знака (к референтам знака) и, главное, «различные степени знаковости» [Степанов 1971: 82]. Выделение классов знаков-символов, знаков-индексов и иконических знаков продемонстрировало собой новый подход к категории знаков в целом: было продемонстрировано и то, в частности, что «каждый конкретный символический акт может содержать в себе комбинации всех трех типов отношений (иконические, произвольные и индексальные)...» [Бейтс 1984: 79].

Важным в этом подходе является то, что классы жестко друг другу не противопоставлены, что в одной и той же категории (знаке) критериальные свойства входящих в нее единиц расходятся и не совпадают (знаки трех типов обладают разными критериями) и что, таким образом, сама категория оказывается объединением или набором единиц с нетождественными свойствами и в то же время группировкой единиц, характеризующихся неким общим свойством — быть представителем чего-то вне знака (см. подробнее [Кубрякова 1993: 20 и сл.]).

Не вызывает сомнения, что классическое определение категории должно было бы препятствовать такому пониманию знака. Ведь согласно взглядам, берущим свое начало еще в античности, категории дискретны, а отнесение к ним единиц происходит на основе наличия у них свойств, необходимых и достаточных для их опознания. Каждая единица обладает поэтому одним и тем же набором признаков, — критериальных свойств, — и в этом смысле никакая единица из данной категории не может обладать каким-либо привилегированным статусом. Они все равны. В такой ситуации, конечно, у категории не может быть размытых краев, а единица или принадлежит ей или же не принадлежит: *tertium non datur*. Подроб-

ное рассмотрение этих взглядов на категорию (ср. [Givón 1989; Lakoff 1987; Cruse 1990; Taylor 1989 и др.]) избавляет нас от пересказа этих сведений, и лишь в самом общем виде можно отметить, что если к самому понятию категории применялось ранее требование удовлетворять непротиворечивым логическим критериям — закону достаточных и необходимых признаков, закону исключенного третьего, строгих границ и т. п., то именно это условие и было поставлено под сомнение в работах Л. фон Витгенштейна, а далее нашло свою завершённую форму в теории прототипов.

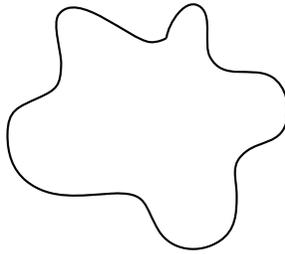
Конечно, вещи начинают объединяться в один класс тогда, когда у них обнаруживаются некие общие свойства, и в этом смысле традиционные представления о категоризации не могут не содержать рационального зерна. Новые идеи по этому поводу возникают, однако, тогда, когда начинается оценка обнаруживаемого сходства и конкретное определение его границ, т. е. тогда, когда уточняют вопрос о том, в чем именно усматривает человек общность вещей или их подобие друг другу. Думается также, что на самом деле немалую значимость приобретает и вопрос о том, сколько членов формирует категорию. Мало кто из занимавшихся определением категории обращал внимание на то, что обнаружить общие черты у небольшого количества сравниваемых объектов гораздо легче, чем постулировать наличие единых признаков у **всех** многочисленных членов категории. Ведь если мы начинаем сопоставлять некие единицы **попарно**, одинаковые признаки для двух единиц выявить гораздо проще. Возможно, следовательно, что жесткое понимание категории основывается на понятии равенства, тогда как нежесткое — на понятии подобия, сходства, но не полного тождества. Научное определение предполагает именно первую ситуацию, определение же категории как естественного феномена — вторую.

Изоморфно обращению к обыденному языку было у Витгенштейна и обращение к обыденному сознанию. Изучение категоризации у него явно связано с рассуждениями о здравом смысле. Этот подход четко проявляет себя и в знаменитых соображениях Л. фон Витгенштейна, высказанных им в связи с примером интерпретации такой категории, как игра/игры. Задавая вопрос о том, что же общего наблюдается у олимпийских игр и игр в карты, игр с мячом и игры в шахматы или шашки, он отмечает, что эта категория (лексическая единица «игра») структурируется отнюдь не благодаря наличию у этих единиц одинаковых критериальных признаков, и все же все они естественно подводятся под одну лексическую единицу, т. е. рассматриваются как «инстанциация» одной и той же категории. «Я не могу придумать лучшего выражения для того, чтобы охарактеризовать сходные черты, — пишет Витгенштейн, — чем “фамильное сходство”, поскольку и между членами семьи наблюдается такое же наличие близких черт: то в телосложении, то в цвете глаз, походке, темпераменте и т. п. Они накладываются друг на друга, пересекаются точно таким же образом; игры образуют такую же “семью”» (цит. по [Taylor 1989: 39 и сл.]). С понятием игр люди знакомятся, знакомясь с каждой от-

дельной игрой, а объясняя, что это такое, мы опишем несколько игр и добавим — вот это и нечто аналогичное и называется «игрой». Но ведь одни игры сближает то, что в них есть выигрывающие и проигрывающие, — этого нет в пасьянсе; некоторые игры предполагают развлечение, но сравните игру в шахматы; в одних играх требуется умение и знание правил, в других — везение и т. д. В итоге, если мы будем сравнивать игры попарно так, как мы указывали выше, сходство их будет достаточно очевидным, но чем большее количество игр мы сопоставим, тем меньше общих черт у них обнаружится и тем менее постоянным будет тот набор признаков, который мы у них выявим.

Такую же неопределенность в установлении опознавательных признаков одной категории и области ее референции выявил позднее в серии своих экспериментов с обозначениями посуды и утвари в 1973 г. В. Лабов. Оказалось, что ответить на вопрос о том, чем отличается чашка от миски или пиалы, в аристотелевских терминах достаточно трудно. В то же время некоторые сосуды безоговорочно опознавались всеми испытуемыми одинаково — как вазы, кружки, чашки и т. п. и, таким образом, сама осуществляемая категоризация имела, по всей видимости, вполне объективные основания. Эти опыты подтвердили, на наш взгляд, положение о том, что не признаки как таковые играют решающую роль в распознавании обиходных предметов и даже не зафиксированные в опыте человека «лучшие образцы» класса, а восприятие целостностей, представляющих собой скоррелированные друг с другом перцептуальные атрибуты, их «кластеры». Но в теории прототипов акцент был сделан именно на «лучших представителях» своей категории, ибо для обыденного сознания характерно как раз то, что одни образцы считались **лучше** представляющими свою категорию, нежели другие. Так, воробьи лучше представляют класс птиц, нежели пингвины, — возможно, оттого, что демонстрируют нечто вроде «усредненной» птицы (среднего размера, довольно нейтральной окраски и т. д.). Наиболее полное описание свойств прототипов — типичных и типовых единиц для определенного их класса — было дано Э. Рош и ее коллегами, а сам вопрос о сущности прототипов и их роли в естественной категоризации мира стал темой многочисленных обсуждений и дискуссий (см., например, работы Р. М. Фрумкиной и ее учеников в отечественной лингвистике, см. также, помимо названных ранее работ, [Paivio 1986: 26–27; Lipka 1990: 55 и сл., 116 и сл.; Харитончик 1992: 106 и сл.; Демьянков 1994]).

Работы о прототипах выявили существенные черты организации и структуры естественных категорий. Так, если категория держится на представлении о фамильном сходстве всех ее членов, может быть и следует считать, что этот признак является критериальным для всей категории и образует вследствие этого ее «ядро» или «фокус»? Именно так комментировал идею Витгенштейна О. Дал, приводя для наглядного изображения категории рисунок типа:



Очевидно, что такой рисунок изображает не только существование фокуса, но и размывание категории в разных направлениях, при том что фокус тоже оказывается здесь достаточно неопределенным (см. [Dahl 1987: 160]). Приводя иллюстративные примеры, О. Дал показывает, как смещается и фокус категории: предлог *в* в сочетании *в доме* вводит локативный падеж, от него можно перейти легко к падежу времени — *в три часа* или же к падежу цели — *в интересах дела* и т. п. Подобные явления были описаны на разном материале: их целью было показать, как осуществляются переходы от одного значения к другим по цепочке, в которой смежные единицы разделяют между собой больше общих признаков, чем крайние.

Логiku подобного развития мы продемонстрировали на видоизменениях в значении деривационных аффиксов, которые в ходе этого процесса становятся многозначными: так, идея разъединения в *развязать*, *развинтить*, *разбинтовать* легко ассоциируется с идеей разрушения (*разбить*, *разломать*), идеей отторжения частей от целого, а далее с идеей лишения (*разморозить*). Итогом же такого развития выступает наличие разных значений у одного аффикса, одной лексической единицы, одной категории, а, следовательно, организация категории меняется в силу обретения ею нескольких фокусов, а, возможно, и формирования на этой основе новых категорий. Нечто аналогичное мы постараемся показать на материале отдельных частей речи.

Прототипический подход, указывает редактор одного из последних изданий, посвященных теории категоризации, основан на том, что в любом естественном языке проводится меньше различий, чем в окружающем нас мире. В связи с этим возникает вопрос, как сводит язык подобное бесконечное разнообразие мира к *n*-ому числу обозначений. В прототипической семантике на этот вопрос отвечают, принимая два допущения: 1 — в лингвистической категоризации отражаются в первую очередь не особенности конкретного языка, а особенности когниции, познания, т. е. у них существуют когнитивные основания; 2 — элементы одной категории объединяются не потому, что они обладают свойствами, необходимыми и достаточными для каждого члена и обязательными для каждого из них, но потому, что они демонстрируют, причем иногда в большей, а иногда в меньшей степени, некоторые черты подобия или сходства с тем членом категории, кото-

рый выбирается в качестве ее лучшего представителя и полнее всего репрезентируют эту категорию [Tsohatzidis 1990].

Представление о том, что естественные категории обладают прототипической структурой равносильно утверждению о том, что у этой категории есть особое внутреннее строение, что не все ее члены одинаковы и равны, что в основе ее лежит определенная когнитивная модель знания, отражающая не столько тождество членов категории, сколько понимание того, в виде каких вариантов может быть встречен ее идеальный образец (инвариант) и какими сторонами может повернуться к нам отдельный представитель категории.

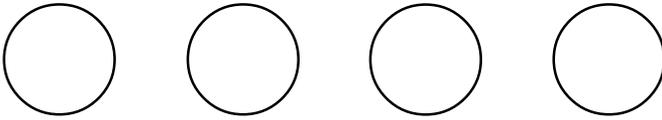
Прототипичность как свойство категории — одно из наиболее продотворных положений когнитивной науки, указывает Д. Круз [Cruse 1990]. У такого представления есть как бы две стороны — одна касается отношений между категорией и ее членами, внутренней организации категории, возможности выделить у нее ядро и периферию, другая — определения границ категории и совокупности представляющих ее признаков.

Применение новых взглядов на категорию дало свои плодотворные результаты во многих областях лингвистики. Одним из них явилась попытка рассмотреть слово как обозначение (имя) категории, а его значения — как формирующие ее свойства [ср. Lakoff 1987: XIII]. Явления многозначности получили в этой связи новое истолкование, поскольку стали изучаться в свете представлений о том, как может развиваться некая исходная идея в процессах ее постепенного переосмысления (см., например, новаторские работы М. Бирвиша).

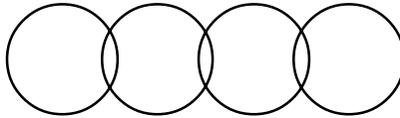
Отвечая на вопрос о том, почему мы называем разные вещи одним словом, Дж. Остин, во многом предвосхищая понятие прототипа, указывал, что обычный ответ на этот вопрос (потому что сходны сами обозначаемые вещи), не корректен. Конечно, разные значения одного слова образуют для говорящих определенные единства, а, следовательно, должны существовать некие механизмы переходов от одного значения к другому. Одним из них является метонимия, другим — аналогия. По-английски одним и тем же словом (foot) называется часть тела человека (нога), нижняя часть горы (подножие) и т. д. Значит ли это, что они «похожи» или «сходны»? Нет, — утверждает Остин, — просто от ядерных смыслов (nuclear senses) можно перейти к периферийным путем умозаключений. Это и делает эти смыслы **связанными**, находящимися друг с другом в определенных (цепочечных) отношениях. Таким образом, механизмы метонимии и метафоры не разрушают категории, а развивают ее (ср. [Лакофф 1988: 32 и сл.]). Для нас здесь важно именно то, что между членами категории нет равенства, но их мотивированную связь друг с другом можно установить, возвращаясь к **исходной** идее (группе признаков, свойств или одному такому свойству) категории. Предвосхищая доказательства такого развития системы частей речи, мы хотели бы подчеркнуть уже здесь, что такой начальной, отправной точкой развития этой системы была сама идея наименования и обозначения объектов в окружающем человека

мире. Единая категория наименования стала затем развиваться в разные стороны и члениться по разным направлениям, а в процессе этого развития формировались ее разные фокусы.

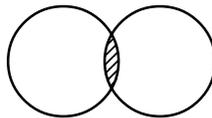
Чтобы представить себе развитие частей речи, надо понять, как вообще может протекать развитие категории в общем плане. Как указывает Т. Гивон, схемы развития категории которого мы принимаем за основу, в традиционном или классическом духе категории надо было бы изобразить кругами Эйлера, между которыми нет никаких точек соприкосновения: категории взаимоисключающи — ср.:



Напротив, взгляды Л. фон Витгенштейна позволяют отразить существование категории в виде попарно соприкасающихся множеств, где общая часть отражает наличие у членов категории повторяющихся черт:

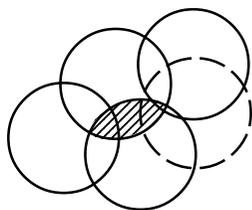


Ясно, что отдельно взятый фрагмент этой схемы, а именно



демонстрирует бытие естественной категории с ориентацией на лучший образец (прототип), который ввиду своего особого положения отражает наиболее существенные признаки категории либо потому, что он обладает наибольшей репрезентативной совокупностью признаков, либо потому, что присущие ему признаки занимают ведущее место в иерархии признаков (ср. [Givón 1989; Givón 1986: 77–79]).

Известный компромисс между взглядами заключается, однако, в том, что если признать (так, как это делал О. Дал), что развитие категории не всегда однонаправленно и что от одного фокуса оно возможно в разные стороны (под влиянием разных условий и в результате выбора для видоизменения категории одного из ее конституирующих признаков), развитие категории можно представить иной схемой, а именно:

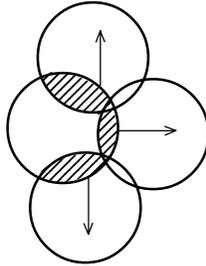


Заштрихованная часть показывает «лучшего представителя» категории, демонстрируя одновременно, что у других членов категории повторяются разные (не тождественные) наборы признаков и что в целом категория развивается по разным основаниям. Ср. [Кубрякова 1990: 30 и сл.].

Если учесть, что схема отражает и то, что общие для попарно связанных частей участки категории указывают на источники ее размывания, можно сказать, что представление о фамильном сходстве конкретизируется каждый раз за счет того, что в одном случае от поколения к поколению передается внешнее сходство, в другом — сходство телосложения и что в разных ветвях одного семейства обнаруживаются то сходные носы, то глаза, то темпераменты... Фокусов развития тогда оказывается несколько. В развитии языковых категорий дела и не могут обстоять иначе — на эволюцию языка воздействуют многочисленные факторы, а когнитивный оказывается только одним из них, хотя и очень существенным.

Продемонстрируем на одном конкретном примере строение естественной языковой категории, выбрав для иллюстрации сказанного категорию морфемы. Рассмотрим, как происходило развитие этой гносеологической категории под влиянием данного ей в начале общего определения. Согласно широко принятому определению, морфема — это минимальная языковая форма (единица), соотносящая определенное содержание с определенной материальной (звуковой, графической) последовательностью, минимальный языковой знак. Ясно, что рассуждая даже чисто логически, мы бы могли предположить, что развитие (размывание границ) категории может принимать форму отклонения от любого из постулированных для нее признаков. Так, первое отклонение от совокупности критериальных свойств наблюдается тогда, когда морфеме «разрешается» быть представленной отсутствием каких бы то ни было материальных черт (так возникает класс **нулевых** морфем); второе отклонение относится к возможности морфемы быть репрезентированной не одной и той же звуковой последовательностью, а частично различающимися последовательностями (отсюда представление об **алломорфии** — вариантности морфем и понятие об **альтернирующих** морфемах); третье отклонение (абсурдное с точки зрения классического определения категории) — представление об **асемантических** морфемах и т. д. Точно так же можно было бы объяснить и появление класса прерывистых или портманто-морфем. Но несомненно, что во всех этих случаях морфемой называют нечто похожее на нее

в том или ином отношении, но не совпадающее с ее лучшим представителем (прототипом) по всем признакам: напротив, каждый из выделяющихся классов морфем характеризуется вырождением (элиминацией) одного из конституирующих ее признаков и — одновременно — выдвиганием на первое место по своей значимости какого-то иного признака (альтернации, разрыва в месте соединения морфемной последовательности, нечеткости в выражаемом ею содержании или же трудности в ее вычленении). Схему такого развития можно представить в следующем виде:



Заштрихованные зоны указывают на наличие у данного класса морфем каких-то общих признаков. Ср. также [Кубрякова 1990: 31].

По такому же в общем принципе происходило и развитие категории частей речи, когда в одних языках могли преобладать их морфологические критерии (они занимали доминирующее место в иерархии признаков), в других — чисто синтаксические, в третьих — собственно дискурсивные и т. п. Очевидно, что конкретное направление такого или иного развития зависело от того, какое содержание вкладывалось в представление о лучшем образце своей категории, т. е. в конечном счете — о критериальных (исходных) свойствах класса или категории и ее прототипе.

Подводя итоги исследованию прототипов и самой теории прототипов, ее основные постулаты можно, по всей видимости, сформулировать в следующем виде:

1. Каждая естественная категория обладает определенной структурой, не предписывая своим членам как членам множества обязательности повторения у них всего набора идентичных черт, — она характеризуется прототипичностью лишь в том смысле, что организуется вокруг прототипа (фокуса, ядра) или даже нескольких прототипов (при ее делении на субкатегории).
2. Статусом прототипа обладает лучший представитель своего класса, т. е. тот, который обладает психологическими признаками, наиболее ярко и полно репрезентирующими этот класс, чаще всего — фамильное сходство категории; хочется подчеркнуть, что и фокус категории содержит средоточие наиболее представительных характеристик своего класса, потому это понятие в известной мере может быть признано коррелятивным понятию категории в ее классическом варианте.

3. Члены одного множества (класса, категории) не равны: степень их представительности соответствует их близости фокусу категории и/или ее прототипу: прототипической категорией поэтому можно считать (в отличие от классической, аристотелевской) категорию, члены которой демонстрируют разные степени отклонения от эталона — ср. степени морфологического членения структур слова, разные степени мотивированности производных слов, степени знаковости и т. п.
4. Категории прототипического характера, объединяя единицы с разными наборами признаков и частично нетождественными характеристиками, оказываются иногда категориями с размытыми неопределенными границами, т. е. близкими «размытым множествам» Л. Задэ. Не хотелось бы, однако, на этом основании делать вывод о том, что одна категория «перетекает» в другую во всех случаях ее существования: наверно, между слонами и не-слонами, между собаками и не-собаками, между телевизорами и не-телевизорами трудно вообразить наличие промежуточных случаев, зато границы между более абстрактными категориями, по всей видимости, менее определены. Статусы разных категорий и разных таксонов в разных классификациях могут быть поэтому тоже различными, располагаясь на шкале, где одним полюсом является жестко определяемая категория, а другим — размытая, градуированная.
5. Получить представление о категории можно не только через описание ее критериальных свойств, что чаще характеризует научные категории, но и через ее образец, притом одно соответствует аналитической дескрипции и дефиниции категории, а другое — ее истолкованию с помощью образца, эталона, гештальта, когда прототип мыслится скорее как целостность, нежели как пучок признаков.

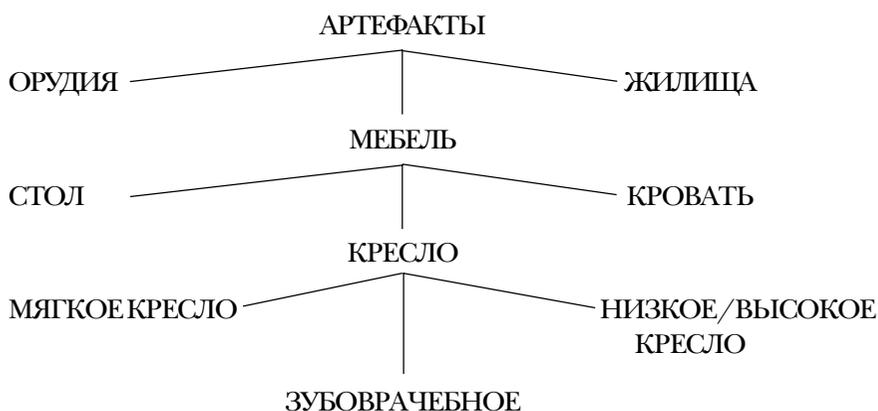
Помимо таких общих итогов, в теории прототипов содержались и другие интересные идеи (напомним, что мы освещаем те из них, которые могут использоваться в определении частей речи). Одна из них касается роли прототипа как порождающего начала для формирования развитой категории (ср. [Лакофф 1988: 35 и сл.]), другая — категоризации как классификации, имеющей место на разных уровнях и в разных плоскостях. Если структурация категории предполагает ее ориентацию на фокус или прототип, а сами прототипы служат для того, чтобы на их основании делать определенные заключения о наличии определенной совокупности свойств, тогда надо признать и роль прототипов для логических умозаключений о категории, т. е. своеобразных стимуляторов или активизаторов для получения выводного знания (*inference*). Более того. «В некоторых случаях, — указывает Дж. Лакофф, — члены категории определяются или порождаются ее центральными членами; так, зная сегодня, какими значениями обладают обычно существительные или глаголы в том или ином языке, мы достаточно уверенно

можем определить, какие из этих значений являлись “исходными” и потому источниками будущих трансформаций, к которым применяются какие-либо общие правила. Лучший пример такого рода — числа» [Лакофф 1988: 35]. Этот тезис представляется нам особенно важным, поскольку, на наш взгляд, им постулируется одно из возможных направлений будущего развития категории: путем действия правил, примененных к одному исходному символу. Но ведь именно так организуются новые типы грамматик — категориальные грамматики Монтегю, генеративные грамматики и т. п. — все те, к которым может быть применен термин «порождающие».

С одной стороны, это существенно для нас, так как части речи в отдельных языках выступают как исторически развивающиеся классы слов, и нам необходимо понять, по каким законам могла происходить такая эволюция. С другой стороны, мы уже давно подчеркивали, что в типологических и диахронических исследованиях языка для понимания статуса единицы следует установить, каким именно видоизменениям она оказывалась подверженной в разных языках (см. [Кубрякова 1972: 173]). Мы использовали эти данные для разграничения процессов словообразования и словоизменения, деривации и парадигматики (морфологической). Но ведь тот же по существу принцип был использован и в трансформационной грамматике, когда в качестве опознавательных признаков принадлежности слова к той или иной категории стали применять его способность подвергнуться тем или иным трансформациям, т. е. порождать новые единицы. Соответственно, возможность применить правило (трансформацию) по отношению к определенному символу (например, фразовому маркеру) для достижения искомого результата могла сама рассматриваться как показатель статуса исходного символа (ср. [Taylor 1989: 185]). Но если процесс такого рода регулярен, восстановить его можно не только идя от исходного символа к производному, но и, напротив, от производного к исходному. Так, зная сегодня, какими значениями обладают обычно существительные или глаголы в том или ином языке, мы достаточно уверенно можем определить, какие из этих значений являлись «исходными» и потому источниками будущих трансформаций. Так, например, сочетание типа англ. *literature teacher* ‘учитель литературы’ не может рассматриваться как сочетание прилагательного и существительного, поскольку постановка первого из компонентов этого сочетания в предикативную структуру невозможна: нельзя сказать *\*the teacher is literature*, хотя случаи сочетания существительных с подлинными прилагательными демонстрируют такую возможность. Ср. обычную трансформацию конструкции *a red car* в конструкцию *the car is red*. К этим наблюдениям мы еще вернемся ниже. Здесь же нам важно отметить, что принадлежность единицы своей категории может быть определена не только образцом, но и **операциональным путем** — указанием на то, что можно сделать с этой единицей благодаря определенному правилу (преобразованию, трансформации, какому-либо действию с нею и т. д.). Это вводит в рассмотрение категорий еще один

фактор — функциональный (подведение под одну категорию может достигаться благодаря выполнению ее членами однотипных функций — ср. артефакты типа «мебель», «кухонная утварь», «оборудование для холодильников» и т. д.). В таких категориях значимость признаков другого порядка, т. е. не-функциональных, естественно убывает. Но это, в свою очередь, возбуждает к жизни вопрос об иерархии признаков и их соотношениях друг с другом.

Прототипичность — в том значении, которое ей придавалось Э. Рош и ее коллегами — связывалась в этой теории не только с понятием прототипа, но и с противопоставлением двух разных осей категоризации, выделением ее разных уровней — базисного, супербазисного и суббазисного, причем одно было тесно связано с другим. Поскольку каждый объект может быть охарактеризован по-разному, в зависимости от точки зрения на него, а также может получить несколько названий, эту особенность классификации можно трактовать как виденье объекта то с позиций более «высокой» (абстрактной) категории, в которую он входит, то, напротив, с позиции той более «низкой» (конкретной) категории, члены которой ему подчинены. Так, суперкатегория (например, мебель) характеризуется тогда как категория, включающая некие ее разновидности (столы, стулья, шкафы), а любая базисная категория, в свою очередь, включает тоже разновидности каждой из них: ведь столы могут быть письменными, операционными, покерными и т. п. Подобный результат категоризации может быть представлен схемой, демонстрирующей иерархию понятий и — одновременно — возможность ее членения по горизонтали и по вертикали (см. [Taylor 1989: 47]):



Именно иерархическая классификация вещей является убедительным доводом в защиту классического взгляда на категорию: ясно, что если проследить движение категории по вертикали, окажется, что у мебели все признаки артефактов плюс еще что-то, точно так же у кресла — все признаки артефактов плюс признаки мебели плюс еще что-то и т. п.

Но само существование у артефактов какого-то набора признаков несомненно — это и делает их отдельной категорией. В то же время и противопоставленные на одном уровне единицы чем-то отличаются друг от друга и, по всей видимости, содержат столько признаков, чтобы можно было их отличить от соседа. Интересно, что хотя первоначально подобные иерархии были продемонстрированы на материале объектов и, соответственно, существительных, позднее их изучали и на материале действий — глаголов.

Особой стороной экспериментов Э. Рош оказался тот факт, что не все уровни категоризации равноправны: и когнитивно, и психологически, и лингвистически среди них выделился тот, который был назван «базовым». Именно на этом уровне люди вычлениют объекты легче всего и оперируя при этом их перцептивными и функциональными признаками. Попробуйте, например, представить себе и изобразить (нарисовать) мебель. Задание кажется довольно нелепым. Но ведь не будет нелепым попросить представить и нарисовать собаку, стул, стол и т. п., хотя и здесь возможен вопрос «какую?» или «какой?». В нормальных условиях люди говорят о мире, используя понятия и названия этого базисного уровня, да и на вопросы «что это?» отвечают обычно этими названиями.

Сказанное относится, конечно, и к частям речи. Неспециалисту трудно ответить на вопрос о том, что это такое, но на вопросы, испокон веков считавшиеся характеризующими отдельные части речи, типа «что он делает?» или «какой он?» и т. п., люди отвечают не только правильно, но и употребляя прототипические примеры глаголов, прилагательных и т. д.

Что же придает базисному уровню такой привилегированный статус? Во-первых, по-видимому, полезность классификации и возможность свести бесконечное разнообразие мира к какому-то манипулируемому и понятному (опознаваемому) множеству. Во-вторых, очевидность и /или простота признаков у понятий этого уровня, известных обычно из повседневного опыта обращения с предметами. Можно было бы сказать, что на базисном уровне люди оперируют базисными же атрибутами материи, базисными признаками. В-третьих, выделение единиц базисного уровня (не слишком абстрактных, но и не чрезмерно детализированно отражающих действительность) соответствует интуитивному представлению людей о том, что мир — не хаотичен, а существует к тому же и не как континуум вещей (выше мы уже говорили о том, что в реальности вокруг нас один объект редко «перетекает» в другой, а если такие превращения и налицо, мы все же стараемся определить границы между ними — ср. *Снег быстро кончился и пошел дождь* или *Он был не столько грустен, сколько озабочен*): мир представляется разделенным на вещи. Но еще важнее оказывается, наверно, в-четвертых, то, что знание единицы базисного уровня — прототипа — означает знание не только самых простых, очевидных, существенных и пр. признаков, но и признаков **скоррелированных** между собой и в каком-то смысле взаимозависимых и даже одновременно присутствующих. По наличию одного часто можно легко догадаться о наличии другого /

других: у рыб есть чешуя, плавники, особая форма и цвет; у птиц — крылья, клювы и перья. Но эти признаки маркируют представителя соответствующего класса именно на базисном уровне! Более того. Как правильно отметил Д. Герэртс [Geeraerts 1988], признаки категорий тяготеют не только к кластерным объединениям, образуя определенные пучки признаков, — подобные объединения обладают чертами удивительной гомогенности, связанности, что и помогает понимать их скорее как целостности, ансамбли, гештальты. См. также [Gruse 1990].

Имея это в виду, хочется подчеркнуть одно важное обстоятельство. Рассуждая о классификациях и категориях, ученые обычно оперируют признаками, на которых они базируются. Согласно таким представлениям, в одну категорию, как мы уже указывали выше, объединяются величины, характеризующиеся одинаковыми признаками (формы, размера, цвета, функции). В реальной жизни, однако, для человека существенно прежде всего идея общего сходства, подобия. Именно поэтому многие эксперименты показывают, по мнению Р. М. Фрумкиной, что «специфически человеческий способ сравнения объектов и установления сходства между ними» — это сопоставление **целостностей** [Фрумкина 1982: 11–12]. По всей видимости, именно такие целостные репрезентации объектов характеризуют и человеческую память. Мысль о том, что объекты «сравниваются и отождествляются как целостности» и что при их сопоставлении между собой «человек не оперирует признаками в общепринятом значении слова “признак”» [Там же: 12], подтверждается, на наш взгляд, и наблюдениями над детской речью. Многие исследователи полагали, что когда ребенок применяет одно и то же название по отношению к, казалось бы, разным вещам (например, называя одинаково мягкую пушистую варежку и такого же мишку), он якобы вычленяет определенные признаки. В противовес этому мы полагаем, что ребенок опирается на общее подобие вещей [Кубрякова 1989: 5 и сл.; Фрумкина и др. 1991: особ. 126 и сл.].

Человек выявляет, по образному выражению Р. М. Фрумкиной, «вообще-похожесть» и лишь после того, как представление о классе сформировано, устанавливает или придумывает (при манипуляции искусственно созданными объектами) в процессе пострефлексии признак, характеризующий этот класс [Фрумкина 1982: 17]. Возможно поэтому, что базовый уровень, о котором, собственно, говорят многие ученые (ср. [Lakoff 1987: 30 и сл.]) — уровень, на котором наблюдаются самые простые явления, предметы и действия, уровень, на котором происходит овладение мира у детей, уровень, на котором фигурируют самые рядовые и самые морфологически простые обозначения и т. п. — это также и уровень, на котором люди предпочитают оперировать целостностями и рассматривать сами эти целостности как своеобразные эталоны, образцы, а, возможно, и лучшие представители своего класса. См. также материалы [Meaning and Prototypes... 1990].

Как же появляются прототипы? Как они формируются? Не оказываемся ли мы в заколдованном кругу, объявляя первоначально, что категория ориентируется

на свой прототип и развивается, отталкиваясь от прототипа, а затем рассуждая о том, как складывается прототип на основе объединения членов одной и той же категории? — Э. Рош предусматривает несколько ответов на эти вопросы. С одной стороны, для целого ряда категорий прототипичность является следствием осознания физических, материальных свойств окружающего, т. е. следствием ингерентных особенностей человеческого восприятия. Так называемые фокусы в цветовой гамме, например, явно имеют корреляты в нейрологических особенностях восприятия цвета и в каком-то смысле предсуществуют лингвистической категоризации. Некоторые правильные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и определение ориентации в пространстве (вверх-вниз, по разные стороны от человека, впереди-сзади и т. д.) перцептуально более значимы и различимы, а потому приобретают прототипический статус [Rosch 1975]. Другое возможное объяснение — частотность форм, т. е. свойство их встречаемости, распространенности, хотя нередко говорят, что это лишь симптом прототипичности, а не ее обязательное свойство. Указывают и на некоторые второстепенные свойства прототипичности, о которых мы говорили выше, в частности, на социальную или культурологическую значимость тех или иных прототипов в данном обществе. В принципе, наверно, возможно и наличие других свойств прототипов и проявлений прототипичности — так называемых прототипических эффектов (см. подробнее в работах Дж. Лакоффа, см. также [Демьянков 1994: 40]) и, конечно, каждый из перечисленных факторов мог играть свою роль в возникновении прототипов. Но главная причина их появления лежит все же в эффективности категорий, построенных по прототипическому принципу: они характеризуются большей гибкостью, меньшей ригидностью, большей «открытостью» для пополнения новыми членами и, значит, способностью развиваться, подключать новое знание и осмыслять новый опыт в свете уже накопленного старого, учитывать каким-то образом пограничные и промежуточные случаи.

На вопрос о том, принадлежит ли данная единица определенной категории, в классической логике возможен только ответ «да» или «нет», как в булевой алгебре. Появление в математике теории размытых множеств Л. Заде свидетельствовало о том, что булевой алгебры для решения многих математических проблем явно недостаточно. Появление теории прототипов способствует пониманию природы естественных классификаций, где жестких границ не то что вообще не существует, нет, но где определяемые такими жесткими границами явления сосуществуют с явлениями градуируемыми. А поскольку весь язык — явление естественное, он и демонстрирует нам такие же естественные категории, и их описание достигается скорее с помощью такой теории, которая позволяет оперировать размытыми множествами и характеризуется поэтому лучше с помощью понятия прототипических категорий. См. [Meaning and Prototypes... 1990].

«Естественность» языковых категорий обсуждается сегодня и в так называемой естественной морфологии, в определенном смысле противопоставленной

как европейское направление американскому генеративизму. Очень интересно в связи с этим подчеркнуть, что по духу своему именно генеративизм, вызвавший, как многие считают, всю когнитивную революцию и способствовавший выделению когнитивизма как определенной новой парадигмы научного знания, сам никак не предполагает обращения к прототипическим категориям. Напротив, изначальная заданность исходных символов и исчислимость операций с ними заставляют признать, что в генеративной грамматике возможно, собственно, только чисто экстенциональное определение категорий (т. е. их перечисление списком, особым словарем, в котором слова снабжены указаниями на их частеречную принадлежность) и исключительно такое, в котором одному символу приписывается — жестко — набор фиксированных для него признаков. Не лишне, однако, напомнить, что вся конструктивная критика генеративизма была направлена против того, чтобы признавать любой из компонентов языка и прежде всего синтаксис «автономным», т. е. независимым от семантики и прагматики. Ведь в сущности все процессы в языке подвержены влиянию этих факторов, и ни один из них не оказывается абсолютно регулярным или действующим, как сказали бы раньше, без исключений. Фактически все грамматические явления могут быть охарактеризованы с помощью указания на их «лучший образец» и описания возможных отклонений от них. Они явно имеют прототипический характер. К таким же прототипическим категориям относятся, на наш взгляд, и части речи.

Небезынтересно отметить, что на сходство частей речи с естественными природными явлениями обратили внимание именно в середине 80-х гг. «Части речи гораздо больше сходны с биологическими видами, чем это было признано ранее, — пишет Дж. МакКоли. — В пределах любой части речи, как и любом биологическом виде, существует значительное разнообразие. Части речи могут быть отграничены друг от друга точно так же, как могут быть отличены друг от друга биологические особи, в терминах тех характеристик, которые типичны для членов определенной части речи (или биологической особи), притом несмотря на то, что никакие из этих характеристик не должны проявляться всеми членами данной части речи (или особи)» (цит. по [Taylor 1989: 190]). Эти слова могли бы по праву рассматриваться в качестве эпиграфа к нашему будущему анализу системы частей речи. Все, что здесь сказано о частях речи, вытекает как логическое следствие их рассмотрения в когнитивном плане, с точки зрения прототипической теории. Завершая эту главу, мы и перечислим некоторые свойства частей речи, которые характеризуют их именно как прототипически организованную категорию и которые, соответственно, могут найти свое объяснение только с когнитивных позиций:

— Структуризация каждой отдельной части речи может быть названа прототипической, поскольку у нее явно есть ядро и периферия, фокус/фокусы и развивающиеся по разным направлениям ответвления категории.

— У каждой части речи выделяются такие классы, которые характеризуют ее наиболее полно и могут рассматриваться как лучшие представители своей части речи (например, предметные имена среди существительных, глаголы физического действия или движения среди глаголов, качественные прилагательные в адъективном классе лексики и т. д.); иначе говоря, положение отдельных слов в составе их части речи неодинаково.

Для формирования категорий в естественном языке в качестве приоритетного надо выделить **исторический фактор**, и лучшими представителями категорий становятся нередко исторически более ранние формы: начало исходному развитию слова кладет, например, его этимология. В развитии частей речи «лучшими образцами» или «прототипами» становились, по всей видимости, те слова, которые можно считать «первыми» (т. е. те, появление которых опережает появление других).

— Несмотря на объединение в рамках одной части речи слов с нетождественными наборами признаков — вырожденными совокупностями признаков — сами признаки образуют гомогенное образование и взаимозависимость признаков в нем не вызывает сомнения.

## Часть II

# МАТЕРИАЛЫ К НОВОЙ ТЕОРИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

---

### *Глава первая*

## ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ (уроки прошлого)

У истоков представления о частях речи (далее в этом разделе — ЧР) сразу же смешиваются несколько возможных их «измерений» — логическое или синтаксическое, ставящее во главу угла роль слова в строении суждения (предложения); семантическое, благодаря которому слова классифицируются по выражаемым им значениям и, наконец, формально-морфологическое, акцентирующее в распределении слов по классам то, как они могут видоизменяться в речи, и то, могут ли они вообще подвергаться каким-либо видоизменениям (склонению или спряжению). Иногда указывают, что «первое разграничение частей речи — имени и глагола — было произведено в IV в. до н. э. Аристотелем» [Алпатов 1990: 6]. Но Аристотелем было принято противопоставление указанных единиц у Платона, который усматривал в нем главную особенность организации предложения. «По определению Платона, — отмечает Дж. Лайонз, — существительные — это слова, которые могут выступать в предложении как субъекты предикации, а глаголы — это слова, которые могут выражать предизируемое действие или свойство» [Лайонз 1978: 29]. Но если у Платона ЧР — это скорее члены предложения, и от него можно протянуть нить связи к оппозиции субъекта и предиката, топика и коммента, темы или ремы и т. п., то у Аристотеля преобладает скорее содержательная трактовка ЧР в иной плоскости. Заимствуя у своих предшественников мысль об изменении существительных по родам, он открывает в качестве аналогичной категорию времени у глагола, указывая, что одни формы глагола могут быть соотнесены с настоящим временем, а другие — с прошедшим. Имя и глагол в таком понимании выступают как разные ЧР в силу своей способности изменяться по разным категориям. В принципе поэтому с Аристотелем надо связать грамматическое определение ЧР по морфологическим признакам или же, что не менее существенно, по их отсутствию (понятие о неизменяемых словах в противовес склоняемым или спрягаемым доходит до нашего времени).

Сам Аристотель выделяет на основании данного признака союзы, а далее и предлоги. Существенно, что одновременно он делит все слова на «значащие» (имя и глагол) и «незначащие» — все остальные, включая местоимения (ср. [Bossong 1992]).

Комментируя взгляды Аристотеля, который стремился установить список категорий, характеризующих бытие, Э. Бенвенист указывает, что фактически за этими категориями стоят «сущности языка» [Бенвенист 1974: 111], т. е. Аристотель может по праву рассматриваться как ученый, увидевший в языковых формах проекцию основных бытийных концептов. А. Н. Чаньшев цитирует в указанной связи Аристотеля, который в «Метафизике» отмечает: «Категории поделены на группы — [означая] сущность, качество, количество, отношение, действие и страдание». Аристотель поясняет также, что когда мы говорим о сущности, или сути вещей, то мы отвечаем на вопрос, «что она есть?», а не на вопрос, какова эта вещь (качество) или как велика она (количество) и т. д. [Чаньшев 1981: 293]. Нельзя не признать, таким образом, что ключевые концепты таких ЧР, как существительные, прилагательные, числительное и глагол (отношение, действие и страдание) здесь перечислены удивительно точно и совпадают в общем с тем, что утверждается и в современных теориях, только с большей изощренностью. Примечательно также, что Аристотелю принадлежит и мысль о том, что суть вещей может быть охарактеризована с помощью предикатов вполне определенного типа. Эту идею подчеркивал у Аристотеля и Э. Бенвенист, рассматривая установленные им категории «просто как перечень свойств, которые греческий мыслитель считал потенциальными предикатами любого объекта» [Бенвенист 1974: 106].

Интересно что Бенвенист рассматривает классификацию категорий у греческого философа как соответствующую «вовсе не свойствам, открываемым в вещах, а классификации, заложенной в самом языке» [Бенвенист 1974: 107]. Мы, однако, интерпретируем классификацию по-иному, видя в ней предтечу понимания глубокого изоморфизма в когнитивном и языковом осмыслении мира, предтечу классификации слов, в которой языковая классификация ЧР оказывается открывающей доступ к «вещам» и свойствам, «открываемым в вещах». Нам представляется, что текст «Категорий» Аристотеля (глава IV) допускает именно это толкование. Приведем его полностью. «Каждое из выражений, не входящих в какую-нибудь комбинацию, — пишет Аристотель, — означает: или *субстанцию*; или *сколько*; или *какой*; или *в каком отношении*; или *где*; или *когда*; или *в каком положении*; или *в каком состоянии*; или *делать*; или *подвергаться действию*» (цит. по [Бенвенист 1974: 106; Кубрякова 1978: 18]). Все формы языка в этом перечислении охарактеризованы концептуально, притом либо по тому понятию, которое они выражают, либо по тем вопросам, на которые они могли бы ответить и которые указаны соответствующими местоименными словами. Недаром комментаторы Аристотеля усматривали в этих местоименных формах либо относительные, либо вопросительные местоимения. При такой постановке вопроса можно полагать, что на вопрос *сколько*

ко? отвечают числительные, на вопрос *какой?* — прилагательные, на вопрос *в каком отношении?* — степени сравнения прилагательных, на вопросы *где?* и *когда?* — обстоятельства/наречия места и времени; на основные формы греческого глагола указывают и остающиеся словосочетания (т. е. на средний залог, перфект, активный и пассивный залого). Не исключено также, что на вопрос *сколько?* можно ожидать ответа в виде форм единственного или множественного числа существительных.

Классификацию Аристотеля обычно считают логической, но для логики было необходимо тогда такое разбиение слов, которое бы опиралось на «...установление у них **общих значений**, по которым слова соединяются и образуют правильные или неправильные с точки зрения логики суждения» [Амирова, Ольховиков, Рождественский 1975: 93] (выделено мною. — *Е. К.*).

Со времен стоиков начинается еще одна линия определения ЧР, на этот раз четко выраженная — по грамматической изменямости слов. Формальный (морфологический) критерий опознания ЧР (accidental) — наличие или же отсутствие у слов форм падежа и времени — связывается обычно с Варроном. Важно, что описания ЧР в античности отражали их статус в языках с развитыми и сложными морфологическими системами, а следовательно обнаруживали свою пригодность для языков определенного типа. Вместе с тем параллельно с указаниями на морфологические характеристики ЧР использовались и их понятийные признаки. Так, например, Донат (IV в. до н. э.) указывает, что «имя есть часть речи, наделенная падежом и обозначающая тело или вещь» (цит. по [Алпатов 1990: 7]). Опора на разноуровневые критерии входила тем самым в определение ЧР, и возможно, что уже мыслители в древности полагали, что в классификации языковых единиц следует использовать разнопорядковые критерии.

В современной лингвистике в этом нередко усматривали источник непоследовательности в классификации слов по ЧР. «Как давно отметили Г. Пауль и Ф. Ф. Фортунатов, — пишет, например, С. Д. Кацнельсон, — старая классификационная схема ЧР не имела единого принципа деления, а смешанные критерии (морфологические, синтаксические и лексико-семантические) невозможно привести к единому знаменателю» [Кацнельсон 1972: 128]. При постановке проблемы в типологическом плане (или, добавим мы, в плане общетеоретическом) «логическая непоследовательность и сбивчивость традиционного учения» становятся, по Кацнельсону, серьезной помехой на пути к теоретическому осмыслению фактов, ибо они «не могут служить отправной точкой для построения универсальной теории грамматических классов» [Кацнельсон 1972: 128–130]. Но особенно жестко критикуется автором «узкий морфологизм» как ориентированный исключительно на языки синтетического строя и не оправдывающий себя при анализе языков иного типа. В понимании ЧР по этой причине всегда ощущалась зависимость от того типа языков, с которыми имел дело ученый, что не могло расцениваться в дальнейшем как доказательство вполне очевидного факта: в иерар-

хия признаков, которыми **могут** обладать ЧР в разных языках, доминирующими становятся разные признаки. История изучения ЧР демонстрирует поэтому развитие разных направлений в их истолковании, зависящих именно от того, какие из признаков ЧР понимаются как ведущие и основополагающие.

Так, последовательное развитие морфологического направления в изучении ЧР было свойственно отечественной русистике (ср. [Алпатов 1990: 12]), где учение о ЧР приобрело свою завершённую форму. Характеризуя русскую грамматическую традицию, Н. С. Поспелов писал: «Части речи не только отчетливо отграничиваются друг от друга по грамматическому оформлению, но и объединяются присущими им грамматическими категориями. В каждом языке части речи, вступающая в сложное взаимодействие друг с другом, образуют специфическую систему соотношений между грамматическими категориями, характеризующими различные разряды слов» [Поспелов 1954: 4]. Как следует из этого определения, сами формальные критерии опознания ЧР распадаются на два типа: одни критерии относятся к оформлению слов разными морфологическими показателями (флексиями), другие — к тому, что ЧР выступают как представленные своей собственной совокупностью грамматических категорий (или — ее отсутствием). Так, хотя имена разделяют способность склоняться, только у прилагательных обнаруживаются степени сравнения, что правда, сближает их с наречиями, которые, однако, не склоняются. Очевидно, что статус ЧР в языках типа русского вызывает трудности в признании лишь таких ЧР, которые собственными морфологическими показателями и/или собственными наборами грамматических категорий не обладают (ср., например, полемику относительно возможности выделения в языке категории состояния).

Хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на ярко выраженный морфологизм учения о ЧР, что было вполне естественным для описания языка, где именно морфологическая маркированность слова позволяла легкость его отнесения к определенной ЧР, понятийные признаки отдельных ЧР никогда не ускользали тоже от внимания исследователей. Так, М. В. Ломоносов указывает, что человек «сообщает другому идеи вещей и их деяний» с помощью слов, притом «изображения словесных вещей называются **имена**, например, *небо, вѣтрѣ, очи*; изображения деяний — **глаголы**, например, *синеть, вѣть, видятъ*» (цит. по [Поспелов 1954: 5]). А. Х. Востоков же рассматривает имена существительные как названия предметов и противопоставляет их как слова предметного значения именам прилагательным, как названия признаков предметов, выделяя к тому же пять типов признаков — качество, притяжательность, количество и т. д.; понятие признака становится в его учении равноположным понятиям предмета и действия. Постепенное выделение такой ЧР как числительное означало осознание самостоятельности понятийной категории числа как могущей обособить слова, выражающие это понятие, в особую ЧР. Такое понимание самостоятельности числительных особенно ярко проходит в учении А. А. Потебни.

Интересно отметить, что попытки русских грамматистов учесть среди признаков ЧР их синтаксические особенности не встречали особой поддержки. Так, утверждение А. А. Шахматова о том, что «категория грамматическая познается в синтаксисе», подвергается критике В. В. Виноградовым, вызывая его замечание о том, что «попытка А. А. Шахматова изъять учение о частях речи из морфологии и передать его в полное и исключительное видение синтаксиса не удалась и не могла удасться» [Поспелов 1954: 19].

Несмотря на то, что в наши задачи не входит подробное рассмотрение деталей описания ЧР в отечественном языкознании, намечая главные направления в их изучении, нельзя не подчеркнуть особую роль В. В. Виноградова в трактовке ЧР. Он не только видит прямую связь каждой ЧР с совокупностью выражаемых ею грамматических категорий, он четко указывает на зависимость этого обстоятельства от того, что именно обозначает данная часть речи. Так, развитие категорий рода, числа и падежа рассматривается им как проявление предметности в значениях существительных, а качественные значения прилагательных демонстрируются им как созданные на основе предметных отношений. При этом он подчеркивает, что «значение качества в имени прилагательном становится все определеннее, резче и отвлеченнее» [Виноградов 1947: 186], т. е. не только признает ведущую роль определенного значения в формировании категории, но и диахроническую возможность все большей ее кристаллизации.

И все же приемлемость морфологических характеристик для языков одного строя не означает их универсальной приемлемости. Особенно ясно это обнаруживается при попытках сравнения языков в типологическом плане. У разных языков наблюдаются разные морфологические категории, и хотя список их для отдельных ЧР сегодня в целом может считаться известным, реализация категорий из этого списка для конкретных языков оказывается весьма индивидуальной. Интересно отметить, что этот факт, продемонстрированный в 40-е гг. для глагола И. И. Мещаниновым, был подтвержден американскими типологами в 80-х гг. на совершенно ином материале — данных сопоставления 50 разноструктурных языков мира [Вубе 1985]. Выяснилось, например, что даже такая категория, как категория времени, встречается в глаголе далеко не во всех языках и что по своей распространенности лидирует категория переходности. Но из этого наблюдения необходимо сделать важные выводы — характеризуя универсальные свойства глагола (или, вернее, пытаясь выявить у этого класса слов его универсальные признаки), мы не можем считать таковыми его протяженность во времени (подробнее см. ниже).

«Недостаток морфологического критерия выделения частей речи состоит в том, — писал в своем обзоре Б. А. Серебренников, — что он не является всеобъемлющим и совершенно не пригоден для языков со слабо развитой морфологической системой» [Серебренников 1976: 18]. В то же время исключительная его эффективность для довольно большой группы языков мира позволяет поставить

вопрос о том, каковы же подлинные причины подобной эффективности. А это, в свою очередь, ведет к тому, чтобы рассмотреть именно в этих языках с четкой грамматической маркированностью классов (частей речи) их концептуальные, или когнитивные, или понятийные основания. На первый взгляд такая позиция представляется парадоксальной, и в работах типологического плана обычно постулируется прямо противоположная задача: поиски «собственных» признаков у классов слов и/или переход от морфологических критериев выделения ЧР к синтаксическим, дистрибутивным как более надежным и более «формальным».

Исследуя проблему ЧР в изолирующих языках, М. Б. Бергельсон справедливо утверждает: «Отсутствие словоизменительных характеристик, скудость формальных средств выражения грамматических значений приводит к тому, что о частях речи в изолирующих языках приходится говорить как о скрытой категории, но коль скоро и здесь какие-либо методы обнаружения частей речи дают свои результаты, т. е. на их основе удастся выделить и описать отдельные части речи, подобная методика явно обнаружит свои преимущества перед другими» [Бергельсон 1990: 195]. Но ведь на роль подобной методики могут претендовать как синтаксические способы вычленения классов слов, так и семантические, или понятийные. В выборе методики нередко отдавали предпочтение синтаксису и синтаксическим признакам функционирования отдельных классов слов.

Синтаксическое направление в изучении ЧР существовало, как мы уже отмечали выше, с самого начала признания самих ЧР. См., например, [Супрун 1971: 22 и сл.], где подробно рассмотрены синтаксические подходы к ЧР в русском языке. Со временем, однако, синтаксические параметры становятся все более сложными и изошренными, т. е. в разных школах они принимают разную форму. В качестве примера возможного решения проблемы на синтаксической основе можно привести многие работы дескриптивной школы, где грамматические классы считали нужным выделять на основе дистрибутивных характеристик. Учитывая непосредственное окружение слова, особенности его функционирования в предложении, принимая во внимание специфическую сочетаемость слов отдельных разрядов и т. п., ученые приходили к установлению большего числа классов, нежели традиционные ЧР, притом, естественно, меньших по своему объему, чем отдельная ЧР. И все же в конечном счете выделенные таким образом классы отличались немногим от ЧР, представляя собой или нечто аналогичное конкретной ЧР или же ее особому подклассу. Уже сам факт подобного изоморфизма должен был бы навести ученых на мысль о том, что он имеет определенное концептуальное основание, но представители синтаксического направления в изучении ЧР любили подчеркивать свою независимость от семантических критериев и следование одним лишь «формальным» и «объективным» признакам.

Как правильно указывает В. М. Алпатов, синтаксический подход обладает рядом неоспоримых преимуществ, — он более универсален, чем морфологический, и хорошо подходит для сопоставления языков в типологическом плане, ибо мо-

жет, действительно, опираться на серию единообразных критериев. И все же для изолирующих языков, в которых слова могут довольно легко использоваться в разных функциях, его применимость тоже ограничена. К тому же значительную трудность при синтаксическом подходе представляет выбор тех понятий синтаксиса, в терминах которых надлежит выделять главные классы слов. Достаточно указать в этой связи на возможность использовать в указанных целях противопоставление субъекта и предиката, топика и коммента, темы и ремы, субъекта и объекта, именной фразы и фразы глагольной и т. п. Новейшая история изучения ЧР полна разных предложений по этому поводу.

В отечественном языкознании ярким представителем синтаксического направления в изучении ЧР был И. И. Мещанинов, работа которого «Части речи и члены предложения» (1945 г.) до сих пор остается бесценным источником сведений об особенностях морфологического и синтаксического поведения слов в разных языках, в том числе — редких языках нашего Севера. Начиная свою книгу с сочувственного упоминания взглядов Н. Я. Марра по вопросу о ЧР, он, как это ни парадоксально, защищает в теории мысль о том, что «семантика слова в известной степени обуславливает его синтаксическую роль в предложении. Выступая в предложении, слово используется в нем, отвечая его лексическому содержанию» [Мещанинов 1978: 7]. Под этим тезисом сегодня подписались бы многие «лексикалисты», т. е. представители той парадигмы научного знания, которые основные принципы порождения высказывания связывают с особенностями формирующих его лексем. Но вся монография И. И. Мещанинова направлена на то, чтобы доказать примат синтаксического начала в формировании ЧР. По его мнению, именно синтаксические функции слов детерминируют образование на основе членов предложения будущих ЧР. «Категориальные значения, — пишет недвусмысленно, отдавая дань синтаксическому направлению, В. И. Дегтярев, — исторически формируются в соответствии с синтаксическими функциями слова в структуре предложения» (см. [Серебренников 1976: 24]). Но в момент образования слова оно уже должно обладать неким категориальным значением, ибо даже в референциальном аспекте (т. е. в зависимости от того, на какой референт указывает слово) в слове должен содержаться этот компонент значения. Чтобы обойти эту сложность, сам И. И. Мещанинов вводит для ранней стадии развития языка понятие диффузного имени, которое, строго говоря, не может еще называться ни словом, ни предложением. «Сначала, до деления по частям речи, — пишет Мещанинов, — было одно имя в широком понимании этого термина, имя вообще. Это — не имя существительное, не имя прилагательное, конечно, не глагол, а просто “имя”. Дифференциация его происходит позднее» [Мещанинов 1978: 16]. Эта точка зрения для меня весьма убедительна, но ведь имя и есть в первую очередь **название** чего-то в мире, и какую бы функцию ни выполняло слово (даже функцию отдельно взятого высказывания), оно прежде всего должно нечто означать и обозначать.

В концепции диффузного имени И. И. Мещанинова нет ответа на вопрос о том, что же в диффузной семантике имени-предложения «первично» — то, что оно само формирует некое высказывание (это предложение), или то, что оно называет некий концепт и потому является прообразом определенной части речи. Возможно, однако, что как только под влиянием очевидных коммуникативных факторов появляется двусоставное высказывание и внутри предложения происходит распределение информации, позиция членов высказывания начинает согласовываться по смыслу не только с противопоставлением предмета речи тому, что о нем говорится, названия и толкования, но и с противопоставлением предметных значений — непредметным, денотативным — сигнификативным, а значит, и с противопоставлением классов слов, из которых один обозначает денотативную, предметную лексику, а другой — сигнификативную, признаковую.

Полагая, что у истоков языка стояло предложение, Мещанинов отмечает, что в эти начальные стадии развития языка «один звуковой комплекс выражал собою вполне законченное предложение» [Мещанинов 1978: 27 и 243]. Но с современной точки зрения «вполне законченное предложение» имеет скорее двучленный характер, т. е. строится на основе разведения идентифицирующей и характеризующей частей предложения (Н. Д. Арутюнова). Односоставные же бытийные предложения явно свидетельствуют о том, что в их основе лежит глобальное указание на что-то, ими нареченное, они являют собой образец дескрипции мира «здесь» и «сейчас», а такая дескрипция не может быть дана без наречения соответствующих фрагментов мира (*Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.*). В них сильна функция референции, гипостазирована номинативная функция, хотя реальному обозначению могут, конечно, подвергаться не только предметные сущности (ср. *Холодно. Темно. Неуютно.* или же *Морозит. Светает.*). Нельзя не обратить внимания на параллелизм таких конструкций и описания того, как должно быть организовано пространство сцены в театре (setting), задаваемое автором пьесы (Большой и просторный кабинет. Слева — выход из него, справа — камин с пылающим огнем). Ср. также [Кубрякова 1986: 129–130].

Можно также предположить, что первые односоставные предложения ребенка тоже построены по принципу «диффузного имени», поскольку в них субъект и предикат еще не разграничены, а истолковать их можно по смыслу и как утверждение о наличии чего-либо в поле зрения, и как просьбу о чем-либо, и как описание производимого объектом действия или даже издаваемого им звука: ср. высказывание типа *би-би*, которое можно интерпретировать и как «Вот машина», и как «Машина едет/гудит», и даже как удивленное «Едет», и, наконец, как «Дай машину» [Кубрякова 1991: 155–157].

Ничуть не отрицая зависимости рождающихся ЧР от выполняемых ими синтаксических функций, мы бы, однако, не поставили в иерархии факторов синтаксис на первое место, т. е. не согласились бы с тем, что от этого фактора зависят все остальные.

По всей видимости, как бы ни определялись в прошлом ЧР, в системе их разграничения по-прежнему использовались, как указывал еще Г. Пауль, «три аспекта: значение самого слова, его функция в составе предложения, его особенности в области флексии и словообразования» [Пауль 1960: 415]. В работах последнего десятилетия, к освещению которых мы перейдем в следующей главе, новое определяется либо выходом за пределы перечисленных аспектов (это особенно ощутимо в дискурсивной теории ЧР), либо новой трактовкой какого-либо из названных аспектов (это явно проявляется в ономаσιологическом направлении), либо, наконец, новым пониманием того, как соотнесены между собой отдельные характеристики в организации ЧР. Последнее предполагает также решение вопроса о том, какой же именно аспект в становлении и функционировании ЧР является ведущим.

Излагая концепцию ЧР как функционально-семантических разрядов слов, с которой мы в принципе согласны, Б. А. Серебренников выражает мнение о том, что «значение частей речи определяет все их остальные свойства и морфологическое оформление» [Серебренников 1976: 25]. И все же против этого тезиса можно было бы возразить, поскольку если значения главных ЧР универсальны, почему же в их оформлении наблюдаются столь существенные различия, что на одном этом основании можно противопоставлять изолирующие, агглютинативные и флективные языки? Наличие в языках мира слов, выражающих значения предмета, действия и атрибута материи, не мешает тому, чтобы слова эти, помимо указанных значений, выражали еще какие-то значения и /или оформлялись по-разному. В то же время Б. А. Серебренников, несомненно, прав, указывая на первостепенную значимость семантического фактора, хотя мы бы предпочли называть его сегодня когнитивным, или концептуальным. Иными словами, мы полагаем, что вне зависимости от конкретного языка люди оперируют в мыслительных процессах концептами предмета, процесса, признака, числа и т. п., и в силу исключительной важности этих концептов они **обычно** объективируются в языке не просто с помощью слов, но и с помощью **разных разрядов**. Общее единство принципов восприятия мира приводит к тому, что и принципы распределения слов в разных языках в общих своих границах совпадают. Это, однако, никак не означает, что способы представления тождественных или близких концептов должны совпадать или же конкретизироваться в каком-либо определенном отношении.

Так, понятие процесса может конкретизироваться, собственно, по пятнадцати разным направлениям (по времени, виду, переходности и т. п.), но какое из них разовьется в отдельном языке, зависит от множества факторов в его собственной истории и в эволюции того народа, который говорит на данном языке. Воздействие на язык разных факторов культурно-общественного, географического, биологического или антропологического и т. п. порядка привносит в строение языка его неповторимую индивидуальность. Возможно, что многие из морфоло-

гических и прочих особенностей конкретного языка сегодня еще не могут найти своего объяснения, в связи с чем и задача настоящей монографии гораздо более скромна — установить лишь самые общие зависимости в становлении системы ЧР и наметить в главных чертах иерархию их признаков. Именно в этом отношении мы присоединяемся к мнению Б. А. Серебренникова о приоритете семантического фактора, когда он подчеркивает: «Совершенно прав, по нашему мнению, А. В. Савченко, когда он утверждает, что синтаксические свойства частей речи определяются их значениями. Предикативная функция глагола, особенности согласования его с подлежащим и способность управлять дополнением являются прямым результатом присущего ему значения действия или состояния. Субъектное или объектное отношение существительного к глаголу является следствием его предметного значения. Обязательное согласование прилагательного с существительным (в тех языках, где прилагательное имеет формы словоизменения) вытекает из его значения признака предмета. Таким образом, при определении части речи нельзя игнорировать ее значение, наоборот, его следует поставить на первое место» [Серебренников 1976: 24–25]. Смысл и реальное содержание этих значений мы и постараемся охарактеризовать далее в когнитивных терминах.

Уроки прошлого, таким образом, чрезвычайно существенны. Наши предшественники сделали очень много для постижения природы и особенностей частей речи и по существу уже выделили главные свойства этих разрядов слов, хотя, может быть, и не всегда могли дать им должное объяснение. В современных исследованиях этих единиц, конечно, ощущается бульшая глубина — мощно дают о себе знать общие успехи науки нашего времени, прогресс в ее методологии. Перед тем как перейти к более подробному изложению концепций 80-х гг., представляется необходимым высказать некоторые соображения, касающиеся общих результатов достигнутого в изучении ЧР на предыдущих этапах развития лингвистики. Одно из этих соображений касается соотношения общих и частных классификаций ЧР, другое — использования разноуровневых и гетерогенных критериев в определении ЧР.

Многие исследователи отмечали, что те или иные предложенные ранее классификационные схемы ЧР оправдывают себя на материале конкретных языков. Иначе говоря, для отдельно взятого языка нередко использовали самую общую схему распределения слов по ЧР, а затем проводили само деление, учитывая специфику языка и его морфологические, синтаксические и деривационные особенности. На практике такой путь категоризации себя неплохо оправдывал. Возможен сегодня и другой путь представления ЧР: в детально описанных языках за основу описания отдельных ЧР брали словарные данные. Выбрав слова с аналогичной пометой в словаре и описав затем общие свойства слов с одной и той же частеречной пометой, исследователи справедливо полагали, что осуществленный ими анализ отражает общую картину существования ЧР в данном языке и

демонстрирует те формы языковой репрезентации изучаемой части речи, которые ей в этом языке присущи (ср. [Баудер 1983; Сентенберг 1984; Гогошидзе 1985; Афанасьева 1992] и др.). Во всяком случае, такой подход отражал положение дел в конкретном языке и даже позволял установить объем класса, диапазоны репрезентируемых им форм и значений, его ноэтическое пространство [Кубрякова 1978: 95]. Ср. также [Гуреев 2000].

Но в развитии таких подходов были возможны две крайности: можно было прийти к заключению о том, что в каждом языке системы ЧР сугубо специфичны [Серебренников 1976: 27]. Можно было, напротив, прийти к заключению о том, что в распределении слов существует некая универсальная схема (инвариантный эталон) и что вариативность языков обнаруживается как отклонение частного языка от этой универсальной схемы. Первое решение лежит подспудно в основе отдельных грамматик, и в практическом отношении оно представляется вполне разумным. Второе решение более свойственно типологам, для которых очень важно найти при сравнении языков некую единую анкету для подобного сопоставления. В данной книге, однако, неприемлемо ни то ни другое решение, и мы идем на определенный компромисс, вызванный прежде всего чисто эмпирическими данными, свидетельствующими о том, что даже в языках примерно одного типа система ЧР может обнаруживать свои собственные отличия (как количество грамматических категорий, характеризующих отдельные ЧР, так и их реальное содержание обычно демонстрирует расхождения) и что «навязывание» языку любых общих схем грозит искажением подлинной картины его бытия. К тому же утверждения об универсальности некоторых категорий должны быть подтверждены гораздо большим объемом данных, чем те, которыми мы располагаем.

Компромиссное решение достигается нами поэтому благодаря тому, что мы останавливаемся на выделении наиболее распространенных и часто встречающихся знаменательных ЧР, т. е. по большей части обсуждаем именно их статус в разных языках. Вырабатывая в этой книге процедуру описания самых представительных разрядов слов, мы полагаем при этом, что более подробная схема описания не может быть жестко навязана всем языкам. Возможно, что такая позиция продиктована и тем, что мы полагаем в этой схеме существенными намечаемые ею **противопоставления** (прежде всего предметных и не предметных, служебных и знаменательных классов слов), а универсальными считаем далеко не все из традиционно постулируемых ЧР. Иными словами, не описывая в книге реально встречаемые системы ЧР, мы пытаемся определить не столько универсальную схему ЧР, сколько универсальный костяк подобной схемы, общие принципы существующих систем.

Второе соображение тоже связано с размышлениями о том, какие именно отклонения от единиц схемы описания слов по ЧР возможны в конкретных языках. Обычно подобные отклонения зависят от того, что в описании отдельных языков исследователи полагаются на так называемые смешанные критерии, т. е. обраща-

ются к довольно сложному и неповторимому сочетанию разноплановых критериев. Обычная трактовка такой практики негативна. В ней постоянно усматривают противоречия, нелогичность, отсутствие единого основания для классификации и т. д. Мы решительно не согласны с таким мнением (ср. также [Баудер 1983]). Выше мы уже говорили о категориях разного типа и выделили среди них естественные категории, категории «богатые» именно сочетанием, казалось бы, разнородных признаков, но на самом деле представляющих собой гомогенное целое вопреки этому обстоятельству из-за факта **скоррелированности** подобных признаков. Такой «богатой» категорией является, на наш взгляд, и категория ЧР, представляющая собой кластерное объединение и кластерное пересечение свойств. Это значит, что в пределах одной ЧР и в пределах системы ЧР конституирующие ее признаки и свойства в известной мере взаимозависимы и взаимосвязаны, преимущественно, правда, не одно-однозначной зависимостью, но тем не менее зависимость такая существует, и именно ее тоже надлежит установить и описать. Конечно, с точки зрения классического определения категории, как мы уже указывали выше, подобное положение дел истолковывалось бы как отсутствие категории или же отрицание внутреннего единства категории. Но естественные категории строятся именно так, а потому многие доводы о непоследовательности включения в определение категории разных критериев для нас отпадают.

Напомним, что если для научной категории критериальными ее свойствами оказывается наличие у ее членов одинакового набора необходимых и достаточных признаков, естественная категория объединяет свои члены на других основаниях. Как отмечала А. Вежибicka, даже из существенности какого-либо из признаков категории не вытекает обязательность его наличия у каждого ее члена: таким существенным признаком для категории птиц является, например, умение летать, но у пингвинов этот признак отсутствует. Точно так же присутствие неких признаков у всех или большинства членов категории (например, фар и звонка у велосипедов) не является доказательством их существенности [Wierzbicka 1985]. Блестящим свидетельством функционирования именных классов как естественных категорий являются исследования Дж. Лакоффа: немотивированное, казалось бы, включение в тот или иной класс определенного имени на самом деле имеет глубокие основания. Естественные категории складываются исторически, и хотя общий результат их развития может казаться нелогичным, в принципах включения в это объединение новых членов всегда присутствовала своя логика, т. е. особые побудительные мотивы. Это, собственно, и обеспечивает ее членам то самое «фамильное сходство», о котором мы говорили выше.

Ориентация естественной категории на прототип связана, по мнению А. Вежибickой, с тем, что именно прототип отражает чисто человеческое представление о сути данной категории, репрезентирующее подобное представление наглядным образом. Такое представление, сообразованное не столько со свойствами реальных объектов, сколько с образом категории, позволяет отличать научные

классификации от естественных, а для характеристики последних обращаться к языковому сознанию. Если учесть, что и языковое сознание говорящих формируется тысячелетиями, представляя собой напластования разных эпох, культур, мировидений, ясно становится и то, что применение по отношению к нему требований логики по меньшей мере неуместно. Уже Леви-Брюль полагал, что «аристотелевы законы мышления вовсе не универсальны: они есть плод развития человечества в его истории» [Фрумкина 1989: 68].

Если хотя бы отчасти справедливы те параллели, которые можно провести между филогенезом и онтогенезом, то будет понятным и тот интерес, который характеризует сегодня множество психолингвистических исследований — интерес к проблемам онтогенеза. Наблюдая за когнитивным развитием ребенка, исследуя, как он формирует свои понятия, изучая, как он классифицирует действительность и т. д., мы можем извлечь немало ценного и для понимания «естественных» категорий. Как мы уже указывали выше, в характеристике этих категорий одним из главных понятий является понятие фамильного сходства, связываемое с именем Л. фон Витгенштейна. Если, однако, обратиться к отечественной психологии и к работам Л. С. Выготского, приходится признать, что еще до Витгенштейна аналогичные мысли выдвигал именно советский ученый. Рассматривая пути формирования понятий у детей и даже выделяя разные стадии в этом процессе, Л. С. Выготский характеризовал первую ступень мышления через понятие мышления «в кучах (синкретах)», вторую — через понятие мышления в комплексах. Связь, с помощью которой построено это обобщение, — писал ученый, может быть самого различного типа. Одно из таких обобщений, именуемое им ассоциативным комплексом (т. е. особой категорией), строится следующим образом: вместе с предметом, который в эксперименте становится ядром будущего комплекса, ребенок группирует самые разные предметы. «Одни — на основании того, что они имеют тождественный с данным предметом цвет, другие — форму, третьи — размер, четвертые — еще какой-нибудь отличительный признак, бросающийся в глаза ребенку» [Выготский 1996: 140]. Поразительная близость этого описания тому, какое давал Витгенштейн понятию игры и объединяющему членов этого понятия фамильному сходству, не может не обратить на себя внимания: и в том, и в другом случае демонстрируется процесс мышления в его естественном протекании.

Приводя эти рассуждения, мы хотели бы этим добиться только одного — понимания того, как могло происходить формирование такой естественной категории, каковой является, несомненно, каждая часть речи, как в эту категорию — по мере ее естественного складывания и расширения — включались новые члены. Соответственно, мы хотели бы подчеркнуть, что с современной точки зрения мы должны подходить к основаниям отдельных ЧР не по принципу непротиворечивости значений у ее разных членов, не с требованиями повторения у каждой единицы определенной ЧР набора идентичных содержательных признаков и т. п., но с разумными предположениями о том, благодаря каким концептам было первоначальное

чально сформировано **ядро** каждой категории, в каком направлении оно могло далее трансформироваться и какие семантические сдвиги оказывались при этом возможными без нарушения общей целостности подобной категории. С этой целью мы и постараемся раскрыть далее более конкретно как понятие прототипических характеристик каждой отдельной ЧР, так и реальный смысл понятия фамильного сходства применительно данным классам слов. Иными словами, мы попытаемся восстановить путь закономерного развития и преобразования всей системы слов языка, выделив в этом процессе его главные звенья и этапы.

Развивая этот подход, мы хотим уже здесь отметить, что в смешанных признаках одной ЧР не видим ничего плохого, лишь бы выявить ту внутреннюю связь, которая им присуща и показать их интеракциональный характер. Извлекая уроки из прошлого, мы поэтому хотим также отметить близость нашей собственной концепции тем, в которых они рассматриваются как возникающие и функционирующие на пересечении разных параметров и на иногда достаточно причудливых их корреляциях. Другое дело, что в разных теориях подобного рода разнопорядковым признакам может приписываться то равный, то неравный статус, что набор таких признаков не всегда одинаков (не всегда, например, в определение ЧР включаются деривационные характеристики) и что, наконец, доминирующими признаками могут признаваться разные свойства ЧР.

Забегая несколько вперед, скажем, что принадлежим к тем исследователям, которые признают неравный статус отдельных признаков (морфологических, синтаксических, деривационных и семантических или концептуальных). Но ведь и такая позиция уже была представлена в прошлом. Так, в работах Б. А. Серебренникова, А. Е. Михневича, А. Н. Савченко и др. ЧР уже определялись как функционально-семантические категории, причем отмечали и то, что функции и семантика ЧР — две ипостаси одной сути (см., например, [Серебренников 1976: 25 и сл.]). Думается даже, что несмотря на явно отдаваемую дань функциональному началу у ЧР бóльшую роль приписывали все же именно семантическому фактору: так, Б. А. Серебренников цитирует не раз сочувственно высказывания своих единомышленников о том, что для ЧР очевиден «примат значения» и т. д. В то же время, хотя главные значения отдельных ЧР и называются, притом неизменно одни и те же, **объяснения** этим значениям все же не дается. Между тем дать определение понятию предмета, процесса или признака не менее сложно, чем предложить интерпретацию любой бытийной категории (пространства, времени, экзистенции и т. п.). По всей видимости, не разъяснена в достаточной мере и суть корреляции функции и семантики отдельных ЧР, как, впрочем, и других признаков ЧР. Не отрицая поэтому того факта, что «в целом традиционные системы частей речи нового времени... стали более эклектичными по сравнению с античными» [Алпатов 1990: 8–9], мы все же не оцениваем эту «эклектичность» отрицательно и, во всяком случае, пытаемся выявить ее истоки, пытаясь также найти разумное обоснование тому, что ЧР, «не являясь в своем большинстве семанти-

ческими классами, стали определяться семантически» [Там же]. Ср. также [Баудер 1983].

Не соглашаясь в целом с определением классов ЧР как семантических классов (это классы определенных когнитивных структур, отвечающих представлению об определенных структурах знания), мы хотим вместе с тем указать на то, что именно такому истолкованию природы ЧР мы придаем огромное значение, ибо оно было первым шагом на пути правильного понимания сути этой категории. Определение В. В. Виноградова ЧР как назывных классов слов, трактовка их как особых ономаσιологических разрядов и, наконец, концептуальная интерпретация — все это звенья одной цепи размышлений о ЧР. Важную роль в этой цепочке играют и мысли Л. Щербы, всегда служившие для нас поводом для пересмотра учений о ЧР. «Самое различие “частей речи”, — писал Л. Щерба, — едва ли можно считать результатом “научной” классификации слов». Провидчески предвидя возможности подойти к классификации слов с «естественной» точки зрения, он выдвинул требование «разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой» [Щерба 1974: 78]. Он же первым дал и объяснение того, что можно считать языковым осмыслением категории. «...Если в языковой системе, — указывал он, — какая-либо категория нашла себе полное выражение, то уже **один смысл** заставляет нас подводить то или другое слово под данную категорию» [Щерба 1974: 80]. В подтверждение этого положения он приводил русские существительные: конечно, как особая категория они нашли свое «полное выражение» и за счет смысла, и за счет морфологического оформления, обладая способностью склоняться, и все же «едва ли мы потому считаем *стол*, *медведь* за существительные, что они склоняются, — подчеркивал он, — скорее мы потому их склоняем, что они существительные». Точно так же слово *какаду*, которое вообще не склоняется, а, значит, лишено формальных примет своего класса, осмысляется тем не менее как существительное, ибо оно обозначает птицу и по своему смыслу оказывается в одном ряду с другими птицами [Щерба 1974: 80].

Надеясь, что в настоящей работе эти идеи найдут свое дальнейшее развитие и подчеркивая исключительную роль уроков прошлого и преемственности в эволюции лингвистической мысли, мы и переходим в следующей главе к тому новому в понимании ЧР, что было связано уже с эпохой постструктурализма и радикальными переменами в облике лингвистики и, конечно, прежде всего с появлением такой новой парадигмы научного знания в ней как лингвистика когнитивная. О многих последствиях этой парадигмы мы уже говорили выше и, пожалуй, одним из самых важных ее итогов можно считать новое понимание процессов категоризации в языке. И все же из сказанного нами отнюдь не должно рождаться представление о том, что рассмотренные нами взгляды отменяют то, что было начато трудами Аристотеля, т. е. понятие научной категории. Напротив, в конце этой главы мы бы хотели отметить, что и понятие научной, т. е. жестко структуриро-

ванной и точно очерченной категории, и понятие категории естественной, прототипической имеют полное право на существование. Думается, что эти понятия отражают — одно ход логического познания, другое — ход познавательных процессов в обыденной жизни. Без первого понятия не было бы возможным математическое моделирование в его классическом понимании, трудно было бы осуществить формализацию данных. Без второго — понять строение обыденного сознания, а, следовательно, отразить специфику чисто человеческого познания с его озарениями, интуицией, инсайтом и даже решением проблем на подсознательном уровне, а, главное, с его удивительным целостным восприятием, что и отличает вместе взятые мозг человека от работы самого совершенного компьютера.

Думается, что именно понимание естественной категоризации мира кладет конец мифу о том, что «именно признаковое описание — это содержание реального познавательного процесса» [Фрумкина 1989: 68]. Да, конечно, в акте номинации обозначаемое должно быть подведено под определенную категорию и в этом смысле считаться обладающим тем признаком или признаками, которые с нею связываются. Вряд ли, однако, допустимо считать, что такое вычленение признаков — осознанное, рациональное, осмысленное — всегда имеет место в этом процессе. Скорее здесь действует равнение на имеющийся в голове образец, довольно поверхностную зачастую аналогию, уже сложившиеся языковые навыки. Но если принять все это во внимание, формирование ЧР со всеми их «непоследовательностями» может найти достаточно логичное объяснение.

Рассмотренные здесь разные точки зрения позволяют выделить основные линии исследования в понимании ЧР, а, следовательно, более точно сформировать и нашу собственную позицию в их анализе. Поэтому как настоящую, так и следующую главы не следует считать излагающими исключительно историю вопроса. Это скорее выбор тех аспектов в их анализе, которые не потеряли своей значимости и в настоящее время. Итоги уроков прошлого мы уже подвели, остается указать на главные трудности в рассмотрении ЧР или, что в общем равносильно этому, не решенные еще проблемы. Это, с одной стороны, вопрос об организующих принципах всей системы ЧР в целом. Это, с другой стороны, вопрос о том, почему категория ЧР в целом, а, значит, и категория слов как таковая, с какой бы стороны ее ни рассматривать, оказывается категорией, лишенной единого основания и внутреннего единства: есть слова называющие и не-называющие, полнозначные и неполнозначные, соотнесенные с миром действительности и не соотнесенные с ним, конкретные и абстрактные, структурированные и неструктурированные. И все же слова выделяемы, осознаваемы психологически и явно составляют особый класс языковых единиц, лучшим определением которых можно было бы, по-видимому, считать определение их как строительных автономных единиц дискурса, речевой деятельности, повторяющихся в ней в качестве самостоятельных знаков и апробируемых коллективом говорящих на одном языке именно в этом качестве.

---

В какой-то мере можно полагать, что вопрос о единстве в категории слов связан с их знаковым характером, а его решение сопряжено с решением проблемы отношений между разными интерпретантами знака. И, наконец, едва ли не самая большая трудность в анализе ЧР — определение их концептуальных основ, т. е. реальное и конкретное описание того, что же мыслится как «предмет», «признак», «свойство», «состояние» и т. п., если именно с ними связывается в конечном счете разграничение разных ЧР, или того, что такое «предикат», «функция» и ее «аргументы» и т. п., если определение ЧР строится на разграничении этих понятий. Попытки ответить на эти вопросы и характеризуют новейшие исследования ЧР.

## *Глава вторая*

### **НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ (последние десятилетия)**

Продолжая изучение истории вопроса, мы остановимся здесь на тех концепциях, которые получили в литературе меньшее освещение и чей критический анализ поможет ознакомиться с тем новым, что появилось в понимании данного разряда слов в относительно недавнее время. В принципе можно было бы говорить и здесь о разных направлениях в истолковании ЧР, но отличительной чертой новых концепций оказывается скорее либо то, что они имеют дело с такими аспектами в существовании ЧР, которые ранее привлекали к себе меньшее внимание, либо с такими, которые выявились в лингвистике в связи с формированием в ней самой новых подходов, либо, наконец, то, что в этих концепциях делается попытка продемонстрировать по-новому зависимости между разноуровневыми признаками ЧР и/или изменить представление об их иерархии. Так, в направлении, которое можно было бы назвать ономаσιологическим, ЧР рассматриваются прежде всего как слова, называющие с помощью разных структур разные по своей природе фрагменты мира; в прототипической семантике и когнитивной грамматике ЧР получают иное освещение по сравнению с традиционным в силу разработки теории прототипов в психологии и когнитологии; когнитивная грамматика вычленяется постепенно как особая область когнитивной лингвистики, а дискурсивная теория ЧР возникает как следствие активно развивающегося в наше время дискурсивного анализа. Но какими бы различными ни оказывались подобные новые теории, на их становление и их развитие свое мощное влияние оказывают две ведущих научных парадигмы последних десятилетий — когнитивная и коммуникативная, притом нередко — в сочетании той и другой. В итоге, несомненно, категория ЧР получает все более адекватное отражение как бы с двух сторон — со стороны ментальной деятельности человека и со стороны его коммуникативной деятельности, благодаря чему именно речемыслительный характер ЧР получает свое подробное освещение.

У истоков такой постановки проблемы — труды С. Д. Кацнельсона и Дж. Лайонза, приходящиеся на начало 70-х гг. и выполненные в разных традициях, ставящие разные задачи и вместе с тем — при всем их несомненном различии — сходные в принципиальных результатах своего анализа.

Посвященная вопросам функционирования грамматических форм и рассмотрению традиционных ЧР, книга С. Д. Кацнельсона знаменательна прежде всего вовлечением содержательной стороны языка в орбиту типологических изысканий [Кацнельсон 1972: 11], реконструкцией универсального компонента языковой структуры как мыслительного ядра грамматических форм [с. 13] или же обязательного для всех языков «категориального минимума» [с. 14]. Такой минимум и представляется ученому связанным с частями речи, их грамматическими категориями и их лексическими значениями. Говоря о том, что с узко-лингвистической точки зрения сложившиеся традиционные классификации частей речи в отдельных языках обычно вполне удовлетворительны для целей простого описания языков, он считает их неудачными в речемыслеительном плане, где главную роль отводит противоположению имен и не-имен, или же предметных и призначных значений [с. 133] и их дальнейшей классификации.

Уточняя свою концепцию, С. Д. Кацнельсон разъясняет, что она отличается от традиционной «прежде всего своей семантической ориентацией» и к тому же — направленностью на лексические значения этих единиц. «Решающую роль в нашей классификации лексических значений, — указывает автор, — играют их синтаксические свойства, логически выводимые из функции эксплицирования» (содержания языковых образований), которую, в свою очередь, делит на функцию атрибуции и функцию предикации [с. 169–170]. Эти синтаксические функции и предполагаемые ими синтаксические отношения «образуют основу для распределения лексических значений по грамматическим классам» [с. 170]. Подчеркивается, что «в каждом лексическом значении содержатся некие моменты, определяющие грамматические потенции данного значения» и что классификация лексических значений релевантна именно в силу этого обстоятельства; лексические значения отражают тот минимум знаний, который достаточен для опознания объектов (предметов, событий, качеств и т. п.) и который одновременно свидетельствует о специфике обозначенных ими объектов [с. 130 и сл.]. Интересно отметить, что задавая вопрос о том, что же представляет собой указанный минимум знаний об объекте в онтологическом плане [с. 139], С. Д. Кацнельсон видит отражение реальных фактов действительности не в изолированных словах, «а в речевых коммуникациях, целостных сообщениях, текстах, минимальными единицами которых являются предложения». Отсюда и довольно неожиданный вывод о том, что онтологические моменты «сами по себе недостаточны для понимания сущности грамматической классификации слов. Они образуют лишь некоторые, самые общие предпосылки такой классификации» [с. 145].

Чтобы прояснить точку зрения С. Д. Кацнельсона, важно привести несколько его собственных примеров. Говоря о предложениях *Дом лесника стоял возле речки* и *Это был дом лесника*, он утверждает, что «в первом случае форма *лесника* употреблена в атрибутивной функции, а во втором — в функции предикативной» [с. 163], причем в обоих случаях речь идет о квалификации несубстанциональных значений, значений признака. Естественно, что по отношению к готовому предложению такой анализ вполне возможен. Но как тогда можно определить категориальное значение слова? На основании какого употребления это слово относится все же к предметной лексике и потому должно считаться носителем предметного значения? Для того, чтобы выйти из этого трудного положения, предлагается процедура различения экспликандумов (того, что подлежит объяснению) и экспликантов (разъясняющих смысл экспликандума), но такое решение возвращает нас, по существу, к противопоставлению топика и коммента, темы и ремы, а, значит, к синтаксическим началам высказывания. Таким образом, при всей глубине содержательных интерпретаций подобных начал и тонкости анализа употребления лексических значений слов разных ЧР в составе предложения, фактически мы наблюдаем попытку **соотнесения** категориальных значений высокого уровня абстракции с синтаксическими функциями слов. Но ведь именно это характеризует и концепцию Дж. Лайонза.

Из описанного следует, что ЧР определяются, собственно, функционально, хотя и отмечается, что для осуществления экспликативных (синтаксических) функций используются преимущественно слова с особыми типами лексических значений. Особенностью концепции Кацнельсона является в этом смысле выделение атрибутивной функции в противоположность предикативной, т. е. точка зрения, отличная от позиции генеративистов, выводящих атрибутивную функцию из предикативной. По мнению ученого, главное противопоставление внутри ЧР проходит все-таки между именами и не-именами, куда включаются все слова с призначными значениями. Имена в разных языках объединяются тем, что по своей первичной синтаксической функции они служат выражению экспликандума, остальные же назывные слова — в первую очередь экспликанты [с. 151]. Вряд ли, однако, существительное можно считать передающим только то, что подлежит объяснению, — оно само служит нередко, на наш взгляд, экспликации вещей.

Важной чертой концепции С. Д. Кацнельсона является стремление охарактеризовать универсальные, или базисные значения, которые совпадают в грамматических классах всех языков. Иными словами, еще до формирования теории прототипов Кацнельсон говорит о том, что «базисными для субстанциональных слов (имен) являются лексические значения, отображающие чувственно воспринимаемые предметы (физические тела)». Вряд ли сыщется поэтому хоть один язык, — справедливо настаивает автор, — в котором такие значения оказались бы в составе иного грамматического класса. Базисными для атрибутивных слов являются чувственно воспринимаемые признаки предметов, обладающие от-

носителем устойчивостью, — качественные и количественные признаки. Для предикативных слов базисными являются простейшие, чувственно наблюдаемые изменчивые признаки, — предикаты действия и состояния. «Традиционная грамматика, — подытоживает С. Д. Кацнельсон, — интуитивно выделила базисные значения как семантическую основу важнейших частей речи — существительных, прилагательных, числительных, глаголов» [с. 175].

Полная стимулирующих идей, монография С. Д. Кацнельсона все же не ответила на вопрос о том, как и в каком объеме можно использовать сам термин «части речи» в типологическом описании языков, ибо он несколько раз повторяет, что выделенные им грамматические классы слов «не имеют прямой аналогии в традиционных частях речи» [с. 164]. Его же грамматические классы — это функциональные объединения, сгруппированные благодаря той функции, которую может выполнять отдельное лексическое значение слова в предложении (но не слово как таковое). Важно также, что выделив главное для всей системы полнозначных ЧР противопоставление предметных и не-предметных значений, предмета и признака (что, действительно, являет собой универсальное свойство в строении языков), он затем резко ограничил круг предметных значений, полагая, что все, не входящее в этот круг, и есть признаки. Но тогда в качестве нерасчлененной и даже недостаточно ясно очерченной выступает категория признака: ей дается одно негативное определение (это — не-предмет). Приведу одно знаменательное указание С. Д. Кацнельсона на этот счет.

«Под предметными значениями мы понимаем лексические значения, отображающие материальные предметы, физические тела, как например 'камни, деревья, звезды, лошади, карандаши, вода' и т. д. Традиционная грамматика не довольствуется таким ограничением. В число предметов она включает все то, что выражается существительными. Кроме собственно предметов туда зачисляются ею еще и события (как 'наводнение, гроза, обвал, война, концерт, свадьба'), пространственные и временные отношения (как 'поверхность, простор, дыра, новолуние, каникулы, юбилей'), качества, состояния и действия (например, 'белизна, высота, мягкость, косьба, хождение, усталость, гнев'), формы предметов ('шар, капля, брусок'), численные определения ('пара, дюжина, сотня'), логические и философские категории ('сущность, основание, бытие, вероятность') и т. д. и т. п.» [с. 133–134]. Такая практика расценивается как «неловкая», «несообразная» и даже «алогичная» и «иррациональная». Ниже мы объясним, какая логика разрешает подобное объединение, но отметим и здесь, что видим в ней величайшее достоинство языка.

Мы нарочно привели эту длинную цитату как убедительно свидетельствующую именно о том, в чем сегодня должно заключаться объяснение существующего положения дел. Во-первых, это не традиционная грамматика «включала» перечисленные единицы в состав существительных — это делал сам язык, демонстрируя релевантность рассмотрения подлинно предметных слов и слов далеко не «пред-

метных» как однопорядковых, — они маркированы морфологически теми же признаками, выражают те же грамматические значения (рода, числа, падежа) и, наконец, сходно употребляются. Следовательно, в объяснении нуждается сама «позиция языка» и его собственная внутренняя логика. Во-вторых, для целого ряда приведенных случаев возможна и их остенсивная характеристика, что ставит под сомнение возможность реального противопоставления предмета и отношения, предмета и события, предмета и формы предмета и т. п. (ср. особенно — дыра, шар, капля, брусок и пр.). В-третьих, оказывается неучтенным радикальное отличие друг от друга простых и производных существительных (последние «наследуют» свои категориальные значения от мотивирующих их слов и нуждаются в особой семантической характеристике) и, наконец, игнорируется способность языка создавать номинальные классы слов (одним языковым определением, о чем мы уже говорили выше и к чему еще вернемся). И, наконец, самое существенное: на каком основании можно отнести события, отношения, философские и логические категории, вынесенные за пределы предметных значений, к значениям **призначным**? Мы полностью признаем слова типа *наводнение, гроза, обвал* пр. событийными, но не можем считать их признаковыми (призначными). Они, кстати говоря, не случайно близки словам, поддающимся остенсивному определению (т. е. близки предметным обозначениям). Даже если признать правоту их исключения из подлинно предметных значений, а далее — их способность формировать собственные грамматические классы слов, к какой же части речи следует в таком случае отнести? Строго говоря, они обладают такой же способностью служить экспликандумом, как и слова типа «стол», «дерево» и т. д.

Трудно подойти с позиции книги и к вопросу о единстве слова: если многие слова полифункциональны, обнаруживая «то предметное, то призначное значение» [с. 150], не означает ли это, что логика языка позволяет такое объединение и считает его естественным?

К постановке аналогичных проблем приводит нас и рассмотрение концепции Дж. Лайонза, хотя, как мы уже говорили выше, концепция эта отражает позицию ученого иной школы и иной ориентации. Если в ранних своих работах [1972] он отмечает, что «слова естественного языка могут быть сгруппированы в дистрибуционные классы (что всегда и делалось составителями грамматик на практике...)» и что именно с выделения таких классов начинается формальная грамматика (она отличается от понятийной «теоретическим признанием указанного принципа») — см. [Лайонз 1978: 158 и сл.], то уже в работе 1991 г. о естественном языке и универсальной грамматике Лайонз подчеркивает свое желание начать дискуссию о том, что же представляют собой части речи в рамках генеративной грамматики [Lyons 1991: 110 и сл.] и какой статус им там приписывается. По его мнению, понятийные определения ЧР заслуживают гораздо большего внимания, чем им уделялось в последнее время (в связи с развитием генеративного, т. е. формального направления в грамматике). Поддерживая по-прежнему мнение о

необходимости разграничения поверхностных и глубинных структур, он выступает противником тех генеративистов, что постулируют отсутствие частей речи на глубине. Напротив, — считает Лайонз, — какими бы ни были факты поверхностного варьирования языков, их глубинные структуры достаточно сходны и уже там реализуется категориальная нетождественность слов и их принадлежность разным ЧР. Он сочувственно цитирует слова О. Есперсена о том, что понятийная грамматика начинается с установления понятийных категорий. «...Приходится признать, — писал О. Есперсен, — что наряду с синтаксическими категориями, или кроме них, или за этими категориями, зависящими от структуры каждого языка, в том виде, в каком он существует, имеются еще внеязыковые категории, не зависящие от более или менее случайных фактов существующих языков. Эти категории являются универсальными...» [Есперсен 1958: 57–58].

По контрасту, формальная грамматика не делает никаких допущений об универсальности каких-либо категорий и стремится описать структуру каждого языка в его собственных терминах, по его собственным меркам. Такое различие сказывается и в отношении к ЧР: если определять существительные понятийно, считая их словами, обозначающими лиц или предметы, слова *истина, красота, электричество* могут считаться существительными. Но если бы мы выделили на формальных основаниях некий синтаксический класс, куда попали бы единицы типа *мальчик, собака* или *дерево*, мы бы могли спросить, не относятся ли туда же *истина* и пр., и получить на это положительный ответ. В классификации слов имеет поэтому смысл выделить вначале классы на формальных основаниях, а затем задаться вопросом о том, как называть эти классы и нет ли у единиц этих классов каких-либо сходных понятийных свойств [Lyons 1991: 111 и сл.].

Для обнаружения формальных классов надо обратиться к глубинной структуре предложения, и тогда мы тут же убеждаемся в том, что главным в этой структуре является противоположение темы дискурса тому, что о ней сообщается. Это противопоставление и было четко намечено Э. Сепиром [с. 113] (см. также [Лайонз 1978: 354 и сл.]), соответствуя тому, что сегодня интерпретируется как оппозиция топика и коммента, или, как в русском переводе Лайонза, названия и толкования. Поскольку первоначально должно быть названо то, о чем пойдет речь, в логическом подходе к ЧР пальма первенства отдается существительному, и его определение как бы предшествует дефиниции всех прочих ЧР: первичное разграничение здесь (как и у С. Д. Кацнельсона) заключается в оппозиции имен и не-имен. Лишь последующее деление этих последних позволяет противопоставить далее прилагательные и глаголы и использовать для этого противопоставление «качеств» и «свойств». Таким образом, подлинно универсальным оказывается только выделенность существительного: синтаксически первичным считается при этом оппозиция существительного **предикату** или же предикативной группе, которая, в свою очередь, на более низком уровне членения может состоять либо из связки в сочетании с другими именами, либо из одного глагола или же глагола

с разными объектами [Lyons 1991: 117]. Фокусом зависимостей в предложении является предикат. Поскольку предикат может строиться по-разному, глаголы и прилагательные как его составляющие — более сложные категории, и их свойства в отдельных языках могут расходиться. Универсально существительное, универсально и выделение в предикате различных классов (так, соединение копулы с существительным являет собой пример обычного предиката). Термин же «глагол» может считаться наиболее привычным обозначением для класса слов, первичной функцией которых является формирование предиката. Такое мнение совпадает с точкой зрения ученых, полагающих, что в силу обязательного противопоставления в языках по крайней мере двух классов слов, об одном из них имеет смысл говорить как о существительном, а о другом — как о глаголах [Там же: 122–123]. Если же предикаты более разнообразны, следует подумать и о противопоставлении глаголов и прилагательных, не объединяя их (как это, например, делает У. Чейф) в один класс. Такая практика тем более оправдана, чем больше собственных морфологических примет получает прилагательное в отличие от глагола (у глаголов нет степеней сравнения, а прилагательные не изменяются по лицам и т. п.). К тому же не раз указывалось на то, что глаголы обозначают скорее действия или процессы, а прилагательные — качества и свойства, т. е. они ближе к стативным глаголам, и к ним тогда применим термин «состояние».

Уточняя свою более раннюю позицию в трактовке ЧР (а первая работа Дж. Лайонза о ЧР как понятийных категориях относилась к середине 60-х гг.), автор указывает, что ему следовало бы и тогда противопоставлять формальной теории ЧР не понятийную теорию как таковую, а теорию, в которой ЧР определялись бы как «онтологически детерминированные слова». Я пытаюсь защитить теорию, подчеркивает Лайонз в 1991 г., согласно которой «...значения и дистрибуция главных грамматических категорий определялись в основном, или прототипически, структурой внешнего мира» [с. 137]. Такие категории должны быть универсальными.

Итогом исследований Дж. Лайонза, так же как и результатом исследований С. Д. Кацнельсона, являются, таким образом, положения о том, что грамматические классы слов первоначально надо выделить на формальных синтаксических критериях, обращаясь к выделению слов в предложении; после этого можно обратиться к рассмотрению того, что они представляют собой с содержательной (или понятийной) точки зрения. Называть эти категории, по Лайонзу, лучше «понятийно», памятуя, правда, о том, что онтологические или семантические определения применимы только к их **прототипическим** представителям. Этот тезис — значительное достижение концепции Лайонза, указывающего к тому же, что в естественном языке рядом с прототипическими именами можно всегда обнаружить разные типы не-прототипических элементов, но никогда ни один естественный язык не может иметь класса, составленного только из не-прототипических членов. В конечном счете обе рассмотренных концепции можно причислить

к функционально-синтаксическим, хотя и с заметным креном в план содержания, в его концептуальные основания. Они очень полезны с эвристической точки зрения.

«Синтаксическое» направление имело своих сторонников и в отечественном языкознании, где начало ему было положено прежде всего трудами И. И. Мещанинова и его школой. Четкую позицию такого рода занимают обычно и востоковеды, сталкиваясь с изолирующими языками или же языками с неразветвленной морфологической системой. В наиболее ясной форме концепция аргументирована В. М. Алпатовым, который считает самым целесообразным для типологических целей именно синтаксический подход, позволяющий представить картину непротиворечивого разбиения слов по грамматическим классам в соответствии с выполняемыми их членами функциями. Это не препятствует после осуществления подобной классификации соотнести полученные «синтаксические части речи» с «семантическими» и «морфологическими» и обнаружить известные корреляции между ними [Алпатов 1990].

Удачной попыткой определить ЧР через элементарные синтаксические функции слов (и тоже — с последующей попыткой соотнести выделенные на этом основании классы с их когнитивными характеристиками) является работа Я. Г. Тестельца [Тестелец 1990]. Подобными синтаксическими функциями являются, по мысли автора, функция вершинного предиката, функции актанта и определений, среди которых разграничиваются определения к предикатам и актантам; дифференцируются также possessивные и nonpossessивные определения. Корреляция с традиционными ЧР здесь вполне очевидна, а поскольку функциям специальных определений не дается, трудности различения глаголов и прилагательных или прилагательных и существительных остаются, так как вводимая им классификация слов основана на том, какие из перечисленных ролей они могут выполнять в составе предложения, а такие функции повторяются у слов разных классов (ср. также ниже).

Как правильно указывает П. Шахтер, «не всегда ясно, являются ли два набора слов, обладающих частично сходными, а частично — различающимися свойствами, принадлежащими подклассам одного класса или же составляющими самостоятельные классы» [Schachter 1992: 164]. По его мнению, четкого противопоставления аргументов и предикатов, в целом совпадающего с оппозицией существительных и глаголов, в отдельных языках все же не наблюдается, и тогда на помощь приходят дополнительные (морфологические) признаки: так, глаголы и прилагательные обычно различаются системой присущих им грамматических категорий; к тому же глаголы, например, строят предикат самостоятельно, а другие имена — в сочетании с копулой.

В целом для современных синтаксических теорий ЧР характерны поиски тех простейших или элементарных функций, которые обнаруживаются в составе предложений и без которых эта единица не может быть организована. В генера-

тивной грамматике — это противопоставление именных и глагольных фраз, в разных версиях падежных грамматик — это падежи, у Лайонза, как мы указывали выше, — субъекты, объекты и предикаты, у Кацнельсона — экспликативные функции, у других авторов — предикаты и актанты или партиципранты и т. п. Разных предложений по этому поводу немало, и рассматривая далее принципы организации системы ЧР, мы тоже введем для представления дискурса прототипические пропозициональные функции. Хотелось бы только отметить, что опасность «порочного круга» в определении ЧР сохраняется и здесь: просто одно неопределяемое понятие (ЧР) заменяется здесь другим, таким как ситуация, событие и его партиципранты и т. п. (ср. [Тестелец 1991: 77–78]).

Нельзя поэтому не признать, что методика распределения слов по формальным (синтаксическим, дистрибутивным, позиционным и т. п.) критериям оправдывает себя и приносит наибольшие результаты в описании не-флективных языков или же при сопоставлении языков в типологическом плане. Но сам факт возможности приписать далее выделенным классам определенные общие когнитивные или содержательные признаки остается без объяснения и заставляет нас обратиться к их поискам.

По существу поисками семантических «общих знаменателей» в отдельных ЧР полна вся история их изучения, и нельзя утверждать, что такие поиски всегда оставались безрезультатными. Дело заключается скорее в том, что даже и будучи выделенными, такие понятия, как понятия действия, состояния, отношения и пр. оставались не вполне ясными, хотя интуитивно их нельзя считать и совершенно лишенными специфического содержания. Просто, по всей видимости, уровень развития науки не позволял вложить в них конкретный смысл (не случайно в некоторых психологических направлениях они были объявлены врожденными, аксиоматическими и не поддающимися, как некие примитивы, дальнейшему разложению). Сегодня положение дел начинает меняться, и надо сказать, что прототипическая семантика и когнитивная психология позволяют сделать решительный шаг вперед в этом направлении. Вместе с тем преодолеть барьер в содержательном освещении ЧР пытались и ономаσιологическое направление, отчасти уже рассмотренное нами при анализе связей когнитивизма и теории номинации.

Внутри этого направления ориентировались не столько на вопрос о том, что **значат** отдельные ЧР, сколько на вопрос о том, на обозначение каких фрагментов мира они направлены и какие онтологические сущности можно поставить им в соответствие. Подобный экстенциональный взгляд на вещи позволил получить представление о том, какие ноэтические пространства покрываются фактически словами разных ЧР и какому членению мира они соответствуют. В эволюции языков в этом направлении отводили заметную роль номинативной деятельности человека, антропоцентрической природе этой деятельности, ее речемыслительным особенностям.

Мы и в настоящее время продолжаем считать, что в языке не могло не найти отражения онтологическое различие разных форм материи и ее движения, разных типов отношений между объектами, отдельность некоторых объектов и т. п. С ономасиологической точки зрения важно было отразить, что скрывается за вполне понятным разнообразием лексических значений, если они все же подвоятся под некие общие категории; важно было установить, в каком объеме и какие знания об объектах фиксируются в их обозначениях, какой концепт или группа концептов могут совмещаться в пределах одного слова, и, конечно, все эти вопросы не потеряли своей актуальности и в настоящее время; когнитивное направление придало этим и аналогичным вопросам большую конкретность, связав ответы на них с репрезентацией знаний в голове человека, со строением ментального лексикона и памяти, с разными структурами знаний и разными способами их бытия в сознании человека, с принципами восприятия мира. По существу же при когнитивном описании ЧР мы по-прежнему можем оперировать теми сведениями о них, которые были получены в рамках ономасиологического направления (ср. [Кубрякова 1978; Харитончик 1986; Степанова, Хельбиг 1978] и др.).

Нельзя не отметить к тому же, что сведения эти соотносятся с простым наблюдением за окружающей нас действительностью и средой, ибо естественный взгляд на вещи предполагает, что в мире вокруг нас, вне зависимости от нашего сознания, что-то с чем-то происходит, что мир полон разных физических тел, взаимодействующих друг с другом, что он существует во времени и пространстве и что язык **правильно**, по крайней мере в основных чертах, отражает все это, точнее, нарекает и описывает, используя разные единицы.

Можно было бы специально остановиться на том, что у ономасиологической грамматики обнаруживается немало черт, сближающих ее с функциональной грамматикой в ее отечественном варианте (ср. исследования А. В. Бондарко и его школы), а далее и с когнитивной грамматикой (ср. [Панкрац 1992; Жаботинская 1992; Афанасьева 1992] и др.), но все же, пожалуй, наибольшую близость ономасиологическое направление обнаруживает с прототипической семантикой, во всяком случае — в отношении своих конечных целей. И в том, и в другом направлении делается попытка установить, хотя и с помощью разных приемов, что же все-таки сближает **все** существительные, **все** глаголы и т. п. и делает их представителями одной и той же ЧР в концептуальном смысле, вопреки несомненному факту их очевидного лексического разнообразия. В ономасиологическом направлении эта проблема решалась за счет признания для каждой ЧР ее главного концепта, на который ориентируются все члены одной ЧР. В качестве таких концептов здесь выделялся концепт предметности для существительных, процессуальности для глаголов и признаковости для прилагательных и наречий. Возможно, однако, что сами эти концепты не были очерчены с достаточной ясностью, ибо многим ученым продолжало казаться неуместным рассматривать в этих терминах на равных правах такие обозначения, как *столи истина*, *мальчик* и *электричество* и т. п., или

же подводить под категорию процессуальности стальные глаголы. И хотя нам подобные утверждения представляются вполне правомочными, а ниже мы постараемся аргументировать правильность рассматриваемой точки зрения, не вызывает сомнения, что указанные концепты должны получить более четкую интерпретацию.

Значительный шаг в этом отношении и сделан в рамках прототипического подхода, при описании «лучших образцов» предметов и действий, а также при рассмотрении цепочек переходов от лучших образцов к их «вырожденным» аналогам. В этом смысле понимание того, как устроена и организована естественная категория, оказало свое влияние и на то, как может строиться отдельная ЧР и почему она может включать как прототипические, так и отклоняющиеся от прототипических образцов единицы и в то же время не терять своего единства, обеспечиваемого лишь фамильным сходством своих членов.

Поскольку описание прототипических характеристик отдельных знаменательных ЧР составляет специальную часть настоящей монографии, ограничимся здесь лишь общими указаниями на то, каким образом осуществляли в прототипической семантике определение указанных характеристик и какие для этого использовались данные. Психологическая ориентация самого прототипического подхода и его близость когнитивной психологии способствовали тому, что в освещении главных признаков прототипов использовались экспериментальные данные, сведения о принципах восприятия мира и, наконец, материалы изучения детской речи и онтогенеза. Подобный симбиоз позволил получить в высшей степени убедительные данные о том, как протекает «первичная» концептуализация мира и в каких терминах можно лучше всего описать этот сложный процесс.

Так, например, используя данные о распознавании образов, обращают внимание на имеющее здесь место противопоставление фона и фигуры, а учитывая сведения о становлении детского интеллекта, подчеркивают, что внимание ребенка останавливают прежде всего движущиеся предметы. В то же время движение наблюдается обычно относительно какого-либо стабильного объекта, т. е. воспринимается как перемещение той или иной «фигуры» на определенном фоне — прежде всего, относительно самого себя. Подобное противопоставление не может не отразиться в языке, и, действительно, деление объектов на стабильные, устойчивые и, напротив, не сохраняющие идентичности самим себе, меняющиеся под влиянием определенных причин — движений, действий и т. п., сказывается психологически в феномене «перманентности» предметов, или их «консервации» во времени и пространстве (Ж. Пиаже), т. е. ведет к выделению тех объектов, которые не меняют даже в процессе взаимодействия с ними своих ингерентных признаков (формы, размера, предназначения и т. п.).

Стабильность предмета покоится, следовательно, на сохранении им в течение определенного времени присущих ему опознавательных свойств — главным об-

разом данных в перцептивном его восприятии и доступных непосредственному наблюдению.

Возможно также, что перемещение объектов и изменения в их местоположении воспринимаются как следствия некоторых импульсов со стороны одушевленных, т. е. двигающихся по своей воле, предметов, связываются с определенным «выбросом» энергии, причем выбросом интенциональным и целенаправленным, — действием, определенного вида движением (руки, ноги) в определенную сторону и с определенной ориентацией. Обобщения наблюдений подобного рода в ходе развития ребенка и его когнитивного созревания приводят к возможности объяснить простейшие концепты в простейших видах деятельности с миром и в простейших актах общения со взрослыми, явно помогающих ребенку и направляющих его действия (движения) на достижение определенной цели. В формировании подобных концептов разными учеными отмечаются разные аспекты этого процесса. Так, при исследовании ранних фаз когнитивного развития ребенка огромное внимание уделяется формированию самого концепта стабильности окружающих его предметов, и многочисленные эксперименты ставятся для того, чтобы подтвердить или же опровергнуть мнение Ж. Пиаже о том, что этап сенсомоторного овладения миром у ребенка завершается формированием репрезентаций некоторых стабильных объектов, проявляющих черты «перманентности», т. е. устойчивости во времени (см. подробнее [McShane 1991: 113 и сл.]). Релевантность этого признака и для категоризации в языке была впервые особенно отчетливо выражена в работах Т. Гивона.

Указывая, что в языках мира обычно встречаются четыре главных лексических класса слов, — существительных, глаголов, прилагательных и наречий, — он первоначально выделяет среди них наречия по смешанному характеру признаков их бытия, а для существительных, глаголов и прилагательных отмечает их особую дистрибуцию на одной семантической шкале — шкале их временной стабильности [Givón 1984: 51 и сл.].

«То с чем мы сталкиваемся в языках, — подчеркивает Т. Гивон, — это континуум стабильности во времени. Самые стабильные во времени объекты те, которые медленно изменяются во времени, те, которые в терминах их свойств скорее остаются идентичными самим себе, лексикализуются (т. е. объективируются в форме лексических единиц, — *Е. К.*) в виде существительных. Наименее устойчивые во времени сущности — действия и события, — связанные в мире с быстрым изменением, лексикализуются как глаголы, которые в конечном счете и характеризуют переходы от одного состояния к другому» [Givón 1979: 321]. Разъясняя эту позицию, он указывает позднее, что категоризация опытных данных как феноменологических пучков признаков происходит по определенным законам, заставляя обозначать с помощью существительных именно то, что в непосредственном наблюдении долго не меняет своей идентичности (а это обычно относится к величинам, сохраняющим свою конкретную физическую компактность благодаря тому,

что они состоят из твердых форм материи). На другом полюсе шкалы находятся поэтому такие явления, которые можно было бы описать как быстрые изменения: язык обозначает их как события или действия, называя их глаголами. Они гораздо более абстрактны по сравнению с существительными и сами могут варьировать по степени конкретности/абстрактности, но кодируют они именно перемены в окружающем нас мире [Givón 1984: 51–52].

Промежуточное место на шкале временной стабильности занимают прилагательные, приближаясь по своим характеристикам то к глаголам, то к именам, в зависимости от того, какие признаки ими фиксируются. В подавляющем большинстве случаев они обозначают длящиеся во времени, т. е. устойчивые признаки объектов. Они называют обычно физические свойства объектов — их размеры, форму, цвет, запах или вкус, а потому могут приближаться, с одной стороны, к наименее показательным существительным, обозначающим непостоянные признаки предметов (ср. *молодость* или же *подросток*), а с другой, к наименее типичным глаголам, обозначающим, напротив, достаточно стабильные качества (ср. *печальный*, *сердитый*). В деривации прилагательных указанные свойства проявляются особенно ярко — будучи образованными от существительных, они кодируют тоже более устойчивые признаки (*сферический*, *срединный*, *безмозглый*), нежели прилагательные, образованные от глаголов, которые часто называют результат процесса (*сломанный*, *сожженный*, *законченный*), продолжающийся процесс (*горящий*, *живущий*, *бегающий*) или же его потенциальные характеристики (*ломающийся*, *сгибающийся*, *сведобный*).

Используя шкалу устойчивости во времени, можно указать на следующие закономерности в бытии лексических классов слов, кодируемых разными ЧР.

<b>СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	—	<b>ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ</b>	—	<b>ГЛАГОЛЫ</b>
↓		↓		↓
наиболее устойчивые		промежуточные состояния		быстрые перемены

Несмотря на критику в адрес Т. Гивона, сводящуюся к тому, что непонятно, как могут быть установлены на указанной шкале ее отдельные «отрезки» или же «точки», а также к тому, что непонятно, какой отрезок времени может рассматриваться как контрольный для определения стабильности/нестабильности кодируемого объекта (ср. [Тестелец 1991: 85–86; Norper, Thompson 1993: 368]), замеченная им закономерность несомненно существует. Представляется, что трудности в интерпретации выявленной закономерности заключаются вовсе не в том, чтобы противопоставить обозначения изменяемых или же неизменных во времени признаков (очевидно, во всяком случае, что такое противопоставление, каким бы субъективным оно ни казалось, все-таки существует, да и измеряется оно обычно антропоцентрически, т. е. относительно человека). Трудность заключается скорее в том, как противопоставить предметы и не-предметы, **признаки**. Ведь мож-

но считать, например, что *молодой* и *молодость*, и *старый* и *старость*, с одной стороны, и *старый* и *стареть* или *синий* и *синеть*, с другой, — обозначают именно признаки; так считает, например, с полным на то основанием А. Вежбицкая, см. [Wierzbicka 1988: 463 и сл.]. Трудно также интуитивно согласиться с тем, что глагол обозначает «быстрые перемены».

Т. Гивон интересен не тем, естественно, что противопоставляет кардинальные ЧР, но тем, какой параметр он вводит в это противопоставление, а также тем, что оно (это противопоставление) связывается с восприятием мира, с дифференциацией сущностей, основанной на признаке их устойчивости во времени. Да и выстраивание на шкале активных глаголов, обозначающих быстрые изменения в положении дел, а за ними глаголов стательных, описывающих положение дел в собственном смысле слова, далее прилагательных, которые обозначают временные состояния, как и стательные глаголы, еще дальше — прилагательных, обозначающих постоянные качества и свойства, а рядом с ними существительных с теми же значениями и, наконец, существительных, обозначающих стойко сохраняющие свои ингерентные свойства единицы, — все это, конечно, имеет глубокие основания, и в принципе правильно отражает картину распределения главных ЧР, хотя и не устанавливает строго границы между ними. С указанной точки зрения понятно и то, что прилагательные не являются универсальной категорией в той же мере, в какой существительные и глаголы, ибо одни и те же сущности не могут кодироваться существительными и глаголами, но могут — глаголами и прилагательными или же прилагательными и существительными.

В семантической классификации предикатов, предложенной на материале русского языка Т. В. Булыгиной, в качестве дифференцирующего начала используются понятия вневременной и временной локализованности величин, отражающие реальные, онтологические свойства как «обобщение объективных явлений бытия» [Степанов 1980: 312, 323] и в то же время — «нашу концептуализацию мира» [Wierzbicka 1988: 49–50]. Отмечая, что с «типичным» употреблением глагольных предикатов связывается представление о динамичности, а с «типичным» употреблением неглагольных предикатов — представление о статичности, Т. В. Булыгина правильно подчеркивает, что «смысловое различие между глагольными и именными предикатами сводится к различному характеру их отношения ко времени» [Булыгина 1982: 13 и сл.]. Прилагательные как бы вообще независимы от времени, они потенциально атемпоральны, тогда как глаголы, напротив, прикреплены ко времени и локализованы в нем, приурочены к определенному отрезку времени и т. п. [Там же: 18–19, 28]. Напомним, однако, что глаголы отнюдь не всегда развивают идею времени.

К настоящему времени можно утверждать, что прототипические характеристики имен и глаголов получают все более точные описания (см. также ниже), и очень важно, что выделение таких характеристик связано с пониманием принципов обыденного сознания. Из этого, между прочим, следует, что для того, чтобы

сказать, является ли некий объект предметом или лицом, действием или признаком, человек производит его мысленное сравнение с тем, что мы уверенно относим к соответствующей категории объектов и квалифицируем без сомнений как предмет, процесс или признак. Когда мы в акте номинации спрашиваем «Что это за штука?» или «Что же он делает?» и т. п., мы уже осуществили — в большей или меньшей мере осознанно или же неосознанно — некую категоризацию. Ономасиологический подход учитывает эту способность человека и считает необходимым установить в категоризации самые «высокие» в иерархии категорий ступени. Прототипический же подход ориентируется в большей степени на равнение на образец, прототип категории, релевантный для обыденного сознания и, возможно, более конкретный, а, следовательно, приходящийся на базисный (более низкий) уровень категоризации: напомним, что такую логику говорящих признавал и Л. В. Щерба, когда утверждал, что какаду — это существительное, ибо оно означает птицу.

И в том, и в другом случае признается, однако, важность для классификации единиц того концепта, того образца, того представления, которое складывается для его репрезентации в голове человека и отражает опыт деятельности с соответствующими репрезентируемыми объектами. В этом смысле мы настаиваем на том, что в голове человека существует определенная схема соотношения объекта с его названием, выражаемым словом известной ЧР. Это и означает, что можно предсказать для огромного числа онтологически определенных сущностей, словами каких ЧР или даже какой отдельной ЧР они будут обозначены. Акты словообразования наглядно свидетельствуют о том, как именно воспринимается объект в «первом» соприкосновении с ним и почему он получает то или иное обозначение.

Завершая характеристику ономасиологического направления, важно отметить, что оно высветило по-особому роль и функции словообразовательных процессов, особенно процессов безаффиксальной транспозиции, в понимании концептуальных основ отдельных ЧР и определении этих концептов. Намреваясь посвятить этому специальный раздел книги, мы хотим указать здесь лишь на то, что если во многих концепциях о ЧР словообразованию не уделяется вообще никакого внимания, то в рамках ономасиологического направления, напротив, многие выводы о специфике ЧР делаются на основании анализа семантических и ономасиологических структур дериватов, что, собственно, и помогает продолжить изучение первичных и вторичных функций существительных, глаголов и прилагательных, начатое еще Е. Куриловичем. Причастность словообразования и результатов словообразовательных процессов к пониманию природы ЧР мы мотивируем следующим образом: многие исследователи подчеркивают сегодня, что грамматикой кодируются семантические свойства и семантические противопоставления. Среди поддерживающих эти взгляды можно назвать немало видных типологов (Р. Диксона, Э. Кинана), семасиологов (ср. исследования А. Вежбицкой),

когнитологов (ср. Р. Лангакра), и с некоторыми оговорками мы тоже разделяем это мнение. Но тогда, если в языке наблюдаются специальные словообразовательные средства маркирования и выражения определенных ономаσιологических категорий, если в языках мира наблюдаются акты транспозиции из одной ЧР в другую и, таким образом, устанавливаются некие связи между ЧР с помощью деривационных процессов, грамматика нуждается в том, чтобы кодировать семантические различия между разными ЧР, и в том, чтобы кодировать не только особые ономаσιологические категории (действующего лица, вместилищ, диминутивов, инструментов или орудий и т. п.), но и некоторые гибридные сущности, соединяющие в своей семантике представления о предмете по отношению к совершаемому им действию или же о признаке по отношению к какому-либо предмету (ср. относительные прилагательные) или действия по отношению к тому предмету, который его производит и т. д. Иными словами, в мотивах и последствиях словообразовательных процессов особенно ясно проступает их семантическое основание. Ниже мы постараемся показать, как это происходит, более подробно, но необходимо признать, что в актах словообразования отчетливо ощутимы не только его семантические функции. Описав синтаксические и текстообразующие функции словообразования [Кубрякова 1981], мы бы хотели сегодня связать их воедино, обозначая их термином «дискурсивные функции» и разъяснить этим смысл оговорки, сделанной нами выше, оговорки о том, что грамматика кодирует не только семантические (онтологические) различия, но и различия, диктуемые самой организацией дискурса, построением текста и высказывания как его главной единицы.

Несмотря на то, что уже в 1978 г. мы писали о том, что «части речи возникают в актах коммуникации, возникают в недрах высказывания» [Кубрякова 1978: 36], мы понимали это прежде всего в том смысле, что построение предложения требует разведения субъекта и предиката, а вместе с этим известного противопоставления денотативно-ориентированной и сигнификативно-ориентированной, т. е. предметной и не предметной лексики.

Гораздо более глубокое истолкование дискурсивных начал в становлении ЧР было дано в работах П. Хоппера и Сандры Томпсон (ср. [Кубрякова 1990: 22–24]). Их теория может быть по праву названа дискурсивной теорией ЧР. Согласно их концепции, семантические признаки необходимы, но недостаточны, чтобы создать различающиеся части речи; возможно даже, что сами они являются рефлексией прагматических факторов, действующих в организации дискурса [Horner, Thompson 1993: 359]. Первоначальному разграничению и дифференциации ЧР способствовало именно то, какие роли они играли в дискурсе. В филогенезе речи частеречную принадлежность слова и его лексическую семантику определило, по их мнению, то, какую функцию предстояло выполнить данному слову в организации дискурса. «Степень приобретения прототипических свойств имен, — писали Хоппер и Томпсон, — зависит от той степени, в которой рассмат-

риваемая форма служит для введения в текст партиципанта... чтобы быть прототипическим глаголом, форма должна утверждать в дискурсе наличие некоторого события» [Hopper, Thompson 1984: 708].

Объясняя смысл указанного противопоставления, авторы утверждали, что прототипическая «существительность» (nounhood) достигалась лишь тогда, когда некая форма служила введению в дискурсе его главного участника — «партиципанта», тогда как «глагольность» (verbhood) оказывалась следствием введения обозначения события. Но ведь прав Я. Г. Тестелец, когда он указывает, что различие «партиципантов» и «событий» так или иначе входит в значение терминов «имя» и «глагол» и возвращает нас к порочному кругу определения одного неизвестного через другое [Тестелец 1990: 87]. К тому же в предложениях типа «Курить — вредно» в качестве «партиципанта» используется глагол, для построения предиката — наречие (из связки и наречия), а в предложении типа «Он студент» событием является его бытие студентом и т. п. Ссылка же на прототипические функции (служить партиципантом, служить обозначению события) равносильна тому, что в составе ЧР можно выделить те слова, которые по своей семантике обозначают тела, вещи или лиц и т. д.

И все же дискурсивная теория ЧР очень интересна и еще раз привлекает внимание к тому обстоятельству, что внутри высказываний и /или в составе дискурса имена и глаголы выполняют обычно разные функции и что для этого они тоже должны различаться своими значениями.

«Семантические признаки прототипического характера для глагола, — пишут Хоппер и Томпсон, — это, возможно, наблюдаемость в поле зрения, движение (кинетика) и результативность действия, ибо именно эти свойства характеризуют представления, приписываемые детьми грамматическому классу глаголов, а также представления, ассоциируемые универсально с познанием через глагол. Но и здесь, как в случае с существительными, семантических признаков для определения прототипа глагола недостаточно. Для того, чтобы расценить некую форму как прототипическую для глагола, эта форма должна утверждать наличие какого-либо события в дискурсе» [Hopper, Thompson 1985: 157].

Настаивая на том, что грамматика появляется и развивается под воздействием дискурсивных факторов как центральных для всей эволюции языка [Hopper, Thompson 1993: 358], авторы уточняют свою позицию относительно ЧР, утверждая, что в их становлении действуют такие моменты, как способы опознания и прослеживания идентичности референтов, регулирование потока информации и достижения коммуникативных целей. Ставя проблему большей релевантности прагматических факторов по сравнению с семантическими, они исследуют с этой точки зрения широкий круг явлений, где, по их мнению, примат прагматических соображений оказывается несомненным. Прагматическую мотивацию они видят и в наличии /отсутствии специальной морфосинтаксической маркировки в явлениях инкорпорации имен, и в противопоставлении субъектов и объектов выс-

казывания, и в целом ряде других грамматических явлений. Для освещения интересующих нас проблем здесь важно несколько вводимых ими различий: это, во-первых, дифференциация именных фраз на «опознающие» (tracking) и «предсказывающие» или «предсказывающие» (predicting).

В первом случае речь идет о том, чтобы названный референт можно было легко проследить на протяжении всего дискурса и чтобы он, таким образом, выступал как легко манипулируемая сущность. Интересно интерпретируют, во-вторых, авторы и отсутствие в языках мира специальной маркировки у каких-либо довольно очевидных семантических различий — например, создаваемого в процессе действия объекта или же только используемого в этом процессе (ср. *сварить суп* и *читать книгу*), что они объясняют нерелевантностью этого различия для дискурса (и что мы связываем с тем, что для такой дифференциации четко использовано различие самих номинаций соответствующих объектов!). Наконец, в-третьих, близость глаголов и прилагательных авторы объясняют сходством их дискурсивных функций, т. е. необходимостью строить предикаты. В целом же их теория заставляет еще раз обратить внимание на функции слов в дискурсе, причем на некоторые выделенные ими самими функции — «манипулируемость» объектами на протяжении дискурса, выделение в качестве «топиков» высказывания «достойных упоминания» (topic-worthy) и т. п. Но если указанные авторы упрекали Т. Гивона за известную неопределенность фактора временной стабильности (например, в каком именно интервале времени она должна проявляться), то такой же упрек можно высказать и в их адрес: ведь остается не вполне ясным и достаточно субъективным, какие именно объекты и почему должны быть, с одной стороны, манипулируемыми, а, с другой, — стоящими упоминания. Не вызывает в то же время сомнения тот факт, что многие из прототипических характеристик, названных этими авторами, уточнены впервые.

Наиболее развернутую и оригинальную трактовку ЧР с позиций когнитивизма предложил в конце 80-х — начале 90-х гг., несомненно, Р. Лангакр (правильнее было бы транслитерировать его фамилию как Ленекер, но мы придерживаемся уже имеющейся традиции). Он указывает, что если собственно семантические определения ЧР действительно вряд ли возможны, прототипические характеристики дать глаголу и существительному достаточно реально [Langacker 1991: 60]. Такую характеристику предлагает и он сам. И все же главная заслуга в описании рассматриваемых категорий связана у Лангакра с тем, что усматривая за каждым языковым выражением и каждой языковой единицей концептуальную структуру, а также правильно полагая, что каждая из них соответствует тому, как было осмыслено обозначаемое человеком, он одновременно подчеркивает важность собственно лингвистического представления этого обозначаемого, той формы, в которой оно объективируется в языке. Различие языковых форм в передаче близкого содержания неизменно свидетельствует о том, что само это содержание репрезентируется с разными нюансами, а в конечном итоге — возбуждает разные

образы обозначаемого при его назывании. Каждый языковой знак и/или выражение накладывают свой отпечаток на возбуждаемые ими представления и являют собой результат когнитивной обработки информации или опыта.

В лексике и грамматике подчеркивается образный характер свойственных им единиц, выступающих как отражение чувственного, перцептуального и наглядного опыта человека в первую очередь. Наиболее очевиден вклад грамматики в то, что можно было бы назвать конструированием с помощью языковых знаков определенной ситуации, или сцены, т. е. систему обозначений подобных ситуаций с их участниками и прочими деталями. Грамматика обеспечивает говорящих инвентарем средств для подобного обозначения, обладая для этого не только определенным набором готовых единиц (номинации), но и разного рода схемами, моделями сборки более простых единиц в более сложные и т. п. Помимо знаков в грамматике могут быть поэтому выделены схемы или структуры объединения единиц в комплексные единицы, и цель грамматического описания заключается тогда в том, чтобы показать, какими типами схем располагает данный язык и каково их реальное поведение в тексте [Langacker 1991: 12 и сл.].

Так, например, существительное — это знаковая структура, служащая обозначению концепта «вещь» в его специальном смысле, а смысл этот может быть продемонстрирован лишь на достаточно высоком уровне абстракции, а, следовательно, лишь схематически. Концептуальное описание возможно отнюдь не для всех классов слов (например, сильные глаголы германских языков такому описанию не поддаются), зато части речи — во всяком случае, такие, как существительное и глагол, могут быть охарактеризованы концептуально. Когнитивная грамматика Р. Лангакра и предлагает такое описание, причем свою новизну автор усматривает именно в том, что наряду с указанием на прототипические характеристики названных ЧР, которые могут разделяться отнюдь не всеми членами соответствующих категорий, он предлагает такие общие схемы их концептуальной организации, которые разделяются **каждым** членом своей категории. Из каких концептов складываются подобные схемы, по мнению Лангакра, мы рассмотрим ниже, при анализе отдельных ЧР.

\*                      \*

\*                      \*

Уже после того, как были написаны предыдущие части и главы книги и сформирована развиваемая в ней концепция ЧР, два полученных мною гранта дали мне возможность ознакомиться в библиотеках Финляндии (Хельсинки) и Германии (Потсдам, Берлин, Маннгейм) с новейшей литературой по вопросу, и я пришла к выводу о необходимости дополнить книгу новыми материалами, вводящими в рассмотрение универсальный и типологический аспект проблемы. Это дало мне также возможность внести некоторые коррективы в заключительные главы

книги, особенно касающиеся обзора существующих взглядов на природу и сущность ЧР.

Знакомство с новой зарубежной литературой позволило мне убедиться в том, что проблема ЧР вновь вернулась на страницы специальных изданий и что ей посвятили свои публикации многие видные ученые и исследователи. Так, в журнале «Language» отмечается в 1992 г., что «отношение между понятийными и синтаксическими категориями являются в настоящее время главной темой исследования в изучении языка (a major topic of investigation)» [Language, 1992, vol. 68, № 3, p. 485]. Это знакомство позволило мне также выделить в особую главу анализ ЧР в том виде, в каком он осуществляется в рамках генеративной (универсальной) грамматики, чтобы довести до сведения моих читателей данные, почерпнутые из этой менее знакомой для них литературы. Это позволило мне, наконец, существенно расширить материал о противопоставлении имен и глаголов в типологической грамматике по сравнению с тем, что было мной описано ранее (см. [Кубрякова 1990: 29–50]) и, следовательно, найти новые аргументы в защиту указанного противопоставления как организующего всю систему частей речи. Думается также, что все это вместе взятое дало мне основания предложить далее не только критический обзор литературы последнего десятилетия, но и более полную характеристику как всей системы ЧР в общем плане, так и таких ее главных составляющих, какими являются отдельные знаменательные ЧР.

После первой публикации «Частей речи...» вышло несколько интересных работ, продолжающих эту же тематику (А. Л. Шарандина, В. А. Гуреева, П. Фогель и нек. др.), и я надеюсь, что сумею вернуться к ним в дальнейшем, жалея, что не имею возможности это сделать здесь.

### *Глава третья*

## **ЧАСТИ РЕЧИ В ГЕНЕРАТИВНОЙ (УНИВЕРСАЛЬНОЙ) И ЭМЕРДЖЕНТНОЙ ГРАММАТИКАХ**

Все развитие генеративной грамматики (далее — ГГ) было тесно связано со становлением и развитием когнитивной науки: не случайно, что поворотные пункты той и другой нередко совпадали и оказывали друг на друга свое заметное влияние. Первые этапы существования ГГ Н. Хомский связывает с когнитивной революцией 60-х гг., т. е. со временем, которое многие ученые называли хомскианской революцией; совершенно новый этап развития ГГ начинается ко времени осуществления второй когнитивной революции, — к началу 80-х гг. (ср. [Chomsky 1991; The Chomskyan Turn... 1991; Кубрякова 1995]). К этому времени когнитивная наука уже приобретает характер науки со сложившейся областью использования и собственными установками и целями. Именно в пределах этой новой науки о человеческом разуме и процессах познания мира, о когнитивных способностях и интеллекте человека перед лингвистикой тоже возникают особые проблемы, связанные с феноменом владения языком и использованием языковых знаний, а также ролью языка во всех мыслительных или ментальных процессах. Становится более ясным и вопрос о том, что значит изучать с когнитивной точки зрения то или иное когнитивное явление, ибо перед лингвистикой как когнитивно ориентированной наукой ставятся в настоящее время три главных проблемы: о природе языкового знания, о его усвоении и, наконец, о том, как его используют (см. также выше, предисловие).

Естественно, что поставленные в таком общем плане, эти проблемы, особенно первая, ведут к попыткам установить некие главные принципы в организации языка и приблизиться к пониманию черт его универсального устройства. ГГ приобретает все больше характер грамматики универсальной, фиксирующей то, без чего не может обойтись ни один естественный язык (ср. [Chomsky 1991: 8–10, 14, 20]).

Характеризуя главные тенденции современной лингвистической мысли в области грамматики и признавая существование наряду с ГГ конкурирующих с нею

грамматических моделей, составители известного сборника о лингвистических теориях и грамматическом описании языков Ф. Дросте и Дж. Джозефу указывали в начале 90-х гг., что среди таких тенденций, сближающих ГГ с альтернативными теориями, следует назвать прежде всего стремление к универсализму, а также выраженный ментализм и дедуктивизм современных построений [Droste, Joseph 1991]. Ярко выражены эти черты и в современной ГГ, претерпевшей радикальные изменения и направленной теперь главным образом на выдвижение гипотез о том, что же представляет собой **универсальная грамматика** (ср., например, [Chomsky 1976: 29; 1991: 15]; см. также монографию Вивиан Кук с изложением основ универсальной грамматики Н. Хомского и всей истории вопроса [Cook 1988]).

Оставляя в стороне многие технические детали этой универсальной грамматики (далее – УГ), мы бы хотели подчеркнуть в ней только одно – выдвижение в качестве синтаксических примитивов этой теории представление о **частях речи** (ср. [Newmeyer 1992: 783]). Как отмечают многие представители ГГ, в эволюции генеративной теории наблюдалась все большая лексикализация грамматики, т. е. уверенность в том, что лексика играет гораздо большую роль в построении правильно оформленных синтаксических конструкций, чем то предполагалось ранее. Следствием этого оказалось то, что категориям отдельных ЧР стали отводить центральное место в строении синтаксической системы или синтаксического модуля (см. [Harlow, Vincent 1988: 9; Andrews 1988: 62] и др.). Как четко сформулировал М. Бирвиш, лексические единицы – это особым образом структурированные сущности, чьи возможные функции в строении единиц более высокого уровня предопределены их категориальной принадлежностью [Bierwisch 1983: 131]. Вопрос о том, как определяется подобная категориальная (частеречная) отнесенность слова, какие свойства единицы она фактически отражает и т. п., становится центральным для всей генеративной теории и той универсальной грамматики, основы которой эта теория пытается обнаружить. Сведения о ЧР становятся тем самым главным компонентом в системе данных о каждой лексической единице и, соответственно, они должны быть приведены при каждой единице в специальном словаре.

Начало процесса лексикализации ГГ тоже связывается с именем Н. Хомского и его знаменитой работой, посвященной номинализациям, где он впервые обратил внимание своих последователей на те мощные лексические ограничения, которые налагаются на действия многих деривационных правил, а, значит, и на необходимость учесть эти ограничения при описании грамматики [Chomsky 1970]. Здесь же им была выдвинута идея о том, что и эти ограничения надо попытаться отразить в более общем виде (т. е. не как индивидуальные ограничения отдельных лексем), выделив те семантические (концептуальные) и формальные признаки лексем, которые детерминируют то или иное их поведение в составе высказываний.

Таким образом, идея представления свойств лексической единицы в виде **пучка признаков**, определяющих затем правила ее лексического вхождения в синтаксическое целое, была выдвинута уже в середине 70-х гг., и она знаменовала собой возвращение к традиционным понятиям грамматики — понятиям ЧР, которым, однако, надлежало дать более строгое и — в соответствии с канонами ГГ формальное определение. Интересно в связи с этим рассмотреть, как менялись представления о сути этого формального определения и какой конкретный смысл с ним ассоциировался.

Поскольку порождение предложения и приписывание ему синтаксической схемы при его восприятии описывались формулой  $S \rightarrow NP + VP$ : предложение складывается из именной и глагольной фраз, символы  $N$  и  $V$  означали прежде всего те **позиции**, которые могли занимать существительное и глагол в предложении и в составе организуемых ими фраз (см. [Andrews 1988: 62]). Дальнейшее развитие теории происходило, однако, за счет уточнения тех свойств, которые связывались с символами и были вызваны отношением лексической единицы к классу  $N$  или  $V$  и которые должны были разъяснить принципы реализации  $X_n$  в той или иной «степени» ( $n$ ). Эту часть теории ГГ и обозначили термином *X-bar syntax*, т. е. чем-то вроде «степенного» или «ступенчатого» синтаксиса, так как порождение каждой нижестоящей единицы данной категории описывалось деревом



где  $X_n$  означает фразу,  $X_{n-1}$  — ее конкретную вершину. Все фразы порождаются правилом  $X_n \rightarrow \dots X_{n-1}$ , т. е. каждая фраза порождается соответственно включением в нее слова с особой категориальной приметой —  $N$ ,  $V$ ,  $A$  или  $P$ , благодаря чему они и делятся на именные, глагольные, атрибутивные и предложные, наследуя свойства своей вершины (*head*).

Чтобы очертить диапазон действия каждой ЧР, недостаточно, однако, указать только на то свойство, которым она обладает и которое она передает «своей фразе», выступая ее вершиной. Существование каждой ЧР как **пучка признаков** оправдано тем, какие ограничения на построение фразы она вводит, т. е. проще говоря, связано с тем, какие значения, функции и т. п. она выразить не может. Глаголу, например, дается запись  $[+V, -N]$ , так как его включение во фразу ведет не только к появлению глагольной фразы, но и исключает присутствие в глаголе какого бы то ни было следа субстантивности.

Как отмечала К. Чвани, «четыре признака  $[\pm V]$  и  $[\pm N]$  достаточно для разграничения главных лексических категорий — при том, что существительные характеризуются набором  $[-V, +N]$ , глаголы — набором  $[+V, -N]$ , краткие прилагательные — набором  $[+V, +N]$ , а прилагательные — набором  $[-V, +N]$ ».

тельные — набором [+V, +N]; эта последняя характеристика отражает и глагольные, и именные свойства кратких прилагательных...; наречия и прочие элементы определяют негативно, набором [-V, -N]» [Чвани 1985: 78–79].

С помощью выделенных признаков описываются одинаковые синтаксические свойства разных категорий: так, признак [-N] присущ глаголам и предлогам, указывая на то, что обе категории требуют после них особой падежной формы, но сами падежных форм не принимают (ср. [Keller, Leuninger 1991: 84]).

Очевидно, однако, что разрыва с традиционной грамматикой здесь еще не наступает, поскольку сами признаки «глагольности» или «субстантивности» еще не отличаются кардинально от того, что связывалось с ними ранее. Вместе с тем уже с середины 70-х гг. намечаются разные линии в исследовании ЧР, связанные со стремлением дать им формальное определение.

Одна из первых попыток такого рода принадлежала Л. Бэбби. Указывая, что большинство исследований ЧР было до сих пор посвящено их поверхностным реализациям, он считал, что им можно дать определение и «на глубине». Так, существительное, N — это языковая форма, которая реализуется в поверхностном высказывании как особая **падежная** форма (передающая значение **падежа** в широком смысле этого термина), глагол же, V — это языковая форма, так или иначе согласуемая с N, с подлежащим. Соответственно, краткая форма прилагательных — это тоже «глагол» (ведь она тоже согласуется с N!), только с признаком [+A], а личная форма глагола — с признаком [-A], поэтому для всего класса прилагательных лучше всего подходит запись [+V, +A]. Приводя эти рассуждения, Л. Бэбби замечает, тем не менее, что «у лингвистов нет пока единого мнения относительно точной природы этого признака» [Бэбби 1985: 200]. Все, что он делает, сводится, таким образом, к признанию того факта, что с существительными сопряжена идея выражения **падежа**, т. е. определенная грамматическая категория, а с глаголом — другая (согласовательная). Ясно, что в понимании ЧР это вносит мало что нового. Лишь дальнейшее развитие идеи связанности существительного и той именной фразы, вершиной которой является существительное, с построением **аргументов** в пропозиции, ведет к более эффективным процедурам опознания N, но такой «прорыв» происходит позднее, к середине 80-х гг.

Более четкая позиция в определении ЧР связывается с именем Р. Джекендоффа, уже с конца 70-х развивающего концепцию иерархического синтаксиса (X-bar Syntax), о которой мы говорили выше и в которой смысл отдельных ЧР получает более полное истолкование. По окончательной версии этой концепции, основные категории различаются по тому, разрешают ли они 1) поддержку (support) субъекта предложения ( $\pm$ ), а также по тому, 2) способна ли вершина фразы дополняться какими-либо «расширителями» (complements) ( $\pm$ ). Тогда ЧР можно расположить в следующей матрице:

	1	2
V	+	+
N	±	+
A	–	±
P	–	+

(см. также: [Pustejovsky 1993: 122–123]).

Как пишет сам Р. Джекендофф, основания X-bar синтаксиса заключаются в том, что категория синтаксической фразы (как части предложения) определяется лексической (частеречной) категорией ее вершины, а все главные лексические категории могут также выступать в составе сопровождающих к этим вершинам; лишь некоторые категории могут поддерживать субъекты высказывания (N и V), тогда как другие оказываются вершинами объектных конструкций (глаголы и предлоги), но каждая категория сама характеризуется как аргументно-функциональная категория, т. е. в ее записи указывается отношение и к ее способности формировать аргументы, и к способности обозначать некую функцию ([Jackendoff 1993: 17–18]; ср. также [Jackendoff 1990: 400] и др.).

Подобная концепция — с теми или иными незначительными модификациями — входит теперь в основания синтаксической теории (ср., например, [Stechow, Sternefeld 1988: 144–149; Emonds 1985; Cook 1988 и др.]). Отмечая, что уже традиционный анализ категории ЧР отнюдь не являлся ошибочным и что именно он породил представления о том, как должны «выглядеть» N, V и т. д. [Sasse 1992], современные генеративисты полагают, однако, что наши сегодняшние представления о них более точны, так как в них инкорпорирована идея о ЧР как **пучка признаков**, предложенная Н. Хомским [Stechow, Sternefeld 1988: 144].

Уточняя природу этих признаков, эти авторы указывают на то, что признак [+N] означает способность лексической категории служить **референции фразы**, а признак [+V] — служить выражению ее **функции**. Глагол, соответственно, следует рассматривать как такую вершину фразы, в задачу которой входит фиксация определенной функции, приписываемой тем индивидуальным сущностям, которые уже опознаны [+N] и которые входят с [+V] в одну пропозицию. Поскольку прилагательные могут себя вести двояко, т. е. выполнять в составе атрибутивных фраз одну роль, а в составе предиката — другую, функциональную, им должна быть приписана структура [+V, +N]. В то же время знаки + и – указывают не только на присутствие или же отсутствие названных черт, но скорее на то, специфицирована ли (т. е. маркирована ли) этим признаком или нет данная категория. Поэтому существительное — это [+N, –V], глагол, наоборот [+V, –N], а причастие [+V, –N] и т. п. [Там же: 144 и сл.]. Указание на выделенные признаки позволяет увидеть сходство в синтаксическом поведении естественных классов слов и отразить особенности их вхождения в синтаксические правила [Там же: 149].

Важно, что выделением указанных признаков в УГ достигалась возможность констатировать и способность слов строить определенную структуру как часть высказывания, и ее функции относительно высказывания в целом, т. е. строительные особенности слов, понятые в двух разных аспектах: по отношению к «соседям», партнерам в одной фразе; по отношению к предложению, в котором, по меткому выражению Д. Болинджера, всегда должен существовать и быть построенным «формальный барьер между двумя частями пропозиции» [Bolinger 1975: 142 и сл.]. Первое приводит к уточнению статуса ЧР в их синтаксических конструкциях, второе — в структурах «топик — коммент» или «аргумент — функция». Отсюда — все новые концепции ЧР в современных грамматических учениях.

Интересно отметить, что целый ряд концепций, в целом выдержанных в духе ГТ, на самом деле вводят в понимание ЧР и некоторые концептуальные моменты. Так, например, в работе Г. Хамана, цель которого заключается в том, чтобы найти место в системе ЧР прилагательным, он подчеркивает, что их выделение имеет разносторонний характер, т. е. происходит по нескольким основаниям одновременно. Так, существительные обозначают естественные классы вещей, а прилагательные — их свойства, причем если даже считать, что вещи существуют как наборы свойств, прилагательные все равно отличаются в этом отношении от существительных, ибо фиксируют какое-либо одно свойство. С существительными ассоциируются такие вещи, набор признаков которых закреплен за ними довольно жестко, свойства же, обозначенные прилагательными и выделяющие один параметр какого-либо измерения, не жестки (ср. *высокий* и *низкий*, *широкий* и *узкий*, *большой* и *маленький* и т. д.). Отличаются прилагательные и от глаголов, которые тоже фиксируют признаки вещей, но признаки другой природы — динамические, процессуальные, обозначающие отношение ко времени и протекание во времени. Вот почему даже тогда, когда указанные ЧР участвуют в построении **предиката**, они образуют предикаты разного типа. Так, если Джону приписывается признак «бежит», это значит, что обозначенная им разновидность движения протекает во времени и что у такого признака нет никакой «вещности», «субстанциональности», благодаря чему его можно записать формулой [+V, -N].

Если же Джону приписывается признак «мальчик», то этим указывается сразу на обладание определенной совокупностью достаточно стабильных свойств — невзрослости, принадлежности к определенному полу и т. д.; такой набор признаков именуется существительным и получает запись [+N, -V]. Наконец, если приписать Джону свойство «музыкальный» (*Джон очень музыкален*), это значит, что указывают на достаточно стабильный и притом один-единственный признак. По этой же логике предлогам может быть приписана формула [-V, -N], ибо они не передают ни одного из выделенных прежде признаков, они характеризуются негативно, их отсутствием (см. [Hamann 1991: 657–660]).

Мы специально остановились на подробном изложении этих вполне убедительных взглядов, чтобы показать, что за постулируемым здесь формальным раз-

личием (в построении предикатов) стоят фактически разные когнитивные обоснования, которым можно дать вполне ясную интерпретацию.

Когда в этой ситуации генеративисты продолжают настаивать на том, что они вводят в УГ чисто синтаксическую категоризацию классов слов, с ними можно согласиться лишь с существенными оговорками. Особый интерес представляет с этой точки зрения тот анализ концепции генеративистов, который содержится в работе замечательного типолога и грамматиста В. Крофта [Croft 1991] и который связан с рассмотрением взглядов на природу ЧР у другого известного типолога — П. Шахтера [Schachter 1985]. Единственную возможность осуществить типологически релевантную классификацию слов по ЧР Шахтер усматривает в грамматическом их поведении: критерии такого поведения связаны, по его мнению, с распределением слов внутри предложения, способностью подвергаться тем или иным словоизменительным процессам и, наконец, выполнять определенную синтаксическую функцию [Schachter 1985: 3]. Но обращение к морфологическим критериям ведет, как это хорошо известно, к исключительным трудностям в понимании категории: если два языка демонстрируют расхождения в словоизменительных категориях, маркирующих поведение слов одного класса, как можем мы быть уверенными, что такие классы слов «одно и то же»? Почему для целого ряда случаев существенное различие в поведении разных классов слов (например, переходных и непереходных глаголов) не считается достаточным для признания их разными ЧР?

Малоубедительным представляется Крофту и использование для классификации слов синтаксических признаков  $[-V]$  и  $[-N]$ . При использовании существительных и глаголов в их главных функциях перечисленные признаки в общем правильно отражают положение дел, но для характеристики их употребления в других, вторичных функциях и для характеристики прочих классов слов (*adpositions*) это мало что дает. Однако именно в этом отношении типологические различия очень существенны, а сами выделяемые классы слов (особенно — закрытые) вряд ли носят универсальный характер [Croft 1991: 41–42]. Таким образом, предложение работать с четырьмя синтаксическими признаками и четырьмя ЧР (существительным, глаголом, прилагательным и предлогом) обречено на неудачу уже по чисто эмпирическим соображениям. Нельзя ли, однако, усовершенствовать синтаксическую концепцию ЧР за счет расширения круга используемых в классификации слов синтаксических признаков? — Подобной наиболее удачной и полной попыткой синтаксической категоризации слов является та, которая принадлежит Ильзе Циммерманн.

Отмечая, что в рамках современной версии ГГ синтаксис понимается как автономный модуль, ответственный за синтаксическую категоризацию и синтаксические конфигурации слов, она также указывает, что здесь каждая синтаксическая единица категоризируется как определенный пучок признаков со спецификацией того, как проецируются в синтаксические конструкции лексические вер-

шины, обладающие тем или иным набором указанных признаков. Полагают, что набор таких признаков является универсальным, хотя в перечислении этих признаков следуют номенклатуре традиционной грамматики, т. е. отдают ей дань, называя эти признаки V, N, A и т. п. В описании признаков учитывается не только их доля в построении синтаксической конструкции, но и, по возможности, те корреляции, которые складываются обычно в разных языках между синтаксисом и семантикой единиц, а также те роли, которые играют эти признаки в морфологических процессах. Вдобавок к существующему списку признаков И. Циммерман считает необходимым добавить признаки детерминатива (D), наречия (Adv), квантификатора (Quantifier – Q) и союза (Conjunction – C) с тем, чтобы отразить большую дифференцированность классов слов, а также связанную с нею специфическую морфо-синтаксическую комбинированность признаков и, следовательно, комбинаторные особенности классов слов [Zimmermann 1987: 864 и сл.]. Учитывая отношения кардинальных классов слов к категориям, дополнительно ею введенным, можно прийти к большему числу классов, чем фиксировалось обычно традиционной грамматикой в качестве отдельных частей или частиц речи, ибо наряду с ними можно выделить в самостоятельные классы слов атрибутивные причастия или же существительные с адъективной системой словоизменения, числительные и т. п. Особо оговаривается здесь необходимость выделения такого класса адъективных слов, которые находятся между прилагательными и причастиями и нуждаются в немецком языке в пометах [+V, +A, +Det]. Особо выделяется в этой классификации и класс кванторов, который может получить запись [+Det, +Q, +N, +A], означающую, что слова типа нем. *jeder* «каждый» или *einige* «отдельные» могут употребляться как детерминативы (*jedes Kind* «каждый ребенок»), как кванторы («каждый из присутствующих»), как существительные («каждый знает») или же как прилагательные (*einige Bemerkungen* «отдельные замечания»). Тем самым в записи указаны синтаксические признаки, которые, с одной стороны, сближают кванторы с другими ЧР, но которые в своей совокупности, с другой стороны, характеризуют этот класс как уникальный.

Разумеется, для хорошо изученного языка подобная классификация *post factum* вполне осуществима и напоминает выделение классов слов по дистрибутивным признакам. Для того, чтобы ее осуществить в незнакомом языке, надо, однако, знать, что значит быть существительным или предикатом и предпослать самой классификации процедуры отождествления этих единиц, что опять-таки наталкивается на проблему критериев ЧР. Так, в немецком языке признак [+N] может трактоваться как указание на то, что соответствующая форма склоняется, но уже в английском языке тот же признак интерпретируется исключительно как указание на способность служить строению аргументов при глаголе.

Как правильно указывает сам автор, предлагаемая система позволяет достаточно полно описать проекционные способности лексических единиц, а это значит, что выдвинутые предложения полностью укладываются в так называемую

лексикалистскую гипотезу, согласно которой синтаксическая структура рассматривается как предопределяемая категоризацией лексических единиц и их комбинаторными свойствами, в числе которых в отличие от более привычных версий ГГ учитываются не только их способности выступать в виде организующих вершины главных составляющих предложения или некие «комплементы» (complements) к ним, но разного рода уточнители (квантификаторы, детерминативы, модификаторы). Хотя этой теорией диктуется выделение большего числа классов слов, нежели в традиционной грамматике, названия признаков в целом кажутся достаточно традиционными, да и значения их устанавливаются отнюдь не формально. Вместе с тем классификация логична, отличается полнотой и адекватностью языковому материалу разных языков, что и позволяет оценить эту концепцию весьма высоко.

И все же обычные вопросы о сути ЧР возникают и здесь: что, например, означает запись для глагола [+V, -A, -N, -Adv]? Что он не является ни именем, ни наречием, ни прилагательным? Что он способен выступать вершиной глагольной фразы? Но ведь это достаточно тавтологическое определение. Если же считать, что признак [+V] означает способность являться предикатом, то и всем другим ЧР должны быть даны функциональные определения, и мы возвращаемся снова к вопросу о том, каковы они конкретно. К тому же получается, например, что глагол обладает одним-единственным позитивным маркером и тремя негативными. Но ведь такое определение эффективно только в том случае, если исключить из состава глагольных форм причастия и деепричастия, герундии и супины и т. п., что разбивает общие представления о системе глагольных форм. К тому же интуитивно кажется, что негативные признаки не обладают такой же психолингвистической реальностью, как позитивные, глагол же исключительно «реален» (ср. данные об онтогенезе речи) и обладает для говорящего своим набором (т. е. конкретным для каждого языка) конституирующих его черт — он связан с протеканием во времени, изменяется по лицам и числам, обозначает действия и пр.

Утверждая это, мы тут же ставим под сомнение строгую универсальность черт глагола, т. е. наводим читателя на мысль о том, что наличие таких свойств у слова, которые причисляют его к глаголам и которые входят в некий универсальный набор, не исключает того, что к этому набору в конкретном языке добавляются весьма важные характеристики (например, возможность спрягаться и развивать *n*-е количество морфологических форм) или что, напротив, при сохранении черт «фамильного сходства» с универсальным глаголом (эталонным глаголом) некоторые черты исчезают или не представлены вовсе.

Если каждая языковая единица должна иметь в ментальном лексиконе свою собственную ментальную репрезентацию, а класс единиц, по определению, характеризоваться наличием общих черт у подобных ментальных репрезентаций, нужно (для того, чтобы утверждать психологическую реальность этих единиц)

ответить и на вопрос о том, какое **содержание** стоит за этими репрезентациями. Ведь стоят же они **вместо** чего-то и в этом смысле содержательны!

Нет, ни одна полностью формализованная теория языковых единиц не прояснит их природы, да и фундаментальное требование КН — приравнять языковое значение к концептуальной структуре — означает, что двусторонним единицам языка (а слова и категории, в которые они входят — двусторонни) необходимо дать концептуальное, содержательное истолкование. И ни трудность такого истолкования, ни динамичность самих концептуальных структур (т. е. отсутствие у них жестких и раз и навсегда закрепленных за ними значений) не могут быть доводами против того, чтобы в случаях наличия определенных корреляций между функциями, значениями и формами языковых единиц отказаться от поисков этих корреляций и их описания.

Характеризуя УГ 80-х гг. как модулярную теорию, указывают, что согласно этой теории сложные структуры должны быть описаны модулярно, т. е. проще говоря, им должны быть приписаны признаки разных модулей (уровней). Парадоксальность такой ситуации заключается в том, что признается сводимость сложных структур к простым: так, фактическое разнообразие языков свидетельствует об исключительной сложности реального положения дел, а теоретические устремления к универсальной грамматике — о том, что это разнообразие может быть в общих чертах сведено к чему-то более простому. Но что означает этот постулат применительно к частям речи? — По всей видимости, что и эти единицы, должны быть определены модулярно, через набор достаточно простых признаков (ср. [Rauch 1991: 7 и сл.]), но тогда возникает вопрос — а **все ли** модули, функционирующие с использованием слов и частей речи, **вошли в определение частей речи?**

Отвечая на этот вопрос, сама Г. Раух критикует принятые в ГГ определения ЧР за то, что они учитывают только «степенной синтаксис» (X-bar Syntax) и не учитывают таких других модулей, как падежный модуль управления и связывания и т. п. Она справедливо заключает, что подобное определение ЧР в рамках ГГ **недостаточно** [Rauch 1991: 8], ибо оно оставляет без внимания другие ингерентные признаки ЧР. В то же время она подчеркивает, что модулярная теория позволяет отразить гетерогенность традиционных грамматических категорий и дать представление о ней, умножая число признаков, входящих в набор свойств, характеризующих определенную категорию. Сама она пытается это сделать, обращаясь к категории предлогов и вводя в их описание «падежный модуль» (в специальной терминологии ГГ он именуется модулем, ответственным за приписывание тета-ролей соответствующим единицам). Фактически же она пытается совместить свойства функциональные (способность выступать в качестве вершины определенной синтаксической фразы) с лексическими и тем самым отразить гетерогенное поведение предложных групп.

В ответ на критические упреки Г. Раух можно было бы, конечно, сказать, что запись лексической единицы, включающая сведения о ее фонологических, категориальных, падежных и пр. свойствах, конечно же, представляет собой запись **модулярную**, и что в идеале здесь и стремятся дать представление о всех важнейших свойствах лексической единицы, предопределяющих ее поведение в будущей синтаксической конструкции, — ее проекционные свойства. Следует признать одновременно, что в наши задачи входит **уточнение реального содержания и смысла той части записи, которая фиксирует категориальную принадлежность слова**, т. е. содержания и смысла тех самых N, A, V и пр., на которых, собственно, и держится вся лексическая и грамматическая система языка.

Дойдя до этого места в наших рассуждениях, мы бы и хотели вернуться еще раз к обсуждению дискурсивной теории ЧР, но теперь подойти к ней с иных позиций. Ведь выше мы утверждаем, что знание слова предполагает знание его категориальной принадлежности и что, таким образом, знание о части речи слова входит ингерентной частью в его ментальную репрезентацию. Настаивая на этом постулате и в этом смысле разделяя идеи представления каждой лексической единицы в специальном словаре в виде набора определенных сведений о ее фонологическом, морфологическом и синтаксическом поведении, мы полагаем тем самым, естественно, что среди этих сведений детерминирующими оказываются сведения о том, в какую форму «влито» лексическое содержание единицы. Именно это — способ представления лексического содержания через **конкретную часть речи** — и составляет, на наш взгляд, детерминирующее свойство слова. Его оно **не может** приобрести в дискурсе, оно им **обладает**. В этом пункте мы принципиально расходимся с представителями эмерджентной (появляющейся, складывающейся) грамматики и теми, кто с точки зрения этой грамматики выдвигает и защищает идеи дискурсивной теории ЧР.

Уже в 1991 г., рассматривая теорию эмерджентной грамматики, мы писали о том, что часть ее утверждений нуждается в уточнении, поскольку этой теорией отрицается существование в голове говорящего определенной целостной структуры языкового знания, а также остается без ответа вопрос о том, «откуда именно “отбирает” говорящий необходимые ему строевые элементы и в каком виде представлены они в его сознании» [Кубрякова 1991: 12–13].

Мы были рады убедиться в том, что те же вопросы ставит П. Хоппер и С. Томпсон и один из ведущих генеративистов и методологов науки в США Фредерик Ньюмейер и что критика эмерджентной грамматики ведется им с тех же позиций [Newmeyer 1992]. Рассмотрим взгляды Ф. Ньюмейера более подробно.

Основное, что делает теория Хоппера—Томпсон, касается понимания грамматики как определенной организации хранения ментальных репрезентаций, ибо именно вместо этого предлагается идея обеспечения говорящих некими стратегиями сборки и комбинации новых структур из определенных хранящихся в памяти «полуфабрикатов» (идиом, фигур речи, застывших оборотов, готовых клише

и т. д.). Говорение и порождение речи — это скорее некое «воспоминание» подготавливающего готового материала и извлечения таких кусочков лингвистического материала из памяти. Эту идею они иллюстрируют прежде всего на материале лексических категорий N, V и т. п., которые, по их мнению, не столько даны в этом виде в ментальном лексиконе (они не принадлежат набору данных в нем полуфабрикатов), сколько «создаются» с соответствующими синтаксическими свойствами в дискурсе. То, что обычно называют N и V, соответствует **появляющимся лишь в дискурсе** функциям слов. Такими функциями, складывающимися в дискурсе (emergent — эмерджентными), должны быть, с одной стороны, обозначения манипулируемых объектов (партиципантов ситуации), а с другой, — обозначения происходящих событий. Для выполнения первых из этих функций слова маркируются одними показателями, а для выполнения вторых — другими, в связи с чем слова **становятся** существительными в первом случае и **глаголами** — во втором.

Так, например, в предложении *We went bear-trapping in the woods* 'Мы отправились на охоту на медведей в лесу' слово *bear* 'медведь' не приобретает всех морфологических показателей существительного английского языка, поскольку не обозначает «манипулируемого партиципанта», тогда как в предложении *We looked up and saw three old bears* 'Мы взглянули и увидели трех старых медведей', напротив, слово снабжено этими показателями (и, значит, становится «полнокровным» существительным), поскольку обозначает таких партиципантов события.

Из всего этого Хоппер и Томпсон делают вывод о том, что лингвистические формы надо рассматривать как лишённые категориальной определенности до тех пор, пока она не будет навязана им исполняемыми ими дискурсивными функциями (см., например, [Hopper, Thompson 1984: 747]).

Но куда может привести такая теория на практике? — Задавая этот вопрос, Ф. Ньюмейер [Newmeyer 1992: 779–780 и сл.] подчеркивает, что вопрос этот равносителен вопросу о том, что именно входит в предварительное знание говорящего и в чем конкретно оно заключается — в знаниях отдельных кусочков предыдущего опыта? Знаниях целостных и нечленимых отрезков речи? Но как тогда они могут быть переструктурированы, разбиты на части? Как говорящий узнает о том, что для существительного необходима форма ед. или мн. ч.? — Гипотеза Хоппера и Томпсон все равно предполагает хранение какого-то знания о языке и о представленных в нем формах, имплицитно мыслит о том, что такое знание никак не систематизировано и неструктурировано и в общем **несвязно**. Но подобное видение языкового знания противоречит наблюдаемым фактам и никак не может объяснить принципов овладения языком (ведь с точки зрения эмерджентной грамматики следовало бы считать, что усвоение языка заключается в постепенном накоплении вводимых через речевую деятельность конкретных данных, что, конечно, не так).

Ведь нам не кажется странной мысль о том, что для исполнения музыкального произведения надо уметь играть на инструменте, или даже идея о том, что для

приготовления пищи надо знать рецепт этого приготовления; почему же «неестественна» идея о том, что чтобы говорить на языке, надо каким-то образом знать, как это делается?

Можно целую жизнь изучать тексты на языке и проводить текстовый анализ, но так и не понять исключительно важных фактов о языке (например, суждений о близости и синонимии одних предложений, связанности других и т. п.). Полагаться на одни факты использования языка в лингвистическом анализе невозможно, именно поэтому каким бы ни было важным исследование дискурсивных особенностей языка, его одного для адекватного построения теории языка недостаточно [Newmeyer 1992: 783].

Что же касается знания языка и его составляющих, нет сомнений в том, что один из компонентов его строения включает знания о синтаксических примитивах, какими являются N, V, NP, VP и т. д. Никто не может отрицать того факта, что, как правильно утверждают многие исследователи, эти категории прототипически выполняют определенные семантические и дискурсивные функции. Но если мы зададимся вопросом о том, могут ли они быть порождены с помощью какого-либо формального алгоритма, который описал бы переход от неких экстралингвистических функций к их языковой объективации, ответ должен быть скорее всего отрицательным [Там же: 785–786].

Таким образом, теория автономного синтаксиса (синтаксиса — как отдельного, независимого от других модулей, модуля языка) ведет и к признанию синтаксических категорий как сущностей «собственно языковых» и независимых от того, что эти категории концептуализируют. В этом, собственно, и заключается формальная теория грамматики. Однако, у нас есть все основания с этим постулатом ГГ не согласиться. Язык был создан для того, чтобы передавать информацию о мире и адекватным образом оперировать со всей информацией о мире, репрезентированной в голове человека. В его сущностные, в его конституирующие характеристики входили и входят выполняемые им функции. Язык категоризирует и концептуализирует мир в соответствии с тем, как человек воспринимает действительность, а также с тем, как он концептуализировал окружающий его мир еще на доязыковом уровне. Когнитивный взгляд на природу естественного языка заставляет признать не только сам факт ментальной репрезентации мира в сознании человека, но и факт **упорядоченности** этой репрезентации, наличия в ней организующих принципов в представлении знаний и их существования в форме концептов, содержательных единиц сознания. В генезисе языка первыми рождались именно те языковые формы и единицы, которыми надо было кодировать уже сложившиеся структуры сознания — результаты обработки информации, пришедшей извне и трансформированной в ходе этой обработки. Только в этом мы видим решение проблемы ЧР, понимаемых не только и не столько как строительные элементы автономного синтаксиса, сколько как единицы, служащие кодированию концептуальной системы человека.

Цитируя слова П. Хоппера и С. Томпсон о том, что категории глагола и существительного отнюдь не даны нам априорно, до речи, и что они выступают как таковые только тогда, когда этого требует дискурс [Hopper, Thompson 1984: 747], В. Крофт замечает по этому поводу, что авторы, по существу, стремятся подчеркнуть сказанным, что между синтаксической функцией слова и его лексической семантикой нет постоянных связей. Но приводимые ими примеры никак не могут быть использованы в качестве аргументов в защиту их точки зрения: в приведенных выше примерах о медведях речь идет об одних и тех же обозначениях (т. е. обозначениях, относящихся к одному и тому же объекту — медведю) независимо от того, что категориальное содержание этого понятия подано с разной степенью его определенности. Во всех примерах авторов можно усмотреть не столько утрату словом своих глагольных или же именных свойств, сколько из-за выполнения ими разных синтаксических функций — их меньшую синтаксическую выразительность (поскольку они выступают в составе таких единиц, по отношению к которым не играют своих прототипических синтаксических ролей). Однако утрата категориальной определенности отнюдь не означает утраты лексической специфики слова (ср. рус. *лай собаки* и *не лай, Чарни, так громко!*) и его глагольного или же именного характера [Croft 1991: 48–49].

Определение (Хоппера и Томпсон) глагола и существительного как выполняющих главные дискурсивные функции и противопоставленных только потому, что первый обозначает событие, а второе — участников этого события, возвращает нас, собственно, к семантическому определению ЧР. Описать же, что такое «событие» и что такое «участник события», ничуть не легче, чем описать «предмет» и «действие».

В итоге рассмотрение взглядов представителей эмерджентной грамматики свидетельствует снова о том, что одностороннее освещение одних синтаксических или же дискурсивных функций разных разрядов слов к решению вопроса о статусе ЧР отнюдь не приводит. Адекватная теория ЧР должна в равной степени учитывать как дискурсивные, так и когнитивные или концептуальные аспекты их существования.

Обратимся для разъяснения этой позиции, которую мы уже не раз защищали в разных местах работы в связи с рассмотрением принципов восприятия и принципов номинативной деятельности человека, в связи с обсуждением вопросов о категоризации мира и его «первичной» концептуализации и т. п., к работам Р. И. Павилёниса, как автора, наиболее четко и ясно отразившего современную точку зрения на соотношение языка, мышления и действительности [Павилёнис 1983]. Приведем несколько положений из его работ, в которых хотелось бы подчеркнуть следующие важные соображения:

- 1 — постулат о формировании концептуальной системы в голове человека (в его сознании, интеллекте, мозгу) еще до возникновения языка;

- 2 — постулат о той роли, которую начинает играть язык с момента его собственного формирования для ранее организованной концептуальной системы и ее дальнейшего развития и прогресса;
- 3 — постулат о включении в эту систему репрезентаций языкового характера, что происходит по мере возникновения самого языка, т. е. в результате генезиса языка как особого объекта восприятия, разделяющего с другими объектами то, что делает и язык неким самостоятельным феноменом, подвластным членению, иерархизации, категоризации его системы и т. п. и, наконец;
- 4 — общий вывод всей теории Р. И. Павилёниса об осмысленном характере всей переработанной человеком информации и ее бытии в форме **смыслов**, или концептов, словесная или вербальная объективизация которых может происходить по мере введения естественного языка в качестве кода и может принимать с его развитием самые разные формы (от слова до предложения и целых текстов).

Выделенные постулаты являются, на наш взгляд, вытекающими логически из следующего утверждения Р. И. Павилёниса, с которыми мы полностью согласны (см. [Там же: 101–107]).

«Еще до знакомства с языком, — пишет автор, — человек в определенной степени знакомится с миром, познает его; благодаря известным каналам чувственного восприятия мира он располагает определенной (ложной или истинной) информацией о нем, различает или отождествляет объекты своего познания. Усвоение любой новой информации о мире осуществляется каждым индивидом на базе той, которой он уже располагает. Образующаяся таким образом система информации о мире и есть конструируемая им концептуальная система как система определения представлений человека.

«... Ввиду прикрепленности языковых выражений как кода к определенным фрагментам концептуальной системы» это постепенно приводит к возможности манипулировать содержащимися в ней концептами в отсутствие их экстенционалов и прийти к такой новой информации, «которая неконструируема без языка и которая дает возможность выйти за пределы непосредственного опыта». В этом смысле роль языка — в возможности интерпретировать имеющиеся концепты и строить далее новые концептуальные структуры на основе содержащихся в системе, что происходит в процессе непрерывного и непрекращающегося никогда познания мира со всеми его атрибутами (включая, естественно, и язык).

«... ‘Чувственное’ происхождение образующихся вследствие... процесса познания концептов несколько не уменьшает их интеллектуального или концептуального статуса, в силу неизбежных в этих процессах процедур обобщения — их абстрактности» [Павилёнис 1983: 107]. Концептуальный же статус единиц концептуальной системы можно трактовать только через понятие их осмысленности,

через понятие **интенциональной функции концепта**, определяющей «множество объектов или предметов», охватываемых функцией и выводящих из концептуальной системы к объектам действительного или же вымышленного мира [Там же: 102].

Как думается, ясно из всего изложенного, определить слово и его статус в системе языка вне обращения к заложенному в нем концепту или концептам и, следовательно, вне понимания его собственной интенциональной функции, попросту невозможно. Принадлежность слова к определенной ЧР, — это доминирующий компонент всей функции, детерминирующий и его положение в системе языка и возможные типы его использования с дискурсе.

Да, конечно, Ф. Ньюмейер прав, **правил перехода** от того, что извне, от того, что выделено в действительном или любом из вымышленных миров, к единицам языкового кода **не существует**. В каждом реальном существующем естественном языке от одного компонента могут протянуться разные ниточки к разным языковым формам, одна и та же ситуация может быть расчленена и описана нетождественным образом, язык предлагает альтернативные формы для такого членения и описания и т. п. Все эти хорошо известные факты не означают, однако, что для многих концептов в языке **не** складываются конвенциональные формы их номинации, что группа концептов и определенные структуры таких концептов (например, пропозиции) не получают конвенциональных средств их означивания и что вообще никаких корреляций между миром действительности и миром языка не бывает. Напротив, скорее существенно наличие подобных корреляций и связей, а не их отсутствие, и дело лингвиста заключается как раз в том, чтобы выявить и описать их.

Завершим эти рассуждения той весьма примечательной оговоркой, которой заканчивает свой анализ категорий ЧР и сам Ф. Ньюмейер. Заметив, что одна и та же идея — концепт «нравиться» — может быть выражена в английском языке и глаголом *to like* и прилагательным (*to be*) *fond of*, и делая на этом основании заключение о неразличении концептуальных оснований указанных частей речи и, следовательно, невозможности дать этим частям речи концептуальную (понятийную) трактовку, он приводит примеры *Mary likes Susan* 'Мэри симпатизирует Сьюзан' и *Mary is fond of Susan* с тем же якобы значением. Но ведь в действительности они (эти высказывания) утверждают разные вещи или, как сказали бы когнитологи, по-разному рисуют и конструируют примерно одну и ту же ситуацию. В первом случае она представлена процессуально, как протекающая во времени и, возможно, даже имплицитующая некую активность Мэри. Во втором случае этого явно нет. По всей видимости, первое предложение можно было бы продолжить *but does not love her*, что значило бы 'Мэри нравится Сьюзан, но она вряд ли ее любит' (т. е. имелась бы в виду степень испытываемых чувств). Вряд ли можно продолжить так второе предложение, ибо оно стало бы контрадикторным по смыслу (Мэри любит Сьюзан, но не любит ее).

Еще важнее, однако, что первое предложение можно поставить в пассив: так, *Susan is liked by Mary*, но второе *\*Susan is fonded...* — невозможно. Это означает, что различие глагола и прилагательного предопределяет дальнейшее их поведение в синтаксисе, а в связи с этим Ньюмейер и делает примечательную оговорку о том, что не только этот факт должен быть отражен в грамматике, но и то, что «прилагательные и глаголы (так же, как и другие синтаксические категории) обычно имеют экстралингвистические корреляты». «Решение этой проблемы, — продолжает он далее, — коренится в природе интерфейса между грамматическими и экстраграмматическими факторами» [Newmeyer 1992: 786–787]. Таким образом, проблема соотношения грамматического (языкового) с тем, как познан и расчленен мир, а также с онтологией последнего, остается. Мы и рассматриваем эту проблему на материале ЧР, принимая во внимание, что «отнесение нового слова к... определенной ЧР может оперировать в качестве своеобразного фильтра, удерживающего для внимания наиболее релевантные черты не-лингвистического мира» [Brown 1957: 243].

Как отмечает Ю. Брошар, все определения символам N, V и пр. пусты до тех пор, пока им не дано функциональное или концептуальное объяснение [Broschart 1991: 68]. В ГГ пытались дать объяснения функциональные, но ограничивались при этом рассмотрением ролей слов разных ЧР в организации разного типа фраз как составляющих предложения, иными словами, анализ ЧР был по-прежнему связан с исследованием чисто синтаксических особенностей отдельно взятого предложения. Между тем возможности изучить поведение слов разных ЧР с коммуникативной точки зрения и выявить их дискурсивные функции еще остаются в значительной степени нереализованными. Поворот в эту сторону становится заметным только тогда, когда в предложении не только разводятся в разные стороны идентифицирующее и характеризующее начала (Н. Д. Арутюнова) и когда с этим противопоставлением начинают правильно связывать оппозицию денотативно-ориентированной (предметной) и сигнификативно-ориентированной (признаковой) лексики, но и тогда, когда полное признание получает различие актов референции и актов предикации в составе предложения и когда в прототипические свойства разных ЧР **включают** сведения о том, для осуществления каких функций они более всего предназначены в **дискурсе**.

Уже В. В. Виноградов писал о том, что «значение слова далеко не совпадает с содержащимся в нем указанием на предмет, с его функцией называния, с его предметной отнесенностью (Gegenstaendliche Beziehung)» [Виноградов 1947: 13]. В духе тех же положений Б. А. Серебренников отмечал: нельзя, чтобы слово «замыкалось бы только тем признаком, на который указывает его звуковая оболочка» [Серебренников 1977: 169–170, цит. по «Языковая номинация...». Т. I]. Такие «несовпадения» значения и обозначения связаны, однако, не только с развитием у слова их денотативных и сигнификативных аспектов, не только с процессами обобщения и абстракции, меняющими общий объем экстенциональных характе-

ристик слова, но и с тем, как используется слово в **дискурсе**. Как подчеркивала Н. Д. Арутюнова, «характер номинации, ее семантический тип, объем включаемой в нее информации об объекте непосредственно связаны с ее предназначением», последнее же зависит от того, какое это слово будет занимать место (позицию) в предложении [Арутюнова 1977: 304, цит. по «Языковая номинация...». Т. II]. Такая зависимость, явно прослеживаемая в естественных языках, получает следующее объяснение у Ю. С. Степанова, который пишет: «...денотатные имена тяготеют в естественном языке к позиции субъекта высказывания и подлежащего предложения, тогда как сигнификативные имена — к позиции предиката» [Степанов 1977: 331, цит. по «Языковая номинация...». Т. I]. В дискурсе могут меняться денотативная и сигнификативная ориентация слова, но «исходный» денотат все равно «просвечивает» во всех употреблениях слова: ср. *Студенты — народ веселый* и *Перед нами — студенты второго курса* и, наконец, *Решающее слово в этом вопросе — студентам*.

Аналогичная позиция была четко сформулирована в середине 70-х годов Н. Д. Арутюновой. Указывая, что «значение слова понимается [по Л. Витгенштейну] как его роль в высказывании, а не тот денотат, к которому оно относится», она сама обобщает наблюдения этого рода в положении о том, что «значение прямо подчинено той функции, которую выполняет соответствующая ему единица; оно формируется в зависимости от предназначения этой единицы». Далее она разъясняет: «для предложения (пропозиции) характерна семантическая гетерогенность его компонентов, один из которых соответствует уровню сигнификации (предикат), другие находятся на денотативном уровне (аргументы, выполняющие функцию идентификации называемых ими предметов или событий...)» [Арутюнова 1976: 44–45].

Подробное освещение идей названных ученых очень важно и имеет своей целью свидетельствовать о том, что в отечественном языкознании к концу 70-х гг. складывались основы не только новой теории номинации как таковой, но и основы новой семантической теории языка, в которой значение слова связывалось самым тесным образом с его коммуникативным предназначением. Это положение мы и стараемся развить в нашей теории ЧР, где дискурсивные характеристики слова включаются в его конституирующие категориальные (частеречные) свойства и где само понятие дискурсивных характеристик приобретает смысл, отличный от того, что понимается в генеративной или эмерджентной грамматиках, критический анализ которых и был дан в настоящей главе раздела и будет продолжен в следующей.

## *Глава четвертая*

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ И НОВЫХ АСПЕКТАХ В МЕТОДИКЕ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Учитывая опыт описания предыдущими исследователями, а также принимая во внимание возможности анализа ЧР с новых позиций, освещенных выше, мы хотим остановиться в этой главе на обобщении главных подходов к организации системы ЧР в разных языках и высказать некоторые соображения о том, как это можно осуществить. Естественно, что вопрос этот возникал и ранее, поскольку ученые, так или иначе связанные с ЧР, вынуждены были принимать в своей работе определенные критерии выделения ЧР и опираться на некую общую схему их классификации. И все же акценты в подобных публикациях делались скорее на практическую сторону распределения материала, а общие основания существования и функционирования ЧР как системы оказывались при этом отодвинутыми на задний план. Однако роль ЧР в любом языке связана не только с тем, что каждая из относимых к ним категорий обладает собственным диапазоном выражаемого ею содержания и известным набором осуществляемых ею функций. Она связана в неменьшей степени и с тем, как именно категоризуется все это содержание, по каким главным рубрикам оно распределяется и какие принципы положены в основу этого распределения. Главным вопросом относительно системы частей речи и становится вопрос о том, на чем держится эта система и какие факторы обуславливают ее членение.

Описывая любую лингвистическую систему, мы задаем вопрос о том, какие она содержит единицы и какими типами отношений они связаны. Мы знаем об устройстве фонологических и морфологических систем, знаем, как строятся некие типы склонения или типы спряжения. Что же мы можем сказать про систему ЧР? Что значит охарактеризовать ее с когнитивной точки зрения? — Дать представление о когнитивных особенностях системы ЧР — значит отразить когнитивные структуры и когнитивные функции единиц этой системы (эту задачу мы уже обсуждали выше), а также, что не менее важно, интерпретировать с когнитивных

позиций наблюдающиеся в исследуемой системе типы отношений и связей. Для того, чтобы очертить роль системы ЧР в процессах познания мира, фиксации знания и его описания, чтобы понять, какова значимость и реальные функции этой системы в языковой способности человека и его ментальном лексиконе, необходимо, по всей видимости, представить прежде всего то, как и в какой форме участвуют ЧР в языковой репрезентации мира, т. е. каково их назначение во всем этом процессе.

Свое решающее значение здесь имеет тот факт, что система ЧР существует как система **слов** и только в ней, во всем тотальном множестве слов, она находит свое объективное бытие. Проблема ЧР как классов слов возникает именно потому, что саму эту эмпирическую данность характеризует нетождественность образующих ее единиц и — одновременно — известная их упорядоченность. Факт гетерогенности слов настолько очевиден, насколько очевидно и то, что одни слова сближены по своему поведению, а другие, напротив, радикально отличаются друг от друга. И, конечно, в лексиконе более всего обращает на себя внимание лексическое разнообразие слов и их семантическая нетождественность. Это и вызывает соблазн связать главные параметры в классификации слов с содержательными их различиями. И хотя лингвисту должна была бы быть понятной известная ограниченность подобной точки зрения с самого ее начала, — ведь слово — это двусторонняя единица языка! — к этой идее постоянно возвращаются и при рассмотрении ЧР.

В обзорных главах книги мы уже неоднократно указывали на отношение разных лингвистов к возможности определить ЧР на понятийной или концептуальной основе. Начисто отрицаемая одними учеными и просто осмеиваемая другими, возможность эта тем не менее практически используется буквально тысячелетия, и не случайно, что практике этой пытаются и сегодня дать теоретическое обоснование. Примечательно также, что как доводы в защиту понятийной точки зрения на ЧР, так и аргументы против нее приобретают все более обоснованный и глубокий характер, и пройти мимо них представляется невозможным.

Отрицание понятийных основ ЧР находит особенно резкую форму в теории одного из ведущих лингвистов США Дж. Хаймана. Ставя вопрос о том, произвольны или же мотивированы языковые знаки [Haiman 1993: 313], и рассмотрев природу языкового знака, он приходит к выводу о том, что как утверждения представителей одних лингвистических школ о полной произвольности языкового знака, так и утверждения о мотивированности знаков представителями других школ, не отвечают никакой лингвистической реальности. Ей, по его мнению, соответствует известная компромиссная точка зрения: языковые знаки располагаются на шкале, крайними полюсами которой является мотивированность — произвольность. В самом начале языковая единица, как и любая единица семиотической системы, создается как мотивированная, и чем иконичнее ее структура, тем ближе находится она к экспрессивному полюсу на шкале, т. е. тем выразительнее и

прозрачнее она по своей семантике. Чем более условна единица, тем, напротив, удаленней она от этого полюса и тем больше приближена она к произвольным, немотивированным знакам. В качестве иллюстрации подобного положения дел Дж. Хайман приводит стереотипные формулы типа «Как поживаете?» в устах доктора, с одной стороны, и в качестве ритуального оборота при встрече знакомых. Начав свою жизнь в качестве экспрессивного симптома, единица лишь по прошествии определенного времени «освобождается», «эмансипируется» от экспрессивности и переходит в разряд произвольных языковых знаков. Такое этимологическое стирание особенно типично для грамматических единиц — они наиболее заметно лишаются исконной выразительности. К тому же чем более обязательна единица, тем больше ее употребление приближается к «ритуалу» и тем больше она сама теряет свой исконный смысл. Грамматическая категория рода может служить хорошим подтверждением сказанного.

По мнению Хаймана, из этого следует, что все попытки продемонстрировать мотивированность тех или иных грамматических явлений обречены на провал. Бесплодными кажутся ему и попытки дать понятийные определения ЧР [Haiman 1993: 317]. Но из общей концепции Хаймана можно сделать совсем иные выводы. Хотя в принципе верно, что каждая грамматическая категория — это своеобразная ритуализованная и постепенно теряющая связь со своей первоначальной семантикой единица, из этого никак не следует, что такой «первоначальной» семантики не было вообще и/или что мы не можем обнаружить ее следов в современном состоянии категории. Нельзя отрицать и того, что при всей «эмансипации» от первичного мотива в грамматических категориях могут наблюдаться разные степени сохранения его. Наконец, сами концепты, лежащие в основе разных грамматических категорий, могут иметь большую или меньшую связь с экстралингвистическим миром и выступать как более конкретные или же более абстрактные. Попытки обнаружить концептуальные начала у ЧР поэтому не только не лишены смысла, они, напротив, представляются единственным способом понять **истоки** этой категории и реконструировать на этой основе пути ее **возможного** развития.

Отвечая на вопрос о том, были ли мотивированы различия в словах и тем самым — ЧР в своем генезисе, мы склоняемся к положительному ответу на него и поэтому не считаем поиски концептуальных основ ЧР бесперспективными. Это совпадает с нашими мыслями о том, что первоначальное наречение фрагментов осмысляемого мира было мотивированным, а мотивы наречения совпадали с той картиной мира, которая складывалась у говорящих на разных языках. Проще говоря: нетождественность классов слов явно имела корни в нетождественности перцептуально воспринимаемого мира и выделении в нем отдельных целостностей, их частей и атрибутов. Она соответствовала наблюдениям как за разными формами материи, так и за разными типами движения, разными событиями и ситуациями, за разными источниками сил и энергии, природными явлениями и

человеком. Удивительно ли тогда, что онтологическая определенность некоторых объектов (лиц, животных, растений, тел и вещей и т. п.) давала бóльшие основания для их вычленения и наречения, чем онтологическая неопределенность других (огня, дождя, ветра)? Удивительно ли тогда, что разным складывающимся в генезисе языка категориям была присуща разная степень мотивированности (и тем более — оправданности ее с современной точки зрения). К тому же и то, насколько четко «просвечивает» исконная семантика ЧР в их современном облике, зависит от массы исторических факторов, ибо все позднейшие наслоения на слова одной ЧР искажали ее первоначальные основания и, несомненно, затемняли саму исконную мотивацию. Достаточно помнить в этой связи и о регулярной многозначности слов, и о процессах вторичной деривации, устанавливающих новые связи между словами и одновременно пополняющих классы однородных образований гибридными, и, наконец, просто об исторических судьбах отдельных лексических разрядов слов, о развитости разных грамматических категорий, маркировавших со временем функционирование каждой отдельной ЧР.

Но в связи со сказанным Хайманом следует, действительно, обратить внимание и на такую закономерность в процессе развития языков: чем больше отдельные ЧР обретали реализующие их общее значение грамматические категории (что, казалось бы, должно было укреплять идею, заложенную в данной ЧР), чем чаще вступали они в процессы деривации (особенно безаффиксальной транспозиции), чем больше приобретали собственных формальных признаков в своей собственной поверхностной структуре и /или в своем употреблении, тем более размывались первоначальные границы класса, тем более приобретали эти классы условный характер и, конечно, тем менее отчетливыми становились сами концептуальные основания ЧР! И все же дистанция между такими словами, как «камень» или «электричество», не позволяет сделать вывод о том, что перед нами **немотивированное** подведение под одну и ту же категорию хотя и разных вещей, но все-таки **вещей** или, во всяком случае, того, что идентифицировано как вещь. Да, конечно, известная условность здесь налицо, но вместе с тем это мотивированная, т. е. объяснимая условность.

Концепция Хаймана может быть использована и в другом отношении: если принадлежность языка к определенному типологическому классу может рассматриваться как отражающая разные ступени на пути языков к грамматизации (а именно так можно рассматривать изоляцию, агглютинацию, синтез, см. [Haiman 1993: 316]), нельзя ли полагать, что ЧР с их семантикой особенно интересно изучать на материале изолирующих языков? Не проступают ли тогда именно в этих языках черты первоначальной **диффузности** обозначений, а их последующая постепенная дифференциация — как отказ от этой диффузности и ее преодоление?

Интересно обратиться в этой связи к мнению специалистов по изолирующим языкам и хотя бы бегло, но указать все же, к каким выводам приводит их исследо-

вание этих языков. Так, отмечая, что в изолирующих языках проблема выделения ЧР стоит очень остро и что скупость формальных средств выражения их грамматических значений заставляет говорить здесь о ЧР как «скрытой категории», М. Б. Бергельсон подчеркивает одновременно, что «сущностный, концептуальный аспект классификации слов по ЧР в изолирующих языках проявляется даже отчетливее, чем в других, поскольку в меньшей степени опосредуется в восприятии говорящих наличием формальных противопоставлений, приобретающих благодаря автономизации формы собственную языковую значимость» [Бергельсон 1990: 195].

Сошлюсь также на мнение таких известных специалистов в области изолирующих языков, как Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев. Ссылаясь на мысли В. В. Виноградова об отсутствии некатегоризованных лексических значений не только в таком языке, как русский, но и в языках иного строя, В. М. Солнцев подчеркивает, что в китайском языке, «традиционно считавшемся аморфным, фактически нет грамматически неоформленных и неклассифицированных слов» [Солнцев 1972: 280]. Поэтому, если более широко трактовать понятие оформленности слова (не сводя его исключительно к морфологической оформленности), этот вид оформленности сказывается в изолирующих языках в том, что определена и его принадлежность к известной ЧР и что явление «неклассифицированности» лексических значений здесь достаточно нетипично [Солнцева 1985: 147–148]. Идеи о «частеречном синтаксисе», выдвигаемые этими авторами, основываются на утверждении определяющей роли грамматических свойств ЧР по отношению к синтаксису, грамматические же значения представляют собой проекции в грамматику их концептуальных оснований. Важно, что в конечном счете «именно принадлежность слов к разным частям речи... обуславливает весь синтаксический строй языка» [Солнцева, Солнцев 1986: 94]. Понятно в то же время, что сказанное возвращает нас к главному для настоящей книги вопросу — чем же определяется «принадлежность слова к разным частям речи»?

Для того, чтобы начать отвечать на этот сложнейший вопрос, надо ответить, по-видимому, еще на один не менее трудный вопрос: как можно трактовать с когнитивной точки зрения такое положение дел, когда в каком-либо языке сказать о частеречной принадлежности слова до его употребления вроде бы невозможно (например, если произнести английские слова типа *round* или *love*). Так, характеризуя полинезийские языки, говорят о неисчислимом в них количестве омонимов. «Теоретически, — пишет В. И. Беликов, — у всякого глагола имеются омонимичные прилагательное, существительное и наречие, у всякого прилагательного существительное и наречие, у всякого существительного прилагательное» [Беликов 1990: 182]. Значит ли это, однако, что в сознании говорящих на этих языках нет представления о предмете или о действии? Не может ли это быть понято как указание на то, что одни номинации относятся к одной структуре знания, а другие к двум или трем разным структурам знания? Что они обладают способнос-

тью активировать в голове говорящего несколько разных структур (подобно английскому *round*)? Как можно трактовать слова самого В. И. Беликова о том, что у **глаголов** появляются иные омонимы по сравнению с теми, что появляются у **существительных** или **прилагательных**? На каком основании разным лексемам приписывается разный частеречный статус? Из материала, приводимого автором, ясно следует также, что среди полинезийских слов можно выделить и класс существительных как таковых, т. е. обозначающих дискретные физические объекты и их виды, а также класс, объединяемый вокруг обозначений активных действий и движений. Иными словами, ничто не препятствует утверждению о том, что и здесь соответствующие структуры знания (об объектах, об активных действиях и т. п.) находят свою объективацию в определенных языковых формах, а классы таких форм характеризуются целым рядом отличительных формальных примет и образуют поэтому отдельные категории. Таким образом, от европейских ЧР их отличают не столько базисные концепты, сколько само распределение лексик по указанным классам, иное наполнение самих классов. Но возможность именования некоторых отвлеченных сущностей не существительными, так же, как и возможность наречения частей пространства относительно других объектов не существительными, означают, на наш взгляд, что они реализуют при этом не те структуры знания и не те концептуальные объединения, что класс физических дискретных предметов, т. е. что иное распределение слов по классам задается иной концептуальной картиной мира.

Понимание сути таких явлений приходит к нам из семантики синтаксиса. Очень долго в синтаксисе утверждали, что пары предложений типа *Рабочие строят дом* и *Дом строится рабочими* передают одно и то же содержание. В исследованиях по семантике синтаксиса и когнитивной грамматике такая точка зрения поддержана не была. Здесь справедливо подчеркнули, что различие поверхностных структур высказываний соответствует разному видению ситуации: один раз нам рассказывают про рабочих, а другой — про дом, реальные роли аргументов различны. А в описываемой ситуации хотя и выделены такие партиципранты, как «дом» и «рабочие», и такой предикат, как «строить», точка зрения наблюдателя (эмпатия) в двух высказываниях не совпадает. Как неоднократно отмечает Р. Лангакр, в число человеческих способностей входит способность представлять себе и описывать одну и ту же ситуацию разными языковыми формами (ср. также [Newmeyer 1992: 774]). Воображение играет значительную роль в восприятии и ведет к разному членению ситуации, от него зависит, что выступит при ее описании в качестве фона, а что — в качестве фигуры, на чем будет сосредоточено внимание и с какой степенью детальности она будет представлена и т. д. Такие установки говорящего могут быть охарактеризованы с помощью понятия перспективы, или точки зрения на ситуацию (см. [Langacker 1987: 120 и сл., 138 и сл.]). Но ведь и в обозначаемом объекте, явлении, процессе внимание говорящего может быть привлечено к раз-

ным аспектам, разным сторонам обозначаемой реалии, а, значит, фиксируемые словом концептуальные структуры оказываются нетождественными.

Вернемся к примерам Э. Бенвениста, служащим, по его мнению, доказательству невозможности различить имена и глаголы на концептуальной основе. «...В языке хула, — пишет Бенвенист, — активные или пассивные глагольные формы 3-го лица употребляются как имена: *naya* ‘он спускается’ — название дождя; *nille* ‘он течет’ — означает ‘ручеек’; *naxowille* — ‘прикреплено вокруг него’ — значит ‘пояс’ и т. п.» [Бенвенист 1974: 168 и сл.]. Но из сказанного следует, на наш взгляд, иное: то, что в европейских языках представлено как определенная субстанция и осмыслено предметно (дождь), в хула познано как процесс, о чем и свидетельствуют разные способы представления этих структур в языке — один раз с помощью существительных, другой — с помощью глагольных форм. С позиции наблюдателя в языке хула он имел дело в данной ситуации с восприятием движения, с позиций наблюдателя в европейских языках — с восприятием дискретной сущности и, возможно, события.

Как прекрасно сказал Д. Слобин, язык, несомненно, направляет наше внимание в разговоре на те параметры нашего опыта, которые уже нашли свое отражение в грамматических категориях языка [Slobin 1991]. Или, как он подчеркивает далее, «высказывание проявляет зависимость от множества разных факторов», «от того, что я увидел и пережил, от моих коммуникативных целей во время рассказа об этом, и от тех противопоставлений [distinctions], которые воплощены в моей грамматике» [Slobin 1991: 4].

Интересно интерпретировать с изложенной точки зрения и ту ситуацию, которая возникает при отсутствии формальных средств определенного противопоставления, т. е. ситуацию омонимии слов разных ЧР типа приведенной выше полинезийской ситуации. Означает ли в этом случае, что неразличение существительного, глагола и прилагательного (т. е. их материальное совпадение и представленность одной и той же материальной последовательностью), свидетельствует о таком же неразличении концептуальных структур предметности, признаковости и процессуальности? — Думается, что нет. Попробуем разъяснить сказанное, обратившись к английскому языку.

«Возьмем форму *round*, — пишет О. Есперсен, — она представляет собой существительное в сочетании *a round of a ladder* ‘ступенька лестницы’ (т. е. потому, что отсылает к предмету; здесь и далее в скобках примечания мои. — Е. К.) и в предложении *He took his daily round* ‘Он совершал ежедневную прогулку’, прилагательное в сочетании *a round table* ‘круглый стол’ (т. е. при отсылке к атрибуту стола, предмета), глагол в предложении *He failed to round the lamp-post* ‘Ему не удалось обогнуть фонарный столб’, наречие в предложении *Come round tomorrow* ‘Заходи завтра’ и предлог в предложении *He walked round the house* ‘Он ходил вокруг дома’ ... С другой стороны, существует большое количество слов, принадлежащих только к одному разряду...» [Есперсен 1958: 65–66]. Таким образом, возможность сравнить кон-

кретную лексему с той, которая «принадлежит только одному разряду», всегда остается, а принцип аналогии срабатывает и в этих спорных случаях. К тому же в большом количестве ситуаций можно понять логику наречения определенной сущности как предмета (отдельность, выделенность из окружающего пространства, наличие четких границ, контуров и т. п., о чем мы неоднократно говорили) и, отталкиваясь от этого, выделить в семантической структуре омонимов их первичное содержание, их концептуальное ядро. Возможно даже предположить, что именно в силу своей ментальной противопоставленности концепты предмета, признака, процесса и отношения не всегда требуют отдельного своего языкового выражения: само человеческое сознание разграничивает их, а употребление знака в высказывании находит подтверждение этому обстоятельству.

Сопоставляя примеры Есперсена и Жирмунского (см. также с. 187), можно сделать, на наш взгляд, следующие выводы:

- 1 — общей является способность человека называть одной лексемой (одним корнем, одной материальной последовательностью, одним и тем же «телом» знака) разные концептуальные структуры, разные структуры знания, хотя и объединенные неким единым концептом, одной идеей в разных ее модификациях: китайская лексема, служащая обозначением предмета, может также служить обозначением соответствующего признака; в полинезийских языках один сегмент может употребляться во всех функциях кардинальных ЧР; в английском языке конверсией связывается чуть ли не любой глагол с существительным и т. д. и т. п.;
- 2 — для прояснения такого состояния разные языки мира используют разные средства и указанная способность лексемы обозначать разные категориальные сущности находит затем свое формальное отражение на разных уровнях строения языка: чаще всего на морфологическом, что характерно для языков с развитыми системами морфологической деривации, но достаточно часто и на синтаксическом, когда возможность маркирования категориальной (частеречной) принадлежности слова достигается за счет определенного его местоположения и/или сочетаемости с другими словами;
- 3 — даже взятые в изоляции такие лексемы не «мыслятся», однако, как что-то аморфное и неопределенное и, думается, при их использовании выступают как сигнал определенной категоризованной структуры знания.

Последнее мы интерпретируем следующим образом: будучи спрошенным о том, что значит в английском языке лексема *round*, говорящий задает встречный вопрос о том, о каком именно *round* его спрашивают, и лишь после этого он может ответить, что значит предлог в отличие от существительного и т. п. Сказанным мы хотим решительно подчеркнуть то обстоятельство, что за *round*<sup>1</sup>, *round*<sup>2</sup> и т. д. стоят разные структуры знания, что аморфных или диффузных структур во внутреннем лексиконе нет. Извлеченная из памяти во время порождения речи такая

структура уже выступает как категориально оформленная, ибо человек знает, о предмете или признаке предмета он хочет рассказать в своем сообщении. В акте же восприятия речи сигналом категориального значения структуры сознания выступает либо сама (маркированная) языковая форма, либо ее окружение, либо ее позиция и т. п. Концептуализация мира предшествует этапу речевого сообщения, она входит в личностные смыслы говорящего и легко получает на этапе формирования речевого высказывания конвенциональную форму своего выражения.

В памяти человека обозначения предмета, действия, признака и т. п. хранятся как отдельные единицы, каждая — со своей структурой знания (значением), и, наверно, это обстоятельство можно было бы проверить экспериментально.

Возвращаясь к дискурсивной теории П. Хоппера и С. Томпсон, можно было бы теперь сказать, что она некорректна как не учитывающая того, что знание когнитивных структур, связанных с языковым знаком, **предсуществует** дискурсу: если человек знает языковой знак, он знает и его категориальное значение, а в ситуациях, когда он создает знак, он тоже должен подвести знак под определенную категорию, — вне этой операции акт номинации состояться не может. Дискурс только подтверждает, какая структура знания и в каком виде была в нем использована.

Сказанное имеет далеко идущие последствия — если верно то, что мы утверждаем, в словарях изолирующих языков при каждой лексеме должен быть указан тот **набор частей речи**, выражению значений которых она может служить. Так делается, например, в английском языке, где лексема сопровождается пометой ЧР. Естественно, что в русском языке при наличии внешних показателей в морфологической структуре слова такое указание тавтологично. В то же время не следует путать способы указания (индексации) типа омонимии, т. е. реальное число и характер омонимов, возможных в одной словарной статье, с разграничением их значений, когда обязательным является указание на реальный смысл каждого омонима. С этой точки зрения все предложения по выделению в изолирующих языках такой части речи, как имяглагол, или универсал, не могут быть поддержаны: такие термины — это только способы указания на поливалентный модус существования данного тела знака в данном языке. Это — удобный способ в качестве лексикографической пометы, но одновременно и способ, уводящий от разрешения самой проблемы ЧР, которая решается принципиально иными путями. Какой же путь предлагается после всех высказанных общих замечаний в данной работе?

Подобный путь уже был намечен в отечественном языкознании, и хотя, возможно, он не получил ранее своего логического завершения, рациональное начало имплицитруемого им подхода мы и стремимся развить в настоящей книге. Его положения нами уже неоднократно излагались.

Вернемся к мысли В. В. Виноградова о том, что «определение лексических значений слова уже включает в себя указание на грамматическую характеристику слова» [Виноградов 1947: 15]. Из этого следует, что в лексиконе нет и не может

быть неспецифированных и грамматически неклассифицированных слов (хотя, естественно, одни слова поддаются такой классификации легче, чем другие). Эта грамматическая и, следовательно, обязательная характеристика слова и есть его **частеречная принадлежность**. По сути своей такая характеристика концептуальна, т. е. отражает определенный статус той когнитивной структуры, которая стоит за словом. Таких характеристик в каждом отдельном языке немного, список их исчислим и конечен, универсален лишь в том отношении, о котором мы специально скажем ниже, и сравнительно невелик. Как правильно указывал С. Е. Яхонтов, по-видимому, вообще не существует языков, в которых не было бы ЧР (т. е. в которых все слова имели бы одинаковые грамматические свойства и не допускали классификации). Выявить когнитивные способности ЧР и значит установить такой список концептов, которые существуют в качестве грамматических характеристик слова, а также определить их иерархию и их соотношения.

Как писал А. Е. Супрун, «слова... в той или иной мере специализированы в своих грамматических функциях», а потому одно из членений тотального множества слов «основывается на этой грамматической специализации слов» [Супрун 1965: 17]. Следуя пониманию грамматического как обязательного, мы и полагаем, что ЧР выражают это свойство слова в его предельно обобщенном и законченном виде и, что особенно важно, представляют это свойство так, как все естественные (прототипические) категории, т. е. **кластерно**, через своеобразное объединение дискурсивных и когнитивных характеристик слова.

Подобно тому, как звучит музыкальный аккорд, — слитно, едино, целостно, хотя он и «складывается» из конечного числа отдельных звуков и может быть разделен на свои составляющие, существует и кластерный набор признаков каждой отдельной ЧР. Будучи сформирован из конкретных дискурсивных и когнитивных признаков, такой их пучок проявляет гештальтные, или холистические свойства; признаки находятся в такой комбинации, что один «тянет» за собой другой, и, возможно, что они не просто взаимосвязаны, но и соотнесены причинно-следственными отношениями. Собственно когнитивные характеристики отдельных ЧР, т. е. связанные с передачей определенной информации о мире и сведений о нем, трудно отделить от того, как они используются в коммуникации, и в каком-то смысле можно утверждать, что дискурсивные характеристики ЧР — проекция и продолжение их когнитивных свойств, а, точнее, иного по сравнению с морфологическим (внутрисловным) **способа представления** их в языке.

Аналогию с музыкой можно продолжить и дальше: подобно тому, как музыкальное произведение репрезентируется в нотной записи с помощью понятия компонентов гаммы, все дискурсивные построения можно представить в общем виде через реализованную в них систему ЧР (гамму) — систему «исходных» концептов. Если каждый звук может быть описан относительно гаммы и ее тональностей, каждая ЧР может быть описана относительно ее концептуальной сетки, а каждое слово — относительно системы ЧР и в модусах своего грамматического существо-

вания, в особом виде скоррелированного между собой объединения когнитивных и дискурсивных свойств. Мы полагаем также, что кластерное объединение признаков существует **обычно** при доминирующей роли когнитивных характеристик, так что сфера употребления, диктуемая для каждого слова, может быть выведена прежде всего из тех когнитивных оснований, которые при возникновении слова послужили мотивом его создания и выражали потребность в наречении определенной структуры знания. Полученная в ходе осуществления известной деятельности, такая структура выступала как конкретный компонент деятельности и потому уже была специализирована как ее объектный, инструментальный, операционный и т. п. компонент. Частеречная характеристика слова фиксировала именно это обстоятельство. Структура знания, репрезентированная и объективированная словом, оказывалась ингерентно связанной со способом ее представления в данной единице, причем как в ментальном лексиконе, так и в операциях с этой единицей в дискурсе, речевой деятельности.

Чтобы обосновать эту теорию, мы и рассматривали постоянно, какие результаты лингвистического анализа ЧР могут подтвердить защищаемую нами концепцию, т. е. служить аргументами в ее пользу. Что свидетельствует о том, что именно ЧР образуют главные параметры в ноэтическом, или назывном пространстве языка, что именно они определяют устройство языковой картины мира на том или ином языке? Если совокупность слов формирует подобную языковую картину мира, как мы можем доказать, что ЧР выступают как главные координаты этого пространства? И о каких именно координатах может идти речь в связи с ЧР? — По всей видимости, о тех и только тех, которые выступают в виде концептов, имеющих специфическую языковую привязку, т. е. репрезентированных в языке в виде особых языковых форм, объединяемых по общности этих содержательных форм в единые классы — ЧР. Иначе говоря, языковая форма примечательна не только передаваемым ею содержанием, но и тем, как оно **представлено**, объективировано, вербализовано. Форма — это своеобразная одежда структуры знания, ее обличье, и то, что система ЧР — это система форм и потому репрезентирована системой форм слова, — совсем не такое уж тривиальное определение сущности этой системы, каким оно может показаться на первый взгляд. Отнюдь не тривиально то, какие концепты, какие представления организуют эту систему. Ведь сама представленность каких-либо концептов в языковом материале еще не свидетельствует о его релевантности для **всей** системы в целом, а тем более — о его релевантности для характеристики ЧР. И хотя далее мы специально опишем главные концепты каждой отдельной знаменательной ЧР, а потому детали концептуализации ноэтического пространства языка станут более ясными после такого описания, уже здесь мы постараемся показать, вокруг каких основных концептов складывается система ЧР и какие принципы характеризуют ее устройство.

Поскольку в коммуникативных актах человек извлекает информацию из поверхностных форм языка, они должны содержать достаточное количество сиг-

налов для распознавания выражаемой информации. Языки по-разному распределяют эту информацию, возлагая одну ее составляющую на синтаксис, синтагматику, порядок слов и их сочетаемость, но связывая другую со словами и их внутренним устройством. Одним достигается противопоставление темы и ремы, топика и коммента, субъекта и предиката, другим — само название партиципантов описываемой ситуации, ее сирконстантов, того, что происходит с партиципантами. Морфология и синтаксис как бы объединяют свои усилия в выражении всех этих значений и поддерживают друг друга в их передаче. В ЧР находит свое отражение то, как они объединяют свои возможности для **симультанной** маркировки сентенциональных (дискурсивных) и информативных (когнитивных) типов значения, и в прототипических случаях эти значения скоррелированы, соотнесены. ЧР как бы должны поэтому выражать такие значения, которые в предельной форме естественно соотносят свое лексическое, индивидуальное значение с категориальным значением, но также обязательно — и со значением той роли, которую слово выполняет в предложении. В современной лингвистике широкое распространение получают идеи о том, что лексические единицы проецируют свои свойства в формирующееся предложение и что правильность предложения является следствием того, что условия заполнения каждой позиции в предложении, каждого его фразового маркера «удовлетворены»: синтаксическая схема и ее отдельные узлы реализуются в согласовании со свойствами заполняющих ее лексических единиц. Для такого согласования необходимо, чтобы лексическая единица — пусть и в самом общем и абстрактном виде — уже содержала в своем значении некие предпосылки для этого. В главных концептах ЧР мы и усматриваем эти необходимые предпосылки: так, существительные более всего пригодны для идентификации топика, предмета речи, а глаголы и прилагательные — для приписывания ему определенного признака. Иначе говоря, референциональные свойства отдельных ЧР диктуются как их отнесенностью к разным фрагментам реального мира, так и их способностью опознавать и идентифицировать либо целостные объекты как таковые, либо некоторые выделенные у этих объектов части, а тем самым участвовать в акте предикации, соединяющем объекты с их атрибутами. С другой стороны, сама необходимость отождествления «топика», «аргументов», «партиципантов» (как бы ни называть эти дискурсивные компоненты предложения) создает специально предназначенные для этого денотативно-ориентированные классы слов — существительные, точно так же, как и необходимость в словах, которые осуществляли бы характеризацию топиков, партиципантов и т. п., создает признаковые классы слов, ориентированные сигнификативно.

Здесь нам важно отметить, что разные языки по-разному моделируют указанные способности слова, иногда способствуя их формальному сближению, а иногда, напротив, формально маркируя то одну, то другую особенность слова. Следствием этого оказывается то, что в одних языках мира тип информации, переда-

ваемый словом, указан в его категориальной определенности в пределах самого слова. В других языках, однако, категориальная определенность информации, выражаемой словом, считается необходимой лишь в момент речи, и она маркируется, соответственно, в дискурсе. Степень категориальной определенности слова вне контекста оказывается поэтому неодинаковой. В целом же это создает эффект разной формальной маркированности ЧР в разных языках на поверхностном уровне. Фактически, однако, рефлексия того, как существует определенная структура знания в голове человека, в языке обязательна, и тщательный лингвистический анализ поведения языковой единицы на разных уровнях всегда даст представление о том, стоит ли за ней информация об объекте или его части.

Как замечательно сказал Л. фон Витгенштейн, *was ein Gegenstand ist, sagt die Sprache* — язык говорит о том, с какой сущностью мы имеем дело. Новейшие исследования показывают, что такая точка зрения восходит к В. фон Гумбольдту, и историографы часто цитируют его слова о том, что человек живет с теми сущностями (*Gegenständen*), к которым его приводит язык [Slagle 1974: 12 и сл.]. Но разъясняя это положение, Гумбольдт настаивает на том, что за внешним разнообразием языков стоят некие когнитивные универсалии, которые являются чем-то вроде априорного базиса для познания мира.

Не язык является априорным базисом для познания, а, напротив, категории мысли, которые выделил Э. Кант в качестве категорий разума, образуют тот базис, на котором строится разнообразие языков. Психически категории пространства переживаются всеми людьми одинаково, но то, что в одном языке может быть обозначено словом, в другом находит свое выражение на уровне словосочетания, ибо одну и ту же действительность язык категоризирует по-разному. Это не исключает того, что истоки категоризации — в перцептуальном опыте человека. Позднее те же, собственно, идеи развивал и Б. Уорф. Понятия длительности, одновременности, последовательности и многие другие имеют, по его мнению, свои аналоги в чувственном восприятии мира. Подводя итоги анализу взглядов Гумбольдта и тех, кто выдвигал сходные мысли, У. фон Слагле отмечает, что лингвистические значения надо коррелировать с опытом человека и ориентировать эти значения на интересубъективно демонстрируемый опыт. Тогда обнаружится, что у многих абстрактных понятий на самом деле прослеживается остенсивное начало. Возможно тогда согласиться с мнением Р. Брауна о том, что принадлежность слова к определенной ЧР служит своеобразным фильтром, благодаря которому в фокус внимания попадают наиболее релевантные характеристики нелингвистического мира [Slagle 1974: 39–41].

Все рассуждения о ЧР как «синтаксических классах», «дистрибутивных формальных классах» и т. п. основаны на том, что категориальная (частеречная) характеристика слова может быть якобы угадана только в реальном речевом акте. Фактически это означает, что указание на какую-либо из ЧР извлекается из окружения слова, по его местоположению и/или по его сочетаемости. Возникает воп-

рос: почему в отдельных языках мира (например, в изолирующих языках) категориальная специфика слова обнаруживается **за его пределами**? Ответ может быть только один. Язык существует прежде всего как средство коммуникации и именно для осуществления своей главной функции создает специальные функциональные единицы — высказывания, предложения. В нормальных актах коммуникации человек должен понять информацию, передаваемую дискурсом, текстом. Знание слов может быть только частью этого процесса. Акт понимания рассчитан на понимание всего текста. Соответственно, сигналы, свидетельствующие о категориальных характеристиках слова и столь необходимые для понимания текста в целом, могут находиться и за пределами слова, т. е. быть распределенными по всей поверхности предложения, по всему пространству текста. Им не обязательно быть сосредоточенными внутри слова и/или маркированными флексией, энклитикой, деривационным формантом и т. п. В отличие от языков европейского типа, выбравших путь морфологического оформления разных ЧР, многие языки «выбрали» путь дискурсивного выявления частеречных свойств слова. Из сказанного следует также, что в момент выбора некой единицы номинации в актах порождения речи такая единица извлекается из памяти как уже обладающая специфической категорией, уже наделенная определенными свойствами и, значит, объективирующая структуру знания со вполне определенными категориальными чертами (предметностью, процессуальностью или признаковостью, о которых мы подробно расскажем ниже).

\*            \*            \*

В первой части настоящего раздела мы стремились очертить тот круг вопросов в понимании ЧР, который возник в связи с появлением ряда новых парадигм лингвистического знания, а также охарактеризовать те подходы к решению проблем, которые оказались возможными благодаря появлению этих парадигм знания. Мы попытались сформулировать те теоретические и методологические предпосылки, с позиций которых мы считали перспективным дальнейшее изучение ЧР. Во второй части раздела, используя эти данные, мы попытались подойти по-новому к **истории изучения ЧР** и выделить те моменты, которые казались нам в этой истории наиболее заслуживающими внимания и лучше всего раскрывающими природу ЧР. Мы хотели также наметить этим известные линии преемственности в анализе ЧР и напомнить о существовании глубоких и незаслуженно забытых идей о сущности ЧР. Наконец, в пределах второй части раздела мы осветили также то, как описывается сегодня статус ЧР в генеративной грамматике и какие аспекты в их исследовании привлекают к себе внимание зарубежных исследователей. Рассмотрение ЧР в первой и второй частях позволило, вместе взятое, составить представление о том, какой может явиться адекватная теория ЧР, кото-

рая синтезировала бы, с одной стороны, новые веяния в современной лингвистике, а с другой — уроки прошлого. Поскольку отдельные важные для этой теории положения были как бы рассыпаны по всему предыдущему тексту, представляя собой комментарии по поводу отдельных проблем, теперь хотелось бы собрать их воедино и обобщить в более связном и системно организованном виде.

ЧР всегда входили в число фундаментальных понятий лингвистики. В зависимости от разных практических и теоретических соображений в свойствах ЧР подчеркивались и описывались разные начала, и в принципе можно считать, что основные морфологические и многие синтаксические и содержательные характеристики этих классов слов уже довольно хорошо известны. Вместе с тем в стороне от рассмотрения оставались по разным причинам многие деривационные (словообразовательные) черты системы ЧР, а также и их дискурсивные (присущие развернутому тексту) свойства. Но подключение их к анализу обязательно, что мы и старались аргументировать во всех главах книги и что будет продолжено и дальше. Ср. также [Гуреев 2002].

Хочется также отметить, что несмотря на огромную историю изучения ЧР, сведения о них еще не были обобщены и тем более сведены в единую систему — возможно, как раз из-за того, что ни словообразовательная специфика ЧР, ни их дискурсивное своеобразие не были оценены по достоинству. Можно полагать, однако, что современная лингвистика подвела к такому этапу в анализе ЧР, который позволяет сделать некоторые шаги к более глубокому освещению сути ЧР во всем богатстве свойственных им функций и во всей сложности способов их формального представления в языке. Такие шаги связаны, на наш взгляд, с раскрытием концептуальных оснований ЧР.

В новой теории ЧР во внимание следует, по всей видимости, принять прежде всего достижения когнитивной науки, уже осуществившей прорыв в понимание психических, ментальных, мыслительных процессов в голове человека как в их тесной связи с языком, так и в периоды их существования до языка и при анализе их осуществления на стадиях **доречевой** категоризации и концептуализации мира. Если на первых порах своего существования сама когнитивная наука сделала очень много в области изучения онтогенеза речи, понимания принципов восприятия мира и его категоризации и т. п., сегодня прогрессивное развитие этой парадигмы знания связано, несомненно, с подключением к ее проблемам прагматики и тех достижений коммуникативной парадигмы знания, которые позволяют органично соединить акты когниции с актами коммуникации. Для решения целого ряда актуальных проблем лингвистики выявилась необходимость совмещения когнитивного подхода с функционально ориентированным: описания постигаемого в процессах когниции мира происходят в дискурсе, да и переработка информации современным человеком часто приобретает формы переработки и обработки языковой информации, и с этим нельзя не считаться.

Работая на стыке двух парадигм, стремясь к их интеграции и взаимообогащению, мы можем надеяться на то, что контуры новой теории ЧР, предполагающей их рассмотрение как когнитивно-дискурсивных образований, получат на последующих страницах книги свое более полное освещение. Смысл этой теории в том, что в генезисе ЧР тесно переплелись задачи по первичному наречению и ослониванию мира с задачами его описания и сообщений о нем, что в этом генезисе свою роль сыграли разнообразные факторы — биологические, социальные, экологические, культурологические и что особого рассмотрения требует воздействие каждого из них, причем нередко на этапах доречевого существования человека.

Рассмотрев принципы восприятия мира, приходится признать, что многие обобщения и абстракции, касающиеся классификации и структуризации воспринимаемого человеком, складываются до языка. Это простейшие бытийные концептуальные структуры (архетипы или нечто им аналогичное), но возможно также — представления о действии и орудии труда. Подобный взгляд на вещи разделяется немалым количеством специалистов. Так, например, по мнению Б. А. Серебренникова, «первое членение мира осуществляется еще до возникновения языка. Рецепторы человека воспринимают различные раздражения, идущие от различных предметов материального мира. Представление о предметах и явлениях окружающего мира у человека возникает еще в доречевой стадии» [Серебренников 1988: 203]. Взятые в исторической перспективе, ЧР могут тогда рассматриваться как объективирующие эти простейшие представления. Знаменуя своим появлением начатки более развитого мышления, структуры, абстрагирующие элементы чувственного опыта, представляют собой первоначально невербализованные системы моделирования действительности по разным модусам восприятия со своими собственными единицами и процедурами построения различных целостностей [Касевич 1989: 12]. В качестве их примера В. Б. Касевич приводит сформировавшиеся схемы действия — эти «первые ментальные модели, которые очевидным образом полностью независимы от языка» [Касевич 1989: 13]. Эти модели мы считаем прообразом простейших глаголов. Возможно, что даже будучи со временем вербализованными, они продолжают жить в сознании человека и в виде невербализованных репрезентаций (ср. теорию двойного кодирования А. Пейвио, в которой утверждается параллельное существование образов и энграмм их вербального обозначения). Можно предположить также, что часть таких обобщенных репрезентаций становится постепенно врожденной, входя в биопрограмму человека и облегчая доступ к таким структурам в онтогенезе речи, где очень трудно провести границу между врожденными и приобретаемыми опытным путем структурами сознания.

Как подчеркивают специалисты по онтогенезу, сегодня не вызывает сомнения тот факт, что уже грудные младенцы обладают богатой системой когнитивной обработки поступающей к ним информации — у них уже частично развиты системы зрения, слуха, обоняния и т. п. К числу категорий, членящих мир ребен-

ка, неизменно причисляют не только концепт объекта, но и концепт его стабильности (консервативности, в терминах Ж. Пиаже), а также и представления о движении. Ср. [Gleitman; Gleitman, Landau, Wanner 1989: 169 и сл.; McShane 1991: 92]. То, что некие репрезентации в сознании ребенка присутствуют, признается большинством исследователей; это не означает, однако, что вопрос о том, в каком виде присутствуют такие репрезентации, решен окончательно, ибо полагают, что эти репрезентации постоянно меняются (ср. [McShane 1991: 113, 123]). «Мы должны исходить из того, — прямо утверждает Н. Хомский, — что существуют некие прелингвистические понятия, которые могут схватывать (pick out) кусочки мира...» [Chomsky 1982: 119]. Подробно рассмотрели мы выше и концепцию Р. И. Павилёниса, и взгляды А. В. Запорожца и др., выдержанные в том же духе и свидетельствующие о том, что и в рамках отечественной науки идеи формирования концептуальной системы человека на довербальном этапе имели широкое хождение.

Многие лингвисты, считающие ЧР классами слов, объединенных по наличию у них общих значений, отмечают также, что такие значения, как значения предметности, процесса, непроцессуального признака, указательности, количественности и т. п. являют собой высшую ступень отвлечения от лексических значений отдельных слов, образующих единый класс, — инвариантное категориальное значение класса (см., например, [Шведова 1988: 152 и сл.]). Такой «апостериорный» подход к ЧР вполне понятен, и все же он не является единственно верным, поскольку когнитологи допускают и возможность иного решения: концептуальные основания не столько извлекаются из ряда однотипных номинаций, сколько **закладываются** в них в акте наречения уже отождествленной сущности (реалии), т. е. уже прошедшей когнитивную обработку. Не хотелось бы также исключать и возможность существования в сознании человека, еще не овладевшего речью, не только репрезентаций-обобщений отдельных концептов, но и неких **объединенных** таких концептов, — прообраза пропозиций. Ведь если правильно, что в число первых моделей действительности входят схемы действий с объектами или представления о том, что кто-то совершает что-то с помощью чего-то для определенной цели, то прямая аналогия с канонической формой будущего высказывания тоже, несомненно, напрашивается сама собой. Иначе говоря, если уж пойти на предположения о постепенном формировании небольшого ряда исходных концептов (объекта, движения, признака, целостности и части и т. п.), то естественно предположить и дальнейшее связывание одного концепта с другим (например, в ассоциативной цепочке). Но такую теорию ЧР нужно было бы охарактеризовать как «априорную». Ясно, однако, что и с точки зрения такой теории появление многочисленных слов, развивающих одну и ту же идею (например, идею объекта), позволяет затем вычленять ее и как составляющую семантики слов одного класса. «Априорная» теория помогает понять, почему наличие во всех языках слов, обозначающих предметы и лиц, а также их противопоставление словам, обознача-

чающим их признаки, всегда существует на концептуальном уровне, но не всегда находит отражение в морфологической структуре слова.

«В языках, в которых части речи имеют четко оформленные грамматические признаки, свойство “белый” может мыслиться и быть отражено как предмет (“белзна”) или как действие (“белеет”), действие “бегать” как предмет (“бегание” — отглагольное существительное, инфинитивы), или же как свойство предмета (“бегающий”, “бежавший” — причастия, отглагольные прилагательные), или как признак признака (“белея” — деепричастие) и т. п.». Эти указания В. М. Жирмунского совершенно справедливы [Жирмунский 1965: 4–5]. Но ведь такое же переосмысление известно и в языках, не обладающих подобными четкими частеречными сигналами (выше мы приводили примеры из английского языка). Почему же точно так не могут мыслиться свойства, предметы и действия и в тех языках, где ЧР как таковые четких признаков вообще не имеют? Да и что значит мыслить свойство как предмет?

Чтобы ответить на эти вопросы, можно, на наш взгляд, обратиться не только к исследованию семантики отдельных ЧР (как это обычно делается), но и к словообразовательным процессам, которые, связывая разные ЧР и отражая их категориальные значения в рамках одного производного слова, одного деривата, дают исключительную возможность для установления содержания этих значений.

Как показывает название настоящей главы, мы преследовали в ней несколько целей. С одной стороны, мы пытались подытожить здесь теоретические и методологические принципы настоящего исследования в их более общей компактной форме. С другой стороны, очертив круг спорных проблем, возникающих при анализе ЧР в современной лингвистике, мы как бы пытались наметить ход их дальнейшего освещения в следующей части книги.

Наконец, мы стремились — и это самое важное — продемонстрировать необходимость изучения ЧР как особой **системы форм и категорий**, проявляющей вполне определенные черты своей организации, своего функционирования, своего устройства.

Как и всякая система, система ЧР держится на определенных связях и отношениях, складывающихся и поддерживаемых между ее единицами, в качестве которых выступают определенные части и частицы речи. Одни из этих отношений возникают генетически и формируются по мере того, как в языке возникают разные классы слов и дифференцируются сами ЧР, вычлняясь постепенно из диффузного имени или других предшествующих им форм. Так складывается **иерархическая** организация ЧР.

С другой стороны, в эволюции ЧР складываются системы оппозиций не только по «вертикали», но и по «горизонтали»: оппозиции открытых и закрытых классов форм, оппозиции предметной и не предметной лексики, оппозиции внутри признаковой лексики и т. п. В итоге описать систему ЧР и значит описать, в первых, конституирующие черты ее **единиц** (для нас это значит охарактеризо-

вать ЧР как прототипические категории), во-вторых, типы представленных в системе **связей** (как иерархических, так и синхронно-релевантных оппозиций, в первую очередь — противопоставления имени и глагола) и, наконец, в-третьих, **процессы**, связывающие между собой отдельные ЧР. Свое описание мы и начнем этим последним, т. е. описанием словообразовательных процессов, поскольку считаем эти процессы, как уже указали выше, важным источником сведений о когнитивных особенностях знаменательных ЧР.

# Часть III

## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В КОГНИТИВНОМ ПЛАНЕ

---

### *Глава первая*

#### СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О КОГНИТИВНЫХ ОСНОВАНИЯХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

В рассмотренных выше концепциях и теориях ЧР главное внимание уделялось, естественно, критериям их выделения, да и различные направления в их исследовании определялись тем, какие из присущих им свойств считались конституирующими эти классы слов – морфологические или синтаксические, семантические или ономаσιологические. Но даже представители двух первых направлений были вынуждены признать, что как грамматические категории, развиваемые отдельными ЧР, так и функции ЧР, каким-то образом связаны с их семантикой или, скорее, с тем, что они именуют. Между тем рассуждения о роли словообразовательных критериев в опознании ЧР сводились чаще всего к тому, что каждая из ЧР подвергается определенным словообразовательным процессам, используя для их осуществления некие словообразовательные средства, прежде всего аффиксы. Аффиксы же, преимущественно суффиксы, оказываются нередко связанными с флексиями, образуя единые формативы, которые тоже могут свидетельствовать, как морфологические приметы, о категориальных характеристиках ЧР. Достижения в области теории словообразования сделали, однако, эту линию исследования не единственно возможной. Изучение словообразовательных процессов по их семантике и особенно функциям, анализ производного слова как мотивированного знака, отсылающего к другому знаку, его понимание как единицы со свойствами двойной референции – к миру действительности и к миру слов – позволили более широкую интерпретацию тех ономаσιологических структур, что фиксируются производными словами разных типов (см. [Кубрякова 1978; Кубрякова 1981]).

С конца 80-х и особенно с начала 90-х гг. в работах зарубежных исследователей тоже появляются мысли о необходимости изучения словообразовательных

процессов и особенно номинализаций в целях более адекватного понимания когнитивных оснований ЧР и отношений, складывающихся в разных системах языков между глаголом и существительным (см., например, [Комри 1985; Talmy 1988; Croft 1991: 21 и сл.; Zucchi 1993 и др.]). Сказанным мы вовсе не хотим утверждать, что проблемы взаимодействия между разными частями речи или описание номинализаций не входили в круг интересов отечественных или зарубежных исследователей до указанного времени: они просто изучались в другом ракурсе и для решения иных задач (ср. [Бортэ 1980] или [Zimmermann 1967]); см. также изложение истории вопроса [Кубрякова 1981: 48 и сл.]). Фактически, однако, линия анализа, намеченная еще Е. Куриловичем и связывающая вопрос о первичных и вторичных функциях разных ЧР с проблемами синтаксической деривации, а также продолженная нами в книге о ЧР с ономасиологической точки зрения, была на долгое время прерванной. В настоящей главе мы возвращаемся к ней и пытаемся обосновать релевантность словообразовательного анализа в его ономасиологической форме для исследования ЧР в когнитивном плане, т. е. определения их концептуальных оснований.

С появлением когнитивного подхода любая из ономасиологических структур производных слов могла стать интерпретированной, как мы уже указали в главе о теории номинации, как структура знания и потому получить разъяснение в когнитивных терминах. Реинтерпретация понятий ономасиологического базиса, ономасиологического признака и ономасиологического предиката в когнитивных или концептуальных терминах возвращала по необходимости к понятиям предметности, признаковости и процессуальности как базовым категориям словообразования, а, следовательно, помещала и сами эти процессы в поле зрения когнитолога. В настоящей главе мы и остановимся прежде всего на возможности дать разъяснение перечисленным трем категориям с позиций словообразования, т. е. рассмотрим, как могут быть использованы данные об общих особенностях словообразовательных процессов в анализе когнитивных оснований ЧР.

Наверное, ни у кого не вызывает сомнения факт исключительной важности категорий предметности, признаковости и процессуальности для описания семантики ЧР. «Уроки прошлого» явно свидетельствуют о том, что именно этим, а не каким-либо другим категориям отводилась решающая роль в характеристике ЧР. Так, А. А. Шахматов указывал на то, что «различению частей речи соответствует природа наших представлений» и что среди ЧР одна соответствует «представлению о субстанции», другая — «представлению о качестве-свойстве» и, наконец, третья — представлению о «действии-состоянии, мыслимых вне сочетания с носителями или производителями их» [Шахматов 1941: 280]. С такой же четкостью пишет об этом и В. В. Виноградов: «Со стороны значения основные ЧР, — пишет он, — характеризуются следующими противопоставлениями: 1) существительное как называющее предмет (субстанцию) противопоставлено всем другим ЧР — прилагательному, наречию и глаголу как называющим признак предмета или

другого признака; 2) внутри ЧР, называющих признак, прилагательное и наречие, называющие непроцессуальный признак, противопоставлены глаголу, называющему процессуальный признак; 3) ЧР, называющие признак, противопоставляются также друг другу в зависимости от того, называют ли они признак только предмета (глагол, прилагательное) или признак как предмета, так и другого признака (наречие)» [Виноградов 1975: 437].

Прибавить к этому основополагающему определению не только ЧР, но и принципов организации всей системы ЧР можно было бы разве что упоминанием о дальнейшем противопоставлении назывных знаков неназывным (служебным словам) или о том, что наречие может относиться также и ко всему предложению и т. п. В сущности же здесь сказано все, что можно сказать о семантике ЧР. Определения В. В. Виноградова с незначительными модификациями использовались в отечественном языкознании в большинстве грамматик. Ср., например, указание Н. Ю. Шведовой о том, что первичное членение словаря диктуется распределением слов по категориям предметности, процессуальности, признаковости и количественности [Шведова 1988: 152]. Важность названных категорий для содержательной характеристики знаменательных ЧР и лексикона, таким образом, никем под сомнение не ставилась. Тем не менее как вопрос о реальном смысле категорий, так и вопрос о их границах и представленности в рамках определенных классов слов, по-прежнему вызывал острую полемику. Причиной ее всегда считали отсутствие одно-однозначных соответствий между категорией предметности и классом существительных, между категорией процессуальности и классом глаголов, между категорией признаковости и классом прилагательных и т. п. Именно отсутствие прямых соответствий указанного типа вынуждало многих ученых говорить о том, что концептуальные основания у разных ЧР если и не отсутствуют полностью, то все же таковы, что не позволяют выделять ЧР на их основе. Как и раньше, главным аргументом против когнитивной трактовки ЧР оставались якобы многочисленные примеры «нелогичного», «неправильного» подведения под определенную ЧР слов, которые не выражали как будто бы главной идеи «своей» ЧР.

И, действительно, обратившись к эмпирическим данным, мы легко можем убедиться в том, что среди глаголов, которым приписывается способность выражать представления о процессуальных признаках единиц, есть и такие, которые скорее передают идею положения в пространстве (сидеть, лежать), а среди прилагательных, служащих обозначениям атемпоральных признаков, можно легко указать на атрибуты типа *изменчивый, преходящий, непостоянный* и пр. Наконец, среди существительных можно назвать массу не имеющих отношения ни к предмету, ни к субстанции (типа *бег, белизна, доброта* и т. п.). На каких же основаниях происходит причисление подобных единиц — и в первую очередь дериватов — к определенной ЧР (тем более в тех языках, в которых слова отдельных ЧР не имеют четких морфологических маркеров)? Интересно отметить, что эти вопросы задава-

лись и теми, кто утверждал, что язык позволяет представить действие или состояние как «предмет» или что язык **одинаково** представляет нечто то глагольным, то субстантивным словом. Ср., например, суждения К. С. Аксакова о том, что один и тот же корень «может явиться или именем через форму *слав-а*, или глаголом *слав-ить*» (1938 г., цит. по [Алпатов 1990: 32]). Но ведь даже сто лет тому назад было ясно, что фиксация того или иного представления достигается «через форму» слова! Таким образом, мы снова подходим к проблеме **способа представления** той или иной концептуальной структуры и должны в силу этого разобраться именно в том, о чем свидетельствует **разная** форма представления «одного и того же» содержания и так ли уж тождественно оно в этих разноформенных случаях.

Говоря о том, что в *черноте* признак предмета представлен как предмет, А. М. Пешковский усматривал в этом «величайшее противоречие, величайшую алогичность, величайшую иррациональность языка» [Пешковский 1956: 71]. Немало пассажей о *близне*, *беге* и пр. мы приводили и раньше (ср. [Серебренников 1976, со ссылкой на А. Н. Савченко; Кубрякова 1978: 49–51; Алпатов 1990: 32, 51, 77 и т. п.]). Подытоживая эти рассуждения, С. Д. Кацнельсон писал: «Ходячие представления о том, что существительные выражают только предметы и субстанции, а прилагательные и глаголы только несубстанциональные признаки, подрываются многочисленными примерами вторичных значений, идущих вразрез с основными (первичными) значениями названных частей речи» [Кацнельсон 1972: 55]. Но ведь из этой же цитаты следует, что все-таки некие первичные значения существуют, а «вразрез» с ними идут значения **вторичные**. Именно на основании наличия таких **вторичных** значений делаются, однако, выводы о том, что понятийные основы ЧР — некий лингвистический миф. «В самом деле, — пишет Я. Г. Тестелец, — единственным признаком, по которому мы можем определить, которая из... категорий (речь идет о категориях качества, действия или предмета. — *Е. К.*)» представлена в данном слове, или другими словами, показателем того, как «мыслится» обозначаемый этим словом денотат, оказывается его частеречная характеристика, которая, таким образом, объясняет «самое себя» [Тестелец 1990: 77]. Но аналогичные слова Э. Бенвениста мы уже комментировали выше: о том, как «мыслится» денотат какого-либо обозначения, можно узнать в специальном эксперименте. Наверно, на вопрос о том, как мыслится стол или стул, любые испытуемые ответят, что это «вещь», «предмет мебели», «артефакт», независимо от того, заметят ли они, что эти слова принадлежат к классу существительных.

На гораздо более сложные проблемы, связанные с понятийной принадлежностью слова, указывают когнитологи: «Глаголы, — пишут Дж. Миллер и Ф. Джонсон-Лэрд, — часто определяют как слова, обозначающие действия. Но такое понятийное определение обычно сегодня отвергается, так как существует немало отклонений от него. “Знать” — это глагол, но это не действие, а “действие” — это существительное. И все же основания в этом определении есть» [Miller, Johnson-

Laird 1976]. В этом важном рассуждении подняты, собственно, две разные проблемы: одна касается того, как и почему в классе глагольных слов представлены также обозначения не-действий и в каком смысле «знать» может быть все-таки охарактеризовано как процессуальный признак. Другая проблема относится к языку описания, т. е. к метаязыку анализа. Здесь поднимается вопрос о том, почему, характеризуя не-предметные сущности, мы все же используем некие предметные или, скорее, опредмеченные имена.

Начнем с метаязыка описания. В своей «Когнитивной грамматике» Р. Лангакр посвящает этой проблеме важный кусок своей книги. Подчеркивая, что каждый раз, когда он описывает ментальные или психические состояния или явления, он использует субстантивные имена (ум — *mind*, мышление или мысль — *thought*, восприятие — *perception*, концепт — *concept* и пр.), он имеет при этом в виду процессуальные понятия. То же происходит и в том случае, когда он говорит о действиях (actions) или событиях (events). Ему кажется важным отметить, что за всеми этими понятиями и терминами стоят величины, указывающие на процессы (см. [Langacker 1987: 100 и сл.]). Такое обращение к существительному при демонстрации процессуальной величины он называет «реификацией» от англ. *reify* «представлять как нечто предметное», «овеществлять» (см., например, [Langacker 1991: 78]). Иначе говоря, Лангакр вводит (как и Л. Телми, см. ниже) в когнитивную грамматику термин, давно известный в отечественном языкознании — термин «опредмечивание», т. е. представление чего-то в виде материальной или субстанциональной (предметной) величины. Для того, чтобы объяснить это явление и правомочность введения в метаязык описания подобных реифицированных, т. е. опредмеченных имен, рассмотрим первоначально, как происходит подобная реификация, а затем и то, для чего она осуществляется.

В примерах Р. Лангакра важно то, что они восходят к латинским глаголам: сам же Лангакр, указывая, что подразумевает динамичные термины, причины этой скрытой в них динамичности не называет. Между тем обращение к этимологии слов демонстрирует это начало с предельной ясностью! Возьмем ли мы англ. *event* «событие» или же термин *perception* «восприятие» или англ. *concept* «концепт» и пр., мы можем с легкостью установить, что они представляют собой заимствования, созданы же они на базе глаголов: лат. *capio* означает конкретное действие «брать», «схватывать», ср. также лат. *con-cepio* и *per-cepio* или лат. *e-venio* «происходить», «случаться» от *venio* «приходить». Таким образом, рассмотренные заимствования — это отглагольные имена, благодаря чему естественнее всего предположить, что свои процессуальные характеристики они унаследовали от мотивировавших их глаголов.

Обобщая все, получавшее интерпретацию «отклонений» от обычных значений ЧР, мы можем теперь свести эти случаи к следующим ситуациям: 1 — заимствованиям, представляющим собой разные вторичные единицы номинации (производные); 2 — обозначениям типа *чернота*, *белизна*, *доброта*, представляющим со-

бой названия свойств или качеств, при этом мотивированных признаковой лексикой; 3 — обозначениям типа *бег, действие, состояние* и пр., представляющим собой названия процессуальных величин, мотивированных глаголами; 4 — случаям употребления прилагательных (*добрый; настоящее, будущее; больной* и пр.) как имен (субстантивация) и т. п. В качестве особых ситуаций можно было бы назвать также использование разных ЧР в менее типичных для них функциях (ср. *Дом лесника — чей дом? Курить вредно и Курение вредно* — что вредно? и т. д.). Все перечисленное показывает, что источниками многих примеров «нелогичных» значений у ЧР являются либо словообразовательные процессы, либо процессы синтаксические. Вторые мы рассмотрим в главе о дискурсивных особенностях ЧР, первые — в настоящей главе.

Осветив связи восприятия и результатов восприятия с языком, мы пытались продемонстрировать, что предметные значения у существительных, как и процессуальные признаковые значения у глаголов и атемпоральные признаковые значения у прилагательных, формируются в актах простейшего обозначения фрагментов материального и потому чувственно воспринимаемого мира. Прототипически они восходят к достаточно определенным с категориальной точки зрения фрагментам мира, определяемым остенсивным путем. Возможно даже, что наречению таких концептуальных структур предшествовало их вычленение и осознание в мозгу человека. Именно поэтому, как справедливо указывает Р. М. Фрумкина, «естественно искать определенное соответствие между именами объектов и мыслями об этих объектах, т. е. между тем, как мы концептуализируем мир, и тем, какие средства для этого дает нам язык» [Фрумкина 1989: 66].

Но так же естественно поставить на следующем этапе анализа вопрос о том, **могли ли** значения, называемые первичными и связываемые с номинацией жесткими десигнаторами, послужить далее базой для рождения более сложных значений, удаляемых от своих прототипов, и в ходе каких процессов такое «удаление» могло иметь место. Один из таких процессов — это, несомненно, семантическая деривация, семантическое развитие слова, регулярная полисемия, во всяком случае, в той ее мере, в какой она помогает понять возникновение более абстрактных значений на фоне более конкретных. Примеры семантических сдвигов такого рода общеизвестны: приведенные выше латинские глаголы тоже об этом свидетельствуют («понимать» из «схватывать», «воспринимать» из «принимать», т. е. «брать», «приобретать» и пр.).

Приведем по этому поводу еще один пример: в интересном исследовании Т. В. Топоровой о семантических мотивировках концептуально-значимой лексики древнеисландского языка [Топорова 1985] доказывается, что древнее сознание характеризуется не отдельным представлением категорий пространства и времени, но идеей хронотипа, т. е. единства пространства и времени. «При этом, — пишет Т. В. Топорова, — исходным является именно хронотоп, а пространство и время интерпретируются лишь как различные аспекты синтетического целого».

Выясняется также, что в основе представлений о пространстве и времени лежат такие признаки, как «далекий — близкий», «отделение — соединение», «покой — движение», «круг» и пр., которые, вообще говоря, имеют вполне ясную перцептуальную природу. Лишь на более поздних этапах на формирование понятий пространства и времени влияет язык [Топорова 1985: 11].

Таким образом, можно считать, что некоторые концепты даны человеку врожденно. Насколько перспективнее, однако, попытаться понять, как рождались некоторые из таких представлений и какие опережают какие и могут считаться «аксиоматическими».

Другой процесс, преобразующий конкретные лексические значения в более отвлеченные, абстрактные, — это процесс грамматизации. Его мы уже тоже описали выше. В связи с рассматриваемыми здесь проблемами хочется лишь подчеркнуть, что и при описании этого процесса выявляется, как возникают новые значения, но уже не новые лексические значения, как в процессах семантической деривации, а грамматические. Так, например, англ. *to go* «идти» приобретает в конструкции *I am going to do it* «Я собираюсь сделать это» значение «собираться», «намереваться» (сделать что-то), что превращает глагол движения (т. е. глагол с прототипическим значением этой ЧР) в показатель будущего времени и лишает исходный глагол возможности интерпретироваться как глагол движения. В историческом развитии языков подобные процессы с данным глаголом засвидетельствованы неоднократно, что и демонстрирует создание «несвойственных» якобы глаголу отвлеченных значений путем преобразования достаточно конкретной вначале концептуальной структуры.

Наконец, третий путь возникновения внутри класса слов с той или иной концептуальной особенностью новых рядов слов не просто с «отклоняющейся» семантикой, но и семантикой **гибридной**. Этим термином (см. также [Медведева 1983]) мы называем слова, ономаσιологическая структура которых включает в себя два разнородных категориальных начала, т. е. является обозначением предмета по его отношению к предмету или действию и т. д. Таковы те самые *белизна*, *бег*, *доброта*, *больной* и т. п., о которых мы столько говорили ранее. Эти слова созданы в процессах словообразования (словопроизводства), и для того, чтобы объяснить их семантическое и когнитивное своеобразие, и следует описать процессы словообразования как бы с новой точки зрения. Новизну подхода мы видим при этом в том, чтобы охарактеризовать цели и результаты словообразовательных процессов по тому, какие **структуры знания** был намерен отразить человек в процессах межчастеречной транспозиции и какие он зафиксировал при этом в виде производного слова.

Посвящая в своей предыдущей книге специальную главу транспозиции и ее роли в выявлении первичных и вторичных значений у отдельных знаменательных ЧР, мы писали, что «транспозиция — перевод из одного класса знаков в другой — оказывается такой операцией, которая позволяет добиться не только изме-

нения в синтаксисе знака, но и, напротив, сохранения за знаком неких его семантических свойств» и что — далее — «производное — это номинативный знак, сочетающий общекатегориальные значения исходного и результативного классов деривации и отражающий их в своей формальной и смысловой структуре расчлененным образом» [Кубрякова 1978: 65]. Позволю себе напомнить, что эти строки появились задолго до того, как в зарубежном языкознании получила распространение теория «наследования» производным словом определенных семантических свойств своего источника и когда в отечественном языкознании многими принимались положения о том, что категориальную специфику деривата передает исключительно тот аффикс, который был присоединен в производящей основе в последнем акте словообразования.

Как ясно следует из приведенной выше цитаты, мы объясняли смысловое значение транспозиции знаков, во-первых, связывая его с необходимостью изменить синтаксис знака. Мы имели при этом в виду явления номинализации, при которых говорящий превращал рематическую часть одного высказывания в тематическую другого, т. е. добивался связного повествования путем последовательного чередования ремы и темы, ср.:

*Мы приехали вчера поздно вечером.  
Наш вечерний поздний приезд всех встревожил.*

Ср. также:

*Дети играли во дворе.  
Игра детей продолжалась до вечера.*

Позднее мы подробно описали все разнообразные функции таких номинализаций и аналогичных процессов с другими частями речи [Кубрякова 1981], что и позволило нам утверждать, что словообразование служит не только лексикону, но и синтаксису, и в ходе осуществляемых в рамках словообразовательных процессов изменений отражены потребности синтаксиса, связанные с организацией текста, распределением в нем потока информации, а также свертыванием части информации в более компактные структуры. Сегодня это можно интерпретировать как выполнение производными словами новых дискурсивных функций (ср., например, типичное для номинализаций усиление референтных возможностей слова). Параллельно этому, во-вторых, мы подчеркивали факт сохранения в семантической структуре любого деривата категориального и лексического значения исходной (мотивирующей, «отсылочной») единицы наряду с приобретением ею категориального значения того класса слов, в который она включалась в акте словообразования.

Если уже в ономаσιологической концепции словообразования М. Докулила образование производного слова трактовалось как подведение обозначаемого под одну из базовых категорий человеческого опыта, а эта категория формировала

ономасиологический базис обозначаемого, то признавали здесь и то, что завершалась эта операция приписыванием базису определенного ономасиологического признака, формируемого основой мотивирующего слова. Из этого следовало, что ономасиологическая структура производного слова имеет принципиально двучастный характер и складывается из ономасиологического базиса, которому придан некий ономасиологический признак. Так, в слове *каменищик* усматривалось подведение слова под категорию носителя признака (лица), признаком же считалось указание на камень (как на предмет активного воздействия лица). Выразителем ономасиологического базиса считался суффикс *-щик*, выразителем признака (в философском смысле) основа *камен-* (см. [Dokulil 1962: 196–198]).

Развивая и уточняя эту концепцию, мы указали на то, что в качестве единиц, формирующих ономасиологические базисы производных слов, могли выступать не только суффиксы, но и другие морфологические приметы (ср. *руль* — *рулить*; *супруг* — *супруга*; *зло* — *злой* — *злит*; *синий* — *синеть*, *синить*), а также целые лексические единицы (ср. *лететь* — *перелететь* или *звук* и *ультра-звук* и т. д.). Мы указали далее, что приписывание ономасиологического признака ономасиологическому базису происходит посредством особого ономасиологического **предиката**, откуда различия в семантической структуре таких дериватов, как, например, *ход*, *хождение*, *ходьба* или таких, как *чернь*, *чернота* и *чернила*. Так, чтобы описать семантику дериватов типа *танкист*, *фельетонист*, *гитарист* или *значкист*, нужно восстановить именно ономасиологический предикат (*водит танк*, *писать фельетоны*, *играть на гитаре*, *носить значок*), а чтобы объяснить различие в значениях таких относительных прилагательных, как *сестрин*, *отцовский*, *клетчатый*, *носатый* и пр., надо не просто указать на различие формирующих их суффиксов, но и связать с каждым из них определенный выражаемый им «предикат» (принадлежать, состоять, обладать и т. п.).

Ономасиологическая структура производного слова поэтому **трехчленна**, а ее организация зависит от того, с помощью какой единицы сформированы базис, признак и предикат (связка). По своему устройству эта структура изоморфна трехчленной пропозиции, т. е. пропозиции, объединяющей единой функцией два аргумента. Отчетливее всего подобные структуры представлены сложными словами: *трубочист* — это «тот, кто чистит трубы», а *землепашец* — «тот, кто пашет землю». Но такими же структурами представлены, по существу, и производные единицы: *купальня* — это «место для того, чтобы купаться», а *свинарня* — это «помещение для содержания свиней» и т. п. Очевидно также, что ономасиологическая связка или предикат осуществляют связывание в единую структуру двух категориальных концептов, один из которых фиксируется базисом слова (т. е. той ЧР, в которую в акте номинации включается знак), а другой — ономасиологическим признаком (т. е. той ЧР, которой характеризуется мотивирующее слово). В отличие от простых, непроектных знаков, выражающих принадлежность слов к одной-единственной категории, производное слово, напротив, принадлежа одной

категории, хранит в себе тем не менее след другой и потому «гибридно». Если обратиться к *бегу*, это значит, что в нем мы обнаруживаем след глагольной категории и нередко характеризуем поэтому само имя как процессуальное и событийное. Аналогично этому слова типа *близна* или *доброта* правильно интерпретируются как имена качеств или свойств, но это возможно лишь потому, что соответствующее качество или свойство было обозначено мотивирующими прилагательными *белый* и *добрый*. Можно трактовать производное как противоречивый знак, т. е. знак, обладающий противоречивыми чертами: с одной стороны, как отдельная лексема производное слово передает индивидуальное значение, с другой стороны, поскольку в его передаче используется расчлененный способ представления такого значения, дефиниция производного должна отразить и референцию к определенному денотату, и референцию к своему источнику. Доброту можно описать как особое душевное свойство, как предрасположенность человека делать добро, как способность нести доброе начало и т. д. В словарной же его дефиниции должна быть указана его референция к качеству «добрый».

Вообще говоря, о круге значений, развиваемых в ходе словообразовательных процессов, можно было бы сказать гораздо больше. Подобно тому, как грамматические категории развивают общую идею предметности или признаковости и «субкатегоризируют», т. е. детализируют и дробят эту идею, словообразовательные (ономазиологические) категории продолжают начатое членение или создают новое. Но идти «вразрез» с общей идеей, заложенной в той или иной ЧР, они не могут. В этом смысле как списки словообразовательных значений, так и само их конкретное наполнение отчетливо свидетельствуют о том, какую именно общую идею они развивают. Не случайно в типологии отмечают тот факт, что то, что в одном языке выражено грамматически, в другом находит свою реализацию с помощью словообразования. Но уже сама повторяемость подобных значений — доказательство не только их прагматической релевантности, но и совпадения в том, как именно может члениться определенная общая идея.

Если к числу кардинальных концептов, характеризующих существительное, причисляют концепты предмета, лица, места, то это утверждение может быть поддержано не только массой простых, непроизводных имен с этим значением, но и существованием специальных словообразовательных формативов, создающих категории *nomina loci*, *nomina agentis* и т. п. Аналогично этому можно было бы сказать, что если в производных глаголах развиваются такие значения, как значения направления движения, времени и фаз его протекания, способа перемещения, его среды и т. п. (ср., например, [Аминова 1993: 116–117]), это ясно свидетельствует о том, что развитию и детализации здесь подвергается общая идея движения или действия.

Особый интерес в анализе словообразовательных значений представляет, на наш взгляд, безаффиксальная транспозиция. В ситуации, когда новое значение у производного слова возникает исключительно как следствие перемещения исход-

ного знака в новую ЧР, т. е. без опосредования нового значения специальным словообразовательным формантом, в появлении такого значения можно «винить» только саму транспозицию. Включение знака в новую часть речи означает именно то, что им хотели выразить одно из категориальных значений соответствующей ЧР. Так, если мы знаем, что значит «синий», а значение *синить* определяем как ‘делать синим’, а *синеть* — как ‘становиться синим’, «проявлять этот цвет», из этого следует, что такие значения, как «делать» и «становиться» являются кардинальными категориальными значениями глагола как такового. Ср. также *руль* — *рулить*, ‘действовать рулем’, *ссора* — *ссорить*, ‘каузировать ссору’, *вдова* — *вдоветь*, ‘быть вдовой’ и т. п. В этих процессах отчетливо видно, что наследуется (значение исходного знака, что подтверждается референцией ко всему знаку в дефиниции производного слова), а что приобретается (категориальное значение новой ЧР в его наиболее чистом и сублимированном виде).

Как совершенно справедливо указывает В. М. Алпатов, «...если некоторые лексеммы образуют тот или иной член предложения только в сочетании с транспозитором (специальным грамматическим показателем, сигнализирующим о полном или неполном переводе из одного класса в другой), то такую функцию не следует считать типичной для данных лексем» [Алпатов 1990: 38]. Проще говоря: если новая функция маркируется специальным формальным средством, то и выразителем этой функции является формальное средство, а не лексема как таковая. Так, в английском языке при субстантивации прилагательных происходит либо их маркирование артиклем (*the reds* ‘красные’), либо показателем мн. ч., что свойственно только существительным, функцию обозначения лица, соответственно, нельзя считать первичной для адъективного слова. В качестве примеров сам В. М. Алпатов приводит имена в роли сказуемых, когда они требуют для выполнения этой роли глагола-связки, а также глагольные актантные члены в тюркских, монгольском, японском и других языках, где для осуществления актантной роли требуется субстантиватор (номинализатор). С таким же успехом можно, однако, говорить и о том, что транспозиция типа *Он ушел вчера* → *его вчерашний уход* свидетельствуют о том, что *уход* не может считаться демонстрирующим первичную функцию глагола, так же, как и *вчерашний* — типичную функцию наречия. Вместе с тем не лишне отметить, что транспозиция в первом случае носит безаффиксальный характер, а во втором — аффиксальный.

Итак, безаффиксальная транспозиция — замечательное доказательство существования у каждой кардинальной части речи нескольких ведущих и в определенном смысле первичных значений, а потому ее исследование и детальное описание — один из возможных путей изучения концептуальных оснований ЧР, а также разграничения их первичных и вторичных значений. Исследования деноминативных и деадъективных глаголов, с одной стороны, отглагольных имен, с другой, и наконец, деадъективных имен и отглагольных и отыменных прилагательных, с третьей, при условии отсутствия в их морфолого-деривационной структуре спе-

циального материального показателя акта словообразования, дает основание усматривать в них особые когнитивные структуры, отражающие знание об отношениях, существующих фактически между объектом и процессом, объектом и его признаками, объектом и другим объектом и т. п. А поскольку все процессы познания протекают как связанные с определенными структурами деятельности, акты наречения мира выступают как подчиненные описанию этих разных типов деятельности и, главное, их отдельных компонентов — участников деятельности (лица и предметы), характеризующих их операций, инструментов или средств деятельности, времени и места ее протекания, ее целей и результатов.

Удивительно, как отдельные факты языка и результаты анализа, выполненного некогда для решения определенных задач, оказываются затем значимыми совершенно в другом отношении. Так, если в книге о семантике производного слова нас интересовал в первую очередь вопрос о диапазоне словообразовательных значений, развиваемых во многих языках, их номенклатуре и технике их создания, их функциях в тексте, то сейчас выявилась возможность интерпретировать эти же данные в новом свете: рассмотрев словообразовательные значения как субкатегоризирующие номинативное пространство отдельных ЧР и членящие с большей степенью детализации главные концепты назывных ЧР, а далее и связав функции производных слов в тексте с выполнением ими важнейших синтаксических задач. Особенно существенны в этом отношении так называемые падежные значения, т. е. отражающие роли участников ситуации в описываемой деятельности. Ведь в принципе такие роли становятся ясными только из дискурса. Но в области словообразования такие дискурсивные характеристики становятся предметом специальных обозначений, — они маркируются деривационными средствами. Вследствие этого можно полагать, что само концептуальное поле существительных предназначается в первую очередь для того, чтобы описывать актанты или партиципранты, т. е. участников ситуации (предметы, лица, задействованные в ситуациях или событиях в разных ролях, орудия, средства).

При анализе актов наречения можно предложить различать с когнитивной точки зрения: 1 — отдельные обозначения разных компонентов деятельности (все такие компоненты, за исключением операций или действий, можно описать с помощью аппарата падежной грамматики, проводя при этом целесообразное деление этих компонентов на собственно участников деятельности и сирконстанты); 2 — обозначения операций и действий, в которых они рисуются как неотторжимые от участников действий или их объектов, или обстоятельств деятельности (ср. *мыть, солить, штормить, морозить, fruitь, минифовать* пр.); 3 — разного рода метонимические обозначения (*разрез* — место, результат, поверхность); 4 — иные «тропные» обозначения (метафоры, переносы). Естественно, что такой список можно было бы продолжить, но важно здесь то, что каждый из указанных типов обозначений соотношен с определенной структурой знаний, т. е. концептуализирован в корреляции с такой глобальной единицей, как человеческая деятельность.

Выяснив происхождение значений, не совпадающих с прототипическими значениями «своей» ЧР и связав их со словообразовательными процессами как составляющими определенный категориальный след в семантике нового знака, мы все же не ответили и на другой сложный вопрос: почему для описания, казалось бы, одной и той же ситуации, одного и того же положения дел мы можем использовать слова разных ЧР. Мыслится ли нами, действительно, одно и то же, когда мы используем для обозначения слов разных ЧР, например, тогда, когда характеризуя человека, мы говорим про него либо «добрый человек», либо «добряк», либо «с синими глазами», либо «синеглазый» и т. д.? Если за такими парами не скрываются никакие концептуальные различия, тогда, может быть правы те ученые, которые утверждают, что ЧР и не могут быть определены на понятийных основаниях? Сомнения такого рода, конечно, имеют право на существование, и объяснение тонких различий в многочисленных случаях аналогичного типа — задача весьма нелегкая, но все-таки разрешимая.

С одной стороны, поднимая этот вопрос, мы продолжаем анализировать результаты словообразовательных процессов по их интенциональной направленности: ведь ясно, что проведение этих процессов преследует какие-то цели, соответствующие интенции говорящего. Иначе говоря, рассуждая о том, почему человек выбрал тот или иной способ описания явления или ситуации, мы должны попытаться прояснить мотивы этого выбора. С другой стороны, поднятый вопрос касается непосредственно и метаязыка описания: если констатируя концептуальные основания, например, глагола, мы используем то концепты, отвечающие на вопрос: что он делает? что происходит?, т. е. глаголы типа **действовать**, **двигаться** и т. п., то существительные типа **действие**, **событие** и пр., очевидно, что выбор происходит между исходной единицей и ее дериватом. В этой области поднятый нами вопрос сводится скорее всего к вопросу о том, что позволяет существительному выступать в качестве едва ли не главной единицы метаязыка, правда, соперничающей с прилагательным при описании лингвистических признаков типа **время** и **временной**, **темпоральный**. Ср. «падежные значения» или «падежные категории» и «значения падежа» и «категории падежа», «частеречные характеристики» и «характеристики частей речи». Наконец, поднимаемая проблема имеет прямое отношение и к проблемам семантической эквивалентности, равнозначности и синонимии.

Конечно, у этой проблемы тоже есть своя история, связанная в новой лингвистике с созданием языка семантической записи. Рассмотрение ее истории, однако, увело бы нас в сторону от интересующей нас тематики, и мы осветим ее лишь в той мере, в какой хотели бы разъяснить специфику значений отдельных ЧР и, следовательно, специфику тех структур репрезентации знаний, которые активизируются словами разных ЧР. Используя когнитивную терминологию, можно было бы сказать, что речь идет о ментальных моделях или образах ситуации, изображаемой словами разных ЧР.

Попытку объяснить различие в употреблении указанных единиц в зарубежном языкознании мы находим лишь в начале 80-х гг. Отмечая, что проблема разбиения лексического состава языка осложняется тем, что слова типа англ. *motion* «движение» точно так же означают действие, как и слово *move* «двигаться», или тем, что слово *whiteness* «белизна» настолько же свойство, насколько и слово *white* «белый», В. Крофт подчеркивает вместе с тем, что мыслятся здесь разные вещи. Один раз человек хочет отослать непосредственно к действию или свойству, не приписывая их никакому объекту, в другом случае, напротив, он хочет охарактеризовать ими определенный объект [Croft 1984: 53 и сл.]. Хотя в своем стремлении объяснить особенности значения ЧР В. Крофт находится, на наш взгляд, на правильном пути (ведь он обращается к тому, как представляется человеку описываемое явление), ему можно было бы возразить, что и в случаях типа *белизна скатерти* (ср. *белая скатерть*) или *действие рычагом* (ср. *действовать рычагом*) мы встречаемся с разным описанием, но в таких ситуациях признаки мыслятся как отнесенные к объектам. Нам кажется, что различие в использовании ЧР связано скорее с очень тонкими и почти неуловимыми различиями в том, что именно находится в фокусе внимания человека. Лишь в условиях номинализации непредметных сущностей достигается возможность сфокусировать внимание на признаке, сделав именно его предметом особого рассмотрения. Используя слова Н. Д. Арутюновой, следует сказать, что здесь «в процессе деривации осуществляется перенос синтаксического центра в семантически подчиненный, зависимый элемент с целью его выделения» [Арутюнова 1976: 131]. Эти и более детальные даваемые ею толкования номинализаций дают основания предположить, что вне обращения к контексту, к дискурсу уловить нюансы значения в параллельных конструкциях достаточно сложно. Между тем учет контекста, напротив, помогает понять, чем мотивировано использование словосочетаний типа *синева глаз*, *шифота стеной* и пр. в отличие от *синих глаз*, *широкой степи* и т. д.

Естественно, что контекст выявляет с большей степенью очевидности, что именно хотел сказать говорящий, и все же, думается, что подобные дискурсивные особенности прочтения слов разных ЧР настолько же значимы, как, например, идентификация для этих слов тех семантико-синтаксических ролей (бенефицианта, малефицианта, агенса и пациенса и т. п.), которые они выполняют в дискурсе. Возможно, что по этой причине некоторые когнитологи стремились объяснить различие семантики ЧР, взятых вне контекста. Особенно это относится к истолкованию процесса номинализации, или реификации, о которых мы уже говорили выше. Впервые понятие реификации, насколько нам известно, было введено в зарубежном языкознании в работах Р. Лангакра и Л. Телми.

Рассуждая о соотношении грамматики и лексики в языках мира и о причинах появления в устройстве языка двух этих систем, Л. Телми связывает их с двумя различными функциями: в то время как грамматика служит для создания концептуального каркаса предложения, его остова, лексика и ее элементы служат для

наполнения этой схематической структуры конкретным содержанием. Именно благодаря этому обстоятельству в грамматике обрабатываются те понятия, которые существенны для организации высказывания и которые сами концентрируются вокруг неких измерений пространства и времени. При этом единицы, существующие в пространстве — как дискретные, так и недискретные (субстанции) — это обычно действия и события. Конверсия оказывается тогда такой операцией, которая обеспечивает связь между ними, так что действие или событие, обозначенное глаголом, могут — путем их номинализации — подвергнуться переосмыслению. Подобное когнитивное переосмысление и называется реификацией — опредмечиванием. Посредством указанной когнитивной операции процессуальный референт концептуализируется как объект или субстанция, вещество, масса: он представляется как принимающий участие в деятельности в виде ее партиципанта, ср.:

<b>события</b>	<b>реификация в виде объектов</b>
John called me (актив)	John gave me a call (called a call)
Джон (по)звонил мне	ср. звонок Джона
I was called by John (пасс.)	I got a call from John
<b>действия</b>	<b>реификация в виде «массы»</b>
John helped me (актив)	John gave me some help
Джон помог мне	ср. Джон оказал мне небольшую помощь
I was helped by John	I got some help from John

Возможен и обратный процесс: вербализация, когда объект становится «внутренним» актантом действия — типа рус. *no-calimъ* или англ. *I pitted the cherry* 'Я вынул косточку из вишни' от *pit* 'косточка' [Talmy, 1988: 175 и сл.].

Данная с когнитивных позиций трактовка конверсии мало чем отличается от традиционной, но некоторые новые мотивы происходящего здесь переосмысления, разумеется, намечены: это прежде всего указание на переход в актантную зону для существительных и номинализации и, напротив, переход в событийно-процессуальную — для глаголов и вербализации. Иначе говоря, подобная трактовка возвращает нас к пониманию того, что все номинативное пространство существительных представляет собой познание объектов и субстанций как участников определенных видов деятельности, тогда как пространство глагольной лексики — это пространство, относящееся к существующему и протекающему во времени движению, — пространству ситуаций и событий или же действий.

Близка к этому и интерпретация Р. Лангакра. Отмечая в одной из своих последних работ, что абстрактные имена были всегда сложны для понятийного анализа, он полагает, что с когнитивной точки зрения им можно дать вполне разумное истолкование. Конечно, лексические единицы типа англ. *explode* 'взрывать' и *explosion* 'взрыв' могут описывать одну и ту же ситуацию (ср. рус. *Что-то взорвалось*

и *Раздался взрыв*). Из этого делают вывод, что частеречное, категориальное значение формы не может быть установлено на основе ее семантики. Но контрастирует здесь именно семантика, и судить об этом можно по тому, какая сцена представляется в сознании говорящих. По мнению Р. Лангакра, использование глагола заставляет вообразить происходящее как что-то длящееся или случающееся во времени, тогда как использование существительного ведет к представлению этой сцены в виде единого (одномоментного) объекта восприятия. Взрыв — это как бы нечто ограниченное, соответствующее одному и отдельно взятому состоянию из всего действия (взрывать), это единица действия [Langacker 1991: 98]. Образы, активизируемые разными языковыми формами, — различны, а, следовательно, и их значения — тоже [Там же: 63].

Соглашаясь с доводами этого ученого, мы бы хотели отметить, что в приводимых им примерах о принадлежности к разным ЧР свидетельствуют и сами языковые формы, т. е. что различия в семантике здесь и следовало бы ожидать из-за нетождественности способов ее выражения. Конечно, случаи чистой конверсии (безаффиксальной транспозиции) представляются в этом смысле более сложными. Тем не менее резоны конверсии те же — перекатегоризация, редистрибуция знака, а такая операция происходит не только для осуществления неких семантических, но и неких синтаксических заданий. Ведь вместе с «переходом» знака в другую ЧР изменяется и его синтаксическая функция, поэтому хорошо бы не смешивать в описании конверсии как когнитивного процесса причин и следствий.

Представляется, что безаффиксальная транспозиция как когнитивный феномен ярче всего отражает способность человека устанавливать простые причинно-следственные отношения в этом мире: в результате осуществляемой деятельности и действия как ее части что-то создается (стена треснула — появилась трещина), деятельность достаточно тесно связана с орудием, которым она осуществляется (ср. пилить — пила), а предметы взаимодействуют в реальном мире независимо от того, что они собой фактически представляют. «Хорошо известно, — пишет Н. Д. Арутюнова, — сколь различны действия, целью которых является создание разных предметов», ибо «именно объект определяет характер действия, направленного на его создание, изменение или уничтожение». «Средневековые логики прямо утверждали, что *objectum specificat actum* ‘объект определяет действие’» [Арутюнова 1976: 125]. Все типы подобной взаимозависимости между простейшими объектами и простейшими действиями с ними не могли не привлекать к себе внимания человека и не отражаться в актах познания мира. Их-то и «кодировал» человек в рамках конверсии, которую можно обнаружить и в древних языках (ее, например, много в латыни, ср. *corona* ‘корона’ — *coronare* ‘короновать’ и пр.). В русском языке привычно выглядят такие словосочетания как *петь песню, писать письмо, рисовать рисунки* или даже *ходить, сделав ход конем*. В английском

языке такими же обычными выглядят словосочетания не только *to sing a song* или *to think a thought*, но и *to smile a smile* и им подобные.

Интересно при этом, конечно, и то, что все же даже при материальном равенстве структур одна из них — производная, вторичная, — оказывается сложнее другой и концептуально от нее отличающейся, ср. англ. *sail* ‘парус’ и ‘идти под парусом’ или *water* ‘вода’ и ‘снабдить водой’, ‘полить (цветы)’; шведск. *film* ‘фильм’ и *filma* ‘сниматься в фильме’ и ‘производить киносъемку’, *blad* ‘лист’, *blada* ‘листать’, ‘переворачивать листы’. Таких примеров немало и в других скандинавских языках. Это и означает, помимо всего прочего, что включение единицы в новый для нее класс придает ей обязательно значение этого класса, т. е. способность выражать его общую идею.

Лишь в этом свете становится понятным и «именной стиль» метаязыка описания, т. е. возможность охарактеризовать с помощью номинализации любой концепт, любое понятие, которое, каким бы оно ни было по своему происхождению, обретает способность выделить обозначаемое в виде самостоятельного участника ситуации. Интересно, что так часто создаются термины, а они ясно связывают описываемую с их помощью ситуацию с особым концептуальным полем и тем самым — с определенной областью познания.

В одной из последних работ о номинализациях правильно констатируется, что учение о номинализациях должно ответить на вопросы о том, какие отношения складываются при этом между глаголом и мотивированным именем, а также, можно ли восстановить значение глагола по имени и, главное, сравнивая их, установить их семантическое различие [Zucchi 1993]. Мы давно описали случаи такого рода [Кубрякова 1981] и указали, что различие особенно очевидно после глаголов восприятия:

ср. *Я услышал стук в дверь*  
*Я услышал, что/как стучали/стучат,*

из чего ясно следует, что номинализация «снимает» те актуальные характеристики, которые обязательны для использования глагола.

Ср. также после глаголов «помнить» или «вспомнить» (*remember*): *Я вспомнил о его приезде* в отличие от *Я вспомнил, что он должен приехать/приедет/приехал/приезжал*, что в английском варианте демонстрирует и некоторое иное отличие: *I remember John's arrival*, что скорее значит ‘Я помню (про) приезд Джона’ и *I remember that John arrived*, что значит ‘Я помню, что Джон приехал’. Первое является констатацией факта, второе — скорее результатом процесса. Ср. еще *Я заметил, что Маша бледна/была бледна/как бледна* и т. п. по сравнению с *Я заметил бледность Маши*. Из сказанного можно сделать несколько выводов: во-первых, номинализации (абстрактные отглагольные и отаггективные существительные) надо изучать в дискурсе, тогда различие этих единиц выявляется достаточно ясно; номинализации как бы «многозначные единицы» и могут быть кореферентными разным типам прида-

точных предложений: в отличие от последних они не содержат сами по себе временных, модальных или аспектуальных характеристик, что означает, во-вторых, что именно эти значения «глагольны». Наконец, третий вывод, основной для анализа ЧР вообще, — данные словообразования важны для их понимания и описания.

Признавая, что анализ мотивов образования производных глаголов, производных существительных и производных прилагательных, мотивированных словами других ЧР, должен был бы стать предметом специального исследования, как, впрочем, темой отдельного исследования должно было бы стать также изучение различий в номинации разноструктурными единицами, мы вынуждены здесь ограничиться несколькими соображениями по этому поводу. Во-первых, следует обособить две разных намеченных нами линии анализа — одна связана с исследованием самих процессов словообразования и касается когнитивных механизмов этих процессов. Акцент делается в этом случае именно на семантических особенностях возникающих в актах деривации слов. Вторая линия анализа — изучение дериватов в дискурсе, их сравнение с другими единицами номинации в тексте. Акцент делается в данном случае на том, что же именно достигается в описании ситуации или события при использовании в этом описании либо аналитической дескрипции, либо компактного производного слова. Обе методики дают интересные и важные результаты, и некоторые фрагменты такого описания были даны выше. Остановимся в заключение на более общих моментах этих методик по их значимости для установления когнитивных оснований разных ЧР.

Если глагол, существительное или прилагательное транспонируются в другую ЧР, разумно поставить вопрос о том, что устраняется при этом из их семантической структуры и какие присущие ей концепты оказываются элиминированными: ясно, что лексическое значение элиминировано быть не может (оно становится ядром будущего деривата, формирующего его отсылочную часть). К какой же части семантики исходного знака это относится? Тщательное исследование словообразовательных процессов позволяет нам утверждать, что **ингерентные для данной части речи концепты устранены быть не могут**, устраняются лишь ее модификационные (словоизменяемые, субкатегориальные, но не категориальные) характеристики. А это означает, что **наследуются** главные для данной ЧР концепты и потому, обнаружив их в структуре производного знака, мы должны констатировать их релевантность для характеристики части речи как таковой. Концептуальные основания отдельных ЧР неустранимы, неотторгаемы: то, что остается в готовом знаке после осуществления процесса словообразования, входит в концептуальное ядро ЧР.

Именно поэтому даже в сложных словах, непосредственно составляющими которых оказываются основы (типа *водовоз, лесоруб, самолет* и пр.), мы всегда можем определить, с основой какой ЧР мы имеем дело. Словообразовательные фор-

мулы, т. е. словообразовательные значения отдельных словообразовательных моделей, всегда содержат указания на эти категориальные значения ЧР, а, следовательно, их и можно использовать в этом качестве — для составления списка категориальных значений ЧР. Так, в ряду *добреть*, *стареть*, *белеть*, где выделяется значение становления качества, когнитивный анализ легко устанавливает два категориальных значения — одно (качество) явно связано с исходными прилагательными, другое — с включением в класс глаголов. Заметим, что у прилагательных устранены модифицирующие их характеристики рода и числа, но не устранены свойства **градуируемости** (*добреть* означает не только ‘становиться добрым’, но и ‘становиться добрее’). Совершенно очевидно также, что включение в класс глаголов означает приобретение словом характеристик протекания во времени, изменения.

Изучение **приобретаемых** свойств тоже открывает в семантике разных ЧР интересные и конституирующие их свойства. Как пишет фон Слагле, глаголы могут рассматриваться как единицы, вводящие в фокус внимания изменения положения дел в пространстве или в качестве вещей (так, *лететь* означает «переместиться, нестись по воздуху», а также «быстро изменяться» — ср. *цены летят вверх*). Сдвиг в категориальной принадлежности слова (переход в другую ЧР) влечет за собой сдвиг и в том, что находится при этом в фокусе внимания [Slagle 1974: 42]. Так, в *добреть* в фокусе внимания изменения в свойствах, а в *доброте* — само свойство или качество как нечто отдельное, а потому слово может быть использовано безотносительно того, на кого оно распространяется. В *белой скатерти* внимание фокусируется скорее на скатерти, а в *близне скатерти* — на белизне, как ее отдельном свойстве.

Со сказанным можно сравнить и замечание Дж. Тейлора о том, что если глаголы обозначают процессы как отношение, сканируемое во времени, то и отглагольные существительные этого типа сохраняют способность выступать в качестве реляционных (relational) имен, они тоже отсылают к определенному отношению — ср. *восстановить что-то или кого-то* и *восстановление чего-то или кого-то* и т. п. [Taylor 1994: 214–215].

Наличие указанных черт в семантических структурах дериватов ведет к тому, что их анализ может рассматриваться как особый методический прием в исследовании концептуальных оснований ЧР. Однако, естественно, что для самого анализа семантических структур можно обращаться не только к лексикографическим источникам. Отсюда — изучение дериватов в дискурсе и такой методический прием, как сравнение однокорневых образований в тексте, служившее нам когда-то основанием для исследования дискурсивных функций производных слов по сравнению с симплексами. Сегодня этот прием может получить расширительное толкование, поскольку он позволяет установить реальные различия того, что связано с употреблением разных ЧР в ситуации описания одного и того же события. Так, например, в немецких предложениях

Das Flugzeug macht ein Kreis über der Stadt

‘Самолет делает круг над городом’ и

Das Flugzeug kreist über der Stadt

‘Самолет кружится над городом’

(как и в соответствующих русских предложениях) дано описание в общем одной и той же ситуации. Но оказывается, что дело заключается не только в экстенционалах предложений, но и в том, как они конкретно выражены, а поэтому в первом предложении содержится указание на остенсивно определяемую траекторию полета (один круг), а во втором — о действии, характеризуемом по его траектории, но в то же время наводящем на мысль о рекурсивности его осуществления (возможно, самолет делает несколько кругов, один из которых неполный и т. п.).

Интереснейшие соображения аналогичного рода содержатся в работе А. Вежбицкой, посвященной принципиальным различиям в семантике существительного и прилагательного [Wierzbicka 1988], из которой мы выбираем в настоящем месте книги лишь те, которые относятся к различиям соотносительных прилагательного и существительного в парах типа *young—youth*, т. е. примерно *юный* и *юноша* или *молодой—молодец*. Сравнивая единицы в таких парах, она замечает, что они ярко свидетельствуют о нетождественности семантики прилагательного и существительного: первое обозначает отдельно выбранный признак, существительное же, по ее мнению, фиксирует **вид** или **категорию** вещей и потому первое служит **дескрипции** предметов, а второе — их **категоризации**. Так, *юноша* фиксирует принадлежность к классу людей, находящихся в периоде, переходном от отрочества к зрелости, *горбун* — к особому виду калек, как и *добряк* — к категории добрых людей. Она совершенно правильно подчеркивает **несводимость** семантики существительного к какому бы то ни было пучку признаков (и с этим она связывает трудности компонентного анализа). Проще говоря, она подчеркивает, что существительное обозначает гештальт, целостность, не разложимую на ее составляющие. Именно поэтому в ментальной репрезентации оно дано в виде единого образа, а не какой-то совокупности признаков [Там же: 470 и сл.].

Весьма интересен и анализ этой работы, данный В. Крофтом и развивающий содержащиеся в ней идеи [Croft 1991: 101 и сл.]. Привлекая к анализу рассмотренные публикации Р. Лангакра (их мы осветили выше) и Д. Болинджера, уже в 1975 г. отметившего существенные различия в семантике ЧР (по его мнению, например, слово *высота* воспринимается как предметное, а *высокий* — нет, слово *суетливый* не наводит на мысль об отношении этого понятия ко времени, тогда как *суетиться* — наводит), он, однако, подобно Болинджеру, находит объяснение указанным различиям в том, какие дискурсивные функции выполняют обычно слова разных ЧР. В предложении обычно говорят о лицах или предметах, указывает Болинджер [Bolinger 1975: 142 и сл.], его субъектом является существительное, поэтому существительные и обозначают чаще всего названные концепты. Другая часть

пропозиции — предикат — описывает обычно некие типы деятельности, производимые лицами или предметами, а потому созданный для его реализации глагол и обозначает нечто, концентрирующееся вокруг этого понятия.

Анализ А. Вежбицкой, Д. Болинджера и пр. выводит, по мысли В. Крофта, на необходимость рассмотрения того, что представляют собой прототипические предикаты в отличие от прототипических субъектов или топиков, и заставляет учесть все данные, выявляющиеся во время такого дискурсивного анализа. Это означает необходимость учета прагматических факторов в концептуализации ситуации и их релевантность для выбора языкового способа ее представления. Прототипы ЧР не существуют сами по себе, у них есть резон их появления: лексические значения должны быть как-то совмещены с тем, какие функции они должны выполнять в составе предложения [Croft 1991: 101 и сл.]. Этим важнейшим выводом и определяются пути анализа ЧР по их роли в дискурсе, чему ниже мы посвящаем специальную главу. Здесь же хочется отметить, как к этому выводу привело рассмотрение словообразовательных процессов и их последствий, когда внимание исследователя привлекли различия в семантике слов, сходных по своим референтным возможностям из-за тождества содержащихся в них корней или основ и все же фиксирующих в описываемой ситуации разные ее детали и по-разному распределяющих информацию, меняя соотношение в ее описании фона и фигуры. Очевидно также, что данные, полученные при осуществлении словообразовательного анализа, следует распространить далее и на весь концептуальный анализ ЧР. Это мы и совершим в следующих главах работы.

## *Глава вторая*

### **ЧАСТИ РЕЧИ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И РОЛЬ ДИСКУРСИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ИХ ОРГАНИЗАЦИИ**

В главе о категоризации мы подробно рассмотрели новые взгляды на понятие категории и охарактеризовали представление о естественных и прототипических категориях вообще и в языке в частности. В настоящей главе мы продолжаем эту линию исследования, применяя указанное понятие в анализе ЧР и демонстрируя у них наличие признаков, позволяющих рассматривать каждую ЧР как построенную по прототипическому принципу. Думается, что это разрешит по-новому объяснить правомочность традиционного определения ЧР по совокупности так называемых «смешанных» критериев, а также некоторые особенности развития этих категорий и их функционирования в современных языках. Предваряя такое рассмотрение, хотелось бы отметить, что в анализе ЧР всегда сталкивались «формалисты» и «концептуалисты». Первые настаивали на необходимости выделять классы слов на чисто формальных основаниях, вторые, напротив, на понятийных. На практике же преобладали те, кто полагал, что выделение ЧР в конкретном языке основывается на некоторой компромиссной точке зрения, ибо в таком случае учитывается вся совокупность разноуровневых признаков, свойственная обычно отдельной ЧР. И хотя нередко и в этом случае возникала проблема о выделении среди набора признаков «главного» или «детерминирующего» свойства определенной ЧР и спор о борьбе формальных или содержательных начал в строении ЧР продолжался, последователи идеи смешанных признаков добивались гораздо больших успехов в освещении особенностей ЧР как раз потому, что ими принимались во внимание разноуровневые характеристики ЧР. Иначе говоря, комплексное освещение ЧР, оправданное эмпирически, нуждалось в теоретическом обосновании.

С дескриптивной точки зрения важно было решить и другую проблему в освещении ЧР — вопрос о том, с чего целесообразнее начинать анализ классов слов в

неизученных или же мало изученных языках: с описания формальных (дистрибутивных, позиционных и пр.) или понятийных начал.

Немалое число ученых настаивает сегодня на том, что предпосылкой выделения тех или иных ЧР в конкретном языке является первоначальное обнаружение в этом языке **формальных** классов слов и лишь последующее их изучение по передаваемому этим классом содержанию. В результате такого анализа может, кстати говоря, обнаружиться и отсутствие у этого класса содержательного единства. Тогда приписывание классу статуса ЧР само собой отпадает (ср., например, выделение отдельных типов склонения или спряжения). Точно так же, если в результате вычленения какого-либо формального класса слов оказывается, что связывающий их концепт/концепты принадлежат иерархически другому, более высокому концепту (т. е. представляют собой как бы гипонимы гиперонима), проблема приписывания частеречного статуса выделенному классу оборачивается проблемой субкатегоризации определенной части речи (ср., например, выделение причастий или представление об исчисляемых или же неисчисляемых существительных в пределах класса существительных в целом).

Предлагаемое решение вопроса (см., например, [Лайонз 1978: 159 и сл.; Schachter 1985: 3 и сл.; Croft 1984: 55 и др.]) — выделить классы на формальных основаниях, а затем рассмотреть их концептуальные основания и дать им подходящие обозначения — логически упирается в вопрос о том, что можно считать формальной маркированностью класса слов и в каких конкретно случаях мы можем утверждать, что класс формально отмечен. Оказывается, что диапазон подобного формального маркирования шире, чем мы полагали ранее.

Если даже оставить в стороне использование в этих целях морфологических и морфонологических средств (ср. случаи расподобления класса имен и класса глаголов за счет использования разных фонологических последовательностей, или использование выборочных фонологических средств для выделения класса местоименных корней и т. п.), случаи организации неких формальных оппозиций в языке достаточно разнообразны.

Первое универсальное свойство системы ЧР — свойство ее членимости — связано, например, с формальным противопоставлением **открытых** и **закрытых** классов слов, т. е. с возможностью/невозможностью представить соответствующий класс слов исчерпывающим их списком [Schachter 1985: 4]. Обычно глаголы, существительные, прилагательные, наречия и числительные существуют в языке в качестве открытого класса слов, а предлоги, местоимения, союзы и другие виды частиц — в виде закрытых, конечных. Концептуально такое распределение слов знаменует собой противопоставление назывных классов слов, т. е. слов с ярко выраженной номинативной функцией, не-назывным, служебным. И хотя такое противопоставление вряд ли можно считать жестким, перечисление конечным списком свидетельствует, как правило, о том, что перед нами служебный класс слов. Важно также, что сочетаемость со словами этих классов (нередко — особы-

ми частицами) может сама служить идентификатором частеречного статуса соединяющихся с ними единиц. Так, с артиклями сочетаются существительные, а с послелогами, постпозитивами — глаголы и т. п.

Интересно, что как правильно замечает Р. Джекендофф, во всех языках мира детализация во всех назывных классах слов неизмеримо больше, чем в служебных, — она на несколько порядков выше последней. Союзы обычно немногочисленнее предлогов, а модальные частицы нередко насчитываются одним десятком. Даже в таком развитом языке, как английский, специализация в обозначении межпредметных связей и отношений с помощью предлогов не превышает ста случаев [Jackendoff 1992: гл. 6]. Малое число случаев закрытых классов и содержащихся в них слов как бы отражает тот факт, что они покрывают достаточно общее и обобщенное содержание, ограничены в своих функциях и вообще «служат» в достаточно определенных коммуникативных целях. В той же работе Джекендофф подчеркивает, что различие в детализации обозначений свидетельствует о том, что лингвистическая система отражает особенности человеческого восприятия и наряду с исключительно разветвленной системой идентификации объектов, процессов, признаков и т. п. — «what»-systems создает, напротив, сравнительно ограниченную и, как он указывает, «грубую» систему для локации сущего во времени и пространстве — «where»-system.

Известную параллель такому противопоставлению можно найти и в работах Ю. С. Степанова, где система номинации и предикации противопоставляется им системе локации, куда он включает все дейктические средства.

Если в классах слов, перечислимых определенным списком, как и в любом обозримом множестве, передаваемые ими значения тоже легко могут быть опознаны и описаны, ср., например, местоимения, то, напротив, в открытых классах слов выведение их общего значения затруднено самим разнообразием представленных в них индивидуальных значений и естественной трудностью выведения для них «общего знаменателя». Но наибольшие трудности вызывает здесь все же не только это обстоятельство: как правильно указывает Р. Лангакр, любую знаменательную часть речи можно описать с помощью достаточно абстрактной единой схемы (что он и пытается сделать в своей когнитивной грамматике — см. выше), но такая схема представляется чересчур умозрительной и далекой от реальности языка. Реальность же эта связана с референциальными возможностями слова, с их направленностью на обозначение чего-то во внешнем мире, с их функцией членения человеческого опыта. Там, где эта связанность и направленность выступают в более или менее очевидном виде, ясны и концептуальные основания членения человеческого опыта.

Так, за противопоставлением открытых и закрытых классов слов можно усмотреть и явные различия в референциальных особенностях относящихся к ним слов. Интуитивное представление о том, что одни слова «называют», а другие — «служат», одни отражают мир вещей, а другие — скорее мир языка, одни имеют

«привязки» (экстенционалы) в действительности, а другие — нет, а потому и не могут самостоятельно построить высказывания, в общем соответствует различию структур знания, отраженных в рассматриваемых классах, да и самому отражаемому в этих структурах типу информации. Остается только пожалеть о том, что различия в восприятии служебных слов, с одной стороны (например, союзов или модальных частиц), и полнозначных слов, с другой, еще не стали предметом экспериментальных исследований. Так или иначе, описанное противопоставление универсально, и имеет прямое отношение к членению системы ЧР, поскольку облекает существующее концептуальное противопоставление в определенную формальную рамку. Ср. также [Heine, Claudi, Hünnemeyer 1991: 28; Brauße 1994].

Хочется к тому же отметить, что формальные критерии издавна привлекали к себе внимание исследователей, и история изучения ЧР начинается именно с таких формальных попыток. «Самой остроумной системой в этом отношении, — пишет О. Есперсен, — является, конечно, система Варрона, который различает четыре части речи: часть речи, имеющую падежи (имена), часть речи, имеющую времена (глаголы), часть речи, имеющую и падежи, и времена (причастия), и часть речи, не имеющую ни того, ни другого (частицы)» [Есперсен 1958: 62]. Типологическое разнообразие языков, однако, не позволяет, как стало хорошо известным, разнести ЧР по указанным рубрикам. Та же участь постигла и другую, не менее логичную систему, в которой предлагалось различать слова по принципу их отношения к родовым различиям и различиям во времени, так как обычно существительные различаются по родам, но не по временам, личные местоимения не различают ни тех, ни других, причастия — и те, и другие, а глагол — категорию времени, но не рода (см. [Есперсен 1958: 63]). Поэтому учет морфологических критериев, когда-то занимавших в иерархии признаков ЧР первое место, перестал впоследствии рассматриваться как единственно надежный критерий их опознания, а самым «мощным» стали считать критерии синтаксические, дистрибутивные.

Признание этих критериев на практике знаменовалось, однако, тем, что изучение семантических, понятийных, когнитивных и т. п. мотивов в функционировании отдельных ЧР было отодвинуто на задний план, и историю такого развития в понимании ЧР мы подробно отразили в предыдущих главах нашей книги. Появление когнитивного подхода к языку внесло существенные коррективы в чисто синтаксическую интерпретацию ЧР, и начало пересмотра этой трактовки, до сих пор имеющей своих сторонников, мы бы хотели предварить анализом одной малоизвестной у нас работы — Р. Стокуелла [Stockwell 1977].

Казалось бы, мало что можно сказать такого же невразумительного, как то, что данное слово принадлежит к категории существительных, глаголов или прилагательных, подчеркивает этот ученый, — тем не менее это отвечает попытке отразить хотя бы интуитивное представление о том, какое они выражают содержание. И хотя прямолинейное отождествление существительных с обозначени-

ем «отдельных единиц» (entities), а глагола — с обозначением событий представляется ошибочным, доля истины все же тут есть. Разъяснение ситуации подобной неопределенности он видит в том, чтобы дифференцировать когнитивные функции слов и их тактические функции. Последние заключаются в том, чтобы отразить назначение слова тогда, когда оно попадает в состав высказывания и в нем обретает свой коммуникативный смысл — выразить противопоставление топика и коммента, подчеркнуть различие новой и старой информации и т. д. В содержание ЧР включаются и те, и другие данные: так, если по своей когнитивной природе глагол характеризуется тем, что символизирует события и указывает на связанную с ними темпоральную информацию, то по своей тактической функции он пресуппонирует наличие в этом событии определенных участников (субъекта и/или объекта). Ясно, что противостоящие глаголу существительные по своим когнитивным функциям служат обозначению отдельных единиц человеческого опыта как разных участников событий, а по своим тактическим функциям они представляют такие участники в виде субъекта (топика) или объекта/объектов при глаголе [Stockwell 1977: 38 и сл.].

Для нас не вызывает сомнения тот факт, что в этой работе конца 70-х гг. уже заложены глубокие предпосылки адекватной оценки разной роли отдельных ЧР в синтаксисе, и все дальнейшее развитие теории ЧР и происходит при попытке продемонстрировать, как и почему осуществляется сочетание в пределах одной ЧР ее когнитивных и тактических функций, или, в других терминах, ее когнитивных и дискурсивных оснований.

Вернемся в связи со сказанным к мнению Ф. Ньюмейера, защищающего формальную теорию ЧР как единственно правильно отвечающую на вопрос о том, что делает ЧР в организации языка. Множество исследований показывают, — пишет Ньюмейер, — что существительные, прилагательные и глаголы (прото-)типически выполняют определенные семантические или дискурсивные функции. Что они это делают, отрицать нельзя. «Однако, — продолжает ученый, — вопрос, который мы должны задать, касается того, могут ли они быть порождены в грамматической системе каким-либо алгоритмом, т. е. выведены из их экстраграмматических функций. Фактически данные свидетельствуют против этой идеи» [Newmeyer 1992: 785].

Конечно, жесткий алгоритм указанного типа, действительно невозможен. Означает ли это, что там, где полная формализация данных не удастся, надо отказаться от описания материала? На наш взгляд, в этой ситуации существует то, что можно было бы назвать **универсальными тенденциями** распределения слов по классам — частям речи, а эти тенденции и можно описать. Идя от понимания каждой ЧР как прототипической категории, характеризуемой определенным **кластером** или **пучком признаков**, мы можем довольно четко определить, какой набор признаков типичен для существительного в отличие от глагола, а какой

кодируется в языках мира прилагательными в отличие и от существительных, и от глаголов.

Новая концепция ЧР складывается, на наш взгляд, не только потому, что она исходит из факта сочетания в наборе конституирующих свойств каждой ЧР и содержательного, и формального начал, но и потому, что утверждая наличие определенных корреляций между концептуальными и функциональными свойствами ЧР, она устанавливает также конкретные диапазоны подобных корреляций, не предполагая при этом жестких одно-однозначных соответствий семантики и функций отдельных классов слов, но и отнюдь не отрицая глубоких оснований для подобных соответствий. Новая концепция ЧР складывается и потому, что исходит из нового толкования самого понятия естественной категории, отвергающего идею внутренней организации категории исключительно за счет передачи каждым ее членом одинаковых необходимых и достаточных признаков. В этой новой концепции постулируется, что к ЧР следует подходить как к таким языковым формам, которые связывают эти формы со специфическим для каждого их типа содержанием. Но, конечно, понятие языковой формы приобретает здесь расширенное толкование.

Ко всей книге можно было бы поставить в качестве эпиграфа слова Э. Бенвениста о том, что «язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами» [Бенвенист 1974: 111]. Подлинный смысл этого высказывания мы видим не столько в том, что в нем подчеркивается своеобразный примат осмысления мира и человеческого опыта над самими вещами, сколько в том, что в нем констатируется роль языка в придании формы осмысленному. Принципиальная неоднородность слов, их гетерогенность могут тогда рассматриваться как яркое доказательство того, что «разум признает за вещами» разные свойства и, таким образом, осознает **различие вещей**. Совершенно очевидно также, что ни выделение разных концептов, разных значений в ноэтическом пространстве назывных знаков, ни наличие разных формальных особенностей в языковом материале не могут **сами по себе** или же по отдельности привести к установлению таких категорий единиц, как ЧР. И тот, и другой тип анализа в их описании обязателен, но разгадка тайны ЧР и адекватное отражение их природы — исключительно в том, как соотносятся в их строении и организации содержательные и формальные начала; в том, на каком уровне строения языка обнаруживают себя формальные особенности отдельных ЧР и в чем конкретно заключаются эти концептуальные и формальные особенности. Итак, центральный вопрос для всей системы кардинальных ЧР — это вопрос о том, какой способ представления или способы представления выбирает язык для своих основных концептов как главных концептов человеческого разума.

Важно, что как только мы ставим вопрос о способах представления в языке глобальных концептов сознания (т. е. в терминах А. В. Бондарко вопрос о языковой интерпретации этих концептов), мы уже не можем ограничиться решением

этого вопроса на основании словарных данных, т. е. обращаясь к репрезентации слов в словаре или лексиконе языка. Слово, взятое как единица словаря и единица номинации, может содержать в себе его категориальные приметы, а может и не содержать их. Это не означает, однако, что соответствующие ему концепт или концепты репрезентированы в психике как лишенные категориальной определенности. Слово живет в актах общения, процессах коммуникации, в дискурсе. Статус слова не может исчерпываться поэтому описанием его статической роли, какой бы значительной ни являлась эта роль и какую бы важную часть информации о мире ни хранила в себе эта единица. Изучать слово вне процессов коммуникации бесплодно. Уже в этих обстоятельствах коренятся причины того, что, изучая слова как представляющие отдельные ЧР, мы должны обратиться к их динамической сущности — к тому, для чего они предназначены в речи. Те, кто изучали синтаксические свойства слова, давно описывали эту сторону бытия ЧР, но гипостазировав их, уходили от вопроса о том, чем вызываются те или иные из этих синтаксических свойств. Задача настоящего этапа — соединить и соотнести сведения о словах как лексических единицах со сведениями не только о грамматических — морфологических и словообразовательных — характеристиках слова, но и об их синтаксических или дискурсивных свойствах. Такой анализ можно считать **кластерным**, притом присущим прототипической семантике, поскольку кластерный анализ предполагает установление набора взаимозависимых признаков с признанием динамики их включения в набор и даже устранения некоторых из них при определенных условиях.

Стоит отметить, что сказанное равносильно утверждению о том, что формальные свойства слова не исчерпываются признаками, замкнутыми пределами слова как такового (и его словоформами), в связи с чем они и могут быть обнаружены, когда слова выступают как «синтаксические атомы» — строительные элементы высказывания и текста. С другой стороны, как это ни парадоксально, это приводит к мысли, что многие свойства слов, причисляемые к формальным, тактическим или функциональным, фактически тоже могут получить **когнитивную интерпретацию**. Наконец, развиваемая нами концепция ЧР в известном смысле прямо противоположна той, что имела место в парадигме знания, разводившей ЧР и члены предложения и противопоставлявшей их друг другу. Хотя такое направление исследования, несомненно, способствовало пониманию сложности отношений, существующих между указанными разными феноменами, оно по сути своей разъединяло представления о том, что **значат** слова, и для чего они **предназначены** в речи. Ведь подчеркивались расхождения в функциях слов относительно словаря и относительно их употребления в речи. Согласно нашей точке зрения, однако, наступило время рассмотреть, что же сближает семантику слова и его функции и позволяет слову с определенным типом лексического значения выполнять определенную синтаксическую роль и, наоборот, использовать в определенной синтаксической функции слова с определенными концептуальными

структурами. Согласно нашей точке зрения, не вызывает сомнения и тот факт, что выделения одних функций или только концептуальных оснований ЧР для определения статуса ЧР недостаточно. Причиной этого является и прохождение некоторых бытийных категорий сквозь всю систему ЧР или большую часть этой системы, и факт выражения одной ЧР нескольких разных концептов (ср. концепты лица, предмета и места для существительных), и, наконец, возможность использовать для реализации одной и той же функции слова разных ЧР. Но все факты такого рода должны получить свое объяснение. Для того, чтобы сделать это более понятным, предварим наши объяснения следующими соображениями.

Если бытийные концепты можно считать хранящимися во внутреннем лексиконе в виде категориально определенных, т. е. соответствующих ментальным репрезентациям объекта, процесса, признака и т. п., и предсуществующими языковой привязке этих концептов (см. также выше с. 165 и сл.), то их вербальная реализация должна так или иначе выявить эту категориальную определенность и маркировать ее в языке особой формой представления. Подобная маркировка может выйти за пределы слова как такового и стать связанной с дискурсивными особенностями слова. Но и здесь на уровне предложения или текста она должна приобрести моделируемую форму, т. е. маркировка или сигнализация категориальной принадлежности слова не может быть уникальной. В силу линейности речи, ее однонаправленности, ее синтагматической организации она может принимать разные формы, но все же связанные либо с позиционными характеристиками формы либо ее сочетаемостными ограничениями и т. п. Она должна приходиться, таким образом, на **распределение потока информации** и потому — организацию канонических типов предложения. Для них же типична противопоставленность топика и коммента, функции и разных аргументов, идентифицирующей и характеризующей зон высказывания, а значит, предмета речи (субъекта) и приписываемого ему предиката, тематической и рематической частей высказывания, и в каких бы терминах ни осознавалась необходимость подобной оппозиции, на ней держится предложение. Такое распределение потока информации, свойственное предложению, должно быть признано имеющим когнитивное основание. Суть его в переходе от известной информации — к новой, от остановившего внимание говорящего в качестве предмета речи какого-либо явления — к его характеристике. Для того, чтобы совершить это, надо, чтобы и в фокусе внимания слушающего оказалось то же самое явление, — от говорящего в связи с этим требуется такое обозначение явления, которое облегчает его идентификацию и опознание. Все это значит, что поток информации должен моделироваться в соответствии с психическими особенностями говорящего и слушающего и спецификой их интеракциональных отношений, а также — одновременно — с языковыми возможностями, диктуемыми синтагматической организацией дискурса и известными ограничениями, налагаемыми на эту организацию.

Чисто эвристическое описание языка (тем более — неизвестного или мало знакомого) и выделение в нем классов слов действительно должно начинаться с исследования того, как и за счет каких единиц строятся в этом языке канонические типы предложения и какие грамматические (морфосинтаксические) способы установления отношений между частями предложения в нем используются (порядок слов, согласование, управление и т. д.). Главными же частями предложения можно считать лежащую в его основе пропозициональную структуру (функции и аргументы с их модификаторами в виде адъюнктов или «комплементов» и собственно модификаторов), которая в дискурсивном плане реализуется не только как противопоставление предиката и его аргументов (субъекта, объекта или объектов), но и как противопоставление топика и коммента. Исследование ЧР в этом смысле начинается как вопрос о том, какими языковыми формами представлены все перечисленные дискурсивные или сентенциальные единицы.

В рассмотренном отношении дискурсивные особенности в передаче информации не могут быть, строго говоря, противопоставлены когнитивным, представляя собой лишь иную по сравнению с морфологической или деривационной (внутрисловной) рефлексию или проекцию концептуальных основ слова. Другими словами, термин «дискурсивный» относится прежде всего к определенному (уровневому) способу представления категориальных (когнитивных) характеристик слова, т. е. осуществляемому лишь в сентенциальных или дискурсивных рамках. Возможно, что в чистом виде такой способ менее распространен по сравнению с внутрисловными способами маркирования частеречной принадлежности слова, но и он входит в число «формальных» приемов подобной маркировки.

Поскольку это разъяснение очень важно, и в принципе оно связано с новыми объяснениями грамматических явлений в их прямой зависимости от организации дискурса и, следовательно, от таких факторов, как распределение потока информации, противопоставление разных типов информации внутри предложения и т. п. (ср., например, [Fox, Thompson 1990: 299–300]), мы хотим специально подчеркнуть еще раз, что использование терминов «синтаксический» или «дискурсивный» по отношению к какому-либо языковому явлению или категории отнюдь не означает автоматически, что мы приравниваем его термину «формальный» или же отрицаем зависимость этого явления от когнитивных и/или интеракционных факторов. Части речи — яркий пример таких явлений. Их дискурсивные характеристики при более глубоком и тщательном анализе входят заметной частью в более общие когнитивные признаки категории.

Соответственно, новая концепция ЧР строится на постулате о том, что синтаксические и дискурсивные функции отдельных ЧР не просто скоррелированы с их лексическими значениями, но в прототипических случаях создания и использования слов **согласованы** друг с другом. С одной стороны, мы уже утверждали действенность этого принципа при рассмотрении рождения слова как единицы номинации. С другой стороны, мы проследили его проявления в процессах сло-

вообразования. Обоснование этого постулата мы рассматривали также при описании ЧР как естественной прототипической и, следовательно, кластерной категории, т. е. совмещающей разнотипные признаки единиц множества и сводящие их в единый гештальт. Наконец, в этой главе мы попытаемся доказать глубинные основания подобного согласования и взаимозависимости лексических и синтаксических признаков, усматривая их в правилах организации нормального и эффективного дискурса. Мы полагаем также, что именно в такой зависимости источник того, что признаки ЧР носят «смешанный» характер и объединяют в одно гомогенное целое гетерогенные и гетерохронные черты. Следует признать и то, по всей видимости, что только объединение признаков по указанному принципу сделало ЧР языковыми категориями, оптимально выполняющими свои сложные и разнообразные функции. Иначе говоря, можно сказать, что сочетание «смешанных» характеристик в становлении и функционировании ЧР принимает свою особую форму именно благодаря тому, что лексическое значение единицы «пропускается» через особый категориальный фильтр и согласуется с предназначенностью единицы для выполнения ею определенных синтаксических и/или дискурсивных функций.

Чем больше лингвистика приобретала когнитивный характер, чем больше исследований памяти и хранящихся в ней структур знания проводили когнитологи, тем яснее становилось положение о том, что внутренний лексикон (языковая способность) должен быть не только статической системой для быстрого и простого извлечения структур знания, не только их инвентарем и «складом», но и активной системой обработки всей этой информации, — системой, предназначенной для того, чтобы что-то **делать** с имеющимися структурами и создавать новые. Ср., например, [Miller, Johnson-Laird 1976: 6–7]. В число убеждений когнитологов вошла и мысль о том, что хотя в специальном анализе и можно противопоставить «знания, что...» и «знания, как...», фактически одно неразрывно связано с другим. Мы уже писали подробно о том, что значит знать объект, подчеркивая, что это прежде всего «уметь помещать его в некую структуру деятельности, видеть объект как вовлеченный в определенные виды деятельности с ним» [Кубрякова 1991: 89 и сл.]. Что же можно делать в языке со словом? В какие виды деятельности вовлечено слово? — Как бы ни отвечать на этот вопрос (см. выше с. 66 и сл.), очевидно, что важнейшие функции слова связаны с его участием в речевой деятельности, коммуникации, строении предложения и дискурса.

Подобная функция слова рассматривается сегодня как функция «вставления» лексической единицы в текст (*insertion*) или же как функция «лексического вхождения слова» (*entry*) в высказывание. Таким образом изучать, как согласуются статические свойства слова (в словаре) с его динамическими характеристиками (в синтаксисе), можно только в составе коммуникативной деятельности говорящих.

Идея о том, что слово поступает в предложение в зависимости от своего значения, уже давно была высказана в отечественном языкознании И. И. Мещани-

новым. «Семантика слова, — писал Мещанинов, — в известной степени обуславливает его синтаксическую роль в предложении. Выступая в предложении, слово используется в нем, отвечая его лексическому содержанию. Оно выступает в позиции соответствующего члена предложения, включаясь в общее смысловое содержание высказывания и принимая на себя соответствующую долю смыслового значения формирующегося предложения. Поэтому расчленение предложения на его составные части... также должно было оказать решающее влияние на образование лексических групп» [Мещанинов 1978: 7]. Написанные полвека тому назад, эти слова не только кажутся современными, — они определяют целое направление грамматических исследований сегодня, получившее название лексической, или лексикализованной грамматики. Хотя разновидности этого направления достаточно разнообразны (ср. [Кубрякова 1995]), в целом можно было бы указать на три разных подхода, в рамках которых ученые разъясняют зависимости между синтаксисом и лексикой. В одном из них, более всего связанном с генеративной грамматикой, идут «от слова» и считают, что слово проецирует свои лексические свойства при порождении речи в синтаксическую структуру и что условия такой проекции должны быть обязательно соблюдены (*satisfied*). Идея лексического вставления в предложение покоится здесь на согласовании фразового маркера в синтаксическом дереве предложения с категорией и субкатегориями слова определенной ЧР, записанными в специальном словаре и чаще всего именуемыми, кстати говоря, синтаксическими категориями.

Отражая эту позицию, М. Спиз пишет: лингвисты разных школ сходятся сегодня во мнении, что синтаксическая структура предложения является в значительной мере рефлексией свойств лексических единиц; это мнение — развитие идей Н. Хомского, высказанных в его теории управления и связывания [Speas 1990]. Проецируется прежде всего аргументная структура полнозначной единицы, а она зависит от того, какой частью речи она представлена в словаре. Если использовать символ *N* для существительного (*noun*), символ *V* для глагола (*verb*), символы в представлении разных ЧР комбинируются следующим образом: существительное демонстрируется записью [+N, -V], поскольку оно способно выступать в качестве вершины именно фразы, но не вершины в глагольной фразе. Запись [+V, -N] демонстрирует глагол, поскольку он, наоборот, строит глагольную фразу, но не может выступать вершиной именной фразы; прилагательное получает маркировку [+N, +V], поскольку выполняет функции как атрибута, так и предиката и т. д. (ср. [Speas 1990: 13; Cook 1992: 94–95]). Все варианты этой теории были нами подробно рассмотрены выше, так что мы уже отметили все ее достоинства и недостатки.

Коротко говоря, выводы, к которым мы пришли при анализе концепции ЧР в генеративной грамматике, касаются прежде всего плодотворности: а) отражения в определении ЧР их отношения к организации высказывания и противопоставлению топика и коммента, сведенного к оппозиции аргументов (партиципантов)

и предиката в логической форме предложения, что, собственно, и вводит в дефиницию ЧР их способность строить тот или иной член пропозиции, и б) возможности учета в определении ЧР их формальных синтаксических характеристик. С другой стороны, неполнота освещения ЧР касается их концептуального аспекта: пренебрежение традиционной грамматикой и иногда нарочитый отказ от объяснения синтаксических свойств ЧР привел к тому, что даже широко наблюдаемые параллели формальных, функциональных и когнитивных свойств отдельных ЧР не отражены в грамматических описаниях. Но ведь такое положение дел противоречит общеизвестным задачам когнитивной лингвистики, стремящейся соотнести языковые формы со структурами сознания и выявить, как происходит обработка информации о мире с помощью языковых средств. Таким образом, какими бы не-одно-однозначными ни оказались корреляции мыслительных структур с языковыми, само несомненное наличие этих корреляций требует их описания и их объяснения, притом ровно в той степени, в какой такие корреляции дают о себе знать, создавая некие диапазоны (разбросы) значений, присущих отдельно взятой ЧР.

Заметим, что в генеративной концепции считается, что ЧР дано формальное определение, поскольку их классификация основана на способности формировать вершину определенной фразы как конституента предложения. Фактически, однако, такое определение тавтологично: в понятие именной фразы уже включено представление об имени существительном и т. д. Уточняя эти представления, Р. Джекендофф и Р. Лакофф указывают на то, что дискурсивные (синтаксические) категории лексических единиц связаны скорее с тем, как они строят субъекты и объекты предложений и какие именно категории «поддерживают» их: так, и глагол, и существительное могут распространять субъект, а глагол и предлог — выразить «дополнения» объекта (ср. работы указанных авторов в [Pustejovsky 1993: 18 и 122–123]).

Другой подход в установлении зависимостей между лексикой и синтаксисом — это подход от определенной модели синтаксической конструкции: здесь считается, что заполнение модели лексическим материалом связано с известными ограничениями на этот материал, и грамматические правила должны констатировать эти ограничения. Подобная точка зрения была представлена в Академической грамматике русского языка, где утверждалось, что в огромном большинстве случаев абстрактные синтаксические модели в той или иной степени лексически не свободны (Н. Ю. Шведова).

Наконец, особенно плодотворным кажется нам именно путь поисков **корреляций** между определенной синтаксической функцией и/или позицией и теми классами лексем, которые ей соответствуют.

Интереснейшее развитие получает эта идея в теории индоевропейского предложения, выдвинутой Ю. С. Степановым. Рассмотрев предтечи своей концепции и указывая на ее отличительные черты, он пишет: «Основные параметры типа

предложения — это, во-первых, его структурная схема (морфологическая форма его предиката и актантов, прежде всего субъекта и объекта, а также форма связи между ними), и, во-вторых, его лексические вхождения (классы лексем, занимающих места в его предикате и актантах)» [Степанов 1989: 10].

Восстановление картины существования протоиндоевропейского предложения связывается им с тем, как согласуются в его рамках названные два параметра — сравнительно небольшое число структурных схем, с одной стороны, и набор лексем, которые могут занимать в этих схемах места предикатов и актантов, с другой. В отличие от своих предшественников он выдвигает гипотезы о том, какие конкретно существительные и глаголы и в каких определенных грамматических формах участвовали в строении этих простейших типов предложения. Особенно важным представляется нам, что здесь проведено противопоставление актантов и предикатов (в терминологии представителей дискурсивной теории ЧР — это оппозиция партисипантов события и самого события), и то, что в теории последовательно проводится мысль о важности **референции** для организации и понимания предложения, т. е. референции как дискурсивном факторе. «Под референцией в широком смысле понимается, — указывает Ю. С. Степанов, — соотношение высказывания и его частей с действительностью — как внеязыковой (объектами, событиями, ситуациями), так и внутриязыковой (другими упоминаниями объектов, событий, ситуаций в предыдущем или последующем контексте). Референция устанавливается главным образом через имена и именные группы — актанты в составе предложения и предиката» [Степанов 1989: 86]. Выстраиваемая им цепочка от противопоставления предикатов и актантов до связывания актантов с референциональными особенностями предложения и принимается нами за определяющую основные дискурсивные факторы в организации системы ЧР.

Если в соответствии с этим главной чертой в архитектонике дискурса оказывается противопоставление аргументов и предиката, в системе ЧР это требует разграничения категориальных значений предметных и признаковых слов, т. е. существительных, с одной стороны, глаголов и прилагательных, с другой. Если же, далее, высказывание нуждается в референциальном «заземлении», в референциальной опоре, в системе ЧР эту черту можно усмотреть в углублении противопоставления имен существительных глаголам за счет передачи функций референции прежде всего именам. Таким образом, и с когнитивной, и с дискурсивной точек зрения становится существенным, чтобы особый разряд слов служил более непосредственной связью с онтологией мира, чем другой.

По Ю. С. Степанову, референция принимает вид семантической референции, когда в ее основе лежит признак отношения к онтологическому, внеязыковому классу объектов или же отношение к какому-либо одному из таких классов при исключении другого (например, признак отношения к классу «одушевленных» или же «неодушевленных объектов» в русском языке). Как указывает Степанов,

«референция по этой линии (вообще говоря трудно отделимая от семантики в собственном смысле) заключается в ответе на вопрос: “К какому классу онтологических объектов (или к какому члену в таком классе) относится данный актанта предложения?” Важно и то, что решение относительно референции к какому-либо объекту может быть связано с неопределенностью онтологических параметров объекта. — Что это — нечто живое или неживое? Существо или вещь? Где границы (пространственные и временные контуры) этого “нечто”? Индивид это или множество? и т. п.» [Степанов 1989: 89–90]. Такой идентификации и служат существительные, а специальная маркировка заключенных в них категориальных концептов — как чисто морфологическая, так и деривационная — признание исключительной релевантности самих частеречных концептов. Ведь отнесение объекта к определенному классу в таксономии объектов, осуществляемой в рамках ЧР вообще и в рамках отдельных частей речи в частности, — а именно этот факт фиксируется категориальной характеристикой каждой части речи, — должно облегчить семантическую референцию, а потому семантическая определенность лексической единицы служит и самому акту референции.

Уже в 1984 г. В. Крофт, рассматривая семантические и прагматические корреляты синтаксическим категориям, совершенно правильно подчеркнул, что существует естественная связь между семантическими и дискурсивно-синтаксическими функциями соответствующих категорий. Он представил эту связь в виде следующей системы корреляций:

синтаксическая категория	существительное	прилагательное	глагол
дискурсивная функция	референция	модификация	предикация
семантический класс	(физический) объект	(физическое) свойство	(физическое) действие

Таким образом, им были впервые описаны кластерные свойства частей речи в их согласовании друг с другом в прототипических ситуациях. Крофт отметил, что существительные обеспечивают референцию к вещам (объектам), прилагательные тоже имеют отношение к референции, будучи маркированы по отношению к существительным (согласуясь с ними), при этом для организации предиката и те и другие требуют глагола (например, копулы, т. е. связки), что позволяет противопоставить их глаголам, служащим предикации. Из серии однокорневых образований (типа *белый* — *белизна* — *белеть*, ср. англ. *white* — *whiteness* — *whiten*) прототипическими являются наименее маркированные формы, или формы, исходные для актов деривации. Ясно также, что референтное осмысление обозначения осознается только в дискурсе и соответствует его функциям [Croft 1984: 57 и сл.].

В более поздних работах В. Крофта [Croft 1990; 1991] эти идеи получают свое дальнейшее развитие, и пожалуй, среди всех версий гипотез относительно осо-

бенностей ЧР в типологическом плане его гипотеза заслуживает наибольшей поддержки. Разъясняя дискурсивные или прагматические функции отдельных составляющих предложения и используя эти обозначения как синонимические, Крофт указывает, что каждая из них может быть соотнесена с определенным пропозициональным актом. Отмечая, что в теории Дж. Сёрля иллокутивные акты представляют собой самую высокую ступень речевых актов, он указывает также на неразработанность в этой теории представления о средней, пропозициональной составляющей речевых актов. Считая пропозициональные составляющие связанными с референцией и предикацией, он проходит мимо других пропозициональных актов, среди которых, по его мнению, надо выделить также модификацию. Хотя модификация играет в строении частей предложения вспомогательную роль, она служит и для более точной и простой идентификации аргументов или для уточнения вершины ко вторичному предикату. При этом существенно, что для осуществления этой функции создается специальный класс слов — прилагательные. Когда же в этой группе используются другие ЧР — существительные или глаголы, они получают обязательно специальную маркировку словоизменительными или же деривационными морфемами, и часть словообразовательных процессов служит именно этой цели [Croft 1990: 51 и сл.].

Одним из важнейших тезисов, защищаемых в концепции Крофта, является тезис о том, что одним концептуальным или одним дискурсивным определением суть ЧР не описать: в их дефинициях должны быть учтены как внутренние (морфосинтаксические) характеристики слов, так и выполняемые ими внешние функции — в речи, дискурсе. Не вызывает, однако, никакого сомнения, что многие эти функции в языках мира **маркированы** и подобная типологическая маркированность — специфическая для каждой отдельной ЧР в конкретном языке — может быть прослежена. Это, собственно, и делает В. Крофт особенно подробно в исследовании 1991 года, где и дискурсивные и концептуальные основания ЧР находят свое подробное освещение.

Комментируя идеи В. Крофта, В. Хейне, И. Клауди и Ф. Хюннемейер поддерживают их, полагая, что он правильно связал мысли о естественных корреляциях классов слов, их категорий и функций с теорией маркированности Р. Якобсона. Прототипические существительные, глаголы и прилагательные действительно демонстрируют выявленные им корреляции, а материал Крофта свидетельствует о том, что существуют явные корреспонденции между обозначениями лиц и предметов в рамках существительных, между обозначениями свойств и прилагательными, а также между обозначениями действий и глаголами [Heine, Claudi, Hünemeyer 1991]. Они также считают возможным сопоставить соответствующие нозтические пространства (обозначения лица, предмета, процесса, пространства, времени и качества, свойства) с иерархией падежей, установленных Т. Гивоном (агентивом, бенефактивом, дативом, аккузативом, локативом, инструменталисом и пр.), а, главное, с последовательностью семантических переносов в

метафорических цепочках, типичных для процесса грамматизации. Поскольку сам этот процесс отражает развитие более абстрактных понятий на основе более конкретных (см. [Там же: 54–55]), можно предположить, что обозначения лица соответствуют самым первым и самым конкретным номинациям, за которыми следуют обозначения объектов (предметов, вещей) и лишь впоследствии появляются (возможно, именно на их основе) обозначения процессов, мест, времени и качеств. Множество примеров того, как на основе обозначений лиц, предметов и т. п. рождаются далее местоимения, подтверждают указанную ими иерархию концептов. Такому же пути следования подчиняются, по их мнению, и метафорические переносы. Ср. в этой связи также возникновение предлогов и послелогов из имен существительных, типа русск. *среди* из *среда*, *середина*, указанное Ю. С. Степановым [1989: 91].

Идеи, высказанные В. Крофтом, очень близки тем, которые содержались в рассмотренной нами выше пионерской работе Р. Стокуелла. Ведь, как представляется, именно Стокуелл первый подчеркнул, что в языке складываются специальные средства и специальные механизмы для усиления референтных способностей языковых единиц — это и сами имена, и особая организация именных фраз (с включением в нее артиклей, местоимений и демонстративов), и, наконец, создание целого класса придаточных предложений (ср. *тот мальчик, которого я видела вчера*), служащих снятию неопределенности референции и особенно важных для четкого представления «топика» предложения в отличие от «коммента» (см. [Stockwell 1977: 37 и 54–55]).

В 90-е гг. идеи связанности функции референции с существительными (и прилагательными), а функции предикации — с глаголами приобретают все более четкий характер и начинают разделяться целым рядом типологов и когнитологов. Термин «существительные» надо сохранить для того класса слов, — отмечает Дж. Андерсон, — представители-прототипы которых обычно референтно определены (как сами по себе, так и в составе именных фраз). В отличие от них глаголы используются для обозначения процессов или действий, а в дискурсе служат для выражения предиката (такой предикат может относиться, впрочем, и к описанию ситуации положения дел). Нужно обязательно ввести в описание классов слов черту референциональности и черту предикативности, и тогда положение каждого класса слов будет скоррелировано как с их семантическими функциями, так и с противопоставлением предиката и его аргументов (см. [Anderson 1992: 126–129]). В указанной сетке противопоставления труднее найти место прилагательным — ведь они могут выступать и в составе предиката, и в составе референциальной группы. Но то, что прилагательные часто делят с существительными одни и те же категории (при согласовании их друг с другом), отражает глубинное их сходство: они являются скорее всего частями аргумента, т. е. служат его субкатегоризации и модификации и имеют прежде всего референтное предназначение [Там же: 132].

Как пишет Я. Г. Тестелец, в ходе речевой деятельности и речевого общения слушающий должен произвести акты референциональной идентификации. При этом и выявляется, что «некоторые знаменательные лексемы достаточно часто (т. е. в большом случае употреблений) могут обеспечивать референциональную идентификацию без участия других знаменательных лексем, а некоторые — не могут почти никогда». Это и позволяет ему сформулировать гипотезу о том, что референтно самостоятельные лексемы чаще бывают существительными, а референтно несамостоятельные — предикативами — прилагательными и глаголами [Тестелец 1990: 87–92]. Эти глубокие мысли надо, однако, дополнить за счет простого указания на то, что референтная самостоятельность выступает как следствие перцептуальной отдельности и выделенности некоторых объектов (лиц, предметов, физических тел), а также их частей (атрибутов). Иначе говоря, в цепочке причин и следствий мы возвращаемся к тем величинам, тем сущностям, которые получают названия в актах номинации и осмысление которых предшествует акту номинации, фиксирующему затем категориальную (частеречную) характеристику слов.

Дискурс, который по Э. Бенвенисту, связан с такими явлениями, как дейксис, модальность и референция, вводит в рассмотрение такие аспекты значения, которые контекстно и субъективно обусловлены [Parrot 1991: 322 и сл.]. Это значит, что данные аспекты значения могут быть описаны относительно актуализованных высказываний. Референциальный диапазон реферирующего выражения определим тоже относительно предложения как части дискурса. Когда говорящий его использует, он должен быть уверен, что реферирующее выражение (а ими считаются обычно или имена, или определенные аналитические дескрипции) содержит всю необходимую информацию для идентификации субъекта и объекта речи, но мнение об этом достаточно субъективно. Лишь тот факт, что полнозначное слово служит сигналом для возбуждения или активации определенной экстенциональной области, области референции, предопределяет возможности понимания и эффект разделенного знания. Следует поэтому исходить из того, что каждая ЧР фиксирует свою собственную область референции (ср. [Slagle 1974: 34 и сл.]). Если, однако, для существительного и прилагательного такие области детерминированы предметным миром и его членением, для глагола в гораздо большей степени вступает в силу его способность не только отсылать к определенным видам движения или действия в мире, но способность устанавливать типы отношений между объектами и /или давать этим отношениям аспектуально-временные характеристики. Не случайно для глагола подчеркивается его реляционный потенциал — возможность фиксировать положение дел в мире (находиться, состоять из; лежать, стоять), внутренние и ненаблюдаемые состояния (знать, полагать, считать) и что, конечно, самое важное — констатировать происходящее, помещая его в определенную систему координат.

Учению о референции еще надлежит уточнять не только соотношенность этого понятия с такими когнитивными статусами, как «данное», «новое», «подразумеваемое (пресуппонируемое)», не только способность реферирующих выражений идентифицировать предмет речи с разной степенью точности или определенности (ср. [Gundel и др. 1989]), но и подойти более дифференцированно к вопросу о том, к чему именно отсылает (реферирует) каждый член или компонент высказывания и что должно быть достигнуто самим актом референции. Нам кажется, например, перспективным противопоставление идентификации (в субъекте предложения) и характеристики (в предикате), начатое работами Н. Д. Арутюновой. Топик должен быть идентифицирован, но ведь и предикат должен не только указать на существование определенного отношения, но и **назвать** его.

Слово в позиции топика должно с достаточной степенью точности обрисовывать предметные значения (или отослать к ним в случае дейксиса), но коммент «вытаскивает» из строящих его слов сигнификативные, а не денотативные смыслы. Быть может, оппозиция предметной и признаковой лексики обеспечивает в первую очередь эти стороны актов референции, осуществляемых разными членами предложения.

Референцию простоты ради объяснить через то, что слово выхватывает из когнитивного репертуара слушающего, — пишет Г. Данбар, — это некие содержащиеся в нем и связанные со словом концепты. Не вызывает при этом никакого сомнения, что люди говорят о разных сущностях в мире и что единицы языка отсылают к этим разным сущностям. Реферирующие выражения не столько обозначают их, сколько «портретируют» [Dunbar 1991: 20]. Их дело — возбудить в концептуальной системе человека определенные ментальные репрезентации. Думается, что старый спор о различии значения и обозначения может быть решен по-новому в свете того, как это различие используется в акте референции. Не случайно В. Крофт подчеркивает, например, необходимость отличать акт референции как совершаемый только в дискурсе (и — добавим мы — выделяющий из всей семантической структуры слова черты, релевантные для идентификации объекта в условиях данной ситуации) и акт денотации, фиксирующий отношения между словом и всем классом единиц, которое оно обозначило, в системе языка [Croft 1991: 51–52]. Функции слова в предложении могут стать универсальной базой выделения всех главных синтаксических категорий, эти функции определяются относительно организации информации в предложении и сводятся к функциям референции, предикации и модификации [Croft 1991: 52 и сл.]. См. также [Miller 1985: 242].

Как указывает В. Крофт в своей последней книге, «референция создает автономную единицу и превращает ее в некий род [предметов] или же отдельный представитель этого рода», модификация сообщает единице стабильное, но одномерное [однопризнаковое] свойство...», а «предикация последовательно сканирует

[обегают] единицу, превращая ее в преходящее (и меняющееся?) положение дел, вовлекающее, по крайней мере, одного участника» [Croft 1991: 108]. Отвечая на вопрос, почему это так происходит, он связывает описанные выше функции частично с воздействием когнитивного устройства человека, но частично — и с воздействием самого процесса коммуникации и подчеркивает, что когнитивные и коммуникативные факторы нельзя рассматривать как **взаимоисключающие** [Там же: 108—109 и примеч. на с. 285].

Признавая правильность этих положений, мы бы подчеркнули в то же время релевантность указанных функций не только для построения предложения, но и для архитектоники всего дискурса. Так, имена существительные или эквивалентные им именные фразы с существительными в их вершине обеспечивают удержание в памяти необходимого референта, т. е. представление о названных актантах или участниках ситуации. Предикаты же связуют текст, устанавливая последовательно возникающие и/или развивающиеся отношения между ними. Наконец, прилагательные детализируют или ограничивают, уточняют или специфицируют, т. е. модифицируют представления об актантах, внося свой вклад в их идентификацию и описание. Как сказал В. Крофт, а затем и Т. Гивон, называние референта открывает когнитивный файл, что и способствует обработке информации, содержащейся в дискурсе [Croft 1991: 118; Givón 1992].

Завершая рассуждения о дискурсивных характеристиках ЧР, мы бы хотели отметить также, что сам факт введения их в число конституирующих признаков ЧР знаменует собой новый этап в понимании ЧР и радикально меняет существующие по традиции представления о их сути, хотя им и не противоречит. Такое включение — органичное продолжение мыслей о роли синтаксических, а не только морфологических критериев опознания отдельных ЧР, а в то же время — новое виденье ЧР из-за понимания глубинных связей между разноуровневыми признаками в организации каждой из них, их естественной кластеризации. Не вызывает также сомнения и тот факт, что введение именно дискурсивных, т. е. связанных с речевой деятельностью и коммуникацией, факторов связано с общими изменениями взглядов на возникновение грамматики. Как указывают П. Хоппер и С. Томпсон, стоящие у истоков дискурсивной концепции ЧР, «дискурс должен быть [признан] *центральным* для тех процессов, благодаря которым появляется и развивается грамматика» [Hopper, Thompson 1993: 358]. Но ведь, наверно, «разворачивание» грамматики происходит одновременно с возникновением самого языка и первых языковых единиц, которые тем самым и не могут не отражать всех простейших функций этих единиц, в том числе и функций по означиванию мира, его «ословливанью» — *das Worten der Welt*.

Как вытекает из тезиса Хоппера и Томпсона, для генезиса и дальнейшего функционирования ЧР следовало бы признать первичность и приоритетность таких дискурсивных функций, как распределение потока информации, референция и предикация. Но из этих функций и распределение потока информации и предикация.

кация — функции, более поздние по сравнению с референцией. Во всяком случае, происхождение языка из диффузных имен строится на представлении о первичности таких имен, которым, по мнению И. И. Мещанинова, нельзя строго говоря, приписать ни статуса слова, ни статуса предложения. Однако, такое «имя вообще» уже должно было содержать в самом себе не только способность давать название чему-либо в экстралингвистическом мире, но и отражать потребности в номинации в целях общения (ср. [Мещанинов 1978: 8 и 16]). Как только в языке начинается комбинация имен, имена начинают выступать и как носители номинативной функции, и как носители определенной синтаксической функции. ЧР рождаются в этом процессе как участники формирования структуры «топик — коммент».

Таким образом, признавая исключительную важность для генезиса ЧР всех перечисленных выше дискурсивных факторов — потока информации, организующего с противопоставлением данного новому, денотативного — сигнификативному, идентифицирующего — характеризующему и т. д., а также свойств референции и предикации, — мы не хотели бы, тем не менее, отдавать пальму первенства дискурсивным факторам. Мы скорее защищаем идею об относительном равноправии когнитивных и дискурсивных факторов в возникновении ЧР и считаем, что само жесткое различие когнитивных и дискурсивных факторов оказывается подчас и невозможным, и нецелесообразным. Более того. Как нам представляется, самим дискурсивным (синтаксическим) явлениям можно дать когнитивное объяснение, т. е. рассмотреть их через призму тех психических (ментальных) процессов, которые характеризуют бытие человека и которые служат познанию мира, а потому и связаны с их познавательной ценностью. Возможно также, что анализ предикации и референции с когнитивной точки зрения поможет осознать более глубоко природу этих дискурсивных феноменов, во всяком случае, в том их качестве, в котором они релевантны для ЧР. По необходимости мы ограничимся здесь самими общими соображениями о возможностях подобной когнитивной интерпретации, полагая, что во многом она — программа будущих исследований. Начнем первоначально с характеристики главной структуры дискурса — структуры топика и коммента как определяющей строение высказывания.

Эта структура обнаруживается во всех языках, и субъектно-предикативные конструкции признаются универсальной чертой организации дискурса. Изоморфизм этой структуры структуре восприятия и структуре внимания, а возможно, и структуре деятельности, означает, что с когнитивной точки зрения язык лишь воспроизводит и даже дублирует те схемы, которые определяют соответствующие механизмы в сознании человека. Как правила референции, срабатывающие прежде всего для идентификации топика, так и правила предикации, срабатывающие для организации коммента, оказываются в первую очередь хорошо приспособленными средствами для отражения механизмов внимания, для противопоставления фона и фигуры (ср. [Брунер 1984: 25 и сл.]). В то же время, как указывает

Дж. Лайонз, со времен Платона определение существительного и глагола всегда тесно связывалось с разграничением субъекта (предмета речи, топики) и предиката (фиксирующего то, что сообщается о предмете речи), а позднее — с противопоставлением «называния» и «толкования», топики и коммента к нему [Лайонз 1978: 354 и сл.; Stockwell 1977: 37].

«...Мы условно полагаем, — писал Т. А. ван Дейк, — что значения дискурса должны быть выражены или сигнализированы, прямо или косвенно, поверхностными структурами текста» [ван Дейк 1989: 47]. Соответственно, анализируя «значения дискурса», мы должны уметь связывать их с сигнализирующими эти значения языковыми формами, устанавливая при этом, «прямо или косвенно» осуществляется подобная сигнализация. Точно так же: если в значения дискурса входят значения топики и коммента, интересно поставить вопрос о том, по каким признакам происходит их различение и как это сказывается на понимании предложения. Но понимание предложения — это процесс построения вывода на всех уровнях, начиная с уровня слова. «Наиболее очевиден тот вклад грамматики в описание и членение ситуации, что сопряжен с (выбранными) обозначениями», — указывает Р. Лангакр [Langacker 1991: 12]. Обозначения же получают и топики, и комменты. Референтная отнесенность предложения детерминируется, однако, прежде всего обозначениями, представленными в топике. Наиболее самостоятельным в референциональном отношении и должен быть топик, и не случайно топики формируются именами и именными фразами. С когнитивной точки зрения именно они должны быть перцептуально наиболее определенными и легко идентифицируемыми и/или входящими в разделенное знание говорящего и слушающего и т. д. В языке они обычно обозначены существительными и местоимениями, или, как говорит Дж. Тейлор, им присущи черты «ингерентной топикиальности». Некоторые единицы в языке и должны были стать наиболее приспособленными для того, чтобы фиксировать исходную, или отправную референциональную величину (ср. [Taylor 1994: 219 и сл.]): топик.

Мы бы не хотели исключать вклад глагола в референцию предложения, и хотя и признаем, что глаголы именуют не в том же самом смысле, что существительные, и что они обладают свойством референтно указывать на действительность не так, как существительные [Степанов 1989: 86] (ср. [Степанов 1981: 10; Sasse 1992: 5]), они, конечно, имеют отношение не только к предикации, но и к референции. В чем же можно усмотреть отличие глаголов от существительных в указанных отношениях? По всей видимости, ответ связан каким-то образом с автосемантией одного класса слов и синсемантией другого (подробнее об этих понятиях [Brauhé 1994]). Существительные обычно самодостаточны, глаголы же и прилагательные — нет. Для установления их референциальной отнесенности необходимо их связывание с объектами и субъектами, т. е. существительными, с участниками ситуации. Говорят, что в акте предикации происходит приписывание признаков предмету речи. Но из этого логически следует и то, что предикаты должны

**обозначать признаки**, свойства, которые они могут приписать. Вместе с тем по сути дела предикаты фиксируют одновременно **координаты происходящего** — сам факт экзистенции положения дел или же времени его существования. Существительные таких координат не устанавливают.

Итак, если чуть ли не с времен Ф. И. Буслаева в описании ЧР господствовало убеждение в том, что их следует рассмотреть «в двояком отношении», как по отношению к словарю, так и по отношению к грамматике, если в отечественном языкознании принималась в основном точка зрения В. В. Виноградова о том, что деление на ЧР обусловлено различиями синтаксических функций слов, морфологического строя языка, вещественных (лексических) значений слова и способов отражения действительности (см. [Виноградов 1947: 38–39]), то в настоящий период развития лингвистики можно утверждать, что деление слов на ЧР обусловлено их отношением к лексике (словарю), грамматике (выражаемым ими морфологическим и деривационным категориям) и, главное, их отношением к речевой деятельности, дискурсу и их коммуникативным целям. В каком-то смысле можно утверждать, что ЧР выражают кластерным образом отношение к лексике, грамматике и прагматике. Элементы кластерного пучка, которым представлена каждая отдельная ЧР, согласуются между собой, выражая определенный баланс между семантикой и функцией соответствующего слова и предписывая ему не только передачу концептов из определенного круга значений, но и способность выступать в составе дискурса для осуществления определенных коммуникативных функций. Нежесткость, гибкость соотношения разноуровневых признаков в наборе конституирующих черт каждой ЧР отражает их предназначенность для решения разнообразных когнитивных и дискурсивных задач, возникающих в ситуации нормального общения людей с помощью языка. Именно этим определяется и то, какими общими принципами характеризуется обычно и вся система ЧР.

### *Глава третья*

## **ОНТОЛОГИЯ МИРА И ЧАСТИ РЕЧИ: ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ОСНОВАНИЙ СИСТЕМЫ**

Все рассмотренное в предыдущих главах книги подводит нас к выводу о том, что ЧР, являя собой образец естественных категорий, строятся прототипически и потому демонстрируют классы включенных и включаемых в них слов по принципу «фамильного сходства». Они характеризуются кластерным набором конституирующих их признаков, и каждая отдельная ЧР существует в виде размытого множества, любой член которого обладает тем не менее значительным числом свойств из того уникального набора, который представляет категорию в целом или «лучший образец» такой категории — ее прототип. Если бы таких общих черт у каждого члена вообще не наблюдалось, судить о принадлежности слова данной ЧР мы бы просто не могли, и критика прототипического подхода в этом отношении совершенно справедлива: как отмечали его оппоненты, в конечном счете надо все же ответить на вопрос о том, почему и нетипичный стул все же называется стулом [Kleiber 1993: 102]. В кластерном пучке признаков отдельной ЧР некая их совокупность должна характеризовать и каждый ее член, а вся система ЧР — в каком бы конкретном виде ни была бы она реализована в отдельном языке, — должна демонстрировать некие универсальные черты.

Утверждая, что наличие системы ЧР является универсальной характеристикой всех языков мира, мы также имеем в виду не только то, что нет языка, в котором не было бы системы ЧР, но и то, что устанавливаемые в этом языке и этой системе отдельные полнозначные ЧР дефинируются по уникальному сочетанию для каждой из них формальных или структурных, морфосинтактических или дискурсивных характеристик и характеристик семантических и содержательных, когнитивных или концептуальных и что ни одна из частей или частиц речи не может быть определена в терминах одних морфосинтактических (поведенческих) или в терминах одних когнитивных (реферирующих к миру) свойств (ср. также [Sasse 1992: 7–8; Croft 1990; 1991; Maratsos 1990; Langacker 1987; 1991 и др.]).

Интересно в этой связи указать, например, на то, что такой наиболее формально отмеченный класс, как существительное (они часто склоняются, изменяются по числам, маркированы в своих падежных формах и т. д.) никак не является собой класса слов, отличающихся единством своих структурных свойств, и демонстрирует отчетливую формальную противопоставляемость имен собственных и имен нарицательных, имен конкретных и абстрактных, жестких и нежестких десигнаторов. На основании одних только структурных характеристик выделить существительные было бы довольно сложным.

Вряд ли можно было бы вычленить категорию существительных и на основании чисто дискурсивных свойств. Хотя сторонники дискурсивной теории ЧР и утверждают, что существительным становится то слово, что обозначает партиципанта события и формирует вершину номинативных групп, а проще — то, что функционирует как аргумент с референцией к миру, эвристическое использование указанных критериев весьма сомнительно. С одной стороны, существительные легко строят предикаты, с другой стороны, в качестве строительного языкового материала для формирования аргументов используются не только существительные (ср. «*Любить иных — тяжёлый крест*»... Б. Пастернак; *А завтра все не приходило* и пр.), и наконец, строго говоря, понятие партиципанта или участника ситуации — это такое же семантическое понятие, как и понятие объекта, только определенное относительно иной когнитивной области (первое определяется относительно мира «как он есть», а второе — относительно мира языка, мира дискурса). В настоящей главе, посвящаемой конкретному содержанию такой онтологической бытийной сущности, как объект, и защищающей мнение о центральном положении этого когнитивного феномена для всей системы ЧР, мы отнюдь не отходим от основного тезиса нашего исследования: в понимании и определении каждой ЧР присутствуют и когнитивные, и дискурсивные моменты, и лишь их корреляция и вполне определенная комбинаторика тех и других отличает одну ЧР от другой.

Вдобавок к этому мы настаиваем и на том, что подробное освещение дискурсивных характеристик ЧР (в предыдущих главах) должно быть дополнено не менее подробным и не менее содержательным освещением того, что понимается под онтологическими или онтолого-когнитивными основаниями ЧР, а также того, как мыслится нами каждое из таких оснований. Несмотря на многочисленные попытки такого объяснения, в понимании онтологических категорий, как и в их списке, остается, несомненно, еще много неясного. Задача настоящей главы — усиленное объяснение «онтологии здравого смысла» и центрального ее понятия — понятия вещи, или предмета (объекта) как понятия, формирующего систему ЧР, самого являющегося универсальным и предопределяющего также некоторые универсальные черты **развития** системы.

Будучи универсальной, система ЧР демонстрирует не столько буквальную повторяемость в наборе своих составляющих и/или в наборах черт, присущих та-

ким составляющим. Речь идет именно о весьма сходных, а, возможно, и универсальных линиях или путях ее развития за счет появления нескольких универсальных противопоставлений или оппозиций в ее организации. Постепенно членение ноэтического пространства языка демонстрирует не просто сходные тенденции в формировании системы ЧР в разных языках, — оно отражает познание мира обыденным сознанием и те классификации, которые оно создает в его осмыслении.

Всегда существует противопоставление открытых и закрытых классов слов (помимо указанных выше работ см. [Sasse 1992: 1; Brauße 1994: 102]), универсально наличие местоимений и их противопоставление знаменательным словам, универсально, наконец, и противопоставление денотативно ориентированной, предметной, и сигнификативно ориентированной, признаковой лексики. Без общих (универсальных) определений этих и других классов лексики типологическое сравнение языков было бы невозможным. Общее определение может быть дано и таким кардинальным ЧР, как существительное, прилагательное и глагол, и весь опыт их рассмотрения приводит нас к выводу о том, что каждая из указанных ЧР и каждый представитель отдельной ЧР могут быть отождествлены и опознаны как особые дискурсивно-когнитивные образования, т. е. как слова, дискурсивные характеристики которых соотнесены и согласованы с определенными когнитивными (концептуальными, семантическими) свойствами и потому являют собой в своей совокупности уникальный кластерный набор (ср. также [Schachter 1985: 6]).

Так, чтобы слово могло считаться глаголом, оно должно быть способным строить самостоятельно предикат (или выполнять предикативную функцию), имплицировать или пресуппонировать в прототипическом окружении один или более одного аргументов, видоизменяться по особым категориям грамматики и спрягаться, модифицироваться особыми частицами (конкретными для каждого отдельного языка) и, наконец, служить обозначением какого-либо вида деятельности, действия, положения дел (их нередко именуют состояниями и делят последние на физические, ментальные, социальные и позиционные), указывая в своей семантике на определенные хронотопные характеристики процессов (о чем мы еще подробно скажем ниже). Внутри такого уникального набора признаков отчетливо выделяются дискурсивные, или морфосинтаксические, функциональные свойства, с одной стороны, и концептуальные, содержательные, с другой, а каждый отдельный глагол, по определению, должен демонстрировать сочетание, по крайней мере, одного из функциональных и одного из когнитивных признаков, что и создает для всех глаголов одного языка неперемное «фамильное сходство».

Поскольку дискурсивные характеристики отдельных ЧР уже были подробно освещены в предыдущих главах книги, в этой главе нам предстоит проанализировать самое сложное в строении ЧР, рассмотрев еще раз постулируемое нами соотношение дискурсивных характеристик с когнитивными и конкретный смысл и содержание самих когнитивных оснований ЧР, связывая эти последние с онтоло-

гией мира и главными бытийными категориями человеческого сознания как рожденными в процессах познания мира.

Вернемся к тезису о том, что в дефиницию каждой ЧР должны быть включены как дискурсивные, так и когнитивные характеристики, и рассмотрим его конкретное содержание. В то время как первые представляют собой характеристики поведенческие, выступающие при использовании языка в речи, или дискурсе, и являющиеся таким образом **внутрисистемными**, вторые, напротив, представляют собой характеристики, связывающие языковую действительность и языковую систему с экстраязыковой — с миром «как он есть», т. е. скорее характеристики **внешние** или ориентированные вовне. Являясь поведенческими, дискурсивные характеристики выступают с лингвистической точки зрения либо как морфологические (каждая ЧР оказывается способной принимать те или иные виды флексий и морфологически видоизменяться в том или ином отношении, демонстрируя такое видоизменение внутри слова), либо как синтаксические (каждая ЧР оказывается способной встречаться в определенном синтаксическом окружении и/или выполнять определенные синтаксические функции). Такие характеристики, обнаруживая черты сходства в самом общем плане (в виде способности слов спрягаться или склоняться, развивать категории рода, числа и падежа или же категории вида, времени и залога, выполнять функции предикации или же референции и модификации), все же в своей реализации всегда весьма конкретны и в конечном счете ярко отличают один язык от другого. Достаточные для описания классов слов в каждом конкретном языке, они тем не менее не могут служить сравнению или сопоставлению языков в типологическом плане и не предлагают базы такого сопоставления (ср. также [Croft 1991: 32 и сл., особ. 37]).

Основным вопросом для типолога, и для специалиста по общему языкознанию, и для того, кто описывает отдельный язык, остается вопрос о том, как передает язык информацию о мире и как он распределяет ее по своим единицам и категориям. Если даже исходить из того, что язык является средством общения и что главной его функцией является коммуникативная, нельзя забывать о том, что цели коммуникативных актов определяются передачей информации или ее запросом, т. е. так или иначе связаны с вербализацией и объективацией определенного содержания. Акт речи знаменует собой **работу с информацией**, информация же представляет собой феномен **когнитивный**, рождающийся в процессах познания и восприятия мира. Во всех видах использования языка — коммуникации, дискурсе, — рефлегируется та или иная деятельность с информацией (ее получение, обработка, хранение, извлечение и достижение новых знаний и т. д.). Все единицы языка, соответственно, тоже служат либо выражению информации, либо ее распределению, либо, наконец, членению потока информации и при том, делая это, они обслуживают как мыслительные процессы в голове отдельного человека, так и способствуют отражению опыта человечества в целом, фиксируя результаты восприятия и познания действительности. Без того, чтобы определить

когнитивную сущность каждой единицы языка, каждой языковой категории и каждой языковой классификации, нельзя дать им сколько-нибудь разумного объяснения и тем более — охарактеризовать их природу и функции. В таком когнитивном объяснении нуждаются в первую очередь и ЧР. Следует, конечно, говорить и о когнитивных основаниях всей грамматики (ср. также [Langacker 1991]).

Нельзя не отметить при этом, что в принципе отнюдь не случаен тот факт, что многие исследователи продолжают настаивать на том, что ЧР можно определить на основе выполняемых ими функций референции, предикации и модификации и маркирования этих функций в предложении с помощью особых формальных приемов, тогда как на основе их семантики различить эти классы слов не представляется возможным — все они равно обозначают объекты (ср. [Miller 1985: 137, 215, 228 и др.; Schachter 1985: 3 и сл.]). Конечно, некоторые тенденции в распределении значений между разными ЧР существуют — каждая из ЧР скорее всего обозначает объекты определенного типа, и концептуальный анализ ЧР стоит продолжить, ибо традиционный взгляд на ЧР и на то, что называет каждая из них, не лишен оснований. Однако, способность языка отразить любую единицу опыта синтаксическим существительным, а также взаимозаменяемость конструкций с разными ЧР в семантическом плане (типа *the city was destroyed* → *the destruction of the city*, т. е. *город был разрушен* → *разрушение города*, или *with vigour* → *vigorous* → *vigorously* = *с силой* → *сильно, сильный* и пр.) свидетельствуют якобы о том, что концептуальные различия отдельных ЧР были бы для их опознания явно недостаточными. Лишь обычный параллелизм речевого акта референции и использования существительного в качестве вершины реферирующего выражения, как и акта предикации и использования для его выражения глагола, кладет барьер между этими частями речи, заставляя считать их прежде всего классами синтаксического порядка [Там же: 242].

Убедительность подобных доводов несомненна, но ведь дело заключается просто в том, что синтаксические или дискурсивные характеристики как бы более очевидны: они реально наблюдаемы в поверхностных структурах предложения и текста; очевидны приемы их материального выражения; формальная маркировка ЧР существует нередко в виде сложной и разветвленной системы расподобления разных языковых форм при осуществлении ими разных функций, но она существует и т. д. При всей трудности описания подобной системы опыт такого описания (например, достигаемого в ходе проведения дистрибутивного анализа), тоже, несомненно, существует, а сам синтаксический анализ опирается при этом на объективные данные о сочетаемостных, позиционных и морфосинтаксических особенностях языковых форм. В противоположность этому о концептуальных основаниях ЧР можно только строить догадки. К тому же для верификации данных догадок надо выйти за пределы собственно языковых систем и обратиться к сведениям о восприятии мира, и к наблюдениям за детской речью, и к нейрологическим данным, и, наконец, к биологическому устройству человека и организа-

ции его мозга и т. д. Все это, разумеется, затрудняет как исследование когнитивных основ ЧР, так и получение достоверных результатов о семантике отдельных ЧР. И все же все это необходимо, поскольку и сами дискурсивные характеристики ЧР могут получить объяснение только «на глубине», а значит, тоже с **когнитивной точки зрения**.

В некотором смысле следует утверждать, что вопрос о том, для чего нужны референция, предикация и модификация, получающий ответ — «для коммуникации», есть тоже результат познания, когниции, а, значит, есть ответ **когнитивный**. Лишь в научных целях можно противопоставить **познание мира**, с одной стороны, и познание **языка**, с другой, а следовательно, ставить проблему о когнитивных основаниях ЧР, различая а) то, как система ЧР отражает мир, и б) то, как система ЧР обслуживает дискурс и речевую деятельность, т. е. то, как и в каком виде участвует эта система в процессах коммуникации. Первое создает то, что в собственном смысле слова отражает познание и восприятие мира, его членение и репрезентацию познанного и воспринятого первоначально в структурах сознания (т. е. в виде ментального феномена), а затем — в виде объективированных с помощью языка специальных форм. Второе — то, что выступает в языке в виде особых дискурсивных характеристик ЧР.

В настоящей главе в качестве когнитивных мы рассматриваем те онтологические бытийные категории, которые формируются в процессах познания мира всем человечеством и которые образуют по сути дела основные рубрики категоризации мира, свойственные homo sapiens, притом, возможно, еще на довербальном, доречевом этапе существования и формирования человека. Ясно, что подобные когнитивные рубрики человеческого опыта предшествуют по своему возникновению созданию дискурсивных характеристик ЧР, возможных только тогда, когда начинает развиваться сам язык, и формирующихся вместе с языком в процессах его генезиса и эволюции как средства коммуникации и, следовательно, как отвечающих потребностям самой складывающейся коммуникативной системы. Если когнитивные характеристики языка детерминируются теми биологическими ограничениями, которые налагаются на обработку информации, приходящей к человеку по разным каналам (и, таким образом, они связаны со спецификой чисто человеческих диапазонов восприятия и с развитием соответствующих органов чувств), собственно дискурсивные характеристики языка детерминируются такими факторами, как линейность и однонаправленность речи, ее звуковая субстанция, возможности распределения информации в звуковом потоке и ее соотношения со структурами сознания (репрезентациями).

В какой-то мере можно полагать, что такое противопоставление когнитивных и дискурсивных характеристик достаточно условно, но именно оно помогает понять, какую роль в становлении языка играют онтологические категории и как именно эти последние определяют предстоящее членение образующейся постепенно в генезисе языка совокупности слов, их распределение по ЧР, т. е. как

онтологические категории формируют главные координаты будущего языка и его ноэтического пространства [Кубрякова 1978: 95; Kubrjakova 1989].

Завершая рассмотрение соотношения когнитивных и дискурсивных характеристик, следует, таким образом, еще раз обратить внимание на специфику термина «дискурсивный», который в строгом смысле слова не направлен на подчеркивание его противопоставленности термину «когнитивный». Приведем еще несколько общих соображений по этому поводу.

Возможно, например, что дискурсивные характеристики следует считать структурными ограничениями, связанными с представлением результатов когниции в рамках речевой деятельности, а, значит, обусловленными линейностью речи, необходимостью барьера или рубежа в потоке информации между тем, что дано в виде отправных моментов высказывания (топика), и тем, что про них сообщается. Но тогда дискурсивные характеристики — это только способ представления информации, сообразованный с звуковой субстанцией языка и сам созданный в процессе ее познания (когниции); это тоже когнитивно мотивированный феномен.

Возможно также предположить, что закрепление некоторых концептов (значений) за системой языка (за грамматическими категориями как обязательными или же за ее лексическими единицами) в отличие от их появления исключительно в момент речи (когда формируются функционально-аргументные структуры и за членами высказывания закрепляются роли предиката и падежные роли аргументов и т. п.) свидетельствуют о большей релевантности именно первых, а не вторых значений или, во всяком случае, о необходимости определенной исходной системы концептуальных данных, которой можно далее оперировать в дискурсе достаточно гибким способом.

Как об этом хорошо сказано у Ольги Йокоямы: одной из главных целей дискурса является передача другому такого объекта, как знание. Для того, чтобы описать условия этой передачи, мы должны знать, какую форму приобретает / имеет передаваемый объект, т. е. в какой лингвистической форме и какое знание служит объектом передачи. Но вопрос о том, какое знание передается, это вопрос о сути **информации**, а вопрос о его форме это вопрос о **метаинформации** (см. [Yokoyama 1986: 1–7]). Первое входит в число когнитивных характеристик языка, второе — в число дискурсивных. Когнитивные характеристики — это концепты, служащие организации человеческого опыта во всем его разнообразии, дискурсивные — это абстрактные концепты, выделенные для осмысления использования языка, осуществления дискурса и создания текста.

Те же мысли можно сформулировать и по-иному, подчеркивая, что в генезисе ЧР когнитивные факторы взаимодействуют с дискурсивными, а в происходящем в это время обозначении фрагментов мира и в их классификации процессы номинации оказываются ориентированными не только на установление конвенциональной связи между названием и его референтом или денотатом в окружаю-

щей действительности, но и на использование такого названия в актах коммуникации. Каждая ЧР оказывается поэтому мотивированной одновременно и тем, что именно именуется и какой фрагмент мира выбран для ословливания, и тем, как это название будет **использовано** для построения высказывания и в какую часть этого высказывания (тематическую vs рематическую, топикальную vs комментную или же функтивную vs аргументную) оно попадет (т. е. для какой дискурсивной роли оно предназначается). Сложившаяся к тому времени концептуальная система в мозгу человека и уже представленные в его голове ментальные репрезентации частично перестраиваются под влиянием складывающегося языка, но о «первичном» состоянии подобной системы свидетельствует прежде всего тот факт, что и сегодня наша семантическая память структурирована в основном за счет именных категорий (ср. [Kleiber 1993: 94] со ссылкой на работу [Loftus 1972] и примечанием о том, что гораздо легче представить себе лучший образец птицы, чем лучший образец перемещения или движения).

Требования, налагаемые дискурсом и способами его протекания в акустической форме, «встраиваются» в концептуальную систему с уже существующими в ней разграничениями и дифференциацией структур сознания, сложившейся в актах восприятия и доречевого осмысления действительности, т. е. в такую концептуальную (простейшую) систему, в которой концепты пространства, движения и покоя, ряда моторных программ и, главное, предмета (тела, вещи) и живого существа, человека, уже сформированы и выступают в качестве простейших онтологических категорий для концептуализации и классификации опыта. Простейшей онтологической величиной такого рода мы считаем предметную сущность — вещь, тело, или **объект**, простейшей онтологической категорией — **категирию предметности**.

Продолжая сравнение дискурсивных характеристик ЧР с когнитивными, можно было бы также отметить, что первые не имеют тех непосредственных образных репрезентаций, которые необходимы для формирования первых обозначений. Этим мы хотим подчеркнуть различие между единицами номинации и единицами коммуникации. В акте номинации обозначение может получить та ментальная структура, которая уже сложилась в сознании человека в виде символической, иконической, индексальной и т. п., но которая уже является оперативной единицей сознания, причем уже подведенной под определенную рубрику опыта, т. е. отождествленной. Для того, чтобы осуществить такое отождествление, необходимо обладать знанием неких классификационных схем — знанием исходных для разнесения опыта по рубрикам примарных онтологических категорий. Как пишет А. Вежбицкая, знание выступает как человеческая интерпретация мира [Wierzbicka 1988: 2], а чтобы создать объективирующую его единицу номинации, необходима способность рассуждать о мире и интерпретировать то, что воспринято. Значение — это когнитивный феномен, за которым стоит определенная структура знания. Основная цель единицы номинации, объективирующей подоб-

ную структуру, выволить из памяти при использовании эту структуру знания, сигнализировать об одном «кванте» знания.

У единицы коммуникации — предложения — цель несколько иная: сообщить нечто о чем-то; по способу и форме представления содержания она является фиксирующей соотносительность одного кванта знания с другим, и сигнализировать она должна именно **что** сообщается и **о чем**. По своему содержанию это тоже когнитивная единица, но абстрактная схема для ее выражения не может иметь такой гештальной репрезентации, какая стоит за предметным обозначением (жестким десигнатором).

Не исключено, что возникновению языка предшествуют и некие простейшие пропозиции — объединения в сознании взаимодействующих величин в единую структуру, и что именно такие объединения становятся прообразами будущих предложений, но формирование этих единиц дискурса — следующая ступень в эволюции языка, приходящаяся на то время, когда односоставное высказывание сменяется (как и в детской речи) двухсоставным.

Каким бы диффузным и неопределенным по своей коммуникативной направленности ни было первое однословное высказывание ребенка и какое бы интенциональное содержание оно ни передавало, ясно, что оно так или иначе **отнесено к определенному объекту** и что дискурсивная неоднозначность не мешает опознанию того объекта, о котором в высказывании идет речь.

Современный этап в развитии наук позволяет снять существовавший ранее запрет на размышления о происхождении языка и предложить взамен спекуляций на эту тему некоторые более или менее обоснованные догадки. Для понимания ЧР они чрезвычайно важны, и в настоящем исследовании мысль о том, что ЧР рождались в результате ословливания простейших структур сознания (это ответ на вопрос о том, что именно подвергалось означиванию), и что сам этот процесс номинации был предназначен для передачи информации (это ответ на вопрос о целях и мотивах обозначения), является основополагающей. Первые названия не могли не относиться к обозначениям реалий и операций, вовлеченных в коллективную деятельность людей, а следовательно, к обозначениям участников и предметов деятельности, в том числе тех, что служили объектами совершения действия или же его орудиями или инструментами.

Исторически первые, наиболее ранние формы именованья связаны, по всей видимости, с жестом: жест направлен на определенный объект в присутствии общающихся, а выделенный ими объект становится тем самым коммуникативно значимым. В свою очередь значимость объекта повышает интерес к указывающему на него жесту. Жест еще не несет информации об объекте — он только знак привлечения внимания к нему. Сопровождаясь вокалически, он может уступить свое место этому звуковому комплексу, и первые вокалические последовательности выполняют первоначально те же функции, что и жест. Можно предположить также, что по своему «исполнению» звуковой комплекс, оформленный интона-

ционно, представляет собой нечто близкое призыву. По мнению Э. Ганса [Gans 1981], первые языковые формы — это императивы, им уже можно приписать синтаксический (дискурсивный) статус. Такое повелительное высказывание формируется — в отличие от жестового обозначения — в ситуации отсутствия объекта, т. е. репрезентирует нечто взамен объекта, а потому носит именной характер.

Субстантивность первых императивов (типа *Вода! Волк!*) автор объясняет тем, что побуждение направлено на привлечение деятельности / внимания слушающих к реальному объекту, а не к какому-либо действию. Тем не менее подобная языковая форма представляет важный шаг в развитии языка, поскольку знаменует собой появление связи объекта с деятельностью и помогает постепенно трансформировать именные формы в глагольные (тогда, когда в фокусе внимания оказывается уже не объект, а действие с ним). Дальнейшую эволюцию языка Э. Ганс связывает с возникновением целой системы локативных элементов, которые обозначают параметры местонахождения объекта и могут служить указанием на направление движения (*Беги туда!*), а также — системы определенных знаков, уточняющих свойства и признаки объекта (*Большой пожар!*).

Для нас важно, что в этой гипотезе о происхождении языка главное место отводится фактически обозначениям реальных объектов. Если добавить к предположениям Э. Ганса материал о том, что сама локативная частица обычно формируется на основе конкретной лексики, чаще всего — на основе обозначений частей человеческого тела (*перед, зад, голова* и т. п. — см., например [Heine, Claudi, Hünemeyer 1991]), тезис о первичности онтологической категории **объекта** получает еще большую доказательность. Выделение категории предметности в качестве центральной категории человеческого опыта и человеческого познания поддерживается, собственно, и другими доступными нам данными (ср. подробнее также в главе о восприятии мира).

Каким бы ни оказывался список примарных онтологических категорий у разных авторов (ср., например, во всех работах Р. Джекендоффа, в частности, [Jackendoff 1992: 34 и сл.], см. также [Tomasello 1995: 40; Jackendoff 1991: 22; Rickheit 1993: 189 и сл.; Croft 1990; 1991: 115; Miller 1985: 215] и др.), категория **объекта** всегда занимает в нем первое место<sup>1</sup>.

Интересно отметить, что разные исследователи подчеркивают в категории предметности и в самом концепте предмета (объекта) разные стороны, а поскольку это имеет прямое отношение к определению существительного как языковой формы, специально предназначенной для передачи идеи объекта в системе языка, рассмотрим теперь более подробно, какие признаки считаются конституирующими рассматриваемую категорию. Наиболее полно эта категория в логико-

---

<sup>1</sup> Этому, собственно, не противоречит и тот факт, что в работе [Heine, Claudi, Hünemeyer 1991: 48 и сл.], как и в некоторых других исследованиях, отсчет онтологических категорий начинается с категории **лица** (person).

философском плане описана И. Г. Руденко [Руденко 1990], и мы бы не стали повторять его анализа, если бы не считали необходимым, во-первых, выделить и в его анализе самые существенные для настоящего исследования моменты и, во-вторых, дополнить и уточнить его соображения за счет нового материала (особенно — типологических и когнитивных исследований последнего десятилетия).

Как правильно указывает И. Г. Руденко, весь интервал абстракции, связанный с существительными, так или иначе обеспечивается формально-грамматическими характеристиками имени и уже этим противопоставлен (именно как интервал абстракции) признаковому интервалу, что и создает единое (когнитивное) пространство полнозначных имен, в котором «предмет» и его «признак» тесно взаимодействуют [Руденко 1990: 49; Басилая 1988]. И хотя о всех параметрах, разводящих предмет и его признак, существительное и глагол, мы еще подробно расскажем в следующей главе, нельзя и здесь пройти мимо того факта, что понятие предмета связано прежде всего с идеей противопоставления фона и фигуры в окружающей человека среде, а следовательно, с идеей пространства и его членения. Объект — это простейший результат дискретизации универсума, выделения в пространстве его отдельных фрагментов, признания за выделенным фрагментом известной обособленности и самостоятельности, осознания разных форм материи, заполняющих пространство и в нем отделимых друг от друга. В семиологической грамматике определение имени и базируется прежде всего на пространственном понимании предмета — как тела, занимающего особое место в пространстве [Степанов 1985: 22–23]. Ср. также данные о том, что «в мифопоэтических традициях наделение предметов местами интерпретируется как приобретение ими статуса самостоятельного существования» [Топорова 1994: 34].

Следующая характеристика (прототипического) предмета — его стабильность во времени, его тождество самому себе, относительная неизменяемость его существования в достаточно обозримый период времени, — то, что Ж. Пиаже назвал «перманентностью» и «консервативностью» объекта и что понимается в объекте в качестве его главных черт в онтогенезе речи (см., например, [Mc Shane 1990: 260 и сл.; Gleitman and oth. 1989: 170–171; Tomasello 1995: 136]; см. также материалы сборника [Gleitman, Landau 1994: особ. 143 и сл., 249 и 259] и др.).

Объекты не меняют своей формы при движении; занимают место в пространстве соответственно своему размеру, а в основе их распознавания лежат их перцептуально-наглядные черты, их физические особенности, что и позволяет предполагать, что они узнаются в результате сенсомоторного развития ребенка. Как писал еще Куайн, «наши концептуальные первые величины (conceptual firsts) — это объекты среднего размера, средне от нас удаленные» [Там же: 143]. Вначале внимание детей фокусируется на том, что дано им в непосредственном опыте, чисто сенсорно, причем интерес к объектам особенно велик, когда его появление / присутствие сопровождается каким-либо звуком или шумом. Связь объекта с его названием именем существительным кажется универсальным феноменом,

и если детей знакомят с неизвестными им объектами, они склонны интерпретировать любое отнесенное к ним слово как название объекта в целом. Существует немалая литература, посвященная вопросу о том, почему именно существительные усваиваются до глаголов и почему среди всех первичных онтологических категорий особое место занимает категория предмета и предметности (ср., например, [MacNamara 1986; Gentner 1982; Waxman 1994;] и многие другие). Обычно это связывается с физической определенностью и стабильностью объектов (см. также выше).

Подчеркивая, что выделение объектов соответствует выделению особых рубрик в организации опыта, Дж. Миллер и Ф. Джонсон-Лэрд указывают также на то, что одно из важнейших суждений о мире касается определения какого-то ощущения, «перцепта X», в виде конкретного трехмерного объекта [Miller, Johnson-Laird 1976: 38 и сл., 40]. Как объясняет И. Г. Руденко, со ссылкой на П. Гича, «отдельность объектов, отграниченность от других, четкая выделенность из окружающего мира является важнейшей предпосылкой исчисляемости данных объектов, возможности определения их числа» [Руденко 1990: 58]. Думается, однако, что хотя среди признаков прототипических объектов действительно существенным оказывается то, что их можно сосчитать или пересчитать, зрительная отдельность физических тел (физическое тело средней величины легко обегано взором и/или помещаемо в руку или обхватываемо двумя руками и т. п.) может трактоваться как свойство их дискретности и в другом отношении. Так, у Р. Лангакра именно наличие достаточно четких границ у объекта, очерченности, контурности, ограниченности (boundedness), того, что он занимает в пространстве вполне определенное место — «регион» или «район» (region), оказывается критериальным признаком существительного как обозначающего объекты именно в указанном смысле — как отдельные сферы по отношению к «своей» области, «своему» пространству. И если для физических объектов это физическое же пространство, — например, пространство цвета, среды, геометрическое пространство, то для ментальных объектов — это тоже свое пространство, своя среда (ср. [Langacker 1987: 117–118 и др.; 1991: 63 и сл.] и особенно [Fauconnier 1994]).

Комментируя взгляды Р. Лангакра по поводу соотношения концепта объекта и такой языковой формы, как существительное, нельзя также не обратить внимания на справедливость его тезиса о том, что определение, даваемое существительным, должно относиться ко всему этому классу слов, а не только к его прототипическим членам (обозначающим физические тела) — см. [Langacker 1991: 60]. Таким определением представляется им абстрактная формула, согласно которой существительное — это «обозначение чего-то ограниченного в своей области» (или — «относительно своей области»), а исчисляемые существительные — это «обозначение чего-то точно очерченного в своей области» — см. [Там же: 63]. Но такая формула интуитивно мало содержательна, и мы предпочитаем, опираясь на понятие прототипа и фамильного сходства, определить концептуально «лучший

образец класса» существительного как обозначение легко выделяемого сенсорно физического тела в пространстве, обладающего свойством отдельности и целостности, а также противопоставляемого в этом пространстве другим телам. Тогда, используя данные о том, как развиваются и расширяются естественные классы, мы можем также легко объяснять, на основе каких концептов при выдвигании их на первый план в кластерном пучке рождались существительные с иными типами значения и как под понятие предмета или объекта могло стать подведенным любое явление, процесс, действие и т. п., начиная от геометрической точки в пространстве, кончая самим понятием пространства. Частично мы объяснили такие сдвиги, интерпретируя феномен реификации при анализе словообразовательных процессов (т. е. мысленное опредмечивание той или иной сущности), продолжим это объяснение и здесь.

Занимавшиеся категорией предметности, подчеркнули, что рассматривавшееся мной соотношение ономаσιологического базиса и ономаσιологического признака в процессах деривации, позволяет уточнить сами представления об объекте и признаке, т. е. могут быть распространены за пределы словообразования [Руденко 1990: 62–63; Басилая 1988: 57–58], и действительно, выбор ономаσιологического базиса обозначения (т. е. концептуального основания создаваемого названия) «равносилен не только простому выделению того, что подлежит обозначению, в виде отдельной сущности, но и ее отождествлению в качестве предмета, процесса, качества или свойства» [Кубрякова 1981: 101]. Точно так же понятие признака соотнесено с выбором «той индивидуальной характеристики, которой данное обозначаемое обладает в отличие от других предметов этой же понятийной категории, и в то же время такой, которая напоминает человеку другой знакомый ему предмет или явление» [Там же].

Таким образом, отдельной сущностью, выделенной в пространстве, может быть, строго говоря, не только предмет или вещь (трехмерные сущности), но и индивидуальный признак или процесс. Индивидуация составляет непременную черту любого акта номинации, и по этой черте выделить объект как таковой было бы невозможно. Именно поэтому, утверждая центральность онтологической категории объекта, мы указываем не столько на отдельность объекта, но и на его особую чувственную, сенсомоторную **выделяемость**. Даже остенсивно определяемые признаки нельзя потрогать, а тем более отделить от их носителя: их можно помыслить отдельно, но самостоятельного, автономного существования они не имеют. Именно в этом смысле важны особенно и те свойства четкой физической ограниченности одного объекта от другого (даже если этот объект – куча песка или разлитая вода) и его внутренней связанности (даже компактности как особого сгущения материи в ее отдельный фрагмент), о которых говорит Р. Лангакр и которые мы комментировали выше.

В интересной статье Майкла Маратоса, темой которой является ответ на вопрос «Являются ли действия тем же самым для глаголов, чем являются объекты для

существительных?» [Maratsos 1990], он совершенно справедливо указывает на специфику соотношения формальных и семантических свойств при определении существительного, ибо представление о конкретном объекте не только уникально по своей значимости для организации всей категории существительного, но и для мира представлений в целом. В этом ментальном мире все делится по принципу конкретный объект — все остальное. М. Маратсос приводит богатейший материал по освоению языка и существующих в нем категориальных, частеречных различий, а также указывает на мнения по этому поводу специалистов по онтогенезу речи. Согласно едва ли не общераспространенным взглядам, — пишет Маратсос, — категориальная отнесенность слова устанавливается первоначально ребенком на основе его ядерной (прототипической) семантики и лишь затем структурные характеристики слов, обнаруженные у таких типичных существительных, глаголов или прилагательных, используются для опознания всех прочих представителей своей части речи. Такие мнения основаны на убеждении в том, что корреляции между семантическими свойствами и структурными характеристиками у всех частей речи примерно одинаковы. Лишь в последнее время ученые стали замечать, что усвоение существительных отлично от усвоения других ЧР, ибо именно объекты представляют собой особые «пакеты» информации и потому концептуально выделяемы (ср., например, [Gentner 1982]). Все дальнейшие наблюдения и исследования в этом направлении подтверждают особое положение объектов в мире как он есть, особое положение существительных в отличие от всех других ЧР в системе языка и, наконец, такое же уникальное положение аргументов в функционально-аргументных структурах в синтаксисе [Maratsos 1990: 1353–1354] и, наконец, партиципантов в структурах деятельности [Seiler 1991].

Но самые интересные выводы Маратсоса, касающиеся существительных, связаны, во-первых, с признанием того факта, что **одних** структурных характеристик для их выделения в качестве самостоятельной ЧР во многих языках совершенно недостаточно и, во-вторых, что все же определенная содержательная черта объединяет этот класс слов в единое целое. Такой унифицирующей эту ЧР идеей выступает для огромного числа существительных референция к конкретному объекту; именно она обеспечивает далее развитие этой категории по принципу фамильного сходства [Там же: 1362–1363 и 1374–1375].

Итак, сенсорная выделяемость конкретного объекта в актах его восприятия называется той самой характеристикой, которая не только объединяет всю категорию предметности, но и которая отличает объект от всех не-объектов. Достаточно постараться представить себе, как можно точно отграничить такое свойство, как *теплый* или *длинный* или *красный*, или такое действие, как *бежать* или *колоть* (где их начало? где их конец?), чтобы понять эти принципиальные отличительные свойства самого концепта объекта и многие из тех последствий, которые вытекают из предложенной его интерпретации. Таким образом, объективная реальность вещей делает более простым формирование онтологической категории

объекта или предметности и позволяет далее философам-материалистам говорить в этом особом смысле о предметности сознания и его отнесенности к реальному миру, а также — что тоже весьма важно — о моделируемости любых интенциональных объектов по образу физических тел [Руденко 1990: 61]. Общий итог всех этих рассуждений заключается в том, что ядро существительных как особой ЧР составляет онтологическая категория предмета, что диффузная единая категория названия у истоков языка референтна относительно предметного мира, т. е. обозначает сенсорно или перцептуально легко отождествляемые сущности, представления о которых и репрезентации которых в голове человека предшествуют языку.

Если же признать, что такая ЧР, как существительные, имеет единое концептуальное основание и что оно разделяется всеми членами этой категории, а также, что она формируется с когнитивной точки зрения на представлениях о зрительно или сенсорно выделяемых, целостных, обладающих четкими физическими границами и параметрами, отдельных «консервативных» = стабильных во времени и тождественных самим себе в пространстве объектах, то исторически объяснимой и правдоподобной оказывается и **цепочка сдвигов**, происходящих по мере развития категории и маркирующих отношения на шкале от конкретных имен до имен абстрактных, от обозначений жестких десигнаторов до номинальных классов слов, создаваемых уже самим языковым их определением.

Все, что к сегодняшнему дню известно о развитии естественных категорий, приложимо и к развитию языковой категории существительных и подтверждается как типологически, так и данными об онтогенезе и о первичном непосредственном восприятии мира. Особо мы хотели бы выделить в этом развитии появление концепта **единицы** (на основе сочетания критериев отдельности и физической выделяемости объекта), что собственно и объясняет универсальную способность этой ЧР представить (репрезентировать) любую мыслимую сущность (т. е. сделать ее предметом мысли). Словообразовательные процессы, направленные на создание отглагольных имен, с одной стороны, или же деадъективных существительных, с другой, и осуществляются с целью возникновения указанных выше и референтно самостоятельных **единиц** — носителей признаков и автономных участников ситуации. С когнитивной точки зрения — это ясное проявление способности человеческого ума к метонимиям как своеобразным абстракциям, позволяющим превратить каждый познанный и выделяемый атрибут действительности (ее *parts* — часть объекта) в представителя и субститута объекта в целом (*parts pro toto*), т. е. в особую **единицу опыта** — **entity**. Это, кстати говоря, позволяет современным типологам оперировать равно то понятием **объекта**, то понятием **единицы** как одинаково ясно отражающим центральные для всей категории существительных концепты, ср., например, [Croft 1991: 38; Miller 1985: 209 и сл., 240; Rickheit 1993: 192].

В отличие от них мы, однако, предпочитаем говорить о том, что «вначале было слово», и что это слово обозначало, будучи диффузным именем (по И. И. Мещанинову), нечто, реферирующее к предмету. Лишь постепенно формировалось на этой основе противопоставление имен и не-имен, предмета и не-предмета и т. п., а на основе имени и предмета рождались представления о предметах и именах разных типов. Схему такого членения единой категории номинации мы уже привели в книге 1978 г. [Кубрякова 1978: 45]:

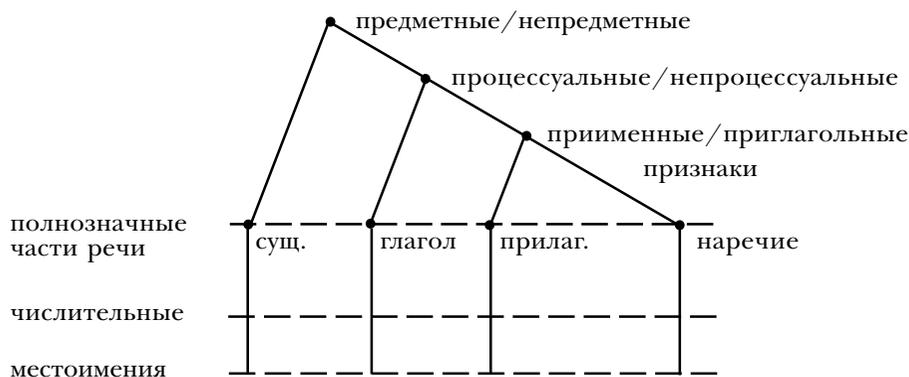


Схема эта, демонстрирующая, как членилось и как членится ноэтическое пространство языков (номинативная система, представленная полнозначными знаками), показывает, что единая категория номинации, фиксирующая первоначально все складывающиеся обозначения недифференцированно, выделяет прежде всего в своей среде предметные наименования. Лежащая в их основе онтологическая категория предметности делает существительное универсальной категорией слов, которой противопоставляется сперва, как в языке детей, все остальное (non-nouns, или noun-other, см. [Maratsos 1990: 1375–1377]). Такая оппозиция проходит универсально по всем языкам мира. Нет такого языка, который бы обозначал конкретные вещи и самые обычные предметы НЕ существительными (хотя многие из этих языков и могут прибегать в их обозначении к аналитическим дескрипциям), и хотя обратное неверно (т. е. среди существительных, естественно, наблюдаются не только наименования конкретных вещей), ядро класса существительных всегда составляют названия самых простых объектов — физических тел.

Как указывают специалисты по детской речи, дети не столько понимают, что в окружающем их мире можно выделить физические объекты и действия, события и признаки и т. д., сколько внезапно осознают, что что-то в этом окружении **не** физические объекты. Иначе говоря, осязаемой реальностью является прежде всего насыщенность среды физическими телами и лишь потом рождается понимание

того, что не все вещи попадают в эту категорию: новая категория вычленяется из старой. Категории развиваются из категории [Nolan 1994: 71 и сл.].

Этот путь развития не может не напоминать одного из главных законов семиотики — формулы «знак за знак», которым постулируется, что знак может быть интерпретируем другим знаком или цепочкой знаков и что только таким образом происходит развитие значения знака (подобные взгляды, первоначально высказанные Ч. Пирсом, нашли свое продолжение и развертывание в целом ряде работ Р. Якобсона, см. подробнее [Кубрякова 1993]). Не вдаваясь в подробности семиотического анализа, хотелось бы лишь подчеркнуть, что операции «знак за знак», позволяющие продемонстрировать с помощью понятия интерпретанты знака пути его развития, могут быть сами охарактеризованы либо как **трансформации**, либо как **перифразы** и относиться как к **интенсионалу**, так и к **экстенсионалу** знака, ср. [Степанов 1981: 134–138]. Эти соображения могут помочь понять, почему развитие категорий, постулируемое формулой «категория из категории», может в конечном счете приводить не только к простому расширению границ категории, но и к ее подлинной трансформации (что, кстати говоря, имплицитно и схемами развития категорий по прототипическому принципу, пока в развитии категории принцип фамильного сходства не оказывается нарушенным).

В связи с высказанными семиологическими соображениями нельзя также не упомянуть замечательную работу В. А. Виноградова о типологических реконструкциях, где доказываются возможности проследить за разными этапами развития определенной категории путем восстановления разных этапов в виде цепочки сменяющих друг друга представлений и описывая при этом механизмы семантического расщепления исходного концепта [Виноградов 1993]. По идее Виноградова, каждая категориальная мутация осуществляется с опорой на какой-либо из признаков, включенный в представление самой категории: так, развитие по направлению «выделенность → единичность» происходит, по его мнению, «с опорой на признак элементарности (индивидуальности)», «цельность» коррелирует с «отдельностью», которые могут мыслиться либо как «единство целого и части», либо, напротив, как постепенное расчленение целостности на его составляющие [Там же: 14–15]. Именно эту категориальную мутацию мы и усматриваем в момент осознания оппозиции предмета и не-предмета как оппозиции **предмета** и **признака**, формируемой в опоре на противопоставление **предмета** и его **части**. Иначе говоря, мы хотим подчеркнуть, что формирование категории **атрибута объекта** (или — в более привычном обозначении этой категории как категории **признаковости**) происходило, на наш взгляд, в процессе осознания того, что у целостного объекта, воспринимаемого прежде всего именно как «единство целого и части» (такое понимание свойственно, например, японскому языку, где категория множественного числа так и не сформировалась, поскольку доминантой предметной категории явилось представле-

ние о целостности объекта), все же существуют свои собственные выделяемые составляющие.

По всей видимости, даже противопоставление фона и фигуры, хорошо известное из психологии и считающееся основным принципом восприятия, может трактоваться тоже как оппозиция целого, фона, по отношению к которому могут быть увидены и выделены отдельные части (фигуры).

Ярким примером такого объекта — и целостного, и делимого, и нерасчленяемого, и расчленяемого на части — явилось прежде всего человеческое тело. Наверно, и без специальных пояснений понятно, почему человек воспринимал самого себя и других себе подобных людей, с одной стороны, как несомненные целостности, гештальты, но, с другой — осознавал также отчетливо наличие у себя и у других таких частей тела, как голова, руки, ноги. О значимости подобных объектов в жизнедеятельности человека, как и о значимости для языка их обозначений (особенно четко прослеживаемой в исследовании процессов грамматизации этой лексики), можно было бы специально не говорить, если б само выделение частей у объектов не становилось определенной ступенью в познании мира<sup>2</sup> и не привело постепенно к переосмыслению такого противопоставления в виде отождествления **части** объекта с особыми свойствами и **атрибутами** объекта. По всей видимости, это происходило при условии физической невозможности полного отделения части объекта<sup>3</sup> от самого объекта, т. е. при условии материальной, перцептуально данной в чувственном ощущении осязаемости в особом виде какой-либо части объекта (его температуры, цвета, формы, размера и т. п.), и — одновременно — невозможности реально наблюдать его автономное и независимое от объекта (как его носителя) существование. Такие части объекта и осмыслились как его признаки, или атрибуты. Возможно также предположить, что признаки, независимые от воли человека, признаки более постоянные и стабильные, формировали затем один класс слов, а признаки, зависимые от его воли, — движения, дей-

---

<sup>2</sup> Ср.: «в познавательных процессах вне зависимости от характера одновременной с ними продуктивной деятельности выделяются следующие общие основные моменты:

1. Целостное восприятие предмета.
2. Вычленение основных частей этого предмета и определение их свойств.
3. Определение взаимоотношений частей...» и т. д. [Поддяков 1977].

<sup>3</sup> Как только такое полное отсоединение происходит или принимает форму очевидных различий объекта и его части, подобные части сами начинают восприниматься как ДВА разных объекта (ср. приводимые выше наблюдения о восприятии объекта у детей). Это помогает понять, почему, например, руки и ноги человека во всех языках мира получают отдельные обозначения существительными, а «неотделимые» физические сущности (цвет, величина и пр.) — прилагательными. См. также ниже комментарии к примеру А. Вежбицкой, касающемуся обозначений *круг* и *круглый* (второе не может быть представлено сенсорно помимо представления о носителе свойства — земле, столе, отверстии и т. д.).

ствия, — другой. Важно, что оба указанных класса признаков воспринимались, с одной стороны, одинаково, — как присущие объекту, *при*— *знаке*, а, с другой стороны, по-разному. Строго говоря, физические свойства объектов более онтологичны по сравнению с движениями в том отношении, что легче непосредственно наблюдаемы и перцептуально различимы, тогда как процессуальные сущности — нестабильные, держащиеся на восприятии **изменений**, явно противопоставлены сущностям стабильным, устойчивым, «консервативным».

Интересно, что в учении Ж. Пиаже стабильные признаки приписываются прежде всего объектам — для их описания он и вводит понятия «перманентности» или «консервативности» объекта, которые способствуют формированию в онтогенезе первых представлений о мире у ребенка (если, конечно, не считать такие представления врожденными, уже вписанными в биопрограмму человека). См. подробно [McShane 1991: 23 и особенно 113 и сл., 200 и сл., 199—216 и др.]. Фактически, однако, не следует забывать о том, что представления об идентичности объекта самому себе включают в себя представления (а возможно, и строятся на представлениях) об идентичности наиболее очевидных свойств объекта — его формы, размера или величины, его цвета и прочих физических характеристик. Поэтому в обозначениях стабильных сущностей прилагательные не так уж сильно отличаются от существительных и помещение их в виде промежуточного класса слов на шкале временной стабильности Т. Гивона (см. с. 143—144) вряд ли оправдано.

Если теперь сравнить сами онтологические категории по степени их онтологичности как соответствия наблюдаемым перцептивно явлениям, то ясно выстраивается и **иерархия категорий!** Самой онтологичной оказывается категория предметности, а при делении категории признаковости на категории процессуальных и непроцессуальных признаков более высокое место в иерархии займут признаки стабильные. Это демонстрирует и то, почему по всем свойствам существительные и глаголы противопоставлены гораздо более четко, нежели существительные и прилагательные (они делят свойства стабильности, более определенной референции и даже сенсорной чувственности) или же прилагательные и глаголы (они сближены в обозначении состояний и т. д.). Иерархия эта определяет и меру когнитивных оснований у кардинальных ЧР, которые, отражая формы материи и движение как способ ее существования, оказываются зависимыми от таких ментальных операций человеческого разума, как сравнение и отождествление. Познание действительности начинается с того, что мы ее чувственно воспринимаем. В процессе восприятия первичная категоризация заключается не только в объединении ощущений из разных ментальностей в единый гештальт, но и в суждениях об идентичности или сходстве таких гештальтов по определенным показателям. Признак — «это показатель, сторона предмета или явления, по которым можно узнать, определить или описать предмет или явление» [Кондаков 1975: 477]. По отношению к этим показателям как познанным свойствам дей-

ствительности ЧР тоже выстраиваются в определенную систему: объект может быть рассмотрен как конгломерат его свойств, как полипризнаковое объединение, а обозначающие его существительные — как указывающие на одновременное и интегрированное в целостность наличие нескольких /многих признаков. Отдельно осознанная сторона объекта обозначается как прилагательное, которое, соответственно, указывает на один-единственный абстрагированный от своего носителя признак, притом признак относительно устойчивый, стабильный. Наконец, «сторона», относящаяся к движению объекта, к его перемещениям, к его процессуальным характеристикам, обозначается глаголом, ср. также [Басиля 1988].

На этих соображениях и можно было бы, собственно говоря, завершить главу о когнитивных основаниях ЧР, ибо мы продемонстрировали, что система полнзначных ЧР создается и функционирует в языке для того, чтобы отразить дифференциацию структур сознания и их классификацию по конституирующим их концептам предмета, его процессуального и непроцессуального атрибутов. Язык находит специальные формы разграничения структур знания по тем принципам, которые характеризуют концептуальную систему человеческого сознания и которые позволяют ей проводить категоризацию опыта, подводя его под определенные рубрики и осуществляя тем самым его сортировку. Мы продемонстрировали также, что упорядоченность самой концептуальной системы держится на существовании в ней небольшого числа базовых концептов, которые, постоянно развиваясь и дробясь, оказываются в состоянии лечь в основу массы новых лексических значений и в то же время сформировать их особые группировки. Мы, наконец, выделили в качестве базовых концептов в процессе восприятия и познания мира небольшое число смыслов, соответствующих по природе главным онтологическим категориям человеческого бытия и объективируемых в языке с сохранением должной дистанции между ними и одновременно — с использованием достаточно разнообразных языковых средств подобного разграничения и дистанцирования. В завершающей главе книги мы и попытаемся, продолжая когнитивный анализ ЧР, показать, в каких реальных языковых формах и противопоставлениях осуществляется на деле процесс объективации структур знания, относящихся к объектам и их признакам, а главное, как проводится их разграничение.

## *Глава четвертая*

### **ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ И НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ**

За представлениями об объектах и их признаках лежат разные структуры знания и, следовательно, разные концепты или объединения концептов. Подобные представления складываются в разного рода познавательных процессах, а также экспериенциально, т. е. опытным путем. Они оказываются конечными продуктами категоризационной деятельности человеческого сознания и разума, а их рассмотрение в когнитивном плане преследует цель более точного описания тех концептов, тех смыслов, которые формируют указанные представления и позволяют говорить об отдельности последних в виде ментальных репрезентаций неких онтологических или онтологизированных сущностей, в виде своеобразных гештальтов. Утверждая, что в основу системы ЧР положено представление о трех различающихся между собой когнитивных категориях — категориях предметности, признаковости и процессуальности, — мы полагаем, что эти категории задают главные рубрики распределения полнозначных единиц номинации в лексиконе и что, в свою очередь, они отражают восприятие мира в главных формах его бытия во времени и пространстве, т. е. в виде разных форм материи с разными формами ее движения и воздействия на человека. Проще говоря, можно было бы, наверное, сказать, что мир воспринимается как заполненный объектами, что причисление объектов к тем или иным классам (лиц и вещей, в первую очередь) зависит от связываемых с ними перцептуальных признаков и что последние тоже подлежат классификации на процессуальные и непроцессуальные после того, как они сами начинают вычлениваться из объектов как их часть или атрибуты.

Про такой анализ можно равно сказать, что он является концептуальным, поскольку он направлен на выделение главных концептов (смыслов) человеческого сознания, или же что он является **когнитивным**, поскольку, с одной стороны, сами концепты как отдельные оперативные единицы сознания оказываются про-

дуктами ментальной, мыслительной, когнитивной деятельности, а, с другой, и потому, что в анализе этих единиц и образуемых ими объединений (структур знания) используется методика соотнесения этих единиц и структур с языковыми формами, сложившаяся в области когнитивной науки и направленная на их выявление с помощью языка и через язык.

Из-за этого мы могли бы озаглавить настоящую главу и по-иному, указывая, что в ней осуществляется концептуальный анализ субстантивных, глагольных и адъективных обозначений или же что в ней проводится когнитивный анализ — анализ структур знания, фиксируемых существительными, глаголами и прилагательными. В любом случае, однако, задача главы заключается в том, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать ту ингерентную связь, которая характеризовала в генезисе языка первые языковые категории и категории восприятия мира, а, с другой — как можно более конкретно описать сами эти категории и принципы их противопоставления. Думается, что только междисциплинарный характер этой работы помогает осуществить данную программу и проявить суть тех значений, которые выражаются в языках мира разными частями речи.

В предыдущей главе мы рассмотрели отдельные этапы в возникновении ЧР, связывая их с постепенным формированием концептуальной системы в голове человека и ориентируясь на становление в этой системе в качестве первых представлений и первых структур сознания представлений о том, что есть **объект**. Накопилось немало данных и о том, как складывается это представление в актах прямого восприятия мира и в онтогенезе речи. Так, по мнению специалистов по детской речи, дети воспринимают определенный комплекс ощущений как объект тогда, когда они обнаруживают «топологически связанные аранжировки поверхностей, сохраняющие свою связанность даже при их перемещении» [Gleitman and oth. 1989: 170–171]. Мы перечислили те характеристики, которые включаются в представления о предмете, назвав среди них и «перманентность» объекта, и его тождество самому себе в достаточно длительном интервале времени, и его отдельность и выделенность из окружающего пространства, и его цельность и т. п. Подобное понимание категории предметности позволило описать рождение других категорий и прежде всего категории признаковости на основе ее отпочкования и вычленения из категории предметности, а также установить в качестве главного принципа подобного отделения различие **целого и его частей**. Не вызывает никакого сомнения известная «производность» категории прилагательного и глагола от категории объекта, и не лишне напомнить, что о такой «производности» («прилагательности» и «глагольности») писал еще раньше М. И. Стеблин-Каменский [Стеблин-Каменский 1974: 26]. Можно полагать также, что противопоставление объекта и его признаков, атрибутов связано по своей природе с хорошо известным в психологии противопоставлением фона (целостности) и фигуры (отдельности), используемым широко и для объяснения других лингвистических феноменов (ср. многочисленные работы Л. Телми или Р. Лангакра).

Но это же самое противопоставление следует рассмотреть не только для формирования оппозиции концептов предмета и признака, но, по всей видимости, и для становления самого концепта предмета: для того, чтобы вычленил объект, должно существовать и то, **из чего** он вычленяется. Если даже первоначально объект (вещь, тело, лицо) вычленяется из «всего остального», постепенно, и это остальное должно принимать при его восприятии более определенную форму. Иначе говоря, если предметы осознаются и осмысляются человеком как определенные **части среды** или **пространства**, некие представления должны складываться и для осознания того, что непосредственно окружает человека (фона) и что можно было бы также назвать **хронотопом** (т. е. не только **пространством** в физическом смысле).

Хотя обычно в описании процессов восприятия используются клише типа «восприятие мира», «восприятие действительности» и т. д., вряд ли можно серьезно говорить о том, что человек взаимодействует глобально со всем миром или что он вступает в некие отношения со всей действительностью сразу. Естественно, что такое взаимодействие не глобально, а локально, а потому и ограничено. Строя предположения о том, как закладывалась концептуальная система, надо учитывать постепенное постижение мира в рамках доступного человеку его непосредственного окружения и руководствоваться при этом не только обращением к обыденному сознанию, но и к той простейшей и естественной среде, в которой тогда пребывал человек. Как прекрасно сказал Ч. Филлмор, «прототипные сцены следует понимать как сцены, взятые из простых миров, миров, признаки которых не отражают всех фактов мира действительности» [Филлмор 1983: 87]. Человек распознавал первые предметы и отражал их в виде ментальных репрезентаций, действуя и существуя в определенных исторических условиях: границы его опыта предопределялись средой его обитания, а для ее осмысления требовались тоже некие представления, включавшиеся постепенно в его концептуальную систему.

Рассматривая становление концептуальной системы в филогенезе, реконструируя этот процесс, мы и полагаем, что в актах простейшего восприятия мира наряду с концептом объекта формировалось постепенно и понятие непосредственного окружения человека, окружающей его обстановки (setting) — той среды, в которой он находился и частью которой он себя осознавал и ощущал. Конечно, о том, как это происходило, мы можем только строить догадки, и в этом и заключается исключительная трудность филогенетических построений даже по сравнению с онтогенетическими. Однако для прояснения вопроса о сущности ЧР и о их когнитивных характеристиках надо отдавать себе отчет в принципиальных различиях данных филогенеза и онтогенеза. Для ребенка система ЧР существует как постоянно ему преподносящаяся в ходе общения со взрослыми, как система **готовая**, уже задающая членение мира в особой системе координат такого членения и тем самым **обязательная**, диктующая ему конвенциональные способы категори-

зации мира и конвенциональные единицы этой категоризации. Ребенок должен усвоить эту систему, овладеть ею с тем, чтобы в значительной мере воспроизводить ее в своей речевой деятельности.

Иное дело — **создание** системы, длящееся многие-многие тысячелетия, а не получение ее через готовые образцы и экземпляры, когда на этот процесс постепенно влияют в особенно осязаемом виде:

- **онтологические** факторы, т. е. то, как устроен и существует этот мир вне нашего сознания и независимо от него;
- **когнитивные** и **экспериментальные** факторы, т. е. то, как в силу своих биологических ограничений и биологического устройства человек отражает и познает мир, как он активно взаимодействует с ним, борясь за свое выживание и продолжение рода, какие для этого ему оказываются необходимыми структуры знания и простейшие концепты и в какую систему они постепенно организуются;
- **коммуникативные потребности**, обуславливающие, в свою очередь, необходимость разных видов деятельности с информацией при ее **передаче** и для ее передачи и, наконец, факторы **субстанциональные**, материальные, связанные со звуковой материей рождающегося языка, с его односторонностью, линейностью и ограниченными возможностями членения потока речи и его организации в определенные блоки (во время вдоха и выдоха) и т. п.

Все эти факторы по-разному выступают в филогенезе и онтогенезе, заставляя нас признать, что предположения о филогенезе носят исключительно гипотетический характер и все же важны хотя бы потому, что проясняют настоящее языка и те его черты, без которых он просто существовать не может. В то же время высказанные соображения помогают понять и то, в каком смысле соотношение мышления и языка на разных ступенях развития человека тоже представляется различным: в филогенезе определяющую роль играет именно становление сознания, и язык возникает и создается для объективации складывающихся структур сознания; в онтогенезе ребенка **знакомят** с языком и тем самым дают мощный толчок его когнитивному развитию, ибо вместе с языком он получает представление не только об определенных квантах знания, зафиксированных в единицах языка, но и способах категоризации знания и его классификациях. Использование данных онтогенеза для построения гипотез о филогенезе возможно, однако, не столько потому, что онтогенез повторяет филогенез, этого — нет (см. [Иванов 1993]), но потому что мы можем наблюдать, что именно оказывается доступным сознанию ребенка, что уже включено в его биопрограмму, какая последовательность характеризует усвоение языка, а значит, свидетельствует о **иерархии** в простоте/сложности концептов и принципах их соотношения с языковыми формами. Хотя ребенку равно сообщают об объектах и действиях с ними, об объектах и их призна-

ках, хотя с ним говорят предложениями, а в актах речевого общения равно знакомят с предложениями разных типов, ребенок все же усваивает обозначения предметов до обозначения признаков, первыми узнает слова и строит односоставные высказывания, а как только начинает комбинировать первые двусоставные конструкции, никогда не делает ошибок в определении частеречной принадлежности слова! Специалистам по европейским языкам кажется удивительным тот факт, что дети используют для названия предметов субстантивные формы, для именования действий — глагольные и не имеют каких-либо общих названий для всего события в целом, пропозиции [ср. Gleitman and oth. 1989: 170—171]. Но односоставные высказывания ребенка делают именно это, да и в языках не-европейского типа представлены явления инкорпорации, когда инкорпорированный комплекс явно отнесен к обозначению всего события в целом (ср. примеры такого рода в [Мещанинов 1982: 20 и сл.]).

Существование этих явлений свидетельствует, на наш взгляд, о том, что нерасчлененное обозначение положения дел должно уступить место «разведению» в его характеристике фона и фигуры, объекта и приписываемого ему признака, а также установлению барьера между тем, что дано в качестве известного или отправного момента в высказывании, и тем новым, что о нем надо сообщить и что по каким-либо причинам релевантно для передачи новой информации. Возможно также, что подобное деление сообщаемого высказывания на две части имеет свою параллель и в ментальных репрезентациях, которые, будучи на первых порах одиночными или индивидуальными, начинают группироваться в более тесные объединения ассоциативными связями, т. е. формируют нечто вроде простейших пропозиций. Это в общем соответствует и тому, что номинация предложением (номинация не объекта, а целой ситуации, события и т. п.) представляет собой более сложный процесс по сравнению с номинацией отдельным знаком и дает более сложный результат процесса по сравнению с номинацией словом. Именно на этом основании мы и строим предположения о том, какие представления об окружающем **могли** формироваться у человека в филогенезе и как это **могло** оказывать влияние на складывающийся в это время язык.

Суказанных позиций мы считаем возможным выдвинуть предположение о том, что в актах локального, ограниченного, простого взаимодействия со средой у человека складывались представления об окружающей его обстановке **в целом** — о том, что соответствовало его ощущениям непосредственной реальности и, прежде всего, панорамному охвату взглядом среды или пространства. Концептуализироваться и подвергаться категоризации должно было именно то, что входило в «ближайшее окружение» человека и определяло его жизнедеятельность, то, внутри чего он распознавал предметы и их признаки, но в то же время — и то, что соответствовало **отдельному** моменту его бытия, определяемому в терминах «здесь и сейчас», *hic et nunc*. Для обозначения такого концепта мы и выбираем наименее нагруженный в функциональном отношении и часто используемый в когни-

тивной литературе термин «**сцена**», хотя в равной степени могли бы обозначить этот исходный концепт как «**ситуацию**» или «**положение дел**». Подчеркивая, что у этого концепта есть свои пространственные и темпоральные характеристики (*hic et nunc*) или свой *хронотон*, мы хотим сказать этим только то, что, по всей видимости, время и пространство ощущалось на каком-то этапе развития человека целостно и едино, что постепенно происходящая их дифференциация тоже была каким-то образом связана с чувственным восприятием окружающего, и что развитие понятия сцены, или ситуации, вызвало прежде всего потребность в создании специальных средств их выражения и маркировки. Но главное, что нам бы хотелось здесь отметить, касается самого восприятия непосредственной данности **вокруг** человека и ее осознания как вместилища для него самого и для вычленяемых им объектов как участников (партиципантов) всей (наличной) ситуации. Только по отношению к этому понятию можно прояснить некоторые важные детали в формировании системы ЧР и продолжить описание тех когнитивных характеристик, которые в ней были отражены или отражались с самого начала.

На этот раз речь идет о концептах покоя и **изменения** и о восприятии **перемен** в той ситуации, с которой человек сталкивался, ибо в конечном счете именно это понятие помогает понять, как формировался концепт **процессуального признака**, легший в основу глаголов.

Если вдуматься в содержание этого понятия с обыденной точки зрения, оно выглядит достаточно неопределенно и интуитивно ничуть не проясняет сути дела: в каком смысле мы можем утверждать, что глаголы в *Яблоко лежит на столе* и *Яблоко падает с дерева* обозначают признаки яблока? Очевидно, что определения типа *кислое, незрелое, зеленое яблоко* служат этой цели несравненно более убедительно. Особого разъяснения требует, по всей видимости, и то, почему и *падать* и *лежать* обозначают **процессуальные** признаки: ведь, строго говоря, их отношение ко времени неодинаково, а научная формулировка процесса как бы скрывает это различие. Ср. в академической грамматике русского языка, которая цитируется в этой связи Т. В. Булыгиной и определение глагола из которой мы тоже приведем полностью. «Значение процесса, — указывается в Грамматике-80, — свойственно всем глаголам независимо от их лексического значения. Глагол представляет как процесс (процессуальный признак) и действия (*бежать, грузить, рыть*), и состояния (*лежать, спать, страдать*), и отношения (*иметь, преобладать, принадлежать*)... При определении значения глагола как ЧР можно использовать понятия “процесс” и “действие”. В этом случае понятие “действие” трактуется в грамматическом обобщенном смысле (в отличие от более конкретного содержания понятия “действие”, когда имеется в виду различие между активным действием и пассивным состоянием» [Грамматика 1980: 582].

Чтобы разъяснить суть понятия процессуального признака, нужно поэтому не столько развести и разграничить онтологическое содержание какого-либо явления и то лингвистическое значение, которое его отражает в определенном ряду

языковых форм (как на то справедливо указывает Т. В. Бульгина), сколько дополнить такое разграничение соображениями о **когнитивном статусе** явления, т. е. о том, как оно сперва было воспринято, а затем и осмыслено, познано человеком, и какие стороны или аспекты этого онтологического явления были концептуализированы человеком. Для этого мы и делим **сцены**, воспринимаемые человеком, на сцены в покое, без изменений (во всяком случае, видимых или ощутимых изменений) и сцены, напротив, с визуально или тактильно ощущаемыми переменами. Первое мы называем **положениями дел**, второе — **ситуациями** или **событиями**. В первых, статичных, ничего не происходит, во вторых, напротив, что-то изменяется, люди или объекты не остаются «теми же» или «там же». Для этого соответствующие аспекты или **части сцен** и кодируются глаголами, которые в первом случае относятся к описанию расстановки объектов, их стабильных состояний, их позиционных характеристик, а во втором — к описанию изменений в положении дел, трактуемых как события и как бы фиксирующих переход от одного состояния (положения дел) к другому. Ср. [Аринштейн 1986].

Как совершенно правильно отмечает в своем тонком анализе глагольной семантики Т. В. Бульгина, такое противопоставление нередко описывается в терминах признаков статичности и динамичности, и в каком-то смысле верно, что глаголы, описывающие положение дел в покое, статичны, а глаголы, описывающие действия и движения, динамичны. Но использование этих терминов как бы затемняет общий для всех глаголов признак их процессуальности как протекания во времени и подвижности, динамичности, для чего Т. В. Бульгина и вводит специально термин их отношения ко времени вообще: термин «временной локализованности». Лучшее, на наш взгляд, объяснение, которое она дает этому понятию, относится к тому, что глаголы указывают на переменные признаки, как она пишет, — преходящие, эпизодические [Бульгина 1982: 12 и сл., особ. 14–15, 18 и др.].

Если, однако, правильно, что движение есть «форма бытия материи», есть главное и неперемное условие ее существования и черта ее онтологического статуса, если движение — это «взаимное воздействие (тел) друг на друга», если «движение, в применении к материи, это — *изменение вообще*», — как неоднократно указывал Ф. Энгельс в «Диалектике природы» (а этого еще никто, кажется, не опроверг), см. [Энгельс 1941: 46 и сл.; 199 и сл.], тогда, можно думать также, что глаголы и относятся прежде всего к бытию материи в ее непрерывных переменных и к формам или, возможно, причинам этих перемен. Восприятие процессуальных признаков и их кодирование глаголами отражает прежде всего факт **длящегося и преходящего события**, наличия в нем постоянных **перемен, изменений** и лишь относительной устойчивости или стабильности чего-то во времени, поскольку время может измеряться конкретно разными величинами и выступать для человека в виде разных его интервалов. Иначе говоря, стабильность или отсутствие перемен в «положениях дел» фиксируется глаголами тоже относительно выбран-

ного интервала времени (что и подчеркивается, например, употреблением так называемых статальных или статических глаголов в разных грамматических временах: *Город стоит на реке, Город стоял некогда на реке* и т. д.). Представьте себе прокручиваемую на экране киноленту: понятие «стоп-кадра» можно тогда соотнести с концептом положения дел, но для восприятия события необходимо соединение хотя бы двух разных кадров. Точно так же представьте, что вы входите в вашу пустую комнату, видите, что все на месте, так, как было, когда вы уходили, это восприятие положения дел; но вот вы стали что-то делать и ситуация в комнате меняется, и только теперь некто со стороны может спросить: «что здесь происходит?».

Чтобы понять концепт процессуального признака (а, значит, более точно определить когнитивную природу и когнитивную сущность глагола и тех структур знания, которые ему надлежит обозначать), мало, однако, объяснить отношение этого класса слов ко времени, а потому введением понятия сцены и разновидностей сцен (или ситуаций) мы хотим подчеркнуть далее и другие особенности этого концепта. В этом месте нашего изложения особенно важно указать как раз на то, как по-разному строятся отношения между главным концептом, конституирующим ту или иную категорию, и реализующими ее языковыми единицами, и почему концепт объекта не так цементирует и объединяет категорию существительных, как концепт обычного признака или качества категорию прилагательных или же концепт процессуального признака категорию глаголов. С одной стороны, несомненно, в ряду концептов «объект — стабильный признак объекта — процессуальный признак объекта» возрастает семантическое расстояние между онтологической категорией и частными ее проявлениями (экземплярами, примерами). С другой стороны, возрастает степень абстракции и «отвлечения» от чувственных, перцептуальных, сенсомоторных характеристик в определении концептов (т. е. они все больше теряют свою чувственную основу и тем самым свою перцептуальную определенность). И, наконец, к выделению и интерпретации концептов подключается все большее количество дополнительных моментов, усложняющих установление фамильного сходства между отдельными представителями соответствующей категории. Нюансы в определении возможных значений слов одной и той же ЧР становятся не только более разнообразными, но и более тонкими, более неуловимыми и трудно поддающимися описанию и разграничению. И если диалектическое соотношение предмета и его (относительно) стабильного признака (цвета, формы, вкуса, веса и т. п.) все же можно охарактеризовать в более или менее ясном виде<sup>1</sup>, соотношение предмета и его процессу-

<sup>1</sup> Признаки этого рода вычлениаются из объекта, а объект «состоит» из признаков; предмет и признак имплицитно друг друга — не может быть объекта без признаков, а признаки не существуют автономно или самостоятельно, на что указывал еще Аристотель, противопоставляя сущности ее качества, количество и пр. признаки именно потому, что «ни одно из этих свойств не существует от природы

альных признаков как бы менее очевидно: любой объект можно описать по присущим ему статическим свойствам, но путем указания на его динамические свойства сделать это гораздо труднее (ведь эти свойства текучи, преходящи, непостоянны и т. д.).

В связи с этим мы полагаем, что определение процессуального признака требует выхода за пределы представлений об отдельно взятых объектах, а его формирование связано прежде всего с осмыслением «расстановки сил» в ситуации и, главное, — соотношения объектов. Уточняя с этой точки зрения понятие положения дел, мы хотели бы отметить, что в нем отражается не столько стабильность обстановки как таковая, сколько тип и характер наблюдаемых в ней отношений ее участников (лиц и объектов), остающихся стабильными и без видимых изменений. С другой стороны, в понятии события тоже отражено не просто динамическое преобразование одного из участников, но, возможно, и изменение в их соотношении. Для первой сцены не случайно используются понятия *states* 'состояний дел', связанные с неподвижностью (стоянием на месте) вовлеченных в эту ситуацию участников. Даже когда мы говорим *Дом стоит*, мы фактически описываем его положение по отношению к земле или другой поверхности, точно так же, как утверждая *Яблоко падает*, имеем в виду изменение положения как падение вниз, к горизонтальной поверхности. Протекание сцен во времени тоже несомненно, хотя в одном случае из этого «протекания» (в настоящем, прошедшем или будущем) выхватывается лишь один момент (время «останавливается»), а в другом — определенный интервал, что можно условно считать признаком +ВРЕМЯ. В итоге можно сказать, что «глаголы кодируют те части ситуаций, которые относятся к способам бытия задействованных в них объектов. Для любых сцен такое описание глаголом представляет собой известную схему, базирующуюся на признаке ± изменения во времени. Суждения же о тождестве или же нетождественности наблюдаемого входят в число простейших суждений о мире, см. [Miller, Johnson-Laird 1976: 79 и сл.]. Они базируются на оценке **диспозиции, соотношения, реального типа взаимодействия** объектов в «сцене».

Можно подытожить то же самое, сказав, что понятие глагола и лежащих в его основе когнитивных концептов рождается не столько или не только по отношению к объекту (т. е. как представление о признаке объекта), сколько по отношению к сцене или ситуации, оцениваемой в целом в терминах ее бытия, что, кстати и связывает далее глагол с такими категориями, как аспект, время и, что не менее важно, переходность (транзитивность).

---

само по себе и не способно отделяться от сущности» (в «Метафизике» VII, 1, с. 113, цит. по [Чанышев 1981: 293 и сл.]). Но процессуальные признаки скорее отличаются от стабильных как раз тем, что как бы «отделяются» от объектов (один шарик, как в бильярде, ударил другой и передал ему способность двигаться, а первый шарик был сдвинут с места человеком).

Вместе с тем общая оценка ситуации как статической (положения дел) или динамической (события) связана, конечно, и с объектом — именно он или остается неподвижным, неизменным и «тем же самым», или, наоборот, передвигается, претерпевая изменения, или вообще исчезает из поля зрения. Абстракция отделения части от целого — абстракция, имеющая первоначально явные перцептуальные основания (в изменениях контура объектов, их формы, их отдельных функций и т. д.), принимает сама некий смысл при **отделении** — мысленном или реальном — части от целого. Часть — это продолжение целого, а это может осмысляться в отношении двигающегося, динамического объекта как продолжение его бытия: **передача** им энергии, силы другому объекту или же, напротив, **получение** этой энергии от другого объекта (выброс энергии как ее отделение от объекта). Но для того, чтобы такой выброс произошел, тело должно обладать какой-то силой, способностью, должно **иметь** ее в качестве своей части.

Для формирования подобной абстракции решающую роль могли играть наблюдения за человеческим телом и человеческими действиями — за работой руки, которая, с одной стороны, является сама частью тела, а, с другой, совершает движения, направленные на перемещения объектов, на достижение их и использование для решения каких-то задач. При этом, однако, рука передает объекту свою энергию, т. е. «отделяет» ее от себя самой. Более того. Подобная передача наблюдается, т. е. воспринимается в виде **движения**, т. е. как определенный **след от траектории** перемещения, ср. при подъеме руки или падении вещи.

Фигура, отделяясь от фона, описывает определенную траекторию движения — совокупность мысленно объединяемых точек пространства, в которых объект последовательно находится во время его перемещения, например, при подбрасывании предмета вверх. Иначе говоря, сообщаемое предмету движение рождает особый вид репрезентации в мозгу человека — схемой, траекторией перемещения, его программой. Такое образное представление, изображение соотносительных положений объекта во времени, соответствует тому, как мы **видим** движение, как мы сканируем наблюдаемое. При этом нельзя забывать о том, что само наблюдение требует времени и соотносено с тем интервалом во времени, который осмыляется как отрезок между началом и концом движения. Наблюдения за движениями (изменениями) — это, таким образом, прослеживание изменений во времени и пространстве, в динамике пространства и времени, взятых совместно, схватываемых в единую структуру и объединяемых в единое целое.

В этом смысле мы и беремся утверждать, что в основе глаголов движения и действия (этих самых типичных представителей глагольной лексики) лежит описанная нами схема их исполнения — идея меняющегося соотношения или положения объектов во времени и пространстве и образ подобного динамического конструктора, фиксирующего последовательные этапы смены одного (исходного) состояния в другое (ср. разные траектории разных видов движения).

Для сканирования такого перехода необходимо включение фактора времени, и динамические глаголы кодируют сенсомоторные программы осуществления действий и перемещений в определенном пространственно-временном континууме, причем обычно разные по своему изображению визуальные схемы (по различию траектории движения) кодируются как разные глаголы.

Из описанной реконструкции когнитивных основ глагола (когнитивных, поскольку введенные мной характеристики соответствуют тому, как воспринималось и осмыслялось движение) следует несколько важных выводов. Один из них касается того, что глагол должен быть определен как **хронотопная** характеристика, т. е. относящаяся одновременно и к восприятию пространственных, и к восприятию темпоральных отношений (а это явно отличает его от прилагательных как характеристик «одномерных» и по преимуществу атемпоральных).

Нередко утверждают, что сущности, обозначенные существительными, связаны прежде всего с осмыслением неких отдельных и целостностей в пространстве, тогда как для сущностей, обозначенных глаголами, релевантна прежде всего категория времени. Фактически, однако, сложность концептуальных структур, кодируемых глаголами, определяется именно тем, что такие структуры относятся к хронотопным сущностям.

Другой важный вывод в понимании семантики глагола касается того, как именно входит в его значение программа осуществления названного им действия. «Пространственные» характеристики глагола оказываются с этой точки зрения напрямую связанными с восприятием разных форм движения и с тем, как эти формы сохраняются в памяти. Сведения о моторных программах осуществления движений или действий (например, о том, как сшивают края двух кусков ткани, вяжут, достают что-либо откуда-либо и т. п.) долгое время не считались такими же компонентами памяти, как, например, образы объектов, и хотя ментальным зрительным (визуальным) репрезентациям и объектов, и событий в работах А. Пейвио, С. М. Косслина и З. Пылишина уделялось значительное внимание, область выполнения действий в их зрительном представлении оставалась относительно неизученной. Меж тем можно предположить, что активация соответствующих структур и их включение в память составляет существенную часть обработки информации, поступающей к человеку извне. Подобно тому, как виденье объекта или события вызывает появление в сознании его ментального образа, наблюдения за действиями постепенно формируют представления о схеме их выполнения, их моторной программе: подобная программа включается в значение **глагола**, ср. [Engelkamp 1986: 115 и сл., особ. 119]. Концептуальная репрезентация глагола, по его мнению, может быть представлена как опирающаяся на три разных возможности.



В состав информации, связанной с глаголом и передаваемой определенным словом, входит, таким образом, не только визуальный образ движения или действия, но и более абстрактное представление о моторной программе его выполнения (ср., например, последовательность отдельных движений, необходимых для реализации действия типа *закурить папиросу, выпить воды* и т. д.).

В близком значении используются такие представления о разных образных схемах в работе М. Джонсона [Johnson 1987], считающего, что в основе подобных схем лежат модели движений человеческого тела при разных манипуляциях с разными объектами в пространстве. Ср. также [Engelkamp 1995: 100 и сл.].

Подытоживая данные подобного рода, хочется высказать предположение о том, что знание значений глаголов ближе процедуральным знаниям о мире, нежели знание значений существительных, входящих в область декларативных знаний. Психологи не исключают в этой связи того, что моторное звено мозга больше соотносено с глаголами, а сенсорное — с существительными [Bates and oth. 1991: 224–225]. Это можно интерпретировать и в том смысле, что глаголы обозначают и активизируют иные представления в человеческом мозгу по сравнению с теми, что обозначены и активизируются существительными.

Если одни исследователи подчеркивают, что в кодировании неких ощущений в виде глаголов важен элемент сканирования (так, например, у Р. Лангакра, что отмечается в [Croft 1991: 106–107]), а другие, как мы только что указали, вводят в число концептов, определяющих глагольную семантику, некие моторные программы, мы бы хотели подчеркнуть также значимость для всего понимания процессуального признака того, как при этом распределяется внимание человека. Если внимание может быть сфокусировано на признаке (части) объекта так, чтобы сам этот процесс не требовал времени и был сосредоточенным в одно мгновение, — этот признак скорее всего будет обозначен прилагательным (одного взгляда на предмет достаточно, чтобы определить его форму, цвет, другие атемпоральные характеристики). Если же наблюдение за признаком требует времени, а внимание к объекту как бы распределено во времени, такой признак будет скорее всего обозначен глаголом, и он представляется нашему уму как процессуальный.

Об интересном отличии глаголов от существительных пишет Э. Фромм: подчеркивая, что существительные обозначают вещи, а глаголы — процессы, он отмечает также, что владеть или обладать можно только вещами, тогда как действиями или процессами владеть нельзя. Их можно только либо осуществлять (объект как источник энергии), либо испытывать (объект как адресат энергии или силы) [см. Фромм 1990: 27 и сл.]. Согласно этой логике можно было бы считать, что прилагательными обозначаются признаки **наличествующие** у объекта, а глаголами — **передаваемые или приобретаемые** (ср. пары типа *синить – синеть*) в зависимости от направления силы. Не случайно Т. Виноград указывает на то, что глаголы называют исполнение действия, протекание события или же наличие

какого-либо его условия [Winograd 1983: 52]. Э. Фромм цитирует в этой связи следующее место из «Этики» Спинозы: «Я говорю, что мы действуем (что мы активны), когда в нас или вне нас происходит что-либо такое, для чего мы служим адекватной причиной» [Фромм 1990: 100].

Особенно интересные соображения о глаголе как главном компоненте в описании ситуации или событий высказывает В. Крофт. Основное, что он здесь совершает, состоит в указании на каузацию события или причинно-следственные связи в его протекании [Croft 1991: 159]. Конечно, подчеркивает этот замечательный типолог, глаголы с точки зрения категоризации мира представляют собой весьма сложные и трудно поддающиеся определению единицы. Тогда как объекты существуют в мире как достаточно четко выделенные самим фактом их физического существования, индивидуальные и ограниченные (имеющие ясные границы) сущности, то, что концептуализируется в виде события, таких явных границ не имеет. Мир скорее состоит из каузальных цепочек, из которых наш разум и наше воображение выхватывают какие-то отдельные звенья. С событиями нельзя обращаться так, как с физическими объектами, — ими нельзя манипулировать. Простой и естественной категоризации здесь быть не может, и помимо простого восприятия здесь нужен еще определенный когнитивный элемент — процесс сознательной **изоляции** звена из цепочки, выделение особого фрагмента каузальной цепи; название этого фрагмента глаголом требует специальных когнитивных усилий. Построение когнитивной модели событий как сегментации каузальной цепочки позволяет различить разные типы глаголов для описания события типа: *Камень разбил стекло* → *стекло разбилось* → *стекло разбито*, а также их зависимости от инициаторов события или вовлеченных в него участников [Croft 1991: 159 и сл.; 261–262].

«“Событийное” представление мира, — пишет Н. Д. Арутюнова, — выдвинуло на первый план идею связей и отношений», а эта направленность исследовательской мысли сделала особенно актуальным вопрос о «сегментации потока происходящего и моделирования его типовых единиц» [Арутюнова 1988: 101]. В таком моделировании заметное место занимает и противопоставление предметных и непредметных обозначений, и известная асимметрия в способах обозначения объектов, с одной стороны, и их признаков, с другой, поскольку путь от номинации онтологического объекта к существительному, как правило не нарушается, тогда как в обозначении непредметных сущностей варьирование достигает своего наибольшего размаха. Как совершенно справедливо отмечает Н. Д. Арутюнова, «...если классы предметов обозначаются в языках достаточно гомогенной категорией имен и именных словосочетаний, кванты событийного потока коррелируют с очень разными и даже резко противопоставленными в системе языка единицами, такими как предложение (пропозиция), его номинализации, глаголы (их лексическое значение), видо-временные и модальные формы предикатов, имена обще- и конкретно-событийного значения». Вследствие всего этого «кон-

цепты, моделирующие кванты происходящего, формируются на перекрестке именных и глагольных категорий» [Там же: 102].

Не вызывает вместе с тем сомнения мысль об особой роли глагола в концептуализации и описании положения дел и событий, импликаций в его семантике того или иного компонента событий — его причины или его результата, его цели или способа совершения, его участников и т. п.

Как следует из многочисленных примеров, значение глагола может быть понято как инструкция к осуществлению особого действия (*поверни ручку двери; закури папиросу; возьми книгу*), причем нередко действия, в котором оно выполняется с особым/особыми объектом/объектами. В результате этого в концептуальной структуре глагола явно прослеживаются следы предметности, следы связанности данного движения или действия, процесса или состояния с объектами определенных типов. В деноминативных глаголах эта связь проявляется самым непосредственным образом (ср. *фруить, асфальтировать, вдоветь* и пр., о которых мы говорили в связи со словообразовательными процессами), но и в примарных (простых, непроизводных) глаголах эта связь прослеживается достаточно определенно. Пространственное виденье того, что обозначено глаголом в образе траектории как мысленного следа и мысленного соединения в одну непрерывную линию или кривую **точек последовательного нахождения** объекта в **пространстве**, т. е. в образе **пути перемещения, способа изменения** и т. д., включается в семантику глагола и в другом отношении: в виде отражений в ней **того, кто** выполняет действие, или **того, чего**, на кого или что оно **переходит**. Отсюда представление «предметных» «сирконстантных» значений в семантике глагола в виде скрытых, или имплицитных значений. Ср. латентные субъекты или объекты действия, многократно описанные разными авторами как компоненты семантических структур глаголов. Такое включение «предметности» в семантику глагола требует, конечно, специального объяснения.

В понимании глагола к настоящему времени сложились, собственно, две разных традиции. Согласно одной из них, унаследованной еще от классического и традиционного языкознания, глаголом считается такое слово, которое обозначает действие, состояние или процесс (это соответствует, в общем, делению глаголов на активные или динамические, пассивные или статальные и глаголы «претерпевания»). В таком именно понимании он и выступает в ряду других кардинальных ЧР как величина, с ними однопорядковая, т. е. считается, что за каждой ЧР стоит некая идея, некий концепт или концепты, выражению которых они и служат.

Меж тем в отечественном языкознании рождалась постепенно другая тенденция в рассмотрении глагола. Так, уже А. А. Шахматов отмечал недвусмысленно, что «глагол выражает представление о действии-состоянии, мыслимом в зависимости от представления **субстанции**» (выделено мною. — *Е. К.*), а Ш. Балли прямо указывал на то, что «процессы обычно воспринимаются вместе с предметами,

которые от них неотделимы» [Балли 1955: 52–53]. Медленно, но верно рождались в лингвистике мысли о том, что глаголы обозначают такие признаки объекта, которые мыслятся вместе с этим объектом или, как пишет Л. М. Медведева, «процессы, действия не могут, как известно, восприниматься изолированно от предметов, так как они от них неотделимы» [Медведева 1983: 7 и 11]: основная особенность глагольной номинации состоит в ее относительном характере<sup>2</sup>.

Среди многочисленных определений глагола встречается поэтому и такое, в котором подчеркивается его роль как релятора, фиксирующего связь или отношение (*relation*) между двумя объектами (ср. [Seiler 1991: 68 и сл.]) или отражение лингвистической операции, которая осуществляет различие между тем объектом, который является производителем действия, и тем, что является его адресатом (пациентом). В содержание глагола вовлекается, таким образом, представление о том, кто или что совершает действие, а также то, на кого или на что оно направлено т. п. Соответственно, представления о семантике глагола и о том, что же он обозначает, принимают все более сложный и все более развернутый характер [ср.: Кубрякова 1992].

Важнейший шаг в этом направлении был сделан в работах Л. Теньера. Сошлюсь на мнение В. Г. Гака о том, что Теньер «явился провозвестником семантического синтаксиса» [Гак 1988: 14]. Интерпретируя предложение как маленькую драму со своими участниками и обстоятельствами, он подчеркнул, что центром предложения в большинстве европейских языков является **глагольный узел**, который и выражает эту «своего рода **маленькую драму**», ибо «в нем обязательно имеется действие, а чаще всего также **действующие лица и обстоятельства**» [Теньер 1988: 117]. Такое понимание глагола ведет, с одной стороны, к возможности отразить его особенность в виде указания на его валентности как на правила и закономерности его сочетательных возможностей. С другой стороны, однако, этот анализ приводит и к открытию латентных, или скрытых сем в значениях и семантической структуре глагола, а также к возможностям исследовать те его свойства, которые связываются с понятием пресуппозиции (ср. глаголы типа *проснуться* или *закрыть что-л.*, с одной стороны, и глаголы типа *ломать*, *косить*, *рубить* и т. п. — с другой).

В современной лингвистике сложилось к настоящему времени немало оригинальных теорий, связывающих глагол с обозначением ситуаций или целых сцен. В семантике синтаксиса, соответственно, все более утверждался взгляд на гла-

---

<sup>2</sup> Вообще говоря, такую же номинативную несамостоятельность приписывали и прилагательным. «Без существительного, явного или подразумеваемого, нет прилагательного», — писал Л. В. Щерба [Щерба 1974: 85]. Как указывала Е. М. Вольф, на значение прилагательного «проецируется значение носителя признака» [Вольф 1978: 7]. Не вызывает, однако, сомнения, что опять-таки степень связанности прилагательного с предметом отлична от той, что характеризует отношения между глаголом и предметом.

гольное значение как на отражение либо всей ситуации в целом, либо определенного аспекта типовой ситуации (см. подробнее [Панкрац 1990; 1992; Аринштейн 1986: 16]), т. е., согласно нашему мнению, глагол все чаще трактовался как схватывающий концептуально некие конституирующие ЧАСТИ реально существующего положения дел. Так, Ч. Филлмор указывает, например, на то, что «сцена-прототип, ассоциируемая с процессом “писать”, разумеется, включает некое лицо, которое водит тем или иным инструментом, оставляющим следы на поверхности», но эта сцена содержит в себе и «нечто большее», поскольку одновременно предполагается также и некий продукт этого действия и т. д. [Филлмор 1983: 83–84]. Таким образом, за каждым глаголом (при его произнесении или прочтении) активизируется некая сцена или совокупность таких сцен.

Наличие субстанциональных и адвербиальных сем в составе значений глагола постулируется и в работах И. В. Сентенберг, подробно описавшей лексическую семантику английского глагола [Сентенберг 1984], а также отчасти и в работе [Гогшидзе 1985], где «сверхплотность» глагола связывается с тем, что в нем наблюдается, якобы, совмещение характеристик прилагательного, существительного и класса слов темпоральной семантики [Там же: 6], что и позволяет противопоставить эту ЧР прилагательным, обозначающим простые признаки, или качества.

Интересно отметить, что при таком широком подходе к концептуальной структуре глагола остается все же не вполне ясным, как именно строится эта структура, т. е. **включает** ли она предметные и обстоятельственные значения в свой состав или же только **имплицитирует** их; **открывает** ли глагол определенную валентность или же содержит в самом себе представление о классе ее заполнителей. Так или иначе, глагол, действительно, активизирует в сознании говорящих иные репрезентации, а это дает возможность предположить, что и в акте обозначения глаголом были зафиксированы или объективированы структуры знания, более сложные по сравнению со структурами знания об объектах или их атемпоральных признаках. Иначе говоря, глаголом интерпретируется особое восприятие времени и пространства в едином хронотопе; в его концептуальной структуре часто содержится образ траектории движения как того следа, который мысленно оставляет объект во время своего перемещения или изменения, а также как бы сведены воедино некие представления о взаимодействии объектов и их причинно-следственных связях. Глаголы могут отобразить широкий спектр значений, характеризующих конституирующие компоненты определенных положений дел и событий или ситуаций и относящихся к выбранным в этих положениях или ситуациях деталям, или частям. Будучи в этом смысле обозначениями **признаков**, они все же по своим когнитивным характеристикам ориентируются на отражение процедурального значения и способа бытия объектов во времени и пространстве. Это и делает категорию глагола базирующейся не столько на одном-единственном концепте, сколько совмещающей самые сложные для человеческой мысли концепты времени и пространства с их достаточно условным, но антропоцентрически ориентированным членением.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Способность обозначаемого подходить под тот или иной образец играет определяющую роль в акте номинации. В сложившихся языках такие образцы тесно связаны с имеющейся в них языковой категоризацией и прежде всего с теми частями речи, что уже сложились в языке и обладают каждая своими собственными средствами ее выражения и создания. В основе каждой ЧР живого языка лежат когнитивные характеристики, определяющие круг значений, возможных для данной ЧР, и тесно сопряженные с выполняемыми этой ЧР первичными и вторичными функциями. Если обозначаемое осмысливается как подходящее под сложившийся образ определенной ЧР в данном языке, это значит, что оно понято как обладающее теми онтологическими свойствами, которые обычно ассоциируются с существительными, глаголами или прилагательными. В определениях ЧР с этой понятийной или когнитивной точки зрения и отразился опыт языковой категоризации мира, **сортировки** всего, воспринимаемого человеком и входящего в область его взаимодействия с окружающей средой и окружающими людьми. Как бы ни был устроен язык, какими бы грамматическими особенностями он ни обладал, рефлексии того, что человек дифференцирует объекты, их признаки и качества, а также действия, процессы, состояния и положения дел, в нем обязательно существуют. Языки тем не менее различаются по **степени** подобной дифференциации, по ее четкости, выразительности, ибо демонстрируют разные совокупности средств ее осуществления. Способы репрезентации существительных, глаголов и прилагательных в разных языках, как и конкретные черты их функционирования, конечно же принимают разную форму. В настоящей главе мы, завершая наше исследование, и рассмотрим очень кратко, в каком виде могут существовать в разных языках противопоставления разных кардинальных ЧР. Подробно описав когнитивные характеристики существительных, глаголов и прилагательных, связав возникновение этих характеристик прежде всего с онтологией мира и «правильным» в общих чертах его восприятием и осмыслением в ходе человеческой истории, мы можем утверждать, что ЧР и стоящие за ними содержательные категории возникали и сформировались в разных языках мира именно

для того, чтобы отразить нетождественность самого материального мира, а в то же время — нетождественность выделяемых в нем сущностей для человека. В понимание мира «как он есть» всегда мощно вторгалась **оценка**, точно так же, как в познавательные процессы всегда включались **эмоции**, а следовательно, происходящее на уровне сознания формирование ментальных репрезентаций и концептуальных структур всегда происходило под влиянием субъективных факторов. Построение онтологических категорий и онтологической схемы категоризации было не свободным от влияния языка, как на это часто указывают (ср., например, разные версии гипотезы Сепира—Уорфа, см. также [Rickheit 1993: 196]), — сама рефлексия онтологических категорий у разных народов и в разные времена оказывалась зависимой от множества социально-исторических и экологических, но также и субъективных факторов. Тем не менее, начиная изучение ЧР в любом языке или проводя его в типологическом плане, уместно задаться прежде всего вопросом о том, с помощью каких языковых средств и в диапазоне каких языковых категорий выражает данный язык или данные языки значения объекта, значения качества или свойства и, наконец, значения процессов, активных действий и общего положения дел, а также — при условии отсутствия специального набора подобных средств для любого из перечисленных значений — как они в таком случае обходятся без этой специальной системы и на какую другую систему возлагают передачу указанных значений.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что именно типологи поставили проблему о ЧР в разных языках в этой плоскости, т. е. традиция обнаружить разные ЧР на основании особых семантических черт в их лексических структурах никогда не прекращалась. Приведем для иллюстрации сказанного соображения представителей разных школ и разных поколений. Начну с И. И. Мещанинова. Подчеркивая, например, что «содержание процесса заимствуется глаголом из предложений» и, несомненно, усматривая в глаголе прежде всего такую ЧР, которая строит сказуемое, Мещанинов тем не менее писал: «...Для выделения глагола требуется не только наличие надлежащих синтаксических признаков, но и **соответствующее содержание слова**, допускающее то или иное синтаксическое его использование» или «...**К глаголу приходится... подходить и как к лексической единице с определенным ее смысловым содержанием, и как к носителю определенного синтаксического значения!**» [Мещанинов 1982: 154, 9 и др.].

Не менее четко выражает указанную позицию и известный типолог Р. Диксон, перу которого принадлежат лучшие типологические исследования прилагательного (см. [Dixon 1982; 1994]). «По-видимому, — пишет он, — все языки имеют существительные и глаголы, однако кажется, что не все они имеют прилагательные. Но тогда интересно спросить: а как же язык обходится без прилагательных и на какие части речи и как именно перекладывает он выражение значения качества или свойства» [Dixon 1982: 2 и сл.]. С этих позиций подходит к описанию статуса прилагательных и Г. Ветцер, исследуя то, как выражаются значения, обыч-

но приписываемые прилагательным (по Р. Диксону), в разных языках [Wetzer 1992]. Вопросы этого же рода (как передается в языке то или иное значение из небольшого числа бытийных категорий) легко обнаружить и в типологических исследованиях В. Крофта и Дж. Миллера. Сходны в значительной степени в настоящее время и те ответы, которые получены на эти вопросы.

Вплоть до настоящего времени среди типологов господствовало мнение о том, что универсальной характеристикой языков является, во всяком случае, противопоставление имени и глагола, тогда как наличие прилагательных в системе языка и противопоставление этой части речи другим не строго обязательно. В последнее время, однако, и универсальность существительного была подставлена под сомнение! Завершая свое исследование, мы остановимся поэтому на том, как подходят сегодня ученые к решению следующих проблем:

- универсально ли для организации системы ЧР наличие в ней существительных;
- какую конкретную форму принимает в разных языках мира противопоставление имени и глагола;
- что можно сказать о статусе прилагательных в разных языках мира и какую форму принимает их содержательное противопоставление другим частям речи.

Думается, что анализ этого материала позволит нам дать более конкретное представление не только о разных ЧР с когнитивной точки зрения (т. е. внести свой вклад в объяснение тех свойств ЧР, установление которых и составляло главную задачу книги), но и о том, как проецируются эти характеристики на морфологический и синтаксический уровни, и /или о том, как они ведут к выполнению соответствующими классами слов их особых дискурсивных функций. И все же в освещении всего этого нового материала нам, естественно, важнее всего подчеркнуть, что к признанию необходимости разобраться в том, что же составляет ядро категории глагольности в отличие от категории субстантивности, приходят в настоящее время все типологи, что эмпирическое исследование новых языков проводится именно под этим углом зрения и что, наконец, сам вопрос о ЧР интенсивно обсуждается с привлечением не только языкового материала, но все более принимает, как и наше исследование, междисциплинарный характер.

Итак, проблема **первая**: универсальна ли категория существительного. По-видимому, вплоть до 90-х гг. это мнение вообще никем не ставилось под сомнение. Тем интереснее и значительнее было появление работы Ханса-Йоргена Зассе, в которой он рассматривает вопрос о том, действительно ли противопоставлены во всех языках мира существительное и глагол, если в одних языках их дифференциация кажется весьма слабо представленной (в эскимосском, венгерском, некоторых тюркских языках) или же не представленной вообще (как об этом писал Кейперс относительно салишан в 1968 г. и как это иногда утверждается относи-

тельно тагальского или гренландского и др. языков) или же, наконец, представленной, но только для прототипических глаголов и существительных (ср. [Croft 1991]). Как правильно отмечает Х.-Й. Зассе, в принципе такие утверждения зависят от того, как, по мнению ученых, должны «выглядеть» соответствующие ЧР и как такие «ожидания» оправдываются при анализе эмпирических данных. Для этого он и обращается к подробному описанию значения и поведения классов полнозначных слов в одном из языков на юге Канады — языке кайюга [Sasse 1992]. Поскольку и подход Зассе к решению проблемы ЧР вообще и его соображения о статусе «существительных» в кайюга представляются заслуживающими самого серьезного внимания, охарактеризуем его концепцию более подробно.

Во-первых, Зассе правильно отмечает, что сложившаяся к настоящему времени традиция анализа ЧР опирается на признание того факта, что ярлыки «существительное», «глагол» и т. д. были созданы отнюдь не только для того, чтобы указать на различие передаваемых ими значений в феноменологии языка, но и для того, чтобы установить в этой феноменологии систематические связи определенных семантических классов слов с их морфологическим и синтаксическим поведением. Именно это и позволило дать четкое описание существительным и глаголам в европейских языках, где они оказывались специально подготовленными (*prädestinierte*) заполнителями определенных синтаксических позиций и обладающих для этого ясными морфологическими приметам. С открытием новых языков, притом языков явно иного типа и строения, в повестку дня был, однако, включен вопрос о том, можно ли считать представления, выработанные на материале европейских языков, пригодными для других языков мира и потому универсальными. Особенно это касается, естественно, языков со скудными морфологическими категориями или языков, конверсия в которых делает легким «превращение» одной категории в другую. Относительно таких языков и можно предположить, что кластеризация признаков и прежде всего — соотношения лексических значений и синтаксических функций — у них оказывается отличной от той, что характеризует европейские языки. Так или иначе, но при определении специфики класса слов надо принимать во внимание **полную парадигму** их видоизменения и использования.

То же можно сказать, во-вторых, и о действительности функциональных критериев и о противопоставлении референции, предикации и модификации (как, например, в работах В. Крофта) в виде критериального признака разных ЧР: ведь существительное, например, достаточно нейтрально по отношению к этим функциям, ибо способно выполнять любую из них; способны к выполнению этих же функций и разные формы глагола. Интерпретация же функций зависима от высказывания и не имеет смысла вне предложения. Таким образом, для сравнения языков и адекватного их описания надо исследовать эмпирически то, как соотносятся некоторые онтологические категории (т. е. базисные, концептуальные представления, рождающиеся в процессе когнитивной переработки результатов вос-

приятия и человеческого опыта) со способами их формального выражения и, в частности, с присущими словам грамматическими (морфологическими) категориями и лексическими значениями слов. Базой такого сравнения и описания явно становится сама онтология мира [Sasse 1992: 8].

Чтобы искать существительные в разных языках, необходимо, следовательно, иметь в виду следующий набор признаков:

- 1 — параметры из формальной сферы, к числу которых относятся словоизменение (склонение), словообразование и особая дистрибуция, сочетаемость с другими словами;
- 2 — параметры из синтаксической сферы и способность заполнять определенные синтаксические позиции;
- 3 — параметры дискурсивные, понимаемые как возможность участвовать в актах референции, предикации и модификации и, наконец,
- 4 — параметры онтологические, когнитивные, или семантические, т. е. способность служить средством обозначения определенных онтологических величин.

Каждый из таких параметров требует специальных стратегий его выделения, и с каждым из них в описании языков сопряжены собственные трудности. Особенно это касается, несомненно, онтологии мира и его категоризации, притом не только на уровне глобальных и бытийных категорий, но и для субкатегоризации этих последних по неким сортам (ср. подробнее [Rickheit 1993]).

«Проверяя» все эти параметры применительно к отдельно взятому языку, и можно прийти к выводу о том, есть ли в этом языке противопоставление имени и глагола. В кайюга, по мнению Зассе, его, например, нет (главным образом как потому, что «существительные» здесь не способны к акту референции без специальных аффиксов, так и потому, что одни и те же по своему поведению слова обозначают как предметные, так и непредметные сущности). Однако приведенный им материал может, на наш взгляд, интерпретироваться и по-другому: так как здесь явно представлены формально выделенные классы животных и некоторых неодушевленных предметов, так как здесь широко представлены процессы номинализации, осуществляемые с помощью особых аффиксальных средств (опредмечивание непредметных сущностей), отрицать наличие существительного все же не приходится. Приводимые же им факты особого членения и категоризации мира — факты, сами по себе исключительно интересные, — свидетельствуют о том, что гораздо больший пласт лексики концептуализирован здесь с помощью общего представления о **ситуации**. А такое представление, как мы указывали выше, вполне возможно на определенной стадии развития языков, когда обособление объекта и его признака не достигает той степени расчлененности в обозначении целого, которая свойственна европейским языкам. В обозначениях типа «быть дедушкой» или «быть рекой» или «быть человеком», действительно, еще не вы-

членено понятие человека как такового или реки как таковой, но специфическое и особое обозначение **отдельного** состояния или положения дел здесь, несомненно, налицо, хотя оно и осуществляется глаголом. Это означает, однако, только одно: то, что глазами европейца увидено и осмыслено в виде отдельного **объекта** (человека, реки и т. д.), в глазах представителя ирокезского племени (кайюга) понято как **положение дел**. Само же противопоставление того и другого, безусловно, налицо: чтобы стать аргументом в составе предложения, слово должно приобрести особые аффиксы, т. е. подвергнуться словоизменительному или словообразовательному процессу, маркирующему тем самым **вторичность** неких функций для данного исходного элемента. Появление средств реификации — яркое доказательство того, что категория предметности необходима любому языку, что когнитивная категория объекта, будь она представлена в большем или меньшем количестве лексических разрядов слов, все же всегда находит средства своего выражения, а, следовательно, реализуется универсально (и не может не быть реализованной) в языках мира. Как бы ни было слабо отдифференцировано существительное от глагола, оно выделяется именно своей предметностью (чего, впрочем, в своих заключительных ремарках не исключает и Х.-Й. Зассе [Там же: 29]).

Интересные соображения Х.-Й. Зассе свидетельствуют совершенно ясно и о том, что пути реального различения имен и глаголов в истории разных языков имели разную форму и, как мы уже говорили выше, могли начинаться как с четкого выделения концепта объекта и его дальнейшей эволюции в сторону отчленения от него концепта признака, так и с более общего представления о ситуациях и положениях дел, а значит в сторону эволюции и расчленения этих более сложных понятий. На будущее перспективными кажутся нам в этой связи более детальные исследования **инкорпорации** как симультанного обозначения ситуации, а также, конечно, эмпирическое изучение материала более широкого круга языков. Ведь если ирокезский язык позволяет отчасти реконструировать картину вычленения объекта из общего обозначения положения дел, то иные языки позволяют реконструировать вычленение стабильного признака из таких глагольных обозначений, которые, фиксируя ситуации претерпевания или изменения, представляют их в виде **проявления** признака (ср. лат. *albeo* или *rubeo* ‘проявлять белый/красный цвет’ и *albus, rubus* ‘белый’, ‘красный’).

Эта линия исследования была, например, обозначена в работах А. Юдакина [1984], где он указывает, что признак мог вычленяться из состава такого (глагольного) наименования, в которое он первоначально входил в виде симультанного с обозначенным действием.

Еще одно возможное направление исследования в решении проблемы противопоставления имен и глаголов — во **второй** из рассматриваемых здесь проблем изучение **прототипических** существительных, прилагательных и глаголов и изучение таких же прототипических черт в их противопоставлении друг другу. О первой мы уже много говорили в предыдущих главах нашей монографии, по-

этому можем здесь просто отметить еще раз, что, например, исследователи детской речи исходят из того, что «прототипический глагол обозначает видимое, конкретное, динамическое и эффективное действие, а прототипическое существительное — видимый, а нередко и осязаемый и легко выделяемый предмет» [Bates, MacWhinney 1982: 216]. Как пишет У. Чейф, «...весь понятийный мир человека изначально разделен на две главные сферы, одна из них, сфера глагола, охватывает состояния (положения, качества) и события; другая, сфера существительного, охватывает “предмет” (как физические объекты, так и овеществленные абстракции)» [Чейф 1975: 114]. И все же роль этих понятийных сфер как по своему содержанию, так и по их участию в строении потока речи считается (и, действительно, является) нетождественной. Как подчеркивает сам У. Чейф, «природа глагола определяет собой, что собой будет представлять остальная часть предложения: в частности, какое отношение к нему будут иметь... существительные и как эти существительные будут определяться в семантическом отношении» [Там же: 115]. Но ведь для такого заключения явно необходимы сведения о том, что такое предмет или что такое действие в отличие от состояния и т. д., что и заставляло П. Хоппера и С. Томпсон утверждать: «Семантические признаки прототипического характера для глагола это, возможно, наблюдаемость в поле зрения, движение (кинетика) и результативность действия, ибо именно эти свойства характеризуют представления, приписываемые детьми грамматическому классу глаголов, а также представления, ассоциируемые универсально с познанием через глагол». «Но и здесь, — продолжают авторы, — как и в случае с существительными, семантических признаков для определения прототипа глаголов недостаточно. Для того, чтобы расценить некую форму как прототипическую для глагола, эта форма должна утверждать наличие какого-либо события в дискурсе» [Hopper, Thompson 1985: 155–157].

Однако, как следует из всех наших объяснений, суждения о событии это такой же когнитивный процесс, как и суждение о том, что некое слово обозначает предмет или действие, или состояние, т. е. процесс по существу **содержательный**. К тому же далеко не все глаголы фиксируют события, ибо могут обозначать и реально обозначают **положение дел** или внутренние (и далеко не очевидные и перцептуально ненаблюдаемые) **состояния** (*висеть, лежать, знать, хотеть*). Описать глаголы — значит описать весь охватываемый ими диапазон лексических значений во всем их разнообразии или же, что кажется нам сейчас более необходимым, представить общую картину развития этих значений из таких исходных для глагола значений, какими мы считаем значения **сцен**, а далее таких их разновидностей, как **положения дел** и **события** и которым дали общие определения по их концептуальным особенностям, т. е. опираясь не столько на языковые, сколько на когнитивно-психологические данные о принципах восприятия и категоризации мира. Именно конкретность подобного описания в восприятии того, что фиксируется обычно существительными, а что глаголами или прилагательными,

именно когнитивное определение категорий предметности, признаковости и процессуальности и позволяет нам выдвинуть тезис о том, что противопоставление имени и глагола есть универсальная характеристика языковых систем. Тогда же, когда описываются разные формы подобного противопоставления, описывается не что иное, как различие способов языкового представления указанных категорий, выявляющееся лишь потому, что в самих онтологических категориях тоже существует известное размывание границ, некая степень неопределенности, относящаяся не к ядру или главным концептам категорий, а к феноменам, наиболее отдаленным от ядра и появившимся в категориях благодаря их постоянному развитию и, конечно же, благодаря **диалектике самих категорий**, установлению перекрестных связей между ними, возможности познать **одно и то же** в разных аспектах и ракурсах и преодолеть тем самым известную неопределенность в природе самих вещей.

Хотя чисто эвристически многие исследователи руководствуются при анализе ЧР в конкретном языке представлениями о прототипических существительных и глаголах, и это, конечно, вполне оправданно, все же, как замечает Ю. Брошарт, прототипические дефиниции не могут удовлетворить тех лингвистов, которые имеют дело с отклонениями изучаемых ими слов от ясных прототипических образцов, а потому желание дать этим ЧР более четкие определения вполне закономерно [Broschart 1991: 118]. В своей работе он и проводит анализ тех форм, которые может иметь противопоставление существительного и глагола в более редких и лишь недавно изученных языках. Его попытка предложить общую теорию «номинативности» и «вербальности» заслуживает серьезного внимания не только потому, что здесь вводятся в рассмотрение дискурсивные факторы и поддерживается общая идея о выделении ЧР в отдельных языках на основании смешанных критериев [Там же: 123], но и потому, что сами дискурсивные факторы связываются с противопоставлением в «участии» (Partizipation) самих участников и привлекающего к этому участию (действия). Критикуя Р. Лангакра, он указывает на то, что Лангакр в описании критериальных свойств глагола и существительного игнорирует их отношение к лингвистической деятельности, которая сама может создавать концепты, объяснимые исключительно с позиции этой деятельности (типа понятия топика, важного для характеристики существительного). В то же время, по его мнению, П. Хошпер и С. Томпсон, напротив, придают преувеличенное значение прагматическим факторам, что вряд ли может объяснить, почему одни морфологические категории связываются только с существительными, а другие — лишь с глаголами. ЧР требуется более сбалансированное описание, притом обязательно учитывающее семантические их особенности [Там же: 69 и сл.].

Указывая, что степени противопоставления глагола и существительного в разных языках могут быть различными, от почти не существующего (в кайюга) до явно выраженного во многих европейских языках, он перечисляет среди обыч-

ных признаков этих ЧР склонность глагола к предикативному употреблению, к реляционности в его семантической структуре, а также такие ингерентные его свойства, как временность, абстрактность, отчуждаемость, динамичность и переходность; тогда по всем этим чертам существительное проявляет «обратные» параметры: склонность к непредикативному употреблению, а также такие ингерентные признаки, как «региональность» (в смысле наличия четких очертаний, ограниченности в пространстве и т. п.), стабильность, индивидуальность, определенность [Там же: 106].

Отрицая обязательную универсальность противопоставления имени и глагола как структурного феномена, он утверждает одновременно, что не существует языков, где мы бы ни находили рефлексов разного поведения и разного обращения с партисипантами, с одной стороны, и предикатами, с другой. Это не значит, что для их формирования в языках должны быть использованы разные лексические единицы как таковые, но значит, что при их использовании в составе предиката или аргумента они акцентируют разные стороны обозначенного.

Пожалуй, наиболее интересные соображения Ю. Брошарта касаются, однако, выделения тех свойств, которые обеспечивают (и объясняют) наличие самой глубокой связи между лингвистическими концептами существительного и глагола и экстралингвистической концептуализацией того, что объединяется в виде действия и его участников. По его мнению, это может быть описано на понятийном уровне как противопоставление постоянного и переменного, или как оппозиция «замкнутости» или «ограниченности» (**confinement**) и «преходящести» (**transience**). Первое описывается как яркая черта номинальности и объясняется, вслед за Р. Лангаком, как наличие у объекта четких границ, второе — как черта вербальности, особенно тесно связанная с переходностью глаголов. Существительные обычно означают в соединении с глаголами постоянное относительно варьирующегося, варьирующегося по отношению к индивидууму [Broschart 1991: 123–124].

Но выделение этих черт возвращает нас к когнитивным характеристикам как самих ЧР, так и к когнитивным характеристикам их соединения в составе предложения, да и сами перечисляемые им признаки, или параметры, вытекают из тех свойств, которые обычно связываются с восприятием объектов в отличие от восприятия движения или действия. Конечный вывод ученого состоит в том, что «номинальность» и «вербальность» присутствуют в каждом языке и что их противопоставление как идеи «замкнутости» vs «преходящести» и «отделимости» универсально, из чего, однако, по его мнению, не следует, что во всех языках мира есть отчетливо противопоставленные друг другу классы существительных и глаголов [Там же: 130].

И все же думается, что если, действительно, сами указанные им концепты всегда отражаются в системах всех языков, причем рефлексия эта проходит и может проходить по разным уровням (начиная от морфологического и кончая синтак-

сическим), то и особые концентрации подобных рефлексов в кластерные объединения признаков следует считать доказательством наличия в том или ином языке особой ЧР. Чем больше равноуровневых признаков включается в такое кластерное объединение, описывающее поведение класса слов в отдельно взятом языке, тем убедительнее в нем сам факт существования глаголов и существительных как разных единиц номинации, тем «выразительнее» в нем само их противопоставление. Иначе говоря: когнитивные категории предметности, признаковости и процессуальности не могут остаться не выраженными в языке, но степень их противопоставленности либо поддерживается морфологически, деривационно и синтаксически, либо они осознаются особенно четко только в дискурсе (когда надо противопоставить топик и коммент, идентифицированное и характеризующее, предмет речи и его описание и т. д.). В первом случае среди признаков ЧР преобладают их концептуальные характеристики, во втором — дискурсивные; в языках первого типа скорее очевидно выражение онтологической нетождественности объекта его признакам и атрибутам, в языках второго типа — разное восприятие ситуаций и положения дел с их участниками и отношениями между ними. В первом случае в онтологии мира как бы высвечены более ее индивидуальные сущности (отдельные предметы, вещи, тела, лица, явления, процессы, части предметов и т. п.), во втором, напротив, восприятия целостности, создаваемые совокупностями тел, предметов и т. д., их взаимодействием, их соотношением, т. е. сцены (положения дел или ситуации) как гештальты. Очевидно, что для описания индивидуальных величин нужны некие дополнительные данные о их числе, роде, одушевленности/неодушевленности, расчлененности/нерасчлененности, формах вещественности или субстанциональности (ср. противопоставление предмета и вещества, массы) и т. п. Для описания же сцен во всех их разновидностях важны скорее общие представления об их участниках и связующем их звене, большая четкость оппозиции референтных групп и предсказуемых им признаков.

Возможно, идея такого противопоставления уже была отчасти намечена А. А. Драгуновым, когда он описал различие этого рода в виде положения о том, что «если для языков европейской системы характерно противопоставление **имя** (существительное, прилагательное, числительное) — **глагол**, то для языков китайского типа характерна, наоборот, антитеза **существительное** — **предикатив** (глагол, прилагательное, числительное)» [Драгунов 1962: 67]. Важнее всего, однако, что в европейских языках противопоставление объекта всем другим величинам отражается в **лексиконе**, захватывая лексический уровень и включаясь в лексическое значение единиц и их грамматическую интерпретацию; в языках другого типа по значению лексемы трудно судить о ее частеречной принадлежности (так, одна и та же лексема в тонганском языке может, по данным Брошарта, обозначать и «бытие и функционирование в качестве короля», и «нечто, присущее королю» и «самого короля», и снятие такой неопределенности, диффузности вы-

явится только в дискурсе, где в описании реальной ситуации выбор одного из этих значений обязателен и будет в конечном счете как-то формально маркирован).

Интересно что в пользу мнения об универсальности противопоставления имени и глагола свидетельствуют и полученные сравнительно недавно данные о разных типах афазии<sup>1</sup>. Как указывает Э. Бейтс со своими коллегами, при изучении разных типов афазии в глаза бросается контраст между использованием разных ЧР: одна группа афатиков испытывает трудности при назывании простейших действий, другая — при назывании простейших объектов. В первом случае глаголы заменяются существительными (*кролик... слезы, а не кролик плачет*), во втором вместо названия объектов прибегают к оборотам (*эта вещь там, как ее, ну там что-то, как его зовут, плачет*). Возможные объяснения этому факту можно разделить на концептуально-семантические (они сводятся к тому, что глаголами и существительными передаются разные значения и за их репрезентации ответственны разные участки мозга), грамматические (глагол обычно более нагружен морфологическими показателями и труднее из-за своей морфологической сложности) и, наконец, лексические (части речи входят в лексическое значение слов и слова разных ЧР хранятся в разных участках мозга). Самым вероятным кажется, однако, объяснение, согласно которому глаголы обнаруживают более тесные связи с моторными отделами мозга, а существительные — с отделами мозга, ответственными за сенсорную обработку опыта [Bates et al. 1991: 224–225 и 204 и сл.]. Но последнее можно явно связать с тем, что действия и движения воспринимаются и репрезентируются отлично от того, как воспринимаются и репрезентируются объекты, т. е. что в названиях тех и других фиксируются результаты **разных познавательных актов**.

В другой публикации на ту же тему указывается также, что диссоциации глагола и существительного могут быть у больных с разной патологией мозга объяснены разными факторами, а в частности и тем, что значимость указанных ЧР для построения предложения не одинакова и что, таким образом, в порождении речи извлечение их из памяти отличается разной степенью сложности: в глагольной лексеме содержится большее количество информации, необходимой для построения нормального высказывания. Поэтому явления аграмматизма связаны с тем, что во всех заданиях испытуемые используют существенно меньше глаголов, чем существительных; явления аномии, напротив, сопряжены с тем, что для называ-

---

<sup>1</sup> Противопоставление имен и глаголов как важнейшая черта организации и функционирования языковых систем уже было описано нами подробно в [Кубрякова 1990], а потому мы считаем возможным ограничиться в этой главе комментариями к тем материалам, которые появились позднее этого времени и стали мне известны уже после этой публикации. О важности и присутствии этого противопоставления во всех языках см. также [Bolinger 1975: 120 и сл. со ссылкой на Sapir 1921: 119; Cross 1992: 584] и многие другие.

ния демонстрируемого или описываемого испытываемые используют глаголы [Zingesser, Berndt 1990: 14 и сл.].

ЧР «схватывают» или выявляют («ловят») различия, присутствующие в реальном мире и явно выходящие за пределы самого языка, — эта лингвистическая категоризация имеет, таким образом, непосредственное отношение к структуризации опыта, ср. [Anisfeld 1984: 118]. Но если традиционное описание ЧР указывало в этой связи только на оппозицию предметных и не предметных сущностей, междисциплинарные исследования, с одной стороны, и сами лингвистические исследования — с другой, позволили, как нам представляется, описать на более глубоком уровне категории не предметных сущностей, дифференцируя когнитивные представления об этих последних и способы их языкового представления, причем прежде всего — в сфере предложения (Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степанов). Но именно это позволило включить в определение ЧР их дискурсивные и синтаксические признаки, т. е. прежде всего представления о совершаемых ими разных пропозициональных и когнитивных актах: акте идентификации и референции, с одной стороны, и акте характеристики и предикации, с другой. Настаивая на обязательности для каждой ЧР кластерного объединения тех и других, склоняясь к мнению об универсальности противопоставления имен и глаголов, мы бы хотели напомнить еще раз о том, что само объединение функции с аргументами, объекта — с его признаками и атрибутами представляет собой такой ассоциативный комплекс, пропозицию, который выделяется при концептуализации мира не менее определенно, чем выделяется отдельный предмет или отдельное действие. Мир может концептуализироваться, членясь на индивидуальные сущности, но может — и на их структурированные объединения. Отголоски полемики вокруг этой проблемы мы можем усмотреть и в разных моделях памяти, одни из которых подчеркивают наличие в ней отдельных признаков, другие — пропозиций, а третьи — семантических сетей, связывающих между собой не только отдельные элементы или единицы памяти, но и образующие узлы таких единиц. Языковые системы отражают разные формы организации неязыкового опыта, а поскольку эти последние нетождественны, реальные оппозиции в системах ЧР тоже принимают разную форму, но обязательно **форму**, т. е. обретают ту или иную **маркированность**.

Как писал Э. Сепир более 70 лет тому назад: «части речи отражают не столько наш интуитивный анализ реальности, сколько нашу способность воссоздавать эту реальность (или “создавать”, “конструировать”, compose) в виде разнообразных моделей (или даже формальных конструкций)», см. [Sapir 1921: 118]. Продолжая это рассуждение, можно было бы сказать, что **разные** ЧР и есть такое отражение реальности, в котором наша интуиция заставляет нас обратить внимание то на ее стабильные сущности *in praesentia*, то на происходящие в ней изменения и их причины, на отношения между этими стабильными сущностями с их взаимо-

действием, а также обозначить то участников определенной ситуации, то саму ситуацию в целом или ее «переменные».

\*                      \*

Рассмотрение когнитивных характеристик ЧР отнюдь не означает пренебрежения собственно лингвистическими особенностями их выражения. Напротив, оно способствует еще более глубокому детальному анализу лингвистической специфики каждой из языковых форм, будь они сосредоточены внутри слова или же вынесены за его пределы, или даже выявляясь в строении такой сложной языковой единицы, как предложение. Более того, исследование соотношения когнитивных и языковых структур неизменно подтверждает принципиальную асимметрию плана выражения и плана содержания в языке, но в данном случае оно устанавливает известные ограничения, удерживающие эту асимметрию в определенных рамках и исключаящую ее безграничность. После проведенного анализа мы с полным на то основанием беремся утверждать, что асимметрия, наблюдаемая между планом содержания главных бытийных категорий (категорий онтологических) и планом их языкового выражения, прежде всего — в сфере частей речи, — носит в каждом отдельном языке **моделируемый характер**. Закономерности подобного моделирования связаны, во-первых, с ограниченным числом глобальных категорий, которые мы рассматриваем как исходный концептуальный набор, подлежащий языковой объективации. Во-вторых, они обуславливаются и тем, что число обычно выделяемых в разных языках частей и частиц речи тоже оказывается небольшим и конечным (тем более это относится к описываемым нами полными или кардинальным ЧР). Ограничено, в-третьих, и число уровней, в пределах которых ограниченное число исходных концептов может обрести средства своего выражения. В итоге сетка связей когнитивных характеристик и средств их передачи моделируется в обозримом виде и имеет достаточно четкие пределы. К тому же некоторые из этих связей носят одно-однозначный характер (таковы случаи прототипического обозначения объектов существительными, активных действий и видов деятельности — глаголами, ориентиров — предлогами, числовых величин — числительными и т. д.).

По указанной причине «поиски» ЧР в отдельных языках могут идти и, так сказать, ономазиологическим путем (от заданных значений — к средствам их выражения), и путем семантическим (от форм — к их значениям). Лишь бы исходный список значений был составлен правильно, а языковой материал был бы описан эмпирически полно и непредвзято. Зарубежные исследователи для удовлетворения задач описания ЧР считают обычно необходимым придерживаться формального анализа, и чисто лингвистический резон в этом решении, безусловно, налицо. Это, однако, не препятствует тому, что, как мы указывали выше, в типоло-

гических исследованиях та же проблема может быть поставлена в принципиально иной плоскости — от значения и от определенных содержательных структур знания к формам их вербализации. Такой путь анализа мы рассмотрим в последней и завершающей части книги, посвящая его особенностям прилагательных и специфике их статуса в языках мира.

Глубокий ономаσιологический анализ прилагательных уже продемонстрировал их принципиальное отличие и от существительных, и от глаголов [Харитончик 1986; Селиверстова 1982; Афанасьева 1992]. Там, где прилагательные существуют, они, в отличие от существительных, наименования с помощью которых отнесены к целостным совокупностям признаков и свойств, именуют **отдельные** свойства или признаки предметов. В отличие от глаголов они, обозначая непроецессуальные и атемпоральные признаки, лишены сами черты «фазовости»: по словам О. Н. Селиверстовой, действия и процессы существуют пофазно, т. е. «в каждый отдельный момент времени существует только отдельная фаза развития действия или процесса, а не действие, процесс в целом»; предметы же и свойства воспринимаются как существительные в каждый момент времени в целом [Селиверстова 1982: 94 и сл.; Вольф 1982: 320 и сл.].

Различны, однако, и типы **целостностей**, демонстрируемые, с одной стороны, объектами, а с другой, — их признаками. Нетождественна их семантическая «насыщенность», см. [Афанасьева 1990: 81 и сл.; ср. также: Харитончик 1990].

В принципе многие исследователи склонны подчеркивать, что существительные обозначают кластеры признаков, а качества, обозначаемые прилагательными, индивидуальны и одномерны [Hamann 1991: 660 и сл.], что класс сущностей, обозначенный существительными, всегда демонстрирует исключительное богатство признаков, тогда как отдельные прилагательные выделяют лишь некоторые условные и некритериальные стороны предметов [Markmann 1989: 227], что, наконец, еще О. Есперсен указывал на разные экстенциональные и интенциональные свойства сравниваемых частей речи. Так, по его мнению, для существительных более типично объемное содержание интенционалов, но их экстенционалы достаточно ограничены, тогда как для прилагательных, напротив, интенционал связан с одним-единственным смыслом, зато его экстенциональные возможности неограничены [Есперсен 1958; Wierzbicka 1988: 463–464]. Но как правильно подчеркнул Дж. Миллер, исходное мнение об объекте как пучке признаков весьма спорно: люди не думают об объектах как наборе свойств и не воспринимают объект как некий пучок признаков, — слово «собирает» не признаки (отсюда так сложно проведение компонентного анализа), а указывает на объект в целом [Miller, 1985: 207 и сл.]. Проще говоря, как мы уже указывали выше, объект понимается людьми как холистическая целостность, т. е. гештальт, целостность **интегрированная** и обнаруживающая неаддитивные, несуммативные свойства: объект, обладая признаками и проявляя их в отношениях с другими объектами, есть нечто большее, чем сумма своих частей, а потому несводим ни по функциям, ни по природе к

этим частям. Выделение признаков как раз достаточно субъективно, культурозависимо, а их связь с оценкой и интерпретацией и позволяет говорить о известной неясности или неопределенности (*vagueness*) границ их значения (ср. *теплый, длинный, сладкий* и т. п.).

Для определения специфики прилагательных всегда представляли особую сложность и возможности выражения признака разными ЧР: ср. *теплый* и *теплота*, *добрый* и *доброта*, *женский* и *самка* (англ. *female* и *woman*) и т. д.

Блестящий анализ семантического различия в словах такого рода у А. Вежбицкой имеет, однако, длительную предысторию (ибо каждый раз, когда исследователи встречались со случаями типа *белый* и *белизна*, они давали свою интерпретацию отличию одного от другого), хотя именно ей удалось акцентировать в использовании таких пар различие между **категоризацией и описанием** [Wierzbicka 1988: 466 и сл.]. По мнению Вежбицкой, используя существительное, мы обращаем внимание на характеристики, конституирующие объект, т. е. и стабильные и важные, существенные для него в целом: ср. *калека* и *горбун*, *добряк* и *самка* и пр. в отличие от *больного*, *горбатого*, *доброего* и т. п. Для более точной квалификации этого свойства и надо ввести понятие типа, или сорта (*kind*), на которое всегда указывает существительное (*добряки* — это определенный сорт людей, *сорняки* — определенный тип вредных растений, *юноши* — это определенный возрастной разряд между детьми и взрослыми и т. п.). Этого у прилагательных нет, и именно поэтому существительные воплощают или объективируют такие концепты, которые не могут быть сведены к набору признаков [Там же: 471].

В примерах А. Вежбицкой хотелось бы также обратить специальное внимание на то, что языки обычно особо маркируют переходы от простого обозначения признака к видению его в качестве особого объекта, для чего и создаются собственные словообразовательные средства типа *теплый* → *тепло* → *теплота* → *тепльнь* и пр. Без такой маркировки прилагательное не просто не выступает в роли аргумента или партиципанта события, оно и не мыслится как его участник, а лишь как часть, способствующая его индентификации, или облегчающая ее. Ясно поэтому, что прилагательное создается для выполнения функций, отличных от функций существительного или глагола.

Выделены в настоящее время и те структуры знания, которые обычно кодируются прилагательными и которые не могут остаться не выраженными в языке, хотя и могут получить в языках мира неадеквативные формы их вербализации.

Номинативные пространства, показываемые прилагательными, были лучше всего и полнее всего определены Р. Диксоном, который выделял для них прежде всего семь групп обозначений — параметрические, цветовые, оценочные, возрастные и т. д. [Dixon 1982: 13 и сл.]. Хотя и сам Диксон отмечал, что далеко не все языки выделяют прилагательные как особую ЧР, и хотя он сам описал специально 17 308 языков, в которых прилагательные образуют весьма замкнутый и едва ли не закрытый класс слов, насчитывающих от 7 до 24 членов, а также указал на

возможность разделить языки по наличию / отсутствию прилагательных на пять классов [Dixon 1994]<sup>2</sup>, поставленный им вопрос о том, как по-иному можно выразить «адъективные» значения, и сегодня продолжает привлекать к себе внимание исследователей, ср. [Schachter 1985; Wetzer 1992]. Из общих их выводов о том, что прилагательные обозначают обычно физические свойства предметов и состояния людей и в то же время всегда оказываются то более близкими к глаголам, то к существительным («verbu» или «pounu»), вытекает, что класс этот не универсален и, должно быть, развивается позднее других ЧР, см. [Климов 1992]. Вместе с тем тенденция выделить и эту ЧР по совокупности дискурсивно-когнитивных признаков налицо, как налицо и ясная концептуальная основа их выделения.

\*                      \*  
                                 \*

Проведенное в когнитивном ракурсе, это исследование позволяет сделать некоторые выводы, не только непосредственно касающиеся ЧР и их особенностей, но и выводы более общего характера. Один из них — это заключение о том, как происходит в языке **развитие** его границ и категорий. Если раньше теория номинации была связана с уточнением отношений между названиями и теми сущностями, к которым она отнесена и для обозначения которых была создана, сегодня мы можем более определенно говорить о том, как и почему происходит, с одной стороны, некий разрыв между значением и обозначением, а, с другой, как моделируемый по особым правилам, этот разрыв между телом знака и той концептуальной структурой, с которой он соотношен, не препятствует тождеству знака самому себе и своеобразному преодолению асимметрии означаемых и означающих знака.

Если слово возникает для того, чтобы удержать в памяти и фиксировать определенную структуру знания, и в акте семиозиса означаемое находит для своего выражения некую последовательность (тело знака), становящуюся материальным заместителем структуры знания, тогда — уже после апробации слова обществом и

---

<sup>2</sup> По его мнению надо различать:

1 — языки с открытыми классами прилагательных, чье грамматическое поведение близко поведению существительных (с различием родов, падежей и чисел, а также с обязательностью вспомогательного глагола при использовании в предикате);

2 — с открытыми классами прилагательных, но при их близости к глаголам (с теми же флексиями в предикате, что обычно для глаголов этого языка);

3 — с открытыми классами слов, специфическими по своему поведению и отличающимися и от глаголов и от существительных;

4 — с открытыми классами прилагательных, в атрибутивной функции близкими по поведению к существительным, а в предикативной — к глаголам и, наконец,

5 — с маленькими закрытыми классами слов [Dixon 1994: 31 и сл.]

его включения в словарь коллектива говорящих, оно и **не может** оставаться безучастным как к развитию самой структуры знания, с одной стороны, так и к особенностям использования и понимания этой структуры знания отдельными говорящими. Значение знака меняется, поскольку при его использовании роль знака (названия) заключается в том, чтобы активизировать определенную структуру знания, ассоциируемую со знаком, но знание динамично по своей природе — и для говорящего (который может знать больше или меньше о чем-то, обозначенном словом), и для общества (в силу прогресса и постоянно происходящего процесса роста знаний). Вместе с расширением знаний о предмете происходит расширение и/или уточнение экстенциональной области знака по сравнению с той, которая была зафиксирована его интенционалом и закреплена первоначально его названием. Челночные операции такого рода происходят в цепочке «структура знания — название, к ней отнесенное, — развитие структуры знания — использование того же названия для отнесения к иной, расширяющейся структуре знания, — закрепление за названием новых значений и новой концептуальной структуры» и т. п.

Итогом такого развития с семантической точки зрения и оказывается полисемия, многозначность слова, притом появление новых значений у слова вполне укладывается в явление регулярной, т. е. моделируемой по особым правилам полисемии, о которой сегодня нам известно достаточно много. Но самое интересное здесь, по всей видимости, сводится к тому, что регулярная полисемия **не разрушает** тождества слова и что, напротив, язык «**признает**» возможности объединения связанных между собой значений под крышей **одного знака**. Вполне вероятно, что принцип «фамильного сходства», наблюдаемый между лексико-семантическими вариантами одного слова (вспомним об анализе Л. фон Витгенштейна понятия и слова «игра» — с. 100–101) и постулируемый нами для категории отдельной ЧР, находит свою реализацию тоже не только в сфере функционирования одного слова, но и в сфере функционирования указанных категорий. Они становятся **многозначными**, а цементировать их единство может только **регулярная полисемия**. Ее-то мы и обнаруживаем в пределах каждой части речи, которая, таким образом, оказывается способной выражать не только заложенную в ее основание исходную идею (предмета, процессуального и непроцессуального признака, числа и т. д.), но все регулярные модификации этой идеи, часто метафорические и метонимические.

Если вспомнить также о том, что исторические исследования в области семантики и сравнительно-типологические исследования вообще уже продемонстрировали в качестве обычного пути семантического развития единиц лексики преобразование конкретных значений в абстрактные, лексических — в грамматические и т. д., а параллелизм языковых единиц и языковых категорий и даже изоморфизм в их строении несомненен, то правомерно предположить и что развитие категорий шло по тому же пути: от конкретного — к абстрактному. Час-

ти речи, начав свой путь с обозначения перцептуально очевидных и перцептуально отдельных и выделимых сущностей, приходят постепенно к возможности моделировать по их образу и подобию сущности абстрактные.

Если в начале такого пути свое определяющее значение оказывает этимон слова, его интенционал, а с использованием языковых единиц расширяется область их экстенционалов, обратная связь от экстенционала к «главному» или «исходному» значению единицы к ее интенционалу становится практически обязательной.

На другом материале и с другими теоретическими предпосылками те же в сущности своей явления были блестяще продемонстрированы В. Г. Гаком (при изучении им конверсии и влияния производного слова на «породившее» его простое) или же П. А. Соболевой (при разграничении ею омонимии и полисемии словообразовательного порядка). Таким образом, подвижность значений, их гибкость, их динамизм, проявляющийся в постоянном взаимодействии интенционалов и экстенционалов языковых единиц, становится непременным компонентом **развития** языка как такового и обеспечивает выполнение им главной его функции — **работы с информацией**, включая в эту работу как ее фиксацию в сознании говорящих, так и целевое предназначение ее для **передачи** другим людям.

Из сказанного вытекает, во-первых, что противопоставление существительных глаголам и прилагательным (в тех языках мира, где оно проходит через всю систему языка) держится с когнитивной точки зрения на онтологическом различии в экзистенции объекта как такового и любых его признаков. При этом последние не имеют автономного **природного** существования и привязаны к объектам или ситуациям, представляя собой некую отвлеченную сторону (или часть) их бытия. В качестве наглядного примера, демонстрирующего это различие, можно было бы указать на яблоко, кожура которого может при необходимости получить отдельное существование (например, яблоко можно очистить) и которая вследствие этого рассматривается как объект и именно как отдельный объект получает далее свою номинацию. В противовес этому цвет яблока или его вкус физически не могут быть отделены от него и обозначаются как его свойства прилагательными, точно так же как в ситуации, описываемой как *Яблоко лежит на столе* или *Яблоко падает с дерева*, глаголами фиксируется либо статическая особенность ситуации, состоящая в особом не меняющемся во времени соотношении двух объектов (стола и яблока), либо динамическая ее черта, описывающая изменяющееся местоположение одного объекта по сравнению с другим, на что требуется определенное время и что перцептуально воспринимается как перемещение объекта.

Из сказанного вытекает также, во-вторых, что категории ситуации и объекта занимают в иерархии онтологических категорий не вполне тождественное место и что вообще помещение таких категорий, как **объект, событие, место, действие, свойство** и т. д. в один ряд, как это чаще всего делается в современных исследованиях, не вполне корректно. Концепты эти далеко не рядоположны и каждый из них имеет свою собственную историю, обладает особым статусом и демонстриру-

ет разные типы и разные степени зависимости от других бытийных категорий — пространства и времени, материи и движения как формы ее существования. Все это и может сказываться на том, как соотносятся между собой выделяемые в разных языках мира на основании перечисленных концептов разные классы слов, т. е. более конкретно, в каком виде существуют в них противопоставления имени и глагола, имени существительного и имени прилагательного, глагола и прилагательного, да и на том, представлены ли в том или ином языке все эти противопоставления, если какой-либо язык вообще не развивает одной из названных частей речи.

Известное единство мира как непосредственной данности человеческого бытия, общность заложенных в человеческом организме способностей к восприятию мира и его концептуализации, единые нужды и потребности человека и, наконец, явная общность в целях и задачах коммуникации — все эти факторы обуславливают как определенное единообразие общих принципов восприятия мира и его осмысления, так и достаточное сходство в формах протекания мыслительной и когнитивно-познавательной деятельности человеческого существа и в выработке им сходных представлений об основных онтологических категориях. Такие категории способствуют концептуализации мира если и не на универсальных, то на близких к универсальным представлениях и способствуют становлению сходных концептуальных систем для всего человечества в целом, а, главное, для организации и членения этих систем по определенным рубрикам. Сортировка явлений мира оказывается в общем обнаруживающей значительную степень сходства, что в становлении языка выражается тоже в отражении дифференцированными формами языка указанных онтологических категорий. Проекция онтологических свойств мира в язык заметнее всего и яснее всего проявляется в факте создания ЧР как объективирующих структуры знания, принадлежащие разным онтологическим категориям и потому в категориальном или содержательном планах нетождественные. ЧР объективируют через своих представителей дифференциацию воспринятого, познанного и оцененного человеком. В их основе, несомненно, лежат именно когнитивные характеристики, связанные с той или иной онтологической категорией и приписываемые ее отдельным членам.

Вместе с тем общее в своей основе виденье мира, общие в своей основе закономерности мышления и когниции и тождественные по существу цели и задачи коммуникации не исключают известного варьирования в конечных результатах разных видов человеческой деятельности и способах ее языковой фиксации.

## ЛИТЕРАТУРА

- Алпатов 1990 — *Алпатов В. М.* Знаменательные части речи в японском языке // Части речи. М., 1990. С. 167–179.
- Алпатов 1990 — *Алпатов В. М.* Из истории изучения частей речи // Части речи. М., 1990. С. 6–24.
- Алпатов 1990 — *Алпатов В. М.* Принципы типологического описания частей речи // Части речи. М., 1990. С. 25–50.
- Амирова, Ольховиков, Рождественский 1975 — *Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В.* Очерки по истории лингвистики. М., 1975.
- Аринштейн 1986 — *Аринштейн В. М.* Лексическая семантика глагола и способ представления ситуации («сцены») // Лексическая семантика и части речи. Л., 1986. С. 15–19.
- Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.
- Арутюнова 1977 — *Арутюнова Н. Д.* Номинация, референция, значение // Языковая номинация (общие вопросы). М., 1977. С. 188–206.
- Арутюнова 1979 — *Арутюнова Н. Д.* Метонимия // Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. С. 142–144.
- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Афанасьева 1990 — *Афанасьева О. В.* Имя прилагательное и его место в системе частей речи // Теория грамматики: лексико-грамматические классы и разряды слов. Сб. научно-аналит. обзоров. М., 1990. С. 74–93.
- Афанасьева 1992 — *Афанасьева О. В.* Имена прилагательные в системе кардинальных частей речи английского языка. М., 1992.
- Балли 1955 — *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
- Басилая 1988 — *Басилая Н. А.* Категория признаковости в языке. Тбилиси, 1988.
- Баудер 1983 — *Баудер А. Я.* Части речи как структурно-семантические классы слов в современном русском языке: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 1983.
- Бейтс 1984 — *Бейтс Э.* Интенции, конвенции и символы // Психолингвистика. М., 1984. С. 50–102.

- Беликов 1990 — *Беликов В. И.* Части речи в полинезийских языках // Части речи. М., 1990. С. 180–194.
- Беляевская 1994 — *Беляевская Е. Г.* Когнитивные основания изучения семантики слова // Структуры представления знаний в языке. М., 1994. С. 87–110.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Категории мысли и категории языка // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974. С. 104–114.
- Бергельсон 1990 — *Бергельсон М. Б.* Проблема частей речи в языках изолирующего типа // Части речи. М., 1990. С. 195–217.
- Блумфильд 1968 — *Блумфильд Л.* Язык. М., 1968.
- Бортэ 1980 — *Бортэ Л. В.* Речевые закономерности, обусловленные взаимодействием частей речи. Кишинев, 1980.
- Брунер 1984 — *Брунер Дж. С.* Онтогенез речевых актов // Психолингвистика. М., 1984. С. 21–49.
- Булыгина 1982 — *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 7–85.
- Бэбби 1985 — *Бэбби Л.* Глубинная структура прилагательных и причастий в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985. С. 156–170.
- Бэбби 1985 — *Бэбби Л.* К построению формальной теории «частей речи» // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985. С. 171–191.
- Виноград 1983 — *Виноград Т.* К процессуальному пониманию семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. М., 1983. С. 123–170.
- Виноградов 1947 — *Виноградов В. В.* Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1947.
- Виноградов 1975 — *Виноградов В. В.* Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
- Виноградов 1991 — *Виноградов В. А.* Иерархия категорий в грамматической типологии // Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin, 1991. P. 2433–2435.
- Виноградов 1993 — *Виноградов В. А.* Категориальная типология и языковой тип. М., 1993.
- Вольф 1978 — *Вольф Е. М.* Грамматика и семантика прилагательного. М., 1978.
- Вольф 1982 — *Вольф Е. М.* Состояния и признаки. Оценка состояний // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 320–339.
- Выготский 1996 — *Выготский Л. С.* Мышление и речь. М., 1996.
- Гак 1979 — *Гак В. Г.* Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. М., 1979.
- Гак 1986 — *Гак В. Г.* Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. М., 1986.
- Гак 1988 — *Гак В. Г. Л. Теньер и его структурный синтаксис* // *Теньер Л.* Основы структурного синтаксиса. М., 1988. С. 5–21.

- Гарвин 1984 — *Гарвин П.* Грамматика в свете машинного перевода // Международный форум по информации и документации. М., 1984. Т. 9. № 2.
- Гуреев 2002 — *Гуреев В. А.* Британская грамматическая традиция // Изв. АН. СЛЯ. 2002. Т. 61. № 3. С. 37–48.
- Гогошидзе 1985 — *Гогошидзе В. Д.* Взаимодействие семантики и грамматики в системе английского глагола. Душанбе, 1985.
- Голдстейн М., Голдстейн И. Ф. 1984 — *Голдстейн М., Голдстейн И. Ф.* Как мы познаем. М., 1984.
- Дейк 1989 — *Дейк Т. А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Демьянков 1992 — *Демьянков В. З.* Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория // Язык и структуры представления знаний. М., 1992. С. 39–77.
- Демьянков 1994 — *Демьянков В. З.* Теория прототипов в семантике и прагматике языка // Структуры представления знаний в языке. М., 1994. С. 32–86.
- Дорошевский 1973 — *Дорошевский В.* Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973.
- Драгунов 1962 — *Драгунов А. А.* Грамматическая система современного китайского разговорного языка. М., 1962.
- Есперсен 1958 — *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
- Жаботинская 1992 — *Жаботинская С. А.* Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных. М., 1992.
- Жирмунский 1965 — *Жирмунский В. М.* О природе частей речи и их классификации // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965. С. 7–32.
- Жоль 1990 — *Жоль К. К.* Язык как практическое сознание (Философский анализ). Киев, 1990.
- Заботкина 1997 — *Заботкина В. И.* Изменения в концептуальной картине мира в аспекте когнитивно-прагматического подхода к языковым явлениям // Категоризация мира: пространство и время. Материалы науч. конф. М.: МГУ, 1997. С. 55–59.
- Запорожец 1986 — *Запорожец А. В.* Избранные психологические труды. М., 1986.
- Иванов 1994 — *Иванов А. В.* Сознание и мышление. М., 1994.
- Караулов 1987 — *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.
- Караулов 1992 — *Караулов Ю. Н.* Словарь Пушкина и эволюция русской языковой способности. М., 1992.
- Касевич 1989 — *Касевич В. Б.* Языковые структуры и когнитивная деятельность // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989. С. 8–18.
- Кацнельсон 1972 — *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
- Кликс 1983 — *Кликс Ф.* Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. М., 1983.
- Климов 1972 — *Климов Г. А.* К характеристике языков активного строя // Вопросы языкознания. М., 1972.

- Колшанский 1975 — *Колшанский Г. В.* Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975.
- Колшанский 1976 — *Колшанский Г. В.* Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976. С. 5–30.
- Комри 1985 — *Комри Б.* Номинализация в русском языке: словарно-задаваемые именные группы или трансформированные предложения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
- Кравченко 1996 — *Кравченко А. В.* Язык и восприятие. Когнитивные аспекты языковой категоризации. Иркутск, 1996.
- Крюков 1988 — *Крюков А. Н.* Фоновые знания и языковая коммуникация // Этнопсихоллингвистика. М., 1988. С. 19–34.
- Кубрякова 1972 — *Кубрякова Е. С.* О соотношении парадигматических и словообразовательных рядов в германских языках // Историко-типологические исследования морфологического строя германских языков. М., 1972. С. 172–188.
- Кубрякова 1978 — *Кубрякова Е. С.* Части речи в ономазиологическом освещении. М., 1978.
- Кубрякова 1981 — *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
- Кубрякова 1986 — *Кубрякова Е. С.* Номинативный аспект речевой деятельности. М., 1986.
- Кубрякова 1989 — *Кубрякова Е. С.* Специфика актов референции в детской речи. Детская речь: проблемы и наблюдения. Л., 1989. С. 4–13.
- Кубрякова 1990а — *Кубрякова Е. С.* Введение // Теория грамматики... М., 1990. С. 5–28.
- Кубрякова 1990б — *Кубрякова Е. С.* Противопоставление имен и глаголов как важнейшая черта организации и функционирования языковых систем // Теория грамматики... М., 1990. С. 29–50.
- Кубрякова 1991 — *Кубрякова Е. С.* Обеспечение речевой деятельности и проблема внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М., 1991. С. 82–140.
- Кубрякова 1992 — *Кубрякова Е. С.* Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992. С. 84–90.
- Кубрякова 1992 — *Кубрякова Е. С.* Новые проблемы и новые решения в изучении частей речи // Текст как структура. М., 1992. С. 5–18.
- Кубрякова 1992 — *Кубрякова Е. С.* Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем // Язык и структуры представления знаний. М., 1992. С. 4–38.
- Кубрякова 1993 — *Кубрякова Е. С.* Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания. 1993. № 4. С. 18–28.

- Кубрякова 1994 — *Кубрякова Е. С.* Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 34—47.
- Кубрякова 1994 — *Кубрякова Е. С.* Проблемы представления знаний в языке // Структуры представления знаний в языке. Сб. научно-аналитических обзоров. М., 1994. С. 5—31.
- Кубрякова 1995 — *Кубрякова Е. С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (Опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 144—238.
- Лайонз 1978 — *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
- Лакофф 1981 — *Лакофф Дж.* Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981. С. 350—368.
- Лакофф 1988 — *Лакофф Дж.* Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. М., 1988. С. 12—51.
- Леонтьев 1961 — *Леонтьев А. А.* Проблемы развития психики. М., 1961.
- Леонтьев 1979 — *Леонтьев А. А.* Психология образа // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. М., 1979. № 2.
- Лосев 1976 — *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
- Медведева 1983 — *Медведева Л. М.* Части речи и залог. Киев, 1983.
- Мещанинов 1978 — *Мещанинов И. И.* Части речи и члены предложения. Л., 1978.
- Мещанинов 1982 — *Мещанинов И. И.* Глагол. Ленинград, 1982.
- Мостовая 1989 — *Мостовая А. Ц.* Гиперонимы класса и гиперонимы свойства // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989. С. 17—37.
- Павилёнис 1983 — *Павилёнис Р. И.* Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М., 1983.
- Панкрац 1990 — *Панкрац Ю. Г.* Глагол и особенности его категориальной семантики // Теория грамматики... М., 1990. С. 51—73.
- Панкрац 1992 — *Панкрац Ю. Г.* Пропозициональные структуры и их роль в формировании языковых единиц разных уровней. Минск; М., 1992.
- Пауль 1960 — *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.
- Петров 1987 — *Петров В. В.* От философии языка к философии сознания. Новые тенденции и их истоки // Философия, логика, язык. М., 1987. С. 3—17.
- Петров 1988 — *Петров В. В.* На пути к когнитивной модели языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. М., 1988. С. 5—11.
- Пешковский 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956.
- Поддъяков 1977 — *Поддъяков Н. Н.* Мышление дошкольника. М., 1977.
- Поспелов 1954 — *Поспелов Н. С.* Учение о частях речи в русской грамматической традиции. М., 1954.
- Рамендик, Зонабенд, Клименко 1994 — *Рамендик Д. М., Зонабенд Ф. М., Клименко А. Н.* О значении когнитивных и коммуникативных свойств в понимании вербаль-

- ных и невербальных сообщений // Психологический журнал. Т. 15. 1994. № 5. С. 80–88.
- Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1991.
- Руденко 1990 — *Руденко Д. И.* Имя в парадигмах «философии языка». Харьков, 1990.
- Селиверстова 1982 — *Селиверстова О. Н.* Предикаты класса и свойства // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 91–106.
- Сентенберг 1984 — *Сентенберг И. В.* Лексическая семантика английского глагола. М., 1984.
- Серебрянников 1976 — *Серебрянников Б. А.* Сводимость языков мира, учет специфики конкретного языка, предназначенность описания // Принципы описания языков мира. М., 1976. С. 7–52.
- Серебрянников 1983 — *Серебрянников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
- Серебрянников 1988 — *Серебрянников Б. А.* Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление. М., 1988.
- Серио 1993 — *Серио П.* В поисках четвертой парадигмы // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1993. С. 37–52.
- Серль 1987 — *Серль Дж.* Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык. М., 1987. С. 96–126.
- Скэрэгг 1983 — *Скэрэгг Г.* Семантические сети как модели памяти // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983. С. 228–271.
- Солнцев 1972 — *Солнцев В. М.* О понятии уровня языковой системы // Вопросы языкознания. 1972. № 3.
- Солнцева 1985 — *Солнцева Н. В.* Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
- Солнцева, Солнцев 1986 — *Солнцева Н. В., Солнцев В. М.* Частеречный синтаксис и китайский язык // III конференция по китайскому языкознанию: Сб. тезисов. М., 1986. С. 92–94.
- Стеблин-Каменский 1974 — *Стеблин-Каменский М. И.* Спорное в языкознании. Л., 1974.
- Степанов 1971 — *Степанов Ю. С.* Семиотика. М., 1971.
- Степанов 1980 — *Степанов Ю. С.* Исторические законы и исторические объяснения // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
- Степанов 1981 — *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения: Семиологическая грамматика. М., 1981.
- Степанов 1985 — *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
- Степанов 1989 — *Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Степанова, Хельбиг 1978 — *Степанова М. Д., Хельбиг Г.* Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. М., 1978.
- Структуры представления знаний в языке. Сб. научно-аналитических обзоров. М., 1994.

- Супрун 1965 — *Супрун А. Е.* Грамматические свойства слов и части речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965. С. 208–218.
- Супрун 1968 — *Супрун А. Е.* Славянские числительные. Становление числительного как части речи. Минск, 1968.
- Супрун 1971 — *Супрун А. Е.* Части речи в русском языке. М., 1971.
- Телия 1986 — *Телия В. Н.* Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.
- Телия 1991 — *Телия В. Н.* Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая ориентация // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991. С. 5–35.
- Теньер 1988 — *Теньер Л.* Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
- Теория грамматики: лексико-грамматические классы и разряды слов. Сб. научно-аналитических обзоров. М., 1990.
- Тестелец 1990 — *Тестелец Я. Г.* Наблюдения над семантикой оппозиций «имя/глагол» и «существительное/прилагательное» (к постановке проблемы) // Части речи. М., 1990. С. 77–95.
- Титоне 1984 — *Титоне Р.* Некоторые эпистемологические проблемы психолингвистики // Психолингвистика. М., 1984. С. 336–352.
- Топорова 1985 — *Топорова Т. В.* Семантическая мотивировка концептуально значимой лексики в древнеисландском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1985.
- Топорова 1994 — *Топорова Т. В.* Семантическая структура древнегерманской модели мира. М., 1994.
- Филлмор 1983 — *Филлмор Ч.* Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983. С. 74–122.
- Фромм 1990 — *Фромм Э.* Иметь или быть?: Пер. с англ. 2-е изд., доп. М., 1990.
- Фрумкина 1982 — *Фрумкина Р. М.* Сходство и классификация: некоторые общие вопросы // Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982. С. 8–19.
- Фрумкина 1984 — *Фрумкина Р. М.* Предисловие // Психолингвистика. Сб. статей. М., 1984. С. 5–19.
- Фрумкина 1986 — *Фрумкина Р. М.* Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. М., 1986.
- Фрумкина 1989 — *Фрумкина Р. М.* Проблема «язык и мышление» в свете ценностных ориентаций // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989. С. 59–71.
- Фрумкина и др. 1991 — *Фрумкина Р. М. и др.* Семантика и категоризация. М., 1991.
- Харитончик 1986 — *Харитончик З. А.* Имена прилагательные в лексико-грамматической системе современного английского языка. Минск, 1986.
- Харитончик 1990 — *Харитончик З. А.* Имя прилагательное: Проблема классификации // Теория грамматики... М., 1990. С. 94–119.

- Харитончик 1992 — *Харитончик З. А.* Способы концептуальной организации знаний в лексике языка // *Язык и структуры представления знаний.* М., 1992. С. 98–123.
- Чанышев 1981 — *Чанышев А. Н.* Курс лекций по древней философии. М., 1981.
- Части речи. Теория и типология. М., 1990.
- Чвани 1985 — *Чвани К. В.* Грамматика слова ДОЛЖЕН: словарные статьи как функции теории // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. XV. М., 1985. С. 50–80.
- Чейф 1975 — *Чейф У. Л.* Значение и структура языка. М., 1975.
- Чейф 1983 — *Чейф У. Л.* Память и вербализация прошлого опыта // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. XII. М., 1983. С. 35–73.
- Шахматов 1941 — *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.
- Шахнарович 1993 — *Шахнарович А. М.* Онтогенез языкового сознания: развитие познания и коммуникации // *Язык и сознание: парадоксальная рациональность.* М., 1993. С. 76–85.
- Шведова 1984 — *Шведова Н. Ю.* Об активных потенциях, заключенных в слове // *Слово в грамматике и словаре.* М., 1984.
- Шведова 1988 — *Шведова Н. Ю.* Лексическая система и ее отражение в толковом словаре // *Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование.* М., 1988. С. 152–166.
- Швырев 1988 — *Швырев В. С.* Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. М., 1988.
- Шевенко 1990 — *Шевенко С. М.* Машинные части речи (на материале японского языка) // *Части речи...* М., 1990. С. 254–267.
- Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* О частях речи в русском языке // *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 77–99.
- Энгельс 1941 — *Энгельс Ф.* Диалектика природы. М.; Л., 1941.
- Юдакин 1984 — *Юдакин А. П.* Развитие структуры предложения в связи с развитием структуры мысли. М., 1984.
- Юдин 1984 — *Юдин Б. Г.* Предисловие (от изд-ва) к кн.: *Гольдштейн М., Гольдштейн И. Ф.* Как мы познаем. М., 1984. С. 5–30.
- Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- Язык и структуры представления знаний. Сб. научно-аналитических обзоров. М., 1992.
- Языковая номинация. Т. 1. (Общие вопросы); Т. 2 (Виды именованных). М., 1977.
- Яхонтов 1965 — *Яхонтов С. Е.* Понятие частей речи в общем и китайском языкознании // *Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов.* Л., 1965. С. 70–79.

- Anderson 1992 – *Anderson J. M.* Linguistic representation. Structural analogy and stratification. Brl.: Mouton de Gruyter, 1992.
- Anderson 1989 – *Anderson St. R.* Рец. на кн.: *Johnson-Laird Ph. N.* The computer and the mind: An introduction to cognitive science. Cambridge, 1988 // *Language*. 1989. Vol. 65. № 4. P. 800–811.
- Andrews 1988 – *Andrews A. D.* Lexical structure // *Linguistics: The Cambridge Survey*. Vol. 1. Cambridge (Mass.), 1988. P. 60–88.
- Anisfeld 1984 – *Anisfeld M.* Language development from birth to three. Hillsdale; Erlbaum, 1984.
- Bates, Chen, Tzeng, Li, Opie 1991 – *Bates E., Chen S., Tzeng O. and Li P. and Opie M.* The noun-verb problem in Chinese Aphasia // *Brain and Language*. 1991. Vol. 40. P. 203–233.
- Bates, MacWhinney 1982 – *Bates E., MacWhinney B.* Functionalist approaches to grammar // *Language acquisition: The state of the art*. Cambridge, 1982. P. 173–218.
- Beaugrande R. de 1991 – *de Beaugrande R.* Linguistic theory: The discourse of fundamental works. L.; N. Y., Longman, 1991.
- Beckmann 1994 – *Beckmann Fr.* Рец. на кн.: *Grimschaw J.* Argument structure. Cambridge (Mass.), 1990 // *Journal of Semantics*. 1994. Vol. 11. № 1–2. P. 103–131.
- Bever, Carrol, Miller 1984 – *Bever Th. G., Carrol J. M., Miller G. A.* Introduction // *Talking minds: The study of language in cognitive science*. Cambridge (Mass.), 1984. P. 4–17.
- Bickerton 1990 – *Bickerton D.* Language and species. Chicago; Ch. Press, 1990.
- Bierwisch 1983 – *Bierwisch M.* Formal and Lexical Semantics // *Proceedings of the XIII-th International Congress of Linguistics*. Tokyo, 1983. P. 122–131.
- Bolinger 1975 – *Bolinger D.* Aspects of Language. 2-nd ed. N. Y.: Harcourt, 1975. P. 142–156.
- Bossong 1992 – *Bossong G.* Reflections on the history of the study of universals: the example of the *partes orationes* // *Kefer M., Van der Auwera (eds.)*. Meaning and Grammar... 1992. P. 3–16.
- Braube 1994 – *Braube U.* Lexikalische Funktionen der Synsemantika. Tübingen: Narr, 1994.
- Broschart 1991 – *Broschart J.* Noun, Verb, and Participation. A Typology of Noun/Verb Distinction // *Partizipation* / Ed. by H. Seiler. Tübingen: Narr, 1991. P. 65–136.
- Brown 1957 – *Brown R. W.* Linguistic determinism and the Part of Speech // *Journal of abnormal and Social Psychology*. Vol. IV. 1. 1957.
- Bruner 1988 – *Bruner J.* Founding the Center for cognitive studies // *The making of cognitive science*. Cambridge (Mass.), 1988. P. 90–101.
- Bybee 1985 – *Bybee J. L.* Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 1985.

- Canseco-Gonzales, Shapiro, Zurif, Baker 1990 — *Canseco-Gonzales E., Shapiro L. P., Zurif E. B., Baker E.* Predicate-argument structure as a link between linguistic and non-linguistic representations // *Brain and Language*. 1990. Vol. 39. P. 391–404.
- Carlson-Radvonsky, Irwin 1994 — *Carlson-Radvonsky L. A. and Irwin D. E.* Reference frame activation during spatial term assignment // *Journal of Memory and Language*. Vol. 33. 1994. № 5. P. 646–667.
- Carston 1989 — *Carston R.* Language and cognition // *Linguistics: The Cambridge survey*. Vol. 3: Language: Psychological and biological aspects. Cambridge, 1989. P. 38–68.
- Chafe 1987 — *Chafe W. L.* Repeated verbalizations as evidence for the organization of knowledge // *Preprints of the plenary session papers: XIV International Congress of Linguists*. Berlin, 1987. P. 88–110.
- Chomsky 1970 — *Chomsky N.* Remarks on nominalizations // *Readings in English transformational grammar*. Waltheim (Mass.) etc., 1970. P. 184–221.
- Chomsky 1976 — *Chomsky N.* Reflections on language. London, 1976.
- Chomsky 1980 — *Chomsky N.* Rules and representations. N. Y., 1980.
- Chomsky 1982 — *Chomsky N.* The generative enterprise: a discussion with Riny Huybregts and Henk van Riemsdijk. Dordrecht: Foris, 1982.
- Chomsky 1991 — *Chomsky N.* Linguistics and adjacent fields: a personal view // *The Chomskyan Turn...* Cambridge (Mass.), 1991. P. 3–25.
- The Chomskyan Turn / Ed. by A. I. Kasher. Oxford: Blackwell, 1991.
- Cook 1988 — *Cook V. J.* Chomsky's universal grammar. An introduction. Oxford; Blackwell, 1988, 1992.
- Croft 1984 — *Croft W.* Semantic and pragmatic correlates to syntactic categories // *Papers from the Parasession on Lexical semantics*. Chicago Ling. Soc., 1984. P. 53–73.
- Croft 1990 — *Croft W.* A conceptual framework for grammatical categories (or: a taxonomy of propositional acts) // *Journal of Semantics*. 1990. Vol. 7. P. 245–279.
- Croft 1991 — *Croft W.* Syntactic categories and grammatical relations. The cognitive organization of information. Chicago; London, 1991.
- Cross 1992 — *Cross M.* Choice in Lexis: computer generation of lexis as most delicate grammar // *Language Sciences*. Vol. 14. № 4. 1992. P. 579–605.
- Cruse 1990 — *Cruse D. A.* Prototype theory and lexical semantics // *Meaning and prototypes*. Studies in linguistic categorization. L.; N. Y., 1990. P. 382–402.
- Dahl 1987 — *Dahl O.* Case grammar and prototypes // *Concepts of case*. Tübingen; Narr, 1987. P. 146–161.
- Dixon 1982 — *Dixon R. M. W.* Where have all the adjectives gone? and other essays on Semantics and Syntax. Berlin; Mouton, 1982.
- Dixon 1991 — *Dixon R. M. W.* A new approach to English grammar on semantic principles. N. Y.; Oxf., 1991.

- Dixon 1994 – *Dixon R. M. W.* Adjectives // The Encyclopedia of Language and Linguistics / Ed. by R. E. Asher. Vol. 1. 1994. P. 29–35.
- Dokulil 1962 – *Dokulil M.* Tvoreni slov v češtině, 1. Teorie odvozování slov. Praha, 1962.
- Droste, Joseph 1991 – *Droste F. G., Joseph J. E.* (Eds.) Linguistic Theory and Grammatical Description. Amsterdam; Philadelphia, 1991.
- Dunbar 1991 – *Dunbar G.* The Cognitive Lexicon. Tübingen, 1991.
- Eckardt B. von 1993 – *von Eckardt B.* What is cognitive science. Cambridge (Mass.), 1993.
- Engelkamp 1986 – *Engelkamp J.* Motor programs as part of the meaning of Verbal items // Knowledge and Language. Amsterdam, 1986. P. 115–138.
- Engelkamp 1995 – *Engelkamp J.* Mentales Lexikon: Struktur und Zugriff // Die Ordnung der Wörter. Kognitive und Lexikalische Strukturen / Hrsg. von G. Harras. Berlin, 1995.
- Emonds 1985 – *Emonds J. E.* A unified Theory of Syntactic Categories. Dordrecht, 1985.
- Fauconnier 1994 – *Fauconnier G.* Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge, 1994.
- Fillmore 1984 – *Fillmore Ch.* Some thoughts on the boundaries and components of linguistics // Talking minds: The study of language in cognitive science. Cambridge (Mass.), 1984. P. 73–108.
- Fox, Thompson 1990 – *Fox B. A. and Thompson S. A.* A discourse explanation of the grammar of relative clauses // Language. 1990. Vol. 60. № 2. P. 297–316.
- Fodor 1983 – *Fodor J. A.* The modularity of mind. Cambridge (Mass.), 1983.
- Fodor et al. 1974 – *Fodor J., Bever T. and Garrett M.* The Psychology of Language. N. Y., 1974.
- Fries 1992 – *Fries P. A.* The structuring of information in written English Text // Language Sciences. Vol. 14. 1992. № 4. P. 462–488.
- Gans 1981 – *Gans E. L.* The origin of language: A formal theory of representation. Berkeley, 1981.
- Gardner 1985 – *Gardner H.* The mind's new science. A history of the cognitive revolution. N. Y., 1985.
- Gardner, Wolf 1987 – *Gardner H. E., Wolf D. P.* The symbolic products of early childhood // Curiosity, imagination, and play: On the development of spontaneous cognitive and motivational processes. Hillsdale (N. J.); L., 1987. P. 305–325.
- Geach 1980 – *Geach P. Th.* Reference and generality: An examination of some Medieval and modern theories. 3rd ed. Ithaca; L., 1980.
- Geeraerts 1988 – *Geeraerts D.* Where does prototypicality come from? // Topics in cognitive linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 1988. P. 207–229.
- Gentner 1985 – *Gentner D.* Why nouns are learned before verbs: linguistic relativity versus natural partitioning // Language Development / Ed. by S. A. Kuczaj. Hillsdale; Erlbaum, 1985. P. 301–334.
- Gethin 1990 – *Gethin A.* Antilinguistics. A critical assessment of modern linguistic theory and practice. Oxford, 1990.

- Givón 1979 – *Givón T.* On understanding grammar. N. Y., 1979.
- Givón 1984 – *Givón T.* Syntax: A functional-typological introduction: V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
- Givón 1986 – *Givón T.* Prototypes: Between Plato and Wittgenstein // Noun classes and categorization. Amsterdam, 1986. P. 77–102.
- Givón 1989 – *Givón T.* Mind, code, and context. Essays in pragmatics. Hillsdale, 1989.
- Givón 1992 – *Givón T.* The grammar of referential coherence as mental processing instructions // Linguistics. 1992. Vol. 30. P. 5–55.
- Gleitman, Gleitman, Landau, Wanner 1989 – *Gleitman L., Gleitman H., Landau B., Wanner E.* Where learning begins: Initial representations for language learning // Linguistics: The Cambridge survey. Vol. 3. Language: Psychological and biological aspects. Cambridge, 1989. P. 150–193.
- Gleitman, Landau 1994 – *Gleitman L., Landau B.* (Eds.) Lexical Acquisition. Elsevier, 1994 (спец. вып. журн. «Lingua». Vol. 92. 1994).
- Goldin-Meadow, Mylander 1990 – *Goldin-Meadow S., Mylander C.* Beyond the input given: The child's role in the acquisition of language // Language. 1990. Vol. 66. № 2. P. 323–355.
- Grimshaw 1990 – *Grimshaw J.* Argument structure. Cambridge, 1990.
- Gundel, Hedberg, Zacharski 1989 – *Gundel J., Hedberg N., Zacharski R.* [Report in the...] Papers from the 25-th Annual Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society / Ed. by B. Music and oth. Chicago, 1989. Pt. II. P. 89–103.
- Haiman 1985 – *Haiman J.* Natural syntax: Iconicity and erosion. Cambridge, 1985.
- Haiman 1993 – *Haiman J.* Life, the universe and human language (a brief synopsis) // Language Sciences. Vol. 15. № 4. 1993. P. 293–322.
- Hamann 1991 – *Hamann C.* Adjectival semantics // Semantik. Semantics. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung / Hrsg. von A. von Stechow, D. Wunderlich. Berlin; N. Y., 1991. S. 657–673.
- Harlow, Vincent 1988 – *Harlow St., Vincent N.* Generative Linguistics: an overview // Linguistics. The Cambridge Survey. Vol. 1. 1988. P. 1–17.
- Harman 1988 – *Harman G.* Cognitive science? // The making of cognitive science... 1988. P. 258–269.
- Heine, Claudi, Hünnemeyer 1991 – *Heine B., Claudi U., Hünnemeyer Fr.* Grammaticalization. A conceptual framework. Chicago, 1991.
- Hopper 1986 – *Hopper P. J.* Discourse functions of classifiers in Malay // Noun classes and categorization / Ed. by Col. Craig. Amsterdam, 1986. P. 309–325.
- Hopper, Thompson 1984 – *Hopper P., Thompson S.* The discourse basis for lexical categories in universal grammar // Language. 1984. Vol. 60. № 4. P. 703–752.
- Hopper, Thompson 1985 – *Hopper P., Thompson S.* The iconicity of the universal categories «noun» and «verb» // Iconicity in Syntax. Stanford, 1985. P. 151–183.

- Hopper, Thompson 1993 – *Hopper P., Thompson S.* Language universals, discourse pragmatics and semantics // *Language Sciences*. Oxford; N. Y., 1993. Vol. 15. № 4. P. 357–376.
- Hopper, Traugott 1993 – *Hopper P., Traugott E. C.* Grammaticalization. Cambridge, 1993.
- Jackendoff 1984 – *Jackendoff R.* Sense and reference in a psychologically based semantics // *Talking minds*. Cambridge (Mass.), 1984. P. 49–72.
- Jackendoff 1991 – *Jackendoff R.* Semantic structures. Cambridge (Mass.), 1991.
- Jackendoff 1992 – *Jackendoff R.* Languages of the mind: Essays on mental representation. Cambridge (Mass.), 1992.
- Jackendoff 1992 – *Jackendoff R.* What is a concept? // *Frames, fields, and contrasts*. New essays in semantics and lexical organisation. Hillsdale, 1992. P. 191–209.
- Jackendoff 1993 – *Jackendoff R.* Semantics and cognition. Cambridge (Mass.), 1993.
- Jackendoff 1993 – *Jackendoff R.* X-bar semantics // *Semantics and the lexicon*. Dordrecht, 1993. P. 15–26.
- Johnson-Laird 1983 – *Johnson-Laird Ph. N.* Mental models. Toward a cognitive science of language, inference and consciousness. Cambridge (Mass.), 1983.
- Johnson-Laird 1988 – *Johnson-Laird Ph. N.* The computer and the mind: an introduction to cognitive science. Cambridge, 1988.
- Jorna 1990 – *Jorna R. J.* Wissensrepräsentation im Künstlichen Intelligenzen. Zeichentheorie und Kognitionsforschung // *Zeitschrift für Semiotik*. 1990. Bd. H. 1–2. S. 9–23.
- Kefer, Auwera van der 1992 – *Kefer M., van der Auwera J.* (Eds.) Meaning and Grammar. Crosslinguistic Perspectives. Berlin, 1992.
- Keller, Leuninger 1991 – *Keller J., Leuninger H.* Kognitive Linguistik für Beginners. Frankfurt, 1991. (Frankfurter linguistische Forschungen, Sondernummer 30).
- Kleiber 1993 – *Kleiber G.* Prototypen-semantik. Eine Einführung. Tübingen; Narr, 1993.
- Kubřaková 1989 – *Kubřaková E. S.* The parts of speech in word formation processes and the linguistic model of the world // *Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache* / Hrsg. von W. Fleischer and oth., 1989. Bd. 9. P. 10–13.
- Lakoff 1987 – *Lakoff G.* Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago; L., 1987.
- Langacker 1987 – *Langacker R. W.* Foundation of cognitive grammar. Vol. 1: Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.
- Langacker 1991 – *Langacker R. W.* Concept, image, and symbol: The cognitive basis of grammar. Berlin, 1991.
- Lehrer, Kittay 1992 – *Lehrer A., Kittay E. F.* (Eds.) Frames, fields, and contrasts. New essays in semantic and lexical organization. Hillsdale, 1992.
- Lichtenberk 1991 – *Lichtenberk Fr.* Semantic change and heterosemy in grammaticalization // *Language*. Vol. 67. 1991. № 3. P. 475.
- Lipka 1990 – *Lipka L.* An Outline of English Lexicology. Tübingen, 1990.

- Lyons 1991 — *Lyons J.* Natural language and universal grammar. Essays in linguistic theory. Vol. 1. Cambridge, 1991.
- Macnamara 1986 — *Macnamara J.* A border dispute: the place of logic in psychology. Cambridge, 1986.
- The Making of Cognitive Science. Essays in honor of George A. Miller / Ed. by W. Hirst. Cambridge, 1988.
- Maratsos 1990 — *Maratsos M.* Are actions to verbs as objects are to nouns? On the differential semantic bases of form, class, category // *Linguistics*. 1990. Vol. 28. P. 1351–1379.
- Markman 1989 — *Markman E. M.* Categorization and naming in children: problems of induction. Cambridge, 1989.
- Marslen-Wilson 1992 — *Marslen-Wilson W.* Mental lexicon // *International encyclopedia of linguistics*. Vol. 3. N. Y., 1992. P. 273–275.
- McShane 1991 — *McShane J.* Cognitive development: an information processing approach. Cambridge (Mass.), 1991.
- Meaning and Prototypes. Studies in linguistic categorization / Ed. by S. L. Tsohatzidis. London; N. Y., 1990.
- Menyuk 1988 — *Menyuk P.* Language development, knowledge and use. Glenview (Illinois), 1988.
- Miller, Johnson-Laird 1976 — *Miller G. A., Johnson-Laird Ph. N.* Language and perception. Cambridge (Mass.), 1976.
- Miller 1985 — *Miller G. A.* Semantics and Syntax: Parallels and Connections. Cambridge, 1985.
- Miller 1990 — *Miller G. A.* Linguists, psychologists, and the cognitive science // *Language*. 1990. Vol. 66. № 2. P. 317–322.
- Moravcsik 1990 — *Moravcsik J. M.* Thought and Language. Lnd.; N. Y., 1990.
- Mulhall 1990 — *Mulhall St.* On being in the world. Wittgenstein and Heidegger on seeing aspects. Lnd.; N. Y., 1990.
- Neisser 1994 — *Neisser U.* Multiple systems: A new approach to cognitive theory // *The European Journal of Cognitive Psychology*. 1994. Vol. 6. № 3. P. 225–241.
- Newmeyer 1992 — *Newmeyer Fr. J.* Iconicity and generative grammar // *Language*. Vol. 68. 1992. № 4. P. 756–785.
- Newmeyer 1989 — *Newmeyer F. J.* (ed.) *Linguistics: The Cambridge Survey*. Vol. I–IV. Cambridge, 1988–1989.
- Nolan 1994 — *Nolan R.* Cognitive practices, human language and human knowledge. Oxford, 1994.
- Noun classes and categorization / Ed. by C. Craig. Amsterdam, 1986.
- Nuyts 1992 — *Nuyts J.* Aspects of a cognitive-pragmatic theory of language. On cognition, functionalism and grammar. Amsterdam, 1992.
- Paivio 1971 — *Paivio A.* Imagery and verbal processes. N. Y., 1971.
- Paivio 1986 — *Paivio A.* Mental representations. A dual coding approach. Oxford, 1986.

- Parret 1979 – *Parret H.* Philosophie en taalwetenschap. Assen, 1979.
- Parret 1991 – *Parret H.* Deixis and shifters after Jakobson // *New Vistas in Grammar* / Ed. by Li R. Waugh and St. Rudy. Amsterdam, 1991.
- Pinker 1992 – *Pinker S.* Rec. ad op.: Bickerton D. Language and species. Chicago, 1990 // *Language*. 1992. Vol. 68. № 2. P. 381.
- Pustejovsky 1993 – *Pustejovsky J.* (Ed.) Semantics and the lexicon. Dordrecht, 1993.
- Pylyshyn 1984 – *Pylyshyn Z. W.* Computation and cognition. Toward a foundation for cognitive science. Cambridge (Mass.), 1984.
- Pylyshyn 1988 – *Pylyshyn Z. W.* (Ed.) Computational processes in human vision: an interdisciplinary perspective. Norwood, 1988.
- Rauch 1991 – *Rauch G.* Grammatische Kategorien // *Theorie der Lexikons*, 39. Düsseldorf, 1991.
- Rickheit 1993 – *Rickheit G.* Wortbildung, Grundlagen einer kognitiven Wortsemantik. Opladen, 1993.
- Rosch 1975 – *Rosch E. H.* Cognitive representation of semantic categories // *Journal of Experimental Psychology*. 1975. Vol. 104. P. 192–233.
- Sapir 1970 – *Sapir E.* Language: An introduction to the study of speech. N. Y., 1921. British ed.: L., 1970.
- Sasse 1992 – *Sasse H.-L.* Das Nomen – eine universale Kategorie? // *Arbeiten des Sonderforschungsbericht 82. Theorie des Lexicons*. № 27. Köln, 1992. S. 1–30.
- Schachter 1985 – *Schachter P.* Parts-of-speech systems // *Language typology and syntactic description*. Vol. I / Ed. by E. Shopen. Lnd.; N. Y., 1985.
- Schwarz 1992 – *Schwarz M.* Einführung in die Kognitive Linguistik. Tübingen, 1992.
- Seiler 1991 – *Seiler H.* Partizipation. Tübingen, 1991.
- Shepard 1988 – *Shepard R. N.* George Miller's data and the development of methods for representing cognitive structures // *The Making of Cognitive Science...* 1988. P. 45–70.
- Slagle van 1974 – *van Slagle U.* Language, thought and perception. A proposed theory of meaning. The Hague; Paris, 1974.
- Slobin 1993 – *Slobin D. I.* From «Thought and Language» to «Thinking for Speaking» // *Rethinking linguistic relativity* / Ed. by J. J. Gumperz and S. C. Levinson. Cambridge, 1993.
- Sommerfelt 1991 – *Sommerfelt R.-E.* Zur Integration von Lexik und Grammatik. Probleme einer funktional-semantischen Beschreibung des Deutschen. Frankfurt am Main, 1991.
- Speas 1990 – *Speas M.* Natural language. Dordrecht, 1990.
- Sperber, Wilson 1986 – *Sperber D. and Wilson D.* Relevance: communication and cognition. Oxford, 1986.
- Stechow von, Sternefeld 1988 – *von Stechow A., Sternefeld W.* Bausteine syntaktischen Wissens. Ein Lehrbuch der generativen Grammatik. Berlin, 1988.
- Stockwell 1977 – *Stockwell R. P.* Foundations of syntactic theory. Prentice Hall, 1977.

- Talking Minds: The Study of Language in cognitive science. Cambridge, 1984.
- Talmy 1985 – *Talmy L.* Lexicalization patterns: Semantic structures in lexical forms // Language typology and syntactic description. Vol. 3 / Ed. by T. Shopen. Cambridge, 1985. P. 57–149.
- Talmy 1988 – *Talmy L.* The relation of grammar to cognition // Rudzka-Ostyn B. (ed.) Topics in cognitive linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 1988. P. 162–205.
- Tanenhaus 1989 – *Tanenhaus M. K.* Psycholinguistics: An overview // Linguistics: The Cambridge survey. Vol. 3: Language: Psychological and biological aspects. Cambridge, 1989. P. 1–37.
- Taylor 1989 – *Taylor J. R.* Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory. Oxford, 1989.
- Taylor 1994 – *Taylor J. R.* «Subjective» and «objective» readings of possessor nominals // Cognitive Linguistics. 1994. Vol. 5. № 5. P. 201–242.
- Tomasello 1995 – *Tomasello M.* Language is not an instinct // Cognitive development. 1995. Vol. 10. P. 131–156.
- Trask 1993 – *Trask R. L.* A dictionary of Grammatical terms in Linguistics. Lnd.; N. Y., 1993.
- Tsohatzidis 1990 – *Tsohatzidis S. L.* (Ed.) Meaning and prototypes. Studies in linguistic categorization. L.; N. Y., 1990.
- Walter 1981 – *Walter H.* Studien zur Nomen-Verb-Distinktion aus typologischer Sicht. München, 1981.
- Waxman 1991 – *Waxman S. R.* The development of an appreciation of specific linkages between linguistic and conceptual organization // *Lingua*. 1991.
- Wetzer 1992 – *Wetzer H.* «Nouny» and «verby» adjectivals: a typology of predicative adjectival constructions // Kefer M., van der Auwera J. (eds.) Meaning and grammar... 1992. P. 223–258.
- Wierzbicka 1985 – *Wierzbicka A.* Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, 1985.
- Wierzbicka 1988 – *Wierzbicka A.* The semantics of grammar. Amsterdam, 1988.
- Winograd 1983 – *Winograd T.* Language as a cognitive process. Cambridge (Mass.), 1983.
- Wittgenstein 1953 – *Wittgenstein L.* Philosophical investigations: Philosophische Untersuchungen. O.; N. Y., 1953.
- Yokoyama 1986 – *Yokoyama O. T.* Discourse and word order. Amsterdam, 1986.
- Zimmermann 1967 – *Zimmermann I.* Der Parallelismus verbaler und substantivischer Konstruktionen in der russischen Sprache der Gegenwart // Zeitschrift für Slavistik. 1967. Bd. 12. S. 744–755.
- Zimmermann 1987 – *Zimmermann I.* Syntactic categorization // Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists, I. Berlin, 1987. P. 865–867.
- Zingeser, Berndt 1990 – *Zingeser L. B., Berndt R. S.* Retrieval of nouns and verbs in Agrammatism and Anomia // Brain and Language. 1990. Vol. 39. P. 14–32.
- Zucchi 1993 – *Zucchi A.* The language of propositions and events. Dordrecht, 1993.

*Раздел второй*

**РОЛЬ ЯЗЫКА В ПОЗНАНИИ МИРА**



# Часть I

## ПРОЦЕССЫ КАТЕГОРИЗАЦИИ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ МИРА

---

### *Глава первая*

#### КАТЕГОРИИ И КОНЦЕПТЫ

Центральная для настоящей книги тема «Язык и знание» рассматривается в этом ее разделе как связанная непосредственно с вопросом о роли языка в разных мыслительных процессах, когда человек оперирует определенными типами знания и определенными его репрезентациями в своей голове и когда цели таких операций также демонстрируют возможности разного использования имеющихся структур знания или же их создания. Не исключая в принципе осуществления части этих процессов авербальным путем, т. е. без помощи языка, ученые полагают все же, что для современного человека более обычна иная ситуация и что традиция рассмотрения мышления как неразрывно связанного с языком объясняется именно этим.

Я бы не стала категорически утверждать, что «коллективный разум не “видит” того, что не названо словом», или же того, что «при отсутствии у человека (в его идиолекте) слова, связанного с неким фрагментом действительности, отсутствует в его сознании и сам фрагмент» (см. [Чернейко 1997: 10 и 26]). В сознании человека многие фрагменты действительности представлены образами, и многое может попасть в поле его зрения и быть увиденным (и понятым) без наличия для него специального обозначения. В памяти человека нередко всплывают целые эпизоды, с языком не связанные, да и хранятся в ней самые разные отпечатки прошлого — лица, вещи, целые сцены — и мы можем «прокрутить» по желанию различные фрагменты нашей жизни и даже сопоставлять их. Память причудливо связана с языком, однако в ней, несомненно, есть место и несловесным образам (подробнее см. ниже в этом же разделе). Но, действительно, то, что «схвачено знаком» и получило свое название, свое имя в языке, обладает для человека исключительной значимостью, а потому играет в осуществлении мыслительных процессов едва ли не основополагающую роль.

Для когнитолога вопрос о том, что значит само существование определенно-го слова в ментальном лексиконе человека, — это вопрос первостепенной важности, и без ответа на него нет и не может быть ни адекватного понимания проблем

порождения и восприятия речи, ни адекватного определения многих понятий современной лингвистики, о которых в настоящем разделе книги речь пойдет ниже. Именно объективация сознания с помощью языка оказывается условием человеческого существования и главной отличительной чертой *homo sapiens*. Тогда как невербализованные знания выступают как неявные, неосознаваемые, смутные (ср. [Полани 1985; Бардина 1997: 52–54]), появление специального обозначения для сложившейся или складывающейся в голове человека структуры знания позволяет превратить нечто диффузное и дотоле неопределенное в нечто, характеризующееся явными границами и выделенное в отдельную сущность. Отсюда и то внимание, которое уделяется в настоящей части нашего исследования и ментальному лексикону, и номинативному акту как акту создания нового обозначения или же акту семиозиса как акту формирования в языке знаков разного типа и разного объема, протяженности. Отсюда и то внимание, которое уделяется **производному слову** как структуре представления знания и его рассмотрению с когнитивной точки зрения.

Но для того, чтобы эти акты могли осуществиться, для того чтобы человек мог зафиксировать или объективировать некую структуру знания с помощью тех или иных языковых средств, в числе его когнитивных способностей уже должны существовать способности к категоризации и концептуализации мира и те материальные средства, которые сделают результаты этих процессов достоянием других людей. Акты семиозиса и номинативные акты предполагают предсуществование им определенной когнитивной инфраструктуры мозга с языковой способностью как ее главной составляющей. И как бы ни характеризовать эту способность и в каких бы парадигмах знания ни давать ей описания (см. об этом в специальных работах зарубежных и отечественных ученых), можно, по-видимому, признать, что средоточием ее в голове человека является внутренний или **ментальный лексикон**, в котором центральная роль отводится **слову** как единице хранения знания не только об обозначенной им вещи, явлении или процессе, но и знания о том, как можно и как следует рассматривать эту единицу в системе **языка**, где она связана тысячью нитей с другими единицами той же системы и где она представляет собой **концепт** и особую **категирию** и даже — особые концепты и особые категории.

Вопросы о концептуализации и категоризации мира — это ключевые проблемы когнитивной науки, а позднее и когнитивной лингвистики, часть которой — когнитивная семантика — признается обычно наукой о теории категоризации, а значит, и не вполне «укладывающейся» в традиционную область собственно лингвистики и требующей междисциплинарного к ней подхода (ср. [Geeraerts 1993: 53 и сл.]). В силу этого в нашу задачу входит определение того конкретного вклада, который вносит в исследование категоризации когнитивная лингвистика, а, значит, язык и его языковые формы. Но прежде чем сделать это, надлежит охарактеризовать более подробно и сами процессы категоризации и концептуализации

мира в их наиболее общих чертах. Во всех введениях в когнитивную науку и многих специальных работах, посвященных познанию (когниции), этим понятиям и их разъяснению уделяется значительное место, и уже это отражает то, какое им придается в этой науке значение.

В более узком смысле категоризация — это подведение вещи, явления, процесса и любой анализируемой сущности под определенную **категорию** как определенную рубрику опыта или знания и признания ее (этой сущности) членом этой категории. Поскольку о категории как особой форме познания и мышления человека, впервые подробно описанной еще Аристотелем, мы уже говорили в разделе о «Частях речи» и не хотим здесь повторять сказанного, в настоящем разделе мы останавливаемся скорее на том, что было сделано в когнитивной науке после середины 90-х гг. прошлого века, анализируя то, что относится к главным для когнитивизма вопросам: как и почему классифицирует человек фрагменты окружающего его внешнего мира и собственной внутренней мыслительной деятельности, на основании чего он выносит суждения о тождестве вещей, а значит, о их принадлежности одной и той же категории, как он сводит, наконец, бесконечное разнообразие своих ощущений, своего опыта в разных структурах деятельности, своих оценок и мнений, а также объективное разнообразие форм материи и ее движения в определенные рубрики, т. е. классифицирует все это и включает в особые объединения, называемые классами, разрядами, группировками и, наконец, категориями.

В более широком смысле слова категоризация — это не только акт причисления единицы к своему множеству, это гораздо более сложный процесс формирования и выделения самих категорий по обнаруженным в анализируемых явлениях сходных им аналогичных сущностных признаков или свойств. Механизмы таких процессов направлены на то, чтобы за внешним разнообразием атрибутов разных объектов и событий увидеть некое **сходство** или даже относительное их **тождество**. Категоризация мира — это результат когнитивной деятельности человека, итог классификации (таксономии) окружающего его мира и вычленения отдельных единиц (таксонов) в произведенной классификации, когда конечным итогом указанной деятельности оказывается формирование особой категории, позволяющей увидеть мир в главных атрибутах его бытия и функционирования.

Процессы категоризации связаны по существу со всеми когнитивными способностями человеческого мозга (психики), со всеми существующими здесь системами восприятия мира по пяти разным каналам (т. е. пятью разными органами чувств и разными рецепторами информации) и, конечно, с обработкой всех этих данных (чувственных, сенсомоторных, перцептивных) с помощью языка. Формой объективации категории в языке является ее **имя**, и вне словесного означивания категории как таковой не существует.

Иногда утверждают поэтому, что явление категоризации — это лингвистическое явление, и о ней следует говорить как о **лингвистической категоризации**

(ср. [Taylor 1989: VII]), но со сказанным можно согласиться только в том отношении, что не будь у категории отдельного обозначения (словом или аналитическим наименованием), мы не могли бы судить об объективности ее существования у коллектива говорящих на одном языке, т. е. в коллективном сознании этих говорящих.

Исследование основных категорий человеческого бытия имеет давние исторические традиции, как и исследование категориального аппарата отдельных наук или самого понятия в философии, логике, эпистемологии и т. д. Но с развитием когнитивной науки все эти исследования оказалось возможным увидеть в новом свете или изменить ракурс рассмотрения большинства связанных с ними проблем. Это было вызвано прежде всего пересмотром того, что представляет собой категория и какие именно единицы она может объединять и включать в свой состав. Недаром революцию (т. е. радикальную смену одной ведущей парадигмы знания другою) в науке стали связывать с изменением взглядов и на постановку проблем и на выдвижение новых моделей в ее решении (см. [Кун 1975]). Такое же изменение взглядов мы наблюдаем и при постановке вопроса о сути категории, о членстве в ней, о разных типах категорий и, наконец, о том, как человек приходит к созданию тех или иных категорий и какую роль во всем этом играет язык. См., например, материалы сб. [Категоризация мира... 1997].

В знаменитой книге Дж. Лакоффа о том, что открывают языковые категории в деятельности человеческого разума (см. [Lakoff 1987]), он утверждает: классический взгляд на категорию как на объединяющую единицы со сходными чертами отнюдь не лишен оснований, но это — только небольшая часть данных о сущности категорий, да и сама категоризация — процесс гораздо более сложный, чем полагали ранее. Теория, именуемая **прототипической**, делает попытку ответить на этот вопрос. «Нет ничего более существенного (basic), — пишет он в начале своей книги, — для нашего мышления, восприятия, поступков и речи. Каждый раз, когда мы видим **что-то**, например, дерево, мы категоризируем». Подобная категоризация происходит автоматически и бессознательно, а способность к категоризации заложена в самом человеческом разуме. Изменение в понимании категории влечет за собой не только более полное представление о разуме человека, но и меняет все наши представления о мире, а далее и о знании, и о значении языковых форм, и даже о грамматике (см. [Lakoff 1987: 9 и сл.]). Хотя истоки новой теории о категоризации Лакофф связывает с именами Л. фон Витгенштейна и, конечно, Э. Рош (которой вместе с ее коллегами и принадлежит мысль об ориентации естественных категорий на лучший их образец — прототип), фактически предпосылки указанной теории закладывались и другими психологами.

Уже в середине 50-х гг. специалисты в сфере (будущей) когнитивной психологии подчеркнули, что человек обладает способностью категоризовать (т. е. упорядочивать) весь мир его ощущений и опыта, стремясь в явно различающихся данных «на входе» обнаружить нечто общее и «группировать объекты и события

вокруг нас с тем, чтобы реагировать на них скорее в терминах их классной принадлежности, нежели в силу их уникальности» [Bruner, Goodnow, Austin 1956]. Образовать же категорию — значит организовать знание, группируя объекты или события, которые мы осмысляем, как в некотором смысле «родственные» или между собой соотнесенные [Reed 1996: 220 и сл.]. По мнению Брунера и его коллег, способность категоризовать мир позволяет нам взаимодействовать с ним, не будучи чересчур обремененными его сложностью и разнообразием.

Подытоживая свои выводы в книге, посвященной мышлению, Брунер и его коллеги указывают на пять важных последствий образования категорий:

- 1 — сведение сложности всей информации, приходящей извне; так, ученые обнаружили, что глаз человека способен различить до 7 млн. разных цветов, но если бы каждый раз мы реагировали на них как на уникальные оттенки цвета, мы бы могли потратить всю жизнь, пытаясь выучить названия для их обозначения. При их рациональной группировке этого не происходит;
- 2 — упрощение идентификации объектов, с которыми мы сталкиваемся, поскольку мы отождествляем их в рамках сложившихся в данном языке категорий (ср. осмысление увиденного впервые объекта как *стула* или *стола*, *кошки* или *собаки*, одушевленного или же неодушевленного и т. п.);
- 3 — ненужность выучивания многих деталей, характеризующих сами объекты или явления вследствие достаточности их отнесения к какой-либо более общей категории (если мы знаем, что данное домашнее животное — это собака, нам не обязательно знать, является ли она той-терьером, шпицем или ризеншнауцером);
- 4 — принятие решений относительно последующих действий с объектом (различая исключительно только съедобные и несъедобные грибы, мы решаем, какие из них надо выбросить);
- 5 — возможность установления отношений между объектами, подвергнутыми классификации: несмотря на пользу классификации как таковой (самой по себе), еще важнее ее дальнейшее упорядочивание в виде деления выделенной категории на субкатегории или же ее отнесения к более высокой (супер) категории.

Представив эти выводы по книге Брунера и комментариям к ней в [Reed 1996: 220], а также снабдив эти данные собственными примерами, мы невольно связали их с соответствующим языковым материалом и отразили когнитивное истолкование каждого слова как демонстрирующего особую категорию, категории как единицы определенной иерархической системы, в которой наблюдаются гиперогипонимические отношения, а также системы, в которой обычно выделим так называемый **базовый** уровень в таксономике слов, по отношению к которому на вышележащих уровнях указываются общие (абстрактные) имена категории, а на

нижележащем — самые конкретные представители одной и той же категории (ср. отношения типа *мебель — стол — операционный* или *письменный стол*).

В своей каждодневной жизни человек может довольствоваться категориями этого базового уровня, ибо они снабжают его достаточной информацией об объекте — в концептах и названиях этого уровня обычно соединяются концептуальные и функциональные характеристики объектов. Когнитологи нередко утверждают, что мы знаем лучше всего о том, что относится к нашему базовому опыту: то, что включает знания о базовых объектах и составляет, таким образом, некое базовое знание (ср., например, [Lakoff 1987: 297—301]). Думается, что это положение имеет прямой выход и в практику преподавания или же в практику овладения категориальным аппаратом определенной науки: в любом из этих случаев важно составить список базовых категорий и дать разъяснение именно этим категориям; они обычно высокочастотны, структурно просты и исключительно информативны, ибо, по мнению Э. Рош, в единицах этой категории сосредоточено максимальное количество признаков, достаточное для отождествления категории и ее противопоставления другим категориям того же уровня.

Имеет ли смысл считать, что каждое полнозначное слово представляет отдельную категорию со стоящими за ней многочисленными ее членами? Л. фон Витгенштейн демонстрирует это, как известно, на материале такого слова, как *игра*, подчеркивая, что отдельные значения этого слова проявляют нечто вроде «фамильного сходства» и что в целом дать этому слову общее определение достаточно трудно. Аналогичными свойствами обладают, по его мнению, и многие **естественные категории** — категории, объединяющие такие единицы, признаки которых, повторяясь попарно, не повторяются по своему полному набору у каждого из членов категории.

Исследованиями Л. фон Витгенштейна, Э. Рош и ее коллег, а также всеми теми, кто позднее комментировал их идеи, было доказано, что в противовес всей предшествующей традиции, связывающей появление и функционирование категории с выделением необходимых и достаточных для каждого ее члена свойств, в разных науках следует говорить и о категориях иного типа. Иначе говоря, при выделении категории люди руководствуются более простыми представлениями о единстве и целостности категории как объединяемой неким **условным** сходством ее членов. Степень подобия единиц, подводимых под одну категорию, может быть поэтому различной: от полного совпадения всего набора свойств для каждой единицы категории (в категориях аристотелевского типа) до попарного совпадения признаков в ряду единиц, причисляемых к одной категории (в категориях, проявляющих «фамильное сходство» ее членов), и, наконец, до частичного совпадения по большему набору признаков у одних единиц категории и по меньшему набору — для других. Категории последнего типа получили название **прототипических**, поскольку идею категории наиболее полно выражает ее **прототип** как «лучший представитель» своего класса. Введением категории этого типа достигая

лось признание того факта, что членами одной категории могут быть не полностью совпадающие по совокупности своих признаков единицы, а вследствие этого единицы то «лучше», то «хуже» характеризующие свою категорию (воробей лучше представляет птиц, нежели пингвин, а яблоко или апельсин — фрукты по сравнению с киви или манго).

В число насущных проблем исследования языка вместе с новым пониманием категории как функции когнитии (ср. также [Gorayska 1993: 47—48; Johnson 1993: 70—71; Taylor 1989 и Taylor 1995]) и признанием категорий разного типа вошло и изучение **языковых категорий**. Это потребовало рассмотрения вопросов о том, по какому типу организуются эти категории (по классическому или же по прототипическому), а также о том, чем именно руководствуются люди, собирая некие факты или явления и решая, являются ли они проявлением «одного и того же» или нет. В иных терминах встали и вопросы о том, допустимо ли **варьирование** у членов одной категории, чем оно определяется и от каких факторов зависимо, и, наконец, каковы **диапазоны** подобного варьирования (ср. [Hudson 1997]) и какую форму оно принимает — общей флуктуации признаков в категории, перехода от одного набора признаков к другому, трансформации признаков или еще как-то иначе. Эти и аналогичные вопросы предопределили область исследования **когнитивной семантики** и разные направления анализа в этой области, а также новые методы работы с лингвистическим материалом. Связаны они были прежде всего с определением и интерпретацией того, что можно было **извлечь** из него посредством особых процедур и приемов о механизмах мышления и воображения, о деятельности человеческого интеллекта, но — главное — именно о том, как человек членит и категоризует мир. Ведь мы узнаем о классификациях и распределении изучаемых явлений по категориям в значительной мере тогда, когда такие классификации обретают «языковую привязку». Под последним имеется в виду не только то, что а) категория имеет свое **имя**, но и то, что б) она получает в языке достаточно подробное **описание**.

Подобный расширительный взгляд на вещи привел к постановке проблемы, о которой мы частично уже сказали выше, и к ее логическому развитию: если каждое слово может рассматриваться как имя особой категории, а слово демонстрирует более одного значения, значит ли это, что отдельные значения одного слова входят в одну и ту же категорию или же что они формируют новые. Тот же вопрос оказался релевантным и для анализа полисемии и для подключения данных о разных значениях одного слова к вопросу о **строении** категорий. Ход рассуждения здесь был приблизительно таким: если слово фиксирует и отражает определенную когнитивную структуру (в когнитивной лингвистике справедливо считается, что за каждым словом стоит структура знания или оценки, явления, убеждения и т. д.), а структура знания, претерпевая с эволюцией человеческого общества и прогрессом наук некие изменения, все же подводится под тело **одного** знака, а наличие разных структур знания, стоящих за одним словом, не мешает его упот-

реблению в качестве конвенционального знака, значит ли это, что варьирование составляет неотъемлемую черту многих исторически развивающихся категорий и что **таким же** образом, как происходит увеличение числа значений у знака, развиваются и распространяются обычные (неязыковые) категории? Важно и другое: если подключение новых значений к лексической системе одного слова означает, собственно, последующее объединение этих значений в одну семантическую структуру как складывающуюся из значений с разными наборами свойств, а вхождение их не равносильно **повторению** у них **исходного** набора признаков (в первом, прямом значении слова), значит ли это, что рассматриваемая языковая категория (полисемия) строится по типу **естественной**, или эти наблюдения имеют и более далеко идущие последствия? Релевантны ли они, например, и для понимания принципов организации самих естественных категорий, и на языковом материале мы можем судить именно об этом — о строении естественных категорий *sui generis*?

Поскольку когнитологи склонны были считать правильным положительный ответ на поставленные вопросы, в когнитивной семантике получили широкое распространение когнитивные модели категорий, построенные таким образом, чтобы предусмотреть их реализацию как системы подвижной, гибкой, способной ко всяческим преобразованиям и изменениям. При этом нетрудно заметить, что для когнитологов вопрос о природе категорий тесно связан с пониманием того, как человек познает мир (т. е. он является частью теории когниции), причем в процессах познания надо признать сходство как при постижении категорий в сфере языка, так и в их формировании в других областях науки (см. [Hudson 1997: 105 и сл.]). Это, собственно, и позволяет использовать данные о категоризации знаний в языке для того, чтобы узнать о категоризации в целом (см. также [Gorayska 1993: 47]).

Определяя роль языка в процессах познания, можно, таким образом, иметь в виду не только глобальную роль языка в **описаниях** мира (эта тема чересчур сложна для отдельного исследования, и она более всего связана с языком науки), но и те стороны языка, которые открываются нам при изучении категоризации или же концептуализации, т. е. тогда, когда мы анализируем формирование категорий и концептов. В принципе необъятна и эта тема: как подчеркивает, например, Л. Телми, вся когнитивная лингвистика связана так или иначе с репрезентацией в языке концептуальных структур нашего мышления, с тем, как организует язык содержание этих структур и в какие формы оно здесь отливается (см. [Talmy 2000: 1–4]). «Исследования по когнитивной семантике, — пишет он во Введении к своему последнему двухтомному изданию, — это исследование концептуального содержания и его организации в языке, а потому — и природы этого содержания и организации в целом» [Там же, 4]. По мнению Телми, две главных подсистемы языка — лексика и грамматика — служат структуризации концептуального содержания таким образом, что лексика обеспечивает передачу самого этого содержания,

а грамматика — организацию остова или каркаса тех форм, в которые выливается это содержание. Но ведь и в той, и в другой из указанных подсистем языка языковой материал упорядочивается не только с помощью особых схем (или схематических структур), но и с помощью особых категорий, группирующихся вокруг главных концептов в самой концептуальной системе человеческого сознания. В иерархии этих концептов тоже проявляется фундаментальное отличие грамматики от лексики: концепты самого высокого уровня — самые обобщенные и абстрактные — обычно выражаются в языках мира в грамматике и с помощью грамматических категорий (они, как правильно отмечает Л. Телми, образуют **закрытые** классы форм). Несколько «ниже», но подстраиваясь к грамматическим категориям, располагаются концепты, выражаемые обычно с помощью словообразовательных средств (классы таких форм «полузакрыты», т. е. хотя и пополняются по мере необходимости новыми единицами, но с определенными формальными ограничениями на включение в класс). Наконец, индивидуальные концепты реализуются в лексике, где их объединения по любым выбранным параметрам оказываются в основном открытыми.

Отличительной особенностью реализации концептуальных систем в языке является в то же время тот факт, что одно и то же содержание может быть передано в языке **альтернативными** средствами. Более того. Как кажется, чем значимее определенный концепт для человеческого мышления, тем более сложной системой языковых средств и языковых форм он может быть выражен. Для объективации сходного содержания, для описания одного и того же объекта, для отражения одной и той же ситуации в языке существуют, как правило, разные конкурирующие формы. Настаивая на том, что все процессы, явления, события, вещи и признаки могут быть описаны по-разному и с применением разных языковых форм, когнитологи усматривают в этом субъективный характер человеческого восприятия, и в какой-то мере это вполне понятно. Но есть у указанной отличительной особенности языка и другая важная сторона: язык как бы накладывает некоторые объективные ограничения на возможности выбора. Ярким примером этого являются сами грамматические значения, **обязательные** для каждого из языков при его использовании. Несмотря на более широкие возможности в передаче оттенков значения у словообразования и лексики, каждое из средств имеет все же свои **диапазоны** выражения определенных значений.

Изучение разноструктурных единиц номинации, начатое мной в сфере словообразования и продолженное затем и в сфере грамматики (см. об этом, в частности, и в «Частях речи...»), исключительно важное и само по себе, свидетельствует неоспоримо о том, что при всей гибкости и подвижности языковых форм, а также размытости границ некоторых категорий, благодаря которым в них может быть выделено их **ядро** и их **периферия**, использование этих форм **регламентировано**. В этой функции и выступают в категории **прототипы**, причем как в смысле передаваемых единицами категории прототипических значений, так

и в смысле большей/меньшей близости изучаемой единицы прототипу категории. В системе языка каждая из номинативных единиц одного альтернативного рода обладает собственным набором признаков, и в их описаниях самым важным оказывается именно то, на выражение какого концепта или концептуальной структуры ориентируется та или иная единица и отражению какой структуры знания она служит в первую очередь (подобное освещение истории вопроса о разноструктурных единицах номинации и причинах их существования в языке (см. [Баранова 2000: особ. 21 и сл.]).

Когда в когнитивной семантике поставили своей целью выявить самые общие закономерности языковых категорий и установить факторы, предопределяющие их подвижность и возможности их развития, был выдвинут и постулат о том, что языковые категории развиваются так же, как все естественные категории, а потому они отражают закономерности развития категоризации как таковой. При этом, однако, ускользал тот важный факт, что выделенные в языке категории далеко не одинаковы, не рядоположны и как носители человеческих знаний **неравноценны**.

Будучи различными по своей природе и назначению, они, по моему глубокому убеждению, демонстрируют разные черты своей организации, — разное устройство и стратификацию. Рассматриваемые в когнитивном плане, а значит, с точки зрения тех структур знания, выражению которых они служат, языковые категории могут быть разделены на два типа. Один из них я называю **отражательно-ориентированным**, имея в виду, что категории этого типа предназначены для категоризации мира **неязыкового** (бытийного), или же **внеязыкового** (экстралингвистического). Им противопоставлены языковые категории в собственном смысле этого слова — **вербально-ориентированные**, т. е. структурирующие свойства самого языка и его системы. Первые появляются в языке в силу потребности объективировать **знания о мире** (исключая язык!), вторые — такую разновидность этих знаний как **знания о языке**. Ср., например, описанные мною выше части речи и такие их грамматические категории, как род, число, время и т. п., которые имеют в своей основе онтологические основания и концептуальные характеристики которых помогают нам понять, как сортируются фрагменты внешнего мира и окружающей нас действительности с помощью специальных языковых форм, образующих отдельные категории (предмета, признака, процесса и т. д.). Ср., с другой стороны, союзы, дискурсивные частицы, такие гносеологические единицы, как фонемы, морфемы, уровни и т. п. Они характеризуют **язык науки** — лингвистики и отражают научные представления о языке, формах его существования, функционирования и системной организации. Конечно, части речи — это одновременно и собственно языковая категория (предназначенная для описания языка), и отражательная языковая категория, но два этих разных статуса категории требуют и отдельного описания этих статусов. При членении мира статус частей речи отличен, в свою очередь, от статуса предлогов, членящих простран-

ство и имеющих другие корреляты по сравнению с полнозначными частями речи. За ними стоят разные структуры знания.

В одних языковых категориях фиксируются результаты членения материального или духовного мира, они «картируют» этот мир и обозначают отдельные выделенные в нем сущности, а также объединяют их по определенным признакам в особые множества: это познавательные таксономические единицы в классификационной деятельности человека. В других важнее то, что они специфицированы исключительно для того, чтобы описать такую часть мира и такую часть биологической, социальной, культурологической и т. п. сущности *homo sapiens*'а, какой является **язык**. Одни отражают результаты деятельности с внеязыковой действительностью, другие, напротив, с реальностью языка. Хотя такое противопоставление достаточно условно, по сути оно соответствует противопоставлению в реальном или воображаемом мире неких объектов, которым приписывается статус существования и вне нашего сознания (скалы, моря, воздух и вода существуют объективно и независимо от того, получили ли они или подобные им сущности свое обозначение), в отличие от тех, которые сформированы нашим сознанием. Но именно условность такого противопоставления заставляет нас признать **двойственность** языковых категорий: какой бы характер по своему содержанию и осмыслению воспринятого в мире они ни носили, любые члены таких категорий служат описанию мира во всем его разнообразии. В известном смысле любые языковые категории — узловые звенья в соотношении лингвистического и нелингвистического, экстралингвистического, а потому они могут и должны изучаться в первую очередь в этом качестве. Вместе с тем когнитивные основания в общей категоризации и концептуализации мира естественнее изучать на материале отражательно-ориентированных категорий, оставив противопоставленные им категории на рассмотрение лингвистам. Это, разумеется, не исключает того, что в когнитивной лингвистике и когнитивной семантике сопоставляться между собой могут любые языковые и когнитивные структуры и что обоснование любой научной категории лежит в сфере познания. Быть может, в силу указанных обстоятельств когнитологов интересуют в первую очередь категории **обыденного** сознания, а языковые категории отражательного плана принадлежат именно к их числу.

В указанном мною противопоставлении можно наметить и еще один параметр в явлении категоризации — статический и динамический (см. подробнее [Болдырев 1994: 60 и сл.]).

Итак, понятие языковой категории двусмысленно: это и категория, имеющая языковое обозначение, и категория, отражающая знания в самом языке. «Весь смысл языка, — правильно утверждает Томазелло, — его семантических координат — передать друг другу что-либо из опыта, притом нелингвистического» [Tomasello 1995: 152]. Знания о мире и о языке различаются: у первых есть какое-либо обоснование в самой реальности мира, они могут быть истинными или лож-

ными, но есть ли такой же мир за понятиями типа «компетенция говорящего» или «интериоризованный язык»? (см. [Carston 1988: 40 и сл.]). Познание мира через языковые категории, тексты — это не непосредственное познание референтов и референтных ситуаций, а познание представлений о них и способов знакового замещения таких представлений у других людей (см. [Знание языка... 1991: 128]).

Отмеченные различия между категориями можно объяснить и в иных терминах, подчеркнув, что в их основу ложатся разные **идеи** или же разные **концепты**, а в связи с этим перейти и к рассмотрению того, что же представляет собой **концептуализация** мира и о какой системе концептов говорят как о концептуальной системе человеческого сознания, а также о том, какова природа единиц этой системы. О концептуальном анализе и определении самого концепта уже написано очень много (из последних работ по этому поводу см., например, [Демьянков 2001; Кубрякова 2002]), и ниже я приведу некоторые мнения по этому поводу. Но чтобы избежать недоразумений, я с самого начала дам рабочее определение концепта — хотя бы с тем чтобы было ясно, о чем я говорю. Действительно, концепт — это некий отдельный смысл, некая идея, имеющаяся у нас в сознании, но, по всей видимости, главное, что такая идея существует как **оперативная единица** в мыслительных процессах, причем единица, выступающая как **гештальт** — как вполне самостоятельная и четко выделяемая **отдельная** от других сущность. Если в моем родном языке есть обозначения типа *лампа* или *красный* или *горит*, при осуществлении мышления мне незачем «собирать» эти единицы из каких-то компонентов или признаков; силой обозначения соответствующие им концепты существуют, во-первых, в, так сказать, готовом виде, а во-вторых, не подвергаясь никакому членению или разложению, участвуют в процессах обдумывания или подготовки к внешней речи в виде гештальтов, целостных содержательных единиц, соотношенных со знанием о мире и референционально выводящих в этот мир.

Как и всякие гештальты, они при необходимости (при рефлексии над ними) демонстрируют их членимость, признаки, их устройство и т. п. и, таким образом, могут быть мгновенно заменены теми концептуальными структурами, которые они некогда интегрировали в единый концепт, единое понятие или представление, **репрезентацию** в ментальном лексиконе. Но такие ситуации возникают при научном анализе концепта, для обыденного же сознания это не типично — в этих случаях типично как раз то, что язык дает возможность **взамен** сложной структуры знания использовать довольно простую, гештальтную, которая, повторяю, имеет языковую привязку к телу такого знака, как слово (или эквивалентное ему сочетание слов).

«Мысли, восприятия, эмоции, процессы познания, моторная деятельность и язык, — пишет Дж. Лакофф, — организованы с помощью одних и тех же структур, которые я называю **гештальтами**» и указывает далее: «гештальты являются одновременно целостными и анализируемыми. Они состоят из частей, но не сводимы

к совокупности этих частей», а также «гештальты — это структуры, **используемые в процессах** — языковых, мыслительных, перцептуальных, моторных и других» [Лакофф 1981: 359–360]. Перечисленные Лакоффом когнитивные способности и соответствующие им процессы относятся к тому, что обычно считают входящим в когнитивную инфраструктуру мозга. Им подчеркивается, что вся она организована за счет одних и тех же образований — гештальтов и что такие гештальты целостны и холистичны (последнее означает, что их свойства невыводимы из свойств этих частей, да и разложение гештальта на эти свойства происходят «в зависимости от принятой точки зрения», т. е. они «разложимы более чем одним способом»), и что они используются в ментальной деятельности (процессах) разного типа и т. п. Полагаю, что всеми этими разъяснениями и указывается на суть **концептов** и на их статус в общей **концептуальной системе** человеческого сознания. Ясно тогда, в чем состоит диалектическое противоречие, отраженное в этом понятии.

В ситуациях, когда нам надо охарактеризовать единицы мыслительных процессов и то, чем оперирует человек в этих процессах, мы говорим о концептах (т. е. об операциях с отдельными смыслами), но как только нам надлежит охарактеризовать, **для чего** человек ими оперирует, ответ может быть иным — для объективации мысли, ее вербализации во внешней речи, лучше говорить о **концептуальных структурах**. Отсюда представление о концептах как о квантах структурированного знания, о возможности извлечь из концепта разные признаки, выделить его разные слои, да и описывать его именно как **структуру** (ср. [Попова, Стернин 2000: 17]). Отсюда также важные соображения о том, что по содержанию можно выделить разные типы концептов: представления, схемы, понятия, фреймы, скрипты, сценарии (см. [Бабушкин 1996]); ясно, что последние являют собой часто достаточно сложные «составные» структуры, по отношению к которым термин «концепт» выступает как родовое обозначение (см. также ниже). В основу складывающихся репрезентаций знания (или структур знания) кладутся именно объединения концептов. Примером такого объединения могут служить, например, **пропозиции**. Акту номинации обычно предшествует именно это, т. е. формирование пропозиции из существующих готовых концептов, но как только в результате этого акта рождается новое слово, слово становится представителем нового отдельного концепта и человек получает возможность оперировать им как новой интегрированной целостностью. Некоторые подробности таких актов мы и описываем ниже, точно так же, как предлагаем ниже и несколько этюдов, посвященных концептуальному анализу слов, когда совершаем операцию, как бы обратную сборке нового концепта из группы концептов. Этапы такого процесса можно представить следующим образом:

- 1 — выбор концептов из концептуальной системы для их дальнейшей интеграции в единый гештальт;

- 2 — интеграция в объединение, подлежащее означиванию;
- 3 — акт номинации, завершающийся «ословливанием» концептуальной структуры в виде нового сформированного концепта со своим собственным именем и вполне определенной структурой знания, зафиксированной за этим новым обозначением;
- 4 — включение нового обозначения в ментальный лексикон носителя языка, параллельный возможности использовать это обозначение в живой речи.

Естественно, что как только возникает необходимость разъяснить суть нового обозначения, аналитику приходится повторить указанные этапы в обратном порядке, т. е. пройти путь от обозначения к структуре знания, за ним стоящей, соотнести элементы этой структуры со способами их выражения, а во всех этих действиях **разложить** концепт на его составляющие («в зависимости от принятой точки зрения», а значит, провести анализ либо на словообразовательном уровне, либо в семиотическом отношении, либо, наконец, ставя своей целью концептуальный анализ). Сказанное означает, что по воле аналитика сами составляющие могут быть описаны **в разных терминах** и, конечно, для решения разных задач.

Чтобы сделать ход моих рассуждений более понятным, приведу конкретный пример. Замечательный словарь русской культуры Ю. С. Степанова направлен на то, чтобы проанализировать главные для нее концепты. «Предмет этого Словаря, — пишет автор, — понятия, или **концепты**, русской культуры, такие как “Вечность”, “Закон”, “Беззаконие”, “Страх”, “Любовь”, “Вера” и т. п.» [Степанов 1997: 7]. Далее он отмечает, что «эти слова и выражаемые ими концепты этимологически возникают из общеславянских и индоевропейских слов» (с. 9) и что «концепт — это как бы ступок культуры в сознании человека» (с. 40). Таким образом, приравнивание концепта слову и гешталту («ступку») здесь совершается вполне очевидным образом. В то же время, как только начинается **анализ** концептов, ситуация коренным образом меняется. «У концепта, — пишет Ю. С. Степанов, — **сложная структура**» ([Там же, с. 41], выделено мною. — *Е. К.*), а чтобы охарактеризовать ее, далее и описываются разные **слои** концепта, отдельные его **признаки**, вскрывающиеся по мере рассмотрения и восстановления истории концепта.

Не могу не отметить теперь тех различий, которые маркируют позицию культуролога, с одной стороны, и позицию когнитолога, с другой. Культуролог подчеркивает, что концептов русской культуры **немного** («... количество их невелико, четыре — пять десятков», по словам Ю. С. Степанова, см. указ. соч., 7). Для когнитолога же возможна иная точка зрения — для него все или почти все слова — знаки существования концепта, т. е. того смысла, вокруг которого организуются категории. «... В любом языке, — пишут авторы книги о концептах и категориях, — значительная часть слов может рассматриваться как состоящая из ярлыков категорий...» [Mechelen, Michalski 1993: 1]. В той же книге авторы другой ее части

указывают: «Мы будем считать слово **концепт** реферирующим к идее или к понятию, с помощью которых разум (intelligence) способен интерпретировать какой-либо аспект действительности...» и, переходя к иллюстрации этого положения конкретным примером, начинают рассматривать **концепт** английского слова chair «стул» и, заключая данный абзац текста, завершают его словами «**Категория** стульев, таким образом, относится к совокупности единиц в мире, которые могут быть по праву (successfully) категоризованы как стулья в том отношении, что эта категория (of chairs) может быть использована для того, чтобы понять ее» [Hampton, Dubois 1993: 13]. Иначе говоря, концепт стула помогает понять категорию и те единицы, которые входят в нее под тем же названием и описывая один и тот же «аспект действительности», и реферируя к нему.

В итоге мы можем утверждать, что процессы концептуализации и категоризации мира тесно переплетены и постоянно взаимодействуют. Они разграничиваются только постольку, поскольку целью процесса концептуализации является осмысление всех ощущений, всей информации, приходящей к человеку в результате работы органов чувств и оценки этой деятельности, в терминах концептов. Ментальный лексикон человека — это концептуальная система, состоящая из разного рода концептов и концептуальных структур, причем термин «концепт» может выступать в качестве **родового** для объединения концептов разного типа (напоминаем, что Лакофф говорил о разновидностях гештальтов, которые могут быть, по его мнению, языковыми, мыслительными, перцептуальными, моторными или даже **смешанными**, например, сенсорно-моторными (см. [Лакофф 1981: 360])). Как про ментальные репрезентации, так и про концепты нередко говорят, что они представляют собой «разные форматы» мысли. Процесс концептуализации направлен в общем на выделение неких **предельных** для определенного уровня рассмотрения единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении, и этим он отличен от процесса категоризации, который направлен скорее на объединение единиц, проявляющих сходство в том или ином отношении, но обязательно — при сличении этих единиц с концептом, принятым за основание самой категории. Очевидно поэтому, что к какому бы типу ни принадлежала изучаемая категория (классическому, аристотелевскому или прототипическому, естественному и т. д.), основана она на общей идее, общем концепте, так или иначе объединяющем отдельные члены одной категории.

Разнообразна и многоаспектна роль языка в познании мира и в различного рода ментальных процессах человеческого мышления. Освещение ее уже вызвало к жизни огромный поток специальной литературы, а исследование ее — множество научно-исследовательских программ. Какие-то области знания уже подверглись при этом достаточно подробному рассмотрению. Так случилось, например, с изучением членения пространства и его концептуализацией. Привлекла к себе внимание и категоризация движения. Менее изученными оказались, напротив, сферы выражения эмоций или категоризация признаков слов, и работы

в этих областях еще только начинаются. Но категоризация — это только одна из структур, налагаемая на приходящую к человеку и обрабатываемую им информацию. В то же время абсолютно все когнитивные процессы зависимы от категоризации, зафиксированной в языке и имеющей, благодаря знаковому характеру ее «воплощения», значение опыта, разделяемого коллективным сознанием. Мы не можем понять природы других когнитивных процессов — обучения, памяти, восприятия и т. п. — без понимания того, что представляет собой категоризация и какое место занимает она среди других процессов языка.

Среди проблем, возникающих в связи с категоризацией, можно было бы рассмотреть и некоторые другие — например, касающиеся «представительности» категории и ее объема, степени ее варьирования, наличия в ней одного или же нескольких прототипов («фокусов») и т. п. На части этих проблем мы и остановимся ниже, продолжая рассмотрение того, какую роль играет язык и другие его единицы в познавательных процессах. Завершая же эту главу, хотелось бы отметить, что решение поставленных здесь проблем имеет прямое отношение к проблеме моделирования естественного интеллекта как связанной с разработкой «принципов извлечения знаний о человеке и языке из самого естественного языка» [Рябцева 2002: 228], а следовательно, и из данных о языковой категоризации мира.

## *Глава вторая*

### ТЕОРИЯ НОМИНАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ КАТЕГОРИЗАЦИИ МИРА

Точки соприкосновения между теорией номинации и когнитивной лингвистикой вполне очевидны: если в первой ставится вопрос о том, как все сущее в мире получает свое обозначение, то во второй идет речь о соотношении языковых форм с их когнитивными аналогами, следовательно, созданные или создаваемые обозначения должны быть сопоставлены с теми структурами знания, объективации которой они служат. Различны, однако, и типы наименований, моделируемые в том или ином языке, различны и структуры опыта, подводимые под эти типы наименований. Для когнитивной лингвистики и когнитивной ономастиологии оказываются поэтому существенными вопросы о том, какие именно единицы становятся носителями тех или иных значений и как осуществляется подобная номинативная деятельность. Если учесть к тому же, что в когнитивной лингвистике вполне возможен взгляд на каждую конвенциональную единицу номинации как на фиксирующую определенную категорию познанного (выше мы подробно говорили об этом, см. с. 307 и сл.), то связь теории номинации с проблемами категоризации знания выявляется с еще большей определенностью: во всяком случае, в каком отношении следует анализировать единицы номинации с когнитивной точки зрения, в общем представляется достаточно ясным. Однако определить **направление** исследования еще не значит осуществить его, и в настоящем разделе книги мы попытаемся решить хотя бы часть поставленных проблем.

Многие исследования в отечественной лингвистике уже подготовили почву для такого анализа, при котором основное внимание будет уделено освещению разных единиц номинации в когнитивном ракурсе, т. е. по их роли в познавательных процессах, когда и само моделирование разноструктурных единиц номинации в языке и его результаты будут рассматриваться не столько с технической стороны их осуществления или же по особенностям семантики этих единиц, сколько по их участию в процессах категоризации мира — по членению действительности, по ее осмыслению, по ее дискретизации, по отражению опыта взаимодей-

ствия с нею и ее преобразования, а значит, во всех тех процессах получения и обработки знания, которое определяет смысл жизнедеятельности людей. Поскольку ономасиологическое направление исследований составляло важную часть отечественной лингвистики конца 70-х и 80-х гг. прошлого века, нельзя не отметить, что как работы по теории номинации у нас в стране, так и выполненные здесь ономасиологические работы более конкретного характера сделали возможным пересмотр достигнутого в новом когнитивном аспекте, а значит, создание первых версий когнитивной лексикологии и когнитивной ономасиологии (см. например, [Жаботинская 1992; Позднякова 1999; Селиванова 2000]). Думается, однако, что речь должна идти в первую очередь как о реинтерпретации полученных данных, так и о новой когнитивной трактовке целого ряда единиц и процессов номинации, что, собственно, являлось и является задачей публикуемых в данной книге исследований. Отмечая необходимость реинтерпретации имеющихся данных, я имею в виду, что само обсуждение вопроса об известном параллелизме в наблюдениях над категоризацией мира у представителей традиционного языкознания, с одной стороны, у представителей ономасиологического — с другой, и, наконец, у сторонников когнитивизма — с третьей, отнюдь не лишено интереса. Это позволяет продемонстрировать как некоторое сходство идей в области выделения принципиальных установок относительно правил категоризации в той или иной науке, так и, напротив, показать кардинальные перемены в постановке проблем концептуализации мира, пришедшие с возникновением когнитивной парадигмы знания. И то и другое помогает понять, в каком отношении нуждаются в реинтерпретации те понятия и методики, которыми оперировали ранее внутри ономасиологического направления. Ср., например, [Петрухина 2000].

Так, например, понятие ономасиологической структуры слова со всеми ее компонентами имеет смысл соотнести с представлениями об определенной когнитивной структуре знания языка — пропозициональной, связи внутри которой могут трактоваться как аналог связей в ономасиологической структуре производного слова. Ведь уже давно мы писали о том, что словообразовательное значение выступает как «называющее тип связи между двумя категориальными значениями, как аналог отношений между предметами, процессами и признаками и соответствующими им понятиями» [Кубрякова 1978: 57].

Если учесть, что структура знания — это прежде всего объединение концептов, то ясно, что содержание производного слова напрямую связано с тем, какие именно концепты, сложившись в единую структуру, послужили формированию будущего производного слова и были объективированы этим знаком. Таким образом, реинтерпретация понятия ономасиологической структуры производного слова ведет к новым представлениям о том, как возникает его значение и какие для этого нужны когнитивные операции (подробнее см. ниже).

Помимо этого хотелось бы отметить и то, как много было сделано уже в рамках самого ономасиологического направления чешскими, словацкими, польскими и

немецкими лингвистами, а также у нас в стране. Помимо работ, указанных выше, см. прежде всего [Языковая номинация, т. I–II... 1977], а также [Никитевич 1985; Гак 1998]. В рамках этого направления вся номинативная деятельность изучалась как особая речемыслительная деятельность, а следовательно, как протекающая в союзе речи (языка) и мысли, мышления. Не случайно поэтому, что представители этого направления внесли свой существенный вклад не только в понимание принципов номинации и ее роли для протекания речепорождающего процесса, не только в освещение многих важных деталей самой номинации и ее типов. Освещая гносеологические основания номинативной деятельности, ее связь с предметно-познавательными процессами, характеризуя семиотические аспекты номинации и т. п., представители ономазиологического направления предвосхитили многие идеи будущей когнитивной науки и во многом работали и сами в когнитивном ключе, хотя, возможно, и не используя еще складывающуюся за рубежом специальную терминологию.

«...В аспекте содержания, — писал В. Г. Гак — мы трактуем понятие номинации в широком плане, как обозначение всего отражаемого и познаваемого **человеческим сознанием**, всего сущего или мыслимого: предметов, лиц, действий, качеств, отношений и событий» ([Гак 1977: 234], выделено мною. — *Е. К.*).

«В сфере номинации, — указывал Ю. С. Степанов, — как, может быть, нигде ярко проявляется общее философское положение; субъективная диалектика познания отвечает объективной диалектике познаваемого предмета» [Степанов 1977: 204].

Обращаясь к области вторичных номинаций и констатируя необходимость выявления речемыслительных ее закономерностей, В. Н. Телия писала о том, что возможность опосредованного отражения действительности «кроется в способности словесных знаков хранить и передавать понятийное содержание, исторически закрепляющееся за данным словом в виде его лексического значения, удовлетворяя отражательно-классификационным и мыслительно-коммуникативным процессам во всех сферах человеческой деятельности» [Телия 1977: 83–84].

Существуют, на мой взгляд, все основания считать, что теория номинации, — в том виде, в каком она складывалась в указанный мной период, — являла собой одну из ранних и весьма плодотворных версий когнитивизма (см. также [Жаботинская 1992: 56]), возможности которой еще не были до конца исчерпанными. Более того. Представляется, что в ономазиологическом направлении у нас в стране были заложены и некоторые признаки формирования той новой парадигмы знания, о которой мы говорили выше в «Частях речи...» (см. с. 216 и сл.) как о **когнитивно-дискурсивной** и к освещению контуров которой мы возвращались в других работах (см., например, [Кубрякова 1994; Кубрякова, Александрова 1999], см. также ниже с. 519 и сл.).

Хотя названная парадигма знания еще не может считаться окончательно сложившейся, контуры ее, вначале менее четкие (см. [Степанов 1991; Кубрякова

1994; Nuyts 1992], сегодня вырисовываются достаточно определенно, и немало исследователей считают себя работающими в этой парадигме (см., например, [Жаботинская 2000: 15]), а также другие материалы сборника «Когнитивные аспекты языковой категоризации», особенно с. 4 и 151 и сл.

Если для первого этапа когнитивной науки в число ее установок входило исследование ментальных репрезентаций в голове человека, и именно эти внутренние представления рассматривались как главная часть когнитивной инфраструктуры мозга, в новой парадигме задачи исследования человеческого разума отнюдь не ограничиваются решением указанных проблем. Homo sapiens уникален, потому что владеет языком, но владение языком предполагает **использование** его в самых различных целях, в коммуникации и дискурсе прежде всего.

Характерной чертой этого направления мне представляется отказ от узкого когнитивизма, с одной стороны, а также преодоление известной ограниченности подхода в коммуникативной парадигме знания, где ведущая роль принадлежала теории речевых актов и, соответственно, анализу прагматических установок говорящих и прагматических условий совершения определенных речевых актов.

Но критика в адрес той и другой парадигмы (как в зарубежной печати, так и у нас в стране) способствовала совершенствованию указанных направлений и их собственной эволюции, т. е. известному если и не сближению взглядов, то хотя бы признанию необходимости подойти к когнитивным явлениям, учитывая их роль в коммуникативных процессах (см., например, изучение разных типов знания в дискурсах разного типа), или же, напротив, признанию необходимости при изучении коммуникативной (дискурсивной) деятельности принять во внимание когнитивные намерения и когнитивные стратегии говорящих и т. д.

Подобная эволюция была особенно заметной в развитии когнитивной парадигмы знания и в переходе от первого этапа этого развития — ко второму, маркированному работами второго поколения когнитологов и новыми идеями ученых этого второго поколения.

Эволюция взглядов в отечественной лингвистике принимала иные формы: здесь господствовали иные традиции и иные взгляды на сущность языка. При сравнении установок в исследовании языка, характерных для примерно одного и того же времени, наблюдаются поэтому существенные различия.

Многие из нас, например, никогда не считали, что все программы когнитивной науки должны быть связаны напрямую с компьютером или что они должны быть реализованы в виде программ для вычислительных машин. Но, пожалуй, главное, что в описании номинативной деятельности мы не считали допустимым абстрагироваться от всех внешних, экстралингвистических факторов, т. е. прежде всего от социально-исторической и прагматической составляющей в когнитивных процессах. Среди же психических факторов мы старались учитывать не только данные непосредственного человеческого восприятия и обработки senso-

моторной информации, приходящей по разным каналам, но и факторы их эмоциональной оценки. В то же время в отличие от собственно коммуникативного подхода, где основные акценты ставились на анализ речевых актов и вообще употребление языка с прагматическими условиями подобного употребления, мы полагали, что все языковые явления должны изучаться не только в структурно-семантическом плане или же — тем более — в чисто формальном отношении, но и по их роли в создании текста и дискурса. Ведь акты коммуникации как акты интерперсонального взаимодействия и осуществления дискурсивной деятельности в современном ее понимании (см. в специальном разделе ниже) составляют лишь часть фактической деятельности по порождению речи (ср. внутренние и внешне оформленные монологи, а также формирование текстов в отсутствие реального адресата и т. д.).

Подобные соображения базируются на убеждении в том, что язык выполняет две главные функции — когнитивно-репрезентативную и коммуникативную (дискурсивную), что когниция и коммуникация в равной мере детерминируют специфику языка и его устройства, и что, наконец, самое главное: функции языка следует рассматривать не как изолированные друг от друга, но, напротив, как осуществляемые при их непереносимом и непрерывном **согласовании** и взаимозависимости. Соответственно, в установки когнитивно-дискурсивной парадигмы обязательно входит положение о том, что адекватное познание языка и языковых явлений происходит при анализе их в двух системах координат, т. е. исключительно на пересечении когниции и коммуникации.

Два указанных феномена могут быть противопоставлены лишь по их общей ориентации: когниция представляет собой процессы познания мира, притом как научного, так и обыденного (ср. [Лазарев 1999]), а дискурс и коммуникация — процессы передачи результатов этого познавательного процесса или же размышлений о его сути и участвующих в нем факторах другим людям. Но как вытекает из сказанного, оба процесса имеют дело со знаниями, мнениями, оценками людей, с обобщением их опыта, с верованиями и убеждениями и т. п., а также, конечно, с объективацией всей этой информации и ее определением в языке. Описание мира — это одновременные свидетельства стоящей за ним когнитивной деятельности (постижение какого-либо фрагмента действительности), но также и деятельности дискурсивной, в ходе которой был рожден сам текст описания, зафиксированный в завершенной его форме. Нас как лингвистов интересует именно то, как формирование мнений и знаний, гипотез и предположений, эмоций и оценок рождает потребность объективизировать их в определенных языковых формах. О таких формах, наделенных значением, мы и говорим как об «упаковках» знания и структур знания, т. е. постоянно помня о том, что языковые знаки — это материальные сущности, предназначенные для выражения особого содержания и его закрепления в конвенциональных формах, столь необходимых для нормального общения между людьми.

Суказанной точки зрения анализировать когнитивные аспекты разных единиц номинации и значит выявлять, какие типы информации они объективизируют и как в них упаковывается связанное с данным типом информации содержание с тем, чтобы далее служить, с одной стороны, фиксации и закреплению познанный, а, с другой — целям передачи этого содержания в актах коммуникации или при осуществлении какой-либо дискурсивной деятельности более специализированного характера.

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что при исследовании феномена языковой категоризации мира акцент делался на установление **когнитивных** оснований языковых категорий. Так, знаменитые работы Дж. Лакоффа и выделение в одной из них четырех типов идеализированных когнитивных моделей, как лежащих в основе языковых категорий (пропозициональных, образно-схематических, метафорических и метонимических), ясно свидетельствуют о том, что языковые категории формируются как очень сложные ментальные когнитивные структуры (см. [Лакофф 1998: 31–32; Lakoff, Johnson 1999: 88 и сл.]), а также обсуждение этих взглядов в [Беляевская 2000].

В общем виде эти установки, безусловно, правильны. Думается, однако, что при формировании каждой крупной языковой категории (включая категории выделяемых в системе языка **единиц**) до сих пор недостаточно учитывались **дискурсивные** факторы, а потому исследования, начатые американскими типологами, особенно П. Хоппером и С. Томпсон, о дискурсивных основаниях целого ряда языковых категорий кажутся мне особенно существенными. Но понимать эту зависимость надо, по всей вероятности, в **двух** планах — историческом или диахроническом, когда утверждается влияние дискурсивных требований при формировании и эволюции определенной языковой категории, или же синхронном, когда рассматривается **воздействие** имеющихся категорий на построение дискурса или же когда в дискурсе происходит **функциональная категоризация** объектов и событий на основе имеющихся категорий вплоть до известной **перекатегоризации** этих объектов и событий под влиянием прагматических условий речи (см. например, [Болдырев 1994]).

Проще говоря, если б с узко когнитивной точки зрения мы были бы должны поставить вопрос о том, какие пакеты информации объединяются в определенные типы ментальных репрезентаций, а далее, какие из них проявляют тенденцию к тому, чтобы быть вербализованными той или иной языковой формой, с когнитивно-дискурсивной точки зрения вопрос формулируется более широко: к вопросу о структурах знания и их реализации добавляется вопрос о том, что делается для того, чтобы объективируемая в языке форма удовлетворяла требованиям дискурса и оказалась удобным средством коммуникации. Подобная постановка вопроса имеет далеко идущие последствия для всей методики лингвистического анализа, и мы отчасти старались продемонстрировать это при описании частей речи. Но в настоящее время важно сделать в этом отношении еще более решитель-

тельный шаг, углубляя представления как о **семиотической** стороне означивания мира, так и о разнообразных когнитивных и дискурсивных факторах, играющих в номинативных актах и в номинативной деятельности в целом определяющую роль. Поиски и нахождение оптимальных языковых форм для выражения необходимого содержания — эта постоянно возникающая при порождении речи задача — не может быть разрешена без вступления в действие правил осуществления номинативной деятельности. Но если ранее нас интересовало в решении этой задачи говорящим человеком само место номинативного компонента в рождающейся речи и его соотношение с другими компонентами (прежде всего — синтаксисом, см. [Кубрякова 1986]), сегодня проблема изучается как бы в более сложной системе координат, ибо поиски надлежащих единиц номинации (или их создание) рассматриваются в тесной их связи с тем коммуникативным процессом, неотъемлемой частью которого они являются. Это — новая задача в понимании номинативной деятельности как поставленной на службу дискурсу и коммуникации. Отсюда и такая новая для когнитивной лингвистики проблема как «конструирование мира» (the construal of the world), которая за рубежом ставится скорее как проблема выбора перспективы и фокусировки внимания в реальном описании объекта или ситуации, но которую мы предлагаем решать также как проблему **номинативную**, проблему выбора определенных средств номинации из существующих альтернативных рядов обозначения происходящего в речи в зависимости от интенций говорящего и для достижения конкретных целей, ставящихся во время коммуникативного процесса между людьми и направляемого на успешное завершение этого процесса.

Вопрос о дискурсивной составляющей для каждой единицы номинации возникает как бы **дважды**: один раз, когда он ставится относительно единицы как представителя своей категории в целом (например, каковы особенности номинации глаголом или же какой номинативной спецификой обладают производные слова и т. д.), но второй раз, когда он ставится относительно выбранной в реальной речи единицы и вопрос о ней звучит как вопрос о том, почему из имеющегося арсенала средств выбрана именно эта.

Ранее мы подчеркивали, что цели номинативной деятельности — наречение фрагментов мира, и это, конечно, правильно. Но сегодня эти цели надо трактовать и более широко: само наречение преследует в конечном счете **описание** мира, а не только обозначение всего сущего. Соответственно в исследовании номинативной деятельности возникает задача охарактеризовать любую единицу номинации как удовлетворяющую требованиям и когниции, и коммуникации, а следовательно, показать, как именно и в чем проявляются конкретно подобные требования. Но какие требования можно считать когнитивными, а какие — дискурсивными?

В самом общем виде можно сказать, что когнитивные требования к языковым единицам заключаются прежде всего в том, чтобы они служили передаче некото-

рых результатов познания и осмысления мира, т. е., с одной стороны, способствовали выделению тех его фрагментов, которые по каким-либо причинам оказались вовлеченными в любую из типов деятельности человека и потому релевантными для структуризации такой деятельности. Такое требование можно связать с принципом **релевантности** обозначаемого. С другой стороны, поскольку каждый отдельный акт наречения мира представляет собой акт **категоризации** — осмысления обозначаемого как принадлежащего какой-либо из известных рубрик членения мира, — когнитивное требование «правильной» классификации обозначаемого удовлетворяется путем подведения его под определенную **часть речи**. Единица номинации не может быть грамматически не оформленной, и ядро ее значения закладывается идентификацией ее в виде слова или эквивалентных ему единиц с конкретной частеречной характеристикой.

«...Явление, которое должно быть названо, — писал еще М. Докулил, — всегда включается сначала в определенный понятийный класс, обладающий в данном языке своим категориальным выражением, а затем в рамках этого класса оно определяется некоторым признаком» [Dokulil 1962: 196]. Но вопрос о главных категориях, под рубрику которых подводится человеческий опыт, был поставлен как в теоретической грамматике, так и в теоретической ономазиологии, под эгидой которой указанный вопрос рассматривался в основном как проблема словообразования. Между тем положение М. Докулила может быть распространено на любой акт номинации, и всегда создаваемая (или выбираемая из внутреннего лексикона) единица включается в конкретный класс, «обладающий своим категориальным выражением», а это значит, что способностью категоризировать и идентифицировать обозначаемое обладают как имеющиеся в языке грамматические категории, так и уже сформированные ранее словообразовательные категории. Иными словами можно было бы сказать, что в каждом языке существует свой **набор назывных** (ономазиологических) категорий и что при выборе единиц номинации в дискурсивной деятельности или же при их создании (конструировании) эта когнитивная операция оборачивается прежде всего подключением единицы к определенной ономазиологической категории. С концептуальной точки зрения, т. е. по содержанию, категории могут варьироваться от самых «высоких» и абстрактных (соответствующих концептам, лежащим в основе грамматических категорий) до более конкретных (соответствующих концептам, лежащим в основе словообразовательных категорий). Семантическая же разрядность единицы номинации определяется прежде всего либо тем, либо другим, но она является следствием включения единицы в один из имеющихся в языке формальных классов: ее дальнейшая возможная конкретизация есть акт **субкатегоризации** единицы в пределах формального класса.

Поскольку разные типы организации содержания в дискурсивной деятельности уже были описаны (см., например, [Чейф 1983: 38–52]), остановлюсь здесь только на том из них, который связан непосредственно с категоризацией, т. е.

поиском надлежащих средств номинации для передачи идей о предметах и событиях посредством их интерпретации как проявления какой-либо категории. Ясное представление об этом этапе дают слова Н. Н. Болдырева, подчеркивающего, что этап категоризации сводится к установлению (выбору) необходимого категориального значения, которое определяет далее последующие этапы порождения речи — «упаковку» и «синтаксизацию», и, что главное, и сама грамматическая категоризация содержит в себе возможность динамического, процессуального осмысления объекта или события [Болдырев 1994: 60 и 62].

Согласно Чейфу, «... когда люди говорят, они постоянно выбирают наилучшие способы выражения того, о чем они думают», и справедливость сказанного становится особенно очевидной, по его мнению, при обсуждении проблем категоризации [Чейф 1983: 40]. Весьма показательно, что эта проблема рассматривается им применительно к такой ситуации, «когда говорящий имеет в виду конкретный предмет или событие, которое не имеет собственного названия», и когда, чтобы передать подобного рода идею, говорящий должен ее категоризировать, т. е. принять решение, «в соответствии с которым данный предмет или событие будут интерпретироваться как отдельное проявление какой-либо категории», обычно передаваемой определенным словом [Чейф 1983: 49–50]. Такие процессы являются творческими, и вообще «необходимо осознать, что большая часть нашего знания находится в еще не выкристаллизовавшемся состоянии» [Там же: 72] и, значит, только дискурс и его результаты могут продемонстрировать, как происходит подобная кристаллизация и какие именно формы она принимает при выборе той или иной единицы номинации. Строго говоря, надо говорить не об актуализации в описаниях мира достигнутых человеком знаний, но о их **осознании, формировании и кристаллизации** в частях речи как актах вербализации и материализации мысли.

Ссылаясь на мысли У. Чейфа о категоризации как **интерпретации** конкретного объекта или события в качестве отдельного проявления какой-либо категории, Болдырев указывает на то, что в этом процессе происходит соотнесение таких конкретных объектов и событий с конкретным словом (лучше говорить в этой ситуации о соотнесении с конкретной единицей номинации) и что именно такое соотнесение «предполагает выбор определенного категориального значения (действие, состояние, результат и т. д.) и актуализацию этого значения в слове, что и определяет окончательный выбор конкретной лексемы — *ходит* или *ход*, *поход*, *приход* или *ходил*, *пойдет* и т. д.» [Болдырев 1994: 64]. Процессы категоризации, носящие динамический характер, при всей их подвластности воле говорящего, не могут тем не менее быть полностью субъективными, и язык накладывает здесь вполне очевидные ограничения.

Нельзя не согласиться с Р. М. Фрумкиной и ее коллегами, которые считают вполне естественным для носителя языка образование таких группировок, которые не укладываются в рамки уже зафиксированного в языке категориального

членения: носитель языка может положить в основу классификации самые разные принципы, которые в итоге дадут разные концептуальные группировки [Фрумкина и др. 1991]. Нельзя, однако, не заметить, что такая свобода классификации в языке наблюдается исключительно в сфере **лексики** и, конечно, ее **комбинаторики** в разных морфологических и — еще в большей степени — в синтаксических конструкциях. В принципе эта же мысль может быть поддержана ображениями о каждой новой лексической единице как фиксирующей новую категорию или новые признаки категорий. Это не значит все же, что с созданием такой новой единицы меняется категориальный облик языка в целом, **остов его главных** категорий. Следует признать справедливость критических замечаний Н. Н. Болдырева в адрес психолингвистов, преувеличивающих свободу выбора говорящих, а также его мнения о том, что «процессы категоризации, безусловно, осуществляются с учетом существующего категориального, и в первую очередь грамматического, членения в языке и на его основе» [Болдырев 1994: 67]. Полагая, что «во вторую очередь» следует признавать категориальное членение всего массива лексических средств языка по принципу словообразовательного моделирования, мы также хотим подчеркнуть важное отличие самих процессов категоризации на разных уровнях: в грамматике, словообразовании и лексике. Именно потому, что в грамматике и словообразовании мы обнаруживаем категории, имеющие формальные средства их выражения, а также концепты, проходящие через протяженные серии слов, роль их в структурировании действительности в определенном смысле гораздо значительнее, нежели роль отдельных лексем или даже отдельных лексических (семантических) группировок.

Указывая на то, что когнитивная лингвистика может рассматриваться как дополняющая другие подходы к явлениям языка, Л. Телми отмечает, например, что подобно семантике она занимается моделированием, с помощью которого в языке передаваемое им концептуальное содержание структурируется и обретает собственные формы его передачи; в отличие от семантики, однако, когнитивная семантика пытается систематически и последовательно соотносить языковой материал с когнитивными структурами и общими когнитивными процессами категоризации человеческого опыта [Talmy 2000: 3–4]. При таком соотнесении выясняется, что грамматика и лексика служат разным целям: грамматические элементы в составе предложения детерминируют его структуру («лесá»), тогда как лексические — его содержание, при этом и грамматическому и лексическому дается строгое формальное определение: круг грамматического образуются абстрактными и иногда лишь имплицитными единицами, вместе составляющими **закрытый класс форм**; круг лексических единиц, напротив, определяется их принадлежностью к **открытому**, т. е. постоянно пополняемому классу форм [Talmy 2000: 22–23].

Закрытый класс форм включает, по его мнению, главные грамматические категории («существительное», «глагол»), грамматические субкатегории («исчис-

ляемые/неисчисляемые существительные»), грамматические отношения, порядки слов и т. п. Ясно, что ни одно существительное (в английском языке) не может быть употреблено, не будучи отнесенным к таким грамматическим категориям и субкатегориям.

Если подведение в акте номинации обозначения под грамматические категории носит обязательный характер, подведение его под словообразовательную категорию (*nomina actionis*, *nomina agentis* и пр.) только вероятно; так, в русском языке, как и в английском, новые обозначения производителей действия, инструментов, средств и результатов действия, как правило, создаются по определенным словообразовательным моделям [Позднякова 1999]. С когнитивной точки зрения это значит, что в этих случаях используется предыдущий опыт человека, что в актах номинации мощно срабатывают процессы аналогии, заставляющие придавать сходным концептуальным структурам сходные в языковом воплощении формы или же передавать сходное содержание в сходно оформленной упаковке. Грамматика и словообразование предлагают образцы таких форм (конструкций, моделей, схем и т. д.), в которые может быть «влито» новое содержание по аналогии со старым.

Если, таким образом, в когнитивном отношении требования к средствам номинации связаны прежде всего с поисками надлежащих единиц для передачи необходимого содержания конвенциональным способом, а это облегчает понимание таких единиц, то дискурсивные требования касаются в большей степени того, насколько «удобно» упаковано содержание и насколько такая упаковка согласуется с выбираемой синтаксической структурой предложения или же последовательностью строящихся при этом предложений. Так, например, чем с большими подробностями в имени объекта отражены его разнообразные характеристики, тем проще понимание такого имени (или, скорее, именной фразы) и идентификация стоящих за ними объектов в когнитивном плане. Но с дискурсивной точки зрения развернутыми именованными фразами оперировать менее удобно, да и «вставление» их в синтаксическую структуру связано с большими ограничениями.

Дискурсивные характеристики относятся не столько к качеству информации (хотя предел когнитивной сложности единицы важен и в этом отношении), сколько к ее упаковке, т. е. распределению информации по поверхности слова, предложения, связке предложений и, наконец, всему тексту.

В требования со стороны познавательных процессов и возможностей фиксации их результатов входит прежде всего требование упорядоченности информации (ср. также [Беляевская 2000: 10]), ее рационального распределения, дробящих информацию лексически обоснованных рубрик и т. д.

Недаром терминологические системы строятся именно так, т. е. с особой иерархией единиц, соподчиненностью не только единиц, но и отношений между ними и т. д. Стремление маркировать одинаковыми формами сходное или тождественное значение и различать посредством нетождественности форм разные типы

значений, проходит красной нитью через все строение языка. Конвенциональными оказываются не только отдельные единицы, но и принятые в языке способы выражения определенного содержания. Даже в тех частых случаях, когда одно и то же содержание можно выразить в языке целой серией форм, для использования каждой из этих альтернативных форм есть свои собственные резоны и хотя, возможно, и очень тонкие, но все же реальные различия. Своеобразное тяготение к иконике знаков в значительной мере соблюдается и тогда, когда для передачи содержания оформляются специальные модели (не только в словообразовании, но и при моделировании словосочетаний разных типов).

В этом отношении могут быть разьяснены и те предпочтения, которые столь ярко проявляются в семантике частей речи: в каждом языке вырабатываются особые знаки, фиксирующие предметные значения и предназначенные для номинации предметного мира, и они отличаются от тех, которые передают значения при знаковые — как динамические, событийные, процессуальные, так, и, напротив, значения относительно стабильных атрибутов. Знания, относящиеся к миру действительности, формируют **полнозначные** единицы, тогда как знания, относящиеся к оформлению высказываний и их связи в дискурсе — **служебные**, с особыми «телами» подобных знаков. О противопоставлении классов закрытых и открытых мы уже говорили выше, но сюда же можно отнести и противопоставления в сфере самих служебных элементов (флексии часто строятся не так, как суффиксы, а они, вместе взятые, не так, как, например, свободные модальные или отрицательные частицы).

Мне кажется возможным утверждать, что любая содержательная классификация в языке может обнаружить в нем некое формальное подтверждение, хотя обычно границы действия такой формальной маркировки сравнительно невелики. Описанием этих ограничений сегодня занимается конструктивная грамматика, основания которой были заложены Ч. Филлмором. Рассмотрев целый ряд синтаксических конструкций, Филлмор отметил, что их общее значение не выводится или не вполне выводится из значения их составных частей, а потому сама конструкция выступает в виде модели для передачи специфического «интегративного» значения. В трудах его последователей некоторые из этих конструкций получили более подробное описание. Здесь я воспользуюсь отчасти примерами Р. Джекендоффа [Jackendoff 1987: 53 и сл.], причем только для того, чтобы проиллюстрировать сказанное мною об известном соответствии форм и содержания в таких моделях, которые я называю **мальми**. Не будучи продуктивными в смысле их частотности, они тем не менее составляют часть системы и демонстрируют упорядоченность в представлении информации, хотя и на небольшом участке этой системы.

Рассмотрим, например, употребление числительных с названиями блюд или напитков, типа *три чая, одно кофе, два какао* при их заказе в ресторане или кафе (ср. также *два салата* или *два коньяка* при сомнительности *три курицы* и узуально-

сти *три фаза котлеты*). Ясно, что в виду здесь имеются отдельные порции напитков или блюд и что окказиональная метонимия имеет место только в указанной конструкции, причем при явных прагматических ограничениях.

Ср. также конструкции типа *сегодня на обед — курица / куропатка / дичь*, но не *корова, овца*, ср. также *на гарнир — помидоры, баклажаны*, но *капуста, свекла* или *к столу — вина и водки*, но не \**лимонады, морсы* и т. п.

Из сказанного вовсе не вытекает, что содержательные противопоставления обязательно поддерживаются формальными средствами, но тенденции к таким корреляциям обнаруживают разные языки. Вместе с тем, как утверждает Л. Телми, есть содержательные (концептуальные) характеристики, которые обычно в языках мира **не** получают своего отражения. Это касается, например, метрических расхождений в отличие от топологических. Приводя в пример предложения:

*это пятьнышко менее того,  
эта планета менее той,*

Телми указывает на реальные расстояния между объектами (первое определяется миллиметрами, а второе — парсеками), но в конструкциях предложений это не находит никакого отражения, — предложения отличаются лексически, но не грамматически [Talmy 2000: 26 и сл.]. Значит, содержательные различия в разных измерениях не отражены, и конструкции **размерно нейтральны**.

Интересно было бы обобщить данные такого рода, ибо тогда можно было бы выделить в системе каждого языка релевантные для него семантические оппозиции, а значит, судить о том, что именно было сочтено в данном языке настолько важным, чтобы маркировать оппозицию формальным способом.

Целесообразно, на наш взгляд, проанализировать и обратные примеры, т. е. выявить, всегда ли есть когнитивные основания за грамматическими (или другими формальными) противопоставлениями: ср., например, противопоставление форм вин. п. существительных в русском языке, за которым стоит различие одушевленных и неодушевленных объектов; противопоставление форм им. и вин. п., за которым стоит оппозиция субъекта и объекта действия, ср. также противопоставление транзитивных и нетранзитивных глаголов в отличие от противопоставления сильных и слабых глаголов в современных германских языках, за которым сегодня не стоит никаких семантических различий. Ср. также необходимость использовать разные средства выражения степеней сравнения у английских прилагательных (морфологического и аналитического) в зависимости от фонологического облика этих единиц, что никак не сказывается на содержании сравнительных или же превосходных степеней у прилагательных разного типа.

Особенно важна указанная корреляция при оппозиции **производных и непроизводных, простых** слов: имеющая формальные основания, она должна быть описана не только в семантическом плане, что понятно (первый класс слов пред-

ставляет собой единицы **мотивированные**), но и в когнитивном отношении. Прежде чем перейти к когнитивной интерпретации рассматриваемого противопоставления, сделаем еще одно важное замечание, касающееся пополнения словарного запаса языка в его современном состоянии.

Хотя по существу имеются несколько разных способов пополнения лексики (заимствования, словообразование и фразеология, образования несколькихсловных названий и, наконец, семантическая деривация), фактически новые словные номинации (универбы, единицы со статусом слова) создаются благодаря моделированию новых значений в процессах регулярной полисемии или же словообразования. Подавляющее число новых слов — это дериваты: сложные слова, аффиксальные производные, аббревиатуры и т. п. Удельный вес этих единиц составляет в современных развитых языках до 70% слов. Естественно, что поскольку новых простых слов придумывается очень мало, значительная тяжесть в фиксации новых структур знания — новых концептов или, точнее, концептуальных структур, приходится либо на регулярную полисемию, либо — в большинстве случаев — на словообразовательное моделирование. Специфика производных слов с когнитивной точки зрения должна поэтому получить свое объяснение. Проще говоря: если среди заимствованных слов еще и могут встречаться простые и неразложимые единицы (ср. *файл*, *дизайн* и пр.), то среди обозначений исконного происхождения в неологизмах простые слова встречаются очень и очень редко, а поэтому, изучая когнитивные и дискурсивные характеристики производных слов, мы и должны понять, в чем причины их широкого распространения или же в чем именно заключается их преимущество по сравнению с простыми единицами номинации.

Ответ на вопрос связан прежде всего со **способом представления** значений в структуре производных единиц, о важности которого писал еще Г. Фреге. Дело, однако, заключается не только в мотивированности дериватов. Догадки о значении незнакомых слов могут строиться на разных типах знания, и это очень существенно. Если вы угадываете значение глагола типа *распокупаться* по аналогии с глаголами типа *распсиховаться* или *расшуметься*, речь идет о языковом знании и опоре на известную словообразовательную модель. Если же вы встретили слово типа *совковость* или *жигфиновщина*, вам нужны также знания о мире, т. е. понимание отсылочной части деривата. Свойство двойной референции производного слова, о котором я писала уже давно [Кубрякова 1978: 57], т. е. его способность отсылать нас и к миру вещей, и к миру слов, сегодня следует интерпретировать как обеспечивающее широкие возможности говорящему ориентироваться в определении смысла нового производного (или ранее ему незнакомое слово) либо на чисто языковое знание — притом тоже достаточно разное (ср. знание всей модели или знание включенных в нее аффиксов, ср. также знание лексического образца и т. п.), либо на знание феноменологическое, либо, наконец, что обычнее всего, на то и другое, вместе взятые.

Важно и другое. Если простые слова фиксируют в языковой карте мира как бы отдельные ее точки, производные слова по сути своей делают иное: обладая способностью совершить то же самое, что и простое слово, т. е. назвать отдельное действие, отдельный предмет и т. п., выделяя и отождествляя особый фрагмент мира, они одновременно указывают на его **связь** с другим действием, признаком или предметом, на его **отношение** к ним, ср. *летчик, добряк, подкаблучник, слепец* и пр. Такое указание позволяет соединить новый опыт со старым, узнавать неизвестное через известное, а это, конечно, облегчает доступ к новому знанию.

Интересно отметить, что само указание на существование связи слов нередко присутствует в тех текстах, которые вводят новые слова, ср. примеры из «Литературной газеты» за 1997 год типа:

- *Теневая экономика* — это та, которая не платит налогов. В этом ее «теневитость».
- Если бы *Дума* в полном составе забюллетенила — тоже ничего страшного бы не произошло. Может быть, такая *бездумная* жизнь даже пошла бы на пользу.

Как ясно следует из многочисленных примеров, дериваты фиксируют такие структуры знания, которые содержат в себе сведения самого разного типа, ибо они способны называть различные модификации действий (ср. вышеприведенное «забюллетенить» или же «открыть бюллетень»), называть носителей разных признаков, обозначать сами эти признаки (ср. властные органы) и т. п., а также содержать оценку обозначаемому (ср. *обираловка, грабеж, держиморда*).

Можно утверждать поэтому, что производные слова — это особые **дескрипции** обозначаемого, а поскольку большинство дериватов прочитываются как расчлененные структуры, такую дескрипцию можно считать аналитической. Дериваты не только **называют**, но зачастую и **описывают** (в этом отношении особенно показательна вся область оценочного словообразования). Подобное описание — верхушка айсберга, по которой можно представить себе и скрытую от непосредственного наблюдения часть, а это, в свою очередь, заставляет нас обратить внимание еще на одну важную черту семантики производного слова: вполне очевидный параллелизм между **дефиницией** деривата в словаре, с одной стороны, и той **пропозицией**, на базе которой он был сформирован и которая отражает подлежащую объективации в акте словообразования структуру знания, с другой. Не лишне в этой связи напомнить о роли пропозиции в порождении речи, ибо внутренний замысел говорящего может быть трансформирован во внешнее высказывание исключительно через ступень образования пропозициональной структуры. Через ту же ступень проходит, собственно, и образование производного слова (ср. [Панкрац 1992; Позднякова 1999]). Такое сближение наводит на мысль о том, что основные стратегии говорящего в понимании текста или дискурса всегда связаны с пониманием определенной пропозициональной структуры и со способом ее превращения в ту или иную языковую форму — предложение или же производное слово в реальном дискурсе. Но именно на этой стадии и всту-

пают в игру конкретные дискурсивные требования к создаваемому речевому произведению. В общем виде их можно было бы сформулировать как требование выразить формируемой языковой единицей как можно больше релевантной информации за счет минимально необходимых языковых средств (ср. известные максимы П. Грайса).

Соответственно этому требованию выбор предложения для передачи определенного содержания происходит тогда, когда говорящему необходимо указать на большее число деталей, нежели это возможно при выборе производного, которое, как мы уже отмечали выше, переводит часть своих значений в скрытые, имплицитные, но материально не выраженные (ср. типа *бортовка* — плотная жесткая ткань, подкладываемая под борта одежды). Такие значения подлежат специальному семантическому выводу (инференции), правила которого составляют часть словообразовательного моделирования и которые зависят, помимо других факторов, и от использованной в акте номинации словообразовательной модели.

Все описанные мной закономерности составляют не только важную часть семантики производного слова, но и конституирующие черты его когнитивной организации, т. е. организации или устройства, от которого зависят возможности передать данным типом слова те или иные структуры знания или его оценки. В этом последнем случае производное слово выполняет не только номинативную, или же репрезентативную функцию, но и функцию аксиологическую, благодаря которой мы узнаем о мнениях говорящих или об их отношении к обозначенному.

В цикле исследований о роли человеческого фактора в языке мы уже подчеркнули исключительную важность словообразовательных процессов по их последствиям для организации языковой картины мира и той системы таксономии человеческого языка, которая в них представлена [Кубрякова 1988: 41 и сл.]. Возможности интерпретации языковой картины мира как наивной модели знания человека означают, что изучая систему координат в этой организации и основные рубрики ее членения, мы начинаем понимать, как воспринимал окружающую действительность и какой ее видел живущий в определенной среде человек, как менялись его представления и оценки, в какие типы деятельности он был погружен на разных этапах своей эволюции и как усложнялось его видение мира. Изучение языковой картины мира позволяет понять принципы категоризации и ее когнитивные основания. В силу прямой связи деривационных процессов с отражением человеческого опыта, со структуриацией лексикона, с осознанием важности особых параметров в классификации явлений действительности и т. п., когнитивно ориентированное исследование этих процессов позволяет уточнить не только специфику «картирования» мира в отдельно взятом языке, но и — при должном обобщении таких данных в типологическом плане — способствовать выведению некоторых общих положений о понимании человеком главных бытийных категорий, особенностей мироздания, закономерностей устройства мира как в физическом аспекте человеческого бытия, так и в его социальной организации

и во всей свойственной человеку системе его ценностей и нравственных, морально-этических оценок. Вместе с такими общими соображениями следует высказать мнение о том, как можно рассматривать деривационные процессы и их реальные последствия с когнитивной точки зрения, и настоящую главу можно в известном смысле считать предваряющей несколько следующих глав, но продолжающей развитие главных для всей нашей книги идей — идей о роли языка в обработке знаний, в закреплении языковым обозначением важнейших для человека структур знания и опыта, в его сортировке, а значит, во всех видах деятельности с информацией — в опознании и отождествлении «того же самого» и «не того же», обобщении «того же» и сведением его в особые разряды и классы, разделении информации на существенную и релевантную и, напротив, такую, которой можно пренебречь, противопоставлении известного неизвестному. Хотелось бы отметить, что в сущности деривационные процессы служат как бы двум разным целям — с одной стороны, целям общей категоризации всего словарного состава, но, с другой — и целям **субкатегоризации**. Первое достигается тем, что благодаря формированию в языке протяженных рядов слов, маркированных одним и тем же формантом или объединенных общей моделью их образования, в языке складываются назывные, ономаσιологические категории и устанавливается определенная сетка их соотношений. Но как только в одну из этих категорий попадает новая единица, а категория разрастается, расширяется по своему объему, происходит и другое: окружающая действительность начинает выступать для нас в более расчлененном виде; силой обозначения мы начинаем обращать внимание на большее количество деталей в самом нашем окружении.

Мир начинает представлять перед нами в большем числе деталей и подробностей, но одновременно — и через призму более абстрактных и отвлеченных категорий, так как среди языковых категорий есть и те и другие и каждая из них расширяется, а возможно, и видоизменяется, выделяя в самой себе новые типы и разновидности. Важно поэтому при рассмотрении деривационных процессов изучить вопрос не только в дескриптивном плане, выявляя номенклатуру имеющихся ономаσιологических категорий и их содержательное начало, что, конечно, тоже существенно, но это уже делалось ранее. Важно, мне кажется, изучить, как структурируются подобные категории и каким оказывается их внутреннее устройство, за счет чего и в каком отношении они могут развиваться и видоизменяться. Важно также получить представление о том, какую сетку категорий они образуют в системе языка в целом и о какой их **стратификации** можно говорить для отдельно взятого языка или же группы языков.

Хорошо изученные по отдельности процессы аффиксации и словосложения, аббревиации и конверсии еще не были описаны вообще или были описаны далеко недостаточно в их сопоставлении друг с другом, или по их месту в общей картине производной лексики языка (известное исключение в этом отношении составляют работы И. С. Улуханова, в которых приводятся сведения о составе и ко-

личестве разных способов словообразования в русском языке). Представляется также, что были мало изучены сами ноэтические, назывные пространства отдельно взятых языков или же общая ориентация деривационных процессов на транспозицию, модификацию или же мутацию (что для русского языка тоже прекрасно показал в своих работах И. С. Улуханов, а для славянских языков в сфере выражения аспектуальных значений — Е. В. Петрухина [Петрухина 2000]).

Чтобы провести серию таких исследований, необходима определенная программа исследований по словообразованию (см. ниже), ибо нельзя не признать, что большинство имеющихся в сфере словообразования работ выполнены в традиционных парадигмах лингвистического знания и касаются поэтому описания структурных или же структурно-семантических особенностей словообразовательных систем. Работы в когнитивной парадигме знания — отчасти уже начатые, но все же еще немногочисленные, — предполагают постановку и решение иных проблем. Частично мы указали на них в настоящей главе, но и последующие страницы книги мы посвящаем той же цели — разъяснению того, как можно получить новые сведения и новые данные о явлениях словообразования, которые казались нам так хорошо описанными и изученными.

Итак, точки соприкосновения теории номинации и когнитивизма, безусловно, существуют. Все, сделанное в рамках этой теории, подлежит не просто пересмотру или переоценке в свете установок когнитивной парадигмы. Заложен фундамент знаний, и нам предстоит строить на этом фундаменте нечто принципиально новое. Поведение человека определяется совокупностью его знаний и опыта, системой его ценностей. Лингвистический анализ в современной его форме позволяет выйти за рамки собственно языковых наблюдений и строить предположения о том, как устроен человеческий разум. Бесконечно сложна эта задача, но решение ее вне обращения к лингвистике тем не менее невозможно. Шаг за шагом мы должны приближать решение этой задачи.

## *Глава третья*

### **ПРОЦЕССЫ ТРАНСПОЗИЦИИ В КАТЕГОРИЗАЦИИ МИРА. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАТЕГОРИЙ**

Появление когнитивной науки уже в первый период ее формирования вызвало к жизни целый ряд исследований, касающихся определения структур знания и разных способов их репрезентации в голове человека. Среди этих способов или «форматов знания» особую роль отводили пропозициональным структурам [Pylyshyn 1984: 193 и сл.]. «Большая часть структуры нашего знания, — писал Дж. Лакофф, — имеет форму пропозициональных моделей, а их особенностью является то, что они вычленяют элементы, дают их характеристики и указывают связи между ними» [Лакофф 1988: 31]. Но задолго до этого мы тоже подчеркивали определяющую роль пропозиций не только в формировании внешних высказываний, но и при образовании производных слов, а в появлении последних акцент делался нами именно на установлении **связи** между разными категориями, что, по нашему мнению, и определяло основное содержание словообразовательного значения (ср., например, [Кубрякова 1978: 57 и сл.; Кубрякова 1981 и, наконец, Кубрякова 2000]; ср. также [Панкрац 1992; Харитончик 1992: 138; Селиванова 2000: 28—31 и др.]). Такая связь получала объективацию в ходе образования ономаσιологической структуры производного слова, когда ономаσιологический предикат приписывал (предицировал) выбранный признак выбранному ономаσιологическому базису, а итоговая структура прочитывалась как «тернарная» структура. Само же образование ономаσιологической структуры на базе исходной пропозиции означало признание взаимодействия разнородных категорий и отражение в семантике деривата их связанности. В традиционном словообразовании возникновение такого деривата трактовалось как акт транспозиции, ибо с внешней стороны мотивированная единица отличалась своим категориальным значением от мотивировавшей ее единицы и выглядела как «перемещенная». См. об этом [Никитевич 1985: 78 и сл.].

Приведем для примера структуру русского относительного прилагательного типа *отцовский*, в котором с помощью флексии фиксируется ономаσιологический базис с категориальным значением признака (базового значения прилагательного как такового), а с помощью суффиксов *-ов-* и *-ск-* объективируются два предиката («принадлежать» отцу и «быть свойственным» отцу), а с помощью корневой морфемы, формирующей отсылочную (мотивирующую часть) производного слова, указывается на тот объект, отвлеченным от которого оказывается сам атрибут. Структура знания, стоящая за этим атрибутом, связана с тем, что для такого объекта, как *отец*, можно зафиксировать, с одной стороны, вещи, входящие в его личностное пространство и потому характеризующиеся как принадлежащие ему (*отцовы*), а с другой стороны, уточнить далее сам этот атрибут еще одним признаком (то, что входит в его владение, маркировано чертой «типично для него», «свойственно ему» и т. д.)

В отличие от этого более простые относительные прилагательные типа *морфемный* фиксируют атрибуты, отвлеченные от объекта одним только указанием на отношение к названному объекту: в них взаимодействуют три категориальных значения — одно предметное (следом его является основа из двух частей *морфем-*), одно предикатно-глагольное (рефлексом предиката является суффикс *-н-*) и одно признаковое, адъективное (носителем этого категориального значения является флексия). В реальном лексическом значении прилагательного *морфемный* содержится указание на объект (*морфему*), относительно которого абстрагирован присущий ему признак. Оно создано актом транспозиции из класса предметных существностей в класс несобытийных, статических свойств. В настоящей главе монографии нам и предстоит объяснить сущность процессов транспозиции и описать ту роль, которую эти процессы играют в категоризации мира, а также рассмотреть в связи с этим **взаимодействие** категорий, наблюдаемое в рамках производного слова. Очевидно также, что такой анализ открывает дорогу изучению **композиционной семантики** в функционировании языка, т. е. проблемы, имеющей решающее значение для понимания использования языка и принципов его употребления. Ведь само это использование может по праву рассматриваться как сводимое к комбинаторике знаков при линейной развертке речи и в ее синтагматической протяженности.

Предлагаемый здесь анализ транспозиции предвещает более конкретное исследование специфики производных слов с когнитивной точки зрения, хотя сам этот анализ тоже ориентирован на когнитивную интерпретацию указанного явления и на истолкование его роли в фиксации и передаче особых структур знания, а значит, и на определение его статуса в познавательных процессах человека (в той их части, естественно, в которой они связаны напрямую с языком). В прослеживании цепочки связей, объединяющих теорию номинации со словообразованием и с формированием особых ономаσιологических категорий в системе языка, а далее связывающих словообразование с конкретным назначением

таких категорий — мутацией, модификацией или же транспозицией знаков, — мы остановимся, следовательно, на вопросе о том, с какой целью осуществляются в языке процессы транспозиции и какие механизмы человеческого сознания оказываются вовлеченными в эти процессы.

Подавляющее большинство процессов словообразования в разных языках носит характер транспозиции, т. е. осуществляется между разными частями речи. Если признавать существование в разных языках мира четырех кардинальных частей речи, как это делалось некогда в рамках аппликативной грамматики С. Р. Шаумяна и П. А. Соболевой, и принимать установленное ими число деривационных процессов, из 16 возможных процессов 12 принадлежат процессам межчастеречной транспозиции, устанавливающей направление связи от глагола (как исходной мотивирующей единицы) к существительным, прилагательным или наречиям и, напротив, к глаголу — от существительных, прилагательных и наречий и т. п. Легко также вывести и формулы такой транспозиции в общем плане: глагол — существительное (*купальник, купальня, купание*) или существительное — глагол (*рулить, рулевой, рулеж*), а затем рассмотреть, с помощью каких форматов осуществляется названный процесс (от различных материально выраженных суффиксов до суффиксов нулевых, когда транспозиция принимает безаффиксальный характер и получает название конверсии).

Для многих хорошо описанных языков (германских, славянских и некоторых других) хорошо известны и существующие в них модели транспозиции. Но по участию этих процессов в концептуализации и категоризации мира они практически не описывались, да и само различие этих процессов при их рассмотрении в сфере словообразования во внимание не принималось. Между тем именно в этой сфере такое противопоставление достаточно целесообразно: в отдельных актах номинации словообразовательного порядка смысловое их задание явно связано с задачей создания специального обозначения для **отдельно взятой** реалии, тогда как номинативная деятельность, осуществляемая с помощью системы словообразования, создает совокупность ономаσιологических **категорий** как единиц классификационной (таксономической) системы данного языка, организующей и упорядочивающей его лексику в целом.

Параллельно этому следует отметить, что и в принципе взаимодействующие между собой процессы концептуализации и категоризации представляют собой все же процессы, разные по своей ориентации, что, впрочем, вытекает и из разных наименований этих процессов. Созданием концепта закрепляется выделение оперативной единицы нашего сознания, созданием категории — возможность сгруппировать однородные в каком-либо отношении концепты, объединить их в особый разряд, достаточно «высокий» в иерархии концептов, и по целому ряду соображений — особенно релевантный и существенный. Чаще всего говорят, например, о бытийных, или онтологических категориях нашего сознания — таких, как время и пространство, материя и ее движение и т. д. Концептуализация мира

происходит в ходе членения потока информации на такие ее единицы, которые воспринимаются в качестве «одного и того же».

Дифференциация концептов связана с теми обобщениями, которые касаются определенной группы ощущений, осмысляемых в виде единого их кластера. Ср., например, концепты тепла или холода, сладости или горечи и т. д. В известном смысле такие обобщения могут быть независимыми от языка и формироваться в живом организме в процессе его приспособления к окружающей среде. Возможно, также, что некоторые из таких концептов предсуществуют языку.

Категоризация же направлена скорее на распределение обрабатываемых данных под уже сложившиеся разряды, имеющие языковое обозначение. Категоризация связана с языком и в известном смысле **зависима** от него. Здесь происходит группировка данных на более высоких уровнях абстракции, заданных системой языка. С этой точки зрения транспозиции можно дать новое объяснение как процессу, имеющему самое прямое и самое непосредственное отношение к такой категоризации мира, которая возможна только в языке, или, точнее, только в кодовых системах с конвенционально установленными совокупностями знаков.

Иначе говоря, транспозиция представляет собой особую **семиотическую** операцию, операцию манипулирования знаками, их перемещением, их трансформацией, комбинаторикой.

Обычная прежняя трактовка транспозиции заключалась в понимании ее как перемещения знака из одной категории в другую, как ее «переход» из одной части речи в другую. Но если бы знаки, действительно, «перемещались», тогда почему знак, который считается исходным и описывается как перемещаемый (транспонируемый), на самом деле никуда не переходит, т. е. чисто фактически остается по-прежнему в своей собственной категории?

Если в английском языке есть существительное *salt* ‘соль’, которое, как общепризнано, «конвертируется» в глагол *to salt* ‘солить’, то, наблюдая за процессом, мы должны констатировать не столько «перемещение» — *salt* как ‘соль’ никуда не перемещается! — сколько обычную для акта словообразования мотивацию одного знака другим и образование нового знака (глагола) как созданного на базе некоторого исходного (существительного). Преобразование знака — это только метафора, фиксирующая появление в системе языка нового обозначения действия, т. е. результат акта словообразования. Но фиксация этого обстоятельства еще не значит, что ему дано **объяснение** или что мы определили **механизм** транспозиции. Для того чтобы объяснить происходящее в терминах ментальной деятельности и отражения человеческого опыта в новых единицах номинации, старых трактовок уже недостаточно. Ономаσιологическое истолкование в виде включения единицы в новый разряд (новую категорию), конечно, правильно, но ведь такую же трактовку можно предложить и случаям типа *профессор* — *профессора* — *профессура*, где последнее обозначение означает собирательное множество, а не отдельно

взятый объект. Обычно, однако, внутричастная деривация к транспозиции не относится.

Еще в конце 70-х годов Ю. С. Степанов, оценивая дистрибутивный анализ и его методику, указывал, что он может вскрыть дифференциальные признаки значения, но не способен вскрыть интегральные. «Между тем, — подчеркивал Ю. С. Степанов, — именно последние отражают содержательное ядро понятия и потому играют важнейшую, нередко — определяющую роль в семантике знака» [Степанов 1977]. При транспозиции ясно, чем один знак отличается от другого (*salt* от *to salt* различаются категориальными значениями), но как формируется лексическое (индивидуальное, интегральное) значение у нового глагола? В случаях аффиксальной транспозиции (типа образования русских относительных прилагательных, описанных выше) новое значение можно связать с аффиксом, считая, что операция по прибавлению суффикса равна прибавлению к исходной единице нового смысла. Однако и это объяснение не всегда достигает своей цели, ибо ставит перед исследователем новые и новые вопросы, например, о наличии у суффикса собственно лексического значения.

Обратимся снова к относительным прилагательным и рассмотрим семантику суффикса *-н* в русском языке в случаях типа *винный*, *морфемный*, *лесной*. *Винный* *уксус* значит примерно ‘получившийся из (скисшего) вина’, а *винный погреб* — ‘погреб, где хранится вино’, но у прилагательного *морфемный* развивается только первое из этих значений, тогда как у прилагательного *лесной*, напротив, только второе. Признав за суффиксом способность выразить исключительно значение абстрактного отношения к названному основой слова объекту, мы можем описать «формульное» словообразовательное значение перечисленных слов, но не объясним возникновения их подлинных лексических значений, что, конечно, связано, в конечном счете, с комбинаторикой знаков в ее конкретном воплощении и что, несомненно, тоже следует объяснить.

Известный шаг в решении проблемы был намечен в трудах когнитологов второго поколения, работающих с представлениями о ментальных пространствах в человеческом сознании и выдвинувших идеи концептуальной интеграции таких пространств в порождении речи (см., например, [Ирисханова 2000; 2001]). Рассмотрев истоки этих идей и процедуру слияния пространств (*blending*), автор правильно отмечает, что «природа концептов исходных пространств и их структура носят пока условный характер» [Ирисханова 2000: 63].

К тому же, как мне кажется, по мысли Ж. Фоконье, а далее и его последователей и коллег (А. Гольдберг, М. Тёрнера и некоторых других), понятие концептуальной интеграции ментальных пространств было задумано для того, чтобы показать, как рождаются у человека представления о «возможных мирах» в таких предложениях, как *Если бы был на его месте, я бы поступил по-другому* или *Не попади в окно шаровая молния, не было бы пожара* и т. п. Но используемая этими авторами терминология может быть применена и в других случаях: исходное ментальное про-

странство характеризуется как «донорское», строящееся новое — как «мишень» (target), т. е. как «целевое». Нельзя не увидеть в этих идеях и даже этой терминологии прямых аналогий к тому, что уже делалось в теории словообразования, где совершенно на тех же основаниях говорили об **источнике** (source) номинации и результате акта номинации как реализации его смыслового задания (цели!). Более того, в книге 1978 г. мы предложили рисунок, объясняющий образование слова *лесник* на базе слова *лес*, отметив на этом рисунке общие для них части



и подчеркнув, что «поскольку у каждого полнозначного слова есть своя область референции, можно сказать, что у производного слова она представляет собой область, частично заимствованную у исходного слова: у мотивирующих и мотивированных единиц область референции перекрещивается. Виды такого перекрещивания могут быть разными» [Кубрякова 1978: 58]. В той же книге было введено далее и понятие ноэтического пространства, которое «выявляет членение единого понятийного языкового содержания по определенным сферам и помогает установить принципы классификации наименований в данном языке». Ведущими назывными пространствами частей речи были сочтены уже тогда предметные, признаковые и процессуальные [Там же: 95 и др.].

Сегодня мы можем уточнить эти представления, сказав, что известные аналоги ноэтических пространств присутствуют и в голове человека в виде их мыслительных репрезентаций, что все операции со знаками происходят тоже в этих ментальных пространствах и что само мышление может быть описано как деятельность с символическими (знаковыми) системами, важнейшей из которых является система языковых (конвенциональных) знаков. Все операции связаны так или иначе с активизацией определенных структур сознания, воплощенных в нейронной субстанции мозга и представляющей собой, по всей вероятности, нечто вроде сетки связей между отдельными ее «узлами» (нервными клетками). На современном уровне развития науки вообще и нейронаук в частности мы в лучшем случае можем строить только гипотезы о том, как устроен мозг, но некоторые предположения об этом устройстве все же возможны.

Можно предположить, что акты транспозиции должны связать два ментальных пространства — «донорское» и «целевое», причем это последнее выступает как субкатегоризируемое, т. е. пополняемое новой единицей. Свойства ее задаются «заимствованием» из донорской зоны, где исходная единица выступает во всем богатстве ее значений, ее связей, ее ассоциаций, как представитель уже сложившейся концептуальной структуры (например, представленной фреймом). Будучи активизированной, эта структура реализует — в зависимости от интенций

говорящего — ту ее часть, которая более всего согласуется с потребностью дискурса, т. е. отвечает категориальному значению заполняемого слова в ментальном пространстве «мишени» (цели).

Из донорского пространства заимствуется в акте активизации его определенного узла необходимый признак будущего наименования (его мотив), целевое же пространство детерминирует общее категориальное значение рождающегося наименования. Наконец, когнитивное связывание точки исходного пространства с точкой целевого — *cognitive linking* — конкретизирует их соединение, их сплав в новое обозначение — *blend* — как интегрированное целое. Молниеносно осуществляемый выбор концепта из фрейма (первого члена пропозиции) в силу осознания потребности в новом (втором), с ним связанном определенной ассоциацией (функцией), ведет к формированию пропозициональной структуры, которая по ходу ее объективации может дать развернутое высказывание, но может — по требованиям осуществляемой дискурсивной деятельности — породить новое наименование.

Предположим, что нам надо объяснить появление конверсивов *to salt* и *colium*. Структура отражаемого в нем знания касается понимания того, что делают с солью (в актах приготовления пищи). В смысловое задание номинативного акта входит отражение этой новой структуры опыта в виде определенного действия, т. е. «мишенью», *target* акта номинации оказывается пополнение ментального пространства глагола — пространства действий, где ядром пространства является концепт **act, use — действовать, использовать**. Чтобы конкретизировать, о каком новом действии идет речь и материализовать структуру действия с солью, из ментального пространства предметного мира заимствуется как из источника (*source-space*) концепт соли. Когнитивной связкой между процессуальным и предметным пространствами оказывается идея действия, направленного на объект, и тогда концепт **действовать** или **использовать** конкретизируется за счет перекодировки его в более точное **класть..., помещать (соль) ... куда или для чего**. Новая концептуальная структура представляет собой интеграцию (*blending*) двух категорий, из которых одна предметная (донорская) уже имеет ословленную в лексеме *соль* конкретную реализацию, а другая — получает свою спецификацию за счет знания положения дел в мире, но также и за счет реализации общекатегориального значения всей ментальной сферы процессуальных обозначений с дальнейшей его конкретизацией под влиянием самой активизированной первоначально конкретной лексемы *соль*.

Акт транспозиции — акт согласования двух категориальных (разнородных) значений под влиянием высвеченного сознанием концепта *соль* (*соль ... использовать ... класть ... солить*), ср. также: *асфальтировать, цементировать и засахарить, засолить* и пр. В результате сплава или слияния величин из двух разных категорий и разных ментальных пространств сформированная гибридная структура (производное слово) представляет собой итог особой когнитивной операции по

осмыслению опыта, состоящей не только в установлении связующего звена между разными пространствами, т. е. феномена *cognitive linking*, но и в образовании / объективации новой структуры знания, рожденной в наблюдениях за действиями с определенным объектом (солью) и целью подобных действий как релевантных для человека в определенном отношении (для приготовления пищи, ее консервации, улучшения вкуса и т. п.). Созданное производное слово несет отпечатки указанной когнитивной операции как потому, что оно фиксирует результат взаимодействия и комбинаторики двух разнородных ментальных пространств, так и потому, что указывает в имени нового действия на его объект как объект в особой структуре деятельности. Наконец, само обозначение в целом (как завершённый итог *blending*) фиксирует в сознании человека новую концептуальную структуру как трансформированную в отдельный целостный холистический концепт (солить), которым теперь, при наличии этого именованного, можно оперировать как отдельным и самостоятельным гештальтом. Итак, новое обозначение нашло свое место в реципиентном пространстве и может теперь, являясь частью этого категориального пространства, само по себе категоризовать ситуацию, например: *Вчера мы солили грибы*. Ведь как правильно отмечает Н. Н. Болдырев, «предложение выражает акт категоризации события», а он связан с глаголом как «ядром» этого акта. «В качестве категоризаторов выступают грамматические формы глагола и другие элементы структурной схемы предложения-высказывания» [Болдырев 1994: 78–79], но главное — сам глагол с его собственным лексическим значением.

Процессу образования производных слов как знаков с композиционной семантикой можно дать и несколько иное истолкование, в терминах формирования у них «гибридной» семантики (см. [Ирисханова 2000: 42 и сл.], где также приводится библиография на тему концептуальной интеграции у таких когнитологов, как Ж. Фоконье, А. Гольдберг и др., которые, правда, не распространяли понятия *blending* на формирование производных слов). Транспозиция словообразовательного порядка, как и все процессы словообразования, должна быть определена как моделируемая в системе языка операция по обработке и объективации структур знания, при которой сама эта структура отражает взаимодействие разнопорядковых категориальных смыслов, причем такое взаимодействие может быть как очень простым, так и очень сложным. Вместе с тем оно предсказуемо, во всяком случае, в отношении доминирующей роли концептуального пространства «мишени» и подчиненного положения концептуального пространства «донорского». Категоризация определяет, в какую именно категорию включается обозначение (в какую часть речи или в какой из ее подклассов) и достижение какой мишени является ее целью, но в этом же процессе происходит и приписывание обозначаемой сущности какого-либо из признаков, взятых из донорской зоны. Транспозиция, следовательно, должна быть определена как служащая целям категоризации в особых условиях ее осуществления (в виде описанной выше сложной когнитивной

ситуации подведения под определенную категорию и — одновременно — уточнения ее члена новым признаком, т. е. благодаря **субкатегоризации** члена категории) и приводящая к формированию знаков с композиционным значением у каждого из таких знаков.

Предлагаемое нами объяснение транспозиции было бы тем не менее не полным, если бы мы не дополнили его некоторыми соображениями о сущности репрезентаций в ментальном лексиконе и их отличии от знаковых заместителей в нашем сознании. Признавая теорию двойного кодирования мира в нашем сознании, выдвинутую в трудах А. Пейвио, т. е. о «наличии» в нем, с одной стороны, образов и прочих образо-подобных сущностей (картинок, изображений, схем, диаграмм и т. д.), а, с другой — языко-подобных величин (энграмм языковых единиц и форм), мы хотели бы одновременно обратить внимание и на отличие этих сущностей друг от друга не только, так сказать, по их субстрату (отражение визуального мира в противовес отражению мира языкового), но и по их знаковой, или символической сущности. Любая **репрезентация** может считаться знаком в том смысле, что она «презентирует» нашему сознанию нечто, являющееся вне нашего сознания принципиально иной сущностью. Репрезентация, по определению, **замещает** нечто вне сознания, нечто в реальном мире, т. е. за его пределами, а потому может считаться знаком того, что она замещает. Любая репрезентация в этом своем качестве может использоваться в процессах мышления, заменяя и замещая отсутствующие в поле зрения объекты и делая обязательным их реальное существование во времени и пространстве. Мы можем оперировать воображаемыми сущностями и вымышленными величинами, притом манипулируя ими как и теми репрезентациями, за которыми стоят реальные объекты. И все же репрезентации двух названных типов существенно различаются.

Образные репрезентации субъективны, не носят конвенционального характера, и даже когда для них существует реальный референт (например, вполне реальный знакомый предмет или лицо), в сознании разных людей они могут иметь разные репрезентации, и ничто, кроме отсылки к референту в мире, не может нам подтвердить тождественность или же нетождественность вызываемых ими образов. Другое дело языковые знаки. Они входят в систему разделенных знаний и как бы ни было велико расхождение в их понимании, в актах коммуникации происходит непрерывно бессознательная (т. е. не всегда четко осознаваемая) проверка на то, думаем ли мы, говоря, об одном и том же, и если нет, то в чем же именно состоят наши расхождения или отличия. В случае необходимости для достижения понимания мы всегда можем уточнить наши общие представления о предмете речи. Конечно, без такого знания конвенциональных значений языковых знаков и языковых форм между людьми было бы невозможно самое простое общение: субъективность восприятия мешала бы говорить, если б не язык, об объективно данных сущностях и референтах.

«Ре-презентация», — подчеркивает Э. Бейтс, — определяется как вызывание в памяти различных процедур действия для оперирования с объектом при отсутствии перцептивного подкрепления со стороны объекта» [Бейтс 1984: 95], отмечая здесь же, что она явилась важным подспорьем для развития символической способности, т. е. способности оперировать в голове собственно знаковыми заместителями объектов. Символами она называет «своего рода облегченный ментальный знак, на место которого можно подставить весь объем знания для целей когнитивных операций более высокого уровня» [Там же: 96]. Таким образом, символизация, по ее мнению, предполагает выбор одного из аспектов объекта в целом в качестве представителя этого целого. Так, имея в виду знакомого нам человека, мы представляем себе его лицо или другую какую-либо его характеристику, когда думаем о нем и оцениваем его поступки. Как четко формулирует Э. Бейтс, «репрезентация создает ментальные целостности; символизация отбирает какие-то части, которые должны представлять это целое».

На этом же пути надо восстанавливать и процесс семиозиса, осуществляемого с помощью языковых знаков, когда репрезентация и символизация оказываются ступеньками к образованию знаковых систем, т. е. когда «символ» (в понимании Бейтс) заменяется языковым знаком. Но в таком процессе существо его остается прежним: полный образ замещается частичным, а частичный, т. е. уже редуцированный и «символичный», — языковым знаком. Под сутью процесса мы имеем в виду в данном случае постоянную и постепенную **редукцию** более полного образа и замещение его **частью**, способной представлять **целое**. Если Э. Бейтс указывала, что уже символом (как ментальным облегченным знаком!) оперировать легче, чем сразу всей совокупностью знаний, то мы хотим, продолжая развивать ее мысль, всячески подчеркнуть, что в процессах ментальной деятельности оказывается еще проще оперировать языковыми знаками! Их значения — только верхушка айсберга, подводная часть которых, невидимая нашему взору, может быть сколь угодно объемной и соответствовать всей совокупности знаний говорящего индивида, из которой — при необходимости — эти знания могут быть извлечены как реакция на «тело» знака, т. е. на его материально выраженную часть. Теория айсберга, развиваемая нами (см. [Кубрякова 1998]), и базируется на способности знака активизировать всю структуру связанного с ним знания и сигнализировать о всех концептах, так или иначе подведенных под крышу одного знака.

Интересно отметить, что Р. Лангакр в одной из своих последних работ утверждает: значение языкового выражения возбуждает (invokes) определенный объем концептуального содержания, но оно не может быть приравнено к этому содержанию, взятому в целом [Langacker 1999: 27]. Однако активизация такого содержания происходит благодаря «телу» знака, замечание же об активизации части его содержания должно быть, по всей видимости, объяснено за счет ограничительного воздействия контекста речи, в связи с чем осознаются и выводятся в текущее сознание лишь те концепты, которые согласуются с общим заданием акта

речи. Как правильно указывает П. Хардер, для разных синтаксических конструкций (в которых мы и наблюдаем за поведением знаков) исключительно важна не только их способность активизировать определенное содержание, но и частично подавлять (лишнюю) информацию [Harder 1999: 217].

В описанном нами процессе речь все время идет о постепенном замещении чего-то воспринимаемого вне нас и интерпретируемого в качестве отдельного объекта его ментальным образом, репрезентацией внутри нас. У каждой ментальной сущности есть, таким образом, свой противочлен (counterpart), притом далеко не обязательно «реальный», т. е. имеющий материальную форму своего существования. «...Ментальные структуры, — пишет Дж. Динсмор, — должны быть в принципе способными репрезентировать любую информацию ...Если люди способны говорить о верованиях, причинах, разных перспективах и несуществующих объектах и размышлять о них, модель репрезентаций должна быть способной включать и репрезентации этих верований, причин, разных перспектив и несуществующих объектов» [Dinsmore 1991: 37]. В мыслительных процессах мы оперируем всеми этими репрезентациями безотносительно к объективности их существования, а также безотносительно к тому, есть ли у них вербальная знаковая форма их представления. В этом факте усматривают обычно ограниченность понимания мышления, сводимого исключительно к операциям с языковыми знаками. Но как совершенно правильно отметил Ю. С. Степанов, даже языковым знакам присуща разная степень знаковости. Разная степень знаковости присуща и самим ментальным репрезентациям: любой отход от прямого воспроизведения объекта в нашем сознании — от полного образа как зрительного его двойника — это шаг к его символизации. Но одновременно этот же процесс — процесс известной редукции образа, устранения из него каких-то подробностей и деталей и, значит, замещения более полного целостного образа «вырожденным» его представлением, означает замену его неким символом, условной меткой вещи. Ясно тогда, что мы имеем здесь дело с **метонимией**, в ходе которой происходит субституция **pars pro toto**, т. е. целое замещается (и репрезентируется) его частью. В случае необходимости человек тут же достраивает эту часть до целого (так, по мелькнувшей тени человека мы делаем вывод о человеке). Эта поразительная способность, отражаемая разными формулами метонимии, устанавливающими все возможные типы отношений между частями и целостностями, а также между самими частями и разными целостностями (см. о них подробнее [Балли 1955: 155; Раевская 1999]), характерная для восприятия мира и его отражения в сознании человека, ярко проявляется и в **транспозиции**.

После всех объяснений мы можем, наконец, дать ей и когнитивно-лингвистическое объяснение: механизм транспозиции представляет собой такую операцию по когнитивному связыванию ментальных пространств, при которой новая целостная сущность (новое обозначение, новое наименование как **toto**) характери-

зуются по ее части (**pars**), вербализуемой в качестве мотива обозначения и имевшейся нами и ранее **отсылочной частью** производного слова. В целом транспозиция выявляет возможность охарактеризовать процесс по его участнику — лицу или инструменту (*слесарить, пилить*), лицо или инструмент — по выполняемым им действиям (*учитель, резак*), объект — по материалу, из которого он сделан, или по его внешнему признаку (*творожник, рыжик*) и т. д., и т. п.

Конечно, можно теперь перенести решение проблемы транспозиции и ее роли в категоризации мира и в более конкретную плоскость, рассмотрев по отдельности разные типы транспозиции и разные технические средства ее осуществления, т. е. описать, например, особенности деадъективных и девербальных существительных (*доброта, длина, творение, творчество*), деадъективных и десубстантивных глаголов (*удлинить, укоротить, асфальтировать, сорить*) и т. д. вплоть до описания отдельных целостных классов таких обозначений (например, относительных прилагательных или же номинализаций). Конечно, такое описание с точки зрения образуемых в актах транспозиции моделей представления знаний в языке весьма желательно, так как оно дополнило бы те традиционные описания словообразования, которые фиксируют сами словообразовательные значения в отдельно взятых языках, но не дают ясного представления о их **месте** в языковых картинах мира и — тем более — в общей рубрикации предметов и событий в этих языках и их использовании в дискурсе. Но проведение таких конкретных исследований не составляет цели настоящей книги и, завершая данный ее раздел, я хотела бы в заключение высказать еще несколько общих соображений о смысле транспозиции и ее когнитивных характеристиках.

Транспозиция осуществляется в дискурсе и потому всегда подчинена общим замыслам дискурсивной деятельности. Это очень важно для понимания того, как именно она протекает в реальных условиях порождаемой речи: выше мы предложили анализ изолированного акта транспозиции, чтобы высветить самые существенные моменты в этом акте. Необходимо, однако, добавить теперь к сказанному выше и некоторые уточнения, касающиеся условий порождения самого дискурса. Каждый отдельный акт дискурсивной деятельности характеризуется определенными прагматическими параметрами. В любом таком акте активизируются, разумеется, **не все** структуры знания, известные человеку; точно так же он оперирует **выборочно** и определенной совокупностью ментальных репрезентаций, необходимых ему *hic et nunc*. В текущем сознании в это время всплывает лишь та информация, которая необходима либо для порождения, либо для понимания речи. Мы не знаем, как это происходит, но гипотеза о том, что по мере организации дискурсивной деятельности строится особый ментальный мир и конструируются исключительно возможные для этого мира сущности, кажется мне весьма правдоподобной (см. также ниже в разделе о дискурсе). Осуществление дискурса требует как бы особой настройки на ограничение текущей деятельности сознания особой областью знаний — определенной тематикой в опреде-

ленной сфере бытия. В силу этого возбуждаются определенные участки мозга, определенные ментальные пространства.

Некоторые когнитологи говорят в этой связи о «контекстуализации» дискурса, т. е. выделении того общего контекста знаний, в рамках рассуждений о которых будет протекать дискурс (см. [Dinsmore 1991: 115 и сл.]). Утверждая, что «теория ментальных репрезентаций — это интегральная часть любой адекватной теории понимания языка» [Там же: 108], он проводит в своей монографии мысль о том, что в этой теории необходимо объяснить, как в определенном прагматическом контексте и окружении снимается известная неопределенность поверхностных форм языка, а предмет речи отождествляется в своей референтной отнесенности с достаточной степенью точности.

Сказанное важно не только для размышлений о стратегиях дискурса. Процессы транспозиции, как и любые процессы словообразования, протекают не на пустом месте, не в абстрактных ментальных пространствах: перед нами всегда стоят достаточно конкретные задачи, и реконструкции словообразовательных актов всегда демонстрируют их контекстную обусловленность, их зависимый характер, их подчиненность общему замыслу речи. Конечно, утверждая это, мы говорим о **первоначальном** создании слова, о том, как слово создается в первый раз. После своей апробации в языке, после признания новой лексемы коллективом говорящих, после ее превращения в конвенциональный языковой знак, жизнь слова, как и всякого обозначения, меняется. За ним закрепляется более стабильная структура знания, и оно — имя вещи — может использоваться и используется как выражающее некий отдельный концепт, некий гештальт. Может «пропадать» и изначально присущая производному слову мотивированность, а значит, и его семантическая расчлененность. Нет оснований возвращаться в каждом акте употребления производного слова к его внутренней форме. Но тогда, когда мы описываем его деривационную историю, объясняем, как и почему оно возникло и какие операции способствовали его образованию, мы должны восстановить все эти когнитивные процедуры и стратегии, а также дать им по мере возможности определенное истолкование.

Словообразовательные процессы слишком долго описывались исключительно в своих технических подробностях; стали хорошо известными многие формальные и семантические характеристики отдельных словообразовательных способов и моделей. Это позволяет перейти теперь к адекватному осмыслению полученных данных и сделать еще один шаг на пути постижения когнитивных оснований словообразования. Предлагая далее несколько этюдов такого нового осмысления материала, мы хотели бы подчеркнуть, что речь идет прежде всего о выдвижении некоторой программы исследований, о формулировке того, что мы считаем актуальным как для когнитивной лингвистики в целом, так и для когнитивной грамматики, когнитивной ономазиологии и когнитивного словообразования в частности. Таковую программу исследований мы бы хотели сформулиро-

вать и для процессов транспозиции, т. е. поставить в заключение ряд проблем, которые, на наш взгляд, еще нуждаются в более подробном освещении и которые, возможно, разовьют далее общие идеи, изложенные на страницах данного издания.

Мы знаем результаты процессов транспозиции чисто таксономически, «номенклатурно»; теперь надо поставить вопрос в связи с объективацией в этих процессах особых концептуальных структур. Так, транспозицией в класс существительных достигается появление нового обозначения, построенного по его связи с каким-либо динамическим признаком (при его связи с мотивирующим глаголом) или же каким-либо статическим признаком (при его связи с прилагательным). Но хотя в структуре производного существительного эта связь материально выражена (отсылочной частью), в дефиниции имени это тоже находит свое отражение, т. е. хотя перед нами как будто бы расчлененный способ представления семантики, фактически происходит пополнение словаря единицей, фиксирующей **новый концепт**. Именно существительные служат как обозначению мест, лиц и предметов, так и обозначению **абстрактных понятий**. Положение о синтаксических дериватах должно быть в корне пересмотрено из-за способности отглагольного и отадактивного имен формировать интегральное представление о соответствующей концептуальной структуре, материализуя ее специальным словом, которое отныне соответствует **отдельно стоящему концепту**. Концептуально слово *движение* сложнее, чем слово *двигаться*, *доброта* — по сравнению с *добрый* или *длина* — по сравнению с *длинный*. При всем «заимствовании» у исходных слов их главной идеи, семантика абстрактного имени интегральна, а потому ее так трудно описать (недаром словари пытаются обойтись в этой ситуации отсылкой к одному из прямых значений слова, не давая новому слову никакой дефиниции). Не только лексические дериваты характеризуются своей собственной индивидуальностью (ср. *трещина на стене*, *творение рук человеческих* и т. п.), но и так называемые синтаксические дериваты, которые на самом деле входят частью в разряд культурных концептов, в разряд обозначений параметров в математике и физике, в философии и логике и т. п., пополняя собой и чисто терминологическую лексику. Ср. также обозначения человеческих чувств, эмоций, внутренних состояний с их сложнейшими концептуальными структурами, в которых метонимия срабатывает так, чтобы создать по формуле *pars pro toto* совершенно новую целостность.

Иное достигается транспозицией в класс прилагательных: здесь самое важное — появление целой системы новых атрибутов, осмысленных по их связи с объектами или действиями. Они не только множат число возможных признаков, описывающих далее объекты для более быстрого их распознавания и отождествления, что тоже очень важно. Их появление знаменует собой углубляющийся и все время усложняющийся процесс познания мира, процесс **субкатегоризации** выделенных ранее явлений. Производные прилагательные вообще и относительные прилагательные, в частности, позволяют достигать значительной точности в

научных описаниях и яркой красочности в описаниях художественных; возможность использовать такие прилагательные для отражения широкого круга разнообразных лексических значений делает важной и интересной задачу описания их полисемии, а значит, и задачу определения правил создания композиционной семантики при сочетании с такими прилагательными ( см. подробнее ниже).

Аналогичные заключения о концептуальной сложности структур, стоящих за производными словами и потому не вполне раскрываемой их лаконичными определениями в словаре, можно было бы вынести и о транспозиции в класс глаголов. Однако здесь обращает на себя внимание тот факт, что созданием новых глаголов достигается еще одна цель: возрастает не только число действий и процессов, обретающих в языке специальное наименование и потому «высвеченных» в сознании говорящих в качестве отдельных и иногда весьма сложных операций (*расчехлить, состыковать, воссоединить, запрограммировать* и т. п.). Транспонированные глаголы отражают новые и прагматически релевантные **типы манипуляций** с объектами (*жсефрировать, шифтировать*), возникающие на новых ступенях познания мира. Глаголы этого типа отличаются сложной когнитивной структурой и обладают значительной степенью семантической компрессии.

Если даже не разделять мнения когнитологов о том, что рождение всякого нового имени соответствует фиксации новой категории, фиксация нового концепта здесь все же налицо. Но, думается, что очень многие производные существительные являют собой образцы новых категорий, и это еще в большей степени относится к устоявшимся именам качеств и свойств, эмоций и параметров, служащих выделению отдельных категорий в самом «высоком» смысле этого понятия как относящегося к членению мира на самых абстрактных уровнях общей таксономии объектного или предметного мира. Таким образом, причастность процессов транспозиции к категоризации и концептуализации действительности, как, впрочем, и вообще процессов словообразования, заставляет изучать все эти процессы как служащие обработке знаний и тем самым — как являющие собой материализацию и объективацию познавательных процессов как таковых. В том же русле надлежит по этой причине рассматривать и производные слова.

Наблюдения за разными типами транспозиции, в ходе которых они создаются, показывают, что вопреки мнению многих зарубежных когнитологов, абстрактная лексика рождается отнюдь не только в результате действия **метафоры**, но и благодаря действию **метонимии**, а также — что особенно важно — она создается в словообразовательных процессах рассмотренного нами здесь типа как лексика **номинальная**, созданная языковым определением. Это достигается благодаря формированию на основе пропозициональных структур и сложной концептуальной структуры такого имени, которое оказывается способным представлять далее единую интегральную сущность — новый ментальный концепт, и уже в этом виде участвовать затем в последующих познавательных процессах.

Происходящая в акте транспозиции смысловая интеграция заключается во взаимодействии разнородных категориальных смыслов, соответствующем постоянно происходящему усложнению познавательных процессов и, в частности, пониманию того, что объекты, признаки и процессы могут быть интерпретированы не только по отдельности, но, напротив, в их тесной связи друг с другом, **реляционно**. Транспозиция и служит, собственно говоря, отражению этих связей в мире «как он есть», где все взаимосвязано и взаимообусловлено.

## Часть II

# ОРГАНИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ В ГОЛОВЕ ЧЕЛОВЕКА

---

### *Глава первая*

### О ПАМЯТИ

Человеческий мозг получает и перерабатывает огромные потоки информации. С нейтрофизиологической точки зрения он представляет собой систему, связи в которой объединяют около  $10^{12}$  нейронов и где каждый крупный нейрон может иметь чуть ли не по 90000 связей. Но до понимания деятельности всей этой системы еще очень далеко, и каким образом она совершает обработку информации, сказать можно, по всей видимости, только в самых общих чертах (см. [McShane 1991: 14]). Ясно в то же время, что главными задачами центральной нервной системы человека, или, как это обычно именуется сегодня — когнитивной системы человека — являются задачи по получению, обработке, хранению и извлечению информации и что такие когнитивные способности, как восприятие, внимание, мышление, воображение, память и, возможно, некоторые другие, прежде всего — **язык**, все участвуют в решении указанных задач. В их решении и проявляется, собственно говоря, деятельность человеческого мозга и человеческого сознания. Исследованием же этой деятельности как деятельности разума, интеллекта, которым ранее занимались многие специальные науки, сегодня занимается наука **когнитивная**, которая, будучи междисциплинарной, поставила своей целью объединить усилия специалистов в разных областях знания для постижения того, как работает человеческий мозг.

Посвященные анализу установок и принципов этой науки издания сегодня настолько многочисленны, что один их обзор занял бы огромное место, да он и не входит в задачи настоящего раздела. Освещению этого вопроса посвящено немало места и в публикуемых здесь же «Частях речи...», и в нашем «Кратком словаре когнитивных терминов» (см. [Кубрякова и др. 1996]), и это тоже избавляет нас от необходимости повторять еще раз сведения о том, что представляет собой когнитивная наука. Нам лишь важно отметить здесь, что с самого начала ее возникновения ключевыми задачами были для нее проблемы репрезентации знаний «внутри» человека и тех операций с репрезентациями структур знания, которые,

по мнению когнитологов, и составляли суть человеческого мышления и всех ментальных процессов, осуществляемых в его голове.

Поль Тагард во введении в когнитивную науку 1996 г. утверждает, что в когнитивной теории «постулируется набор структур репрезентации и набор процессов, оперирующих с этими структурами» и что «мышление лучше всего может быть понято в терминах структур репрезентации в голове человека (in the mind) и вычислительных процедур, производимых над этими структурами» [Thagard 1996: 10–12]. Естественно, таким образом, что вопрос о том, как и в каком виде представлены знания о мире в сознании человека, — это проблема проблем всей когнитивной науки. Небесполезно, однако, заметить, что разные школы делали акцент на анализе разных типов знания, отражаемых разумом: так, в генеративной грамматике был поставлен вопрос об отражении знания языка и так называемой языковой способности, и многими когнитологами проблема репрезентации знаний ставилась и решалась в том же ракурсе. Но ведь Н. Хомский говорил именно о ментальной репрезентации **языковых** знаний, тогда как в когнитивной науке преследовалась и более глобальная цель: исследовать с помощью обращения к языку отражение знаний о мире.

Подытоживая результаты разных подходов к пониманию ментальных репрезентаций [Thagard 1996: 14–15], Тагард замечает в конце своей книги, что вплоть до настоящего времени в рассмотрении этого вопроса основное внимание в понятии ментальной структуры уделялось именно **структуре** репрезентаций, но ведь такая структура сама возникает только для того, чтобы что-то **замещать**. Когнитивные модели не могут и не должны вследствие этого игнорировать тот несомненный факт, что структуры представляют некие детали физического окружения человека, его социума, его знаний [Там же: 159]. Это означает, что понятие репрезентации должно быть существенно расширено и обогащено: и за счет понимания роли образов в нашем сознании, и за счет понимания роли физического и социального окружения человека, и за счет включения данных о работе всех органов чувств с их ощущениями и эмоциями, и, наконец, за счет понимания того, что человек **делает** — не с концептами в его мозгу, а с реальными вещами в реальном мире и как он взаимодействует с реальными людьми вокруг него.

Анализу роли языка в этом отношении посвящается и серия работ в этом разделе книги, т. е. нас интересует здесь тема, поднятая уже тогда, когда в предыдущей части мы рассматривали понятия категоризации и концептуализации действительности. Но теперь мы хотим рассмотреть не только, как происходит отражение знаний, но и, так сказать, **где** оно происходит и как оно связано с рассмотренными нами понятиями концептов и категоризации. Как подчеркивает МакШейн, сам термин «концепт» отсылает нас к ментальной репрезентации, а категоризация — это яркое доказательство того, что вся когниция (все познанное) носит репрезентативный характер. Между членами одной категории складываются два вида концептуальных связей: их соотнесенности друг с другом и их

положения в иерархической организации всей концептуальной системы в целом. Отношение же между словами и концептами кажется весьма очевидным — слова являются названиями, ярлыками концептов [McShane 1991: 124—125]. Как следует из сказанного, появление слова равносильно объективации какого-либо концепта, служит доказательством его **осознания** человеком, а наличие его репрезентации — того факта, что соответствующий концепт представлен (репрезентирован) его уму и что с ним можно совершать определенные операции и действия. Подобно тому, как в процессах познания непрерывно происходят челночные операции от чего-то, обратившего внимание человека в определенной структуре деятельности, — к осмыслению этого чего-то (объекта как участника ситуации) и созданию концептуальной структуры, регистрирующей выделенные в нем признаки, а далее — и к нахождению **обозначения** для нее, в процессах порождения и восприятия речи такие челночные операции связывают уже сформированный концепт, обозначенный отдельным словом, с миром реалий и миром языка. Можно, однако, описывать тот же круговорот и в других терминах: первоначально складывается ментальная репрезентация воспринятого (обычно, как кажется, она «богаче» концепта, так как связана с воспринятой извне богатой сеткой тактильных ощущений, с репрезентацией визуального облика объекта, его физических характеристик — размера, расположения, формы, запаха, вкуса и т. д.). Ядро ее порождает концептуальную структуру (в нее выборочно включаются наиболее релевантные свойства или атрибуты объекта), вербализации подвергается эта структура. По ходу «ословливания» объекта, таким образом, наблюдается известная редукция сложившегося образа вещи, выбор той его черты или черт, которые могут представлять объект в целом. Подробности этого процесса мы и осветим в следующих разделах, останавливаясь на когнитивных и семиотических аспектах номинативных актов, совершаемых с помощью словообразовательных средств, а также на основных этапах процесса номинации в целом. Но здесь мы рассмотрим иное — как могут быть изучены результаты процесса номинации и как именно они проецируются затем в **память** человека и организуют его **внутренний лексикон**.

Для объяснения феномена памяти были предложены разные когнитивные модели — признаковая, пропозициональная, сетевая, и сейчас среди них наибольшей популярностью пользуется коннекционистская, но в настоящей работе нас интересует в наибольшей степени то, что, на наш взгляд, необходимо знать о ней лингвисту. Память — это «сердце» нашего интеллектуального функционирования, это средоточие того, что составляет личностный опыт человека и — одновременно — разделяемый им с другими людьми его времени, его поколения, его социального и возрастного статуса и т. п. коллективный опыт и картину мира этого коллектива. Конечно, первое, что приходит в голову при мысли о памяти, — это то, что она предназначена для **хранения информации**. На самом деле, не менее важно то, что, храня общие знания о мире, мы получаем возможность интерпретиро-

вать **новые**, сличать и сопоставлять имеющиеся воспоминания с текущей деятельностью и вообще — **динамически использовать** содержащиеся в ней структуры знания, опыта и оценок мира.

Отечественные ученые внесли значительный вклад в понимание этого обстоятельства: вся речевая организация человека «понимается не как пассивное хранилище сведений о языке, а как **динамическая функциональная система...**» (ср. [Залевская 1999: 8]). К тому же, если здесь правильно подчеркивается, что «языку пользующегося им человека представляет собой **одну из психических функций**» и что «отображение реальности в языке невозможно без подключения восприятия, памяти, мышления, внимания и т. д.» [Там же: 12], тогда и память, фиксирующая результаты этих процессов (как бы полны или неполны они ни были, что-то все же входит из этих результатов в человеческую память!), хранит не только то, что объективировано языком и получило отражение в языке, но и массу впечатлений, ощущений, представлений, остающихся от нашего чувственного и практически-познавательного опыта. Это и создает различия между памятью как таковой и памятью **словесной**, т. е. такой составной частью памяти, как **ментальный** (внутренний) **лексикон**, о котором после описания феномена памяти мы скажем отдельно.

Знание даже о простейших событиях включает широкий круг разнообразной информации — от знаний научных, теоретических до практических (умений и навыков), и все это помогает нам не только ориентироваться в мире, но и соответствующим образом **действовать**. Поэтому, говоря о функциях знания, сосредоточенного в нашей памяти, можно сказать, что именно оно предопределяет наше поведение и помогает интерпретировать новый опыт через накопленный старый.

Как подчеркивают когнитивные психологи Р. Эллис и Р. Хант, осмысление текущего опыта происходит на базе тех данных, которые хранит память и которые активизируются во время его обработки; память помогает также планировать будущие события и предвидеть некоторые их последствия (см. [Ellis, Hunt 1993: 170 и сл.]). Понимание памяти как главного источника информации для человека не означает, что мы хорошо знаем, как «достать» что-либо из этого источника. Предположим, замечает П. Тагард, в течение 15 лет вы выполняли в день 10 определенных заданий, тогда в вашей памяти должны были отложиться 54750 решений этих заданий. Теперь, если вам надо выполнить аналогичное задание, как будет работать ваш разум, чтобы выбрать из этого огромного множества наиболее подходящее решение? По всей видимости, такой выбор предпринимается за счет учета трех факторов — структуры события, степени сходства событий и их целей [Thagard 1996: 81 и сл.]. Но подобные объяснения когнитолога вряд ли могут нас удовлетворить — трудно представить себе как раз то, что память в состоянии сохранить в себе эти 54750 воспоминаний. А ведь на самом-то деле мы решаем каждодневно неисчислимо большее количество проблем, и отнюдь не все они

«входят» в нашу память, т. е. не «фильтруются» перед тем, как войти в голову. Хочется в связи с этим заметить, что, несмотря на огромное количество работ о памяти, определить суть этого феномена было бы равносильно определению человеческого сознания, что на сегодняшний день представляется просто нереальным. Наша задача поэтому очень скромна — высказать о ее строении самые общие предположения и изложить для этого самые общие сведения.

Обращение к феномену памяти кажется обязательным не только для психолингвистики, но и для собственно лингвистики, ибо без разъяснения этого феномена не могут получить адекватного описания не только понятие языковой способности, онтогенеза речи и т. п., но и многие аспекты соотношения языка и мышления, а, главное, нормальное протекание процессов говорения и слушания, с одной стороны, и целый ряд принципов организации языковой структуры, с другой (например, в синтаксисе разговорной речи используемые чаще всего структуры связаны с ограничениями, накладываемыми на кратковременную память человека, а в морфологии те же ограничения действуют в сфере организации многоморфемных последовательностей, число членов которых не должно превышать допустимых для удержания в памяти пределов). Однако, как это ни парадоксально, даже в лучших работах по современной лингвистике понятие памяти либо вообще не разъясняется, либо оно упоминается вскользь, либо, наконец, вообще не входит в арсенал исходных терминов. Между тем в специальной психологической литературе существуют фундаментальные исследования в области памяти, без учета опыта которых уже не может быть продвижения в изучении информационного тезауруса человека как базы его речемыслительной деятельности [Залевская 1985; 1999] или внутреннего лексикона как его неотъемлемой части. Настоящая глава и ставит поэтому своей целью высказать некоторые соображения о том, что необходимо знать лингвисту о памяти, путях ее формирования, особенностях устройства и т. п.

По всей вероятности прав Л. Я. Лебедев, утверждая, что нельзя создать теорию памяти, «отбрасывая физиологические представления о деятельности мозга» [Лебедев 1985: 27], и некоторые общие сведения о субстанции, о субстрате, «материи» этого явления тоже необходимы. Отвечая на вопрос о том, почему проблема биологии и физиологии памяти оказалась столь трудной, К. Прибрам в своем фундаментальном исследовании о языках мозга объясняет это прежде всего тем, что практически все развитие поведения человека и научение после короткого начального периода, непосредственно следующего за рождением, происходит при отсутствии указаний на рост числа нейронов в мозгу человека [Прибрам 1975: 42–48]. Доказательства развития памяти надо искать, следовательно, в росте новых волокон, которые меняют пространственную структуру связей между нейронами и создают своеобразные объединения нейронов в некие «пакеты»; их надо также искать в химической пластичности и преобразованиях клеточной ткани мозга, а также в действии механизмов, которые обеспечивают постоянную

активность и постоянную модификацию мозговой ткани на нейронном уровне. Все это требует проведения экспериментальной работы в самых разных науках — химии, биохимии, нейрофизиологии, нейропатологии и т. д., а следовательно, и объединения усилий представителей этих разных специальностей. Более того. Для осуществления экспериментов необходима теория, или, по крайней мере, гипотеза о том, как работает и как складывается механизм памяти. Необходима своеобразная, пусть и гипотетическая модель памяти.

Такой наиболее перспективной моделью памяти можно, по-видимому, считать **модель «следовую»**, связывающую феномен памяти с отпечатками, следами отдельных моментов, эпизодов, явлений восприятия мира человеком в его повседневном, практическом и познавательном опыте. Физиологическими «единицами памяти», хранящими в себе самые разнообразные сведения о внешнем и внутреннем мире человека, служат пачки нейронных импульсов множества нейронов. Каждая отдельная пачка — нейронный модуль — буква нейронного кода памяти. Утраченную способность клеток делиться по мере их роста нейроны как бы компенсируют их импульсацией и организацией в более или менее устойчивые модули. «Все сведения об окружающем мире, о паттернах активности самого человека, его переживаниях, мотивах, целях хранятся в наборе примерно из полумиллиарда кодовых “слов”, при том что каждому “слову” соответствует своя пачка, свой нейронный ансамбль» [Кругликов 1987].

То, что с точки зрения человека существует в его памяти в виде образов, общих представлений о предмете, специальных данных о нем, одним словом, в виде тех или иных знаний, с нейрофизиологической точки зрения соответствует определенному пакету нейронов, или пакету волн. Такой пакет волн, указывают исследователи, «создается когерентной (согласованной) активностью массы нейронов, размещенных в разных пунктах мозга и образующих ансамбль, модуль. Все волны одного пакета хранят информацию об одном образе памяти или какой-то части образа». И далее: «в образах памяти фиксируются порции сведений о предметах, событиях, процессах. Образ может содержать также программу действий, элемент такой программы, обобщение, понятие» [Аполлонская и др. 1987: 57]. Уместно говорить поэтому о том, что разные ступки информации или ее отдельные «порции», «кванты», элементы закодированы в мозгу через их нейронные следы — энграммы.

«Фонд энграмм, — указывает Р. И. Кругликов, — отнюдь не случайное, хаотическое скопление отдельных и независимых энграмм. Это множество составляет определенную систему, во-первых, потому, что каждая из энграмм и их совокупность отражает отдельные стороны единого объективного мира, физиологической среды организма; во-вторых, потому, что сам принцип накопления и сохранения энграмм основан на системности, каждая новая энграмма не просто добавляется к ранее сформированным, а встраивается в систему предшествующих энграмм, реорганизуя эту систему» [Кругликов 1987: 25]. Не случайно К. Приб-

рам утверждал, что «анализ процессов памяти только с точки зрения хранения следов не объясняет другие факты, связанные с запоминанием...» [Прибрам 1975: 385]. Такими другими фактами можно считать, с одной стороны, способы организации и функционирования энграмм, с другой — дифференцированность и неоднородность самих процессов памяти: узнавания и отождествления явлений и объектов в противопоставлении припоминанию и т. п. Важнейшими направлениями в исследовании памяти являются и те, которые связаны с выделением и описанием отдельных типов памяти. И если общим принципом организации энграмм в систему является сетевой, а за функционированием энграмм стоит активация того или иного участка этой сети, то разные типы памяти можно дифференцировать тоже на разных основаниях — по тому, какая порция сведений стоит за энграммами данного класса, по тому, какие виды сетей образуют пакеты волн, каким способом их можно возбудить и активизировать (т. е. что может явиться импульсом возбуждения сети) и, наконец, по тому, в каких интервалах времени может быть извлечена информация из памяти и с какими ограничениями на этот процесс мы сталкиваемся в речемыслительной деятельности.

Интересно отметить, что перечисляя основные механизмы центральной нервной системы, Ч. Осгуд называет лексикон, оператор, буфер и собственно память, но тут же указывает, что все эти механизмы — разные типы памяти [Osgood 1984: 158], причем лексикон — это скорее процессуальный, а не «складской» тип памяти, ибо он обеспечивает при восприятии и порождении языка процессы кодирования и декодирования информации из одного кода в другой; он связывает знаки или представления с их содержанием, и его основными единицами являются корреляты слов или словоподобных сущностей. Оператор и буфер работают в режиме кратковременной памяти и лишь собственно память — долговременна, т. е. предназначена для длительного хранения познанного. Таким образом, с механизмами памяти связаны по существу все процессы человеческой речемыслительной деятельности. Но механизмы эти явно неоднородны.

Так, например, связь между такими понятиями, как «насекомое» и «муравей», «растение» и «цветок», «отец» и «сын» и т. п. стала известной нам, как взрослым, уже давно, и мы сохраняем такую информацию достаточно длительное время. Очевидно, что извлечение из глубин нашего сознания этой информации — это процесс, отличный от того, с которым мы можем столкнуться, если нас попросить запомнить быстро называемый ряд чисел или наугад выбранных слов. Психологи говорили об этих различных процессах, используя для их характеристики понятия долговременной и кратковременной памяти. Как указывает А. А. Леонтьев, различение кратковременной и долговременной памяти было впервые последовательно осуществлено Д. Бродбентом в 1958 г. и развито далее в ряде работ 60-х гг., однако, основания, лежащие за разграничением этих видов памяти, представляются ему шаткими [Леонтьев 1969: 184 и сл.]. Чисто практически кажется вместе с тем, что задача сохранения определенных сведений на будущее

отлична от той, которая возникает в момент удержания неких данных в рамках текущего сознания и в довольно короткий временной отрезок. Не вдаваясь в полемику по поводу конкретного смысла этих понятий у разных исследователей, заметим только, что если при анализе феномена памяти в моделях хранения знаний основное внимание уделялось именно времени удержания сведений и скорости их извлечения, то в более современных процессорных (процедуральных) моделях чаще говорят об активизированных и неактивизированных структурах знания и, таким образом, относят незадействованные в данном речемыслительном акте структуры к имеющимся в долговременной памяти, а задействованные, напротив, — к работающим в режиме кратковременной памяти. Но тогда область существования кратковременной памяти — это просто особое состояние структур памяти.

Обсуждение других видов памяти мы оставим в стороне — это дело специальных исследований, но релевантность фактора времени для выделения разных типов памяти все же хочется поддержать, и если воспоминания связаны с поиском в глубинах сознания, то не безразлично, сколько времени мы затрачиваем на отыскание определенных сведений, а главное, сколько времени требуется на то, чтобы связать одно понятие с другим, одну категорию с другой, иными словами, на то, чтобы совершить некую классификацию явлений, сличить поступающий по разным каналам сигнал с тем или теми, которые были известны ранее, и т. п.

Ф. Кликс характеризует знания, хранимые в долговременной памяти человека как «стационарные» и противопоставляет им знания выводимые [Кликс 1983]. Получение выводных знаний рассматривается им как особый процесс человеческой деятельности, анализ которой составляет одну из основных задач когнитивной психологии. Именно поэтому понимание человеческой речи и извлечение содержащегося в ней значения — это процесс, на котором способы и приемы и стратегии получения знаний из языковых форм могут интерпретироваться как демонстрирующие пути построения выводных данных. Не случайно поэтому, что лингвистике отводится сегодня такое важное место в кругу когнитивных наук: она как бы обеспечивает доступ ко многим явлениям и процессам, наблюдаемым именно потому, что они «пропущены» через языковые формы и в этом смысле имеют объективный характер.

Из указаний Ф. Кликса для нас следует важный вывод: признание им определенной исходной базы знаний, определенного стационарного образования, из которого при необходимости, как из склада, могут быть извлечены требующиеся данные. Собственно, о том же говорит и У. Чейф, когда он различает два разных состояния, в которых может находиться информация (т. е. знание) в различные моменты времени: в одном случае она включается в поток текущего сознания и потому представляется «высвеченной», а в другом случае содержание памяти не активно, в данный момент не «высвечено», но все же некоторым образом «присутствует» в уме [Чейф 1981: 37–38]. Очевидно, что как раз способность выта-

щить некие сведения из недр сознания и означает, что они там имеются и каким-то образом запечатлены.

Дальнейшей дифференциации могут быть подвергнуты и эти данные. Так, Э. Тульвинг предложил разделить хранящуюся в памяти информацию на эпизодическую и семантическую. Первая — это память событий, эпизодов, это локализованные во времени и пространстве воспоминания индивидуального характера. Семантическая же память лишена таких конкретных привязок ко времени ее получения, она скорее деперсонализирована. Эта разновидность памяти включает сведения о языке и о мире, которые имеют содержательный характер. Нередко указывают, что в то время как на предыдущих этапах изучения памяти основное внимание уделялось получению информации и ее забвению, утере, настоящие исследования рассматривают скорее вопрос о том, как активизируется хранимая в голове человека информация и как она там организована. Иначе говоря, ранее акцент делался на изучение того, почему в каких-то случаях память отказывает человеку, почему он делает ошибки при попытках что-то запомнить и усвоить и т. д., в настоящий же момент ученых интересуют более проблемы природы накапливаемых данных и их организации (см., например, [Noordman 1979]). Конечно, именно в этом свете может быть по-новому поставлен и вопрос о том, как соотносены между собой в памяти языковые и неязыковые знания. Поскольку подробный обзор по этой тематике уже имеется (см. [Залевская 1985]), а проблема представления знаний в мозгу человека и их соотношения с языковыми и неязыковыми структурами требует специального освещения, остановлюсь ниже только на тех аспектах анализа памяти, которые необходимы для характеристики внутреннего лексикона.

Выделение в памяти человека этого образования, или механизма, ответственного за хранение языкового опыта говорящего и представляющего совокупность организованных сведений об известном данному говорящему языке, его единицах, категориях и т. п., кажется нам необходимым для того, чтобы, во-первых, ограничить и охарактеризовать ту информацию, которая непосредственно связана с вербальным способом ее бытия, чтобы, во-вторых, рассмотреть на более конкретном уровне проблему обеспечения речевой деятельности человека при порождении им речевых произведений, чтобы, в-третьих, дать более адекватное определение понятию языковой способности говорящего и, наконец, для того, чтобы уяснить в более четкой форме, как происходит процесс формирования этой способности, а следовательно, и процесс усвоения языка в онтогенезе речи. Термин «внутренний лексикон» используется нами для характеристики особенностей организации и строения словесной памяти, т. е. той системы энграмм, которая хранит в себе опыт обращения с языком и которая отражает следы этого опыта. Как подчеркнул В. Кинтш, в плане психологическом — для говорящего — язык можно определить как лингвистическую (языковую, словесную) память, заключающую в себе для каждого человека результаты его индивидуального коммуника-

тивного опыта [Kintsch 1977]. Описать внутренний лексикон — значит описать систему языковых знаний в том ее виде, в каком она существует «внутри» человека, причем представить ее как некий лексикон — значит прежде всего определить единицы такого словаря.

Понятие внутреннего лексикона не тождественно для нас понятию *lingua mentalis*, т. е. ментального лексикона, или концептуальной системы, часть которой, безусловно, имеет привязку к языковым формам, но никак ими не исчерпывается (ср. [Кубрякова 1991]). Не отрицая, таким образом, существования в голове человека информационного тезауруса как базы его речемыслительной деятельности — памяти обо всем и в самых разных формах, мы хотели бы одновременно показать целесообразность выделения в этом тезаурусе собственно лингвистической его части, где знания о мире уже связаны так или иначе с языковыми, более всего — конвенциональными — формами вербализации этих знаний. Хочется в этой связи с самого начала подчеркнуть, что опора на языковые **формы** и все их составляющие позволяет избежать отождествления внутреннего лексикона и его единиц непосредственно с системой значений, этим «пятым измерением» в голове человека, которое охарактеризовано А. Н. Леонтьевым не случайно как квазиизмерение (см. [Леонтьев 1979]). Рассматриваемая в диаде «человек — объективный мир» вся система обозначений, вся концептуальная модель мира должна рассматриваться как вторичная — дериват предметно-познавательной деятельности человека, только часть которой опосредована языковыми знаками.

Если правильно, что «структура словесной памяти рассматривается как часть общего речезыкового механизма, представляющего собой в психологическом плане систему организованных по иерархическому принципу нервных образований» [Ушакова 1979; Зачесова, Подклетнова 1985: 95–96], то можно попытаться выделить также внутри словесной памяти в качестве ее относительно самостоятельной и во всяком случае относительно стабильной части внутренний лексикон — то, откуда во время осуществления речевой деятельности черпаются необходимые языковые формы, то, откуда они извлекаются или то, на основе чего они при надобности создаются.

Что означает практически понятие «коммуникативная память», «вербальная память», «знаковая память»? Задавая эти вопросы, И. Н. Горелов [Горелов 1987: 131] отвечает на них следующим образом: «По нашему глубокому убеждению, это означает, что в определенных отделах головного мозга (неважно, где именно), концентрируются нейрохимические “следы”, “связи”, образовавшиеся в результате многократного и стереотипного (в инварианте) выполнения **моторного акта** — мимического, жестового или звукомоторного (“словесного”). Набор таких “следов” соответствует, следовательно, набору выразительных или артикуляционных движений. Таким образом, “следы” — это мозговой аналог **форм**, которые образуют во внешней среде коммуникативную систему».

На наш взгляд, подобное определение словесной памяти требует существенных уточнений, ибо энграммы соответствуют отнюдь не только «набору выразительных или артикуляционных движений». К тому же непонятно, почему «следы» образуются только в результате «выполнения моторного акта» (кем — говорящим или слушающим?). Думается, что даже индивидуальный речевой акт говорящего откладывается в его памяти в гораздо более сложных формах, не говоря уже о том, что сложность речи начинается с процессов овладения ею. Интересно упомянуть в этой связи о том, что защитники теории врожденности языка подчеркивали чрезвычайную трудность синтаксиса естественного языка и усматривали в невозможности усвоить его в принципе без обращения к информации аргументы именно в пользу врожденных знаний. И, действительно, общее строение языка вообще и его грамматики, в частности, должны быть таковы, чтобы обеспечить саму возможность овладеть ими, иначе нам придется принять гипотезу о том, что способность говорить входит в число биологических свойств человека. А для обеспечения указанной возможности, конечно, необходимо, чтобы воспринимаемые (поверхностные) формы языка содержали некие ключи (указания на) к смыслу высказывания. С этой точки зрения ясно, почему язык начинается не только с моторных актов — говорения, но и с аудиции, аудиторных актов восприятия речи, вслушивания в речь.

Если понимать память как способность человека удержать в голове информацию о мире и о самом себе, обобщая каждодневный опыт человека и определенном образом организуя его, то для формирования памяти следует предположить действие некоторых оперативных принципов. Во-первых, следует предположить существование определенных областей пересечения, или «встречи» информации, полученной по разным каналам. Так, для нормального передвижения в пространстве надо каким-то образом совместить информацию визуальную и моторную, для определения источника звука надо объединить слух и зрение и т. п. По аналогии следует тогда предположить также «интерфейс» вербальной и невербальной информации, т. е. уровень интеграции информации, приходящей по разным каналам [Залевская 1978: 17; Кубрякова 1991]. В онтогенезе речи это существенно для понимания первых высказываний, для соотношения речи с ситуацией, для определения простейших значений первых речевых форм и т. п.

Ставя вопрос об интеграции опыта, полученного по разным каналам, и одновременно — о специфике информации разных модальностей, мы хотим подчеркнуть нерядоположность сенсорной или сенсорно-моторной и пр. информации, воспринятой системой органов чувств, и информации вербальной. Иначе говоря, мы критически относимся к делению памяти на моторную (двигательную), эмоциональную (память чувств), образную и словесно-логическую (см., например [ФЭС 1983: 475]). Парадоксальность положения заключается в том, что в указанном ряду словесная память противопоставляется всем прочим видам памяти — образной, двигательной, чувственной, что и правильно и неправильно в

равной степени. Правильно, поскольку, по всей вероятности, все сенсорные виды памяти имеют — каждый — свои собственные «следы». Неправильно, ибо, по нашему глубочайшему убеждению, сама словесная, или языковая, память организует те же элементы чувственной, образной и двигательной памяти в единую систему вербальных энграмм, где эти элементы уже связаны с языком, вербальной формой их существования.

Если разделять основное для советской психологии положение о том, что и мышление и язык вторичны в том смысле, что они представляют собой дериваты предметной, наглядной, практически-познавательной деятельности человека (А. Н. Леонтьев), надо признать определяющую роль этой активной деятельности и для формирования памяти. Но тогда и в филогенезе, и в онтогенезе следует предположить первоначальное возникновение памяти объектов, памяти реальных предметов и людей, памяти вещей, окружающих человека. Достаточно выдвинуть это предположение, чтобы из него вытекали и другие важнейшие последствия, тоже связанные, естественно, с материалистическим и деятельностным подходом к возникновению психики, ее высших функций и памяти. Ведь если с указанной точки зрения спросить, что значит иметь представление об объекте, знать его, ответом будет — уметь выделить объект среди других объектов, отождествить его, иметь представление о форме объекта, его свойствах, прежде всего — физических характеристиках и т. д. Главное в человеческом знании — это помещение объекта в определенные связи и отношения с другими объектами, умение обращаться с ним, использовать его для чего-то. Знать объект — значит помещать его в определенную структуру деятельности и считать его компонентом этой структуры, видеть объект как вовлеченный в определенные действия с ним. Но если это так, то помимо образа объекта в памяти, обобщенного представления о нем как об отдельной сущности, в памяти закрепляются представления о моторных программах обращения с объектом, о схемах действия с ним и т. п. Память вещи, принимающая первоначальную форму ее образа, усложняется; один образ тянет за собой другой; отсюда один шаг до следующего уровня, или пласта, знаний — памяти двигательной, моторной, памяти связей, памяти схем действий с объектом, памяти деятельностной, а далее и функциональной.

Если память объектов (вещей, материальных сущностей) предполагает прежде всего **образ** отдельной вещи, память объекта в структуре деятельности предполагает уже некую **схему** обращения с ним. Следы объекта в виде чувственных представлений — картинки или намек на картинку — усложняются, дополняются ассоциациями обращения с объектом. Такой вид памяти соединяет воедино наборы вещей, обобщает представления о их связях, организует некие системы их взаимозависимостей. Идя по этому пути, можно реконструировать все более усложняющиеся представления об объектах и тех типах деятельности, в которую они вовлечены, о тех событиях, в которых они участвовали и следы которых имеют, возможно, временные и пространственные привязки и т. п. Очевидно, что со-

временные понятия фреймов, сцен, сценариев и пр. отражают именно такие сложные пакеты связанного между собой знания. Очевидно и то, что сам процесс восстановления указанного пути рождения в голове человека образов, представлений, а далее — все более абстрактных схем действия, программ, систем важен не только сам по себе, но и для понимания того, как формируется языковая память и что именно происходит при усвоении языка ребенком в онтогенезе речи.

Выдвигаемую нами по этому поводу гипотезу мы формулируем следующим образом: человек (ребенок) овладевает языком как привносимой извне данностью; усвоение языка изоморфно усвоению предметного мира и происходит не только параллельно с материальным восприятием мира, совместно с этим восприятием, но и по образу и подобию отражения этого материального, чувственного опыта, т. е. в общих чертах по аналогии с усвоением окружающей нас материальной действительности. Это означает, что и языковая память проходит ступени усложняющихся психических образований, с одной стороны, а, с другой — что она сама включает память разных модальностей, т. е. элементы чувственной, двигательной, зрительной и пр. видов отражения. То, что предстает в виде модуля слова, — это объединение аудиторного образа слова (как оно звучит), моторной программы для его воспроизведения (как его надо повторить), следа его значения, а далее следов «обращения» с ним, т. е. его использования в составе высказывания и совместно с другими словами и т. п.

В условиях первого знакомства с речью другого человека ребенок воспринимает отрезки речи примерно так, как он воспринимает предметные сущности, «вещно» и эмоционально. Языковые данности нельзя считать квазиобъектами — это тоже объекты, у которых есть своя материальная форма их воплощения: звуковая. Звучание речи создает свои энграммы, обобщаются впечатления о соотносительности отрезков речи с эмоциональными состояниями, с простейшими ситуациями. Но главное, что при научении ребенка его учат соотносить повторяющиеся отрезки речи со стабильными объектами, а значит, имя вещи с самой вещью. И хотя в каком-то смысле языковая память формируется как «надвещная» и хотя в этом процессе мир, действительно, удваивается, разделяясь на мир вещей и мир слов, в самой словесной памяти интегрируются элементы образной, сенсомоторной и схемной памяти. Возможность использовать слово **взамен** вещи, использовать слово в качестве знака, т. е. заместителя объекта, рождает двойственный характер энграмм языкового порядка. С одной стороны, такая единица как слово «записывается» во внутреннем лексиконе как аналог звуковой, материальной единицы, определенного на слух целого: человек отличает одно слово от другого так, как он отличает шум поезда от шума дождя или пения птиц на основании акустических различий этих сущностей. С другой стороны, стойкие ассоциации названия вещи с самой вещью, поддерживаемые взрослыми и постепенно закрепляемые в памяти, делают слово знаковым представителем вещи, а следовательно, формируют энграммы значений слова. Наконец, усваиваются и стратегии поме-

щения слова в высказывание, стратегии его сочетания с другими словами, схемы использования слова, а, возможно, и целые блоки, построенные с его участием. Начальные энграммы слова как слухового образа, связанного с определенным содержанием, обрастают сложнейшими системами ассоциаций. Возникает эффект еще одной двойственности энграмм.

Как было справедливо подчеркнuto в специальной литературе, любые явления или объекты, будучи некими «отдельностями» благодаря своим онтологическим связям по самым разным линиям и направлениям, включаются и в памяти в более масштабные системы, в нечто целое. В этом своем качестве они служат репрезентации не только самих себя, но и репрезентации этого целого, т. е. своей системы или своих систем. «Энграмма единственного события так или иначе содержит в себе и информацию о той системе, элементом которой является запечатленное в данной энграмме событие... каждая отдельная энграмма благодаря своей двойственности содержит определенную информацию о связях данного запечатленного события или явления» [Кругликов 1987: 35]. Можно предположить теперь, что наряду с энграммами, хранящими следы информации одной-единственной модальности (звуковой, зрительной, сенсомоторной) и складывающимися тоже в пакеты однородных энграмм, формируются пакеты энграмм более сложного характера, интегрирующие данные разных модальностей. По всей видимости, словесная память отличается в этом отношении от других видов памяти именно своим надстроечным характером. В то же время способность энграммы представлять не только свое собственное начало, но и начало той системы, в которую она включена, в словесной памяти приобретает особое значение. Каждое нейронное образование, хранящее образ слова, т. е. каждый модуль слова, содержит след не только его формы и содержания, но и систем, в которые оно входит. Память слова включает поэтому его употребления, его связи, особенности его сочетания с другими словами и т. п. Но как только мы доходим до понимания этих важнейших свойств словных энграмм, мы доходим до понимания замечательных свойств внутреннего лексикона. Содержащиеся в нем единицы хранят сведения не только о самих себе как об отдельностях, повторяющихся единицах потока речи, но и о тех целостных системах, членами которых они являются. С лингвистической точки зрения, это надо интерпретировать как хранение в памяти всех синтагматических, парадигматических и эпидигматических связей слова. Более того. Поскольку слово выступает в реальной речи в составе текста, память слова — это и память о тех текстах, в строении которых оно участвовало. Отсюда два важнейших следствия для понимания внутреннего лексикона: одно связано с тем, что в памяти **вместе** со словами появляются единицы и меньшие слова, и единицы, большие слова. Другое связано с тем, что жестких границ между единицей и правилом ее употребления фактически не существует. Прокомментируем в заключение кратко два этих положения.

Внутреннему лексикону, конечно, можно дать более узкое толкование, полагая, что он представляет собой буквально некий словарь определенных языковых единиц, известный данному говорящему и характеризующий его как уникальную языковую личность (ср. [Караулов 1988]). Но ведь все единицы в таком словаре существуют не только как исходные и статические единицы, — на наш взгляд, они представляют собой узлы оперативных сетей, возбуждение которых может начинаться с активации любого звена, любой части этой сложной вербальной сети. Мы поэтому рассматриваем внутренний лексикон как такое психическое образование, которое обеспечивает не только хранение необходимой информации о всех языковых единицах и категориях, но и достаточно легкий доступ ко всей этой информации и возможности ее быстрого извлечения в актах порождения и восприятия речи. Мы принимаем во внимание, что внутренний лексикон — это не только «склад» единиц, организованный таким образом, чтобы обеспечить поиск и нахождение нужной единицы, но скорее действующая система, в которой каждая единица «записана» с инструкцией ее использования, с данными о ее оперативных возможностях, притом по всем мыслимым линиям ее употребления — прагматическим, семантическим, чисто формальным.

Расширительное толкование внутреннего лексикона соотносится с путями его формирования в активной речевой деятельности говорящего, когда вхождение его в мир языка означает овладение всей структурой деятельности с языковыми единицами и категориями, а значит, усвоение оперативных принципов использования единиц. Активизация каждой языковой единицы в реальной речевой деятельности означает возбуждение тех ее свойств, тех ее качеств, которые необходимы для данного акта речи, и хотя пусковой импульс может быть различным, он приводит в движение не столько саму единицу, сколько определенный участок включающей ее сети. Такой процесс напоминает скорее картину, наблюдаемую при броске камня в воду и образовании расходящихся от него кругов. И хотя можно предположить, что отдельные круги соответствуют разным модулям, разным системам сведений о данной единице (прежде всего — слове) и есть немало доказательств раздельного хранения собственно лексических единиц номинации (слов и эквивалентных слову обозначений) и морфем, формирующих разные парадигматические и деривационные разряды слов, главное в работе внутреннего лексикона — согласованное действие модулей в момент речи.

При обсуждении вопроса о внутреннем лексиконе продолжается спор о центральной его единице, о том, является ли ею слово или морфема, о том, не представлены ли в лексиконе одновременно и те, и другие, о том, как представлены в лексиконе комплексные, многоморфемные единицы — целостно или же по частям, о том, извлекаются ли подобные единицы во время речи как гештальты или же как собираемые по частям единицы и т. п. Однако, противоречивые экспериментальные данные, полученные в связи с постановкой и обсуждением этих проблем, свидетельствуют, на наш взгляд, о чрезвычайной гибкости и подвижности

лексикона, о его сложном иерархическом устройстве, о том, что в нем «записаны» языковые единицы разной протяженности и разного состава, и о том, что они «записаны» неоднократно и в разном виде. Думается, что по мере необходимости языковые единицы могут всплывать на поверхность сознания в разной форме — в уже собранном, готовом виде, или, напротив, не в целостном, а в собираемом качестве, что поиск единицы может происходить как в опоре на формальные признаки слова (вспомним о рифме), или, наоборот, с учетом необходимого содержания и т. д.

В свете всего сказанного мы полагаем, что нет смысла различать чересчур строго знание единицы и знание правила ее организации, функционирования и устройства. Механизм аналогии может срабатывать на маленьком, узком участке языковой системы — например, при создании формы по уникальному образцу, но может — и на масштабном, при образовании формы по продуктивней модели. Можно было бы различать соответственно не только образование регулярных или же нерегулярных форм, но и разные по объему их действия правила — глобальные или же, напротив, «малые». Существование последних особенно явно наблюдается в морфологии и словообразовании; оно очевидно и в онтогенезе речи, когда ребенок знает некое правило, но не знает конкретно диапазона его действия или конвенциональных ограничений на его распространение.

Можно предположить в силу всего сказанного выше, что организация лексикона соответствует оптимальным способам хранения информации через такую сеть взаимосвязанных единиц, в которой нередко используются как бы дублирующие друг друга системы, гарантирующие успех при любых стратегиях поиска необходимой информации. Так, например, нахождение нужной единицы номинации в порождении речи может быть достигнуто разными путями: одним из них является поиск и нахождение готовой единицы, другим — операция по поиску **образцов** для ее создания по аналогии, третьим — операция поиска **правил** ее создания и т. д.

Перебрасывая мостики от проблемы памяти к проблеме языковой памяти и внутреннего лексикона, а от этих проблем — к вопросу о механизмах порождения речи, хочется еще раз подчеркнуть, что языковые способности человека связаны с аппаратом его памяти, что его внутренний лексикон — это система хранения языковых единиц в таком виде, который обеспечивает фиксацию при каждой единице инструкций по ее поведению, а следовательно, в таком, который гарантирует оперативное участие этой единицы в осуществлении речевой деятельности. Трудно поэтому сказать, где кончается собственно лексикон и где начинается область существования оперативных механизмов речи, — они неразрывно связаны между собой, лишь совместно обеспечивают нормальное протекание речевой деятельности — процесса, который постоянно черпает необходимые для этого данные из человеческой памяти.

## Глава вторая

### О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ СЛОВА «ПАМЯТЬ»\*

Рассмотрев представления о памяти с научной точки зрения, мы хотим дополнить этот анализ рассмотрением слова **память**, пытаясь выяснить, какая структура знания стоит сегодня за этим словом для простого (усредненного) носителя русского языка и с какой концептуальной структурой связано это слово в его сознании. Предпринимаемый нами анализ, как кажется, отличается в первую очередь от традиционного анализа семантической структуры этого слова, согласно которому мы должны были бы приписать ему несколько значений (прежде всего — воспоминаний и их запаса), но не могли бы объяснить целого ряда привычных употреблений этого слова в серии конструкций (например, с предлогами *на* или *по*) или же отождествления (синонимизации) понятия памяти с понятием сознания. Отличен, по всей видимости, этот анализ и от такого, который можно было бы назвать когнитивным, ибо в этом случае речь бы шла именно о том, какая структура знания нашла свою объективацию в слове, а не о том, в виде каких концептов она была здесь сформированной. Возможно также, что сам концептуальный анализ, предлагаемый ниже, имеет собственные отличительные черты, т. е. не вполне совпадает с тем, что принято считать концептуальным анализом в специальной литературе (см., например, по этому поводу у Р. Джекендоффа и комментирующей его взгляды А. Гольдберг в специальном номере журнала «Cognitive Linguistics»...). Не представляя к тому же итогов более полного рассмотрения употребления слова в большем количестве контекстов, наш анализ преследует и более скромные цели — выявить некие **смыслы**, интегрированные словом и объясняющие особенности его использования.

Предлагая небольшой фрагмент концептуального анализа (КА) слова **память**, мы преследуем разные, но взаимосвязанные цели. С одной стороны, уточняются основания КА и его отличия от семантического анализа. Несмотря на то, что се-

---

\* Впервые опубликовано в виде статьи «Об одном фрагменте концептуального анализа слова *память*» в кн.: Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991. С. 85—91.

мантический анализ отдельного слова обнаруживает точки соприкосновения с его КА, их конечные цели нетождественны. Если первый направлен на экспликацию семантической структуры слова, уточнение реализующих ее денотативных, сигнификативных и коннотативных значений, то КА предстает как поиск тех общих концептов, которые подведены под один знак и определяют бытие знака как известной когнитивной структуры. Семантический анализ связан с разъяснением слова, КА — идет к знаниям о мире. С другой стороны, интерес представляют и непосредственные результаты КА применительно к такому слову духовной культуры, как **память**, которое сейчас обретает множество новых значений и демонстрирует модель развития определенных ключевых слов.

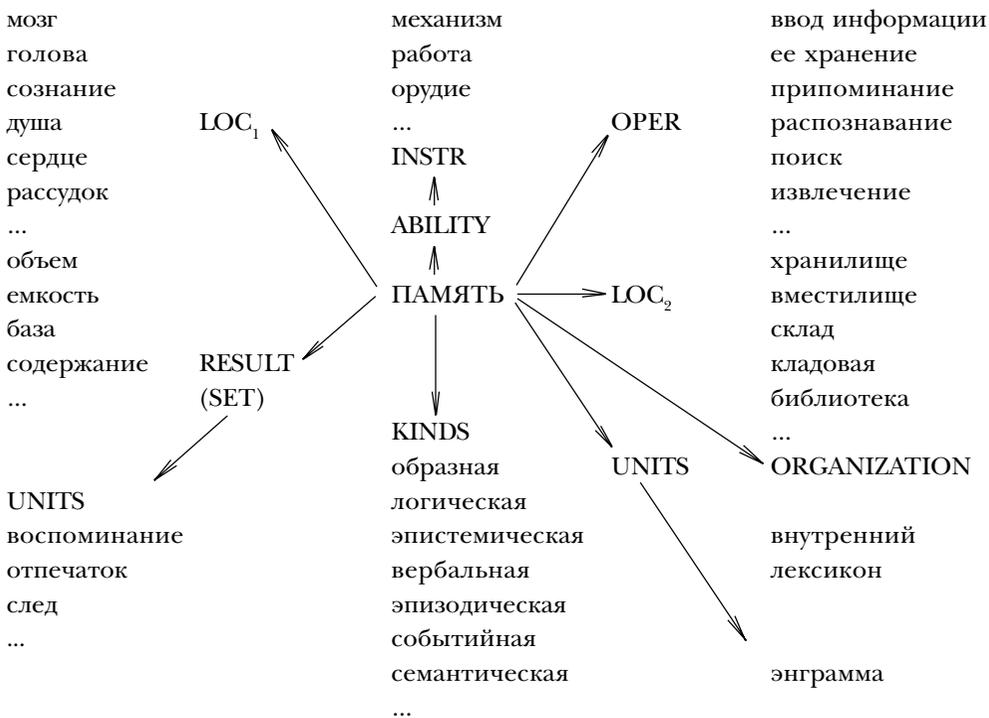
В то время как конфигуративная и фонологическая сложность подобных слов остается длительное время относительно неизменной, а их семантическая структура хотя и меняется, но постепенно, концептуальная структура некоторых ключевых слов подвергается радикальным преобразованиям, отражая процесс подведения под форму того же знака более сложного содержания. В истории таких слов может наступить момент, когда их интенционалы сохраняются в относительно стабильном виде, экстенционалы же слова получают новое развитие и, связывая новый опыт со старым, начинают свою собственную жизнь — в новых парадигмах знания. Выбранное для КА слово отражает именно такой процесс, а поэтому позволяет рассмотреть на конкретном материале, как меняется соотношение интенционала и экстенционала слова, каким может быть взаимодействие между обыденной и специальной лексикой, какой сложной и в то же время объяснимой может быть история развития слова. Среди слов, характеризующих духовную деятельность человека, слово **память**, несомненно, занимает особое место. Одно из ключевых слов русской поэзии, оно характеризует устремления русской литературы — сохранить в памяти народной моральные и этические ценности, сформировать идеалы поведения и образы, достойные подражания, сохранить все лучшее из опыта народа и его культуры. Писатели и поэты, философы и ученые мечтали оставить свой след в памяти людей и сделать свое творчество достоянием человеческой памяти.

Когда в «Беседах о культуре» С. С. Аверинцев говорит о филологии, он определяет ее так: «наука и историческая память», замечая далее: «...Мне кажется, что мы живем в такое время, когда происходит резкая поляризация человеческих возможностей, между прочим, и по отношению к наследию прошлого. Тот, кто сейчас выберет путь исторической памяти, получит ее, эту утрату, с такой полнотой, какая до сих пор была просто невозможной» [Аверинцев 1988: 36]. Объясняя, почему ему близок Вяч. Иванов, он подчеркивает: «благодаря уникальному чувству исторической памяти, живущей в слове, в конкретности плотного, сгущенного, сосредоточенного слова» [Там же: 6].

Ощущаемая здесь переключка с мыслями М. М. Бахтина о памяти слова заставляет нас обратить внимание на то, какой очевидной была связь между памятью и

языком, и поставить вопрос о том, что же сохраняет само слово **память** в своей концептуальной структуре, какие идеи собирает оно в единый гештальт, что сосредоточено в нем самом. По определению С. И. Ожегова, слово **память** значит в обыденной лексике «способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений», и на основании этой дефиниции мы и можем начать строить концептуальную, или когнитивную, карту слова как организованную вокруг таких концептов, как «способность», «сознание», и наконец, «запас», интерпретируя каждый из них и связывая с ними те или иные употребления слова.

Коррелируя с глаголом *помнить*, который означает «удерживать в памяти», слово **память** означает нечто вроде способности помнить, что возвращает нас к идеям А. Вежбицкой о перцептивной лексике и ее понимании через триаду «способность — орган — функции» и заставляет в нашем случае раскрыть способность помнить через локализацию этой способности в голове/мозгу/сознании человека, а также через такие функции памяти, как распознавание, узнавание, припоминание, сохранение в ней опыта, знаний, извлечение их из памяти и т. д. (см. рис.).



Если обороты типа *память подвела/отказала* свидетельствуют о том, что она понимается как некий орган, а обороты типа *в моей памяти* равносильны в ряде контекстов обороту *в моем сознании/воображении*, то обороты *быть без памяти, привести в память* и т. д. указывают на синонимию памяти и сознания. Примером инструментального прочтения слова являются конструкции *память хорошо/плохо работает*.

Интересно, что сосредоточением воспоминаний, впечатлений может быть не только сознание, но и сердце, душа, слово, а значит, локус памяти понимается достаточно различно: к тому же сердце может помнить нечто отличное от того, что помнит рассудок, ср.:

О память сердца, ты сильней  
Рассудка памяти печальной.

Обороты *память чувств/сердца/слова* и т. п. начинают цепь представлений о ней как определенном вместилище, хранилище, кладовой и даже складе, и, пожалуй, именно концепт ЛОС становится главным для конструкций в обыденной речи. Действия, связанные с памятью, описываются такими предикатами, как *хранить в памяти* — *извлекать из нее, присутствовать в памяти* — *отсутствовать в ней, удерживать в памяти* — *не удерживать, сохранять* — *не сохранять, стать достоянием памяти* — *черпать из нее* (как из колодца). Хотя лексикографически этот компонент не отмечен, фактически он маркирует огромное количество случаев употребления слова. Именно это осмысление служит мотивом для сравнения памяти с библиотекой, и Аристотелю принадлежит мысль о том, что обращение к памяти равносильно поиску нужного тома книги. Согласно современным воззрениям, работа памяти напоминает работу библиотечной поисковой системы (ср. [Найссер 1981: 82]), а теория памяти выступает одновременно и как проблема получения, переработки, сохранения и извлечения информации, и как проблема **ее организации**, и, наконец, как проблема **ее единиц**. Совершенно очевидна связь этих проблем с центральными проблемами когнитивных наук.

Проще говоря, развитие многих современных значений можно наблюдать именно в связи с концептом **вместилища**: на базе этого «ближайшего» значения слова рождаются «дальнейшие», в том числе и терминологизованные, специальные значения — «емкости памяти», ее объема, ее «пропускной способности» и т. д. Развитие претерпевает и рожденный на основе понимания памяти как кладовой или склада образ памяти машины — аналога базы знаний в компьютерах (и запаса знаний, и их организации в памяти-устройстве). Но, пожалуй, самое впечатляющее развитие получает концепт **единицы** памяти, ибо в кладовой хранится нечто конкретное, а вместилище служит помещением, местом для чего-либо.

Уже в обыденной речи по принципу *pars pro toto* и *totum pro parte* слово **память** легко становится эквивалентом частицы памяти, ее единицы, т. е. синонимом слова *воспоминание*, ср.: *память о героях войны, о событиях 1941 года, память о*

прошлом и т. д. Ср. также: *посвятить свой труд памяти кого-либо*, т. е. сделать его **знаком** памяти, знаком воспоминаний. В этом смысле слово **память** особенно часто используется и в поэзии, ср. у А. А. Ахматовой:

Память о солнце в сердце слабеет...

Или:

Тяжела ты, любовная память!

В обыденной речи используется и такая единица памяти, как след, отпечаток, образ, ср. у Пастернака:

«Не трогать, свежевыкрашен», —  
Душа не береглась,  
И память — в пятнах икр и щек,  
И рук, и губ, и глаз...

(Примечательно, что оба поэта считают память локализованной отнюдь не в голове, а в душе и сердце!)

От всех этих следов памяти можно протянуть цепочку к таким научным понятиям памяти, как «энграмма» и «след».

Мотивы перехода от понятия памяти к представлению о ее единицах очевидны и с лингвистической точки зрения: валентности глагола *помнить о ком-либо/чем-либо* «наследуются» словом **память**. А поскольку можно помнить о разных событиях, людях, книгах, впечатлениях и даже о том, какое чувство вызывало то или иное событие и как оценивался тот или иной факт, виды памяти оказываются весьма разнообразными. Экстенсионалы такого рода связаны поэтому с формированием представлений о **видах** памяти, которые могут зависеть от времени удержания в памяти того или иного явления (ср. кратковременную и долговременную память), от того, что конкретно хранится в памяти (ср., например, противопоставление эпизодической памяти и памяти семантической, из которой первая считается привязанной к определенному месту и времени запомненного события, а вторая — безотносительной ко времени и месту ее получения /или, наконец, от того, в какой модальности была получена та или иная информация и в какой форме она оставила свой след). Так, например, различают память зрительную (мы вспоминаем те или иные картины, образы и на нашем внутреннем экране можем «прокрутить» целые сцены, своеобразные фильмы), память слуховую (мы помним ряд мелодий, а возможно, звучание стиха и речи близких), тактильную, осязательную и, конечно, вербальную.

Нередко память вербальную, или словесную, противопоставляют всем остальным типам памяти, однако это весьма неточно: вербальная память сама включает и слуховые образы знаков, и зрительные образы их написания, и образы содержания знаков — концепты — идеальные единицы сознания, составляющие часть общей концептуальной модели мира.

Концептуальный анализ можно было бы продолжить и в другом направлении, поскольку, идя от значения ЛОС и зная иерархию глубинных семантических падежей, мы могли бы легко объяснить переходы и семантические сдвиги от одного значения к другому в цепочке:

LOC → SOURCE → GOAL → RESULT и т. д.

В прототипической семантике такие сдвиги уже были описаны в работах Т. Гивона, Дж. Лакоффа, У. Чейфа (см., например, [Чейф 1983; Concepts... 1987]). Но, пожалуй, самое интересное заключается в том, что каждый концепт, включенный первоначально в когнитивную структуру рассматриваемого знака, начинает серию преобразований экстенсионалов слова и становится таким образом источником и отправным пунктом новых употреблений слова, стимулом для введения в действие законов регулярной полисемии со всеми ее предсказуемыми семантическими сдвигами (метафорами, метонимиями и т. п.).

Возможно, что впоследствии богатство новых значений слова и их разнообразие заставят пересмотреть и исходную, интенциональную, структуру слова и что постоянные челночные операции в речевой деятельности — от интенционала к экстенсионалам, новым областям референции и, наоборот, от этих экстенсионалов с их обогащающим эффектом к лексическому ядру слова — изменят и синхронную систему значений слова **память** или вызовут преобразования в их иерархии. Эту картину динамики семантической структуры слова мы и попытались показать нашим анализом.

Вернемся к когнитивной карте слова. Можно рассматривать ее как отражение наиболее употребительных контекстов слова. Можно — как констатацию всех направлений, по которым идут преобразования семантики слова. Можно — как рекомендацию к более полному лексикографическому представлению значений слова и т. д. Существенно, что предлагаемая карта демонстрирует как центробежные, так и центростремительные потенции слова, о которых когда-то писала Н. Ю. Шведова [Шведова 1984]. В этом смысле указанные в схеме концепты служат посредниками между «готовым» интенционалом и «рождающимся» в употреблении слова новым экстенсионалом. К тому же, если идти от концептов к интенционалам, вырисовывается картина конвенционального значения знака, а если от концепта — к их конкретным субститутам «вправо» и «влево», видна складывающаяся в языке синонимия. Все вместе дает представление о семантических сетях, связывающих отдельные значения слова, и можно говорить о когнитивной структуре как о фреймовой, ибо заполнение концептуального слота отражает обычные сочетаемости рассматриваемого слова, его стандартные заполнители и т. д.

Находящееся в центре схемы слово **память** выступает в виде порождающего механизма, источника своих разнообразных «разверток», и легко представить дальнейшие ответвления от точек на этой схеме.

В своей ранней работе А. Вежбицкая писала о том, что в словаре положение отдельных слов не тождественно, ибо одни слова как бы высвечивают значение других и выступают как объясняющие их смысл [Wierzbicka 1972]. Они — как лампы на елке, которые освещают и другие игрушки. Образцом таких слов она считала семантические примитивы, немногим более десятка слов. Можно полагать, что такой же силой — объяснять семантику других слов — обладают и ключевые слова эпохи. Как подчеркивали ранние семиотики, знак только тогда становится знаком, когда он интерпретирован с помощью других знаков, или, как отметил Ю. С. Степанов, каждая операция со знаком культуры и его истолкованием сама становится знаком культуры.

В русской поэзии слова в цепочке *память — душа — жизнь* связаны между собой так тесно, что сама память персонифицируется, выступает как нечто живое, которое может заговорить: 3-й раздел цикла стихотворений А. А. Ахматовой «Anno Domini» и стихотворение 1913 года называются «Голос памяти», а в «Реквиеме» («Приговор») она пишет:

У меня сегодня много дела:

Надо память до конца убить...

Из сказанного ясно, что сегодня мы не можем объяснить содержание таких центральных философских понятий, как «сознание», «знание», «мозг», «информация» и др., не обращаясь к понятию памяти и не создавая теории памяти. Концептуальный анализ этого слова имеет, таким образом, прямое отношение не только к истолкованию самого слова, к пониманию всего аппарата когнитивных наук, но и к объяснению таких важнейших для лингвиста понятий, как «язык», «слово», «внутренний лексикон».

### *Глава третья*

## **О МЕНТАЛЬНОМ ЛЕКСИКОНЕ. ЛЕКСИКОН КАК КОМПОНЕНТ ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА**

Подчеркивая особую значимость когнитивного подхода в лингвистике, мы бы хотели отметить, что он позволяет подойти по-новому не только к определению языка — он ставится в один ряд с такими когнитивными способностями, как восприятие, внимание, память и т. п., — но и рассмотреть в этом свете по-новому главные черты его устройства и организации, а следовательно, дать более адекватную интерпретацию составным частям системы языка и их соотношению. По существующей традиции систему языка делят на лексику и грамматику, да и описание языка строят как противопоставляющее словарь синтаксису и морфологии. Сегодня, однако, надо пересмотреть наши взгляды на природу и функции лексикона, отставив не столько мнение о его противопоставленности грамматике, сколько, напротив, идеи их органичной связи, «перетекания» одного в другое и, конечно же, известной условности границ между ними.

Правильность или, по крайней мере, правомочность такой точки зрения на соотношение лексикона и грамматики становится особенно ясной при обращении к проблеме языковых способностей человека, при изучении речевой деятельности говорящих, при исследовании языковой личности как обладающей сведениями о языке, необходимыми для осуществления нормальной речевой деятельности по порождению и восприятию речи. Язык — это то, что дано в качестве особых способностей его носителю, это определенный объем ресурсов и средств, служащих проведению речевой деятельности, это то, что обеспечивает целую совокупность процессов, так или иначе связанных с вербализованными знаниями, — это не только порождение и восприятие речи, это и чтение, и письмо, и перевод, и некоторые другие разновидности деятельности. Именно в связи с этим и возникают вопросы о том, что представляют собой вербализованные знания, знания о языке и знания языка, в каком виде существуют эти знания в голове че-

ловека, как упорядочены и стратифицированы эти знания и каковы принципы этого распределения. Ответы на эти вопросы возможны только при условии выхода за пределы самой лингвистики и подключения ее к новой парадигме научного знания, именуемой когнитивной наукой и носящей ярко выраженный междисциплинарный характер. И, действительно, если структурные характеристики языка обусловлены такими факторами, как биологическое строение человека, особенности восприятия им мира, устройством его памяти и т. д. — а это, несомненно, так [Лакофф 1981: 350], то представить эти характеристики силами одной лингвистики и невозможно.

Подобная постановка проблемы явно связана с переносом внимания с одних вопросов на другие: как указывает Н. Хомский, лингвистика очень долго занималась «внешним», «экстериоризованным» языком, — наступило время заняться языком «внутренним», «интериоризованным», языком внутри нас [Chomsky 1986: 3; Carston 1989: 38 и сл.]. Мы уже указывали на то, что для описания интериоризованного языкового опыта используются два разных термина — языковая способность и внутренний лексикон [Кубрякова 1991: 137], и хотя оба они покрывают представления о том, как отражен в голове человека «внешний» язык, два этих термина лучше разграничивать. Один относится прежде всего к характеристике того, что умеет делать человек с имеющимися в его распоряжении данными о языке, в ходе каких процессов человек приобретает эти знания и как он их использует. Термин же «внутренний лексикон» относится, на наш взгляд, к той аналоговой системе, которая представляет собой вместилище всех сведений о языке и которая предназначена для того, чтобы хранить, упорядочивать и обрабатывать сведения о языке, почерпнутые из опыта или, возможно, врожденные. По сути своей лексикон — это неотъемлемая часть человеческой памяти, имеющая вербализованный характер или прошедшая вербальную форму, то есть так или иначе связанная с обработкой информации в вербальной форме. Устройство внутреннего лексикона определяется, таким образом, тем, что, с одной стороны, это своеобразный аналог системы лексики определенного национального языка, а с другой — часть общей организации человеческого мозга, его интеллекта, часть общего пространства памяти человека.

В предыдущей главе мы подробно рассмотрели определение памяти и ее главных функций, останавливаясь прежде всего на вопросах о ее **организации**. В настоящей главе, продолжая начатое рассмотрение, меняется фокус внимания: здесь в основном освещается та часть памяти, которая определяется знаниями о языке и его единицах, и возникает вопрос о том, четко ли выделена эта составляющая в памяти как таковой. Неопределенность ответа на этот вопрос нередко приводила исследователей к тому, что в качестве синонимов термину «память» использовалось и понятие **концептуальной системы**, и понятие внутреннего, или **ментального лексикона**, и, наконец, понятие **информационного тезауруса** человека и т. п. Но, на наш взгляд, все эти понятия следует различать.

Хотя все они реализуют в общем одну и ту же идею — идею того, чем владеет человек «внутри себя», — члены категории объединены, действительно, «фамильным сходством» и сопоставимы попарно.

Ближе всего стоят друг к другу понятия памяти и информационного тезауруса человека, и если первое характеризуется как полный набор воспоминаний о всех чувственных переживаниях и эпизодах человеческой жизни (это то, что он помнит, результат прошлого без дифференциации потока оставшихся впечатлений), то второе определяется скорее как источник информации, накопившейся в памяти, от опыта, оценок и знаний, которые можно использовать далее в разных структурах деятельности — не только в речи, но и в поведении. Все перечисленные образования динамичны, пополняются всю жизнь, но, может быть, и тезаурус, и ментальный лексикон более «стационарны», ибо то, что «содержится» в них, более устойчиво и стабильно. Тезаурус охватывает единицы, **осознанные** нашим разумом, в известном смысле обработанные и входящие в сферу познанного, тогда как до попыток вспомнить что-либо и извлечь из памяти, трудно сказать, есть ли это что-то в глубинах сознания и удастся ли это вспомнить.

Труднее всего, по всей видимости, дать определение концептуальной системе, ибо она представляет собой некие смыслы, которыми оперирует и манипулирует человек в процессах речемыслительной деятельности как некими отдельными идеальными сущностями (концептами).

Как кажется, наиболее полное представление о сути этой системы дано в концепции Р. И. Павилёниса, согласно которому — она «непрерывно конструируемая система информации (мнений и знаний), которой располагает индивид о действительном и возможном мире» [Павилёнис 1983: 280]. Здесь отражается познавательный опыт человека, но сам этот опыт не связан исключительно с языком: человек знакомится с миром до знакомства с языком, и уже на этой довербальной и невербальной стадии он не только знакомится с объектами, доступными непосредственному восприятию, но и **интерпретирует** увиденное и услышанное. Ориентируясь в мире, человек образует знания об объектах своего наблюдения, — причем «он **идентифицирует** и соответственно **различает** определенные объекты еще до введения (усвоения) естественного языка»... [Там же: 107, см. также 100 и сл.; 112; 263—264]. Соотношение выделенных концептов с языком весьма сложно, и «вообще искать изоморфизм между словесной формой и концептами нет смысла уже ввиду непрерывности строения концептуальной системы и дискретности языка» [Там же: 109]; ср. также: «...мы начинаем отличать красные от некресных объектов не потому, что усваиваем критерии правильного употребления предиката “красный”...» [Там же: 113]. Подлинная роль языка в познании мира не сводится к порождению мысли — приписывание ему этой функции методологически несостоятельно [Там же: 263]; не обязательно и его участие в этом процессе (мышлении); но как только оно происходит, существеннейшие изменения происходят и в самом этом процессе. Он принимает качественно новую фор-

му не только потому, что складываются предпосылки коммуникации, но и потому, что «**манипулируя... вербальными символами**», человек получает возможность «**манипулировать концептами системы**» и строить **новые концептуальные структуры** [Там же: 113–114; подчеркнуто самим Павилёнисом].

С помощью языка происходит, с одной стороны, **фиксация** концептов (благодаря чему части концептуальных систем становятся социально и конвенционально закреплёнными системой знаков), а, с другой — их **построение** («в качестве меток на непрерывном пространстве смысла»).

Все эти, казалось бы, такие отвлечённые рассуждения имеют прямое отношение и к разграничению терминов, по необходимости входящих в научный аппарат теоретической лингвистики, и к дальнейшему обсуждению проблем о роли языка в познании мира, и, наконец, к рассматриваемому непосредственно в данном разделе вопросу о том, как отражаются разные типы знания в памяти человека вообще и в ментальном его лексиконе, в частности.

Итак, в концептуальной системе широко представлены концепты, относящиеся к мнениям и знаниям, установкам и оценкам, к пониманию **целей** познания и **способов** его получения, а также к желательности, необходимости или же возможности получения определенных сведений о мире и т. п. Концептуальная система богаче и разнообразнее, нежели то, что содержит семантическая система языка или же все средства обозначения в нем имеющиеся: взгляд на эту систему со стороны ученого как некоторую совокупность знаний, характеризующую по **объёму** знаний и по **типам** этих знаний, рождает представление о **тезаурусе** (особенно подробно описана эта сторона человеческого сознания в работах А. А. Залевской и представителей тверской психолингвистической школы). Наконец, если память — «склад» всех тех образов, о которых можно вспомнить в отсутствии вызвавших их объектов, то ментальный лексикон — это совокупность знаний, группирующихся «вокруг» слова, и всех сведений, вытекающих из осознания его связей с другими словами и другими оперативными единицами сознания (концептами).

«Совокупность слов в словаре, — пишет П. Тагард, — называется **лексиконом**, поэтому совокупность слов или концептов, репрезентированных в сознании, называется **ментальным лексиконом**». Он организован иерархически, а помимо названных единиц в нем можно предположить отражение грамматических правил; выучивание языка означает овладение всей концептуальной системой, а она тесно связана со всеми уровнями языка, и представители когнитивной грамматики настаивают на отсутствии жесткого противопоставления лексики и грамматики [Thagard 1996: 68–69].

Возможно, что название, выбранное для обозначения всей системы хранения и использования знаний о языке, имеет условный характер. Ведь термины «лексика» и «лексикон» вызывают у нас представление о каких-то списках лексических единиц, а идея интериоризованного языка этим явно не исчерпывается — до

статочно напомнить в этой связи о том, как много хранится в памяти готовых синтаксических конструкций, клише разного рода, развернутых фразеологических оборотов и т. д. И все же указанная условность тоже относительна — речь идет, действительно, о том, что во внутреннем нашем мире хранятся некие единицы, что они образуют своеобразный словарь и что описывать его легче всего, именно идя «от слова», то есть, группируя единицы «вокруг слова». Теорию внутреннего лексикона мы и строим, исходя из мысли о центральности слова для всей его организации, полагая, что весь комплекс сложных проблем, относящихся к устройству и объединению структур знания о языке внутри нас, можно распутать, рассуждая о природе слова и его статусе в системе языка.

Синонимичным обозначению «внутренний лексикон» является и название «ментальный лексикон», и для зарубежной лингвистики, пожалуй, более привычно именно второе обозначение. По словам Ф. Джонсон-Лэрда, его придумал Дж. Миллер, говоря о «ментальных словарях» как отличных от обычных наших (печатных) словарей и отметив, что первые могут содержать немало примитивных концептов, для которых нет привычных и простых обозначений; к тому же слова в этом ментальном словаре представляются связанными друг с другом, т. е. не стоящими по отдельности (см. [Johnson-Laird 1988: 194–195]).

Давая разъяснение термину «ментальный лексикон» как тому компоненту грамматики, в котором содержится вся информация — фонологическая, морфологическая, семантическая и синтаксическая, — которой говорящие владеют о словах и морфемах, К. Эммори и В. Фромкин подробно описывают те репрезентации, которые эта информация получает в головах говорящих. Таким образом, ментальный лексикон оказывается представленным разными типами репрезентации для каждой из его единиц, а потому он в целом носит модулярный характер (т. е. как бы разбитого по отдельным субкомпонентам, или модулям), что, по их мнению, более соответствует психолингвистическим экспериментам, нежели представления о том, что вся информация о слове хранится «при слове» (см. [Emmorey, Fromkin 1988: 124–125]). Интересно, что, завершая свой обзор о моделях лексикона, они указывают, что хотя лексикон и содержит репрезентации лексического значения отдельных единиц, это совсем не означает включения в него знания о реальном мире (случаи агнозии свидетельствуют скорее о том, что сведения о лексических лингвистических знаниях и знаниях нелингвистических репрезентируются в мозгу человека «в разных местах» — Там же, 146).

При анализе ментального лексикона рассматриваются обычно его модели, дающие представления о том, как происходит доступ к слову (access), а затем, как происходит его «извлечение» из памяти (retrieval); изучаются также все свойства слова по их ментальной репрезентации в голове человека, глобальная организация лексикона и т. п. (см., например, [Hall 1992]). Интересно отметить, что уже Н. И. Жинкин подчеркивал важность при восприятии речи **образа** всего слова в целом, указывая на ту ее стадию, когда люди «в интеграле разных признаков, при-

надлежащих вещам и образующих разные конфигурации», «находят образ» [Жинкин 1982: 52]. Для него лексикон — это прежде всего образы слов в памяти человека.

Если у Ю. Н. Караулова введенные им наряду с понятием лексикона понятия грамматикона и прагматикона [Караулов 1987: 89 и сл.] служат дифференциации типов языкового знания, используемое нами общее обозначение направлено скорее на то, чтобы подчеркнуть внутреннее единство всех знаний, глубокую органическую связь знаний разного рода и, наконец, совершенно особую роль слова для интеграции всех этих специфических типов знания, особенно лексического и грамматического.

Интересные мысли по этому поводу были высказаны в работах Н. И. Жинкина: при восприятии речи, — отмечал ученый, — «все действия по организации грамматической структуры были направлены к тому, чтобы открыть поле деятельности для лексики. Реальное значение, т. е. такое, которое может соответствовать действительности, образуется только в лексике» [Жинкин 1982: 49]. Несколько ниже он объясняет это тем, что при обработке речи необходима стадия, когда «происходит чудо — слова пропадают и вместо них возникает образ той действительности, которая отображается в содержании этих слов». «Это концепт, — утверждает Н. И. Жинкин, — отражение действительности» [Жинкин 1982: 53].

Характеризуя «активизирующие» способности слова, его способность возбудить некие участки сознания или перевести эти участки в область текущего сознания, указывая на то, что слово может служить стимулом для развития целой цепочки реакций, говорят обычно о двух разных вещах: во-первых, о том, что слово может активизировать структуру сознания, более сложную, нежели отдельный концепт, например, фрейм (ср. [Категории искусственного интеллекта... 1987: 26]) или же, во-вторых, о том, что слово с его значениями выступает как представитель определенных семантических сетей. Хотя семантическая сеть как модель памяти описывается в виде включающей в качестве своих узлов определенные концепты, имена таким концептам не случайно даются определенными словами, их обозначающими. По мысли Р. Симмонса, такой узел представляет конвенциональное значение слова, а в концепт слова входит представление о том, какой части речи оно принадлежит, в каких категориях способно использоваться и т. д.; Г. Скрэгг же отмечает, что концепт узла выступает как аналог некоторой сущности, о которой в сети хранится определенная информация [Скрэгг 1983: 260, 236]. Таким образом, уже и в этих теориях слово выступает как единица, вытягивающая в принципе не только собственную, связанную с лексическим значением слова информацию. Еще более радикально используется идея о том, что может активизировать слово в нашей концепции, где широкое применение находят также некоторые положения о взаимодействии лексики и грамматики в слове, развивавшиеся в отечественном языкознании, и принципы так называе-

мого лексикалистского подхода к языку, развивавшиеся в связи с лексикалистской гипотезой начала 70-х годов, сформулированной впервые Н. Хомским.

В 80-х гг. эти мысли получают все более широкое признание и ложатся в основу нового направления в описании языка, получающего название лексических грамматик. В качестве базовых понятий в этих грамматиках выступает понятие лексических правил и лексикона как главных компонентов языковой способности говорящих, то есть ключевыми концептами для понимания интериоризованного языка становятся такие лексические единицы, как слова.

«Грамматика — это лексикон», — утверждает, например, в своей грамматической теории Ст. Староста [Starosta 1998], и этот парадокс разъясняется им с помощью понятия лексических падежей: все грамматически релевантные свойства слова, в том числе его способность служить выражению падежей и /или организации падежных конструкций, при описании языка должны быть записаны при самом слове. В языковой же способности говорящих они «хранятся» при слове. Грамматика мыслится автором работы как собрание лексических единиц и сводится к их полному описанию путем указания при каждой единице ее категориальных и субкатегориальных характеристик, свойств ее сочетаемости и т. п. Граница между лексическими и грамматическими правилами при этом исчезает: правила отражают отношения между единицами или между признаками единиц. Предложения рассматриваются как последовательности слов, связанных между собой разными типами связей — зависимостями, а это значит, что сам лексикон порождает правильно оформленные предложения; предложение же правильно тогда, когда каждое включаемое в него слово удовлетворяет условиям его правильно-оформленности. Чтобы приблизить форму такого описания к привычному представлению о грамматике, надлежит только обобщить сведения об отношениях зависимости между определенными типами слов, об их ролевой специфике и инвентаре ролей, о маркировке этих падежей некими языковыми средствами, о категориальных и субкатегориальных свойствах слова и последствиях категоризации и субкатегоризации для сочетаемости и ограничений на сочетаемость, наконец, о том, как должен выглядеть при этом сам лексикон и как должна осуществляться полная паспортизация включенных в него единиц. Важно, что подобное представление грамматики является психологически достоверным, то есть соответствующим определенной психической реальности репрезентации языка и сведений о языке в мозгу говорящего.

Другой разновидностью лексической грамматики является словная грамматика Р. Хадсона, разработанная им в начале 80-х годов, а затем развитая в ряде недавних публикаций (см., например [Hudson, Langendonck 1991]). И здесь в основание грамматики, как показывает ее название, положено слово, все же грамматические отношения описываются как отношения зависимости между словами. В последнем варианте этой теории уже появляются такие новые понятия, как понятие наследования (производная единица наследует черты исходной для нее еди-

ницы, ее вершины), понятие отношений типа *ISA* (*x is a ...*), заимствованных из компьютерной терминологии, наличия «вершины» у каждой из синтаксических конструкций и т. п. Интересно также отметить, что постулаты этой грамматики связываются в ее последней версии с когнитивной наукой, и согласно этому языковые знания считаются составляющими общих знаний человека. Именно поэтому они и наследуют иерархическую структуризацию знаний. Важно и то, что слово объявляется базовой когнитивной единицей и что весь синтаксис сводится к цепочкам слов. Наконец, существенно, что словная грамматика считается имеющей прямое отношение к семантике, в которой наличие границ между знанием языковым и знанием мира, между лексиконом и грамматикой и т. д. полностью отрицается [Там же: 310, 335].

На то, что современные психологические когнитивные исследования более связаны с лексиконом, нежели с синтаксисом, указывают и такие замечательные когнитологи, как Дж. Миллер и Ф. Джонсон-Лэрд [Miller, Johnson-Laird 1976: 694]. В воспоминаниях о Дж. Миллере красной нитью проходит мысль о том, что именно в его лаборатории рождались положения о лексиконе как окне в понимании того, как «упаковываются» концепты, а, следовательно, о том, что его анализ будет играть все более и более важную роль в теориях синтаксиса [Carey 1989: 197].

И, действительно, тезисы о центральной роли лексического компонента в языковой способности человека, о слове как базовой единице внутреннего лексикона находят самое доказательное подтверждение в когнитивной грамматике [Raprotté 1993: 271–272] и в тех направлениях отечественного языкознания, которые всегда признавали особое положение слова в лексике и грамматике и которые, по существу, подготавливали почву для быстрого признания и развития идей когнитологии у нас в стране.

В концепции В. Левельта лексикон выступает как посредник между замысливаемой внешней речью в ее концептуальной форме и ее дальнейшим порождением в том отношении, что именно выбираемая в этом процессе лексическая единица активизирует ту синтаксическую структуру, в которой она найдет свое место уже в определенной грамматической и фонологической реализации. Левельт подчеркивает основополагающую (*сrucial*) роль лексикона в порождении речи и этим объясняет необходимость в психолингвистике подробно описать внутреннюю структуру лексических единиц во внутреннем лексиконе и всю их организацию в этом образовании (см. [Levelt 1989: 181 и сл.]). Полагая, что ментальный лексикон — это хранилище декларативного знания о словах определенного языка, он считает, что каждое слово оказывается здесь связанным с информацией четырех типов — о значении слова, о его фонологических, морфологических и синтаксических особенностях, а иногда также и о его прагматических, стилистических и даже экспрессивных характеристиках. Внутренняя структура лексикона определяется тем, что в качестве лексических единиц (*items*) при одном слове (*entry*) учитываются и его формы, создаваемые системой флексий, зато deriva-

ты одного слова создают отдельные «включения» в лексиконе. Отношения же между словами могут создаваться по всем типам связанной с ними информации, т. е. по их семантике, фонологическим особенностям и т. п. Но слова могут быть связаны друг с другом и ассоциативными связями. В порождении речи особую роль играют семантические и синтаксические признаки слова, вместе взятые составляющие ту часть слова, которая называется **леммой**, и главной составляющей ментального лексикона является именно лемматическая [Levelt 1989: 182–187].

Существующие теории доступа к слову, т. е. выбора надлежащего слова для реализации намерений говорящего, а также разнообразные функции слова в речемыслительной деятельности человека получили подробное освещение в работах представителей Тверской школы психолингвистики, особенно А. А. Залевской и ее концепции слова в лексиконе человека (см. помимо указанных ранее работ материалы коллективной монографии «Психолингвистические проблемы функционирования слова в лексиконе человека» 1999 г., где также содержится обширная библиография по вопросу).

Предложенная А. А. Залевской спиралевидная модель восприятия слова очень важна и для понимания роли памяти в хранении знаний, и для понимания роли слова во внутреннем лексиконе. «Согласно данной модели, — пишет Т. Ю. Сазонова, — слово обеспечивает доступ к единой перцептивно-когнитивно-аффективной информационной базе человека (памяти), которая формируется по законам психической деятельности, но под контролем выработанных в социуме систем норм и оценок. С этих позиций то, что идентифицируется человеком как слово в единстве его формы и значения, оказывается точкой пересечения множества разнообразных связей, ... благодаря чему учитываются языковые и энциклопедические знания...» [Сазонова 2000: 6]. Очевидно, что такой подход противопоставлен в известном смысле модулярному подходу к организации лексикона, о котором мы скажем ниже. Хотелось бы отметить важную для решения всех поставленных проблем внутреннего лексикона в Тверской школе идею категоризации (как лежащей в основе всей когнитивной деятельности человека) и ее значимости для психолингвистической трактовки феномена **референции**, «изучавшегося прежде преимущественно с чисто лингвистических позиций» [Барсук 1999: 23 и сл.].

Если в работе В. Левельта основное внимание уделено роли ментального лексикона в порождении речи, а в работах школы А. А. Залевской — в ее восприятии, то В. Марслен-Вилсон подчеркивает, что ментальный лексикон — это центральная система обработки языка как таковая, т. е. ее значимость одинаково велика и для порождения, и для понимания речи, хотя участие слова и ментальных репрезентаций знаний о словах в указанных процессах и различаются [Marslen-Wilson 1992: 273–275].

В когнитивной грамматике Р. Лангакра грамматика и лексикон рассматриваются как один континуум, в котором начальные позиции занимает именно лекси-

кон. Весь язык описывается исключительно в терминах структур трех порядков — фонетических, семантических и символических [Langacker 1991: 280]. Символические, то есть знаковые единицы, объединяют некую фонетическую структуру с семантической, образуя предикации-слова. Семантические единицы могут быть установлены только по отношению к определенным участкам знания, по когнитивным сферам, которые выделяются как сферы концептуализации (классификации) мира. Вся категория значения приравнивается к результатам подобной концептуализации или осмысления окружающей нас действительности. Базовыми когнитивными сферами считаются пространство и время, цвет и форма и т. п. Для характеристики некоторых лексических единиц достаточно обращения к одной из этих когнитивных сфер: так, предлог *before* может быть понят относительно сферы времени, а прилагательное *red* — по отношению к сфере цвета. Но большинство языковых выражений демонстрирует более сложные формы концептуализации, и для их описания требуется соответственно обращение к более сложным участкам знания. «Любая деталь наших сведений о какой-либо сущности способна играть определенную роль в принципах организации лингвистического поведения того языкового выражения, которое служит обозначением этой сущности», — пишет Р. Лангакр. Жестких границ между энциклопедическим знанием и языковым значением не существует, а переходы между ними носят градуальный характер.

И лексика, и грамматика близки потому, что имеют дело с символическими структурами, а весь интериоризованный язык — это «структурированный инвентарь конвенциональных языковых единиц» [Langacker 1991: 286]. В качестве единиц этой системы рассматриваются такие хорошо усвоенные и знакомые формы, которые говорящий может без труда выволить из своей памяти как нечто целостное, готовое, «предсуществующее» речи. В то же время инвентарь таких единиц является структурированным, поскольку некоторые единицы могут выступать как части более сложных конструкций, складываемых по отработанным схемам, формулам. Не только лексика, но и грамматика может рассматриваться как инвентарь конструкций, детерминированных их составляющими и отношениями между ними. Но составляющие эти — простейшие конвенциональные символические структуры, начиная от морфем, слов и т. п. — даны в лексиконе, и знание языка начинается со знания этих единиц. Знание грамматики как бы задается в знании того, как надо оперировать простейшими единицами лексикона.

При таком подходе к лексикону вполне естественно возникает вопрос о том, а какие именно знания ассоциируются со словом или в других терминах — словом индуцируются? Этот вопрос можно сформулировать более развернуто и в следующем виде: что мы знаем, когда мы знаем то или иное слово? О чем может сигнализировать слово? Частичный ответ на поставленные вопросы содержится в психологической теории лексикона, разработанной Дж. Миллером и Ф. Джонсон-Лэрдом [Miller, Johnson-Laird 1976]. Подчеркивая, что комплекс знаний, связан-

ных со знанием значения слова, очень сложен, они объясняют это тем, что в этот комплекс входят:

- сведения о том, чем может являться и чем не может являться объект, обозначенный данным словом; с какими другими объектами, явлениями, процессами, событиями и т. д. он сам связан;
- сведения о назначении и функциях объекта и той схеме ситуаций, в которую он может быть вовлечен; сведения о возможностях объекта;
- сведения о том, с какими другими словами в предложении может встречаться слово, передающее известное значение, и какие ограничения наложены на его сочетаемость и т. п.

Главный вывод, к которому приходят когнитологи в связи с обсуждением рассматриваемой проблемы, заключается в том, что «значение (слова) может вести вас ко всему тому, что вы знаете о величине, обозначенной данным словом» [Там же: 702], то есть служить доступом к энциклопедической информации в долговременной памяти человека.

Оценивая сказанное психологами, нельзя не подчеркнуть, что их выводы — это выводы всей традиционной лингвистики, только сформулированные в более современной форме. Ведь к сегодняшнему дню не только традиционной, но и современной лингвистикой накоплен огромный опыт по изучению слова, а, следовательно, подавляющее число свойств его строения, семантики, функционирования, статуса и т. п. хорошо известны.

«Слово — самая сложная единица языка, — пишет по этому поводу Н. Ю. Шведова. — Суммируя кратко то очень многое, что уже сказано в разное время разными исследователями по поводу этой сложности, можно назвать следующие факторы...» [Шведова 1984: 7]: в слове отражены черты истории, оно относится одновременно и к реальному миру вещей, и к мышлению, и к другим единицам языка; в нем сочленены означающее и означаемое; оно демонстрирует одновременно и звуковую, и морфологическую, и семантическую структуру; оно является единицей двух систем — лексической и грамматической; оно участвует в акте коммуникации, вступая в межсловные отношения, и, возможно, в одно и то же время и «служит», и «знаменует» (обозначает, называет) и т. д.

Приводя эти соображения, я преследовала особую цель: выдвинуть тезис о том, что слово **может** активизировать сложнейшие структуры нашего мозга по **любой** из намеченных линий, то есть индуцировать своим появлением (как во внешней, так и во внутренней речи) целые пакеты гетерохронной и гетерогенной информации. Такие сложнейшие феномены, как память слова, его способность служить источником звуковой символики (в том числе — рифмы), ассоциаций по значению и форме, его потенциальная возможность быть разложенным на более мелкие части и, напротив, послужить базой для формирования сложных комплексных комбинаций, — все это и многое другое разрешает выйти «через слово» к

разнообразным структурам знаний, причем как к вербализованным, так и невербализованным.

Еще в ранних своих работах Р. Джекендофф писал о том, что «должны существовать такие уровни ментальных репрезентаций, на которых информация, передаваемая языком, сопоставима с информацией, полученной другими периферийными системами — зрением, слухом, запахом, моторикой. Если б не было таких уровней, нельзя было бы использовать язык для описания сенсорных ощущений. Точно так же, для того чтобы отразить факт способности людей выполнять приказы, нужен такой уровень, на котором лингвистическая информация совмещается с информацией, тут же передаваемой двигательной системе» [Jackendoff 1984: 53]. Но как мы делаем это? Значимость лексикона заключается поэтому не только в том, что в памяти человека хранятся самые различные по своей форме и содержанию единицы, обеспечивающие в своей комбинаторике нормальную речевую деятельность, но и в том, что среди этих единиц фигурирует такая удивительная и всемогущая единица, как слово.

**Часть III**

**РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДНОГО  
СЛОВА В ОБРАБОТКЕ ЗНАНИЙ**

---

*Глава первая*

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ \***

Выдвигая свои соображения о том, какие проблемы представляются сегодня актуальными в области исследования словообразования славянских языков, мы бы хотели подчеркнуть с самого начала трудность и необъятность поставленной задачи. Несмотря на то, что славянские языки являются, несомненно, одной из наиболее хорошо изученных групп, в силу реального положения дел отдельные славянские языки изучены в словообразовательном отношении в разной степени, и, возможно, для некоторых из них не потеряла своей актуальности проблема их описания. Существующие описания выполнены к тому же в разных традициях, а не только с разной степенью полноты, и я не берусь утверждать, какие проблемы нуждаются здесь в их устранении. Таким образом, в число актуальных проблем могут по-прежнему входить в области словообразования проблемы получения и новой систематизации эмпирического материала. Очевидно, однако, что для целей сопоставления славянских языков и представления общей картины особенностей их словообразовательных систем необходим единый теоретический подход. Общие его установки я и попытаюсь сформулировать в настоящем докладе, полагая, что как давние традиции описания явлений словообразования в славянских языках, так и само разнообразие и богатство описанных в них словообразовательных моделей и категорий, а также исключительная ценность оригинальных концепций, выдвинутых при освещении славянского материала, позволяют мне надеяться на то, что именно применительно к этим языкам можно ставить задачи их исследования в новых ракурсах и с новой точки зрения.

Такие новые точки зрения и новые подходы к словообразованию возникли в лингвистике в силу появления в ней самой новых идей, касающихся понимания

---

\* Впервые опубликовано: Научные доклады филологического факультета МГУ. Вып. 3. М., 1998. С. 53–70.

языка и особенностей его функционирования. Новые теории языка, созданные в рамках разных направлений и школ, отражают во многом значительные успехи, достигнутые в определении языка и в определении целей лингвистики, и можно с полной на то уверенностью утверждать, что постановка каких-либо конкретных проблем в рамках этой науки — следствие выбора и сознательного следования в ней определенной парадигме научного знания. Для того, чтобы разъяснить смысл и содержание проблем, о которых я буду говорить далее, я и остановлюсь прежде всего очень коротко на характеристике той парадигмы лингвистического знания, которая представляется мне наиболее перспективной. Хотелось бы отметить при этом, что само такое рассмотрение принципов и установок новой парадигмы знания позволит очертить одновременно и тот **первый круг проблем**, который я считаю актуальным для словообразования в славянских языках, а именно — проблем, относящихся к относительному пересмотру и расширению теоретического аппарата словообразования, к новому пониманию его **функций**.

Контуры новой парадигмы знания в лингвистике начали, на наш взгляд, вырисовываться в ней примерно с начала 80-х гг., когда большинство ученых стало поддерживать определение языка как **когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникации** (см., например, эту позицию у Т. Винограда [Winograd 1983]). Процесс этот является когнитивным, поскольку он связан с осмыслением опыта человека и познанием мира, но он является одновременно и связанным с коммуникативной деятельностью человека, так как вне этой деятельности нельзя сделать опыт человека и его оценку достоянием других людей. Процесс является когнитивным, так как в нем беспрестанно фигурируют знания трех типов (по крайней мере) — знания о мире, знания о языке и знания о ситуации или контексте речи: он является коммуникативным, поскольку осуществляется при порождении и восприятии речи, и, наконец, он является языковым, ибо язык выступает как средство объективации данных о мире и о самом себе. Соответственно, все, что существует в системе языка или образует эту систему, — все ее единицы и категории, — все это служит в конечном счете нормальному протеканию указанного процесса и потому должно удовлетворять одновременно как когнитивным, так и коммуникативным требованиям. В отличие от узкого когнитивизма или же узкого функционализма, признающих или гипостазирующих лишь одну из сторон языка, я хотела бы поддержать определенную компромиссную точку зрения, полагая, что будущее нашей науки определяется созданием такой парадигмы знания, которая органически соединит и синтезирует достижения в области когнитивной науки с теми, что были достигнуты в рамках коммуникативного или же коммуникативно-прагматического подхода к явлениям языка. Думается, что в Европе такая концепция языка уже находит своих сторонников и что сближение позиций школы когнитивного анализа и анализа дискурсивного окажется достаточно плодотворным. Думается также, что именно такой интегрированный взгляд

на язык целесообразен и при пересмотре кардинальных понятий теории словообразования.

Хотела бы отметить также, что развиваемая мной точка зрения естественно продолжает те идеи, которые были заложены в теории словообразования **ономазиологическим направлением**. Внутри этого направления вся номинативная деятельность в языке определялась как речемыслительная, а значит, как постоянно соотносящая между собой речевые или языковые структуры с мыслительными, т. е. когнитивными или концептуальными. В конкретных работах представителей этого направления как у нас в стране, так и в других европейских странах уже был сделан решительный шаг в сторону изучения номинативного аспекта речевой деятельности, что и позволяло (а, скорее, заставляло) учитывать при описании актов номинации их обязательную связь с коммуникативным процессом. В разработке таких тем, как «словообразование и синтаксис», «словообразование и текст» и, наконец, «прагматические аспекты словообразования» (ср. особенно в работах В. И. Заботкиной) уже принимались во внимание такие важнейшие для словообразования факторы, как общий замысел текста, конкретные установки и интенции говорящего, адресатность его речи и ее ситуативная обусловленность.

Положение о том, что, формируясь, производное слово проходит путь от знака-сообщения к знаку-названию, от мотивирующего суждения об обозначаемом к его номинации, о том, что при создании или использовании в тексте каждое производное обретает свои собственные функции и т. п. — все эти установки проходят, собственно, и через всю процедуру **синхронной реконструкции словообразовательного акта**, предложенную нами в середине 70-х гг. и позволившую продемонстрировать и на фактическом материале, какие задачи способно решать словообразование в тексте [Кубрякова 1976; Кубрякова 1980]. У нас нет и не может быть оснований отказываться от этих теоретических положений и сегодня, но необходимо уточнить и развить их в свете новых достижений когнитивизма и функционализма.

Измениться должны, по всей видимости, прежде всего наши представления о **предназначении** словообразовательных систем, об их устройстве и организации, о строении центральной единицы этой системы — производном слове (далее — ПС) и главных объединениях этих единиц по разным формальным и содержательным параметрам и т. п. В славянских языках с их развитыми словообразовательными системами и разветвленной системой словообразовательных (ономазиологических) категорий, со словарями, в которых производная лексика составляет до 75–80% всех слов языка, все это существует прежде всего как огромная **база данных**, служащая не только хранению информации и позволяющая доступ к ней, — она содержит эту информацию в упорядоченном виде и потому предлагает образцы когнитивной переработки и **сортировки** информации и способствует членению поступающей к человеку информации по неким канони-

ческим или прототипическим формам ее языкового представления. Производная лексика оказывается огромным массивом, из которого можно извлечь при необходимости некие готовые единицы номинации, но — одновременно — и такой базой данных, которая снабжает говорящих на этом языке **схемами** соединения определенных структур знания с определенными словообразовательными конструкциями, механизмами словообразовательного моделирования и стратегиями извлечения семантики из ее единиц, процедурами обработки новых данных и т. п. Словообразовательные системы работают в этом качестве как **порождающие среды**, каждая единица которых способна не только к простому ее воспроизведению в тексте, но и к **аналогическому** ее повторению в серии единиц.

Иначе говоря, словообразование следует рассматривать как систему обеспечения потребностей в выделении и фиксации особых структур знания, в объективации и экстерииоризации интериоризованных концептуальных структур (ментальных репрезентаций опыта и знаний человека), т. е. их «упаковки» в языковые формы, отвечающие определенным формальным и содержательным требованиям. Такой языковой формой и является **производное слово**, и именно как единицу хранения, извлечения, получения и систематизации нового знания и надо рассматривать эту единицу. Если раньше мы считали, что словообразование лежит на пересечении лексики и грамматики, что ПС является средоточием особых лексических, грамматических — морфологических и синтаксических, а также словообразовательных свойств, сегодня должны признать, что такое его положение определяется как раз тем, что оно, подобно двуликому Янусу, служит двум господам и имеет два «лица» — когнитивное и коммуникативное. Собственно говоря, все значимые единицы языка должны рассматриваться под этим углом зрения, но выделение их как **отдельных** и самостоятельных единиц происходит только в том случае, когда форма и содержание такой единицы оказываются согласованными **в особом виде**. Если ограничения на форму знака наложены здесь тем, что этот знак может и должен существовать в виде слова, то ограничения на содержание и форму знака связаны с тем, что передаваемая им информация упаковывается в **мотивированный** и, как правило, **расчлененно** передающий свое значение знак, а также знак, оптимально согласующий свои когнитивные и коммуникативные задачи.

Если с когнитивной точки зрения словообразование ориентировано на оптимизацию и обеспечение познавательной деятельности человека, на вербализацию духовной жизни человека и воспринятого им мира, это приводит в ходе исторического развития языка к созданию достаточного числа словообразовательных категорий и словообразовательных моделей, которые по своему содержанию отвечают уровням членения информации и выделению в ней наиболее существенных для жизнедеятельности человека смыслов. В компетенцию словообразования входит поэтому его участие в формировании языковой картины мира, в актах категоризации, в процессах когнитивной обработки поступающей к челове-

ку информации и т. д. В то же время дискурс налагает на центральную единицу словообразовательной системы, отражающую все перечисленные выше когнитивные ее функции, свои собственные требования. Здесь вступают в силу две главных тенденции в организации дискурса: сделать его максимально информативным и понятным для восприятия и достичь этой цели за счет приложения минимальных усилий. Это дискурс требует противопоставления топика и комментария, темы и ремы, данного и нового, референции и предикации, особого распределения информации по всей поверхности текста или же в линейном дискурсе; это он маркирует синтактико-семантические роли составляющих, всю аргументно-функциональную сторону коммуникативного акта и выполняемых им при этом иллокутивных функций.

В итоге производное слово нужно рассмотреть под указанным углом зрения и выявить все конституирующие его свойства, не довольствуясь уже при этом простым его определением как мотивированного знака языка или даже как знака, обладающего определенной ономаσιологической структурой, т. е. структурой, в пределах которой определенному ономаσιологическому базису ономаσιологический предикат приписывает особый ономаσιологический признак. Скорее следует объяснить, почему именно эта структура оказывается аналогом определенной **пропозициональной структуры**, которая, будучи актуализованной, характеризовалась бы всеми дискурсивными характеристиками, перечисленными нами выше. Нелишне при этом отметить, что многими когнитологами пропозициональные структуры считаются основными «форматами» передачи знаний и потому важными единицами оперативного плана в нашем сознании. Быть может, именно способность ПС объективировать пропозициональные структуры и затем служить их простому угадыванию, способность служить такой единицей номинации, которая удобна для упаковки информации и использования ее в речевой деятельности, и характеризует ПС как особую когнитивно-дискурсивную структуру. Попадая в разряд единиц, служащих обозначению одной и той же пропозициональной структуры, а значит, одной и той же ситуации, объекта, процесса или признака, ПС становится тем самым объектом когнитивной семантики. В иных терминах можно было бы сказать, что поскольку одна и та же пропозициональная структура может лечь в основу разноструктурных единиц номинации и быть объективированной в виде альтернативных конструкций ср. [Панкрац 1992], а шкала таких единиц существует (см. ниже), ПС начинает занимать свое место среди других возможных единиц и выявляет при этом свою собственную протяженность, уровневый статус, свою функциональную нагрузку, свои синтагматические и парадигматические свойства. В задачи словообразовательного анализа и входит тем самым уточнение указанных свойств, описание их по всем перечисленным параметрам по отношению к каждому отдельному типу ПС, построенных по разным словообразовательным моделям и позволяющих разные возможности их включения, или вставления (*lexical insertion*) в текст или дискурс.

В указанном качестве ПС становится не только объектом когнитивной семантики, в задачи которой, по единодушному признанию ее представителей, входит изучение средств выражения одного и того же содержания, но и объектом дискурсивного анализа, в ходе осуществления которого устанавливаются правила выбора одного из таких альтернативных средств или же мотивы и условия предпочтительного употребления одной единицы из ряда возможных в конкретном тексте и реальном дискурсе. В актуальные задачи теории словообразования входят вследствие этого многие новые интересные и важные проблемы: проблемы закономерностей распределения информации в ПС разного типа, проблемы способов передачи информации, отдельные «кванты» или отрезки которой уже «схвачены» такими ментальными репрезентациями, как пропозициональная структура, и которые нуждаются в ходе своей объективации в создании неких моделируемых форм передачи **функции** и **аргументов** исходной пропозиции и связывающих их отношений.

Мне кажется, что намеченное мной исследование целесообразнее всего осуществить в такой ситуации, когда текст или дискурс содержат одновременно разноструктурные единицы номинации, объединенные хотя бы частичной повторяемостью используемых в них компонентов, или составляющих, и проблемы, к рассмотрению которых я теперь перехожу и которые образуют **второй круг** актуальных задач в описании словообразования славянских языков, вытекают непосредственно из указанной выше установки.

Тематика этих вопросов определяется анализом **номинализаций** и обуславливается нерешенностью многих связанных с нею проблем и в то же время особенной значимостью этих конструкций для славянских языков, к которым обычно относят как отглагольные имена, так и отадективные названия свойств или качеств предметов. Эта тематика возникает в лингвистике в связи с появлением трансформационной, а позднее — генеративной грамматики, и она объединяет в один узел проблемы преобразования предложений (или — лежащих в их основе пропозициональных структур или частей таких структур) в конструкции иного формата и структуры. Неоднократно обсуждавшаяся в многочисленных публикациях, особенно в связи с появлением знаменитой работы Н. Хомского о номинализациях [Chomsky 1970], эта тематика далеко не исчерпала себя и поныне, и не случайно, что к ее рассмотрению вновь и вновь обращаются как типологи, так и когнитологи. Новое обсуждение проблем номинализаций можно было бы по праву связать с работой Б. Комри, который поставил вопрос о том, не следует ли вообще противопоставить отглагольные имена как **готовые** единицы номинации, задаваемые в словаре, и номинализаций — как трансформированные или же трансформируемые предложения [Комри 1985]. Так, по его мнению, слово *изобретение* в значении конкретного существительного (изобретенной новой вещи, предмета) относится к первой группе. Фактически, однако, легко привести такой контекст, в котором это имя выступает как трансформированное предло-

жение (ср. *К его изобретению долго не возвращались и К тому, что он изобрел, долго не возвращались*), можно полагать поэтому, что Комри очертил скорее границы определенного феномена и указал на крайние точки одной шкалы обозначения, где на одном полюсе оказываются названия конкретных предметов, мотивированные глаголами или прилагательными, а на другом — соответствующие мотивирующие эти обозначения суждения. Тогда номинализации начинают занимать разные места на той же шкале, объединенной общностью передаваемого содержания, а противопоставляются за счет форм его представления в разных языковых структурах, начиная опять-таки от производного существительного и через ступени разных номинативных комплексов (сложных слов и разных придаточных оборотов). Название номинализаций оказывается при этом целесообразным сохранять для создания и использования таких конструкций, которые характерны для дискурса и являются в этом смысле текстообусловленными и текстозависимыми.

Комри принадлежит также формулировка о том, что «в отглагольном имени нейтрализуются многие категории, свойственные личному глаголу (время, вид, отрицание, в какой-то мере залог)» и что в целом они следуют в тексте законам представления именных групп [Там же: 42 и сл.]. Если, однако, в словаре рассматриваемые единицы выглядят, действительно, как нейтрализующие некоторые из глагольных категорий (и то далеко не всегда), то в тексте и дискурсе соответствующие им значения довольно легко «всплывают на поверхность» и естественно входят в семантическую структуру данной номинализации. Можно считать, как это некогда предположил Д. Уорт, что в отглагольном имени мы нередко имеем дело с его принципиальной многозначностью, или «амбигуозностью» деривата [Worth 1972: 131]; текст же легко снимает эту многозначность. Так, если отглагольное имя типа *обмен* и может восходить к глаголам *обменить*, *обменять*, *обменивать*, а также *обмениться*, *обменяться*, *обмениваться*, то какой из этих *обменов* имеется в виду в тексте, с очевидностью вытекает из него самого. Нельзя не учесть также реальных различий в этом отношении отдельных славянских языков, отглагольные имена в которых могут наследовать глагольные значения своих источников, см., например [Исследования по славянскому глаголу... 1993].

Необходимость постоянного сопоставления отглагольного имени с исходным для него глаголом (как и сопоставления деадъективной лексики с мотивирующими ее прилагательными) побуждала многих исследователей считать, что проблема номинализации — это прежде всего проблема соотношения глаголов и имен как разных частей речи [Бортэ 1980; Croft 1991: 21] <sup>1</sup>. Наиболее определенно такую точку зрения отстаивает в 1993 г. и Зуччи, отмечая, что в своей монографии, что теория номинализации должна ответить прежде всего на вопрос о соотношении (однокорневых) существительных и глаголов и, главное, их структур-

<sup>1</sup> Эта точка зрения была рассмотрена в знаменитой работе Е. Куриловича о синтаксической и лексической деривации.

ных и семантических свойств [Zucchi, 1993]. Его интересует, в частности, почему одни из таких отглагольных имен в отдельных языках (например, *ing*-формы в английском) образуются регулярно и потому не фиксируются специально в словаре, тогда как другие — номинализации — образуясь по правилам, не обладают тем не менее полностью предсказуемыми значениями и развивают свои собственные. Сравнивая обороты типа *исполнить песню* и *исполнение песни*, он высказывает мнение о том, что считать имя полностью мотивированным соответствующей синтаксической конструкцией из-за неуловимой, но реальной разницы в их значении — необоснованно [Там же: 3, 15 и сл.]. Не вызывает сомнения тот факт, что именно эти «приращенные» (по терминологии И. Г. Милославского) значения представляют большой интерес и нуждаются в специальном анализе. И хотя, конечно, на первый план здесь выходят значения, связанные с концептуальными различиями в семантике разных частей речи, верно и другое: истоки таких новых значений имеет смысл искать в сфере текста и дискурса.

Так, по мнению Н. Д. Арутюновой, использование номинализаций вводит в фокус рассмотрения событийные или же фактуальные значения предложения. «Под номинализацией, — пишет автор, — мы имеем в виду только тот тип субстантивации, который базируется на предикате высказывания и составляет семантический эквивалент его препозитивной части» [Арутюнова 1988: 144].

В зависимости от трактовки номинализации в тексте можно говорить о полных и неполных номинализациях: первые прочитываются как событийные, они относятся непосредственно к миру; вторые прочитываются как фактуальные, представляя собой мысли и суждения о мире. Фразу *Появление в городе канатоходца Тибула не было замечено* можно интерпретировать и как указывающую на то, что Тибул появился, но никто этого не заметил, но можно — и как указывающую на то, что Тибул появился, но никто этого не видел [Там же: 104 и сл.]. Интересно, что объяснения, даваемые Н. Д. Арутюновой этому предложению, должны рассматриваться как некое **умозаключение**, т. е. свидетельство того, что и в понимании номинализации весьма важен механизм **инференции**, т. е. семантического вывода. Иными словами, если отглагольные имена как существительные, зафиксированные в словаре, могут характеризоваться несколькими значениями, а в тексте они как номинализации реализуют одно из этих значений, они, помимо этого, имплицитно также некоторые контекстнообусловленные значения. Это и требует для их адекватного восприятия рефлексий над текстом. Ниже я еще вернусь к этому обстоятельству. Здесь же мне хочется отметить, что многие из тех, кто изучал номинализации, кто хотел описать сферу их действия и семантику, приводил рядом с номинализациями их парафразы или же параллельные конструкции с глаголом, и это уже было шагом в сторону исследования номинализации в тексте. И все же думается, что служение дискурсу требует более обстоятельного анализа номинализации, чем тот, что уже намечен в работах Л. Тэлми и Р. Лангакра.

Подчеркивая в качестве методологической установки анализа номинализации изучение их роли в реальном тексте, что только и позволяет установить причины их появления и имплицитные ими значения, а, главное **функции** в тексте [Кубрякова 1980: 179 и сл.], сейчас я бы хотела все же отвлечься от этих собственно дискурсивных функций (перевод рематических частей текста в тематические, достижение когерентности текста, упрощения его синтаксической структуры, компактности и т. п.) и обратиться к когнитивной интерпретации отглагольных имен и номинализации, и с этой точки зрения коротко рассмотреть взгляды Л. Телми и Р. Лангакра. Появлением номинализации, по мнению Телми, сигнализируется такая когнитивная операция, как реификация глагола. В ее результате референт ситуаций уже не концептуализируется как событие, а как некий объект или масса вещества. Языковые формы демонстрируют при этом, что с обозначенными таким образом сущностями обращаются как с предметами: *поручения дают и получают, их отодвигают на задний план, на них плюют и т. д.* В случае реификации глагола человек получает возможность манипулировать некими псевдо-объектами в любых типах деятельности, а также характеризовать их (*он оказал мне небольшую помощь*) [Talmy 1988: 175]. Если учесть, что термин «реификация» уже был давно известен славистам в его славянской форме (как «опредмечивание») и что сам факт опредмечивания глаголов и прилагательных был описан во множестве работ <sup>2</sup>, в работе Тэлми интересны замечания о соотношении концептуальной и языковой интерпретации при описании одной и той же ситуации глаголом или именем. Ср. *Ему поручили связаться с братом* и *Ему дали поручение связаться с братом*, что напоминает о работе А. Вежбицкой, рассматривающей в английском языке различие оборотов *выйти прогуляться* и *выйти на прогулку* или *глотнуть чай* и *сделать глоток чая*. За несколько лет до работ Л. Телми она тоже обратила внимание на то, что в оборотах с отглагольными именами описываемое действие предстает как ограниченное во времени или даже однократное, что ориентация на субъекта возрастает и действие оценивается обычно как благоприятное для него и т. п. [Wierzbicka 1988: ch. 5].

К характеристике реификации неоднократно возвращается в своих работах и Р. Лангакр, рассматривая как разные способы выражения одного и того же такие обороты как *Что-то взорвалось* и *Это был/раздался взрыв* [Langacker 1991: 97–98]. Как представляется, именно этот автор совершенно правильно подчеркивает, что за двумя названными языковыми формами стоят разные ОБРАЗЫ ситуации, каждый из которых связан к тому же с образом соответствующей части речи. По мнению автора когнитивной грамматики, существительное обозначает, например, некую область (region) в другой области (domain) [Там же: 63]. Очевидно, одна-

---

<sup>2</sup> «Транспозиция в класс существительных, — писали мы задолго до Л. Телми, — приводит к господствующему положению значения предметности или “опредмеченности” в деривате», см. [Кубрякова 1978: 66 и сл.]

ко, что такой абстрактный образ совершенно недостаточен для того, чтобы охарактеризовать реально отличие глагола от существительного. Немногим больше разъясняет и разобранный им пример с противопоставлением прилагательного и соответствующим ему именем: прилагательное типа *желтый*, — отмечает Лангакр, — передает ощущение (sensation) от его восприятия, *желтизной* же называют район концентрации этого же цвета или поверхность того объекта, который его демонстрирует [Там же: 196]. Интуитивно кажется, однако, что обозначения цвета всегда каким-то образом связаны с восприятием поверхностей предметов (ср. *красное горло* и *краснота в горле*) и что различие признаков слов и их номинализаций — именно в факте их опредмечивания. Реифицировано, — отмечает Дж. Тейлор, — значит, представлено в виде **вещи**, т. е. как если бы мы имели дело с физическим объектом [Taylor 1994: 214–215].

Отличительная особенность признаков слов — это их релятивность. Они мыслятся относительно неких объектов, и для каждого прототипического случая употребления признаков слов есть и свой прототипический объект. При номинализаций, однако, он может быть **устранен**: ср. *Один за другим взрывались снаряды. Взрывы следовали один за другим.* Ср. также: *доброта — прекрасное свойство человека.* Возможности такого устранения нередко рассматриваются как производящие эффект «остранения», ухода от ответственности, отчуждения и т. д.<sup>3</sup>, и изучение номинативного стиля повествования может само составить привлекательную страницу в анализе номинализаций. Здесь же мне бы хотелось подчеркнуть другое — противопоставление синсемантии и аутосемантии, что, несомненно, важно для понимания семантики номинализаций, так ярко отражающих способность имени представить в виде самостоятельно выделенного объекта любую конкретную и любую абстрактную величину.

Итак, действительно, существование номинализаций в ряду разноструктурных единиц номинации отражает удивительную способность человека членить одну и ту же ситуацию, как и любой опыт по концептуализации любых видов восприятия мира, по-разному. Тем не менее в членении опыта человек все же следует определенным схемам: такое членение подсказывается и разными частями речи, и разными каноническими моделями предложения, и возможностями использовать разные лексические и фразеологические средства и т. п., то есть выбрать из набора альтернативных способов обычного описания «одного и того же» то, что сообразуется более всего с конкретными намерениями и целями. Человек может, строя текст, сфокусировать внимание на разных деталях происходящего, поместить фокус внимания в какую-либо одну из граней ситуации, **профилировать** одного из участников ситуации или совершаемое им действие, или результат последнего. Описываемый референт остается, собственно, одним и тем же, но ра-

<sup>3</sup> См., например, в работах Э. Фромма и особенно П. Серио. См. также [Степанов 1955: 38–41]

курс его рассмотрения изменен<sup>4</sup>. В описании номинализаций следует обязательно использовать такие понятия, как позиция наблюдателя, выбор им перспективы изображения, эмпатия, профилирование тех или иных деталей ситуации, понятие выдвигания на первый план и т. д. Все такие понятия, описанные в семантике синтаксиса, прагматике, в когнитивной грамматике и, наконец, в теории восприятия (где давно изучен феномен противопоставления фона и фигуры), должны быть использованы для конкретного описания того, какая именно **растановка сил** отличает номинализации от всех их аналогов в дискурсе.

В рассмотрении и объяснении интересующих нас явлений не может не поразить именно когнитивная сторона дела — удивительный изоморфизм в строении мира и в строении языка. Подобно тому, как физики говорят о волнах и частицах при исследовании света, описывая его то в терминах корпускулярной теории, то в виде частиц светового потока, то в виде его волнового передвижения, — лингвисты говорят то о глаголах, то об отглагольных именах. С помощью глагола (волны) описывают особые траектории движения, с помощью отглагольного имени — особые отрезки (частицы) этого волнового движения, этого протекания процесса или действия во времени и пространстве. И все это зависит от того, что окажется в фокусе нашего внимания и с какой целью мы все это исследуем.

Подведем некоторые итоги. Становясь благодаря операции номинализации обозначением того или иного объекта, признаковое имя приобретает одновременно способность служить **аргументом** высказывания, в частности, **темой** или **топиком** последующего высказывания, сохраняя при этом некоторые черты предиката исходного для него предложения и его «комментирующих» свойств. Номинализация оказывается в этом смысле поразительной единицей номинации, сочетающей в себе и даже кумулирующей в себе как свойства существительного и той именной группы, в которую оно теперь входит, с одной стороны, так и некоторых свойств исходного для него глагола и предиката, с другой — а также единицей, способной в качестве аргумента характеризоваться особыми падежными ролями. Вступая в отношения кореференции с другими единицами текста или дискурса, номинализация обладает способностью фиксировать событийный или же фактуальный характер включающего ее высказывания и реализовать такие значения, как значения акта или кванта действия, его результата и т. п.

Функциональная грамматика не может обойтись без подробного описания всех перечисленных выше свойств, одни из которых более непосредственно связаны с правилами организации нормально протекающего дискурса, а другие — с пере-

---

<sup>4</sup> Как справедливо указывает И. Б. Шатуновский, «...полная (словообразовательная) номинализация выносит в вершину [предложения] признаковое слово — предикат и соответственно имеет (в общем случае) значение признака (качества, процесса, действия, состояния и т. д.)... неполная номинализация, имеющая в вершине связку, получает значение “пропозиции” (“суждения”) или “факта”», см. [Шатуновский И. Б. 1996: 43–44].

дачей тех тонких значений и нюансов значения, которые связаны с присущими человеку правилами фиксации внимания при восприятии действительности и которые отражают личностный и субъективный характер подобного восприятия. Проблемы распределения информации в тексте, ее фокусировки и профилирования, проблемы ее «упаковки» и сжатия, связности и когерентности текста и т. п. — все это не может быть отражено адекватно в грамматике славянских языков без характеристики номинализаций. Глава об этом феномене должна найти свое достойное место. Правила перехода от одного отрезка текста к другому, правила компрессии и резюмирования предыдущего текста, кореферентности и стремления к синтаксической простоте текста и т. п. — все хорошо известные явления грамматики текста и дискурсивного анализа свидетельствуют о том, что целесообразнее всего включить главу о номинализациях именно в трансфрастику: очевидно к тому же, что такая глава должна располагаться в описании языков после описания частей речи со всеми ее сведениями о концептуальной специфике глаголов и имен, а также после описания словообразования со всеми приводимыми здесь сведениями о технике моделирования отглагольных и деадъективных слов. Изучение номинализаций демонстрирует одновременно, как пагубно для собственно словообразования рассмотрение его в ограниченном виде, т. е. без анализа его связей с другими модулями в организации языка и понимания его разнообразных функций в когнитивной и коммуникации.

Бегло указав на то, что интерпретация многих номинализаций требует умозаключений и семантического вывода, мы обратили тем самым внимание еще на один круг актуальных проблем современной лингвистики — проблемы **инференции** как неотъемлемого процесса понимания текста и дискурса, когнитивной их обработки. Рассмотрим теперь в самых общих чертах, как могут изучаться правила инференции и словообразования, т. е. применительно к пониманию в речевой деятельности присутствующих в ней **производных слов**.

Поскольку объем доклада не позволяет остановиться на этом **третьем круге** проблем более подробно и поскольку часть таких проблем уже освещена мною в других публикациях, выделю здесь три разных направления в освещении проблем инференции. **Первое** направление продолжает исследования, намеченные выше, и касается совместной встречаемости однокорневых образований в тексте. Если отглагольные или отадъективные имена встречаются без «поддержки» их исходными для них словами, их понимание базируется на знании лексического значения соответствующей единицы. Для того, чтобы понять предложение *И<sup>3</sup>за ссоры они не пошли в кино*, достаточно знать, что *ссора* — это перебранка или размолвка. Если же этому предложению в тексте предшествует упоминание о том, что *они ссорились*, или о том, как *они ссорились*, в понимание того же предложения может включаться инференция. Соответственно *ссора* в предложении будет интерпретироваться как *то, что они ссорились (вчера или перед сном, или как обычно и т. п.)* или же как прямая отсылка к предложению *Вчера они поссорились из-за пустяков* с выво-

дом из него *А сегодня из-за этого они не пошли в кино*. Точно так же, если в детективном романе речь идет об убийце, мы уже знаем, что убийство произошло и, возможно, даже знаем о том, кто именно убил и по какой причине. Производные слова как бы позволяют нам ориентироваться в их интерпретации и на их источники (ср. *Я люблю бродить по московским улицам и вообще неравнодушна к этому городу*).

**Второе** направление касается стратегий распознавания семантики отглагольных образований в отличие от образований отыменных, связанных с тем, какие из значений существуют для этих производных единиц в виде **имплицитных** или же **инферентных**, т. е. определяемых в процессе особого семантического вывода из составляющих словообразовательных конструкций. Так, например, если в семантике отыменного производного заданы два аргумента (например, один – суффиксом, а другой – мотивирующей субстантивной основой), для догадки о значении этого слова нужно восстановить связывающий их **предикат** (*мясник* – ‘тот, кто **рубит** или **продает** мясо’; *гитарист* – ‘тот, кто **играет** на гитаре’, а *фельетонист* – ‘тот, кто **пишет** фельетоны’ и т. п.). Напротив, если в составе ПС уже наличествует предикат (в виде основы глагола или прилагательного), для умозаключения о содержании единицы надо восстановить **аргументы** к глаголу: ср. *ездок* (на лошади), *игрок* (в карты), *сотрясение* (мозга) и т. п. Очевидно, что присутствие такого аргумента в тексте позволяет разрешить многозначность имени, ср. *появление пятна на платье* (пятно появилось = выступило), *появление актрисы на сцене* (актриса появилась = вышла), *появление книги из печати* (книга появилась = опубликована), *появление нового направления в науке* (направление появилось = родилось, возникло) и т. п. Такая отраженная полисемия (и ограничения на ее появление) очень важна для понимания стратегий говорящего в интерпретации им текста: ее истоки – в наследовании отглагольным именем его **релятивных** свойств и прежде всего – его субъектной или же объектной ориентации [Taylor 1994]. Таким образом, организация каждого типа ПС и манифестирующей его словообразовательной конструкции предопределяет и характер инференций, необходимых для его интерпретации при восприятии текста, и в принципе следует предусмотреть не только различие инференций, основанных на знании мира, и инференций, основанных на знании языка (ср. *мусорщик* и *уборщица*, *дворник*<sub>1</sub> и *дворник*<sub>2</sub>), но инференций, совершаемых на основе знаний, содержащихся в тексте. Целесообразно, по всей видимости, дифференцировать также инференций или умозаключения о семантике нового производного слова как следствие: а) знания словообразовательной модели; б) знания аффикса, входящего в состав ПС, и, наконец, в) знания его отсылочной части.

**Третье** направление в изучении процессов инференций может быть связано с исследованием регулярной полисемии у производных разных частей речи. Возьмем, например, относительные прилагательные. Для каждого их типа представляется возможным предсказать ту цепочку значений, отправное звено в ко-

торой образуется благодаря прототипическому значению имеющегося в его составе суффикса, а все прочие оказываются ничем иным как развитием этого исходного значения, но уже по принципу фамильного сходства (т. е. развитием, в котором уже участвуют серии образцов ряда или же которое обуславливается отраженной полисемией конкретных основ, соединяющихся с тем же суффиксом). Некоторые особенности такого процесса мы уже описали [Kubrjakova 1992], но не вызывает сомнения, что эти исследования необходимо продолжить на производных разного типа. Приведу только один пример анализа возможных значений прилагательного *лесной*. Если *лесной* означает в абстракции от текста ‘относящийся к лесу’, в реальном употреблении слово может значить: ‘находящийся в’ (*лесная поляна*), ‘обитающий = живущий’ (*лесные птицы* или *звери*), ‘свойственный, типичный для’ (*лесные запахи, лесной воздух*), ‘имеющий’ или ‘характеризуемый наличием’ (*лесная местность*), ср. также *лесные насаждения* как ‘насаждение леса, лесных материалов’ и т. д., и т. п. Многие из таких значений не фиксируются словарями или даются непоследовательно, но, по всей видимости, умозаключения такого рода не представляют никаких особых трудностей для говорящих, и некоторых из них мы вообще не замечаем.

**Четвертый круг** проблем определяется, на наш взгляд, тем, что может дать исследование словообразования для решения более общих лингвистических или даже когнитивных проблем. Сегодня, пожалуй, наиболее актуальными из них можно считать: а) вклад теоретических и эмпирических данных о словообразовании для теории номинации и расширительного понимания всего номинативного процесса и — особенно — процесса образования новых единиц номинации; б) значимость данных о словообразовательных процессах и, в частности, о транспозиции из одной части речи в другую для определения концептуальных структур знаменательных частей речи (по принципу: если в акте транспозиции у производного слова помимо лексического значения, характеризующего его источник, фиксируется еще какое-либо категориальное значение, это значение и можно считать прототипическим для той части речи, под которую подведено ПС, ср. *изобретение* — ‘изобретенный предмет’, *синить* — ‘делать синим’, *доброта* — ‘качество живого существа, которое можно назвать добрым’ и т. д.); в) роль словообразовательных данных для реконструкции **процессуальной стороны мышления**, для лучшего понимания оперативной части нашего с вами сознания.

Поскольку последний пункт вообще не являлся никогда предметом специального анализа и требует более подробной аргументации, скажу только, что если человек достаточно легко интерпретирует значения сложных слов, составленных из одних именных корней (основ) и, следовательно, может восстановить необходимый для их правильной интерпретации ономаσιологический предикат, это может значить только одно: соответствующие этим предикатам мыслительные операции входят в число **простейших когнитивных операций**; возможно также, что такие предикаты **повторяют** предикаты прототипических высказываний,

описывающих наиболее часто встречающиеся категориальные ситуации. Я имею в виду прежде всего операции отождествления, сравнения или уподобления, характеристики объекта во времени и пространстве, а также понимание отношений замещения, каузации, изменения и т. п. Думаю также, что помимо области словосложения значительный интерес в этом отношении представляют деноминативные глаголы, семантическая структура которых возникает в ходе объективации концептуальных структур, содержащих атомарные предикаты, а последние по своему значению указывают на операции в мышлении человека.

Широкий круг описанных мной в этом сообщении проблем связан с освещением разных аспектов и разных моделей словообразования. В то же время за их решением стоит одно и то же – возможность продемонстрировать, как важны все связи словообразования с другими подсистемами языка и какие разнообразные и существенные функции выполняет оно само в организации языка.

## *Глава вторая*

### **КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ПРАВИЛА ИНФЕРЕНЦИИ (СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЫВОДА)\***

Посвящая свое сообщение когнитивным аспектам словообразовательных систем и связанным с ними правилам инференции, мы имеем в виду сложную область понимания текста и дискурса и полагаем, что понимание производного слова составляет важную часть их когнитивной обработки, а правила инференции — неотъемлемую часть стратегий говорящего при интерпретации текста и его восприятии. Чтобы осветить интересующую тематику, представляется необходимым остановиться — хотя бы очень кратко — на изложении теоретических предпосылок развиваемого подхода и охарактеризовать ту научную парадигму знания, в рамках которой проводится настоящее исследование и выдвигаются те или иные связанные с нею концепты.

Научная парадигма, представляющаяся ныне наиболее перспективной и адекватно отражающей суть языка, еще не может рассматриваться как окончательно сложившаяся, но как уже отмечалось в ряде специальных работ (см. [Степанов 1991; Кубрякова 1994]), общие контуры ее уже вырисовываются. Думается, что такая парадигма должна объединить в себе, с одной стороны, лучшие черты когнитивизма, а, с другой — успехи, достигнутые коммуникативным или же функциональным направлением современной лингвистики, (ср. также [Nuyts 1992]). В отличие от узкого когнитивизма в новой парадигме знания не считают, что задачи лингвистики должны сводиться исключительно к анализу интериоризованного знания языка и тем более — к созданию таких научно-исследовательских программ его анализа, которые могли бы быть реализованными на компьютере. В отличие от узкого функционализма не считают целесообразным подчинить все изучение языка исследованию его использования в актах речи. В начале 80-х гг.

---

\* Впервые опубликовано в кн.: *Neue Wege der slavistischen Wortbildungsfor-*  
*schung* / Hrsg. v. R. Belentschikow. Frankfurt am Main: P. Lang, 1999. S. 23–36.

Хомский неоднократно повторял, что лингвисты слишком долго занимались экстерииоризацией языка и экстерииоризованными языковыми явлениями и что поэтому теперь следует обратиться к тому, как они представлены внутри человека, в его мозгу. Но для того, чтобы судить о внутренних механизмах языковой способности, мы неизменно должны изучать ее внешние проявления, и лингвистическая деятельность как определенный вид научной деятельности без этого невозможна. Такому постоянному сопоставлению и соотнесению экстерииоризованных и интерииоризованных языковых данных и должна служить новая парадигма знания.

В основе ее может прежде всего лежать определение языка как когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникативной деятельности и обеспечиваемого особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Это определение означает не только необходимость изучать язык при исполнении им его двух главных функций — когнитивной и коммуникативной, но и понять, как эти две функции постоянно переплетаются и взаимодействуют, а главное, **согласуются** друг с другом и в возникновении, и в развитии, и в современном состоянии языков.

Развиваемый мной подход можно было бы именовать **когнитивно-дискурсивным**, поскольку он ориентируется на одновременный учет и синтез тех и других данных. Когнитивным он может быть назван, так как язык служит осуществлению такой деятельности, которая постоянно требует операций со структурами знания как особыми ментальными репрезентациями. Дискурсивным, или коммуникативным, такой подход может быть назван, поскольку язык изучается главным образом в процессах порождения и восприятия речи, в рамках дискурсивной деятельности и анализе ее результатов. Подобная деятельность представляет собой объективацию (вербализацию) человеческого опыта и человеческих знаний в языковых формах или же, напротив, их извлечение из указанных форм. Сами акты коммуникации представляют собой когнитивные образования как потому, что они связаны с использованием структур знания, так и потому, что в этих актах рождается и передается другому/другим новое знание. Центральной проблемой всего когнитивно-дискурсивного направления становится вопрос о том, какова роль всех языковых единиц, категорий, моделей и механизмов языка для нормального протекания речемыслительных процессов, но также и для протекания ментальных, внутренних процессов человеческого сознания. Проще говоря, это вопрос о том, как служит языковая система со всеми ее составляющими и когниции, и коммуникации. Этот принцип исключительно важен и при установлении специфики всех словообразовательных явлений: прежде всего — **функций** словообразования как такового и служащих их осуществлению единиц, в первую очередь — производного слова (далее — ПС).

Если для обеспечения речевой (дискурсивной, коммуникативной) деятельности нужны, по крайней мере, знания трех типов (ср. [Winograd 1983]) — знания

о мире, знания о языке и, наконец, знания об условиях речи, то и функции словообразования вообще и ПС, в частности, должны быть определены по отношению к каждому из перечисленных типов знания и к передаче каждого из них словообразовательными средствами и конструкциями (производными словами как особыми словообразовательными конструкциями, т. е. специфическими и по формальным и по содержательным признакам языковыми выражениями, замкнутыми пределами слова).

Суказанной точки зрения первая, номинативная функция словообразования — функция ословливания и означивания мира (*Worten der Welt*) является собственно когнитивной. Она связана с выделением и фиксацией средствами словообразования новых структур знания, закреплением и объективацией неких концептуальных объединений, рождаемых в актах познания и оценки мира. С другой стороны, способ представления этих структур знания в мотивированных и своеобразно расчлененных знаках языка связывает словообразование не только с миром вне нас и вне нашего сознания (т. е. объективно существующим миром), но и с миром языка. В формировании ПС используются уже существующие в системе языка «атомы» (слова, основы, аффиксы, другие более сложные форманты и т. п.). Свойство двойной референции производного знака — отсылать и к действительности, и к языку — должно быть осмыслено с когнитивной точки зрения как способность человека характеризовать новое знание через уже имеющееся, комбинировать готовые и отработанные структуры знания в целях выражения нового (подобно тому, как это делается в рамках высказывания и дескрипции мира), использовать знание словообразовательных моделей как готовых форм представления знания о мире. Нельзя не отметить при этом, что сам акт номинации осуществляется в дискурсе и ментальной деятельности человека не только для того, чтобы обозначить новую реалию и тем самым служить наречению мира, но и для того, чтобы обеспечить протекание дискурса, связать разные его отрезки и выполнять разные текстообразующие функции (ср., например, разного рода номинализации). Наконец, словообразование имеет прямое отношение и к знаниям условий речи и к выражению этого типа знания, в связи с чем нередко говорят об экспрессивной функции словообразовательных средств, но с чем следует соотносить — более широко — прагматические аспекты словообразования.

Ранее, описывая центральную единицу словообразовательной системы, — производное слово, — мы ставили главным образом цель показать специфику его формальных (морфологических или же других структурных) характеристик, связывая их с содержательными (ономасиологическими) признаками ПС, и сумели продемонстрировать асимметрию между всеми структурами, реализующими ПС: морфологической (конечные составляющие слова), словообразовательной (с противопоставлением отсылочной и формирующей частей) и, наконец, ономасиологической (образованной приписыванием ономасиологическому базису слова его ономасиологического признака с помощью того или иного ономасиологи-

ческого предиката). Сегодня наше внимание более всего привлечено к тому факту, что ПС выступает в первую очередь как языковой способ представления **структуры знания и/или его оценки**.

Можно поэтому сказать, что функции словообразования выполняются им благодаря тому, что ПС организовано и устроено для оптимального осуществления этих функций: возникая как средство удовлетворения потребности в наречении новой концептуальной структуры, нового кванта знания, ПС создается одновременно для того, чтобы сделать такую структуру достоянием других людей; ПС интенционально предназначается для использования структуры знания в акте коммуникации как акте **передачи** знаний. ПС, соответственно, является удобной и компактной знаковой формой общения. Отсюда как бы двойные требования к форме и значению указанной единицы — и со стороны когниции (познания), и со стороны коммуникации (общения), что и предопределяет способ «упаковки» знания в ПС.

Такой способ заключается в том, что в основу семантики ПС и формы ее представления ложится особая сформированная в голове человека (или формируемая по мере необходимости в ходе протекания акта номинации) **пропозициональная структура**. Правила ее объективации задаются словообразовательным моделированием, а поэтому правила объективации пропозициональных структур в ПС не менее строгие и регулярные, нежели правила преобразования этих структур в конкретные высказывания. Нетрудно показать при этом содержательный параллелизм ономаσιологической структуры ПС и пропозициональной структуры нашего мышления. Не лишне отметить, что реинтерпретация данных ономаσιологического анализа в когнитивных терминах отнюдь не представляет собой процедуру простого перевода с одного языка на другой, но известное переосмысление этих данных с новых позиций. В то же время сама возможность такой реинтерпретации означает, что теория номинации не только не потеряла своей значимости в новой парадигме знания, но что, наоборот, она должна найти в ней обязательно свое законное место (ср. также [Кубрякова 1994]); так, например, специальному анализу было бы интересно подвергнуть когнитивно-прагматические предпосылки номинативных актов, совершаемых в дискурсе с помощью словообразовательных средств, и рассортировать их по разным типам. С этих позиций особенно целесообразно изучение неологизмов, которые по конкретным мотивам своего создания могут демонстрировать широкую гамму удовлетворения потребности в новых обозначениях в разных целях (ср. терминологию, рекламу, студенческий слэнг и т. п.).

Путь от пропозициональной структуры сознания к ономаσιологической структуре ПС и к их реализации в рамках определенной словообразовательной модели (конструкции) отнюдь не случаен. Многими когнитологами пропозиции рассматриваются как главные «форматы» знания, и они полагают, что в голове человека хранятся не только репрезентации отдельных явлений (объектов, процессов,

признаков и т. п.), но и достаточно устойчивые объединения или же ассоциации одного концепта с другим: рядом с гештальтами существуют группировки концептов при ясном осознании отдельности каждого из них. Какими бы ни были способы перехода от невербальных знаний к вербальным, а также переходы от внутренней речи к внешнему высказыванию, этап организации пропозициональной структуры для такого перехода обязателен, и не случайно, что понятие пропозициональной структуры оказывается существенным и для формирования реального предложения. Понятие пропозиции как ядра предложения входит также в число понятий коммуникативного синтаксиса.

Изоморфизм в организации предложения, с одной стороны, и производного слова, с другой (ср.: *мы приехали – наш приезд*) облегчает доступ к их семантике во время порождения и восприятия речи и упрощает **формирование** указанных единиц по единым в своей основе правилам. Этим же объясняется и известный параллелизм при их когнитивной обработке: механизмы создания пропозициональных структур (предсуществующих их экстерииоризации вовне) из концептуального материала, содержащегося в нашем сознании, как и механизмы их распознавания в процессах понимания речи, могут, по всей видимости, считаться главными механизмами речемыслительной деятельности в целом. Они органически рожают также определенные **стратегии** поведения во время осуществления этой деятельности. Подобно тому, как предложение строится на противопоставлении топика и коммента, темы и ремы, функции и ее аргументов (в пропозициональной структуре они уже заданы в общем виде), производное слово держится на противопоставлении ономасиологического базиса его ономасиологическому признаку, который, в свою очередь, приписан базису с помощью особой ономасиологической связки (ср. *фельетонист* 'тот, кто пишет фельетоны' с пропозицией ((arg', arg<sup>2</sup>) = писать (тот, кто; фельетон)). Подобно тому, как для организации предложения мы выдвигаем требование согласования предиката (функции) с аргументами, при исследовании ПС и закономерностей его устройства мы должны считаться с тем, что и здесь своя топикальная зона (базис), которой противопоставит зона «комментная», и что в разных типах ПС они получают разную материальную реализацию (так, например, базис ПС может быть сформирован и за счет флексии, и за счет суффикса, и за счет готового слова определенной части речи – ср. *безбородый, безродный*, англ. *careless и безгрешный*).

Если с номинативной функцией словообразования связано также решение многих задач по членению и **категоризации** мира (ведь объединения ПС одного типа строят особые ономасиологические категории), по **классификации** и **сортировке** фрагментов мира и т. п., то, моделированием в ходе преобразования пропозициональных структур в единицы номинации достигаются и чисто дискурсивные цели: двумя главными задачами дискурса считаются требования выразить как можно больше необходимой информации за счет наименьшего количества усилий и/или средств.

Дискурсивные характеристики ПС можно считать связанными, с одной стороны, с условиями их лексического вставления (*lexical insertion*), а, с другой — с тем, как именно в них **распределяется информация**, т. е. как она организуется в поверхностной структуре ПС. Подобное распределение информации подчиняется интересным правилам: часть информации уходит в разряд скрытой, но подразумеваемой, или **имплицитруемой**; по реально (материально) представленным составляющим ПС (как аффиксального, так и сложного) надо догадаться о том, что ими имплицитруется. Поскольку подобными составляющими могут быть не только основы, корни и аффиксы, но и разные части более развернутых единиц номинации (например, в аббревиатурных знаках), правила семантического вывода и определения полной семантики ПС зависят от типа производного знака, а также от степени его мотивированности. Далее мы и рассмотрим эти правила — правила инференции, правила определения значения ПС по тому, как распределена информация в ПС и с какими его частями связаны подсказки о ее сути и о скрытых значениях ПС. Поскольку интерпретация производных знаков определяется **умозаключениями** о их содержании, понятию умозаключения, или **инференции**, необходимо дать специальное объяснение.

В ряде работ я уже описала это понятие более подробно (см. [Кубрякова 1996<sub>1</sub> и 1996<sub>2</sub>]), поэтому довольствуюсь здесь указанием лишь на самые ее общие свойства. В специальной литературе иногда проводят знак равенства между логическими умозаключениями и инференцией. Мы же пытаемся развести эти понятия, вводя иностранный термин именно для того, чтобы подчеркнуть иное содержание его в отличие от логического понятия (типичным случаем логического умозаключения является решение силлогизма). Инференцией можно считать операцию обыденного сознания, в своей основе рационального, но в то же время не столь связанного с формальными способами доказательства истины. Инференция сопряжена с догадками на базе имеющегося опыта, с интуицией. Приведу пример, чтобы показать, каково реальное отличие логического умозаключения от простого вывода. Если человек встретит в тексте или дискурсе два утверждения:

— Во всех районных центрах есть почта

и

— X — районный центр,

он правильно заключает, что в X есть почта. Но аналогичный вывод он может сделать и на основании двух других утверждений:

— Во всех районных центрах есть почта

— в X есть почта,

когда он решит, что X — это районный центр, что, однако, может быть правильным, а может и неправильным (ср. [Лурия 1979]).

Инференция представляет собой такую мыслительную (когнитивную) операцию, которая позволяет человеку выходить за пределы буквального значения единиц, видеть за анализируемой языковой формой большее содержание, чем зафиксировано ее отдельными частями. Это операция извлечения смысла или информации из текста или дискурса, которые в них, казалось бы, напрямую непосредственно не представлены. Ср. текст:

*Сидящий за рулем машины: У меня кончается бензин.*

*Сидящий рядом: Бензоколонка за углом.*

Поскольку *бензоколонка* — это место, где машину можно заправить бензином, а *за углом* — это «недалеко» или «рядом», сказанное надо понимать и как утешение, и как совет, и как констатацию необходимых сведений о том, что заправка бензином может быть легко осуществлена в самое короткое время.

Возможности выведения подобных заключений заинтересовали прежде всего тех, кто занимался искусственным интеллектом, и правила инференции изучались, соответственно, не столько лингвистами, сколько специалистами в названной области знаний или же разработчиками вычислительных машин. В конечном счете, однако, все, кто занимались проблемами понимания дискурса или текста, вынуждены были признать, что неотъемлемой чертой подобного понимания оказывается сама необходимость **выводного знания**, т. е. извлечение **сверхтекстовой** или **затекстовой** информации. Способность к получению этой информации ярко проявляется уже у детей. Так, в России немало шуточных детских стихов строится на необходимости семантического вывода, ср.:

Маленький мальчик нашел самокат —

Больше в деревне столбы не стоят.

Маленький мальчик нашел пулемет —

Больше в деревне никто не живет.

Операция семантического вывода (инференции) заключается, следовательно, в том, чтобы, используя наличествующие в дискурсе или тексте реальные языковые формы, выйти в их «прочтении» за их пределы, т. е. определить, что из них **следует** или же **вытекает**. Ясно, что такая когнитивная операция требует опять-таки и знаний о мире, и знаний языка, и знания ситуации (контекста). Весьма интересной проблемой исследования инференции могла бы стать проблема дифференциации этих типов знаний в процессе реального понимания текста и переходе от простого понимания его значения к более глубокой его интерпретации. Хотелось бы также подчеркнуть, что инференция оказывается необходимым звеном при восприятии текста еще и потому, что она как бы восстанавливает его связность: означает понимание причинно-следственных связей, отношений таксиса и того, что в самом тексте пропущено или свернуто.

Все сказанное имеет прямое отношение к словообразованию и ПС. Ведь словообразовательные модели разного типа можно рассматривать как формулы регулярной свертки пропозициональной структуры при ее актуализации не в пределах конкретного предложения, а отдельным ПС, универбом. ПС — это по существу краткая дескрипция обозначаемого, за которой стоят более полные и более развернутые знания о нем, — они-то и должны быть «восстановлены» или, по крайней мере, учтены в акте понимания ПС. Извлечение информации из ПС обязательно требует инференции, т. е. некоего домысливания реального содержания словообразовательной конструкции (ср. *ночник, ползунки, совковость* и др.). Понимание ПС может быть в каком-то отношении уподоблено пониманию метонимии или синекдохи в лексике: по целому мы догадываемся о частях, по частям — о целом и т. д. Зная либо одно, либо другое, мы легко восстанавливаем то, что нам нужно (ср. *съесть всю тарелку; купить Пушкина; заказать два кофе*). В прочтении ПС мы должны, опираясь на представленные знаки, понимать их как части мотивирующего **суждения** об обозначаемом и, таким образом, выйти на само это суждение. Иначе говоря, понимание ПС предполагает (в ситуации его **незнания**) некоторые догадки о его латентных, скрытых, подразумеваемых значениях, а правила такого угадывания или же распознавания информации путем инференции должны быть признаны обязательной чертой **стратегий** говорящего при использовании им производных или сложных слов. Нельзя не согласиться в этом отношении с Рэйем Джекендоффом, когда он замечает в одной из своих последних работ, что правила инференции должны стать обязательной частью теоретической семантики и особой областью семантического анализа [Jackendoff 1993].

Конечно, действие инференции проявляется наиболее очевидно в процессах реальной речевой деятельности, т. е. при восприятии реальных текстов. Можно заметить, однако, что ПС и как готовая единица словаря, и как имеющаяся в лексиконе индивидуально стоящая единица, содержит в самой себе ключи к ее пониманию, и многие ПС семантически прозрачны: отсылочная и формирующая части производной единицы достаточны для ее понимания (ср. *сталик, домик; архикрасавица; сверхзвуковой* и т. п.). И все же так устроены далеко не все производные и сложные слова, и многие из них содержат «приращенные» или иные дополнительные значения. Для разъяснения того, как происходит понимание таких «лексикализованных» или же «идиоматических», или же лишь частично мотивированных слов, следует обратиться к некоторым конституирующим чертам самих словообразовательных систем, ибо наличие каждой из них предопределяет те специфические стратегии говорящих, которые по отношению к ним ими используются. Среди таких черт я хотела бы назвать прежде всего:

- 1 — типы словообразовательных моделей, составляющих словообразовательную систему конкретного языка. Стратегии их понимания обусловлены, несомненно, тем, какими именно морфологическими, словообразовательными

ми, ономаσιологическими конкретными структурами они характеризуются: сложное слово «прочитывается» не так, как аффиксальное производное, а аббревиатурный знак — не так, как редуцированный или конверсив;

- 2 — соотношение исконной и заимствованной лексики, а также принадлежность последней к интернациональной или же другой национальной лексике; стратегии понимания «своего» и «чужого» оказываются различными не только из-за расхождений в морфологической членности производных, построенных по разным образцам, но и зачастую из-за их фонологической «непривычности»; в дериватах, содержащих «чужие» элементы, менее знакомые или незнакомые вовсе, нет опоры на содержание отдельных частей; такие дериваты надо знать «поштучно», а многие из них представляются говорящим равными простым, холистическим знакам;
- 3 — принадлежность как отдельных дериватов, так и целых словообразовательных моделей специальной или же профессиональной лексике; в словообразовательных системах всегда есть свое ядро — модели продуктивного типа, используемые в литературной или же общенациональной разновидности речи, но есть и своя периферия; стратегии говорящих зависят от их принадлежности соответствующей прослойке общества — от их профессии, сферы интересов, образовательного ценза и т. п.;
- 4 — принадлежность дериватов и/или словообразовательных моделей нейтральной или же стилистически (прагматически) маркированной лексике: вся сфера эмоционально или же экспрессивно маркированных производных требует особых стратегий ее понимания: семантический вывод здесь связан главным образом с пониманием интенций говорящего, его настроения, его эмоционального состояния, пониманием той оценки, которая дается происходящему, но также и с пониманием социального и профессионального статуса использующего и/или создающего производное слово и т. п.

Совершенно особую проблему составляет вопрос о понимании отглагольных дериватов по сравнению с пониманием дериватов отыменных (десубстантивных и deadъективных), что вводит в действие влияние фактора категориальной (частеречной) принадлежности составных частей словообразовательной модели и заставляет нас вернуться к вопросу о когнитивной специфике самих разных моделей. Наличие в составе модели глагольной единицы означает, что и ее семантика так или иначе связана с действием или процессом, точно так, как и наличие в ее составе существительного — это указание на какое-либо отношение к предмету или объекту.

Выше мы уже говорили о том, что по отношению к единицам текста часто выдвигаются требования отразить ими релевантную информацию, а также сосредоточить максимально много информации в наиболее кратких формах (ср. по это-

му поводу так называемые разговорные максимы П. Грайса). Теперь мы можем подчеркнуть, что эти требования удовлетворяются в ПС за счет того, что им присуще свойство **поликатегориальности**; ПС не может иметь менее **двух категориальных значений**. При внутричлестеречной деривации мы наблюдаем сочетание однопорядковых значений в случаях типа *профессор – профессура, камень – каменщик, синий – синенький, гореть – отгореть* или же сочетание разнопорядковых значений в случаях типа *дом – домике, дождь – дождик*; при межчлестеречной деривации (транспозиции) обычно сочетание разнопорядковых значений. Соотношение и иерархия категориальных значений в семантической структуре деривата определяется доминирующим положением базиса в данной модели и подчиненным, зависимым положением признака; наследуется категориальное значение источника мотивации; приобретает категориальное значение той части речи, в которую при транспозиции попадает дериват (ср., например, десубстантивные глаголы с их сочетанием предметного и процессуального значений при доминанции этого последнего, типа *солить, мусорить, вдоветь* и пр.). Эти общие положения обуславливают особый характер инференции, действующей в области отглагольного словообразования в его радикальном отличии от деноминативного, как, впрочем, и особый характер инференции, действующей в сфере оценочного или же экспрессивного словообразования (последнее вводит в структуру ПС категориальное значение признака или же признака признака).

Характер инференции может быть при этом объяснен следующим образом: в любом отглагольном образовании, в частности, в сложном слове, наличие глагольного элемента означает наличие соответствующего **предиката** в мотивирующем суждении. Поэтому в разряд значений, нуждающихся в том, чтобы их вывели, попадают либо имплицитируемые данным предикатом (его конкретной семантикой) **аргументы**, либо некие связанные с ним **сирконстанты**. Ср.: *ездок* (на лошади), *сказануть* (что-либо неуместное, бестактное), *расшуметься* (начать сильно шуметь)) и т. п. Напротив, в случае мотивации существительным восстановлению подлежат **предикаты**, ср. *мясник* (тот, кто продает или рубит мясо), *грибник* (тот, кто любит собирать или же есть грибы), *новеллист* (тот, кто пишет новеллы), но *романист* (тот, кто занимается романскими языками и литературами) демонстрирует мотивацию иного рода и может наряду со значением того, кто пишет романы, иметь и указанное выше более сложное значение.

Приведенные примеры показывают, что хотя инференции рассмотренных типов достаточно просты, они все же должны иметь место и что необходимость владения правилами семантического вывода входит в языковую способность говорящего. В противном случае мы не могли бы с легкостью понимать в речи ПС, которые до тех пор никогда не слышали, и уж тем более принимать участие в языковых играх.

Действие инференции распространяется и на трактовку случаев метафорического словообразования и всех иных случаев тропных переносов. Исследова-

ние этих явлений могло бы составить интересные страницы дискурсивного анализа или же экспериментальных работ. Но, пожалуй, наиболее перспективным в исследовании инференции представляется ее роль в образовании регулярной полисемии. Если называть полисемией ПС такое появление разных значений в семантической структуре слова, при котором эти значения выступают не просто как **связанные** друг с другом, но и **выводимые** одно из другого по правилам регулярных семантических сдвигов, тогда только изучение инференции позволяет понять механизм подобных сдвигов и их реальное содержание.

Возьмем, например, суффиксы производителя действия. Как хорошо известно, эти же суффиксы служат передаче целого ряда других значений, и некоторых ученых это даже заставляет говорить об омонимии суффиксов или констатировать трудности различения полисемии и омонимии. На самом деле восстановление цепочки умозаключений позволяет судить о том, как могут быть связаны разные значения одного и того же суффикса. Так, если прототипический деятель представляет собой одушевленное лицо (человека или животного), совершающего нечто по своей воле и под контролем распространяющего свое действие на определенный объект, то ясно, почему в этой ситуации человек может быть охарактеризован либо по производимому им действию, либо по объекту этой деятельности. В результате такой инференции один и тот же суффикс может соединяться с глагольными или же субстантивными основами (ср. *шутник* и *лесник*). С другой стороны, если действие **исходит** от живого лица, ясно, почему оно воспринимается как **каузатор** или же **инициатор** действия. Но такую же роль можно приписать и орудью, и инструменту, и даже средству осуществления действия. По той же логике ему может быть приписана и роль **источника** действия (*генератор*, *радиатор*) и т. д.

Ср. также суффиксы вместилищ чего-либо, которые в реальных производных обозначают часто вместилища однородных предметов, а благодаря этому переосмысляются как **совокупности**, **множества** (ср. *спичечница* и *поленница*) и т. д.

В обыденном сознании такие связи устанавливаются благодаря действию обычной формулы «если..., то...» или же «так как..., то...» и помогают понять роль установления причинно-следственных отношений в сфере языка.

Хотелось бы в заключение обратить внимание на поразительный изоморфизм полисемии словообразовательных формантов и полисемии отдельных самостоятельных лексем. Ср., например, совмещение значений средства и орудия в семантической структуре этих слов, совмещение значения совокупности и итога (результата!), инициатора и зачинателя и т. п. Относительные прилагательные часто описываются с помощью конструкций «относящийся к ч.-л., указанному производящей основой», «обладающий ч.-л., указанным мотивирующим словом» и т. д. Но возьмем описание лексемы «иметь»: в нем перечисляются значения «обладать» или «состоять», точно так же, как в значениях лексемы «характеризоваться» указываются значения «обладать» или «иметь», а в «состоять» — «иметь...». Такие па-

раллели в развитии значений свидетельствуют о том, что сами возможности развития определенного концепта заложены в его конкретном значении и в какой-то мере могут быть предсказаны. Но такие предсказания относятся не только к семантическим структурам слов, но и к семантическим структурам аффиксов.

Все сказанное делает исследование правил семантического вывода важным способом не только установления реальных механизмов понимания дискурса и текста, не только средством рационального описания концентрации разных значений в семантической структуре простого и производного слов, но и приемом описания отдельных значений у многозначных префиксов и суффиксов. Более того, восстановление цепочки умозаключений может стать интересным методом реконструкции **исторических** преобразований словообразовательных и ономаσιологических категорий. Таким образом, как вообще сфера действия правил инференции в языке нуждается в уточнении и более детальном описании, так и сфера ее действия в области создания и восприятия производных единиц номинации подлежит более тщательному и более подробному исследованию. Все попытки такого рода заслуживают самого пристального внимания. Ясно в то же время, что поднятые в настоящей главе проблемы — как касающиеся когнитивных аспектов производных слов, так и когнитивных операций с ними, — связаны с решением более общих задач, стоящих перед теорией словообразования: определения функций словообразовательных систем и действующих в этих системах правилах и закономерностях. Сама же важность этих проблем для теории словообразования свидетельствует косвенно и о том, как необходимо развитие новой когнитивно-дискурсивной парадигмы научного знания и какие интересные и существенные результаты оно обещает.

## *Глава третья*

### **СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИЕ СФЕРЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ В СТРУКТУРЕ НОМИНАТИВНОГО АКТА\***

Вопрос о том, как именно связано словообразование с другими лингвистическими дисциплинами и как оно соотнесено само с другими компонентами языковой системы в целом, можно, конечно, решать, рассматривая последовательно, шаг за шагом, что объединяет словообразование с морфологией, словообразование с синтаксисом или лексикологией и т. д. Вполне возможный с научной точки зрения и описанный нами уже в начале 70-х гг. (см. [Кубрякова 1972: 351 и сл.]), такой подход противоречит, однако, до известной степени реальному положению дел, поскольку при порождении новой единицы номинации указанные факторы — морфологические и синтаксические, семантические и прагматические и т. п., не только одновременно вступают в дело, но и **взаимодействуют**. Не вызывает также сомнения и тот факт, что словообразовательные процессы протекают при сильнейшем влиянии на них личности говорящего и его конкретных установок, используемых знаний и опыта, реальных условий речи и т. д. Это вызывает необходимость определить, что же из перечисленных и взаимодействующих между собой факторов оказывает наиболее сильное воздействие на образование нового производного слова (далее — ПС) и почему.

Думается, что подобно тому, как в ПС, этой центральной единице словообразовательной системы, как в капле воды, отражаются сущностные характеристики самой системы, в акте номинации, осуществляемом с помощью словообразовательных средств, сказываются все разнообразные связи словообразования с другими сферами языка. Несомненное влияние языковой системы и ее собственных особенностей на протекание словообразовательного акта и зависимость этого последнего от множества лингвистических и экстралингвистических факторов

---

\* Впервые опубликовано в кн.: Wortbildung: interaktiv im Sprachsystem — interdisziplinär als Forschungsgegenstand / Hrsg. von I. Ohnheiser. Innsbruck, 2000.

позволяет подойти к решению ставящихся в теории словообразования задач, отталкиваясь от наблюдений за тем, как протекают словообразовательные акты и как возникают при этом основные формальные и содержательные признаки ПС.

Конечно, сама проблема протекания номинативных процессов в языке широко освещалась в специальной литературе последних десятилетий и целое направление — **ономасиологическое** — было посвящено установлению главных черт словообразовательного моделирования. И все же тогда в фокусе внимания ученых находились прежде всего сами формируемые в номинативном акте ономасиологические структуры и способы реализации в них отдельных ее частей — ономасиологических базисов, ономасиологических признаков и, наконец, соединяющих базисы и признаки ономасиологических предикатов.

Между тем несомненные успехи теоретической лингвистики как таковой и возникновение новых парадигм лингвистического знания позволяют взглянуть по-новому и на суть ПС, и на осуществление словообразовательных актов и, во всяком случае, рассмотреть и то и другое в более широкой перспективе. Как это ни парадоксально звучит, можно сказать, что возможность такого широкого взгляда на акты наречения мира предвидели еще в античной философии. В этой связи хочется напомнить о знаменитых диалогах Платона и его «Кратиле», который до сих пор считается одним из самых важных и сложных произведений Платона (см., например, [Лосев 1990: 826; Бардина 1997: 45 и сл.]).

Именно в этом диалоге задается вопрос: «А давать имена — не входит ли это как часть в нашу речь?», а далее выдвигаются постулаты о том, что «и давать имена есть тоже некое действие», и о том, что благодаря этому действию «мы учим друг друга и распределяем вещи соответственно способу их существования» (см. [Платон 1990: 617 и сл.]).

Пришло время развить эти идеи, каждая из которых имеет свой сокровенный смысл, и разъяснить с современной точки зрения то, как следует понимать слова, вложенные в уста Сократа, т. е. показать, какое именно **действие** происходит в речи в момент акта номинации и каковы его действительные последствия. Мы считаем возможным сравнить этот акт с музыкальным аккордом. Хотя музыковеды и музыканты с легкостью разлагают аккорд на его составляющие, мы воспринимаем его как нечто целостное и слитное. Этими же качествами характеризуется и словообразовательный акт. Целостность его обуславливается тем, что при его осуществлении действуют интеракционально и симульганно когнитивные, коммуникативные, личностные и собственно языковые (системные) факторы. Все они объединяются для того, чтобы найти в особой складывающейся в сознании человека структуре знания или опыта, мнения или оценки такую языковую форму, которая удовлетворяла бы данным условиям общения.

Исследователи неологизмов хорошо знают, что новые слова возникают и обнаруживаются первоначально в пределах создающего их текста или дискурса и что как их форма, так и их значение оказываются напрямую связанными с этим

текстом или дискурсом. Это и заставляет нас, описывая связи словообразования, остановиться прежде всего на связях его с **лингвистикой текста** или же, скорее, с дискурсивным анализом, а также выдвинуть тезис о том, что адекватное понимание всего механизма порождения новых слов в актах словообразования требует их анализа при обращении к процессам коммуникации, **on-line**.

Хотелось бы подчеркнуть, что дискурс — это для нас не только «речь, погруженная в жизнь», по меткому определению Н. Д. Арутюновой (см. [Арутюнова 1990: 136—137]), но и **действие говорящего** со всеми его интенциями, знаниями, установками, личностным опытом и всей его погруженностью в совершаемый им когнитивно-коммуникативный процесс. Соответственно, каждый словообразовательный акт должен изучаться в сложной системе координат, когда во внимание принимаются все те факторы, которые предопределяют как информационно-когнитивные, так и коммуникативные особенности дискурса. Их разьяснение и составляет, собственно, цель настоящей главы.

Чтобы не быть далее голословной и не освещать суть актов номинации чисто умозрительно, я использую далее для дискурсивного анализа «Очерки изгнания» А. Солженицына, т. е. обращаюсь к тексту, предпосылки которого и установки которого хорошо известны, а замысел — общепонятен. Наряду с неологизмами типа *бродьба по Парижу, убёг на запад (Анатолия Кузнецова), в сход на знаменитую круглую башню, прочернье обнаженных отвесных скал* и пр. я использую несколько отрывков из «Угодило зернышко промеж двух жерновов» (см. «Новый мир», 1998, № 9), чтобы показать также и некоторые типы «лексических вставлений» (lexical insertion) в связный текст. Вот эти тексты:

1. ... *эти первые дни на Западе, дни открытого сокосновения кипящей западной «медиа»* (с. 52);
2. *Я и хотел быть свободным: от всех домоганий прессы, и от всех пригласительней, и от всех общественных шагов* (с. 59) и, наконец,
3. где Солженицын, рассказывая о фильме, поставленном англо-норвежской фирмой по его повести об Иване Денисовиче, замечает: «... *и в быте, и в самом воздухе зэческой жизни — такая несхваченность, такая необоримая отдаленность, подменность...*» (с. 56).

В первом отрезке внимание останавливает неожиданное *сокосновение*: *открытым* бывает обычно *столкновение*, но для характеристики встреч автора с прессой оно кажется ему неподходящим; в *соприкосновении*, по аналогии с которым создан неологизм, его, по всей видимости, не устраивает ассоциация с наличием при контакте с прессой *точек соприкосновения*; мотивы создания слова — в его яркой эмоциональной нагруженности, т. е. прагматические. Отрицается прямое столкновение с прессой, но не признается и наличие пересекающихся интересов или обычное для *прикосновения* указание на легкость контакта (*прикоснуться* «слегка дотронуться»).

Во втором отрезке появление неологизмов вызвано, казалось бы, чисто синтаксическими причинами: предикат *быть свободным* требует далее предлога *от* с соответствующими существительными (ср. *от страха, от боли*). Но и *домогания прессы*, и *пригласители* (вместо «от всех приглашающих») вводятся не только поэтому. Здесь прослеживается и стремление обойтись без более громоздких синтаксических конструкций, и стремление выразить авторское отношение к прессе и к тем, кто искал встречи с ним, с Солженицыным, из-за нездорового интереса к его личности и т. п. Все это напрямую связано и с тем, что и *выселка из страны*, квалифицируемая также как *изгнание*, прямо противопоставлена *убёгу на Запад* других писателей, а также с тем, что обретение свободы становится (в силу указанных причин) невозможным и здесь.

Наконец, в третьем отрезке — демонстрация того, как в оценке описываемого события сталкиваются два разных чувства. С одной стороны, приходится признать, что в показе *зэчской жизни* не удалось *схватить* главного (*такая несхватченность*), что представленное в фильме лишь *отдаленно* напоминает быт лагеря и по сути *отдалено* от реальной жизни (*необоримая отдаленность*) и, наконец, что правда жизни *подменена* из-за того, что существует «пропасть в жизненном опыте» и что поставлен и сыгран фильм должен был бы «никем как нашими». С другой стороны, прямых упреков в адрес актеров и режиссеров нет: номинализации позволяют уйти от этого и констатировать результаты фильма в безличной форме, без непосредственного обличения и даже, возможно, с известной признательностью за обращение к самой его повести.

Комментируя представленные в тексте неологизмы, можно отметить также несколько других обстоятельств. Первое касается того, что в намерения автора вряд ли входит цель ввести созданные им ПС в лексику русского языка. Уже это ставит под сомнение расхожее мнение о том, что словообразование предназначено для пополнения словарного состава конкретного языка; текст демонстрирует иные причины появления новых единиц номинации. Второе, более важное обстоятельство связано с тем, что для понимания текстов с содержащимися в них неологизмами (окказионализмами) следует явно выйти за пределы их собственной формы и значения, вытекающего для них по правилам словообразовательного моделирования. С одной стороны, здесь открывается явная необходимость **инференции** — умозаключений о реальном содержании ПС, связанных с правилами семантического вывода (об этом мы уже говорили и раньше, см. [Кубрякова 1999]). С другой стороны, как мы постарались показать выше, значения, фиксируемые для слов типа *зэчский, домогания, подменность* и пр. в дискурсе, требуют для своего понимания выхода в текст и общий его замысел, ибо они существуют как контекстно обусловленные, экспрессивно нагруженные, вбирающие семантику соседних знаков и т. д.

Третье обстоятельство — неологизмы связаны не только с жанром и общим стилем повествования, — они образуют сами определенную сетку связей и отно-

шений: так, *зэческая жизнь* противопоставлена *лагерному другу*, *выселка (автора)* — *убёгу на Запад* других писателей, *выселка* существует рядом с *высылкой*; такие примеры можно было бы умножить. И последнее — в семантике ПС всюду ощутимы «ножницы» между «формульными» словообразовательными значениями (типа «присущие определенному лицу/лицам», «то, что характеризуется определенным признаком», «те, кто совершают определенные действия» и т. д.) и реальным содержанием указанных ПС.

В принципе сама такая возможность выразить ПС **больше**, чем следовало бы из морфолого-деривационной структуры деривата, уже описывалась — либо в терминах наличия в ПС «скрытых» значений, либо (как, например, у И. Г. Милославского) в терминах «приращенных» значений.

В сущности, однако, способность единицы передавать то больше, то меньше значений — это характеристика **семиотическая**, это особенность знака как такового. Еще Ч. Моррис подчеркивал, что «вопрос о том, что представляет собой десигнат знака (т. е. его значение) в каждой конкретной ситуации, есть вопрос о том, какие признаки объекта или ситуации фактически учитываются в силу наличия самого только знакового средства» [Моррис 1983: 40]. Он здесь же отмечает, что существует некий «потенциальный знаковый континуум» для каждого знака, т. е. тот диапазон значений, который может быть охвачен одним знаком. Применяя этот принцип к ПС, важно установить, о каком знаковом континууме может идти речь в данном случае, а для этого и рассмотреть более подробно его семиотические признаки. Это, в свою очередь, предопределяет анализ словообразовательного акта как **акта семиозиса**, и меня удивляет, почему акты номинации до сих пор еще в семиотическом ракурсе не исследовались. Как я постараюсь показать, этот путь анализа представляется нам весьма перспективным.

По идее, появление знака всегда отражает стремление заменить одну сущность другой таким образом, чтобы облегчить этим ментальные, или же мыслительные процессы в человеческом сознании. Замещая с помощью **языкового знака** сложные и развернутые когнитивные структуры, мы получаем возможность оперировать ими в нашем сознании с большей легкостью, ибо подставляем на их место один-единственный символ. Естественно, что такой единицей манипулировать гораздо проще, чем если бы мы вынуждены были манипулировать каждый раз всей совокупностью знаний (ср., например, [Бейтс 1984: 96]). В символе (знаке) и следует поэтому усматривать прежде всего такое метонимическое, редуцированное, заместительное, упрощенное средство, такую форму, которая, будучи достаточной для указания на какое-либо действие, объект или признак, взятые в их целостности и потому — богатые по их реальному содержанию, сама по себе по правилу *pars pro toto* может реферировать (отсылать) к любому из свойств называемой целостности. Такая форма (знаконоситель) возбуждает определенные ассоциации плана выражения и плана содержания, в чем, собственно, и заключается цель акта семиозиса.

Хотя непосредственная цель акта семиозиса достигается созданием нового знака, **последствия** его оказываются гораздо более значительными. Тривиальный ответ на вопрос о том, что означает на практике осуществление акта семиозиса, заключается в том, что в распоряжение человека поступило еще одно новое слово. Фактически же итоги подобного появления более сложны: в языковой картине мира появляется еще одна точка. Картирование мира стало более детальным. Хотя и в незначительной, возможно, степени, но все же в системе, где все со всем связано, начинается перестройка. Какой-то пласт лексики и какая-то ономаσιологическая категория обогащаются, их границы — раздвигаются. Не исключено, что в ходе этого процесса у членов той же категории уточняются и их семантические структуры — одни сужаются или расширяются, другие — перегруппировываются. Новое обозначение обретает свои собственные антонимические, синонимические, гиперо-гипонимические связи (как в приведенных выше примерах).

Еще более существенно влияние нового обозначения на организацию **внутреннего лексикона** человека. Ведь объективация определенной структуры знания, достигнутая созданием нового знака, апробированного обществом, сама означает, что знание, бывшее до этого смутным, расплывчатым, неопределенным, теперь сконцентрировано и закреплено за знаком; оно получило свойства гештальта, отдельности, отграниченности от других структур знания. Знание невербализованное, выступавшее в сознании человека в виде неявного, интуитивного превращается в **осознаваемое** (ср. [Бардина 1997: 53]) и, получая знаковую форму, обретает свою жизнь в системе, где хранится уже в виде знания **упорядоченного**, подведенного под особую категорию и доступного для сознания именно в этом качестве: в качестве оперативной единицы сознания, облегченного заместителя сложных и иногда весьма разветвленных концептуальных структур (прежде всего — пропозициональных).

Связи словообразования с семиотикой и обуславливаются, собственно, тем, что словообразовательные акты можно и нужно рассмотреть как особые акты семиозиса, приводящие к созданию таких знаков, которые, с одной стороны, повторяют все свойства полнозначных знаков, ограниченных пределами слова (они дублируют свойства полнозначных слов), но которые, с другой стороны, развивают такие специфические черты и признаки, которые позволяют считать ПС образующими особый **класс знаков**. Каковы же его черты?

Главное отличие ПС от простого, производного проявляется сразу же в характере семиотического действия, создающего ПС. Простые слова, по определению, произвольны, или же условны; ассоциации означаемого и означающего устанавливаются исключительно «по договоренности», конвенционально. Как правильно отмечает У. Эко, если мы называем кого-либо *собакой*, ничто в этой языковой последовательности не свидетельствует о том, каковы природные свойства собаки [Эко 1998: 49]. При создании ПС, однако, наблюдается иное: если мы

назовем зверя *собачонкой* или *собаченцуйей*, мы явно имеем в виду собаку с ее природными свойствами, и знак отсылает нас к этому объекту, предлагая вместе с тем его своеобразную **дескрипцию**. Свойство ПС отсылать к «готовым», т. е. уже существующим в языке знакам, и именуется **мотивированностью**, благодаря чему ПС выступают в языке как знаки не столь условные, сколь **мотивированные**.

Более того. Хотя, конечно, и для простого, непроизводного слова мы предполагаем акт его первичного возникновения, ничто в нем не указывает, как протекал этот акт. Напротив, для каждого синхронно релевантного ПС существует реальная возможность указать на тот словообразовательный процесс, в ходе которого оно было создано. Наиболее наглядным примером такого рода являются неологизмы, образуемые как бы у нас «на глазах», т. е. связываемые все с дискурсом или текстом. Это, собственно, и побудило нас начать данную главу с демонстрации случаев указанного рода. Аналогичные наблюдения привели нас к тому, что уже с середины 70-х гг. мы предложили особую методику синхронной реконструкции словообразовательного акта (ср. [Кубрякова 1976]) как восстановления деривационной истории ПС, возможного с точки зрения говорящего. Сама возможность указанной реконструкции для любого ПС позволяет, кстати говоря, отличить область синхронного словообразования от диахронического и четко очертить границы этой области. Но понятая в семиотическом плане, указанная способность может дать импульс новому определению ПС как такого мотивированного знака, буквально **все** составляющие которого (т. е. не только отсылочная его часть) позволяют судить о том первичном акте семиозиса, который их создал и который завершился новой комбинаторикой знаков.

Рассмотрим теперь более подробно **структуру** акта семиозиса. По мнению семиотиков, этот акт означивания или ословливания неких фрагментов мира, будучи изучаемым в семиотических терминах, должен получить описание «как включающий три (или четыре) фактора: то, что выступает как знак; то, на что указывает (*refers to*) знак; воздействие, в силу которого соответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком» [Моррис 1983: 39]. Как следует из этого определения, для интерпретатора должна прежде всего существовать такая «вещь», которая служит заместителем другой вещи. В языке такой «вещью» является языковая (звуковая или графическая) последовательность, которую интерпретатор связывает далее с **референцией** знака и его **интерпретантой** и которую семиотики именуют **закононосителем** (*sign vehicle*), или же **телом** знака. Каждый из названных членов акта семиозиса изучается в семиотике в специальных ее разделах — синтактике, семантике и прагматике, которые сами по себе соответствуют трем «осям» или трем «измерениям» знака: синтаксическому, семантическому и прагматическому. При этом, как известно, под синтактикой понимается сфера внутренних отношений между знаками, под семантикой — сфера отношений между знаками и теми, кто ими пользуется (ср., например, [Степанов 1983: 28]). Жизнь знака в семиотической системе определяется, следовательно, тем,

как строится его тело (синтактика), тем, что он значит или обозначает (семантика) и, наконец, тем, какое воздействие он оказывает (прагматика).

Будем исходить из того, что отношения именованности возникают в акте семиозиса лишь тогда, когда, по словам У. Эко, «какие-то смыслы привязываются к какому-то звуковому образу» [Эко 1998: 51], а значит, тогда, когда некая складывающаяся в сознании человека когнитивная структура начинает обретать свое тело и когда ассоциации того и другого формируют новый знак. Поскольку словообразовательное моделирование налагает свои ограничения именно на это **тело** (языковую форму, или «упаковку» содержания), следует отметить, что ПС отличаются от непроеизводных прежде всего по этому параметру. ПС выступает как словообразовательная **конструкция**, как особая комбинаторика и особая аранжировка готовых знаков в **сложный** (комплексный) знак. Это, собственно, связывает ПС и с морфологией, и с синтаксисом; с морфологией — так как «упаковкой» ПС выступает определенная (новая) морфологическая структура, с синтаксисом — так как ПС строится по особым правилам комбинаторики знаков (внутреннего синтаксиса), а далее живет по особым правилам конкуренции с другими синтаксическими конструкциями или — правилам включения в них.

Связи словообразования с морфологией естественно изучать в тех областях функционирования языка, где проявляются определенные правила сочетаемости морфем в единую словообразовательную структуру, а также ограничения на эту сочетаемость (ср., например, работы И. С. Улуканова). Их можно устанавливать и там, где слову надлежит выразить обязательно и свою принадлежность к той или иной части речи или же быть связанным с передачей обязательных грамматических значений. Связи словообразования с синтаксисом, помимо анализа проекций разных членов пропозициональных структур в свертывающееся их имя, требуют своего исследования в области существования альтернативных форм выражения одного и того же содержания или, скорее, в области **возможностей** описать одну и ту же ситуацию и/или объект разными способами. Естественно, что речь идет при этом о выборе говорящими одной из форм единого номинативного ряда, характеризующегося наличием в каждой из единиц этого ряда одного и того же корня (основы). Пропозициональная структура, лежащая в основе такого ряда, остается в основном неизменной, но формы ее объективации могут существенно меняться. Дело заключается не столько в том, что переход от наблюдаемой ситуации к построению суждения о ней зависит от начальных этапов ее восприятия и концептуализации, а потому дает толчок умножению альтернативных способов ее обозначения. «Именно поэтому говорят, — пишет К. Переверзев, — что одна реальная ситуация может получать разные речевые номинации сколь угодно большое число раз» [Переверзев 1998: 28].

Я бы подчеркнула здесь иное: во-первых, важно скорее то, что для описания неких стандартных ситуаций и обычных объектов в системе языка складывается небольшой ряд их конвенциональных и столь же стандартных и привычных спо-

сборов их обозначения. Во-вторых, выбор той или иной из этих форм одного ряда сообразован с интенциями говорящего, останавливающегося обычно на описании ситуации с необходимой для его целей фокусировкой внимания на одной из ее сторон и/или с желательной степенью детализации в этом описании. Наконец, в-третьих, ПС занимает в этом ряду «крайнее» или «конечное» положение, оказываясь наиболее общепринятым и употребительным способом ее сжатого, лаконичного описания (в этом смысле не могут не обратить на себя внимания отглагольные имена у А. И. Солженицына, за которыми обычно стоят целые сцены). Изучение альтернативных форм описания одного объекта или же одного объекта (как доказательства возможности «свернуть» одно и то же суждение о них в разные структуры) – весьма перспективный путь исследования реальной семантики всех этих форм с очень тонкими нюансами их значения (ср. [Панкрац, Кубрякова 1998]).

Согласно нашим наблюдениям, преобразования, наблюдаемые в разных трансформациях исходного мотивирующего суждения (типа: *машина перевозит груз в пять тонн – машина, перевозящая пятитонные грузы – машина для перевозки пятитонных грузов – пятитонка*; ср. также *шаги черепахи и черепахины шаги; белая скатерть и белизна скатерти* и т. п.), не могут быть признаны эквивалентными, или же равнозначными. Думается, что для нормального протекания дискурса необходимы не столько синонимы, сколько альтернативные разноструктурные единицы со сходным содержанием, но с разной степенью семантической компрессии, когнитивной сложности и, конечно, фокусировкой внимания на разных деталях описываемого. Из этих альтернативных форм наиболее приемлемый вариант часто оказывается представленным производным или сложным словом, ибо они демонстрируют чрезвычайно удобные для оперирования ими в дискурсе знаки.

Очевидно в то же время, что среди причин, обуславливающих выбор ПС сравнительно с другими единицами номинации, лидирует прежде всего само **тело знака**, заставляющее предпочесть ПС тогда, когда для осуществления дискурса необходим знак легко передвигаемый, краткий, емкий по своему содержанию и в то же время сообщающий информацию о самом себе в простом для ее узнавания виде. Достигается это в значительной мере и за счет того, что ПС выступает не только как знак мотивированный, но и как знак внутренне **расчлененный**, т. е. расчлененно, по частям, передающий содержащуюся в нем информацию. Если про значение простого знака и можно сказать, что перед нами «концепт, схваченный знаком» (ср. [Никитин 1974; Кубрякова 1993]), то про значения ПС как носителей словообразовательных, т. е. сложно-структурированных значений, лучше так не говорить. ПС всегда «схватывают», строго говоря, концептуальные **структуры**, т. е. некие **объединения концептов**. Являясь рефлексамии пропозициональных структур, ПС и должны отразить прежде всего **отношения** между знаками, и какой бы не оказалась сама морфолого-деривационная словообразовательная конструкция по своему реальному составу, она моделируется так, чтобы сохранить в

этой проекции внутреннюю сущность исходной пропозиции: связь функции с определенным аргументом или аргументами.

Подытоживая эти рассуждения, можно утверждать, что синтаксис задает словообразовательной модели рефлексы синтаксических категорий и синтаксических отношений, представленных в мотивирующем суждении (пропозиции), и что далее в теле знака, в его значении и, наконец, в интерпретанте знака **иконически** отражены эти отношения. Содержательной расчлененности обозначаемой структуры соответствует формальная расчлененность морфологической структуры знака. Иконическим можно считать и способ подачи информации в производных разного типа: чем сложнее содержание, подлежащее объективации, тем более сложную упаковку оно обретает; чем больше составляющих входит в морфолого-деривационную структуру ПС, тем более развернутое семантическое представление требуется для его объяснения. Зато распределение информации скорее **индексально**: в правовершинных языках категориальный базис фиксируется правым крайним членом деривата, а приписываемые базису признаки располагаются в левостоящих компонентах. Нарушение этого правила в сфере экспрессивного словообразования носит тем самым тоже иконический характер, соответствуя особому положению выражения эмоций в языке (ср. инвертированный порядок следования слов в предложении, использующийся в тех же целях).

Маркировано семиотически и отличие единиц номинации от единиц коммуникации: канонический тип предложения строится прежде всего по принципу «топик — коммент», канонический тип деривата — по типу «коммент к топик». Ср. также инверсию прямого объекта в сфере словосложения типа *строить корабль*, но *кораблестроение*, *носить письма*, но *письмоносец*.

Поскольку «знаковый анализ — это изучение синтаксического, семантического и прагматического измерений конкретных процессов семиозиса» [Моррис 1983: 78], а все эти измерения соотнесены друг с другом и представляют собой понятия **реляционные** (ср. также [Моррис 1983: 75 и 82–83]), все главные семиотические характеристики ПС сходятся в его **интерпретанте**. Это понятие, являя собой пример одного из наиболее сложных терминов всей семиотической теории (ср. [Булыгина 1983: 597; Степанов 1983: 585 и сл.]), оказывается тем не менее ключевым для определения знака. Поскольку именно с ним связано **воздействие** знака на говорящего, чаще всего его трактуют как понятие прагматическое (ср., например, [Моррис 1983: 39–40; 82–83]). Между тем само воздействие или же восприятие знака можно трактовать и более широко (ср. [Пирс 1983: 152 и сл.]), что и позволяет считать интерпретанту такой языковой конструкцией, которая **разъясняет** (интерпретирует) знак. Интерпретанта — то, как следует **понимать** знак в данной системе знаков. Как пишет У. Эко, «чтобы установить, какова интерпретанта того или иного знака, нужно обозначить этот знак с помощью другого знака, интерпретантой которого, в свою очередь, будет следующий знак и т. д.» [Эко 1998: 53].

При таком истолковании интерпретанта может быть понята и как то, в каком отношении произведено обозначение объекта данным знаком, как у В. Дресслера, и как единица, которая может быть разъяснена **серией конструкций**, каждая из которых раскрывает особую сторону организации знака (денотативную и сигнификативную, эмоциональную и экспрессивную, грамматическую и деривационную и т. п.), см. подробнее [Кубрякова 1993: 25 и сл.]; ср. также [Jakobson 1971: 244; Dressler 1987: 15; Smythe 1990]. В число интерпретант знака могут быть включены его трансформации и перифразы, дефиниция и синонимы и т. п. Все это позволяет отразить более детально **диапазоны значений знака**, пути его использования. Опираясь на понятие интерпретанта, можно тогда указать на принципиальное отличие интерпретант ПС от интерпретант слова простого, ибо в число первых должны обязательно входить, по крайней мере, **две** или **три**. Первая определяет **лексическое** значение знака (она присутствует среди интерпретант любых полнозначных знаков); вторая определяет **словообразовательное**, или **деривационное** значение знака. Первая интерпретанта характеризует индивидуальное значение знака, вторая — серийное, «формульное», моделируемое по правилам словообразования данного языка. Естественно, что между лексическим значением слова и его словообразовательным значением нередко наблюдаются «ножницы», т. е. довольно основательные различия: лексически *бродьба по Парижу* объясняется через структуру *бродить целенаправленно, с целью узнавания города, знакомства с его достопримечательностями*, а деривационно — через структуру «*действие по глаголу б р о д и т ь*»; ср. также *выход* в лексическом значении «*появление актеров или исполнителей на сцене*», но в словообразовательном значении — это «*момент, время, когда актеры выходят на сцену*» и т. д.

Очевидно, что статус ПС в словаре фиксируется его **лексической** интерпретантой, тогда как его статус в системе словообразования — его **деривационной интерпретантой**, раскрывающей и суть тела знака, и суть его значения; первое помогает **опознать** то, что стоит за знаком, второе — **объяснить** его. Первым обеспечивается референция к миру действительности, вторым — референция к **миру слов**.

Хотелось бы также в завершение отметить, что жизнь производного знака в своей семиотической системе сложнее, нежели жизнь простого. Так как сам этот знак складывается из нескольких знаков, в его истолковании могут быть обнаружены рефлексы каждого из них: в терминах генеративной грамматики можно было бы сказать, что правила наследования производным знаком значений его составляющих тоже подчинены особым закономерностям, зависящим от типа и характера словообразовательной модели, использованной при создании ПС. Здесь нельзя не вспомнить постулат Г. Фреге — значения комплексных знаков представляют собой композиционную функцию значений составляющих его знаков и отношений между ними, т. е. постулат, подлинная суть которого может быть разъяснена только сегодня и только в семиотических терминах.

Анализ словообразовательных актов номинации в семиотических отношениях только начинается. Между тем задачу эту поставил более шести десятков лет тому назад Ч. Моррис, указывая на важность для развития семиотики таких исследований, которые бы выяснили, «при каких условиях протекает семиозис и что происходит в этом процессе» [Моррис 1983: 84]. Нетрудно убедиться в том, что задачу эту решали вплоть до настоящего времени на материале простых, производных знаков и не проводя должной дифференциации знаков производных и непроизводных.

Обращаясь к семиотическим аспектам появления ПС в системе языка, мы приходим, помимо прочего, еще к одному важному выводу. При рассмотрении словообразования «изнутри», т. е. как имманентной подсистемы (модуля) языка, можно легко свести все его описание к морфологическому, или же поместить этот модуль в лексикон. Но как только мы выходим за пределы этой подсистемы как таковой и начинаем исследовать связи словообразования с другими сферами системы языка, положение дел решительно меняется. Словообразование начинает выступать во всем разнообразии его функций и измерений. Но именно такой всесторонний взгляд на его природу и задачи позволяет оценить богатейшие возможности словообразования и ту исключительную роль, которую оно играет как в когнитивно-познавательных процессах человека, так, конечно, и в его коммуникативной деятельности.

## *Глава четвертая*

### **О РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦАХ НОМИНАЦИИ И МЕСТЕ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА СРЕДИ ЭТИХ ЕДИНИЦ\***

Несмотря на тот факт, что среди различных компонентов языковой системы только словообразование предназначено специально для моделирования новых единиц номинации, в выполнении номинативной функции принимают широкое участие и другие компоненты той же системы. Соответственно, в качестве единиц номинации могут выступать не только производные слова. Достаточно напомнить в этой связи о том, что номинативную функцию приписывают зачастую и отдельным предложениям. Такое положение дел позволяет поставить вопрос о том, какие языковые формы могут служить в языке осуществлению целей номинации и какова специфика ПС по сравнению с этими другими единицами.

Поскольку мы уже давно описали типологию единиц номинации и выделили те параметры, на основе которых возможна их последовательная классификация (ср., например, [Кубрякова 1986: 42 и сл.]), можно было бы полагать, что и сравнение разноструктурных единиц (слов, словосочетаний и т. п.) следовало бы вести, рассматривая одну за одной из этих единиц по их составу, протяженности, внутренней организации и т. п. В настоящем сообщении, однако, нас интересует более всего вопрос о том, как соотносится **способ представления** семантики в этих единицах с их когнитивными и дискурсивными характеристиками и каковы реальные отличия самих этих характеристик у разноструктурных единиц номинации.

Думается, что подобное рассмотрение позволит оценить по-новому положение ПС среди других единиц номинации, а также уточнить и углубить наши представления о самих целях и задачах номинативных процессов и, конечно, их последствиях. Исходя из этого, мы полагаем также, что предлагаемый нами анализ —

---

\* Впервые опубликовано в кн.: *Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji* / Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, 2000. S. 24—31.

анализ с когнитивных позиций — позволит продемонстрировать, какими важными и интересными свойствами обладают разноструктурные единицы номинации и какой реальный диапазон возможностей связан с каждой из таких единиц. Уточним первоначально само понятие единицы номинации: такой единицей можно, по всей видимости, считать любую языковую форму и тем более любую языковую конструкцию, которая служит в тексте и дискурсе **выделению, распознаванию и характеристике** любой реалии (объекта, события, признака и т. д.), стоящей за этой формой или конструкцией, и — одновременно — способствует **активизации знаний** о ней. С этой точки зрения единицы номинации выполняют не только собственно назывательную функцию, но и функцию репрезентации отдельных фрагментов мира и его концептуализации. Они формируют понятия и другие концептуальные сущности, свидетельствующие о том, каким видится окружающий человека мир, что в нем остановило его внимание и какие именно крупницы опыта, знаний и оценок человек счел для себя наиболее существенными.

Здесь не может не обратить на себя внимания тот факт, что среди единиц номинации явно противопоставляются единицы **двух** классов: системные, готовые, воспроизводимые в актах речи и, напротив, свободно в ней создаваемые. Первые фиксируются словарями, вторые рождаются и используются от случая к случаю, представляя собой свободные комбинации уже имеющихся в ментальном лексиконе говорящего единиц. Я бы хотела противопоставить такие единицы как единицы-обозначения и единицы-описания, или же просто как **обозначения и аналитические дескрипции**, отметив по их поводу ту огромную, но разную роль, которую они играют в когнитивно-дискурсивной деятельности человека.

В своей замечательной книге о константах русской культуры — в самом ее начале — Ю. С. Степанов делает поразительное заявление. «Русская культура — пишет Ю. С. Степанов, — реально существует в той мере, в какой существуют значения русских (и древнерусских) слов, означающих культурные концепты» [Степанов 1997: 9]. Иначе говоря, сам факт наличия обозначений культурных концептов приравнивается им по своей значимости к существованию других материальных памятников русской культуры и тем самым подобные обозначения включаются в особый ряд духовных ценностей. Из этого следует также, что именно номинация готовым знаком или зафиксированной комбинацией знаков открывает дорогу **хранению** знаний и **передаче** их от одного поколения к другому, не говоря об актах передачи таких структур знания от одного человека к другому.

Есть у готового обозначения и другая важная сторона: ословливание мира (das Worten der Welt) ведет к более строгой фиксации определенных идей в сознании человека. Невербализованные знания проносятся в нашей голове в виде расплывчатых, смутных представлений — разрозненных и как бы не собранных воедино. Только обретая языковую «упаковку» и ассоциируясь с особым телом знака, знания, дотоле неосознаваемые, неявные и диффузные, переходят в совершенно иную сферу. В качестве гештальтов ими легче оперировать в процессах мышления имен-

но как концептами, интегрированными в отдельные концептуальные структуры. Обозначения как особые опредмеченные формы языка (ср. [Бардина 1997: 53]) заменяют собой в ментальной и дискурсивной деятельности сложнейшие фрагменты наших мыслей о мире и итоги его осмысления. Учитывая, что среди полнзначных обозначений подавляющее большинство составляют ПС, мы должны признать тем самым и исключительную роль **конвенциональных** номинаций: входя в число общеизвестных и общепринятых обществом говорящих наименований реалий мира, они образуют в своей совокупности область разделенных знаний (*shared knowledge*) для всего сообщества говорящих на одном языке.

Из всех разноструктурных единиц номинации, таким образом, именно готовому ПС (как и слову вообще) выпадает роль ядерного элемента в цепочке возможных описаний тех или иных фрагментов мира, и, конечно, именно своей конвенциональностью ПС отличаются от всех прочих **несколькословных номинаций** и развернутых аналитических дескрипций. Разумеется, среди последних тоже встречается немало устойчивых словосочетаний (ср., например, сферу современной терминологии) и обычных обозначений в окружающей нас действительности (ср. *дом обуви, пищевая промышленность, белый грибы* пр.). По своей сути, однако, все они должны рассматриваться скорее как описания, существующие к тому же нередко как своеобразные аналоги имеющимся в словарях названиям (ср. *скорая и скорая помощь, вечерка и вечерняя газета, швейник и работник швейной промышленности*). Это, собственно, и позволяет поставить специально вопрос о тех единицах номинации, которые входят в единый номинативный ряд и выступают в языке в качестве **альтернативных**, а нередко и конкурирующих между собой средств номинации.

Дальнейшее изложение и строится, соответственно, на рассмотрении таких номинативных рядов, которые объединяют в своем составе **разноструктурные** средства номинации, используемые для референции к одной и той же ситуации и одному и тому же объекту, а также характеризующиеся наличием в них повторяющихся полнзначных компонентов как строительных блоков соответствующих обозначений и описаний (ср. *корабел — кораблестроитель — тот, кто строит корабли; снегоочиститель — очиститель снега при заносах — машина для расчистки транспортных путей от снега или снежных заносов* и т. д.). ср. также [Кубрякова 1981].

По традиции анализ таких цепочек должен был бы считаться анализом **синонимических** рядов или же изучением способов выражения в языке одного и того же содержания. Такое рассмотрение было постулировано, например, в генеративной грамматике и в трудах Ю. Д. Апресяна, который в своей знаменитой книге о лексической семантике (см. [Апресян 1974]) подробно описал синонимические средства языка и выдвинул понятие «лексической замены» как единицы, преобразуемой по особым правилам в другую без того, чтобы изменить исходное содержание этой единицы. По его определению, такие замены должны были ха-

рактироваться одним-единственным релевантным для них признаком — иметь «одинаковый перевод на семантический язык» (см. [Апресян 1974: 43, 165 и др.]).

Не буду говорить о том, какое огромное влияние оказала эта книга на целое поколение исследований и какое значение она имела для разработки формальной семантики и всей теории парафразирования. И все же сегодня, спустя четверть века, мы можем предложить другую интерпретацию материала Ю. Д. Апресяна, а в известном смысле поставить под сомнение саму идею равнозначности возможных преобразований одной единицы в другую с функционально-когнитивной точки зрения. В рамках когнитивного подхода синонимы будут скорее рассмотрены как единицы одного ментального или концептуального пространства, но занимающие в этом пространстве **разные места**, а главное, соответствующие в нем **разным образам** обозначаемой или же описываемой действительности. Думается, что до возникновения когнитивного подхода к явлениям языка мы просто не умели описать сами тонкие различия в семантике альтернативных единиц номинации или же объяснить причины их появления.

Основной замысел этой главы я и усматриваю в том, чтобы продемонстрировать наличие собственных семантических характеристик у каждой из единиц одного номинативного ряда, а также в том, чтобы выявить *raison d'être* их возникновения в естественном языке. Ясно, что акцент при этом делается именно на том, что единицы одного номинативного ряда обладают исключительно **фамильным сходством** и никак не могут быть признаны единицами с **тождественной** семантикой. Секрет места каждой единицы номинации, в том числе, конечно, и ПС, заключается, по нашему мнению, как раз в том, какую специфическую информацию способна передавать каждая из единиц номинативного ряда, обладающая собственной языковой формой.

Справедливости ради надо отметить, что понятие номинативного ряда было выдвинуто некогда в работах В. М. Никитевича, который, рассматривая цепочки типа *машина, перевозящая грузы в пять тонн* → *грузовик для перевозки пятитонных грузов* → *пятитонка*, использовал эти цепочки для восстановления пути свертки синтаксической конструкции в универб и для построения на этой основе особой номинативной (деривационной) грамматики. Мы же обращаемся к этому понятию в иных целях — чтобы показать, что приобретается, а что — теряется в семантическом плане при указанных трансформациях и что в конечном счете позволяет утверждать (в аналогичных ситуациях), что в едином номинативном ряду фактически участвуют единицы с дифференцированными и **нетождественными** значениями.

Перейдем теперь к более конкретному анализу наблюдающихся различий, используя для этого прием сопоставления семантики единиц в одном номинативном ряду и выделяя по мере проведения анализа те семантические признаки, по которым одна единица может быть противопоставлена другой или другим единицам ряда. Поскольку ряды могут различаться и по числу входящих в него единиц,

и по структуре, протяженности и типу организации самой единицы, а общая типология рядов не входит в задачи настоящего сообщения, я использую каждый описываемый мной ряд исключительно для иллюстрации того, по каким признакам **могут** в принципе различаться отдельные разноструктурные единицы.

Вообще говоря, можно было бы считать, что примером простейшего номинативного ряда является объединение слова и его дефиниции. Все словари базируются, собственно, на презумпции эквивалентности правой и левой частей словарной статьи. Хотим подчеркнуть, однако, что и этот тип эквивалентности на самом деле относителен. Дефиниции даются прежде всего для опознания тех реалий, что стоят за словом. Однако тот, кто решал кроссворды, знает, как трудно перейти от дефиниции к слову и как, далее, быстро обнаруживается различие между указанными единицами при их использовании в речи. Можете ли вы представить себе такую ситуацию, когда вместо просьбы о приготовлении творожников или сырников на завтрак вы бы попросили жареные лепешки из творога или кушанье с начинкой из творога, а в тексте, где упоминаются таблетки, вы бы заменили их на «круглые лепешечки из прессованного лекарственного порошка»?

В таких рядах отчетливо видна разница между обозначениями и аналитическими дескрипциями: первые (слова) передают индивидуальные **значения** в максимально свернутой и компрессированной форме, вторые разъясняют **смысл** обозначения; первые четко референциально ориентированы, вторые констатируют необходимые и достаточные для отождествления названного и обозначенного ПС объекта. Первые — это когнитивные свертки с разной степенью семантической компрессии, вторые — развернутые суждения об обозначаемом, позволяющие восстановить все имплицуемые словом смыслы. Различный способ представления информации явно ведет к функциональной дифференциации соответствующих единиц в реальном дискурсе.

Так, дефиниция достаточно редко выступает в виде единицы номинации как таковой (исключением здесь являются специальные научные тексты), но в идеале сравнение слова и его дефиниции дает яркое представление о том, как велика степень возможной компрессии информации, связываемой со словом, и как поэтому значим фактор мотивированности у ПС, позволяющий строить некие обоснованные гипотезы о реальном значении слова.

Разная протяженность сопоставляемых в этом случае единиц номинации позволяет подчеркнуть, что ПС делает возможным абстрагироваться от многих само собою разумеющихся признаков обозначенного объекта, тогда как аналитическая дескрипция, напротив, способна к актуализации любого из релевантных для объекта признаков. Ср. *звонарь* и «*тот, кто звонит в церковный колокол*», а совсем не «*тот, кто звонит по телефону или звонит в дверь*»; ср. также *клетчатый платок* и *платок в крупную красную и белую клетку* или же, как это описано в словаре, «*фрисунком в клетку*».

При сравнении единиц одного ряда неизменно встает, таким образом, вопрос о значимости фактора их линейной протяженности: чем протяженнее единица, тем большее количество эксплицитной информации (в актуализированном ее варианте) может быть передано каждой из ее составляющих, зато мобильность единицы в тексте приобретает ограниченный характер: ср. *выйти на прогулку* — *прогуляться*; *оказать помощь* — *помочь*; *глотнуть кофе* — *выпить глоток кофе* и т. д. Расхождения в семантике подобных единиц минимальны, но обычно они связаны с тем, какой развертке в тексте может подлежать каждая из этих единиц. Можно, например, *быстро глотнуть кофе* или же *выпить всего только один глоток*.

В терминологии существует тенденция к редуции протяженных несколько-словных терминов и замене их более лаконичными аббревиатурами. В этих случаях тоже разноструктурные единицы номинации представляют собой скорее **дублеты**, а выбор единицы из ряда мотивируется соображениями дискурсивного порядка (экономией места, стремлением избежать перегруженности текста и т. д.).

В простейшие номинативные ряды объединяются также исконные и заимствованные слова (ср. *языкознание* и *лингвистика*, *зубной* и *дентальный*, *местный* и *локальный* и т. д.), слова с разной стилистической окраской (ср. *собака* с *собачкой* или *собаченцией*) или морфологические дублеты (типа *ксерить* и *ксерифовать*, *массировать* и *массажировать*), но оставив их в стороне, мы можем перейти к тем другим типам номинативных рядов, которые традиционно считаются синонимическими. Возьмем, например, *письмоносца* и *почтальона*, которые, судя по словарям, равно обозначают профессию людей, разносящих разную корреспонденцию по заранее заданным адресам. В одном обозначении, однако, указывается на связь деятельности с почтой, в другом — на саму осуществляемую деятельность (носить письма) и, как это ни парадоксально, семантическая прозрачность последнего помешала его более широкому распространению (носят не только письма, но также и газеты, и журналы, и деньги и т. д.).

Конечно, у всех единиц одного ряда наблюдается повторение определенных значений, и все же каждой удастся создать свой образ обозначенного. Такой образ зависит от способа представления информации в наименовании, а именно, от того, на каких деталях или аспектах обозначаемого она сфокусирована. Обратимся к номинативным рядам типа *белая скатерть* — *белизна скатерти* или же *длинное платье* — *длина платья*. К чему приводит постановка на место простого прилагательного в признаковой зоне конструкции его номинализованного аналога? Как сказывается в этой конструкции давно нами описанное взаимодействие **двух** категориальных значений в ПС — *белизна* или *длина*? Какой цели служит здесь, наконец, то концептуальное слияние, тот концептуальный сплав — *blending*, — что привлекает к себе пристальное внимание всех когнитологов настоящего поколения? Сложный ответ на этот вопрос заключается, на наш взгляд, прежде всего в том, как фиксируется в указанных конструкциях **распределение внимания**.

Приписывая объекту простой признак, мы держим в фокусе сам объект (фигуру), но при использовании номинализации равное внимание уделяется одновременно **двум** объектам (фигурам) и конструкция приобретает вид двухфокусной.

В обороте *белая скатерть* осуществляется субкатегоризация объекта (он сам выступает как особая разновидность скатертей), в обороте *близна скатерти* этого не происходит; единицы подытоживают разные познавательные процессы и фиксируют наблюдения разного порядка.

В *радостном свидании* акцентируется *свидание*, в *радости свидания* — *радость*; в первом случае — событие описано целостно, как нечто единое, во втором подчеркиваются скорее раздельность события (*свидания*) и вызываемого им чувства (*радости*). Отсюда и различие их дальнейшего развертывания в тексте: можно сказать *радости свидания как не бывало*, но отрицание самого факта радостного свидания выглядело бы довольно неуместно. В итоге превращение атрибута в аргумент делает этот последний более «выпуклым» (*salient*), находящимся в фокусе внимания (*foregrounded*) и, наконец, обладающим *focal prominence*, т. е. обозначенным как подлинная фигура в поле зрения.

Можно было бы отметить также, что разные единицы возникают в ходе разных поставленных мысленно вопросов: *о длине платья* говорят тогда, когда и вопрос о нем звучал как вопрос о размере (*какова длина платья?*); *о длинном платье* говорят в ответ на вопрос о том, каким оно было. Выбор одной из единиц, таким образом, **интенционален** и обусловлен разными намерениями говорящего.

Более того. Именование именем существительным всегда знаменует собой образование нового понятийного элемента как кладущего начало новой **категории**, т. е. формирующего то понятие, что положено в ее основу. Сами обозначения типа *длина*, *радость*, *новизна* и пр. становятся легко наименованиями соответствующих параметрических, эмоциональных или же оценочных категорий, тогда как исходные для них прилагательные маркируют один только признак в категории как таковой (признак цвета, величины, размера, оценки и т. п.).

В номинативных рядах типа *черепашины шаги* — *шаги черепахи* или *отцовский дом* — *дом отца* лишь второй оборот позволяет актуализировать признаки посессора (ср. *дом моего отца*). Первое же производное (относительное) прилагательное стремится по образу и подобию простых прилагательных закрепить некий обобщенный, но одномерный признак объекта и даже лексикализировать его: *черепашины шаги* — это «медленные, неспешные», *львиная доля* — это «большая часть чего-либо», *ослиное упрямство* — не только «как у осла», но и некое «постоянное», «тупое» и т. д. У целого ряда таких устойчивых несколькословных номинаций нет соотносительных с ними прилагательных (ср. *дом модели*, *дом ученых*, *раб страстей*). Может встречаться и обратное: ср. *локальные войны*, *электронная почта*, *пескоструйный аппарат* и пр.

Рассуждения о *белой скатерти* versus *близна скатерти* могут быть в известной мере повторены и для номинативных рядов типа *отцвести* — *кончить цвести*, *зацвести* — *начать цвести*, *вызывать ссору* — *ссорить* и пр. Но одновременно они демонст-

рируют и присущую именно ПС способность переводить часть информации в более кратко и более лаконично выраженную с помощью аффикса. Нельзя не отметить при этом, что за аффиксами в принципе закрепляются значения, рассматриваемые как когнитивно весьма существенные, важные и, в то же время, предельно обобщенные и соответствующие признакам (концептам), повторяющимся для целой серии наблюдений.

Ясно также, что при использовании одной из рассматриваемых единиц ряда всегда можно было указать на роль говорящего субъекта, на его эмпатию, на выбор им особой **перспективы** или **точки зрения** на происходящее и потому — известную неслучайность предпочтительного им или же созданного заново обозначения.

Если в ранее приведенных примерах типа *письмоносец* и *почтальон* различие значений можно было мотивировать различием их внутренней формы (ср. также *глазник* и *окулист* и прочие пары такого же рода), в номинативных рядах типа *священник* — *священнослужитель*, *корабел* — *кораблестроитель* дифференциацию значений можно связать также с таким явлением как **профилирование** единицы. Как указывает Р. Лангак, профилирование наблюдается тогда, когда значение какого-либо выражения возбуждает представление об определенной совокупности концептуального содержания, не сводимого к самому этому содержанию полностью [Langacker 1987: 183 и сл.]. Аналогично этому разъяснять значения производных (или сложных) слов нельзя, минуя их отнесенность к определенной ономаσιологической категории, указанной ономаσιологическим базисом ПС. Сама же эта категория названа в правовершинных языках специальным материально выраженным знаком в правой части единицы — суффиксом или же отдельным словом, из чего следует, что в своей морфолого-деривационной структуре они содержат базу профилирования, т. е. прямо указывают на **профиль** значения. При различии профиля различны по степени абстракции и те конкретные категории, к которым следует отнести слово: так, *священник* входит в более широкую категорию именований, нежели *священнослужитель*, хотя оба имени принадлежат, согласно словарному определению, к «служителям (православного) культа». Ср. также *винодел* и *винокур*, *местожительство*, *местонахождение* и *местопребывание* и т. д.

Наличие указания на профиль в структуре ПС может расцениваться не только по его значимости для семантики слова как такового, но и для представления знаний в системе языка. Дериватологи прекрасно знали эту особенность ПС формировать протяженные ряды аналогичных обозначений, хотя и давали ей другое имя.

Вместе с тем введение понятия профилирования в теорию словообразования отнюдь не лишено смысла, ибо оно позволяет лишней раз отметить исключительную роль отдельных словообразовательных рядов в процессах категоризации и концептуализации мира, в создании тех образцов, по которым строятся затем

новые структуры, а в конечном счете — их роль в процессах упорядочивания знаний, их систематизации, рубрикации и сортировки. В этой же связи можно было бы упомянуть и о том, какое важное значение имеют выполняемые словообразовательными средствами процессы субкатегоризации (а не только собственно категоризации) знаний, но это увело бы нас в сторону от главной темы настоящей работы.

Завершая эту часть, я хотела бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. У многих современных когнитологов вся когнитивная лингвистика определяется как учение о конструировании значений в их динамике (ср., например, [Fauconnier 1999: 95 и сл.]), и, действительно, языковые значения рассматриваются здесь как обусловленные всем когнитивным опытом человека и создаваемыми им структурами знания. Важно, однако, и то, что значения считаются напрямую связанными с теми языковыми формами, в которых они воплощены и которые показывают, как именно «сконструировано» то или иное значение. Между тем большинство обозначений рождается в современных языках в актах словообразования: основная нагрузка при создании новых **конвенциональных** знаков ложится именно на словообразование с присущими ему словообразовательными моделями, дающими образцы «упаковки» нового содержания в известные формы. В итоге нельзя описать в когнитивной лингвистике правил конструирования новых значений, не обращая для этого к правилам словообразования и конструированию семантики в ПС.

Варьирование же значений у разноструктурных единиц номинации, которое мы здесь описали в терминах когнитивной лингвистики (семантической прозрачности, перспективы, фокусировки внимания, профилирования и т. п.), можно объяснить стремлением человека выйти за пределы конвенциональных обозначений, если с помощью последних ему не удастся отразить разные аспекты и детали его опыта и/или сконцентрировать внимание на тех или иных обстоятельствах описываемого и обозначаемого.

Итак, существование разноструктурных единиц номинации и факт закрепления за их моделями только им присущих значений — доказательство того, что, действительно, одна и та же онтологическая ситуация, одно и то же объективное положение дел и, наконец, один и тот же наблюдаемый объект и т. п. могут быть увидены и осмыслены эпистемологически по-разному. Такие единицы отражают разную концептуализацию мира. Язык поддерживает стремление говорящего субъекта отразить в наблюдаемых им явлениях свою собственную точку зрения на происходящее, он предлагает ему для этого альтернативные средства номинации и позволяет ему сделать выбор такого из них, которое соответствовало бы как его интенциям и намерениям, так и реальным условиям дискурса.

Есть основания предполагать также, что подобный выбор иконичен, т. е. что в условиях выбора действует по преимуществу принцип иконической релевантности самого выбранного обозначения (см. об этом принципе подробнее [Simone

1995: Х и др.]). Хотела бы, наконец, подчеркнуть, что за всеми сравнениями разноструктурных единиц номинации в настоящем сообщении стояла попытка продемонстрировать не только дифференциацию их значений, но и — особенно — ту исключительную роль, которую играет среди них такая поразительная и уникальная единица номинации, как **производное слово**.

## *Глава пятая*

### **КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ КОМПОЗИЦИОННОЙ СЕМАНТИКИ В СФЕРЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ \***

Стремительное развитие когнитивной лингвистики в последние десятилетия напоминает со стороны демонстрацию мод на разных подиумах мира. Не может не поразить непривычное сочетание красок и тканей, необычность предлагающихся новых форм, талант и изобретательность создателей этих причудливых нарядов... Но, взирая на мелькание моды, мы задаемся бесхитростным вопросом о том, как же все это связано с реальной жизнью и что можно было бы выбрать из всего этого для повседневной носки. К тому же мода беспрестанно меняется и слепо следовать ей вообще не представляется никакой возможности. Не то же ли самое наблюдается в лингвистике? Не успели мы разобраться в сути ментальных репрезентаций и форматах знаний, связанных с разными языковыми единицами, как стали искать повсюду прототипы обычных изучаемых нами категорий; повальное увлечение концептуальными метафорами сменилось едва ли не таким же горячим стремлением увидеть во всем действие сливающихся друг с другом ментальных пространств, их интеграцию, *blending*; еще недавно пестревшие синтаксическими деревьями страницы генеративных грамматик уступили свое место топологическим схемам, призванным отразить значение предлогов, или же рисункам со стрелками и пружинами, как передающими семантику движения или приложения сил.

Воспитанных в духе традиционного языкознания это не только раздражает, но и отталкивает. И, действительно, в этом калейдоскопе тем и подходов, новых терминов и новых понятий неискушенному читателю чрезвычайно трудно определить нечто главное, отделить существенное от несущественного и, естествен-

---

\* Впервые опубликовано: Изв. АН, Серия литературы и языка. 2002. Т. 61. № 1. С. 13–24.

но, найти здесь какое-либо рациональное зерно. А между тем когнитивная наука поставила перед собой воистину глобальные задачи и, вовлекая в их решение специалистов по лингвистике, заставила последних пересмотреть и цели теоретической лингвистики, и ее методологические основания, и само понимание языка, и его роль в познавательных процессах человека. Несомненными оказались и значительные успехи когнитивной лингвистики в интерпретации явлений категоризации и концептуализации мира человеком, в освещении сложнейших проблем семантики языковых форм, в уточнении самого понятия языкового значения как неразрывно связанного со знаниями, с отражением человеческого опыта и чисто человеческого осмысления окружающей нас действительности. Широкое распространение получили методики прототипической семантики и семантики фреймовой. На этом фоне гораздо меньшее внимание привлекла к себе **композиционная семантика**.

Посвящая настоящую работу не только разъяснению ее смысла и систематизации работ, в которых были подняты связанные с нею проблемы (это тоже нам представляется немаловажным), но и дальнейшему развитию понятия композиционной семантики, особенно в сфере словообразования, мы надеемся также показать, что когнитивный подход к явлениям языка далеко не исчерпал еще своих возможностей; скорее напротив, он позволяет увидеть хорошо, казалось бы, известные факты языка в новом свете, а в конечном счете охарактеризовать в более ясном виде, как происходит **понимание языка** и как представлен язык и его единицы в нашем сознании.

Подлинная жизнь языка состоит в оперировании знаками и потому анализ их сочетаемости и закономерность подобной сочетаемости всегда привлекал к себе внимание ученых разных лингвистических школ и направлений. Особенно интересовал лингвистов и философов вопрос о том, как рождаются в языке **новые** значения и как можно описать комбинаторику знаков, с которой язык постоянно имеет дело. Конечно, ответы на этот вопрос носили в истории лингвистики самый разный характер, и небесполезно поэтому перед тем, как осветить проблему так называемой композиционной семантики в сфере словообразования, т. е. на материале производных слов разного типа, остановиться подробнее на самом этом понятии и хотя бы кратко осветить историю его возникновения и использования.

Введенное впервые Г. Фреге, это понятие имело своей целью объяснить природу семантики комплексных знаков, т. е. знаков, которые по своему составу представляли собой «комплексы», или «композиции» из нескольких готовых знаков языка, — их объединение, их сочетание. Самого Г. Фреге более всего интересовала семантика предложения как сложной языковой формы, объединяющей функцию с аргументами и служащей объективации определенного суждения о мире.

Но данное им определение комплексного знака могло быть, по сути дела, приложенным к любому объединению знаков, ибо фиксировало наиболее существен-

ные черты такого объединения. По Фреге, семантика комплексного знака представляет собой композиционную функцию значений тех единиц, которые входят в состав сложного знака и отношений между ними. Это положение Г. Фреге долго трактовалось как указывающее на **сложение** значений составных частей языковой формы и происходящее при установлении определенных отношений между ними; в предложении, таким образом, все держалось на тех отношениях, которые складывались между его переменными и константными компонентами, задаваемыми, в свою очередь, такими составными пропозиции, как аргумент и приписываемая ему функция.

К указанным идеям Г. Фреге за пределами семиотики долго не возвращались, но к 70-м гг. прошлого века, когда с возникновением и распространением генеративной грамматики вновь обратили внимание на то, что «...центральная проблема современной лингвистики состоит в следующем: каким образом мы можем понимать (или создавать) новое для нас предложение?» [Слобин 1976: 29], лингвистов снова заинтересовали возможности описать семантику предложения.

Поскольку генеративная грамматика основную роль в формировании семантики предложения отводила синтаксической структуре, служащей противопоставлению именной и глагольной частей предложения и определяющей характер отношений между ними, а также порядок расположения отдельных компонентов предложения, синтаксической структуре в формировании семантики предложения отводилась решающая роль. Мы будем постоянно возвращаться к положению о том, — писала Дж. Фодор, — что «значение предложения — это функция содержащихся в нем морфем и того способа, с помощью которого эти морфемы комбинируются синтаксически» [Fodor 1980: 4]. Подобная интерпретация семантики предложения привела далее к пониманию особого назначения **предиката** в составе предложения и к определению семантики предложения через его логическую форму. Роль предиката усматривали в том, что строящий предикат глагол (или глагольная группа) задает весь каркас будущего предложения, предопределяя количество и порядок расположения связанных с ним аргументов, а тем самым и структуру отношений внутри предложения.

В разных версиях современных грамматик широкое распространение получила, соответственно, мысль о том, что базой для формирования разных языковых форм является **пропозиция** и что лишь разные способы ее объективации в языке приводят к существованию разноуровневых единиц языка, репрезентируемых разными наборами знаков, но подчиняющихся единым правилам образования вторичных или комплексных знаков.

Семантика производного слова стала рассматриваться как изоморфная семантике предложения, ибо в основаниях этих единиц усматривали единую для них глубинную пропозициональную структуру. Такое объяснение значений производного слова фактически позволяло, однако, определить исключительно общий содержательный каркас слова, но не его подлинное лексическое значение: все-

таки единицы типа *коса* или *пловец* означают не только 'тот, кто косит' или 'тот, который плавает'. Идентифицируя семантику производного слова указанным способом, можно было определить его словообразовательное, формульное значение, но не его реальный смысл со всеми «приращенными» значениями или же коннотациями.

Нечто аналогичное можно было бы заметить и по поводу ономаσιологической трактовки производного слова, хотя последняя и демонстрировала заметный прогресс в понимании значения комплексных знаков как единиц со сложной трехчастной семантической структурой, в которой ономаσιологический предикат приписывал определенному ономаσιологическому базису особый ономаσιологический признак.

При таком истолковании семантики производного слова стало ясным, что она формируется как **композиционная** и что сама такая «композиция» представляет собой объединение, по крайней мере, **двух**, а то и **трех** категориальных значений с разной степенью их конкретности: одни из них могли передаваться аффиксами, другие — корнями или основами полных единиц, третьи — восстанавливаться в ходе определенных умозаключений, типа *фельетонист* 'тот, кто (выражено суффиксом *-ист*) **пишет** (восстановлено по ходу умозаключений о связях между обозначаемым лицом и его отношением к фельетонам) фельетоны'.

Таким образом, в семантике лексического деривата подчеркивалась необходимость додумать его реальное значение, догадаться о его настоящем смысле в том случае, когда поверхностная структура деривата не содержала полного набора тех компонентов, из значения которых следовало бы вывести его композиционную семантику. Ср. случаи типа *дневник* или *ночник*, *заколка* или *скрепка* и пр., обычно относимые к производным с идиоматической семантикой, или считающиеся «лексикализованными». При рассмотрении многих таких примеров можно было прийти к выводу о том, что простое понимание семантики комплексных знаков как **складывающейся** из семантики его составляющих и отношений между ними, не удовлетворительно и что, по-видимому, решение проблемы не может быть достигнуто даже в тех случаях, когда фиксацию отношений связывают с ономаσιологическим предикатом (реальным или мысленно восстанавливаемым). Ведь правильное прочтение производного слова, а тем более — и предсказание моделируемой в нем семантической структуры — требует подчас не только простого восстановления его предиката или недостающего аргумента, но и более сложной стратегии распознавания. Ср. производные с более сложными стоящими за ними когнитивными структурами, т. е. фиксирующие более развернутые структуры знания, типа *славист* 'занимающийся славянскими языками и литературами', *выход* 'появление актеров на сцене', *скрепка* 'металлическое приспособление, зажим для скрепления бумаги' (а не просто 'то, что скрепляет нечто') и т. п.

Препятствием в решении проблемы семантики производного слова как комплексного знака оказалась, таким образом, нередкая идиоматика («лексикализация»)

этой единицы номинации, которая может вполне реально демонстрировать разные степени своей мотивированности и несводимости значения целого к значениям его частей.

Нельзя не указать и на связь изучаемой нами проблемы несводимости семантики производного слова к семантике ее составных частей с проблемой противопоставления грамматики и лексикона. В первой описываются все правила, относящиеся к образованию регулярных последовательностей знаков (например, в разного типа склонениях и спряжениях и т. п.), тогда как к лексикону относят правила создания единиц, характеризующихся лишь частичной регулярностью или полной нерегулярностью. Но тогда неминуемо вставал и вопрос о том, к какому компоненту системы языка следует отнести словообразование и словосложение, демонстрирующие единицы с разной степенью регулярности и идиоматичности. Именно на этот вопрос пытается дать ответ К.-П. Херберманн, занимающийся границами между грамматикой и лексикой и усматривающий невозможность использовать в качестве критерия такого разграничения критерий композиционной регулярности их единиц [Herbermann 1981: 182 и сл.].

По его мнению, даже те сложные слова, которые многими исследователями рассматриваются в качестве регулярных, фактически являются частично лексикализованными: они образованы по регулярным правилам словообразования, но не становятся тем не менее регулярными (т. е. полностью объяснимыми) по своим значениям. Ср. *Schreibtisch* (an dem man schreibt), *Schweigeminute* (in den man schweigt) и пр. [Herbermann 1981: 186 и сл.].

Рассмотрение единиц, аналогичных приведенным выше, свидетельствует также о том, что понятие мотивированности знака, столь важное для теории словообразования, нуждается в новом определении, поскольку оно отнюдь не тождественно представлением о **полной** мотивированности и **полной** выводимости значений комплексного знака из значений его составляющих. Итак, вопрос о том, что можно извлечь из семантики комплексного знака и какие стратегии применяются при этом самими говорящими, остается по-прежнему в числе важнейших проблем теории словообразования. Это значит, что дававшиеся нами определения словообразовательных значений производных слов и природа наблюдающихся в них отношений между разными частями слова — отсылочной и формирующей — еще нуждаются в дополнительных уточнениях и разъяснениях.

С возникновением когнитивной лингвистики к вопросу о том, как реально формируется семантика различных конструкций в языке, обратились не только отдельные ученые. Целые направления в когнитивной семантике поставили проблемы взаимодействия знаков в единицах и конструкциях разного типа и выдвинули разные концепции по этому поводу (ср., например, теорию концептуальной интеграции ментальных пространств Ж. Фоконье, М. Тёрнера, А. Гольдберг, конструктивную грамматику Ч. Филлмора и его последователей, теорию «подгонки» сочетающихся значений Дж. Пустейовского и др.). Как следствие развития

всех этих направлений стало очевидным, что когнитивный подход к лексической семантике — в разных его версиях — помогает сделать новые важные шаги в разъяснении правил семантической композиции знаков и признать, что при анализе каждой комплексной единицы надо продемонстрировать, как именно **взаимодействуют** (не складываются!) значения ее составляющих и какие типы взаимодействия наблюдаются в комплексных знаках разного порядка.

Особое внимание привлекли к себе в этом отношении правила сочетаемости прилагательных с существительными, существительных с существительными в композитах английского и немецкого языков и пр., что нашло свое отражение не только в работах по зарубежной, но и в работах по отечественной лингвистике. Поскольку нас интересует в первую очередь то, что может быть отнесено к производным словам и использовано в трактовке их семантики, я остановлюсь прежде всего на тех работах, которые имеют более непосредственное отношение к пониманию значения производных слов.

Вернемся еще раз к самому определению композиционной семантики и уточним, что же конкретно имеется в виду, когда главной задачей в исследовании семантики производного слова оказывается тот его аспект, который связан с составленностью этой единицы из готовых знаков того же языка, а следовательно, со свойствами ее членимости, анализируемости и мотивированности. Изучить композиционную семантику с указанной точки зрения означает установить вклад каждого из компонентов производного слова в его результирующее **интегративное** значение. Казалось бы, именно этим занималось как традиционное словообразование, так и ономаσιологическое направление. Однако акцент делался при этом на моделируемых по правилам словообразовательных значениях, на регулярности и предсказуемости общего значения производного слова при его построении по особой словообразовательной модели и т. п. В когнитивной лингвистике, однако, внимание ученых обратили на себя, во-первых, тайны рождения новых значений у производного слова, на первый взгляд не оправдываемых его формальной структурой, а во-вторых, особенности **поведения** производных слов при его включении в состав более объемных языковых форм — в состав разного рода словосочетаний и предложений. Наша работа посвящается двум этим аспектам и особенно вопросу о том, как сказывается составленность производного слова из разных частей при его участии в актах речи и при его подаче в лексикографической практике.

Иными словами, в отличие от того, что делалось ранее в исследованиях по словообразованию, мы ставим вопрос о том, как сказываются такие известные свойства производного слова, как его мотивированность, расчлененность, наличие у него отсылочной и формирующей частей и т. п., а также важнейшие свойства **двойной референции** производного слова (к миру вещей и к миру слов), см. [Кубрякова 1980: 90–91], на его **сочетаемости** с другими словами в актах речи, в составе развернутых синтагматических последовательностей. При такой поста-

новке проблемы акцент делается на выяснении правил восприятия производных слов и на тех выводах и умозаключениях (*inferences, entailments*), которые совершает говорящий при определении реальных значений производного слова, а также на установлении сферы влияния (*scope*) самого производного на его ближайшее окружение (ср. работы Ильзе Циммерманн, например, [Zimmermann 1992]).

Следует отметить также, что указанная установка отличает нас не только от тех ученых, которые обращались к сочетаемости морфем внутри слова и ограничениям, которые связаны с этой сочетаемостью (ср., например, известные работы И. С. Улуханова, Е. А. Земской, И. Г. Милославского и др.), но и от представителей генеративной грамматики, разделявших мнение о непроницаемости для синтаксиса морфологической структуры слова, т. е. положение о том, что внутренний синтаксис производных слов никак не проявляет себя в синтаксисе более развернутых конструкций, и что вставление лексических единиц в текст или дискурс (*lexical insertion*) не зависит от того, представлены ли эти единицы симплексами или комплексами [Jackendoff 1997: 48 и сл.].

Наша цель заключается в обратном — показать, что наличие внутренней формы у производного слова отнюдь не безразлично для его использования и что рефлексы особой организации передаваемых им значений можно наблюдать именно в сочетаниях этого слова в живой речи, т. е. тогда, когда понятие композиционной семантики распространяется на саму сочетаемость производного слова и его участие в определенных конструкциях. Подробное рассмотрение случаев такого участия помогает, с одной стороны, получить еще более полное представление о том, в каком виде отражены структуры знания и опыта в такой единице, как производное слово, и что входит в концептуальные структуры таких единиц. С другой стороны, это помогает оценить важность самого понятия композиционной семантики и внести свой вклад в его уточнение и развитие.

Одной из первых важных работ, осветивших понятие композиции с когнитивной точки зрения, была, несомненно, специальная глава в когнитивной грамматике Р. Лангакра. Согласно его мнению, рассматривая композиционные аспекты грамматических конструкций, следует обратить внимание на два взаимосвязанных, но тем не менее различных понятий — анализируемости (членимости) и композициональности (составленности) форм языка. Членимость форм определяется им как способность говорящего установить вклад отдельных компонентов в структуре формы в их содержание, а композициональность — как особое свойство формы сигнализировать о своем содержании в соответствии с принятыми в языке правилами сочетания элементов в одно целое [Langacker 1987: 448 и сл.]. Вопрос, который интересует когнитолога, заключается в том, каково соотношение между схемой конструкции (т. е. ее моделью) и ее реализацией; это вопрос о том, насколько регулярной оказывается результирующая форма конструкции и насколько ее можно описать с помощью общей схемы ее построения. При этом согласно обычному взгляду на вещи грамматические формы характеризуются

полной их выводимостью из своих частей: их значения порождаются грамматическими правилами с регулярной композиционной семантикой. Допущение этого рода используется для того, чтобы объяснить способность говорящих понимать неограниченное число новых комбинаций, построенных из ограниченного числа языковых единиц. Все, что не подлежит действию таких регулярных правил, по определению попадает в сферу лексикона. Но подобные положения вряд ли могут быть, по мнению Лангакра, поддержаны как потому, что этому противоречит эмпирический материал, так и потому, что указанные соображения требуют жесткого противопоставления грамматики и лексики, семантики и прагматики. Следует скорее признать, что хотя в языке и не все конструкции строятся точно по композиционному принципу, это не значит, что данный принцип вообще в языке не работает [Langacker 1987: 449].

По Лангакру, анализируя комплексные формы, надо различать в их организации следование правилу регулярной композиционной функции (содержание целого полностью выводится из его частей) или же правилу **частичной композиционности**, когда какая-то часть значения комплексного знака опознается по значению его частей, но какая-то должна получить специальное объяснение. Нечто аналогичное о семантике производного слова мы уже давно утверждали при рассмотрении полной и частичной его мотивированности, когда выделили три класса производных слов по степени их идиоматичности: полностью мотивированные, семантически прозрачные, частично мотивированные, или частично лексикализованные и, наконец, идиоматичные, невыводимые из значения их частей [Кубрякова 1980: 152–153].

Выделяя два типа производности в морфологической системе языка — грамматическую (словоизменительную) и лексическую (словообразовательную), мы отмечали, что «внутриморфемные связи в последовательностях рассматриваемого [первого] типа сводятся к **суммированию информации**, передаваемой отдельными частями последовательности». Мы подчеркивали также: «отсутствие взаимовлияния значений отдельных частей образования резко отличает этот тип связей от связей, наблюдающихся при словообразовании» [Кубрякова 1974: 189, 192]. Таким образом, уже тогда мы указывали, что для производного слова характерно взаимовлияние его частей, тогда как грамматические формы строятся скорее по аддитивному типу.

Так или иначе, но само наличие в языке комплексных знаков с угадываемой и распознаваемой не полностью по их частям семантикой, не может не привлечь внимания лингвистов, и, таким образом, сам феномен не до конца предсказуемого и угадываемого значения комплексного знака должен получить свое описание и — что еще важнее — свое объяснение.

В своем изложении Р. Лангакр приводит разные случаи появления дополнительных значений у английских дериватов типа *propeller* (от англ. *to propel* ‘приводить в движение’): как и русский дериват *двигатель* — это не только ‘нечто, приво-

дящее в движение’ — это и ‘винт у самолета или аэросаней’, и ‘машина, превращающая какой-либо вид энергии в механическую работу’, и т. п. Во всяком случае, наличие распознаваемых частей в составе целого способствует тому, чтобы при его восприятии говорящим активизировались знания, связанные с этими частями, и делались некоторые догадки о их совместимости друг с другом, о том, что могло бы значить их соположение и совмещение в структуре одного знака (ср. [Langacker 1987: 464 и сл.]). Но как строятся подобные догадки, автор не уточняет, хотя формальному описанию целого ряда комплексных знаний (например, у сложного слова в сочетании типа *a patriotic pole-climber* или словосочетания *above the tree* и уделяется немало страниц и рисунков).

Взгляды Р. Лангакра были, как известно, широко подхвачены и другими когнитологами. Анализируются они и в специальной статье Дж. Р. Тейлора, который, возвращаясь к новой трактовке старой проблемы сочетания прилагательного с существительным и вспоминая по этому поводу одну из ранних работ З. Вендлера, пытается объяснить механизм перекрещивания значений и их взаимовлияния, вступающий в силу при образовании указанных конструкций (см. [Taylor 1992]).

По сути дела названные когнитологи начинают с новых позиций изучение того, как в организации синтагматических последовательностей, образующих определенные конструкции, моделируются не только формальные закономерности сочетающихся знаков, но и рождаются такие новые значения, понимание которых требует **выхода за пределы** знаков как таковых, а следовательно, и применения механизма инференции.

Справедливости ради следует связать наблюдения подобного типа с известной статьей З. Вендлера «О слове *good*» 1967 г., где он ставит вопрос о том, как реально понимаются говорящими некоторые простейшие конструкции, например, сочетание прилагательного с существительным, и о том, — более конкретно — «какими способами прилагательное может быть связано по существу с существительным» и насколько далеко может отстоять признак от характеризуемого им объекта [Вендлер 1981: 531–532]. Сравнивая между собой сочетания типа *красное яблоко* и *удобное кресло*, он замечает, что краснота является непосредственным атрибутом объекта, тогда как свойство быть удобным соотносится лишь с некоторым действием, в котором этот объект принимает участие: удобный стул — это тот, на котором удобно сидеть [Вендлер 1981: 533–534], точно так же, как *быстрая лошадь* — это лошадь, которая быстро бежит. Это значит, что существительные могут сочетаться с такими прилагательными, которые называют некую функцию обозначенного существительным объекта, но функцию не названную, а лишь имплицитную и приписываемую объекту неким подразумеваемым глаголом или предикатом. Выделяя разные типы прилагательных, Вендлер указывает на возможности выявить их семантические особенности путем трансформаций: одни из них строятся с помощью простого глагола-связки: так, сочетание *красное яблоко*

может быть трансформировано в *яблоко — красное*, тогда как по-английски сочетание *nuclear scientist* ‘ядерный физик’ не может быть трансформировано в \* ‘этот физик — ядерный’, как и *utter fool* ‘совершенный дурак’ — в \* ‘этот дурак — круглый, совершенный’ и т. д.

Он делает примечательное указание на то, что сочетание типа *a beautiful dancer* ‘прекрасная танцовщица’ двусмысленно, ибо, как показывают его возможные трансформации, оно может интерпретироваться и как:

*она — прекрасная девушка,*

и как

*она — прекрасная танцовщица, в смысле  
она прекрасно танцует* [Вендлер 1981: 535].

В этом последнем случае «прилагательное связано с подлежащим не через глагол-связку, а через глагол to dance “танцевать”», который должен быть восстановлен мысленно. Но как и почему происходит такое «восстановление», Вендлер не указывает.

Таким образом, следует признать, что трансформации или перифразы, оказываясь способом выявить семантику конструкции, не являются все же реальным объяснением многозначности и не представляют собой такого механизма, который срывает при необходимости выбрать из многозначных конструкций какое-либо одно из этих значений. Однако, с когнитивной точки зрения можно усмотреть объяснение этому лишь в том, что ментальная репрезентация объекта структурирована в виде пучка ассоциируемых с ним признаков, а ситуация использования его обозначения активизирует лишь ту часть этого пучка, которая может быть «поддержана» либо самой ситуацией, либо партнерами по данной конструкции, т. е. контекстом ее использования (подробнее см. ниже).

Интересные разъяснения особенностей сочетания смыслов можно встретить и в более поздних когнитивных исследованиях, — ср., например [Рахилина 2000]. В начале 90-х гг. это пытается сделать Дж. Р. Тейлор. Рассматривая предложения, предикативную часть которых образуют сочетания прилагательного с существительным, он далее задается вопросом о том, что следует из такого предложения. Так, например, если из предложения *Это — красная машина*, следует, что перед нами *машина*, из предложения *Это — фальшивый Пикассо* совсем не следует, что перед нами картина Пикассо; из *Она — совершеннейшее дитя* не следует, что она дитя и т. д. [Taylor 1992].

Но какой вывод следует из предложения или оборота *мой старый друг*? Ведь его можно понять и как *мой друг — стар*, и как *мы давно друзья*. Тейлор подчеркивает, что хотя Вендлер и указал на существование таких примеров и хотя он пытался продемонстрировать их различие с помощью трансформаций, подлинного объяснения им дано не было (ведь указание на различие между прилагательными, используемыми и в атрибуции и в предикации, и прилагательными, используемыми лишь

в одной из этих функций, это еще не объяснение). Не были объяснены и условия выбора одного из значений многозначного прилагательного в сочетаниях с разными существительными. Такие объяснения и стали целью в когнитивной грамматике, в частности, у Р. Лангакра. Эмерджентные свойства прилагательных, позволяющие им выступать то в одном, то в другом значении (как у прилагательного *старый*), появляются при **интеграции** складывающихся частей конструкции и свидетельствуют о том, что влияние оказывают друг на друга не готовые и целостные семантические структуры слов, но определенные компоненты в их семантической конфигурации. При этом, по мнению Тейлора, ссылающегося на Лангакра, важно, что если существительное обозначает какую-либо **вещь**, то характеристики прилагательным подвергается сама ее предметная сущность (*старый ящик* и будет поэтому трактоваться как *старая вещь*, а у прилагательного *старый* реализуется значение ‘ветхий’, ‘негодный от старости’). Если же существительное обозначает **отношение**, уточнение получит характер этого отношения — *старый друг*, *приятель* имеют значения ‘давний’ (давно состоящий в указанном отношении). Иначе говоря, важна та область, относительно которой уточняется признак существительного в определенной схеме вещей [Taylor 1992: 9–10, 21].

Хотя Дж. Тейлор и не использует еще в работе терминов «фрейм» или «концепт», очевидно, что здесь имеются в виду понятия, в значительной мере им аналогичные: схему ситуации легко заменить на ее фрейм, а составляющие семантической структуры — на концепты в концептуальной структуре слова. Это и позволяет сравнить работу Тейлора с более поздними публикациями Дж. Пустейовского и П. Богураева (см. ниже), с одной стороны, и, напротив, с более ранними исследованиями М. Бирвиша, с другой.

В замечательной его работе начала 80-х гг. М. Бирвиш поднимает вопрос о том, как представлены в голове человека лексические единицы и с какими ментальными репрезентациями они связаны, а также о том, целостны ли или структурированы эти репрезентации [Bierwisch 1983]. Подчеркивая необходимость различать семантические и концептуальные структуры и вклад каждой из них в организацию предложения (т. е. комплексных знаков), он обращает внимание на то, что в предложениях типа

*Школа стоит рядом со спортплощадкой*

*Общество поддерживает школу*

*Школа давно ему наскучила*

*Нельзя исключить школу из истории Европы* и т. п.

*школа* интерпретируется по-разному: как здание, как некий институт, как род занятий или особая общественная организация. Но вряд ли можно считать эти значения формирующими семантическую многозначность данного слова [Bierwisch 1983: 77]. Перед нами скорее концепты, характеризующие устройство многих слов типа *университет*, *театр*, *парламент* и пр. Сочетаемость слова с определенными

предикатами отражает присутствие указанных концептов в содержании слова и свидетельствует о том, что принципы композиционной семантики, сформулированные Г. Фреге, должны быть существенно уточнены [Bierwisch 1983: 79]. Участие слова в комбинациях с другими словами предопределяется, таким образом, как его лексическим значением, так и той концептуальной структурой, которую оно реализует: согласование слов происходит на двух этих разных уровнях, оно является результатом взаимодействия (*Zusammenspiel*) указанных факторов [Bierwisch 1983: 98].

В результате важнейшая идея, что в реальном употреблении слова фокусируются отдельные его значения, отдельные его концепты и что в определенном смысле слово выступает в речи не в виде «готовой» и предсуществующей речи лексической единицы, открывает дорогу когнитивному объяснению того, какая часть слова (или какой компонент его содержательной структуры) и по какой причине оказывается в активной зоне говорящего (т. е. активизированной в акте речи).

К этому выводу подводят нас и некоторые более поздние и собственно когнитивные публикации. Так, в статье Г. Кемпа и Б. Парти проблема композициональности семантики решается за счет выдвижения гипотезы пересечения признаков (*intersection hypothesis*) и противопоставления «пересекающихся» и «непересекающихся» прилагательных [Kamp, Partee 1999]. Это свойство заложено в самой семантике прилагательных. Например, если интерпретировать предложения

*Мэри – искусный хирург*

и

*Мэри – скрипачка,*

из них вовсе не следует, что Мэри искусна и как музыкант, тогда как из предложений

*Мэри – искусный бельгийский хирург*

и

*Мэри – скрипачка,*

следует, что она является бельгийской скрипачкой. Прилагательное *искусный* пересекается исключительно с той долей значения в *хирурге*, которая относится к способности Мэри в одной отрасли медицины (хирургии); прилагательное же *бельгийский* относится к характеристике Мэри в целом, быть бельгийкой — это ее ингерентное свойство. К особому типу прилагательных относятся и атрибуты типа *так называемый, поддельный, бывший; бывшая жена* — уже не жена, как и *поддельный паспорт* — не паспорт. Сочетания с разными прилагательными подрывают, таким образом, идею о простой композициональности семантики при объединении прилагательного с именем: они требуют более сложного объяснения.

Удачные попытки когнитивного объяснения такого конкретного взаимодействия мы находим в специальной работе о композициональности Ив Суитсер

[Sweetser 1999]. Подчеркивая, что способность языка к новым сочетаниям знаков — это его центральное свойство, Суитсер отмечает, что формальные теории семантики оказались неспособными дать ему адекватное истолкование и что лишь новейшие теории концептуальных сплавов и интеграции ментальных пространств Ж. Фоконье и М. Тернера могут пролить свет на этот феномен. По ее мнению, даже в простейших случаях сочетания прилагательного с существительным наблюдается совсем не простое сложение смыслов, но нечто гораздо более сложное. При объяснении подобных случаев необходимо использовать и представления о слиянии разных ментальных пространств, и идеи об активных зонах у описываемых объектов, и мысли о профилировании, и понятия о фреймах и т. п. [Sweetser 1999: 131]. Все это она и демонстрирует на примерах, которые свидетельствуют о том, как именно формируется семантика целого из семантики его частей.

Так, например, для того, чтобы понять предложение

*Я положил карандаш на стол*

в отличие от

*Я положил карандаш в точилку,*

надо совместить разные ментальные пространства. Тогда станет понятным, почему в первом случае речь идет обо всем карандаше, тогда как во втором случае — лишь о кончике (острие) карандаша, помещаемом в точилку [Sweetser 1999: 134].

При объяснении обозначения *land yacht*, применяемого по отношению к дорожному и очень большому автомобилю, надо понять, что речь идет о яхте лишь в переносном смысле, что машина только сравнивается с яхтой, но передвигающейся по земле и т. п., а для этого опять-таки активизировать фреймы в разных ментальных пространствах и найти точки соприкосновения между ними.

Продолжая анализ примеров, начатый Суитсер, можно было бы сказать, что если *зеленый арбуз* может трактоваться и как *арбуз зеленого цвета*, и как *арбуз неспелый*, это значит, что в первом случае в активную зону восприятия попадает внешний вид арбуза, а во втором — его мякоть; ср. также *красный карандаш*, который может быть карандашом красного цвета, а может — карандашом с красным грифелем.

Все рассмотренные нами концепции исключительно важны и для понимания семантики производного слова, и без подробного рассмотрения этих концепций мы не могли бы перейти теперь и к трактовке целого ряда явлений в области словообразования.

Хотя некоторые пути возможного объяснения сочетаемости единиц **внутри производного слова**, с одной стороны, и сочетаемости единиц **с производными словами**, с другой, уже вырисовываются в своих общих контурах, конкретный анализ такого рода еще никем не проводился. Фрагментарные сведения, относящиеся к композиционной семантике дериватов и рассмотренные нами выше, еще никак не сведены в единую систему, и то, что предлагается в настоящей рабо-

те, может расцениваться лишь в качестве первых шагов в исследовании закономерностей поведения производных слов. Вместе с тем представляется, что обращение к этой проблематике весьма актуально и дает возможность выявить «правила, к сожалению, учеными до сих пор мало обследованные» и, по словам Л. В. Щербы, демонстрирующие «правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы» [Щерба 1974: 24]. Для решения этих проблем важно, на наш взгляд, установить, **какая часть семантики мотивирующего слова используется в акте создания производного слова и продолжает жить в нем и ощущаться говорящим при его использовании**. Ответ на этот вопрос требует, в свою очередь, указания на то, какие именно части производного слова мы имеем в виду. Ведь во многих прежних теориях словообразования такие части связывались с понятием морфемы, а позднее — с ономаσιологическими составляющими в структуре производного слова или же с понятиями отсылочной и формирующей части и т. д. В данной работе нами учитывается структуризация иного плана — когнитивная и концептуальная.

Применительно к лексическим единицам простого типа, т. е. не-комплексным, непроемным словам такая структуризация была предложена Дж. Пустейовским, который уже в начале 90-х гг. ввел в генеративный лексикон представление о так называемых QUALIA-структурах. По мысли этого ученого, каждое слово характеризуется по своему содержанию в соответствии с тем, к какому типу референтов оно отнесено. Проще говоря, в семантической структуре слова, служащего обозначению какого-либо объекта или процесса, содержатся те значения и те концепты, которые отражают **знания** о существенных характеристиках самого этого объекта или процесса. QUALIA-структура, т. е. структура качественных атрибутов объекта, содержит сведения о составе и форме объекта, о выполняемых им ролях, о его предназначении и т. п. QUALIA-структура — это набор четырех главных свойств или событий, ассоциируемых с данной лексической единицей. Вместе они могут считаться детерминирующими сочетаемость слова и, наоборот, исключают некоторые из таких сочетаний или интерпретаций того оборота, который строится при участии соответствующей единицы. Каждый из атрибутов входит к тому же в состав определенного фрейма, и при использовании каждого из них активизируется этот определенный фрейм. При создании дискурса возможна активизация любого компонента соответствующего фрейма и любого из атрибутов, входящих в QUALIA-структуру. Таким образом, в порождении речи и при ее восприятии действует механизм фокусировки внимания и профилирования определенной составляющей объекта и его обозначения, а, соответственно, из концептуальной структуры обозначения при его использовании **выбираются** вполне определенные концепты [Pustejovsky 1991; Pustejovsky, Voguraev 1996; Боярская 1999].

Тогда как у Дж. Пустейовского в **qualia**-структурах выделяются только по четыре составляющих, лучше, как кажется, учитывать так, как это делает Е. В. Рахили-

на, более широкий круг «существенных, глубинных характеристик, связанных с образами конкретных объектов в естественном языке» [Рахилина 2000: 3] и обычно могущих быть истолкованными в терминах **концептов**.

Важную роль в процессе формирования нового значения играет процедура наследования (inheritance), разработанная впервые в теории словообразования и связываемая там с передачей производному слову части значений, присущих его источнику, т. е. мотивировавшей его единице (у нас аналогичное понятие было сформировано на несколько иной базе и изучалось по традиции, берущей свое начало еще в работах Г. О. Винокура, под названием «отсылки» к мотивирующему слову). В настоящее время с помощью понятия наследования как процедуры передачи определенного объема концептуальной информации от одной единицы к другой описываются разные значения одного многозначного слова, но можно, конечно, поставить этот вопрос и относительно того, какая часть семантики слова выбирается в акте его сочетания с другим словом и, таким образом, «наследуется» при использовании слова, «заимствуясь» из исходной для него единицы, а далее «подгоняясь» под его партнера.

Особое положение производного слова в системе языка проявляется, в частности, и в том, что понятие контекста как влияющего на семантику используемого знака здесь сказывается в **двух** отношениях. С одной стороны, сама деривационно-морфологическая структура производного слова влияет на его внутренний контекст: основа является семантическим контекстом для аффикса, а аффикс — для основы (ср. [Курилович 1962: 244]). С другой стороны, попадая в речи в разные синтагматические последовательности, производное слово испытывает на себе влияние окружающих его партнеров. У некоторых типов производных слов это особенно заметно. Приведем в качестве примера относительные прилагательные, для реализации которых в речи с конкретными значениями требуются особые условия.

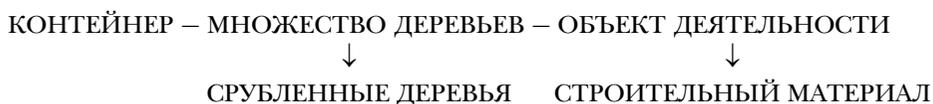
Возьмем, например, прилагательное *лесной*. При сочетании со словом *поляна* из исходного слова *лес* выбирается значение ‘площадь земли’, но не наследуется значение ‘занятая деревьями’ или ‘заросшая деревьями’; в силу этого в словосочетании *лесная поляна* в фокусе внимания оказывается концепт **места**: поляна в лесу — это место, лишненное деревьев. Но в сочетании *лесные материалы* из *леса* выбирается ассоциация его с деревьями, тогда как в *лесной полосе* из *леса* оказываются наследуемыми смыслы ‘занятые деревьями’; в *лесном хозяйстве* наследуются все значения, связанные с лесом, и согласуются они именно со словом *хозяйство*. Уже на этом примере видно, как можно использовать идею семантического согласования знаков, вступающих в синтагматические отношения друг с другом, для объяснения конкретной семантики относительных прилагательных и установления перечня возможных для них регулярных значений. На наш взгляд, такие значения предсказуемы и связаны с пониманием той структуры знания, которая стоит за словом *лес* и в которой явно присутствуют концепты места совокупности

деревьев и обитателей этого места, а также роли леса в жизнедеятельности людей и т. п.

Для описания случаев такого согласования мы предлагаем ввести понятие о кореферентности сочетающихся знаков, полагая, что для достижения правильной интерпретации комплексного знака следует обязательно обнаружить кореферентные значения. Сочетание не может считаться правильным, если правило кореферентности не соблюдено. Интеграционное (целостное) значение сочетания возникает при наследовании из мотивирующего слова той части значения (того концепта), которая кореферентна значению определяемого слова.

Для того, чтобы прояснить ход наших рассуждений, вернемся еще раз к обсуждению значений относительного прилагательного *лесной*. Как хорошо известно, в трактовке семантики относительных прилагательных были представлены разные взгляды. Одни ученые полагали, что эти единицы характеризуются исключительно неким общим значением отношения и потому всегда могут быть описаны формулой «относящейся к названному предмету». Очевидно, однако, что такая абстрактная формулировка не вполне соответствовала конкретным лексическим значениям относительных прилагательных. Мнения же о том, что относительные прилагательные могут развивать **любые** значения, тоже не соответствует действительности. Мы полагаем, что обращение к закономерностям композиционной семантики могут помочь преодолеть эти трудности. На наш взгляд, возможные значения относительных прилагательных **предсказуемы**, и они предопределяются не только семантической структурой исходного слова, но — главным образом — его **концептуальной структурой**.

Для слова *лес* мы можем предложить следующую концептуальную структуру:



Каждый концепт помогает предсказать особое лексическое значение прилагательного: концепт **контейнера** — значение нахождения в лесу (лесные обитатели, лесные птицы, лесная поляна), концепт **множество деревьев**, реализуясь в прямом значении, дает сочетания *лесной массив*, *лесные насаждения*, *лесная полоса*, а в переносном — порождает значения в оборотах типа *лесной склад*, *лесной материал*; наконец, концепт леса как **объекта** человеческой деятельности наследуется при образовании словосочетаний типа *лесное дело*, *лесное хозяйство*; ср. также сложные слова типа *лесогаготовки*, *лесопильня* в противовес *лесоводство*, *лесопромышленность*.

Для формирования указанных значений необходимо, чтобы сочетающееся с прилагательным слово «вытащило» соответствующую долю значения и сочетающиеся понятия оказались кореферентными, совместимыми, т. е., в когнитивных терминах, чтобы они активизировали связанные между собой фреймы. В сочета-

ниях прилагательных с существительными участвуют, таким образом, не столько значения как таковые, сколько некие входящие в них смыслы, концепты, доли значения. Каждый из концептов открывает возможность охарактеризовать его определенным атрибутом, а внутренняя структурация производного слова и ее концептуальное прочтение создают условия (открытые места) для их дальнейшего уточнения и субкатегоризации.

Возвращаясь к примеру, не могу не отметить также, что в словарях слово *лес* трактуется не вполне точно, так как в первом его значении указывается участок или площадь земли, занятая (заросшая) деревьями, тогда как обороты типа *в лесу пели птицы* или *в лесу было прохладно* явно свидетельствуют о понимании леса как **объема**, занятого деревьями (**контейнера**). Отсутствует в словаре и указание на лес как на особый объект человеческой деятельности и т. д.

Приведенные нами случаи согласования смыслов отнюдь не сводятся к их дублированию (это лишь частный случай, совершенно правильно описанный некогда Ю. Д. Апресяном и В. Г. Гаком), т. е. повторению одинаковых смыслов. Согласование смыслов происходит при естественной их совместимости, для чего необходимо когнитивное связывание (*cognitive linking*) двух разных ментальных пространств, понимание возможностей их объединения в одно интегрированное целое.

Описание производных единиц в препозиции к другим единицам должно быть дополнено случаями их постпозитивного употребления, когда сам атрибут ставится к производной единице. Так, весьма интересны, например, наблюдения над случаями использования прилагательных в сочетании с отглагольными именами: сочетание *их первая встреча* может быть перифразировано оборотом *они встретились впервые, в первый раз*, что означает, что признак (или атрибут) отнесен к действию, обозначенному мотивирующим глаголом. Сочетание же *роковая встреча* указывает на отнесение атрибута к событию как таковому, к ситуации в целом; ср. также *неожиданная встреча* или *русско-американская встреча* (встретились неожиданно; русские встретились с американцами) в отличие от *приятной, грустной, милой встречи*, где не действует перифраза вроде \**грустно встретились*, а признак отнесен ко всей ситуации в целом.

Ср. сочетания с обозначениями производителей действия, типа *известный русский изобретатель*, где атрибуты отнесены к лицу в целом, в отличие от *талантливый* или *блестящий; блестящий учитель* — это тот, кто учит блестяще, ср. также *молодой изобретатель* (молодое лицо м. р.) по сравнению с *изобретатель парового котла* (изобрел паровой котел).

Если относительным прилагательным выделяется любой аспект объекта, отвлеченный от этого объекта признак и т. п., а фокусировка касается именно этого аспекта или определенной стороны (части) объекта, то в отглагольном имени может быть охарактеризована либо та его часть, которая является мотивирующей (и представлена глагольной основой), либо та, которая является формирующей

щей (вершиной) и представлена суффиксом. Уже Г. О. Винокур указывал, кстати говоря, на возможность объяснить *учительство* и через слово *учить* и через слово *учитель*, что, на наш взгляд, свидетельствует о том же феномене композиционной семантики: в обороте советское учительство атрибут 'на глубине' отнесен к учителям (= советские учителя), но в обороте *годы учительства на селе* можно усмотреть перифразу словосочетания 'годы, когда он учил на селе'. Ср. также *молодежное строительство* (деятельность, осуществленная или осуществлявшаяся молодежью) в отличие от *медленного* или *быстрого* (осуществленного медленно или быстро, качественно или неумело и т. д.), а также в отличие и от *партийного строительства*, которое можно интерпретировать как деятельность, осуществляемую во имя партии, с целью ее совершенствования и т. п., в соответствии с чем можно считать, что атрибут отнесен к ситуации в целом.

В идеале, следовательно, здесь возможны три случая отнесения уточнителей к производному слову — к мотивирующей его основе, к определенному категориальному значению аффикса (суффикса) и, наконец, к слову в целом. Таким образом, в первом и втором из этих случаев дает о себе знать композиционная семантика знака: всплывают значения отдельных компонентов знака. Из этого же следует, что семантика производного слова может демонстрировать как гештальтную, целостную семантическую структуру (подобную структуре непроизводного знака) и, напротив, структуру **расчлененную** и распределяющую передаваемое ею значение по частям. Случаи, описанные З. Вендлером, типа

*Она — красивая танцовщица*

могут в этом свете рассматриваться именно как активизирующие в сознании человека либо представления о красивом человеке, либо о красиво танцующем человеке.

Расчлененность производного слова имеет и другие последствия: в словаре его можно описать либо с помощью такой дефиниции, которая раскрывает значение каждой из составляющей его частей (*художница* — женщина-художник; *стол* — маленький стол; *купальня* — место, где купаются и т. п.), либо такой, которая раскрывает его целостное (лексическое) значение (ср. *заколка* 'зажим для волос' в отличие от 'то, чем закалывают, скрепляя, волосы'). Ср. также описание *выхода* как 'времени появления актеров-исполнителей на сцене' или же как 'момента/времени, когда актеры выходят на сцену' и т. п.

Интересна и несомненная связь между расчлененностью и мотивированностью знака. Чем меньше сказывается в сочетаемости слов составленность знака из отдельных частей, тем больше теряется представление о его мотивированности, а сам комплексный знак обнаруживает тенденцию к демотивации. Так, например, в словаре С. И. Ожегова слово *дворянство* семантизируется без указания на его мотив и описывается так: «В феодальном и, позднее, в капиталистическом обществе: привилегированный господствующий эксплуататорский класс (из помещи-

ков и выслужившихся чиновников)». При нем не указано собирательное значение этого слова в сочетаниях типа *московское дворянство*, где последнее означает примерно то же, что и *московские дворяне*.

Такие случаи ярко демонстрируют не только различие способов описания значений производных слов в словаре (их семантизации), но и возможные отличия лексического значения слова от сформировавшегося его словообразовательного значения и даже известные «ножницы» между ними. Ясно при этом, что догадки о реальном значении производного слова тем точнее, чем больше подсказывается частями слова **ассоциируемые с ними значения** (т. е. значения выводные, инференциальные).

К проанализированным выше примерам можно было бы добавить и случаи типа: *Я люблю бродить по московским улицам и вообще люблю этот город*, где *город* легко отождествляется с Москвой, указанный в виде основы относительного прилагательного. Ср. также: *Он – прекрасный скрипач и всегда бережет свой инструмент*, где *инструмент* кореферентен скрипке; или *Весть о японском землетрясении потрясла весь мир* (землетрясение – в Японии) как и *сведения о лесном пожаре* (пожар – в лесу) и т. п.

С точки зрения композиционной семантики естественно объясняются и случаи скрытой предикации в отыменных образованиях или, напротив, случаи скрытых аргументов в семантике отглагольных. Иными словами, наблюдения над композиционной семантикой и использование при ее описании новых понятий когнитивной лингвистики (активизации фреймов, активной зоны семантики слова, концептуальной интеграции и взаимодействия ментальных пространств и пр.) позволяют подойти к осмыслению принципов формирования и восприятия комплексных знаков языка, а в том числе — и производных слов, с новых позиций: объяснить возникновение новых смыслов, а также игру и переплетение разных смыслов в тексте и дискурсе. Обращение к рассмотренной стороне производного слова позволяет убедиться еще раз в уникальности самого этого комплексного знака, в особенностях разных стратегий обращения с ним в речи и, наконец, в возможностях его разного представления в лексикографических источниках и его подачи в словарях.

Итак, абстрактная формула композиционного, или комплексного (составного) знака, предложенная Г. Фреге, в целом верна, а разъяснение ее смысла требует, с одной стороны, противопоставления форм, репрезентирующих простое сложение значений ее составляющих, формам, репрезентирующим интеграцию подобных составляющих, их сплав в новое единство. С другой стороны, разъяснение формулы Фреге касается того, в какие именно типы отношений вступают сочетающиеся друг с другом единицы. Так, многие явления, описанные в сфере семантики синтаксиса, связаны именно с разными типами отношений: отношение локативной группы в высказывании типа *Бумаги были подписаны в кабинете директора* иное, нежели в случаях типа *Бумаги были подписаны на последней странице*

[Maïenborn 2000]. Наконец, в-третьих, разъяснение формулы Фреге следует связать с закономерностями структуризации языковых значений на двух разных уровнях — концептуальном и лексическом — и с возможностью охарактеризовать **разные доли** (компоненты) указанных значений. Это мы и попытались продемонстрировать на примере таких естественно структурируемых знаков, какими являются производные слова.

Когнитивная семантика определяется сегодня нередко как учение о динамике значений, о реальном их варьировании в живой речи (см. [Cognitive Linguistics... 1999]), а ее задачи связываются с анализом того, как проявляется подобное варьирование и чем оно может быть обусловлено. Нельзя не согласиться с тем что, описывая комбинаторику значений, надо отказаться от взгляда, согласно которому комплексные языковые выражения представляют собой результат сложения мраморных кусочков, внутри которых у каждого из них есть свое готовое значение [Sinha Chris 1999: 224 и сл.].

## Часть IV

# МИР И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОПИСАНИЯ В ЯЗЫКЕ

---

### *Глава первая*

## **ЯЗЫК ПРОСТРАНСТВА И ПРОСТРАНСТВО ЯЗЫКА (к постановке проблемы)<sup>1</sup>**

Какой бы строгой критике ни подвергалось в специальной литературе понятие парадигмы знания, введенное Т. Куном в начале 60-х гг., и какие бы изменения в своем определении оно ни претерпевало в последующие годы, неизменной частью этого понятия было представление о том, что каждая новая парадигма знания выдвигает свою модель постановки новых проблем и определенных способов их решения [Кун 1977: 11]. Новую проблематику и новые пути решения ставящихся проблем принесла с собой и когнитивная наука (далее — КН). Более четверти века ее развития не только продемонстрировало своевременность поднятых в рамках этой научной парадигмы вопросов, но и их вхождение в число проблем, актуальных и на будущее: они затрагивают самую суть бытия человека — его сознание и интеллект, принципы восприятия им окружающей действительности и ее осмысления, язык. Привлекательно в этой науке и ее стремление найти объяснение важнейшим феноменам, связанным с познавательной деятельностью человека и постоянным участием в этой деятельности языка.

В настоящей статье мы ставим своей целью охарактеризовать лишь небольшую часть указанных новых проблем, относящихся к категоризации человеческого опыта и касающихся при этом категоризации одной из наиболее фундаментальных областей в познании мира — категоризации пространства. Объясняя замысел нашей работы, мы бы хотели отметить, что нас интересует, в первую очередь, сам концепт пространства в том виде, в каком он складывался постепенно в голове человека и видоизменением которого являются не только современные значения, связываемые с обозначением пространства, но и распространение этого концепта в метаязыке лингвистических описаний. Иными словами, мы хотели бы наметить серию переходов в понимании пространства, в понимании особенностей его членения и вычленяемых в нем фрагментов, в оценке той

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано: Изв. АН СЛЯ. 1997. Т. 56. № 3. С. 22–31.

роли, которую оказывает концептуализация пространства на другие сферы познания.

Естественно, что все эти вопросы возникают для нас лишь в связи с интерпретацией собственных языковых данных, и все же представление о концептуализации пространства не может быть полным без привлечения некоторых сведений и за пределами лингвистики, да и трудности лингвистического анализа соответствующих понятий и терминов заключаются именно в том, что в ходе реконструкции концептов, стоящих за языковыми обозначениями в изучаемой сфере, мы должны использовать также некоторые предположения и гипотезы о сути пространственного восприятия мира и психологических особенностях этого процесса, а тем самым выходить за границы лингвистической компетенции. Но именно это положение — о необходимости совместить и согласовать языковые данные с тем, что уже известно о сенсомоторной, чувственной перцепции из других наук, характеризует наш подход как **когнитивный**, а, значит, связанный с КН не только выдвиганием определенных проблем, не только пересмотром старых проблем с новых позиций, но и установкой на их решение в более широком научном контексте.

Хочется также подчеркнуть, что «решение» поднимаемых в статье проблем мыслится достаточно условно, ибо нашу задачу мы видим прежде всего в разъяснении самого смысла этих проблем, мотивов их возникновения и, наконец, понимания того, как по образу и подобию осмысления пространства и пространственных отношений могло далее распространяться знание о материальном мире и его организации на не-физические, не-материальные сущности. По традиции здесь говорят прежде всего о перенесении идей освоения пространства на категорию времени или же о развитии из представления о хронотопе отдельных представлений о категориях пространства и времени. В фокусе нашего внимания, однако, иное — возможности перенесения языка пространства на пространство языка. Но чтобы сделать это, необходимо разобраться в том, что представляет из себя пространственная концептуализация или же пространственная категоризация человеческого опыта (*spatial categorization*) как таковая, на каких принципах она строится и почему оказывается впоследствии целесообразным использовать ее в метаязыке лингвистических описаний.

Изучая связи между «языком пространства», с одной стороны, и «пространством языка», с другой — мы, по всей видимости, обнаруживаем не просто известные параллели между концептуализацией сенсорной действительности и реальностью языка, но и судим о том, в какой мере подобный изоморфизм в организации чувственного и языкового опыта свидетельствует о тесной переплетенности того и другого, притом как потому, что для современного человека чувственное восприятие уже опосредовано языком (и грани между «перцепцией» и «концепцией», по признанию ведущих психологов мира, размыты и достаточно неопределенны [Miller, Johnson-Laird 1976: 11 и сл.], так и потому, что феномен языка во многом

воспринимается как и другие реально существующие объекты, т. е. сенсорно. Особенно ощутима эта связь в онтогенезе: в овладении языком у ребенка можно явно выделить такие этапы, когда первые слова или первые высказывания существуют для него параллельно другим «вещным» объектам, и когда он может играть названиями как некими отдельными объектами, и /или когда имя воспринимается ребенком как одно из ингерентных свойств объекта. Хотелось бы подчеркнуть и то, что сама постановка проблемы в указанном ракурсе — следствие развития КН, причем не только понимаемой как вполне определенная парадигма научного значения, но и принимаемой за исходную лишь в одной ее конкретной версии.

За несколько десятилетий своего существования КН уже прошла, собственно, несколько разных этапов своего развития, и если в начале ее появления преобладали одни цели и установки, то со временем на первый план по своей значимости стали, естественно, выходить несколько иные. Уточнялась, конечно, и сама суть когнитивного подхода, притом выявились и более резко обозначились различия в его трактовке. К сегодняшнему дню можно говорить, по крайней мере, о двух противопоставленных ветках когнитивизма — «машинной» и лингво-психологической, между которыми располагаются направления, тяготеющие к одному из названных полюсов. Обозначения их достаточно условны, но машинной версией КН (ее по праву можно было бы назвать также «компьютерной») мы считаем такое направление, в котором доминирующей является связь основных проблем и основных достижений с электронно-вычислительной техникой. Суть его сформулирована, например, в известном энциклопедическом многотомном издании, опубликованном под редакцией Р. Эшера, где автор статьи о КН О. Киркеби так разъясняет ее статус: «КН, — пишет он, — это масштабная философская и научная исследовательская программа, которая базируется на допущении того, что человек — это машина и может быть описан как машина» [Kirkeby 1994: 593]. Под машиной имеется в виду компьютер, в связи с чем как о главном постулате КН говорят о так называемой компьютерной метафоре.

Другое направление — лингво-психологическое — это скорее направление разного экспериенциализма; в нем больше опираются на данные естественной категоризации мира и изучают особенности наивной картины мира, обыденного сознания. Здесь в центре внимания соотнесение лингвистических данных с психологическими, учет экспериментальных данных и т. п. Здесь принимаются во внимание данные о внимании и памяти, распознавании образов, операциях мыслительной деятельности и — прежде всего — сравнении, отождествлении, умозаключениях, формировании концептов.

Поскольку настоящая работа отнюдь не мыслится как обзорная, мы довольствуемся этими самыми общими характеристиками противопоставляемых версий, и более подробное рассмотрение их различий не входит в наши задачи. Важно, однако, отметить, что различие этих направлений не связано ничуть с фактом использования вычислительной техники, но сопряжено скорее с оценкой возмож-

ностей верификации тех или иных выводов на компьютере или же с возможностью представления самой ставящейся задачи в виде компьютерной программы, (см., например, [Adriaens 1993: 163]). Но ведь одно дело обработка сведений на компьютере или же создание экспертных систем с его помощью, а другое — признание лишь за электронно-вычислительной машиной решающего слова в понимании познавательных процессов или же устройства мозга, когда деятельность последнего приравнивается к деятельности компьютера. Можно сказать поэтому, что принципиальное различие двух разновидностей когнитивной парадигмы знания сказывается сильнее всего в отношении к компьютерной метафоре, когда разум человека и его особенности считается возможным постичь, моделируя разного рода ментальные процессы на вычислительной машине (ср. [Pylyshyn 1984; The Cognitive Turn 1989; Varela et al. 1993]). Вполне рациональное в своей основе, указанное сравнение страдает все же не потому, что и машина и человек могут, действительно, перерабатывать огромные массивы информации, причем в ходе применения некоторого набора вполне определенных операций, но потому, что в процессах такой переработки участвуют и такие инфраструктуры мозга, которым нет аналогов у машины (ср. фантазию, интуицию, воображение, эмоциональные и культурологические факторы в решении проблем и т. д. и т. п.). Отнюдь не все когнитивные процессы можно воспроизвести на компьютере, и для когнитолога должно быть интересно как раз то, что отличает человека от машины (см., например, [Schwarz 1992; Searle 1992; Eckardt 1993]).

Несмотря на несомненную взаимосвязанность КН, особенно в моменты ее зарождения, и с теорией информации, и с моделированием искусственного интеллекта, и с процедурами математического моделирования, и т. п. (см. подробнее [Кубрякова 1994; Демьянков 1992]), несмотря на очевидную перспективность междисциплинарного исследования ставящихся проблем и прогрессивность применения в целях такого исследования новейшей техники, мы все же хотели бы отметить нежелательность придания всей КН исключительно технического характера и продемонстрировать — хотя бы отчасти — эффективность другого направления в ее развитии. Суть его мы видим, как уже отметили выше, в его ориентации на поиски и обнаружение определенных корреляций между когнитивными и языковыми структурами.

С одной стороны, это направление представляется нам перспективным из-за того, что оно способствует более глубокому пониманию концептуального анализа как направленного на выявление концептов в их двоякой функции — и как оперативных единиц сознания, и как значений языковых знаков, т. е. как неких идеальных единиц, объективированных в языковых формах и категориях (концептов, «схваченных» языковыми знаками). С другой стороны, направление представляется нам особенно близким из-за давних традиций исследования языка у нас в стране в его связи с мышлением и с логикой (ср., например, все дискуссии о соотношении слова и понятия, предложения и суждения, а также разные решения в

вопросе о соотношении языка и мышления, о вербальном или же невербальном характере последнего и т. д.). Наконец, нельзя не видеть преимущества в рассмотрении корреляций между языковыми и мыслительными структурами в современной когнитивной лингвистике и когнитивной грамматике и тем, что осуществлялось в так называемом ономазиологическом направлении отечественной лингвистики. Внутри этого направления вся номинативная деятельность человека в языке изучалась как речемыслительная, благодаря чему исследования этого толка и по теории номинации, и по семантике уже предоставили в распоряжение ученых интереснейшие данные о том, как формируются определенные языковые формы для объективации определенного содержания и какие закономерности свойственны этому процессу. Пересмотр этих данных с когнитивной точки зрения состоит прежде всего в том, чтобы стянуть в единый узел при их анализе и семантические, и семиотические, и ономазиологические, и формальные характеристики соответствующих единиц или категорий и системно связать их.

Примечательно, что разные версии когнитивизма принимают зачастую и форму историко-культурологических различий, и если правильно, что, как утверждает П. Серио, научной парадигме следует придать особое измерение — «параметр пространства» [Серио 1993: 38], то в науке играет роль то, «где развивается та или иная парадигма». В самых общих чертах можно сказать, что американской разновидности когнитивизма более всего отвечает «машинное» направление, немецкой — направление, связанное с анализом того, как совершается языковая обработка информации в актах порождения и восприятия речи, тогда как у нас в стране наибольшее развитие получает лингво-психологическое направление, у истоков которого — охарактеризованные выше подходы, включая психолингвистический и онтогенетический аспект рассмотрения данных. Развитие этого подхода стимулировалось также пионерскими работами Дж. Лакоффа, Л. Телми, У. Чейфа, а в последнее время — трудами Р. Джекендоффа и Р. Лангакра. Вместе с тем следует все же иметь в виду, что существенный вклад в это направление внесли отечественные исследования по языковым картинам мира и имеющейся в них категоризации явлений. В русле этого направления находится, по всей видимости, и наша статья — во всяком случае уже потому, что здесь рассматриваются проблемы категоризации как ключевые для всего данного направления.

Понятие категоризации человеческого опыта является одним из самых фундаментальных понятий в характеристике когнитивной деятельности. Тесно связанное со всеми когнитивными способностями человека, оно также тесно переплетено с разными компонентами этой деятельности — памятью, воображением, вниманием и т. п. Способность классифицировать явления, распределять их по разным группировкам и классам, разрядам и категориям свидетельствует о том, что в актах восприятия мира человек судит об идентичности одних объектов другим или же, напротив, об их различии. Категоризация воспринятого — это главный способ придать поступающей к человеку информации упорядоченный ха-

рактер, как-то систематизировать и, главное, рассортировать увиденное, услышанное и т. п. Важно поэтому попытаться понять, на основании каких критериев человек выносит суждения о сходстве одних явлений или же различии других, как и почему в серии или даже потоке ощущений некоторые из них характеризуются как «одно и то же» или «то же самое», а другие — как «не то же». Пожалуй, ни в одной области КН разрыв ее с традицией не выступает так отчетливо, как в рассмотрении вопроса о том, как человек классифицирует или категоризирует окружающую его действительность и членит ее: именно в КН интерпретируют по-новому все то, что противоречит классической теории категоризации, связываемой с именем Аристотеля.

Согласно тонкому наблюдению Т. Гивона, новое объяснение принципов категоризации начинается, собственно, с Ч. Пирса, и оно связано именно с анализом формирования лингвистических категорий. Приведя определение языкового знака, Пирс говорит о знаках трех типов с отсутствием жестких границ между ними, что и вводит в рассмотрение такую категорию (знак), члены которой не характеризуются полным тождеством и не обнаруживают набора необходимых и достаточных критериев [Givón 1989: 21–22]. Развитое затем Р. Якобсоном это учение о знаках четко выявило возможности разного отношения знаков к объектам вне знаков (референтам знаков), и оно нашло свое развитие в положении Ю. С. Степанова о «различной степени знаковости» [Степанов 1971: 82]. Таким образом, выделение знаков-символов, знаков-икон и знаков-индексов внутри категории знаков знаменовало собой новый подход к пониманию организации категории. Но масса естественных категорий строится именно по этому принципу, т. е. объединяя в рамках единого разряда не вполне тождественные единицы.

Классическое определение категории должно было бы препятствовать такому взгляду на вещи: категории дискретны, а отнесение какой-либо единицы к категории может происходить только тогда, когда она обладает тем же набором признаков, что и любая другая единица той же категории. В такой ситуации непонятно существование у категории ядра и периферии, у нее самой не может быть размытых краев, а единица либо принадлежит, либо не принадлежит «своей» категории. Широко известные теперь взгляды Л. фон Витгенштейна о фамильном сходстве как объединяющем начале естественных категорий продолжили развитие новых идей относительно того, что представляют собой эти образования, и они нашли поддержку внутри так называемой прототипической семантики. Члены одной категории объединяются не потому, что они обладают обязательными свойствами, но скорее потому, что они демонстрируют — причем в большей или меньшей степени — некоторые черты подобия или сходства с тем членом, который выбирается в качестве «лучшего представителя категории» — ее прототипа, т. е. полнее всего характеризует ее свойства [Tsohatzidis 1990].

Сегодня обсуждению вопроса о прототипах, прототипических эффектах и организации категорий разного типа посвящается обширная литература, а это

избавляет нас от необходимости останавливаться детально на многих аспектах подобного анализа. Заметим лишь, что многочисленные наблюдения за естественными категориями могут использоваться также и для того, чтобы высказать некоторые предположения об их диахроническом или даже генетическом плане, о том, как *могли* складываться и *развиваться* разные категории в своей истории и эволюции.

Во-первых, введение в категорию каждого нового члена с частично отличающимися от имеющихся у ее членов свойствами создавало возможность дублировать сами новые признаки для элементов категории, а потому размывать прежнее единство категории, придавая новое направление ее развитию; по мере подведения под одну категорию элементов с частично различающимися свойствами в ней самой создавались предпосылки для ее собственного членения и дробления. Во-вторых, существование внутри категории членов с частично не совпадающими признаками усиливало ориентацию разных субкатегорий единой категории на разные признаки. В-третьих, для осознания какой-либо группировки или множества категорий, притом *единой* категорией, все же требовалось нечто объединяющее и цементирующее эту категорию. Таким объединяющим началом для человека выступала, по всей видимости, «вообще-похожесть», по словам Р. М. Фрумкиной [Фрумкина 1992: 17]. Но подобное качество сравниваемых объектов особенно четко выступает у них только при условии, что их рассматривают в целом, гештальтно. Правильно поэтому общее заключение о процессе категоризации как протекающем по-разному: либо при чисто логической установке на обязательные (достаточные и необходимые) критерии включения членов множества в одно множество, либо при психологической установке на достаточно общее сходство единиц одной категории. «Специфически человеческий способ сравнения объектов и установления сходства между ними» — это сопоставление *целостностей* [Там же: 11–12].

Самой большой по своим масштабам, самой важной для восприятия мира и всей жизнедеятельности человека, а поэтому одной из самых существенных по своим последствиям, и выступает для человека, на наш взгляд, такая целостность как пространство — то, что вмещает человека, то, что он осознает вокруг себя, то, что он видит простирающимся перед ним. Пространство — это среда всего сущего, окружение, в котором все происходит и случается, некая заполненная объектами и людьми «пустота». Именно от такого диффузного определения и можно перейти к более специальным и более частным интерпретациям этого понятия, среди которых сегодня наиболее общим определением все же должно, по всей видимости, оставаться то, что включает указание на пространство как основную форму существования материи или же на объективную реальность, характеризующуюся объемом и протяженностью. Но для того, чтобы *объяснить* более конкретный смысл таких дефиниций или же приблизить их к тому, что более понятно обыденному сознанию и ближе наивной картине мира, необходимы некоторые

специальные пояснения. Почерпнуть их можно прежде всего из современных теорий восприятия.

Подобная принципиальная установка обуславливается для нас тем, что обращение к философской интерпретации таких бытийных категорий, как пространство и время, или же к научной математической или же геометрической концепции пространства, как бы ни были важны эти данные (см. ниже), не может помочь восстановить истоки понятия в чисто человеческом его истолковании, т. е. то, как мы воспринимаем пространство и каким мы его *видим* или *ощущаем*. Но фиксация этого истолкования в языке (научные представления о пространстве подводятся под соответствующие его языковые обозначения гораздо позднее, и в этом смысле они вторичны) как истолкования обиходного, простого и отражающего непосредственное представление человека, должна базироваться на установлении той простейшей концептуальной структуры, которая складывалась и формировалась в актах восприятия мира, в простейших взаимодействиях человека с окружающей его реальностью и осознанием последней.

Мы полагаем, что подобной концептуальной структурой, соответствующей образу пространства в сознании архаичного человека и обозначаемой в русском языке термином «пространство», является величина, включающая следующие концепты и подводимая под следующее описание (в скобках даны основные концепты описываемой структуры): это обобщенное представление о целостном образовании между небом и землей (целостность), которое наблюдаемо, видимо и осязаемо (имеет чувственную основу), частью которого себя ощущает сам человек и внутри которого он относительно свободно перемещается или же перемещает подчиненные ему объекты; это расстилающаяся во все стороны протяженность, сквозь которую скользит его взгляд (пространство) и которая доступна ему при панорамном охвате в виде поля зрения при ее обозрении и разглядывании.

Очевидно, что подобная концептуальная структура отличается от той абстракции, которой под тем же названием оперирует современный человек и которая включает также иные концепты (например, представление о трехмерности мира, о разных типах пространств, об особой форме материи, связанной со временем и т. п. — об этом мы еще скажем ниже). Вместе с тем кажется важным подчеркнуть, что обе структуры — исходная и современная — не противоречат друг другу и характеризуются фамильным сходством. Более того: исходная и современная структуры могут быть связаны между собой цепью переходов, относящихся к тем семантическим сдвигам, которые демонстрируют развитие категории и реальные пути ее преобразования. Не лишне отметить, что такая же процедура реконструкции развития категории естественного типа может быть применена для описания того, как формируется структура многозначного слова (при регулярной полисемии); она же использовалась В. А. Виноградовым для восстановления направления в развитии типологических категорий [Виноградов 1993]. Так, на-

пример, в исходной структуре уже заложены предпосылки для понимания «растяжимости» пространства: взор человека может останавливаться как на том, что его непосредственно окружает, так и не ограничиваться этим, т. е. быть устремленным вдаль, до естественного «края земли» — горизонта, а это объясняет возможность приписать пространству самые разные размеры и масштабы, отождествляя его то со вселенной, то со всем миром, то, напротив, ограничивая его непосредственно видимым полем зрения и придавая ему смысл какого-либо, иногда очень небольшого, вместилища (ср. пространство комнаты).

Но вернемся теперь к разъяснению некоторых концептов, включенных нами в определение пространства, и остановимся на том, почему мы сочли необходимым или же возможным включить в него именно эти концепты.

В замечательной книге о категориях средневековой культуры [Гуревич 1972] ее автор — А. Я. Гуревич — неоднократно предупреждает о том, что характеризуя базовые универсальные категории человеческого сознания (без них человек не мог бы мыслить о мире и сформировать определенную модель мира или же создать некий его образ), мы не должны навязывать прошлому своего собственного мировидения, диктуемого нашей средой и эпохой. Отталкиваясь от многочисленных свидетельств культуры определенного периода, от того, что было запечатлено в языке, мы должны реконструировать в прошлом иное понимание мира по сравнению с современным. Так, например, неоднократно подчеркивает автор, у человека средневековья, как и у людей на более архаичных стадиях развития, мышление было «по преимуществу конкретным, предметно-чувственным». К тому же «сознание охватывало мир в его целостности»: человек еще не отделял себя полностью от природы или же среды, ощущая себя ее частью [Там же: 29, 31, 35]. По всей видимости, однако, представление о единстве мира, о слитности природы и человека отнюдь не мешало разбиению этой целостности на составляющие ее элементы — части целого. Целостность восприятия не означала восприятия ее как гомогенного и нечленимого образования — напротив, ассоциации целого с его отдельными частями из-за ощущения единения с миром были особенно сильными.

По известному принципу противопоставления **фона** и **фигуры** обе эти сущности оказываются членами одного **гештальта**, одной структуры, т. е. одно немислимо без другого. Соответственно этому нельзя говорить о каком-либо выделении пространства без того, чтобы не сказать тут же о том, что ему противостояло, — об объектах. Понятие о них рождается в ходе формирования представлений о том, что «встроено» в пространство в качестве его особой части/частях. Концепт объекта складывался, по-видимому, как представление о топологически замкнутой части пространства, концентрирующей конкретный вид материи в виде особого тела, обладающего определенными физическими характеристиками: контурами, размером или объемом, цветом, формой и т. п. Иначе говоря, диалектическая взаимосвязанность фона и фигуры проявляется и в соотносительности понятий пространства как целого и объекта как определенной его части, а в этой ситу-

ации достаточно трудно делать заключение о том, что же выступало как «первичное», а что — как «вторичное»: пространство с объектами или же объекты (в том числе и прежде всего сами люди) в пространстве. Можно лишь говорить о первичности концепта объекта в некотором условном смысле: при противопоставлении выделяемых человеком объектов «всему остальному» и дальнейшем осмыслении этого «остального» в качестве пространства. По крайней мере, именно такой путь развития постулируется обычно в онтогенезе (ср., например, [Nolan 1994: 70 и сл.], а также [Keie 1979]).

Что же касается прототипических характеристик категории объекта, обращает на себя внимание как раз то, что поскольку в понятии объекта доминирует, на наш взгляд, представление о нем как об ограниченной части пространства, на него органично распространяются и свойства этого последнего: целостность, перцептуальная самостоятельность и определенность. Как утверждают психологи, уже грудные младенцы обладают некоторым представлением о том, что есть объект (тело), подводя под это представление нечто воспринимаемое как топологически единое образование — объединений поверхностей, сохраняющее свою связанность и тождество самим себе при движении и т. п. К тому времени, когда ребенок узнает, что к объекту «прикреплено» имя, он уже подготовлен к узнаванию целостного объекта [Gleitman et al. 1989: 170–171].

Характеризуя понятие пространства, используют при этом не только понятие объекта, но и понятие места. По нашему мнению, хорошее представление об иерархии этих понятий может дать следующая схема, которая отражает известную рядоположность концептов пространства и объекта и подчиненность им концепта места:



Как видно из этой схемы, понятие места тесно связано и с понятием объекта, и с понятием пространства: подобно объекту, оно определяется через представление о ЧАСТИ пространства (место — это часть пространства, занимаемого объектом и ограничиваемая им); подобно пространству, оно может характеризоваться и как объем (нет ли у вас места в сумке для моего пакета?), и как плоскость, как поверхность (место, занимаемое книгой или листом бумаги на столе) и даже как точка (покажи мне место Москвы на карте). В его концептуальную структуру входит также представление о проекции предмета в разных системах координат, а потому и понятие о его «следе», «отпечатке» (он занимал так много места в моей жизни). Такая интерпретация понятия места не позволяет согласиться безоговорочно с тем, что, как пишет в своей интересной книге А. В. Кравченко, «прототипическим значением слова “место”» является «вместилище», т. е. «область пространства, могущая быть занятой каким-либо предметом» [Кравченко 1996: 45].

Во всяком случае, в примерах, приведенных выше, замена «места» на «вместилище» не кажется удачной, и даже в предложении «Не займешь ли мне место в зале?» или в обороте типа «место казни» и пр. речь идет прежде всего о части пространства, специально предназначенной для чего-либо (не обязательно — предмета, но и события, действия и т. п.) и потому объясняемой скорее с помощью понятия участка (отдельного места для чего-либо), а не вместилища.

Конечно, все три рассмотренных понятия естественнее всего связать со зрением, т. е. со зрительным восприятием. Прототипически — это все, что мы можем увидеть (ср. образы физических тел в воздухе, образы занимаемых ими мест как их мысленных проекций и т. п.). И все же вряд ли можно согласиться и с тем, что предмет (или объект) — это «область пространства как холистическая бытийная сущность, отраженная в зрительном образе» [Кравченко 1996: 45]. Ведь в качестве отдельного объекта или предмета мысли в языке объективируется и аромат цветка, и запах моря, и звук речи, и музыкальный аккорд, и шум ветра.

Пожалуй, именно указанные данные свидетельствует о том, что в качестве объектов как особых перцептуальных «отдельностях» человеком мыслятся разные сущности, что и отражает язык, создавая для всего класса объектов специальную грамматическую категорию — имя существительное, в которую, кстати говоря, по принципу чувственной выделяемости и чувственной отдельности включаются и обозначения мест. Можно также в связи со сказанным попытаться ответить и на вопрос о том, почему названия объектов и мест подводятся под особую категорию (существительное) и формируют ее, тогда как понятие пространства напрямую с какой-либо языковой категорией и не связано. Вероятнее всего существенность понятия пространства и его бытийной сути приводят к тому, что пространственные значения и значения пространственных (локативных) отношений проходят фактически по всем знаменательным частям речи и формируют также разные классы ориентиров (предлогов, наречий и местоимений). В свою очередь, пространственные ориентиры можно объединить одним понятием — локума. «*Локум*, — так определяют это понятие М. В. Всеволодова и Е. Ю. Владимирский, — это пространство или предмет, относительно которого определяется местонахождение предмета (действия, признака) и характер их взаимоотношений (статический, динамический)» [Всеволодова, Владимирский 1982: 6].

Между физическим, материальным миром, существующим вне и помимо нашего сознания, и его отражением в языковых формах лежит особая область восприятия, и проблеме его определения посвящена огромная литература. Вместе с тем вопрос о путях выделения из потока информации того, что потом опознается как пространство, или объект, или место, еще не получил своего окончательного разрешения. Труднее всего объяснить трансформацию отдельных сенсорных стимулов или раздражений в факт сознания — ощущение, а далее — и группировку вполне определенных ощущений в образы объектов. Объективное течение этого процесса заставляет когнитологов утверждать, что суждения выносятся не об

объектах как таковых, но о тех чувственных впечатлениях, которые они вызывают [Miller, Johnson-Laird 1976: 30]. Иными словами, нам кажется, что мы описываем мир и имеющиеся в нем объекты, тогда как фактически мы описываем наши ощущения, наше восприятие мира. Это положение дел заставляет многих современных ученых относиться нигилистически к самой возможности описать мир «как он есть». Соответственно этому нередко утверждают наличие пропасти между физическим миром и тем, как мы описываем с помощью языковых форм его восприятие. Но в сущности в самой теории восприятия следует различать две стороны: одна из них касается того, как или каким образом протекает процесс восприятия в одной из своих модальностей (т. е. что именно мы видим, слышим, осязаем и т. п.), — это заставляет изучать по отдельности принципы зрительного, слухового и пр. восприятия; другая — того, как в этом процессе у современного человека участвует язык. Еще двадцать лет тому назад А. Н. Леонтьев писал, что «центральной проблемой восприятия, до сих пор сохраняющейся в программе психологических исследований», является та, что касается «роли языка, речи» [Леонтьева 1976: 12].

Однако, как это ни парадоксально, как только в исследовании восприятия языковой фактор не учитывается, а само исследование приобретает специальный характер (т. е. изучают физиологию зрения или слуха), результаты исследований оказываются довольно неожиданными и как бы противоречащими интуитивным представлениям, сложившимся в процессе наших наблюдений за тем, что мы видим и тем, как осмысляем увиденное. Так, например, один из самых известных специалистов в области зрительного восприятия Дж. Гибсон настаивает на том, что зрительное осознание действительности происходит при противопоставлении «видимого поля» (того, что мы видим) «воспринимаемому миру» (тому, как мы осмысляем видимое) [Столин 1976: 145]. В своей последней книге Дж. Гибсон пишет: «В соответствии с воззрениями классической физики Вселенная — это пространство, заполненное телами. Это наводит на мысль о том, что мы живем в физическом мире, то есть в пространстве, заполненном телами, и что воспринимаем мы, следовательно, это пространство и находящиеся в нем объекты. Однако это весьма сомнительный вывод» [Гибсон 1988: 43]. В другом месте он утверждает: «... понятие пространства не имеет ничего общего с восприятием. Геометрическое пространство — это чистая абстракция. Открытое пространство можно мысленно представить себе, но его невозможно увидеть». И даже: «Пространство — это миф, привидение, вымысел геометров» [Там же: 28]. Но для лингвиста во всех этих рассуждениях самое удивительное то, насколько хорошо согласуется языковое определение пространства с утверждениями в классической физике! Для наивной картины мира — а ведь язык отражает в первую очередь именно ее — верно, скорее, что открытое пространство можно не только представить, но и увидеть. Точно так же — геометрическое пространство — это, действительно, абстракция, но все же абстракция, сложившаяся на чувственной основе! К тому же это значе-

ние слова «пространство» — позднее, результат научного постижения мира, образования новой концептуальной структуры, структуры знания, но одновременно и результат подведения этой новой структуры под старую языковую форму (прежнее тело знака).

В данном месте нашего изложения и хочется подчеркнуть: лингвисту интересно как раз то, как на основе неких простейших представлений о мире, получивших в языке обозначение с помощью отдельной языковой формы — слова «пространство» — выделенная словом и закреплённая им концептуальная структура начинает исследоваться уже в качестве структуры знания и обогащаться по мере осуществления познавательных процессов. Челночные операции — от определённого выделенного в актах восприятия мира его отдельного фрагмента к обозначению фрагмента, а затем к использованию его языкового значения в актах познания и далее — к подведению под тот же знак нового содержания, рожденного в актах познания — такие челночные операции и открывают нам механизмы развития полисемии. Знак, рожденный для именованной одной концептуальной структуры, становится «крышей» для новой структуры знания.

С этой точки зрения весьма интересно подойти и к описанию понятия пространства в двух новых и весьма ценных публикациях — монографии Е. С. Яковлевой [Яковлева 1994] и книге А. В. Кравченко [Кравченко 1996]. В интерпретации пространства оба автора, вполне естественно, ссылаются на работу В. Н. Топорова «Пространство и текст» — работу непревзойденную по тонкости анализа и богатству содержащихся в ней новаторских идей [Топоров 1983]. Оба автора принимают его рассуждения о том, что существует два понимания пространства — по Ньютону и по Лейбницу и что различия в понимании сводятся к противопоставлению ньютоновского геометрического пространства пространству, определяемому «порядком сосуществования вещей» [Там же: 228]. «Таким образом, — пишет Е. С. Яковлева, — ньютоновское пространство является некоторой объективацией идеи пространства, принципиальным отвлечением от фактора восприятия пространства человеком; у Лейбница же пространство «одушевляется» человеческим присутствием, оно трактуется, прочитывается человеком. Ньютоновское пространство принадлежит физике и геометрии; лейбницевское же относится, скорее, к области человеческих представлений о мире, так сказать, «наивной философии мира» [Яковлева 1994: 18–19]. Сочувственно цитируются эти слова и А. В. Кравченко [Кравченко 1996: 45]. «Рассмотренный нами пространственный фрагмент, — пишет далее Е. С. Яковлева, — позволяет сделать вывод о том, что картина пространства в русском языковом сознании не сводима ни к какому физико-геометрическому прообразу: пространство не является простымместилищем объектов, а скорее наоборот — конституируется ими и в этом смысле оно вторично по отношению к объектам» [Яковлева 1994: 20–21]. О «вторичности» пространства мы уже писали выше; приведем также мнение о том, что понятие пространства играет значительную роль в системах языков, поскольку

оно служит источником развития грамматических явлений, хотя само по себе оно и может быть производным от понятий объекта и деятельности [Neisser 1992: 258]. Что же касается сведения к прообразам, думается, что предложенное нами толкование позволяет проложить от него путь и к ньютоновскому и к лейбницевскому его определению. Образ пространства (всего остального, промежутка между объектами) и тогда отличался своей обобщенностью и отвлеченностью. Напомню в этой связи о мнении А. Я. Гуревича, который писал: «Пространство в средние века понималось особым образом — об этом свидетельствует и то, что такого понятия, собственно, не существовало: *spatium* имело иной смысл — протяженность, “промежуток”, *locum* же означало место, занимаемое определенным телом, а не абстрактное пространство вообще» [Гуревич 1972: 82].

Сегодня английское *space* дефинируется в толковых словарях аналогично русскому, и хотя в этимологическом словаре русского языка М. Фасмера нет разъяснения слову «пространство», связь его с приставкой *про* «сквозь», корнем / *сторона* и суффиксом *-ство* позволяют делать некоторые предположения о его значении (Г. И. Берестнев).

В дальнейших исследованиях по поводу этого слова было бы интересно проследить, какие потенции развития были реализованы в его семантике — особенно при метафорических переносах. Другая тема — метонимии и синекдохи при использовании слов «пространство» и «место», что можно связать, по всей видимости, и сосуществованием двух типов зрительных систем, получивших название «где-системы» и «что-системы» [Кравченко 1996: 4]: один модуль зрительной перцепции обеспечивает восприятие мест, другой — восприятие предметов. В работе Б. Ландау с остроумным названием «Where's what and what's where?» («Где существует нечто и что такое где?») наличие этих двух систем рассматривается как фактор, оказывающий влияние на язык [Landau 1994: 259 и сл.]. Таким образом, язык и восприятие явно взаимосвязаны.

Переходя к завершающей части нашей работы, сделаем еще одно замечание о сути восприятия и новом подходе к нему (особенно — у Гибсона). Для построения адекватной его модели, — указывает У. Найссер, — надо описать познавательную активность в том ее виде, какой она имеет в контексте естественной целенаправленной деятельности человека [Heine et al. 1991: 29]. Но эта деятельность чаще всего использует или предполагает использование ощущений и знаний разного типа, а также их синтез. Восприятие не может быть сведено к сумме впечатлений от раздражителей, полученных разными органами чувств, или, как говорят, интрамодальных сигналов — сигналов, замкнутых в пределах одного модуля восприятия: зрения, слуха, осязания и т. д. В обрабатываемом потоке информации на вход попадают отнюдь не изолированные сигналы, и в целом восприятие полимодально, (ср. Рузин 1994: 93 и сл.). Мы уже указывали на это, рассуждая о том, как воспринимаются объекты. Можно предположить, что и пространство мы не только видим, но каким-то образом и ощущаем. Целостность любого предметного образа,

особенно сложного и фундаментального для понимания мира, как и целостность пространства, тесно соотносится с их полимодальными характеристиками. Создавая образ предмета, мы *интегрируем* все его материальные свойства и атрибуты, но, по всей видимости, не только их.

Когнитивный подход заставляет нас предположить, что не только восприятие презентует нашему сознанию образ мира, не только оно создает ментальные репрезентации, о чем и свидетельствует разный «формат» и разный субстрат подобных репрезентаций. Утверждения о связанности их с языком ведут вполне органично к предположению о том, что среди перцептивных модулей, или модулей, образующих систему восприятия, надо каким-то образом найти место и языку. Таким образом, причастность языка к актам восприятия — это по-прежнему серьезная проблема, но уже не только психологии, но и всей КН.

Много лет тому назад, в конце 1960-х гг., мне показалось чрезвычайно заманчивым изучить вопрос о пространственном моделировании лингвистических систем [Кубрякова 1967]. Это открывало возможности объяснить организацию языка с помощью представления о его стратификации в многомерном признаковом пространстве. Спустя десять лет вернулась к той же мысли, рассмотрев более детально один из типов этого многомерного пространства — поэтическое или же назывное пространство знаменательных частей речи [Кубрякова 1978: особенно 95 и сл.]. Можно было бы указать в этой связи и на близость подобных представлений — или же аналогичных им — с понятиями языковой картины мира, с понятиями когнитивно-языковых карт и т. д. Из огромного потока работ, так или иначе связанных с пространством (см., например, их обзор в [Агеева 1984]), ясно следует, что в языке метаописания лингвистических систем пространственные представления играют существенную роль.

Экспансия этого понятия, начатого прежде всего перенесением его на понятие времени, продолжается и приносит свои плодотворные результаты. Выше мы уже говорили о работе В. Н. Топорова, четко очертившей представление о семантическом пространстве текста. Нельзя не отметить также исследования О. Н. Селиверстовой, которая, как мне кажется, впервые ввела и характеристики разных видов пространств, необходимые для описания языка [Селиверстова 1977: 4 и сл.]. Проблемы выделения разных пространств и, в первую очередь, пространств *ментальных*, стали предметом многих исследований, и здесь следует назвать блестящую книгу Ж. Фоконье [Fauconnier 1994]. Привлекли к себе внимание и цепочки переходов, связывающие представления о пространственных категориях с оценочными: они давали объяснение тому, как по образу и подобию физического пространства строятся затем разные ментальные пространства, создаваемые одними языковыми определениями. Наконец, характеризуя «изменчивый образ языка» в науке XX в., Ю. С. Степанов специально разъясняет понятие языка как пространства мысли и как дома духа и ссылается на свою работу 1985 г. о трехмерном пространстве языка, в которой описано три семиотических изме-

рения языка [Степанов 1995; 1985]. Таким образом, концепции «пространства языка» набирают силу и удачно служат демонстрации его сложной организации и устройства.

Категория пространства претерпела значительные изменения. Общим их направлением явился путь от конкретного ко все более отвлеченным абстракциям, нередко — под влиянием метафорических переносов. Прослеживание и осмысление этого пути в настоящей статье стало возможным в результате объединения данных, полученных, с одной стороны, в исследованиях традиционного толка, а с другой — возникших в рамках КН. Посвященная рассмотрению категории пространства и связанных с ней понятий, она, однако, мыслится не только как подводящая некоторые итоги всей этой проблематике, но и как приглашение к дальнейшему обсуждению этих важнейших для современной лингвистики проблем.

## *Глава вторая*

### **О КОНЦЕПТЕ «КОНТЕЙНЕРА»<sup>\*</sup> И ФОРМАХ ЕГО ОБЪЕКТИВАЦИИ В ЯЗЫКЕ<sup>1</sup>**

Объектом лингвистики был и будет оставаться естественный язык, и как писал еще в конце 70-х гг. Ю. С. Степанов, предметом исследования является язык во всех аспектах его синхронного и исторического существования, «во всем объеме его свойств и функций» [Степанов 1997: 672]. Вместе с тем в разные эпохи, в разные исторические периоды существования человека, язык изучался по-разному, и в поле зрения ученых оказывались разные функции языка, разные его ипостаси и особенности. В разных направлениях и школах язык как бы поворачивался к нам новыми гранями. Все зависело от **точки зрения** на язык, а, значит, в зависимости от этого фактора мы могли увидеть в языке не только разное,

---

<sup>\*</sup> В одном из номеров журнала Изв. РАН, Серия лит-ры и яз. (1999) была опубликована статья Ю. Д. Апресяна «Теоретическая семантика в конце XX столетия», в которой, как указывает сам автор, им была предпринята попытка продемонстрировать ту положительную роль, которую сыграл в развитии теоретической семантики структурализм. На конкретном материале автор статьи стремился также «показать, какие новые фактические знания о языке дала современная теоретическая семантика». Продолжая эту же линию исследования, мы ставим своей целью, однако, показать, что в становлении современной семантической теории не меньшую роль сыграл и когнитивизм и что с ним тоже связано появление обширной области новых фактических знаний о языке, а также, что не менее важно, новое понимание задач самой теоретической лингвистики и теоретической семантики. Можно и нужно спорить о том, должна ли лингвистика ограничиваться в своих установках получением знаний исключительно о языке и языках или же ей надлежит стать наукой, естественно вписывающейся в цикл так называемых когнитивных наук, а потому выходящей через познание языка к познанию говорящего и думающего человека. Свое веское слово в этом споре должна сказать и когнитивная семантика. Тому, как и в каком отношении может она послужить определенному решению в этой дискуссии, и посвящается настоящая статья.

<sup>1</sup> Впервые опубликовано: Изв. РАН, СЛЯ. 1999. Т. 58. № 5–6. С. 3–12.

но и **больше** или **меньше**. Преимущества когнитивной лингвистики и когнитивного подхода к языку мы видим, как и другие когнитологи, в том, что они открывают широкие перспективы видения языка во всех его разнообразных и многообразных **связях с человеком**, с его интеллектом и разумом, со всеми мыслительными и познавательными процессами, им осуществляемыми и, наконец, с теми механизмами и структурами, что лежат в их основе.

Подобная точка зрения на язык — следствие вхождения КЛ в когнитивную науку, ее принадлежность этой междисциплинарной науке, в которой четко была осознана невозможность решения целого ряда глобальных проблем о сущности человека, его поведения и деятельности его разума без объединения усилий специалистов из разных научных дисциплин, но при выработке ими единой программы исследований. Следует поэтому помнить, что КЛ — при всем ее своеобразии и конкретных отличительных особенностях, столь очевидных внутри самой лингвистики, — детище когнитивной науки и что именно поэтому она разделяет многие установки последней и, конечно, общую ориентацию когнитивной науки, диктующей для каждой отдельной входящей в нее дисциплине **выходы** за ее собственные пределы и границы. Быть может, как раз эти принципиальные установки и создают, с одной стороны, чрезвычайную привлекательность работы в области КЛ (во всяком случае, для тех, кто уже давно стремился к обоснованию психологической реальности даваемых языковым фактам объяснений), а, с другой — и вполне очевидные трудности этой работы (требующей от ученого хотя бы элементарных познаний в логике, психологии, философии, моделировании искусственного интеллекта и т. п.).

Возможно также, что известная неопределенность в понимании того, какие именно знания и из каких научных областей необходимы лингвисту для решения той или иной проблемы, или же того, какой глубиной должны обладать указанные знания, ведет и к некоторой неясности и расплывчатости самого термина «когнитивный» или даже понятия КЛ. Не секрет, что использование этих терминов в целом ряде работ и выступлений кажется исключительно данью моде и потому, вероятно, ничего, кроме раздражения, и не вызывает. Между тем у нас в стране продолжается широкое распространение когнитивного подхода и он постоянно обсуждается на разного рода представительных встречах и конференциях (см., например, материалы [Категоризация мира 1997; Когнитивная лингвистика 1998; Языковая номинация 1996; Abstracts of the International Conference... 1999]). Можно также назвать уже добрый десяток серьезных исследований, выполненных в русле когнитивизма и позволяющих говорить о становлении у нас в стране собственной его версии (органично продолжающей, кстати говоря, так ярко представленное у нас ономаσιологическое направление исследований, известное с конца 70-х гг. и характеризовавшее все 80-е гг.). Все это не позволяет игнорировать заслуги складывающейся новой парадигмы научного знания, контуры которой, еще совсем недавно довольно расплывчатые, приобретают сегод-

ня более четкие очертания и которая, на наш взгляд, все еще нуждается в специальном разъяснении. Ведь несмотря на несколько десятилетий плодотворного развития когнитивной науки, за рубежом и у нас, а также явные ее успехи в освещении процессов познания (как неразрывно связанных с языком) результаты, достигнутые в этой науке (а, в частности, и в КЛ), все еще ставятся под сомнение, замалчиваются или же явно недооцениваются. Но все это тормозит поступательное движение науки, а в известном смысле и препятствует распространению идей, созвучных традициям отечественного языкознания, и, вообще говоря, связанных с теми проблемами, которые уже давно интересовали ученых у нас в стране (достаточно напомнить, например, в этой связи о дискуссиях по вопросу о соотношении языка и мышления, слова и понятия или о понимании всей номинативной деятельности в языке как речемыслительной).

В силу всего вышесказанного нам представляется, что лучшее знакомство с установками когнитивизма, с его общими принципами и стремлениями, понимание его конкретных задач и целей, а главное, демонстрация реальных возможностей когнитивного подхода к явлениям языка, может способствовать не только продвижению самой КЛ, но и изменению отношения к ней. Настоящая публикация и мыслится как один из шагов на этом пути — пути разъяснения сути КЛ и применимости некоторых ее теоретических постулатов к анализу конкретных лингвистических проблем.

В качестве непосредственного объекта анализа в нашей статье выступает понятие **контейнера**, столь часто используемого в работах когнитологов по концептуальной метафоре, но, на наш взгляд, еще не получившего в этих работах своего адекватного освещения. Концептуальный анализ этого понятия и связанной с ним образной схемы (*image-scheme*) позволит, как нам кажется, избежать известной умозрительности в рассуждениях о сути КЛ и не свести содержание статьи к аналитическому обзору представленной в настоящее время специальной литературы (о чем см. подробно [Степанов 1995]). В то же время заглавие статьи отражает нашу научную позицию, заключающуюся в том, что картина теоретической семантики в конце XX столетия не может считаться правильно отражающей ее состояния без того, чтобы в ней не было найдено достойное место и семантике когнитивной.

Размышляя о константах национальной культуры и раскрывая суть понятия языка как «дома духа», Ю. С. Степанов совершенно справедливо подчеркивает, что «...язык — это и “дом логики”, и “дом знания”, и “дом философствования”» и что именно такой подход мы наблюдаем в конце XX века во многих направлениях современной науки, и, в частности, в когнитологии [Степанов 1995: 7–8]. Наиболее близкое для нее понимание языка как «дома знания» приводит к тому что и в КЛ — этой ведущей научной дисциплине в рамках когнитивной науки — основное внимание уделяется вопросу о том, как связаны между собой языковые формы (и любые проявления языка вообще) со структурами человеческих знаний и

опыта, а также о том, как те и другие представлены (репрезентированы) в голове человека. Проблема соотношения концептуальных систем с языковыми, научной и обыденной картин мира — с языковой, проблемы соотношения когнитивных или же концептуальных структур нашего сознания с объективирующими их единицами языка, проблемы роли языка в осуществлении процессов познания и осмысления мира, в проведении процессов его концептуализации и категоризации, — все это те новые проблемы, которые входят в компетенцию КЛ и которые стимулируют возникновение новых способов и методик их решения.

В определенном смысле можно утверждать, что КЛ изменила наши представления о языке не столько за счет признания когнитивной функции языка его главной функцией (хотя и этот постулат получил в КЛ некое новое обоснование), сколько за счет более глубокого осознания значимости языковых данных для умозаключений о работе человеческого интеллекта как направленного на познание мира и на разумное взаимодействие человека с окружающей его средой.

Виденье языка как позволяющего во всех его проявлениях **доступ к деятельности сознания**, как помогающего восстанавливать и реконструировать разные стороны познавательных процессов, процессов мышления, разные аспекты самого отражения (репрезентации) мира в голове человека во всем разнообразии представленных здесь концептов и концептуальных структур и т. п., не могло не сказаться и на тех переменах, которые характеризуют в КЛ выделение в ней новых областей исследования и создание новых методик для их описания. Именно с этой точки зрения вызывают возражение взгляды тех ученых, которые полагают, что хотя «вклад когнитивистов» в сфере, например, семантики «определенно позитивен», они, тем не менее «никак не создают ни нового объекта (точнее, предмета) исследования, ни даже нового метода» [Касевич 1998: 20]. Пользуясь когнитивной же терминологией, мы бы хотели подчеркнуть обратное, — сосредоточенность внимания представителей когнитивной науки на новых проблемах, на новых областях анализа и на выделении уже в рамках самой КЛ «новых реальностей языка». О некоторых таких «реальностях» мы и скажем ниже, полагая, что ими являются, например, естественные (прототипические) категории в языке, а также фреймы, сцены, сценарии и другие «форматы знания», объективированные с помощью специальных языковых форм и имеющие в голове человека особые структуры их репрезентации. По-видимому, новыми реальностями языка можно было бы считать и формулы концептуальных метафор, и образные схемы, и выделенные в когнитивной грамматике Рональда Лангакра профили и базы языковых единиц, и многое-многое другое, о чем см. также [Берестнев 1997: 47 и сл.].

Со становлением когнитивной грамматики и когнитивной семантики связаны, наконец, и многие новые методики и процедуры анализа, и новая ориентация проводимых исследований языка, направленных прежде всего на поиски объяснений для изучаемых в этих исследованиях фактов. Но если вопрос о новых объектах описания в когнитивной семантике и когнитивной грамматике решает-

ся достаточно просто (для этого необходимо только одно — познакомиться либо с введениями в КЛ, либо с обзорами по проблеме — см., например [Рахилина 1998; Фундаментальные направления... 1997], либо с основополагающими исследованиями в данной области), то вопрос о тех новых **сторонах** языка, которые позволил увидеть когнитивный подход, и — тем более — вопрос о новом **методе** в КЛ нуждается, пожалуй, в особом разъяснении.

Подобные новые стороны были описаны прежде всего потому, что в КЛ были поставлены вопросы о том, каким видит человек, судя по языковым данным, окружающую его действительность, в каком виде она отражается в его голове, какой опыт взаимодействия с природой и себе подобными человек фиксирует в языке в первую очередь и почему. Новые стороны языка были поняты также потому, что глубоким исследованиям подверглись процессы концептуализации и категоризации мира, в основе которых ученые усмотрели особые, чисто человеческие способы обработки информации не в столь строгих формах рационального мышления, к каким человечество пришло позже и какие были впервые описаны Аристотелем. Обращение к обыденному сознанию, к каждодневному опыту непосредственного восприятия мира по всем чувственным каналам, особенно зрительному, опора на вещный или же телесный человеческий опыт (*bodily experience*) позволило сделать когнитологам немало тонких и интересных наблюдений в языке и, что не менее важно, заставило принимать во внимание в проведении лингвистического анализа его форм и категорий **теорию восприятия**.

Нельзя не отметить в этой связи плодотворности использования в КЛ понятий фона и фигуры, фокусировки внимания и особых черт ее распределения в разных ситуациях, модели бильярдного шара, принципов распознавания образов (ср., например [Ungerer, Schmid 1996; Talmy 1978; 2000; Langacker 1987]) и многого другого. Если учесть это, легко сформулировать и основы **нового метода**, который принесла с собой когнитивная наука в целом и когнитивная лингвистика, в частности. И если не требовать чересчур жесткого определения самого понятия «метод», мы бы сказали, что здесь он заключается в постоянном соотношении языковых данных с другими опытными сенсомоторными данными, ибо «способом теоретического исследования» взамен замыкания на собственно лингвистическом материале здесь становится его рассмотрение на широком фоне культурологического, социологического, биологического и — особенно — психологического порядка. Такой способ исследования предопределен стремлением и даже требованием **объяснить** любое анализируемое нами явление. Лингвистика, в задачу которой неизменно входило и входит требование **описания** ее объектов, становясь зрелой (в куновском смысле) наукой, должна, на наш взгляд, все больше приобретать **объяснительный характер**. Когнитивная наука и предоставляет ей эти возможности, т. е. расширяет рамки возможных в лингвистике и так необходимых для нее объяснений.

Языковая способность рассматривается здесь в одном ряду с другими когнитивными способностями человека: внимание, воображение, фантазия, способность к рациональному решению проблем и т. п. — все они привлекаются для объяснения свойств естественного языка, равно как и представленные в нем единицы и категории, конструкции и правила привлекаются для умозаключения о том, как протекает познавательно-оценочная деятельность у человека и как он концептуализирует и категоризирует мир вокруг него. В итоге, как мы уже отметили выше, метод когнитивной науки заключается прежде всего в попытке совместить данные разных наук, гармонизировать эти данные и найти смысл в их корреляциях и соотносительности. Для того, чтобы не быть голословной, я и перехожу теперь к показу того, как общие эти установки работают на практике, на конкретном материале, а именно — к анализу с когнитивной точки зрения понятия / концепта **контейнера**.

Выбор этого концепта для иллюстрации основ КЛ мотивирован несколькими причинами. Хотя в число главных бытийных, или же онтологических категорий, выделяемых когнитологами, он и не входит, упоминание о нем в КЛ происходит постоянно. Вместе с тем все беглые замечания о нем еще никак не систематизированы и не сведены воедино. Более того: понятие контейнера нередко используется как самоочевидное и редко дефинируется. Между тем хотя оно, действительно, выступает прежде всего как понятие, связанное с телесным и довольно простым опытом человека, за ним стоит далеко не простая структура знания, которую в известном смысле надлежит реконструировать. Но если когнитологи правы, что в основе языка и его категорий лежит наглядный, телесный опыт человека и что только через обобщение этого опыта человек выходит в более абстрактные сферы и строит свои представления о **не наблюдаемом непосредственно**, рассмотрение концепта **контейнера** становится весьма показательным для проверки правильности высказанных когнитологами идей.

Интересно отметить, что понятие контейнера вводится впервые Марком Джонсоном для иллюстрации значимости образных схем (*image scheme*) в обработке человеческого опыта, происходящей якобы еще до формирования им ясно осознаваемых концептов. Джонсон полагает, что противопоставление того, что находится **внутри** чего-то (**in**), тому, что находится **вовне** или же **вне** чего-то (**out**), демонстрирует именно такую базовую схему структурирования опыта, которая к тому же не облечена в форму пропозиции и вообще не носит пропозиционального характера. Схема возникает «на уровне передвижения человека в пространстве, манипулирования вещами» и т. п. [Johnson 1987: 29–30]. Эту схему он и называет далее схемой **контейнера** [Там же: 126], хотя понятие контейнера как таковое им и не определено.

Комментируя схему, Джон Лакофф [Lakoff 1987] указывает на то, что с помощью этой схемы осмысливается прежде всего тело человека, в которое что-то постоянно входит и из которого что-то удаляется. Более того, — подчеркивает он, — с

помощью этой схемы мы ориентируемся во времени и пространстве, а сама она связывает в единый конструкт два противоположных (по направлению) начала:



Лакофф ссылается при этом на работу С. Линднер, где она описывает более 600 английских глаголов с out, которые обозначают не только направление физических действий, но и абстрактные понятия (типа work out или figure out ‘выработать представление о’). Таким образом, уже здесь начат анализ концептуальных метафор, связанных с распространением телесно-обоснованного опыта (body-based experience) и схемы **контейнера** на широкий круг абстрактных понятий [Lakoff 1987: 272]. Поле зрения, — продолжает Лакофф, — мыслится как **контейнер**, а разные вещи то попадают В него, то исчезают **из** виду; точно так могут восприниматься (по этой схеме) и отношения людей, ср. *вступить в брак, впасть в немилость*. В качестве отдельных элементов схемы Лакофф уже называет не только понятия **внутри** и **снаружи**, но и концепт **границы** [Там же: 272–273].

Хотя, конечно, Лакофф уже намечает главные характеристики понятия контейнера, его все же интересует в первую очередь путь преобразования исконной простой схемы, выделенной в сенсомоторном опыте человека, в более сложные схемы — при перенесении базовой схемы по аналогии на более абстрактные сущности. Концепт же самого **вместилища**, т. е. ограниченного пространства, служащего определенной цели, а потому — замкнутого, им еще не определен, по-видимому, потому, что кажется ему самоочевидным. Но если использовать для определения контейнера только указанные выше «структурные элементы», не трудно увидеть, что понятие контейнера становится равносильным понятию объекта у Р. Лангакра или Л. Тэлми, где последний описывается с помощью понятий boundedness (см. [Talmy 1988: 178–180]) или же a bounded region, т. е. какой-либо замкнутой области (пространства) [Langacker 1987: 60–63], что, конечно, нежелательно.

На самом деле понятие контейнера гораздо сложнее. Во-первых, оно проявляет свою зависимость от **двух** онтологических категорий, и в каком-то смысле может быть определено как **производное** от них. Важность его обуславливается как раз его одновременной и симультанной связью с такими глобальными бытийными категориями как **место** или **пространство** и **объект**. Можно показать, как органично и естественно рождается представление о **вместилищах = контейнерах** на базе противопоставления **пространства** и **объекта**, преодолеваемого не только в представлении об **объекте в пространстве**, но и в особом представлении самого объекта как берущегося исключительно в определенном ракурсе — в его способности **вмещать** нечто, **включать** это нечто в свой состав, **удерживать** его в более или менее жестких **границах** и т. п. Поскольку о понятии пространства мы уже писали в специальной работе, (см. [Кубрякова 1997]), не повторяя

сказанного, укажем лишь на то, что если исходно оно мыслилось как охватывающее промежуток между землей и небом и/или простирающееся перед человеком, то постепенно оно обретало и более сложную концептуальную структуру, включающую концепты протяженности и объема, n-мерности, среды существования человека и т. п. Таким образом, уже в нем самом содержалась как идея среды для всего сущего, так и ограниченности этой среды рамками видимого и наблюдаемого в поле зрения. Одновременно пространство понималось как то **целое**, по отношению к которому и сам человек, и окружающие его вещи воспринимались как его **части**.

Подчеркивая, что мышление человека было предметно ориентированным, что в восприятии окружающего всегда действовал принцип противопоставления **фона** и **фигуры**, мы бы хотели отметить, что базой самого этого принципа было осознание человеком себя как части целого, себя (фигуры) на каком-то фоне (среды, пространства) и такое же понимание и всех других тел (вещей) в мире. Иначе говоря, любые предметы (тела, вещи и т. п.) понимались прежде всего как некие части (области) целого (пространства), вычлняемые из этого пространственного универсума по принципу их зрительной выделяемости и отдельности, по принципу их качественной определенности и физической данности в актах восприятия, по принципу компактности и сгущенности физических признаков, служащих основанием для противопоставления этого тела всем другим и, наконец, по стабильности — способности сохранять тождество самим себе во времени и в момент перемещения из одного места в другое.

Как следует из этого разъяснения, как понятие **пространства**, так и понятие предмета или **объекта** содержит гораздо большее число признаков, чем понятие **контейнера**, которое «выхватывает» из этих понятий один только существенный признак — способность служить благодаря своим границам для включения в него еще какого-либо предмета/объекта. «Насыщенные» и «богатые» представления о пространстве и объекте редуцируются значительно в представлении о контейнере как вместительнице для чего-либо, в отвлечении от многих иных свойств объекта. Сама идея контейнера — схематизированное и предельно упрощенное представление об универсуме лишь в его способности иметь что-то (держат или содержать, contain) в себе самом, внутри себя, это прежде всего идея «пустого пространства», в котором находятся все выделенные человеком объекты — как материальные, так и идеальные. Это, собственно, и позволяет мыслить затем и пространство как вмещающее все сущее, и каждый объект — как своеобразный контейнер, рамки которого могут быть определены и его физической сущностью (ср. сосуды, резервуары, здания и т. п.), и его качественной специфичностью (ср. воду, воздух и т. п.), и, наконец, просто его воображаемой отдельностью (ср. чувства и состояния).

Указанные признаки делают понятие **контейнера** (in) вездесущим, притом как с материальной, так и с философской точки зрения. Особенно важным выступа-

ет оно в так называемой экологической теории зрительного восприятия, согласно которой весь мир следует рассматривать как нечто похожее на русскую матрешку, складывающуюся из фигурок разного размера, помещаемых одна в другую. Как указывают когнитологи, «...люди осознают пространство не через систему координат, относительно которых задается местоположение объектов независимо от других объектов, а скорее через отношения, существующие между объектами в этом пространстве» (см. [Кравченко 1996: 8, 15]). Типичным же случаем подобных отношений и оказывается отношение существования одного объекта в другом, нередко осмысляемые как отношения **включения** одного предмета в другой. Но если, действительно, наиболее частым случаем взаиморасположения и взаимодействия разных объектов оказывается отношение части и целого, о котором мы уже писали выше, а оно может легко интерпретироваться как отношение содержимого и содержащегося, то это отношение должно также истолковываться и как **интеракциональное**. Характер такого соотношения настолько нагляден и очевиден, а вместе с тем и релевантен, что для его отражения и описания в любом языке используются самые разнообразнейшие средства и приемы, начиная от особых групп глаголов, разъясняющих идею контейнера в событийном плане (ср. *вмещать, включать, содержать, иметь в своем составе, вовлекать, охватывать* и т. п. и их эквиваленты в других языках — см., например, [Хрисонопуло 1999]). Ср. также специальные аффиксы, обозначающие помещения для чего-либо или вместилища (типа *сахарница, пепельница, солонка; свиарник* и т. п.).

Но, пожалуй, наиболее ярко представлен интересующий нас концепт предложением **в** и наречием **внутри** со всеми их разновидностями, рассматриваемыми нами в пределах единой категории сателлитов, т. е. спутников, модифицирующих именные и глагольные корни в разных языках в одном и том же пространственном отношении (см. [Базарова 1999]). Представленный во всех индоевропейских языках, он мог бы по праву считаться своеобразным семантическим примитивом, вокруг которого строится в дальнейшем и сама схема контейнера, описывающая особую конфигурацию в расположении объектов и фактически отражающую положение дел в мире «как он есть» и уже поэтому имеющей универсальный характер.

Согласно Дж. Гибсону, вся вселенная существует как набор или множество **встроенных** друг в друга объектов, благодаря чему понятие **встроенности** становится ключевым для всей его теории, ср. [Гибсон 1988].

Если в исследованиях ведущих когнитологов за рубежом схема контейнера рассматривается как бы в изоляции от других схем, а ее связь с другими онтологическими концептами остается незамеченной, мы бы хотели, напротив, указать на необходимость рассмотрения ее на более широком фоне, т. е. с учетом того, как она возникает в ходе осмысления общего устройства мира и локации объектов, демонстрирующих объективно **вмещенность** одного в другом или же способность при перемещениях объекта и изменениях занимаемых ими мест оказываться **внут-**

ри какого-либо объекта, быть им «поглощенным», оказаться в составе и в границах другого объекта и в этом смысле оказаться **частью** другого **целого**.

Нельзя не отметить при этом, что «рассмотрение мира как естественным образом упорядоченного, гносеологически расчлененного тем или иным способом — это результат определенной ценностной ориентации, принятой в данную эпоху в данном обществе» и что «каждое теоретическое описание какого бы то ни было объекта, имея определенный прообраз в действительности, всегда является лишь одним из возможных представлений этого объекта...» [Бардина 1997: 13; выделено мною. — Е. К.]. В нашем случае расчленение мира на объекты по принципу встроенности друг в друга позволяет представить и сами объекты как взятые лишь в одном вполне определенном ракурсе их бытия — в качестве **вместилищ**, или же областей существования **для** других объектов. Вполне возможно, что прообразом такой интерпретации всего сущего было и человеческое тело, что позволяет рассматривать двойку и сам этот объект. С одной стороны, человек — это часть мира, это *man in space*; с другой стороны, занимая определенный объем, тело формирует *space in man*, которое «заполнено» или «заполняется» самыми разными сущностями — начиная от реальных органов и субстанций и кончая его мыслями и чувствами, состояниями и ощущениями, способностями и знаниями. Не случайны сравнения (и концептуальные метафоры) человека с сосудом или просто котлом, в котором кипят страсти, бушуют противоречивые чувства, который переполняется разного рода эмоциями и который может взорваться под их натиском...

Эта очевидная и наглядная ситуация, повторяемая в тысячах разных вариаций, но интерпретируемая в конечном счете одной образной схемой — схемой **контейнера** — дает основание моделировать и один из главных принципов человеческого познания, который одновременно является и главным принципом как семиотического, так и когнитивного подходов к языку. Я бы предложила назвать его **принципом обратимости позиции наблюдателя** в любых описаниях мира. Суть этого принципа заключается в том, что при рассмотрении любого объекта в мире и вселенной выбор перспективы его рассмотрения, хотя субъективен, но, будучи установленным, он в дальнейшем может быть всегда изменен, причем позиция наблюдателя может смениться на обратную.

В своей замечательной работе о константах культуры Ю. С. Степанов обращает внимание на значимость одного афоризма Блэза Паскаля, который где-то в середине XVII века сказал: «Пространством Вселенная ... охватывает меня и поглощает как точку; мыслью же я охватываю ее». С помощью этого афоризма Ю. С. Степанов иллюстрирует далее тот феномен, который он называет «индукцией пространственных представлений», подчеркивая важность его для семиотики и когнитологии [Степанов 1997: 138–139]. Сложный этот феномен он объясняет далее с помощью одного наблюдения у Э. Бенвениста за языком, который, по мнению Бенвениста, с одной стороны, интерпретируется по его роли для обще-

ства (в этом случае в качестве системы, с помощью которой разъясняются функции языка, оказывается социум), но который, с другой — служит сам для разъяснения того, что́ есть общество (язык консолидирует его, выступает объединяющим его началом и т. п.).

Опираясь на эти примеры, можно сказать, что если у нас складывается некая система интерпретации объекта, то, с точки зрения этой системы, объект рассматривается как **включенный** в систему (система интерпретации — **контейнер** для него). В то же время в определенном смысле можно постулировать и **обратное**: в объекте как части системы должна присутствовать и сама система (в виде конституирующих систему признаков). В таком утверждении содержится, собственно, и идея фракталов и фрактальности: так, лист дерева — это то, что мыслится нами прежде всего как часть дерева; одновременно, однако, в структуре листа (как в голографическом изображении) содержится в зародыше, в эмбриональном виде, представление о структуре дерева, некий его чертеж, образ, рисунок. Параллельные примеры напрашиваются здесь сами собой: достаточно вспомнить в этой связи о структуре ДНК и записях генетической программы в клетках белка или же о соображениях Л. С. Выготского, касающихся выделения подлинных единиц анализа, в которых, как в капле воды, отражаются существенные характеристики объекта.

Легко продемонстрировать принцип обратимости точек зрения на объект и на материале языка, притом на разных уровнях его существования и функционирования. В специальной работе мы останавливались подробно на том, что характеризует соотношение «языка пространства» и «пространство языка» и в чем наблюдается при указанной смене точек зрения различие изучаемых явлений [Кубрякова 1997]. Зависимость перспективы в видении ситуации от позиции наблюдателя еще проще проиллюстрировать на различиях активного и пассивного залога в высказывании: в предложениях типа *Рабочие строят дом* идет рассказ о рабочих, а в предложениях типа *Дом строится рабочими* — о доме, поскольку в фокусе внимания оказываются разные участники (аргументы) ситуации. Онтологически же в мире «как он есть» ситуация одна и та же, а на этом основании примеры разобранного типа долго считались равнозначными, или же эквивалентными. Фактически, однако, изменение точки зрения на объект способно выявить новые его свойства, ввести в рассмотрение (или же вывести за его пределы) новые факты. См. естественность высказывания *Дамбу построили бобры/дамба построена бобрами* в отличие от *Бобры строят дамбы* (оно имеет смысл лишь в одном из своих значений, т. е. не в обобщающем смысле).

Язык поразительным образом создает модели для канонических форм описания ситуаций как бы с двух противоположных точек зрения, и это можно усмотреть не только в синтаксисе, но и в лексике — ср. конверсивы, антонимы или же явления энантосемии, а также обозначения агенса действия в отличие от пациенса в словообразовании и т. д. Когнитивно это можно интерпретировать как

фиксацию наиболее удаленных друг от друга (противопоставленных) и одновременно — наиболее релевантных для наблюдателя позиций. Ярче всего это проявляется в области обозначения противоположных точек на осях координат, служащих локации объектов (ср. верх — низ, впереди — сзади, до — после, справа — слева и, конечно, **в, внутри, внутрь** versus **за, из, вовне** и т. д.), что уже имеет непосредственное отношение и к схеме контейнера. Если в лексике язык предлагает достаточно большое количество средств языковой дискретизации материи и форм ее существования, грамматика отрабатывает конвенциональные формы описания положения дел или ситуаций с меньшим разбросом этих форм, зато во многих грамматических категориях отражаются, с одной стороны, наиболее общие представления о членении мира, а, с другой — яснее всего сама альтернатива описания с небольшим числом возможных решений (ср. степени сравнения прилагательных или же категории вида или аспекта в глаголе).

Грамматика языка как бы позволяет в описании высказыванием или текстом маркировать **расстановку сил**, обеспечить фокусировку внимания особыми сигналами — позицией, интонацией, ударением, наличием специальных аффиксов и т. д. Фактически и грамматика проводит принцип прагматической релевантности одной части высказывания/текста по сравнению с другой, и в каких бы терминах мы ни описывали это противопоставление: темы и ремы, топики и коммента, корня и аффикса, предикатов разных степеней, иерархии падежных ролей, иерархии топиков и т. д., речь все же идет всегда об оппозиции **целого** и его **частей/частей**. Но аналогом таких отношений в образном представлении является схема контейнера. При всех ее трансформациях (см. ниже) концептуальное ее ядро (**нечто в чем-то**) сохраняется.

Антропоцентризм в организации языка и во всех познавательных процессах следует усматривать, естественно, в значимости самой формулы «человек — мера всему», но отнюдь не только в ее буквальном смысле. Формулу надо понимать, по всей видимости, как прямое указание на то, что если язык отражает особое видение мира, то и отражение в нем позиции наблюдателя (как, впрочем, и сознательное абстрагирование от нее) соответствует общей субъективности запечатленных и закрепленных в языке концептов. Отсюда и еще одно важнейшее положение КЛ — постулат о зависимости всей обработки поступающей к человеку информации от субъекта и выбранной им точки зрения на объект, от понимания им роли участвующих в той или иной структуре деятельности объектов, от признания соотносительной релевантности каждого из них для ее осуществления — притом, как в общем плане, так и *hic et nunc*.

Следствием указанного выше постулата является признаваемая всеми когнитологами возможность описать «одно и то же» по-разному, используя разные языковые средства. Но в силу того, что каждое из них оттеняет или высвечивает тоже разное, появляется возможность отразить в самом «одном и том же» разные детали, свойства, признаки или особенности. Верно и обратное: если в языке склады-

ваются и существуют альтернативные средства для выражения сходных или близких понятий, подобная синонимия выражения в известном смысле — кажущаяся, ибо за каждым синонимом стоит объективируемая только им индивидуальная концептуальная структура. Любое языковое описание не только зависимо от интенций или конкретных намерений говорящего, — выбор им того или иного средства из числа альтернативных и возможных обусловлен уникальными концептуально-семантическими особенностями каждого из этих средств, т. е. соотнесен с их индивидуальными признаками. Отсюда все представления когнитологов об эмпатиях говорящего, о выбираемой им перспективе, о профилировании той или иной черты и т. д. О каждом из этих понятий, имеющих свою собственную историю их возникновения и свой *raison d'être*, можно было бы говорить по отдельности, но мне важен сам факт их появления в специальной литературе и их связь с такими понятиями теории восприятия, которые получили распространение именно в когнитивной науке.

Здесь речь должна идти в первую очередь о противопоставлении **фона** и **фигуры**, которые снова возвращают нас к дихотомии **целого** и его **части/частей** и что, наконец, в трактовке образной схемы **контейнера** сказывается на возможности описать любой объект как находящийся **в** чем-либо или **внутри** чего-либо так же, как и охарактеризовать некое движение как направленное **вовнутрь контейнера** и сделать на основании этого достаточно интересные выводы.

Для этого надо вернуться еще раз к определению **контейнера** и к той концептуальной структуре, которая передается с помощью образной схемы контейнера. В простейшем случае ее можно изобразить как нахождение или содержание одного объекта в другом — например, в виде включенных друг в друга объемов: побольше и поменьше. Таковы, собственно «классические» или же «прототипические» контейнеры — вместилища с полыми пространствами **для** хранения или содержания чего-либо, а также естественные укрытия или впадины, резервуары и сосуды. Заметим, что они могут представлять и замкнутые пространства (типа человеческого тела или поля зрения) и, напротив, пространства, в том или ином месте разомкнутые, разорванные (прежде всего для свободного помещения в них других объектов, ср. всю утварь, начиная от стаканов и чашек и кончая горшками, кастрюлями, бокалами и вазами). Какое значение для языка может иметь такое перечисление? Оказывается, в разных языках в качестве контейнеров мыслятся хотя и разные, но вполне определенные сущности, а сам концепт контейнера детерминирует как содержательные характеристики, так и функциональные особенности различных категорий. Их изучение позволяет пролить свет не только на суть этих категорий и объяснить их организацию, но и выделить несколько важных черт в понимании самого контейнера.

Так, описывая именные классификации в языках банту и пытаясь вскрыть мотивы объединения существительных в один класс, П. Денни указывает, что так называемый 9-й класс (в прото-банту он был маркирован префиксом *ni*) включа-

ет обозначения предметов, имеющих точно очерченные **контуры** (outlines). В этот класс входят, по словам Денни, все реальные контейнеры (от горшков до барабанов), но он также включает объекты с полыми сферами (кольца, ямы, впадины), т. е. с определенной конфигурацией, характеризующейся четкими очертаниями; наконец, сюда же относятся предметы с оболочками (типа семян или зерен) и т. д. [Denny 1988: 214]. Таким образом, в представлении о контейнерах важны не только его функциональные черты, но и его видимые, наглядные свойства — его контуры. Заметим в то же время, что вычленение этого свойства могло происходить только в процессах наблюдения за зрительно релевантными чертами объектов **в их движении**. При перемещении объектов они, будучи первоначально объемными, трехмерными и оцениваемыми именно в этом качестве, исчезая из поля зрения (например, удаляясь от нас), выступают далее как двухмерные (плоскости, поверхности) и выделяются как особые фигуры на окружающем фоне своими очертаниями, границами, контурами, до тех пор, пока не превращаются в **точку**. Иными словами, объект, известный человеку как трехмерный и явно сохраняющий тождество самому себе при его перемещениях, в и д т с я нетождественно. Опыт человека позволяет ему совместить эти знания и, оперируя описаниями объекта, учитывать при необходимости как реальные материальные характеристики объекта (объем), так и его визуальные характеристики, но уже отвлеченные от момента его непосредственного созерцания и фиксирующие как бы разные этапы его исчезновения из поля зрения.

Такое описание помогает понять суть трансформации образной схемы контейнера из схемы объемного порядка (объясняющей размещение объектов в трехмерном пространстве) в схемы иных «мерностей». А это, соответственно, может объяснить самые невероятные значения предлога **в** в русском языке или английского **in**, а также упорядочить их. Так, обороты *в комнате*, *в ящике*, *в вазе* относятся к употреблению предлога с существительными, обозначающими прототипические объекты; обороты же типа *в точке X*, *в центре X* свидетельствуют уже о том, что объект (контейнер) представляется лишенным всякого объема. Сравнение двух оборотов — *цветы в вазе* и *трещина в вазе* — свидетельствует о том, что в одном случае ваза мыслится как реальноеместилище, а в другом, что в виду имеется только стенка вазы, т. е. ее контур. Ср. также *быть в белом*, *быть в трауре*. В оборотах типа *шифок в плечах* плечи воспринимаются как образующие особую линию (интервал!), что особенно важно для разъяснения английских временных конструкций типа *in five minutes* ‘за пять минут’, *in time* ‘вовремя’. Сравнение русской конструкции *на картине* с англ. *in the picture* (букв. ‘в картине’) показывает, что мы мыслим картину как нечто плоскостное (поверхность), тогда как в английском языке оборот возвращает нас скорее к онтологической (объемной) сущности изображенного. Ср. также *птица на дереве* в отличие от англ. *in the tree* (как бы в объеме дерева) и т. д. Очевидно, таким образом, что предлоги, описывающие пребывание в контейнере (и соответствующие им наречия и префиксы), развивают свои много-

численные значения не только в соответствии с общей схемой контейнера (**in—out**), но и в соответствии с возможными ее модификациями, тоже отражающими наш телесный опыт обращения с объектами.

Очевидно так же, какую значительную роль имеют при этом аналогии, помогающие переносу данных чувственного опыта на сферы более сложные (например, при переносе пространственных понятий на темпоральные) (см. [Гибсон 1988]).

Если обобщить сказанное мною, понятно, что с помощью концептуальной метафоры **контейнера** (объект — это контейнер) и соответствующей схемы можно описать любые множества, группировки, объединения, классы и категории, т. е. перенести на эти абстрактные понятия все представления, почерпнутые из наблюдений над контейнерами вещными, материальными и, таким образом, осуществить перенос с непосредственно наблюдаемого на **не наблюдаемое**, скрытое от наших глаз и прямому восприятию не подлежащее. По образу и подобию вместилец объясняются самые сложные вещи, и концептуальную метафору указанного типа можно обнаружить повсеместно — для интерпретации вселенной и языка, человека и социума. Такой диапазон использования схемы уже сам по себе свидетельствует о ее исключительной важности. Впечатляет, однако, не только масштабность схемы, но и все возможные ее метаморфозы и трансформации, которые мы продемонстрировали на примере описания предлога **in** и которые свидетельствуют о том, как велика сила **выводных знаний, инференции** во всех рассуждениях человека. Именно способность к **умозаключениям** ярко характеризует то, как протекают процессы человеческой мыслительной деятельности и как затем они закрепляются в языке, диктуя правила использования самых разных единиц языка.

Объективация схемы контейнера была изучена нами не только на материале сателлитов, но и на материале категории обладания, possessивности (см. также [Баранова 1998]); думается, что ее с успехом можно применить и для анализа значений различных падежей, особенно — родительного и т. п. Но и уже описанного достаточно, чтобы утверждать исключительную роль объективации схемы контейнера в различных формах языка и даже ее влияние на способы мышления о мире.

Хотелось бы поэтому, заключая статью, указать на наиболее важные из описанных мною выше черт когнитивной семантики, которые отличают ее не только от традиционной семантики, но и выделяют среди других направлений современности. Они же, по всей видимости, указывают на то новое, что связано в лингвистике с появлением КЛ и что, несомненно, свидетельствует о перспективности ее развития и в начале XXI века.

Одной из самых серьезных проблем, с которой может столкнуться лингвистическая теория, — пишет в своей последней книге Рэй Джекендофф, — это вопрос о соотношении языка и мышления. Скорее, добавляет он, это вопрос о том, в чем

именно и как язык помогает нам думать [Jackendoff 1997: гл. 8]. Соглашаясь с этой точкой зрения, мы полагаем, что в еще более конкретной форме этот вопрос может быть сформулирован как вопрос о том, как связаны оперативные единицы нашего сознания с объективирующими их языковыми формами. Значительным шагом вперед в решении указанных проблем и стало выдвинутое в КЛ положение о **концептах** как таких оперативных единицах и о необходимости исследовать **значение**, обращаясь к структурам знания и оценок — к концептуальным структурам, стоящим за единицами языка, — и давая определение значения через концептуальные структуры (концепты, «схваченные» знаками [Никитин 1996]). Первой важной чертой когнитивной семантики и является, таким образом, новый подход к интерпретации значения и связывание его со знанием.

Поскольку знание отражает понимание и осмысление мира, достигаемые в предметно-познавательной деятельности человека, при «активном взаимодействии живого существа с окружающей действительностью», и именно это вызывает необходимость появления определенных форм сознания, значения языковых форм оказываются фиксирующими человеческий опыт. Их и следует изучать как определенные результаты обработки и переработки информации, поступающей к человеку по всем его чувственным каналам. В т о р о й чертой когнитивной семантики является, соответственно, опора в первую очередь на вещный, или же **телесный** опыт общения человека с миром; попытка установить значимость и конкретный характер простейшей **категоризации** того, что получает человек при непосредственном восприятии мира и как происходит его структуризация в простейших типах человеческой деятельности.

Третьей чертой когнитивной семантики оказывается выдвигание в ней целой серии понятий, отвечающих на вопрос о приемах или же способах этой структуризации: среди них (наряду с фреймами, прототипами, сценами и т. п.) предлагается и понятие **образной схемы**, суть которого на материале отдельно взятой схемы мы стремились показать в нашей статье. Нельзя не отметить, что все эти понятия — так или иначе — помогают ответить на вопрос о том, как думает человек и в чем ему здесь помогает язык.

Перечислив в самой беглой форме эти отличительные черты когнитивной семантики (новый подход к анализу значения, экспериенциализм, новое виденье процессов концептуализации и категоризации мира, попытку определить базовые структуры сознания, первыми получающие формы их объективации в языке и т. п.), мы бы хотели подчеркнуть в завершении статьи и ч е т в е р т у ю, и, возможно, главную ее черту — выйти через детальный анализ языковых форм со всей спецификой «упаковки» в них человеческих знаний к пониманию того, как работает человеческий разум. Описание механизмов аналогии, механизмов инференции (получения выводных знаний) и умозаключений, начатое в когнитивной семантике и уже принесшее свои интересные результаты в понимании развития категорий, в изучении регулярной полисемии, в анализе роли концептуальных

---

метафор и метонимий и т. п., обещает и в дальнейшем пролить свет не только на собственно лингвистические проблемы, но и ответить более адекватно на вопрос о том, для чего на самом деле нужна теоретическая лингвистика и каково ее реальное место среди других фундаментальных наук.

## *Глава третья*

### **ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗНАКА\***

*Памяти Р. Якобсона*

Не вызывает никакого сомнения, что понятие знака принадлежит к числу фундаментальных понятий лингвистики и что само определение языка как семиотической системы связывает исследование главных свойств языка с той или иной интерпретацией знака. Такой путь анализа был намечен и известной статьей Р. Якобсона [Якобсон 1983]. Как подчеркивал Х. Спанг-Ханссен в своей работе о теориях знака, «вопрос о природе языковых знаков является... основой (the heart of) дальнейшего вопроса о природе самого языка» [Spang-Hanssen 1954: 14]. Хорошо известно вместе с тем, что в разных знаковых теориях понятие знака трактуется нетождественно и что даже исходные определения знака различаются уже потому, что знак объявляется односторонней, двухсторонней, трехсторонней и еще более сложной сущностью. И хотя истолкование знака менялось не только потому, что ему приписывали разное количество «сторон», усложнение знаковой теории особенно очевидно при сравнении схемы Ф. де Соссюра с разнообразными треугольниками и схематическими представлениями еще более сложного характера. В этой связи показательна, например, схема знака у Дж. Петёфи [Petöfi 1987]. Такое положение дел явно соответствует общей тенденции в развитии наук — постоянному пересмотру исходных, ключевых понятий науки, ее «базисных предположений» (Р. Коллингвуд), притом пересмотру, происходящему не только с целью уточнения понятия, но и для того, чтобы решить вопрос о его применимости и пригодности в новой парадигме знания.

Становление каждой новой научной парадигмы знания надо, по всей видимости, связать не только с признанными всеми научными достижениями, «которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений» [Кун 1977: 11], но и с глубоким критическим переосмыс-

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано: Вопросы языкознания. 1993. № 4. С. 18–28.

лением того, что входило в область «предпосылочного знания» в соответствующей науке.

Именно в свете возрождаемой ныне герменевтической традиции должны быть осмыслены по-новому и мысли о том, что без истории предмета нет теории предмета, и о том, что достижение нового знания предполагает уяснение границ и пределов незнания, и, наконец, о том, что результаты исследований, полученные на предыдущих этапах развития науки, которые с точки зрения новой парадигмы входят в сферу предпосылочного знания, могут интерпретироваться лишь как «предпонимание» (ср. [Гадамер 1991: 18–19]). Человеческий опыт, в том числе и научный, приобретает смысл тогда, когда он включается в определенную традицию и оценивается в рамках этой традиции. Все это верно и для лингвистики: с приходом новых парадигм знания мы вынуждены обращаться заново к базисным ее концептам, осмысливать их лишь как фиксировавшие определенные горизонты бытия и сознания и теперь обязательно нуждающиеся в новом их понимании уже оттого, что изменились фон и традиция их рассмотрения. Эти посылки представляются существенными и для того, чтобы вернуться к определению знака у Р. Якобсона и оценить по достоинству его вклад в развитие современных семиотических идей.

Хотя освоению творческого наследия Р. Якобсона за годы, прошедшие со дня его смерти в июле 1982 г., посвящались неоднократно не только специальные издания, но и целые конференции и симпозиумы (см. [New vistas in grammar 1991: 1–7; Иванов Вяч. Вс. 1985]), широкий круг проблем, затронутых в его многочисленных выступлениях и публикациях, делает весьма затруднительным не только представление его научной биографии, но даже выделение главных тем в творчестве этого замечательного ученого. Фонология и поэтика, общее языкознание и нейролингвистика, грамматика и стилистика, анализ детской речи и анализ дискурсивных особенностей текста – во всех этих областях Р. Якобсон сказал свое веское слово, предопределив направление и программы исследований будущего. Быть может, еще не до конца оценены и те его идеи, которые послужат импульсом и для новых направлений в лингвистических и междисциплинарных исследованиях. Но уже сейчас ясно, что влияние Якобсона на развитие нашей науки было очень велико. Особенно значительным было влияние идей Р. Якобсона в области междисциплинарных связей. Как справедливо подчеркивает Вяч. Вс. Иванов, задолго до оживления семиотических изысканий во всех крупных центрах мира Р. Якобсон ратует за построение общей науки о знаковых системах, заложенной еще в прошлом веке Пирсом [Иванов 1985: 25]. Но, пожалуй, еще более важно то, что блестящие мысли Р. Якобсона о знаке вообще и языковом знаке в частности позволяют считать его предтечей того формирующегося сегодня конструктивного направления, которое стремится к синтезу и интеграции парадигм научного знания, до сих пор развивавшихся преимущественно в обособлении друг от друга. Речь идет о слиянии и органич-

ном соединении когнитивного подхода, с одной стороны, коммуникативно-функционального — с другой, и, наконец, герменевтического — с третьей.

Творчеству Якобсона было присуще в удивительной степени чувство нового. Характерное для него умение увидеть в, казалось бы, разрозненных явлениях нечто единое, почувствовать глубокий параллелизм в строении и организации разных по своему субстрату систем, определить подлинный изоморфизм в тенденциях развития самых разных наук — все это, как кажется, явилось следствием общего семиотического подхода к изучаемым им явлениям. Обнажая путем широких аналогий принципиальную одинаковость главных закономерностей в физике и биологии, литературоведении и социологии, антропологии и искусствоведении, математике и поэтике, психологии и лингвистике, он, несомненно, связывал такое тождество с присутствием в каждой из наук знаковых сущностей и актов семиозиса.

Среди основных тем его разностороннего творчества особенно выделяется тема связи лингвистики с другими науками [Якобсон 1985а]. Возможно, ни один мыслитель XX в. не сделал так много для включения лингвистических проблем в методологические проблемы общего характера, в общенаучный контекст — все увиденные, все обнаруженные им связи, весь подчеркнутый параллелизм явлений в разных науках представляли в концепции Якобсона как имеющие семиотическое обоснование. Как подчеркивал Ч. Моррис, «важное значение семиотики как науки кроется в том, что это — определенный шаг вперед в унификации науки, поскольку она закладывает основы любой другой частной науки о знаках — такой, как лингвистика, логика, математика, риторика и (по крайней мере, до известной степени) эстетика. Понятие знака может оказаться важным для объяснения социальных, психологических и гуманитарных наук...» [Якобсон 1985б: 38]. В учении Р. Якобсона о знаке дано глубокое объяснение этой возможности.

Рассуждения о знаке нередко связаны у самого Р. Якобсона с освоением более ранних традиций. Так, иронизируя над тем, что Ф. де Соссюру «многократно воздавалась хвала за ... изумительную новизну» [Якобсон 1983: 102], — новизну интерпретации языкового знака как неразложимого единства означающего и означаемого, он отмечает, что основы такой интерпретации были заложены уже стоиками, а позднее они получили дальнейшее развитие в трудах Августина, терминологию которого любил использовать и сам Якобсон. Можно только пожалеть в связи с этим, что в переводах трудов Якобсона на русский язык термины «signans» и «signatum» заменяются, в соответствии с соссюрианской традицией, на «означающее» и «означаемое», ибо для Якобсона была важна именно историческая перспектива в развитии учения о знаке. «Определение схоластов *aliquid stat pro aliquo*, — пишет он в своей более поздней работе, — остается в силе для любого знака, для каждой из его составных частей» [Моррис 1963: 63]. Это определение принимал и К. Бюлер.

Прежде чем перейти к анализу строения знака у Якобсона, хочется указать на то, что определение знака как представителя чего-то вне знака и вместо знака Якобсон относит также к его составным частям. Подобное примечание кажется весьма важным, так как оно, собственно, открывает дорогу интерпретации знака как сущности односторонней: в качестве знака может быть осмыслена фонетическая или графическая сторона знака, его тело (см., например у В. М. Солнцева [Solncev 1978: 238–239]) или же, наоборот, его значение (А. Ф. Лосев отмечал: «значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста» [Лосев 1976: 125]). И все же, когда мы воспринимаем дым как знак костра или след на песке как знак человека, мы осмысляем эти величины лишь в определенном конвенциональном отношении, восстанавливая либо привычную связь двух явлений, либо прямое указание одного явления на другое. В языковом знаке все происходит несколько сложнее: хотя план выражения знака и связан «неразрывно» с планом его содержания и хотя асимметрия знака имеет, действительно, место, такая асимметрия обладает своим собственным диапазоном для каждого отдельно взятого знака. К тому же вряд ли можно считать, что две стороны знака полностью рядоположны: утверждая, что тело знака имеет некую форму (звуковую или графическую), мы указываем на нечто, имеющее онтологический статус, однако утверждая, что знак имеет значение, мы не можем приписать значению такой же модус существования, как, скажем, последовательностям *дерево* или же *arbor* [Lyons 1978: 15]). Точно так же, исходя из любого конвенционального знака, мы должны прийти к его одному или нескольким, но определенным значениям, но идя от какого-либо концепта, мы приходим к достаточно разнообразным языковым формам (ср. решение кроссвордов). Таким образом, хотя метонимический или синекдохальный принципы и дают возможность считать одну из двух сторон знака знаковой сущностью (ср. *pars pro toto*), понятно, почему концепция знака как односторонней сущности получила меньшее распространение, чем двухсторонняя, которую развивает Р. Якобсон.

Защищая преимущества подобной трактовки знака, он отмечает вместе с тем, что «структура этого единства только с недавних пор стала предметом систематического исследования, и ученым предстоит еще очень много сделать в этом направлении» [Моррис 1963: 42]. Наибольший вклад в проблему строения знака внес, по его мнению, Ч. С. Пирс, которого он считает родоначальником семиотики и про которого пишет: «Если бы работы Пирса не остались большей частью не опубликованными вплоть до тридцатых годов или если бы, по меньшей мере, его опубликованные работы были известны лингвистам, они, несомненно, оказали бы ни с чем не сравнимое влияние на развитие лингвистической теории в мировом масштабе» [Якобсон 1983: 103]. По сути дела, концепция знака, предлагаемая Якобсоном, представляет собой глубокое развитие нескольких положений Ч. Пирса, с той только разницей, что в трудах Якобсона они получают достаточно четкое и конкретное истолкование и — что особенно для нас важно — лингвис-

тическое осмысление. Показательно поэтому, что изложение своих собственных взглядов Якобсон почти всегда начинает с изложения взглядов своих предшественников. Акт семиозиса, например, он рассматривает, вслед за Пирсом, как состоящий в том, что некая материальная сущность становится способной представлять нечто за пределами этой сущности. Черная кошка, перебегающая дорогу, представляет не ее саму, а опасность или неприятности. Точно так же звуковая последовательность *arbor* в системе латинского языка существенна не как определенным образом организованное следование звуков, но как возбуждающая представление о дереве.

Материальность, субстанциональный характер знака, наличие у него собственного «тела» — это такое же неотъемлемое свойство знака, как передаваемое им содержание, и этой стороне знака надо уделять не меньшее внимание, чем его значению. Якобсон любил в этой связи цитировать тезис Пирса о том, что *signans* — воспринимается, осязаемо, тогда как *signatum* — схватывается разумом, постижимо, интерпретируемо (*intelligible*) или, как часто разъяснял это Якобсон, — переводимо (*translatable*) [Jakobson 1971: 268, 274–275, 345, 565]. Именно это определение знака и подвергается в работах Якобсона всестороннему исследованию, т. е. приводит его к формулировке важнейших постулатов знаковой теории.

Так, если знак материален, коды или семиотические системы, построенные с участием разных по своей субстанции знаков, воспринимаются по-разному и нетождественны по своему положению в жизни общества: знак воспринимаем, но зрительный знак воспринимается не так, как слуховой, аудитивный, а слуховой — не так, как тактильный и т. п. Абстрактная живопись нередко вызывает раздражение, ибо мы привыкли видеть за зрительными сигналами нечто реальное; напротив, слыша музыку, мы не ждем, что она как-то соотнесена с реальностью [Jakobson 1971: 335 и сл.]. Для визуальных знаков огромную роль играет категория пространства, для аудитивных — категория времени [Там же: 338]. Тела знаков тесно связаны с функциями, которые они могут выполнять, а потому далеко не безразлично, с какой модальностью связано знаковое средство и то, как оно репрезентирует нашему уму содержание знака. Все пять чувств несут в современном обществе свою собственную семиотическую функцию, и все связанные с ними знаки могут классифицироваться прежде всего по той субстанции, которая оказывается закононосителем, — и рев сирены, и витрины магазинов, и улыбка на лице человека выступают для нас как репрезентирующие конкретные смыслы, и можно выявить предрасположенность знаков определенной модальности к передаче известного, конвенционального содержания.

Устная и письменная речь, демонстрирующие использование разных по своему типу знаков, обладают специфическими особенностями своей организации уже потому, что для графических знаков в принципе существует возможность использовать их зрительные и пространственные характеристики (двухмерность плоскости становится важным ориентиром в понимании текста, точно так же

зрительная закреплённость текста позволяет при необходимости возвращаться к любому месту текста, а шрифтовая разбивка иконически свидетельствует об иерархическом подчинении одной части текста другой и т. п.).

Уже на пути простейшей классификации знаков по той субстанции, которая оказывается законосителем, возможно подойти к пониманию особенностей языковых знаков, да и различить разные типы таких знаков, но в классификации знаков надо использовать и другие параметры: так, например, все языковые знаки интенциональны, т. е. специально предназначены для передачи значения. В то же время следы на песке отнюдь не оставлены для того, чтобы кого-то опознать, а температура у человека поднимается не с целью свидетельствовать о его болезни.

Особое отношение Якобсона к телесности знака делает его первым лингвистом, который, в отличие от Соссюра, считавшего знак психической сущностью, объединяющей акустический образ знака (обычно — слова) с понятием, полагал, что знак сочетает не две ментальных сущности, а материальную с идеальной. Устройство знака он объясняет не его соотношением с неким объектом вне знака или же его референтом, как это обычно делается, но его внутренней организацией, внутренним строением. Классификацию знаков, которую в семиотической теории интерпретируют чаще всего как построенную на учете соотношения разных типов знаков с объектами вне знака [Бейтс 1984], Якобсон неизменно характеризует как зависимую исключительно от того, как тело знака определенной природы репрезентирует свое содержание, т. е. от того, как соотносятся между собой *signans* и *signatum* знака. Комментируя Пирса, он выделяет вслед за ним три типа знаков, указывая, что «действие иконического знака основано на фактическом подобии означающего и означаемого», а действие индекса — «на фактической, реально существующей смежности означающего и означаемого», тогда как действие символа основано на «установленной по соглашению, усвоенной смежности означающего и означаемого» [Якобсон 1983: 104].

Подобно тому, как Соссюра мы можем считать первым в области семиотической трактовки собственно языковых знаков, Якобсона мы можем по праву считать первым ученым, который, разъяснив суть классификации знаков у Пирса, продемонстрировал наличие в языковой системе не только идеальных знаков-символов, но и обязательное присутствие в ней индексальных знаков, которые он специально описал под именем шифтеров, а также иконических знаков и явлений так называемого диаграмматического иконизма. Сложность языковой системы предстала тогда перед нами не только как манифестируемая особой организацией знаков разного типа, но и как проявляющаяся в ее гетерогенности, наличии в разных ее участках индексов, иконических знаков и символов. Как прекрасно сформулировал позднее Ю. С. Степанов, в классификации семиотик и, по всей видимости, самих знаков «необходимо учитывать различные ступени знаковости» [Степанов 1971: 82].

Классификацией Пирса—Якобсона наносится сильный удар по тезису Соссюра о немотивированности и произвольности знака и существенно пополняется тезис о линейности знаков.

Так, указывая на важность взаимодействия знаков при функционировании языка и на то, что, действительно, как подчеркнул Соссюр, язык характеризуется двумя типами связывания знаков, позднее названными синтагматическим и парадигматическим связыванием, Якобсон отмечает, что М. Крушевский не только тоже выделял два названных типа отношения, но и дал им более приемлемое, на его взгляд, объяснение и имя — он противопоставлял ассоциации знаков по смежности и по сходству. Такое точно связывание Якобсон усматривает и в строении знаков, отмечая, что языковые знаки, т. е. символы, организованы по принципу смежности (*contiguity*), ибо две стороны знака предполагают друг друга [Jakobson 1971: 273]. Продолжая эту мысль, можно быть бы сказать, что иконический знак использует вторую из указанных возможностей, ибо здесь означаемое и означающее знака объединены в силу их сходства. Более того, в отличие от Соссюра и Крушевского Якобсон отмечает, что и отношения смежности, контакта знаков в линейной цепи должны быть уточнены. «*Es ist Statteinander zum Unterschied vom Miteinander und vom Nacheinander*» [Там же: 274], — пишет Р. Якобсон, фактически предлагая различать в сочетаемости знаков либо линейную, синтагматическую, последовательную аранжировку знаков — цепочку (*Kette*), либо симультанный пучок признаков, одновременное соединение и даже «наложение» знаков (*Bündel*). Именно по последнему образцу устроен и знак, изоморфный в этом отношении музыкальному аккорду, одновременному сплаву и слиянию, — здесь единству означаемого и означающего.

Таким образом, параллельно бодуэновскому противопоставлению *Nebeneinander* и *Nacheinander*, параллельно соссюровскому противопоставлению (дихотомии) знаков *in praesentia* знакам *in absentia*, наконец, параллельно глоссематическому противоположению конъюнкции «и — и» и дизъюнкции «или — или» надо признать важным и якобсоновскую оппозицию двух типов комбинаторики знаков — линейной сочетаемости и симультанной совместимости. В устройстве знака можно видеть тогда именно этот последний признак: смежность и ассоциацию означаемого и означающего.

Рассмотрев последствия постулата о том, что знак воспринимаем, обратимся теперь к постулату о том, что знак объясним, осмыслен, т. е. перейдем к анализу второй стороны знака — его означаемого. Думается, что с современной точки зрения вопрос о значении знака должен быть сформулирован как вопрос о том, какое концептуальное или когнитивное образование подведено под «крышу» знака, какой квант информации выделен телом знака из общего потока сведений о мире. Ведь в самом общем виде значение знака может быть, по всей видимости, определено как «концепт, связанный знаком» [Никитин 1974: 70; 1982: 106]. «Семантика, — пишет Р. Якобсон, — это ядро лингвистики и вообще любой теории

знака» [Якобсон 1985в: 134], и, что самое важное, «значение может и должно определяться в терминах чисто лингвистических разграничений и отождествлений» [Якобсон 1985г: 236]. Подобная установка фактически отличает Якобсона не только от «реистов», которые уверены в возможности выявить значение знака объективным путем, через указание на обозначенный объект, но и от «формалистов», стремящихся определить значение знака через его формальное положение в семиотической системе. Резкой критике подвергаются Якобсоном и те и другие. Нельзя, например, не признать убедительности доводов ученого, когда он описывает реальные трудности чисто остенсивного определения значения в ситуации указания индейцу на пакет сигарет «Честерфилд» [Jakobson 1971: 565]. Феномен неопределенности остенсивных указаний мы описали и в становлении детской речи [Кубрякова 1991: 177 и сл.]. Если ребенку демонстрируют люстру с горящими лампочками и повторяют при этом «огонек», как может узнать ребенок, что именно имеют при этом в виду — всю люстру в целом, отдельные лампочки, свет от них или еще что-либо? Вместе с тем скептическая оценка возможности остенсивного определения, идущая еще от Л. Виттгенштейна, оправдана лишь для единичных актов референции. В условиях же повторного опыта, постоянного уточнения при соотнесении обозначаемого и его имени, в практической деятельности с объектом и т. п. остенсивные указания обладают, конечно, огромной важностью и помогают, путем исключения одних смыслов и подчеркивания других, выявить значение имени с достаточной степенью определенности [Никитин 1982: 104]. Акцент Якобсона на необходимость дать значению лингвистическое истолкование касается прежде всего поэтому не столько отрицания самого референтного аспекта значения, сколько невозможности ограничиться одним этим аспектом.

Семантическая концепция Якобсона привлекает своей ясностью, четкостью постановки проблемы и весьма перспективными направлениями поиска ответа на поставленные вопросы. Чтобы понять знак, нужно его интерпретировать. Интерпретация знака — это операция, достигаемая при замене исходного знака другим знаком или — более обычно — набором знаков. Значение любого знака, в частности слова, неопределимо без обращения к вербальному коду. К тому же никакие отсылки к объектам не могут объяснить феномен значения, хотя, быть может, и могут помочь, как мы видели выше, установить отдельное значение имени. Кардинальное свойство знака — передавать значение — Якобсон сводит к понятию интерпретируемости или же переводимости знака, т. е. к возможности представить его содержание другими, более эксплицитными, развернутыми знаками. Хотя сам Якобсон ссылается при этом на Пирса, у которого уже сформулировано семиотическое определение значения символа как его «перевода в другие символы» [Якобсон 1985г: 236], аналогичные мысли высказывались и другими семиотиками. Так, К. Бриттон уже указывал на то, что значение знака Х складывается из всех тех знаков того же языка, которые взаимозаменяемы с Х по прави-

лу, причем последнее замечание вводится в аналитическое определение значения знака, ибо в языке существуют слова, у которых нет референта, но которые, подобно словам *нет*, *некий* или *немного*, могут быть заменены другими знаками [Spang-Hanssen 1954: 63–64].

Для определения значения знака ему следует поставить в соответствие эквивалентное ему выражение, а это достижимо тремя разными способами: 1) используя другой знак того же кода, т. е. синоним, 2) используя другие знаки того же кода, т. е. парафразу или же 3) используя знаки другого семиотического кода, т. е. прибегая к переводу. Таким образом, способом установить значение знака является обнаружение для него равнозначных преобразований: операции такого рода именуются Якобсоном «метаязыковыми» (ср. также [Jakobson 1971: 260]; вслед за Якобсоном их именуют также операциями «знак за знак» [Dressler 1987: 15]). Центральной проблемой семантики становится тогда установление семантической эквивалентности двух языковых выражений, обнаружение их равнозначности, лингвистического тождества и нетождества. При таком ракурсе рассмотрения в новом свете предстают отчасти исследования Ю. Д. Апресяна о лексической синонимии [Апресян 1974], работы о грамматической синонимии (из последних работ этого направления см., например, [Скрелина 1987]) и, конечно же, семиотическая грамматика Ю. С. Степанова [Степанов 1987]. Все исследования этого рода можно считать вкладом в решение проблемы исчисления интерпретационных возможностей знака, в связи с чем обращает на себя внимание и интерпретация того же вопроса в словообразовании, при изучении номинализаций и установлении семантических сходств и различий у разноструктурных обозначений одного и того же объекта (см. подробнее [Кубрякова 1981]).

Как отмечает Ю. С. Степанов, путь к решению проблемы семантической эквивалентности лежит в разделении планов выражения и содержания, а далее — в разделении плана содержания на денотативную, или экстенциональную, сферу и понятийную, сигнификативную, или интенциональную. С помощью такого разделения можно прийти к разрешению вопроса об эквивалентности нескольких предложений, которая оказывается в одних случаях эквивалентностью по денотату — это то, что устанавливается посредством парафраз, а в других — эквивалентностью по сигнификату — это устанавливается посредством трансформаций [Степанов 1987: 136]. Таким образом, специализированные или же формализованные операции «знак за знак» позволяют обнаружить разные аспекты значения, а полисемия может трактоваться как способность знака быть интерпретированным несколькими аналитическими дескрипциями, не сводимыми друг к другу. Интересно также вспомнить о мысли Якобсона, которая заключается в том, что чем более развернут знак, чем более эксплицитным он является, т. е. чем объемнее его дефиниция, тем большую роль играет он в коммуникации в том отношении, что снимает многозначность знака (ср. [Якобсон 1985д: 313]). Возможно предположить в связи с этим, что протяженность знака отражает иконически его семан-

тическую сложность (ср. одинаковые по денотату, но разные по способу представления их значения разноструктурные номинации типа *швейник* в отличие от *работник швейной промышленности, трубочист* или *тот, кто чистит дымовые проходы, трубы* и т. д.).

Важной частью семантической концепции Якобсона является также использование им понятия знаковой интерпретанты. Заимствованное у Ч. С. Пирса, оно приравнивается в более ранних работах Якобсона к понятию значения. Так, в 1952 г. он подчеркивает, что по Пирсу, чтобы понять знак, нужна интерпретанта — то, как может быть объяснен знак или как он может быть переведен; в интерпретанте — ключ к решению семантических проблем, «база для изучения значения» [Jakobson 1971: 565]. Продолжая эту линию отождествления интерпретанты знака с его значением, он указывает, что интерпретанты у знака две — одна связывает его с кодом, а другая — с контекстом его использования [Там же: 244]. Но если интерпретантами знака могут называться все языковые конструкции, отвечающие правилам семантической эквивалентности как в системе языка, так и в дискурсе, если вообще один знак может быть объяснен другими цепочками знаков, разными по своему характеру, — дефинициями, аналитическими дескрипциями, парафразами, трансформациями и т. д., — тогда в теории можно вполне закономерно поставить вопрос о том, нельзя ли разграничить понятие языкового значения, с одной стороны, и понятие интерпретанты, с другой.

Комментаторы Ч. С. Пирса не раз отмечали, что у него самого понятие интерпретанты носит весьма неясный характер [Степанов, Булыгина 1983: 597], но все-таки при ссылках на Ч. С. Пирса в виду имеется эффект, производимый знаком. «Обобщенное учитывание», о котором говорит Ч. Моррис в связи с объяснением понятия интерпретанты, тоже, при всей своей неопределенности, относится, прежде всего, к воздействию знака на его интерпретатора. Представители естественной морфологии, предлагающие использовать это понятие для более адекватной характеристики акта семиозиса, объясняют интерпретанту знака как то в его содержании, что указывает скорее на способ представления значения в знаке. Интерпретанта знака — это то, в каком отношении произведено обозначение объекта данным знаком [Dressler 1987: 15], — указывает В. Дресслер, цитируя К. Бюлера. Впрочем, тут же им приводятся и другие определения интерпретанты, делающие данное понятие достаточно расплывчатым. Думается в то же время, что заслуга Р. Якобсона, обратившего внимание на необходимость вернуться к понятию интерпретанты у семиотиков прошлого, — заслуга исключительная и что с помощью этого понятия можно продолжить выделение в знаке не только денотативного, сигнификативного и коннотативного аспектов его значения, вычленив в составе коннотаций знаков разные начала, как это делает В. Н. Телия [Телия 1991]. Можно, однако, пойти и по другому пути, противопоставляя когнитивно-фактуальную информацию, передаваемую знаком, прагматике знака. Можно, наконец, предложить достаточно расчлененную серию интерпретант —

так, чтобы с их помощью раскрывались разные стороны значения знака — когнитивно-информационное, концептуальное, прагматическое, эмоциональное и экспрессивное и т. д.

Возникая в акте семиозиса, знаки приобретают в этом акте свое строение и свое внутреннее устройство — в зависимости от того, как они соотносят свое означаемое со своим означающим. Их дальнейшее функционирование тесно связано с тем, какому модусу этого соотнесения они следуют — иконическому, индексальному или же символическому. Как подчеркивает В. А. Виноградов, знаки ведут себя по-разному в языке и в речи, что можно интерпретировать прежде всего как их способность к разным организациям и объединениям в системе и тексте. По всей видимости, можно полагать, — указывает В. А. Виноградов, — что вообще система языка (код) и дискурс (текст) имеют разные семиологические характеристики: система ориентирована на символизацию, текст — на иконичность, и это различие является одним из факторов языковой динамики [Виноградов 1991: 243]. Продолжая эту интересную линию анализа, можно было бы сказать, что ориентация на разные типы знаков имеет свои глубокие основания: так, иконичность знаков легче всего проявится в тексте из-за его пространственного расположения, прежде всего линейной протяженности текста. Напротив, индексальности могут способствовать такие свойства устной речи, как возможность менять ее ритм, звучность, тембр и т. п. Произвольность же знаков в идеальном случае подходит для символизации еще и потому, что это обеспечивает отсутствие ограничений на множество создаваемых знаков, обладающих этим качеством. Слова с условным соотношением их формы и содержания идеальны для номинации; предложения, организованные «в одну сторону», своим способом такого развертывания легко делают схему предложения иконическим образом ситуации. Реализация предложений в определенном порядке открывает возможности диаграмматического иконизма, тогда как в строении самой системы иконизм может проявиться только там, где отдельные участки этой системы должны быть иерархизированы. Для сферы номинации может быть, конечно, использована и индексация — существуют целые терминологические системы, где индексальные знаки выполняют особую роль, и т. д.

Если число подлинно иконических знаков связано чисто онтологически реальным сходством объектов или сходством расположения их частей, если число индексальных знаков тоже ограничено объективной экзистенциальной смежностью объектов или же связанностью объектов в определенной структуре деятельности, то произвольность символов ничем и не ограничена. Однако самые большие и интересные последствия имеет возможность создания знаков смешанного типа — производных и сложных слов, где иконичность пронизывает все устройства знака в целом, а символизация относится лишь к внутренней организации его частей. Если по аналогии с синтаксисом словосочетаний и предложений ученые уже давно говорили о внутреннем синтаксисе производных и сложных слов,

сегодня можно было бы дать этому факту и семиотическую интерпретацию, а также начать серию исследований о глубоком изоморфизме слова и предложения в чисто конструктивном смысле; композиционная сложность предложения и композиционная сложность развернутых морфологических структур в дериватах разных типов могут получить свое объяснение только с единых позиций. В комбинаторике же знаков разного типа могут быть обнаружены разные закономерности. Таким образом, путь, открытый Якобсоном, еще надо пройти до конца: ориентированный на глубокое понимание того, что знаки разной модальности и разного типа выполняют в обществе разные семиотические функции и что в языке это различие имеет свои собственные рефлексии, путь исследования предполагает и более глубокое изучение самого акта семиозиса в разных его ипостасях. Освоение наследия Якобсона может быть конструктивным шагом в этом направлении.

Хочется в заключение вернуться еще к одному моменту творчества Р. Якобсона — его любви к предшественникам, к традициям прошлого. Обладая острым критическим умом и зачастую опровергая многие устоявшиеся мнения, он вместе с тем учил нас бережному отношению к тем крупицам мудрости, которые находил у тех, кто предшествовал ему. Именно эти уроки Якобсона и не следует забывать.

В «Основаниях теории знаков» Ч. Моррис отмечает, что, согласно учению стоиков, процесс семиозиса описывался как включающий три или же четыре фактора: то, что выступает в качестве законодателя (тела знака); то, на что указывает знак, или то, к чему он отсылает; воздействие знака и, наконец, его интерпретатора [Моррис 1963: 39].

Знак только потому знак, что он интерпретируется как знак неким интерпретатором, т. е. имеет некую интерпретанту. Более того. Понять то, к какой интерпретанте готовит интерпретатора знак, можно только путем обращения к другим знакам. Знаки живут в системе, данной интерпретаторам, и не случайно одно из определений знака гласит, что знак существует исключительно как единица определенной семиотической системы. Но систему эту создали люди: без человека нет знака. Вот почему, принимая многие замечательные идеи Р. Якобсона об устройстве знака и особенностях его функционирования, в адекватной концепции знака к его определению должны быть подключены сведения и об интерпретаторе, и о воздействии знака. Как подчеркнул Ю. С. Степанов, в развитых знаковых системах знак имеет особенно сложное устройство, так как со знаком контактируют, по крайней мере, еще две материальные системы, которые к тому же контактируют и между собой. Знак — это посредник между человеческим мозгом и миром, а системы знаков объединяют их в еще более высокую целостность. Отсюда и все более сложные модели знаков, с упоминания которых мы начали настоящую статью.

Возвращаясь сегодня к определению знака, используя и эти модели (ср. [Dressler 1987: 15]), мы можем сказать, что знак — это нечто воспринимаемое,

образующее тело знака и представляющее в языковом коллективе как сообществе интерпретаторов некое содержание, которое заменяет означаемое или обозначаемое в языковых и метаязыковых операциях в каком-то отношении (интерпретанта 1) и для достижения определенного эффекта (интерпретанта 2). В таком определении кажется существенным упоминание интерпретатора и интерпретанты, которая — если использовать не только мысли Р. Якобсона, но и К. Бюлера, К. Бриттона, многих других выдающихся семиотиков, — представляет собой тот (новый) знак или знаки, которые рождаются в голове человека на базе исходного знака или оказываются с ним связанными, т. е. которые включают знак в цепочку знаков. Знака нет, с одной стороны, если нет системы знаков [Степанов 1971: 81]. Знака нет, с другой стороны, если нет его интерпретатора, который интерпретирует знак с помощью семиотического кода, используя определенную интерпретанту знака или создавая на основе кода новую. Развитие теории знака можно ожидать поэтому с разных сторон, но не вызывает сомнения, что многие новые пути развития такой теории были заложены Р. Якобсоном.

## *Глава четвертая*

### **О ТЕКСТЕ И КРИТЕРИЯХ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ \***

Рассматривая историю развития лингвистики, нетрудно проследить за тем, как менялись непосредственные области ее исследования и как все больший круг явлений попадал в сферу ее интересов. Переход от структурализма к новым направлениям в лингвистических исследованиях был особенно знаменателен в этом отношении, демонстрируя отказ от анализа языка, изучаемого «в самом себе и для себя». Общей тенденцией во всех этих направлениях и можно было бы, по видимому, считать не только расширение всей сферы лингвистических штудий, но и новое понимание языка и его роли для человека и для человеческого общества, а следовательно, и постановку новых задач, касающихся многочисленных связей языка с другими феноменами человеческого сознания и человеческой деятельности.

В русле этих тенденций следует рассматривать и обращение лингвистики к таким понятиям как текст и дискурс — понятиям, с одной стороны, явно принадлежащим лингвистике, но, с другой стороны, столь же явно не могущим быть адекватно определяемыми или описанными в рамках одной этой дисциплины. Трудности определения указанных понятий коренятся, пожалуй, именно в том, что являя собой пример сложнейших образований лингвистического порядка, объективируемых с помощью языка и посредством особых языковых форм, они представляют собой одновременно результаты ментальной деятельности людей, живущих в определенном месте и в определенной среде, в определенную эпоху и в определенных исторических условиях, а значит, проявляющих зависимость от всех этих разнообразных социально-культурологических и психологических факторов.

В этой ситуации лингвисту оказывается весьма непросто установить свои собственные задачи в анализе текста и дискурса, выработать особые подходы к их исследованию, а, главное, убедительно продемонстрировать, что без обращения к конкретным языковым формам в их тесной связи с внеязыковыми явлениями

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ — грант №00-04-00184а.

(установками говорящих, их замыслами, их целями и их личностными характеристиками и т. п.), не могут быть описаны и сами эти конкретные языковые формы. Степень отвлечения от экстралингвистических данных при исследовании лингвистических явлений может быть различной, но для того, чтобы установить сами пределы этих различий, требуется адекватное определение исходных понятий текста и дискурса с позиций лингвистики, т. е. как языкового материала, выделяемого и описываемого по особым правилам, а главное, **ограничиваемого** достаточно жесткими рамками.

В указанном отношении легче, конечно, начать с определения **текста**, ибо со времени возникновения книгопечатания тексты выступают для человека в виде всякого написанного и опубликованного произведения «или его части», как справедливо отмечает С. И. Ожегов (см. [Ожегов 1987: 727]), а тем самым и в виде особого материального объекта, реализованного в завершенной форме. Такие тексты — как непосредственные данности языка, как совокупности и протяженности вполне конкретных языковых форм (предложений) и представляют, собственно, в распоряжение лингвиста тот **языковой материал**, на основании которого и при наблюдении за которым он должен сделать свои выводы уже не только о строении и организации текстов как таковых, но и о системе языка и ее конечных единицах и категориях. Одним из сложнейших вопросов для всей современной лингвистики и является вопрос о том, что можно **извлечь** из текстов **помимо** данных о том, как построен тот или иной конкретный текст и почему в нем использованы те, а не иные языковые формы и конструкции. Но для обсуждаемой в данной работе проблемы нам важно понять как раз то, что следует выделить лингвисту при анализе текстов и для определения его устройства и понимания того, что можно считать текстом как таковым с лингвистической точки зрения.

Акцент на последнем вызывается тем, что, как подчеркивают многие исследователи, понятие текста широко используется сегодня в самых разных науках, и, действительно, «... имеет смысл различать по меньшей мере три понимания текста, не считая того, которое характерно для обыденного сознания» — семиотическое, общелингвистическое и лингвистическое (ср. [Дымарский 1993: 23]). Можно было бы прибавить к этим трем еще и культурологическое определение текста (как факта определенной культуры) и т. д. Но дело заключается в том, чтобы рассмотреть текст именно как специфически лингвистический феномен, а наша задача сводится к тому, чтобы обрисовать отличительные признаки текста как своеобразной «единицы языка».

В связи со сказанным можно было бы, кстати говоря, поставить и вопрос о том, сколько «главных» определений текста как носителя информации необходимо вообще и в каких научных дисциплинах возникает потребность дать этому понятию хотя бы рабочее определение. Уместен был бы вопрос также о том, являются ли такие определения взаимоисключающими или взаимодополнительными и можно ли дать некое общее определение текста, пригодное для разных наук или,

по крайней мере, для большинства из них. В рамках данной работы, однако, нас интересуют прежде всего **лингвистические критерии текста** и связанная с выделением этих критериев возможность его лингвистического анализа. И все же, отвечая на поставленный выше вопрос, я бы хотела подчеркнуть, что самое общее определение текста я усматриваю в **семиотическом** к нему подходе.

Как писал Р. Барт, «текст познается, постигается через свое отношение к знаку», он «всцело символичен; произведение, понятие, воспринятое и принятое во всей полноте своей символической природы, — это и есть текст» [Барт 1989: 416 и 417]. Понятно поэтому, что отказ от термина «произведение», которым ранее описывались завершённые сложные речевые образования из последовательности предложений и т. д., и замена его на термин «текст» были мотивированы прежде всего попыткой обозначить некий новый объект для целого цикла взаимосвязанных гуманитарных наук, а в силу этого обозначить объект как бы не только сугубо литературоведческий. Как правильно заметил К. А. Долинин, «произведение или текст ... есть лишь то, что мы договоримся так называть» [Долинин 1994: 8], но сама по себе тенденция разграничить указанные понятия и выделить новую реальность, новый конструкт, новую абстракцию, полезную для ряда наук и помогающую их сопоставлению, кажется весьма плодотворной. Представляется также, что она же сказывается и в попытке ввести в обиход и такое новое понятие как дискурс и дискурсивная деятельность в расширительном их понимании, о чем см. в следующей главе книги.

Собственно, именно объективация всего произведения вербальным путем, т. е. через языковые знаки, характеризующиеся определенной материальной субстанцией, делает текст подвластным лингвистическому анализу, а также накладывает некие ограничения на конечные цели такого анализа и на тот тип интерпретанты знака, которая должна быть выявлена в ходе анализа. Если вспомнить в этой связи о замечаниях Р. Якобсона, касающихся двух разных возможностей в интерпретации знака, то следует указать и на то, в каком отношении может интерпретироваться такой сложный знак, как текст. Ведь в одном случае интерпретанта связывает этот знак с кодом, то есть той системой, в которой он сам существует (языком), а в другом — с контекстом его использования (в том числе — жизнью текста за пределами системы языка), ср. [Jakobson 1971: 244]. Область чисто лингвистического анализа замыкается тогда сферой бытия и функционирования языковых знаков, составляющих текст, в сопоставлении с другими знаками той же языковой системы и того же текста (см. также ниже), тогда как области культурологического или же общезнаковедческого исследования текстов определяются, напротив, выходом за пределы подобного сопоставления в более широкие сферы рассмотрения и сравнения текстов.

Во всяком случае в современном гуманитарном знании все больше закрепляется представление о тексте как центральном звене, связывающем язык и культуру; хотелось бы отметить в то же время, что такой подход был подготовлен рабо-

тами французской семиологической школы (см. [Опарина 2000: 152 и сл.]), т. е. теми специалистами, которые подходили к анализу текста с семиотической точки зрения. Мыслями о том, какую огромную значимость имеют разные тексты при исследовании словаря русской культуры и описании главных ее концептов, полна и замечательная монография Ю. С. Степанова 1997 года о константах духовной культуры [Степанов 1997].

В этом словаре русской культуры в самом его начале автор подчеркивает: «русская культура реально существует в той мере, в какой существуют значения русских (и древнерусских) слов, означающих культурные концепты» и, продолжая далее мысль о реальности существования самих интерпретируемых им концептов, отмечает, что их «основанием и доказательством являются подлинные тексты», ибо интерпретируются именно тексты [Степанов 1997: 9–10]. Из сказанного, следовательно, вытекает, что русская культура реально существует не столько потому, что есть памятники старины и произведения искусства, а потому, что были некогда созданы тексты, отразившие ее. Таким образом, значимость текстов как источников сведений о мире и, главное, о культуре людей определенного времени, это тот факт, с которым должно считаться любое культурологическое исследование.

Но как только мы начинаем размышления о природе текста и конституирующих его признаках, приходится признать, что как это ни парадоксально, целый ряд наук, изучающих тексты, — и герменевтика, и литературоведение, и психология, и, наконец, лингвистика, как, впрочем, и другие науки, типа социологии и юриспруденции, занимаются текстами, не имея общепринятого определения своего главного объекта или, — если выразаться более точно, — довольствуются своими собственными его определениями. Почти каждый автор, занятый специально лингвистикой текста, считает нужным предпослать своему исследованию то более лаконичное, то более развернутое определение текста, чтобы затем остановиться на перечислении целого набора свойств, который, однако, в конечном счете не повторяется ни для одного типа текстов.

Не могу не отметить в этой связи попытку определения поэтического текста у Ю. В. Казарина, когда он правильно указывает на то, что «создание полного, абсолютно исчерпывающего определения природы, т. е. лингвистической, культурной, эстетической и духовной сути поэтического текста, естественно, невозможно **по причине знаковой сущности** поэтического текста (выделено мною. — *Е. К.*), когда знаковость текста является одновременно инструментом и результатом процесса поэтического мышления, поэтической номинации и поэтической всепроникающей и неизъяснимой духовности такого текста» [Казарин 1999: 13]. Но сказанное вполне может быть распространено — лишь с незначительными оговорками — и на текст как таковой.

Из сказанного следует, что самые адекватные и всеобъемлющие определения текста в лингвистике не могут не учитывать его знакового характера: общие его

свойства есть следствие организации текста из знаковых единиц, обладающих особыми «телами» (звуковыми или же графическими последовательностями). Уже в силу одного этого семиотический анализ текста, как и лингвистический его анализ, сходны в том, что касается возможностей исследовать представленные в тексте знаки и отношения между ними, но они могут отчасти различаться при обращении к содержательной стороне текста и его глубинной интерпретации.

Можно было бы отметить также, что генеративисты были первыми, кто подчеркнул «неинформативность» поверхностных структур предложения и необходимость в понимании этих структур обратиться как к синтаксической структуре высказывания, так и к отношениям между составляющими текста, и к композиционной функции в определении семантики предложения и т. п. Логическое следование подобным указаниям способствовало выделению лингвистики текста в особую лингвистическую дисциплину, первоначальной задачей которой и стало обнаружение единиц, категорий и конструкций, смысл которых формируется за пределами отдельно взятого предложения. Этот довод послужил также причиной становления трансфрастики как «сверхсинтаксиса» и грамматики текста как связанной с анализом явлений, семантика которых не могла быть описанной на уровне предложения и требовала понимания связи предложений (ср. показательные в этом отношении исследования, посвященные катафорическим и анафорическим связям в тексте, или же повторным номинациям и их роли в организации текста). Отсюда и проблема разных уровней **понимания** текста.

Если правильно, что текст — это событие и семиотическое, и лингвистическое, и коммуникативное, и культурологическое, и когнитивное, и т. п., а это, несомненно, так (ср. [Воробьева 1993: 29 и сл.]), то и аспекты его изучения могут быть различными, как могут и должны быть разными **интерпретанты** текста. Пользуясь замечательными словами М. М. Бахтина о том, что «Всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими текстами...» [Бахтин 1979: 364], можно было бы сказать, что подобные тексты конструируются специалистами в разных областях знания по-разному, а также отлично от того текста, который конструируется обычным носителем языка, простым его читателем.

Понимание текста в семиотическом аспекте было достаточно ясно охарактеризовано в трудах В. Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова, Т. М. Николаевой и их коллег. Мне близка их позиция, связанная с выдвиганием текста на первый план в качестве важнейшего объекта всех семиотических дисциплин, в том числе и лингвистики. Такое выдвигание, как отмечает Вяч. Вс. Иванов, соответствует переходу от исследования знаков в собственном смысле к изучению более сложных последовательностей знаков и их комбинаторики в некое «непрерывное целое», каким оказывается текст (ср. [Вяч. Вс. Иванов 1987: 5]). Но если рассмотрение текста исключительно как «арены реализации языковых феноменов», как их «коммуникативного фона» мало давало характеристики самого текста (ср. [Николаева 1987: 29]), то переход к его видению как особого семиотического пространства

открывал более широкие возможности в силу обращения к бытию и поведению особой **совокупности** знаков, в которой можно было наблюдать самые разнообразные «текстовые переключки» — по форме и содержанию знаков [Там же: 33].

Итак, в семиотической трактовке, как кажется, самое существенное сводится к тому, что сам текст предстает перед нами как **единый сложный знак**, помещенный в особую среду (ср. свойство интертекстуальности отдельного текста) и сам характеризующийся своим особым материальным субстратом. Воплощение текста в языковую форму позволяет строить для него весьма сложную знаковую модель (ср. [Petöfi 1987]), а в конечном счете, противопоставить все словесные по форме тексты «несловесным», т. е. выполненным в другом субстрате.

Ясно в то же время, что с рассмотренной точки зрения очень важно поставить вопрос о специфике восприятия текста изучающим его лингвистом, а следовательно, и вопрос о том, каковы границы собственно лингвистического анализа текста. Но ответ на этот вопрос зависит от того, как исходно определяется понятие текста внутри лингвистики и что здесь обычно считается текстом. Но здесь мы сталкиваемся с той самой парадоксальной ситуацией, о которой говорили выше.

Если многие лингвистические дисциплины имеют давнюю историю своего существования и развития, лингвистика текста формировалась буквально у нас на глазах. После бурных дискуссий о том, нужна ли вообще эта дисциплина — наука о текстах — и что именно является непосредственной областью ее анализа, исследования текстов в самых разных отношениях и аспектах заняли заметное место не только в общем потоке работ по лингвистике, но и в практике преподавания родного и иностранных языков. Тем более удивительно, что рассматриваемая нами дисциплина не имеет общепринятого определения главного своего объекта — текста, и почти каждое исследование в данной области начинается с размышлений о том, что же такое текст и какие признаки или свойства характеризуют то, что обозначается данным термином.

Нельзя не согласиться с Л. Г. Бабенко и ее соавторами, которые в специальной работе о лингвистическом анализе художественного текста (см. [Бабенко и др. 2000]) признают, что общепризнанного определения текста до сих пор не существует и что, отвечая на этот вопрос, разные авторы указывают на разные стороны этого явления: Д. Н. Лихачев — на существование его создателя, реализующего в тексте некий замысел; О. Л. Каменская — на основополагающую роль текста как средства вербальной коммуникации; А. А. Леонтьев — на функциональную завершенность этого речевого произведения и т. д. [Там же: 32]. В заключение ими приводится определение И. Р. Гальперина, данное им в 1981 г. как «емко раскрывающее природу текста и наиболее часто цитирующееся в литературе по вопросу». Согласно этому определению, «текст — это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых еди-

ниц (сферхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин 1981: 18]. Ср. также аналогичное определение текста у З. Я. Тураевой, комментирующей выделенные у этого образования И. Р. Гальпериным признаки [Тураева 1986: 11].

Ничуть не умаляя достоинств пионерской книги И. Р. Гальперина о тексте как объекте лингвистического исследования, хотелось бы вместе с тем отметить, что все выделенные здесь критериальные признаки текста (кроме последних) могут быть поставлены под сомнение и оспорены. Про целый ряд текстов мы можем сказать, что они так и не были завершены их авторами и что они так и остались незаконченными; нередко текст отдельного стихотворения завершается многозначительным отточием, предполагающим, очевидно, что окончание стиха следует додумать. Наряду с письменными текстами можно, по всей видимости, выделить и тексты устных выступлений (про них часто говорят: «текст его доклада / сообщения / речи и т. д. так и не был опубликован»), а также тексты, записанные на звукозаписывающей аппаратуре и предназначенные для прослушивания. Далеко не у всех текстов есть заголовки — ср., с одной стороны, отдельные стихотворения, а, с другой — тексты рекламного характера или объявления, анонсы. Наконец, не все тексты могут быть представлены в виде последовательности сверхфразовых единств — во всяком случае, если признавать, что и надписи типа «Вход воспрещен» или «Рвать цветы категорически запрещается» тоже являют собой особые тексты.

Между тем текст принадлежит к наиболее очевидным реальностям языка, а способы его интуитивного выделения не менее укоренены в сознании современного человека, чем способы отграничения и выделения слова, и основаны они на разумном предположении о том, что любое завершенное и записанное вербальное сообщение может идентифицироваться как текст, если, конечно, и сама завершенность текста подсказана нам тем или иным формальным способом. Одновременно не может не поразить то разнообразие и многообразие самих речевых произведений, по отношению к которым мы легко используем обозначение «текст», и не случайно лексикографы довольствуются указанием на то, что текстом является «всякая записанная речь», и перечисляют в качестве примеров документы, сочинения, литературные произведения и т. п. Трудности определения понятия текста, таким образом, вполне очевидны: сведение всего множества текстов в единую систему так же сложно, как обнаружение за всем этим множеством того набора достаточных и необходимых черт, который был бы обязательным для признания текста образующим категорию классического, аристотелевого типа.

Показательно, что еще до распространения терминов когнитивного подхода к явлениям языка ученые говорили о «размытости» системных, онтологических и функциональных свойств текста (см., например, [Гальперин 1981: 4]), что, собственно, и заставляет поместить сегодня категорию текста в число «естествен-

ных» и построенных по принципу «фамильного сходства», или же по прототипическому образцу.

Предложить же описание категории с размытыми границами, конечно, задача весьма нелегкая: жесткое ее определение, по всей видимости, и невозможно. Настоящая работа поэтому — это размышления о том, как можно подойти к такому описанию с когнитивной точки зрения, т. е. учитывая, с одной стороны, роль текстов в познавательных процессах (что явно в пределах данной работы попросту невозможно), но, с другой стороны, применяя для дефиниции текста те методики и процедуры анализа, которые уже сложились в когнитивной лингвистике. Такой подход заставляет задуматься прежде всего о том, в каком **диапазоне характеристик** обычно исследуются разные тексты и почему в практической деятельности людей — публицистической, издательской, при написании научных работ и т. п. — отсутствие жесткого определения категории текста никак не мешает осуществлению этой деятельности, точно так же, как отсутствие дефиниции текста не особенно мешало развитию лингвистики и грамматики текста или же проведению лингвистического анализа текстов разного жанра, стиля, типа и разной функциональной предназначенности.

С современной точки зрения это, пожалуй, можно объяснить только одним: если людям ясна общая идея, положенная в основу категории, и осознана ее прагматическая целесообразность, если категория строится вокруг определенного концепта, а сам концепт укоренен в нашем сознании, в понимании такой **естественной** категории люди часто довольствуются достаточно гибкими и подвижными границами, да и расширение границ такой категории происходит достаточно просто.

Что же положено в основу категории текста и какой концепт образует ее ядро, или, если пользоваться терминологией А. В. Бондарко, ее инвариантное начало? Думается, что такой основой является понимание текста как информационно **самодостаточного** речевого сообщения с ясно оформленным целеполаганием и ориентированного по своему замыслу на своего **адресата**. Такое определение кладет, однако, только **нижнюю границу** текста, ибо в известных условиях самодостаточным оказывается и отдельно взятое предложение, и даже отдельное высказывание (имплицитное предикат, но не содержащее его в явной форме). Таковы, например, тексты заголовков или названий произведений живописи. Таковы разные «запретительные» надписи на разного рода объектах типа «Руками трогать запрещается» или «Не ходите по газону». Они информационны, самодостаточны для интерпретации, имеют своего адресата и преследуют вполне ясные цели. И все же, хотя и можно согласиться с формулой, в соответствии с которой  $T \geq P$  (текст равен предложению или же «больше» предложения), такие минимальные тексты — только точка отсчета для дальнейшего постижения природы текста и, конечно, не они представляют собой обычные и наиболее часто встречающиеся речевые образования как результаты речемыш-

лительной деятельности. Однако, уже они намечают такой критерий текста, как **информационная самодостаточность** (т. е. порождают впечатление его содержательности, смысловой завершенности и прагматической целостности) и **адресатность** (ориентация на определенный круг людей).

Информативность текста помещает текст в разряд когнитивных образований, т. е. образований, связанных с познавательной деятельностью людей и с фиксацией в тексте определенных структур знания о реальном мире или же о вымышленных и воображаемых мирах. Разные типы информации, освещаемой в тексте, позволяют классификацию текстов и их деление на научные, научно-публицистические, литературные и т. п. Но изучение текстов с когнитивной точки зрения предполагает, конечно, не только обращение к указанным очевидным фактам — их информационной насыщенности и информационному разнообразию. В текстах разного жанра и разного стиля само **распределение информации** оказывается нетождественным. В научных текстах особое внимание уделяется дефиниции вводимых понятий и терминов, разъяснению категориального аппарата соответствующей науки, здесь вряд ли есть место логическим пропускам, нарушениям хода повествования, нарочитой двусмысленности и т. д. Напротив, художественному повествованию скорее свойственны различные «темные места», требующие додумывания и самостоятельных решений [Молчанова 1988], большего обращения к воображению читателя. Распространенные, эти феномены, насколько мне известно, еще не получили своего когнитивного разъяснения, да и анализ языковых сигналов, маркирующих смену топиков повествования, изменения в хронологической последовательности изложения событий, переключение на эпизоды или отрезки, требующие особого внимания и т. п., — анализ всего этого еще должен стать предметом когнитивного рассмотрения, как должны стать предметом его и конкретные цели указанной деятельности с информацией.

Интересно, что и критерий **целенаправленности** очевиден для любого типа текстов, что наводит на мысль о том, почему вся теория речевых актов и вся их классификация строится на материале **изолированных** предложений. Меня всегда удивляло, как можно установить сущность речевого акта по отдельно взятому предложению. Но сегодня, пожалуй, это можно объяснить тем, что такое предельно сжатое речевое (вербальное) сообщение позволяет указать на одно из важнейших свойств текста — его прагматическую ориентацию, содержащуюся в нем **установку**, исходящую от говорящего. Уже это позволяет признать, что текст всегда должен рассматриваться как итог речемыслительной деятельности его создателя (говорящего, автора, источника), воплощающего особый замысел в его направленности на определенного слушателя / читателя и т. п. Одно задает **интенциональность** текста, — он всегда создается для реализации какого-либо замысла, другое — его **информативность**: информация вводится в текст и фиксируется в нем не сама по себе, а **для чего-то**, для достижения определенной **цели**, и с точки зрения отправителя она всегда существенна, релевантна, должна изме-

нить поведение воспринимающего и в известном смысле рассчитана на определенный эффект и воздействие на адресата.

Рассматривая такие мини-тексты, разумно поставить вопрос о том, что же все-таки превращает слово или краткую последовательность слов в текст и не может ли быть текст равен отдельно взятому слову. Можем ли мы, например, считать, что надпись типа «Вход» или «Гастроном» — это тоже текст? Думается, что признание таких надписей (однословных, во всяком случае) текстом вряд ли целесообразно. Текст, как правило, это структурированное образование, отличающееся от единицы номинации тем, что сообщает о чем-либо в виде коммуникативно ориентированного произведения, а оно характеризуется такой базовой чертой, как связность. Однако и по этому поводу мнения лингвистов могут расходиться. К числу текстов-примитивов нередко причисляют и вывески, и заглавия книг, и названия спектаклей и кинофильмов и т. п., а также предметные рубрики в традиционных предметных каталогах и предметных указателях. Если видеть и в этих единицах итоги акта коммуникации, а также усматривать в них содержательную законченность и цельность, как это делают отдельные ученые (см. [Сахарный 1991]), то в критерии текста следует включить его существование (потенциальное) в виде представителя особого парадигматического ряда, где самый сжатый текст находится в одном ряду с синонимичными ему развернутыми («нормальными») текстами и где в начальном тексте-примитиве уже содержится некая свернутая до предела программа его дальнейшего возможного развертывания [Там же: 236]. См. также [Кубрякова 1994: 20 и сл.].

Но, повторяю, все же не отдельно взятые предложения могут считаться текстами и даже, как правильно отмечает Т. М. Николаева, вопрос о их принадлежности к категории текстов остается дискуссионным (см. подробнее [Николаева 1997: 555]), а в число критериев текста включается его **протяженность** (ср. [Николаева 2000: 415]). Ведь и понятие связности, считающееся главным признаком текста, указывает на то, что в нем что-то должно связываться, сплетаться и формировать ткань повествования. Если согласиться с тем, что для каждой естественной категории, как утверждают когнитологи, существует «лучший образец класса», или **прототип**, уместно и по отношению к рассматриваемой категории задаться вопросом о том, какие же тексты можно считать прототипическими и каковы те критерии, которые характеризуют эти тексты. Хочется отметить одновременно, что вопреки распространенному мнению о том, что все естественные категории, построенные по прототипическому принципу, подвижны и размыты, именно понятие прототипа — при всей гибкости категории — вводит представление о неких диапазонах варьирования вокруг прототипа как **фокуса** (или даже **фокусов**) категории, т. е. неких пределах для самого допустимого варьирования. Иными словами, прототип категории и можно рассматривать как такой яркий представитель своей категории (образец, эталон), который наиболее полно фокусирует в себе ее признаки, концентрирует наибольшее число общих для кате-

гории черт и очевиднее всего характеризует то, как представлена (репрезентирована) сама категория в сознании человека, с какой структурой знания и опыта она ассоциируется. Прототип — средоточие наибольшего числа наиболее репрезентативных признаков категории в скореллированном виде, т. е. выступающих в виде **пучка признаков**, соотнесенных между собой. Такой прототип есть, несомненно, и у категории текста.

Если учесть, что наиболее размыты те границы категории текста, которые связаны с **верхней** границей, т. е. с **размером**, или **объемом** текста, следует думать, что и выделение прототипических текстов обуславливается прежде всего критерием их материальной протяженности. Это заставляет нас признать, что прототипическими можно считать тексты, **ограниченные** по своей протяженности, тексты не просто средней величины (да и что могло бы считаться подобной средней величиной?), но тексты **небольшие** по своему объему, или, как мы их предпочитаем называть, **тексты малого объема, малые тексты**.

Иногда высказывается мнение, что размер текста не входит в число его существенных характеристик, и доля истины в этом утверждении, несомненно, есть. Это не означает, однако, что все тексты методологически равно удобны для анализа. Вводя понятие прототипического текста, мы и хотим выбрать для анализа такую группу текстов, которые наиболее показательны и которые наглядно демонстрируют, какова архитектура и внутренняя организация текста и какие именно текстовые категории устанавливаются здесь достаточно просто. К группе прототипических текстов можно, по всей видимости, отнести письма и небольшие инструкции к артефактам, статьи в энциклопедиях, публицистические статьи в газетах и журналах, тексты интервью, рецепты и т. п. Семантическое пространство таких текстов невелико, да и анафорические и катафорические связи (как, впрочем, и другие сигналы связности текста) здесь устанавливаются без труда.

Хотелось бы в то же время подчеркнуть, что и в этих текстах начинают проследиваться те черты сложной структуризации текста, при которой, как правильно отмечает Е. И. Диброва, семантическое его пространство должно быть охарактеризовано как включающее и предтекст, и подтекст, и надтекст, и т. п. [Диброва 1997: 35].

По каким причинам мы выбираем в качестве прототипических тексты малого объема? Представляя собой непосредственную материальную данность, эти тексты **обозримы и наблюдаемы** в самых мелких их деталях. Они обладают четко выраженными **пределами**: началом, концом и тем, что помещается между ними. Они демонстрируют тем самым такие важные характеристики текста, как его отдельность, выделенность, формальная и семантическая самодостаточность, тематическая определенность и завершенность. Здесь нетрудно описать все связи как между отдельными фрагментами текста — предложениями, так и между частями этих фрагментов. Наконец, у подобного текста ясна его информативность, его когнитивная подоплека — смысл его создания, общий его замысел и реализован-

ный в особой языковой форме **итог** создания в виде особого семантического (семиотического) пространства.

Нет и не может быть таких текстов, которые не фиксировали бы какой-либо фрагмент человеческого опыта и его осмысления. Это делает текст возможным объектом концептуального и когнитивного анализа, т. е. позволяет установить, с каким видением мира мы столкнулись в данном тексте, что и по какой причине привлекло внимание человека, какие именно фрагменты знания и оценок в нем закреплены и т. д. Но нет таких текстов, которые не явились бы также конечным итогом **дискурсивной**, т. е. социально ориентированной и социально обусловленной коммуникативной деятельности. Каким бы анонимным ни казался текст, у него есть автор или авторы, а значит, текст отражает их речемыслительный акт. Из сказанного следует, между прочим, что хотя понятия текста и дискурса и следует **различать**, понятия эти отнюдь не **противопоставлены** друг другу, т. е. не являются взаимоисключающими. Текст — это особый результат процесса речи, и в этом смысле завершенное произведение, рожденное в ходе дискурса. В этом качестве у него, как и у дискурса, есть свои коммуникативные «векторы» (ср. [Каменская 1990]).

В принципе противопоставление текста и дискурса кажется лишенным основания, а поскольку к понятиям текста и дискурса мы уже неоднократно возвращались (см. [Кубрякова, Александрова 1999]), здесь представляется необходимым обосновать подобную точку зрения еще раз.

С когнитивной и языковой точек зрения понятия дискурса и текста связаны, помимо прочего, причинно-следственной связью: текст создается в дискурсе и является его детищем. Различен, однако, **ракурс** их рассмотрения, ибо дискурс, являясь, по словам Н. Д. Арутюновой, деятельностью, погруженной в жизнь (см. [Арутюнова 1990: 137]), требует при подходе к нему обязательного учета всех социальных параметров происходящего, всех прагматических факторов его осуществления. Нельзя изучать дискурсивную деятельность вне культурологических и социально-исторических данных, вне сведений о том, кто проводил дискурсивную деятельность, для чего, при каких условиях, с каких позиций и т. д. Но текст можно анализировать и абстрагируясь от многого из указанного перечня, т. е. довольствуясь тем, что можно извлечь из текста как такового и изучая его как завершенное языковое произведение.

Не случайно в момент становления лингвистики текста дискурсивный и текстовый анализ понимались как синонимичные термины. Напомню, что возникновением термина дискурс мы обязаны З. Харрису [Harris 1952] и что согласно его мнению в сферу дискурсивного анализа входило одно лишь разбиение его на составляющие текст части (ядерные предложения), что и осуществлялось с помощью дистрибутивной методики. Лишь значительно позднее зарубежными учеными стали ставиться вопросы о том, почему же естественно складывающийся текст столь резко отличается от простого набора ядерных предложений, в которых

представлено главное пропозициональное содержание текста и почему говорящий выбирает для осуществления своего замысла те или иные языковые формы с их собственным синтаксическим устройством и референциональной нагрузкой (ср. [Prince 1998: 166 и сл.]).

Хотя текст по сути дела являет собой образец эмерджентного образования (возникающего по ходу осуществления определенного процесса), он изучается именно в своей завершенной форме, т. е. как нечто конечное. Это и отличает его от дискурса, изучение которого как бы естественно следует процессу его возникновения. Дискурс — это явление, исследуемое on-line, в текущем режиме и текущем времени, по мере своего появления и развития. Во всяком случае, дискурсивный анализ требует восстановления этого процесса, если даже изучается его результат (ср., например, работы П. Серио, посвященные дискурсивным особенностям языка политики в советское время). Текст же в сложившемся окончательно виде создает, как мы говорили выше, особую материальную протяженность, последовательность связанных между собой предложений и сверхфразовых единиц, образующих семантическое, а точнее, **семиотическое пространство**. Физически такое пространство очерчено весьма точно, но семантически и семиотически, конечно, нет: если у любого знака есть своя интерпретанта, а текст может быть охарактеризован как сложный или даже сверхсложный знак, у него тоже должна быть своя интерпретанта — свой, разъясняющий данный текст **новый текст**. Выход за пределы языковых форм, содержащихся в самом тексте, таким образом, **обязателен** (ср. [Кубрякова 1994]). Об этом мы, однако, уже говорили выше.

Хотя при текстовом анализе семантическое пространство можно замкнуть им самим, ограничивая наблюдения **внутритекстовыми** связями и работая **внутри непосредственной данности** текста, сегодня предпочитается дискурсивный анализ, при котором **то же** семантическое пространство рассматривается как связанное тысячью нитей с условиями его создания, целями и задачами данного текста, в связке с аналогичными для него текстами и т. п., что, собственно, и отражается в понятии интертекстуальности.

Хочется заключить высказанные соображения о критериях текста еще одним замечанием. Текст, содержащий информацию, рассчитан на понимание, а значит, на **извлечение** этой информации. С этой точки зрения текст должен быть рассмотрен как такое произведение, такая протяженность, которая по всей своей архитектонике и организации, по всем использованным в нем языковым средствам и т. д. **должно** обеспечить у адресата формирование его **ментальной модели**. Именно в этом смысле он должен также обеспечить адресату **выход** за пределы непосредственно данного в самом тексте и послужить источником дальнейших возможных интерпретаций текста. Ранее часто ставился вопрос о том, какие именно ментальные модели строит говорящий в опоре на тот или иной текст. Но надо повернуть этот вопрос и по-другому, подчеркнув, что текст как правильно организованная форма коммуникации, как сообщение, уже содержит в себе са-

мом некие единицы, средства, сигналы и т. п., **достаточные и необходимые** для построения на его основе правильной и осмысленной модели. Наша способность строить резюме текста, писать на него аннотацию, составлять конспект текста, создавать либретто опер и, наконец, писать сочинения на основе текстов и по их поводу, — все это доказательство не только того, что в тексте главное — его **содержание, информация, структуры опыта и знаний**, и т. п., но и явное свидетельство того, что процесс извлечения знаний — процесс, требующий особых приемов обработки языкового материала в тексте (*Sprachverarbeitung*). В этом процессе — по сути своей когнитивном — оказываются задействованными и знание языка, и знание мира, и, наконец, знание о принятых в языке правилах соотношения языковых структур с когнитивными. К тому же этот процесс не следует считать происходящим исключительно на рациональном уровне, ибо в когнитивности все неразрывно связано с **эмоциями, оценками**, а следовательно, с пониманием того, как именно представлена информация в тексте и как она в нем распределена. Текст — это особым способом обработанная и переданная совокупностью языковых форм информация, а, значит, оформленная в соответствии с конвенциональными правилами ее распределения, см. [Лузина 1996].

Отсюда и последнее: текст — это то, из чего люди, обладающие некими усредненными сведениями о языке и о мире, делают достаточно разумные **умозаключения**. Никакие исследования текста и дискурса невозможны поэтому без обращения к процессам **инференции, выводного знания**. Любая языковая форма, но текст прежде всего, сигнализируют не только о том, что в ней реально присутствует, но и о том, что подлежит семантическому выводу — выводу по инферентному типу. Текст существует как источник излучения, как источник возбуждения в нашем сознании многочисленных ассоциаций и когнитивных структур (от простых фреймов до гораздо более сложных ментальных пространств и возможных миров). Текст в силу этого свойства показателен именно тем, что из него можно **вывести, заключить, извлечь**. Он являет собой поэтому образец такой сложной языковой формы, такого семиотического образования, которое побуждает нас к творческому процессу ее понимания, ее восприятия, ее интерпретации, ее додумывания, — к такого рода когнитивной деятельности, которая имеет дело с осмыслением человеческого опыта, запечатленного в **описаниях** мира, но слушающего прежде всего сотворению и возникновению нового знания.

## *Глава пятая*

### **ДИСКУРС: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ В ЕГО ИССЛЕДОВАНИИ**

Остановившись ранее на критериях текста и путях его рассмотрения с когнитивной точки зрения, мы должны обратиться теперь и к определению понятия дискурса и дискурсивной деятельности. Хорошо известно, что оба понятия существуют в современной лингвистике как вызывающие острые дискуссии и как не имеющие общепринятых толкований. Между тем нельзя представить прогрессивного развития целого ряда научных дисциплин, использующих эти понятия, — не только лингвистики, — без разъяснения того, что же считается дискурсивной деятельностью. Но тем более это важно для лингвистики, так или иначе связанной с потоками речи и передачей информации, с ее запросом и обработкой, с ее хранением в многочисленных описаниях мира и разнообразных словарях, а также с общими вопросами, касающимися того, как работает человек с информацией по мере ее поступления извне и по мере развертывания речи. Все эти вопросы ставятся и в так называемой когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистического знания, в установки которой входят принципы обязательного рассмотрения каждого языкового явления, каждой языковой формы, по ее участию в выполнении языком двух его важнейших функций — когнитивной и коммуникативной.

Если при когнитивном подходе к языковым явлениям акцент делается на связи этого явления с внутренней, ментальной деятельностью человеческого сознания и на его репрезентации в голове человека, при подходе коммуникативном внимание уделяется скорее тому, как используется изучаемое явление в процессе общения людей и при вербализации его намерений. Описать явление с когнитивной точки зрения — значит охарактеризовать его роль в процессах познания мира, в фиксации структур знания и опыта, в актах восприятия и осмысления окружающей человека среды. Описать явление с коммуникативной точки зрения значит иное: здесь на первый план по своей значимости выступает анализ вербального поведения людей, анализ тех задач, которые решаются человеком по мере осуще-

ствления им речевых актов, разных по своим установкам и целям, по условиям их осуществления и т. п.

Поскольку в реальной жизни когнитивная и коммуникация тесно между собой связаны и провести между ними строгие границы можно лишь достаточно условно, в когнитивно-дискурсивной парадигме возникает задача реалистического отражения функционирования языка и отдельных его категорий, единиц или конструкций, и усилия исследователя направляются прежде всего на то, чтобы выяснить, как и каким образом может удовлетворять изучаемое языковое явление и когнитивным, и дискурсивным требованиям, да и в чем конкретно могут заключаться подобные требования. Поиски ответа на поставленные вопросы заставляют нас признать, что периоды рассмотрения главных единиц и категорий языка в изоляции от реального их употребления в известном смысле уже завершены, а призыв к исследованию языка в действии порождает такую ситуацию, когда языковым материалом, подлежащим анализу, оказываются реальные образцы речи. Совершенно правильно отмеченная тенденция к укрупнению лингвистических единиц (от минимальных до самых объемных и сложных) означала также, что и выделение подобных единиц и их отождествление и классификация должны осуществляться в более широком контексте. Следует подчеркнуть при этом, что «укрупнению» подверглись в этой ситуации не только те языковые последовательности, в рамках которой стали изучаться новые единицы языка, т. е. собственно лингвистические контексты, но и те фрагменты социальной действительности, в рамках которых обнаруживали проявления языка в действии. Только в этой ситуации можно объяснить основные причины введения в категориальный аппарат лингвистической науки таких глобальных понятий, какими стали понятия текста и дискурса, — понятий, на фоне которых получают, с одной стороны, более подробные описания уже выделенных до этого единиц языка, но которые и сами, с другой стороны, требуют их рассмотрения и анализа на более широком фоне всей человеческой деятельности. Все это приводит к изменениям в **ракурсе** рассмотрения всех лингвистических явлений, в том числе — и в ракурсе рассмотрения текста и дискурса, а также и в **точке зрения** на их соотношение и взаимодействие.

Когнитивно-дискурсивная парадигма выступает в этом смысле как такая научная парадигма знания, которая представляет собой попытку синтезировать разные точки зрения на один и тот же объект или же каким-либо образом их совместить. В таком стремлении очевидна также попытка дать объекту максимально полное и всестороннее описание, описание **интегральное**, в котором можно было бы учесть как когнитивные, так и коммуникативные особенности его бытия в системе языка.

Думается, что такой интегральный подход уже оправдал себя и доказал свою состоятельность при рассмотрении целого ряда отдельно взятых языковых явлений. Так, он оказался, несомненно, плодотворным при исследовании такой уни-

кальной единицы системы языка, как **производное слово**. Создаваясь в первую очередь в когнитивных целях, для объективации и последующей фиксации в языке определенной структуры знания или отражения и оценки определенного фрагмента мира, производное слово тем не менее возникает не только для того, чтобы закрепить соответствующим обозначением некую концептуальную структуру и придать ей знаковую форму. В акте семиозиса рождающемуся новому знаку придается особая мотивированная форма, т. е. концептуальная структура «упаковывается» совершенно особым образом. Когнитивная единица, обретая форму однословного мотивированного знака, становится весьма удобной для коммуникации. Не уступая по своей информативности и семантической насыщенности более протяженным и развернутым конструкциям (словосочетаниям и целым предложениям), производное слово оказывается более маневренным и легко перемещаемым в речи знаком, а значит, и удовлетворяющим требованиям коммуникации.

Плодотворность дискурсивно-когнитивного подхода выявилась и при исследовании такой важнейшей грамматической категории языка, как **части речи**. В генезисе они обязаны своим происхождением отнюдь не только когнитивным факторам, которые сыграли свою определяющую роль при сортировке и общей категоризации окружающей человека действительности (материи и форм ее движения, а также объективного ее существования во времени и пространстве). Переход от диффузного имени к такой коммуникативной единице, как предложение, тоже оказался важнейшим фактором в специализации частей речи и закреплении за ними особых дискурсивных функций. Объективируемые концептуальные структуры с разным содержанием и разной референцией начинали служить разными компонентами предложения и дифференцировались не только в силу своей разной концептуальной ориентации (предметной в противовес признаковой и т. п.), но и потому, что выполняли по преимуществу разные функции: идентифицирующую, характеризующую или модифицирующую. Требования дискретизации мира, с одной стороны, шли рука об руку с требованиями линейной развертки речи и противопоставления внутри предложения топика и коммента, предмета речи и того, что о нем говорится, с другой.

Наступил момент подойти с точки зрения коммуникативно-когнитивного подхода и к понятиям текста и дискурса, а значит, в известном смысле пересмотреть их место в иерархии лингвистических единиц, причем как по той роли, которую они выполняют в процессах когниции, с одной стороны, так и по их назначению в коммуникации, с другой. Но еще важнее, по всей видимости, подойти по-новому к определению самого языка, рассмотрев его место в жизнедеятельности человека и в организации человеческого общества, в самом организме *homo sapiens*'а и в том, как человек взаимодействует с окружающим миром и категоризирует и концептуализирует приходящую к нему извне из этого мира информацию.

При такой постановке проблемы одним из главных теоретических вопросов о сущности языка оказывается вопрос о том, что именно стоит за языковыми фор-

мами и категориями и чему они служат в человеческом сознании и осуществляемых здесь мыслительных процессах (вплоть до объективации последних во внешней речи, т. е. в актах коммуникации). Рассуждая по этому поводу, когнитологи нередко используют метафору языка как **зеркала**, в котором отражается вся человеческая жизнь и все результаты познания им мира. Фактически, однако, такая метафора при всей ее привлекательности не точна. Язык не только отражает или отображает действительность (ср. по этому поводу, например, [Серебренников 1988]), как мы это привыкли считать: в значительной мере он ее сам структурирует, ибо проводит дискретизацию всего сущего, он ее сам **творит**. Еще до того, как понятия когнитивной науки получили у нас в стране свое распространение, Б. А. Серебренников выдвинул идеи о лингвокреативной деятельности в языке [Серебренников 1983: 106], а мысли о том, что каждый язык вносит нечто уникальное в виденье и понимание мира, уже давно обсуждались в лингвистике в связи с так называемой гипотезой Сэпира-Уорфа.

Несмотря на то, что происходящее в языке «конструирование мира» (the construal of the world) принадлежит человеку, язык предоставляет ему некоторый набор альтернативных средств выражения примерно одной и той же мысли, так что выбранное по воле говорящего средство предлагает, в свою очередь, особую языковую интерпретацию того объекта или той ситуации, что описываются в речи. Да и общая схема концептуализации действительности и ее категоризации жестко «не связаны» языком и особенно имеющимися в нем грамматическими противопоставлениями и конкретными обозначениями. «Язык, — пишет Г. Харман, — это центральная тема в когнитивной науке. Частично это потому, что язык **отражает** познание, служа главным средством выражения мышления, так что исследование языка — это косвенный способ исследования познания. Возможно также, что язык **влияет** на познание, влияя на то, какими концептами обладает личность и какие мысли придут в голову ей или ему» [Harman 1988: 259].

В каждом акте обозначения, в каждом акте речи когнитологи усматривают the construal of the world — некое «творение» или «конструирование» мира, выражающееся как в процессе категоризации участвующих в описываемом объекте или описываемой ситуации предметных и признаковых сущностей, так и в выборе той перспективы или точки отсчета, по отношению к которой характеризуется данный объект или же данная ситуация. Согласно этому взгляду, и текст, и дискурс должны рассматриваться прежде всего как творящие новые «возможные миры», а все принимающие участие в этом процессе языковые формы — как служащие построению такого возможного мира. Подобный подход позволяет предложить если и не абсолютно новые определения текста и дискурса, то во всяком случае выделить среди их признаков наиболее существенные и предложить уже выделенным ранее свойствам некоторые новые разъяснения.

Хотелось бы при этом сделать одно важное отступление: установки когнитивно-дискурсивной парадигмы касаются, строго говоря, описания **языка** и прису-

щих ему языковых форм. Но ведь и текст, и дискурс — это явления не только лингвистические! Мы уже объяснили эту точку зрения при выделении критериев текста, но совершенно то же можно сказать и про дискурс. Соответственно для лингвиста оба понятия должны изучаться как поставляющие ему **языковой материал**, анализ которого должен протекать исключительно в расчете на данные языка. Зато вопрос о том, в какой мере эти языковые данные нуждаются в соотнесении их с экстралингвистическими сведениями и факторами и с какими именно, — это центральная проблема всего текстового и дискурсивного анализа, не уступающая по своей важности той, что возникает при вопросе о том, а какой именно языковой материал мы называем **текстом**, а какой — **дискурсом**.

Думается, что как раз в компетенции когнитолога ответить на подобные вопросы: когнитивная наука — наука междисциплинарная и потому объяснение тех явлений, которыми она непосредственно занимается, и не мыслится здесь без привлечения данных самых разных наук. А так как вся суть указанной науки заключается в познании человеческого сознания и человеческого разума, в постижении тайн мыслительных процессов и операций со знаниями и т. д., а для осуществления этой задачи необходимо понимание связей когнитивных способностей человека с языком, в методологию этой науки входит обязательное соотнесение когнитивных структур с языковыми (для чего, собственно, и была создана под эгидой когнитивной науки такая ее специальная часть, как **когнитивная лингвистика**). Точно так же: поскольку в число когнитивных способностей включаются память, воображение, восприятие, мышление и т. д., в практике соотнесения когнитивных структур с языковыми учитываются все особенности различных когнитивных способностей и процессов (прежде всего — разные сенсомоторные данные, создающие разные типы репрезентации мира в голове человека). Когнитивная интерпретация любого языкового явления, в том числе текста и дискурса, предполагает поэтому **выход за пределы** собственно лингвистических форм в мир психики человека, в мир его состояний и намерений, не говоря уже о том, что когнитологи второго поколения обязательно подчеркивают необходимость обращения в когнитивном анализе и к миру «как он есть».

К тому времени, когда понятия дискурса и дискурсивного анализа получают широкое распространение, — а это 70-е и особенно 80-е гг., — традиция использования указанных терминов уже существовала, причем они употреблялись наряду с такими терминами, как «речь» или же «речевая деятельность», выступая при этом нередко как синонимичные им. Чем же было вызвано последующее стремительное распространение понятия дискурс в достаточно разнообразных значениях? Почему, прослеживая историю его возникновения, мы сталкиваемся сразу с проблемой неоднозначности термина? Почему, если судить, например, по словарю Т. М. Николаевой 1978 г., термин может служить обозначением таких разных сущностей, как устно-разговорная форма речи, диалог, связный текст, речевое произведение и т. п. (см. [Николаева 1978: 467])? Почему сходные значения

приписываются термину и в справочнике В. З. Демьянкова 1982 г., где, правда, среди перечисленных значений появляется и то, которое, как нам кажется, лучше всего характеризует суть понятия (об этом см. также ниже)?

Отвечая на все эти вопросы, можно, пожалуй, выделить лишь одно важное обстоятельство: интуитивное обращение к новому понятию было вызвано не просто модой и не только содержанием слова **дискурс**, которое в литературном языке могло означать и речь, и беседу, и разговоры, и лекции, и последовательное изложение мыслей, и рассуждения с переходом от одной темы к другой. Оно было связано с возникшей потребностью в создании такого нового концепта, который **соединил** бы существующие в неясном и смутном виде представления в **единый гештальт** и помог бы отразить в едином образе порождаемую в особых условиях речь, связываемую с самими коммуникативными условиями этого порождения. Думаю, что вся последующая история использования термина и представляет собой путь к достижению такого представления.

В настоящей работе нет необходимости возвращаться еще раз к разным трактовкам понятия дискурса или истории его распространения. Уже существуют обзоры по этому поводу, да и многие ученые отдали дань своим соображениям о месте этого понятия среди других новых представлений современной лингвистики. Помимо работ, названных выше, можно сослаться в этой связи и на наши собственные публикации (см. [Кубрякова 2000; Александрова, Кубрякова 1991; Кубрякова, Александрова 1997]), не говоря уж о [Кибрик 1994; 2003; Карасик 2002; Степанов 1995; Макаров 1998; Шейгал 2000; Цурикова 2002] и др. Но здесь наша цель — иная: выделить в термине стоящую за ним **концептуальную структуру** или **структуру знания** со всеми ее составляющими, демонстрируя тем самым, с одной стороны, то, какими сложными с когнитивной точки зрения величинами оперирует современная лингвистика, а, с другой — и то, почему в исследовании дискурса и дискурсивной деятельности возникают столь разные по своей сути направления.

Несмотря на огромную работу, проделанную лингвистами в области дискурсивного анализа, несмотря на поток работ, посвященных разным типам дискурса и разным аспектам его осуществления, вряд ли можно говорить сегодня о существовании общепринятого определения дискурса и вряд ли можно говорить о том, что единая и целостная теория дискурса уже создана. Как отмечает У. Чейф, «продолжает оставаться необходимость модели естественного дискурса, которая объединила бы разнообразные когнитивные и социальные факторы, ответственные за организацию языка. Дискурс многосторонен, и достаточно очевидна ограниченность любых попыток отразить его моделирование, сведя дискурс к одному или двум измерениям...» [Chafe 1996: 49]. Пытаясь преодолеть подобную ограниченность, мы и хотим показать в нашей работе, какие разные стороны использования языка стремятся отразить современные ученые, соединяя их в некое единое представление и давая дискурсу новое **номинальное** определение.

Определения такого рода, как справедливо отметил Ю. С. Степанов, предполагают **«создание нового понятия на основе анализа уже существующего понятия»** (выделено самим Ю. С. Степановым, цитирующим логиков Пор-Рояля. — *Е. К.*) и всегда связаны с некими операциями над уже существующими понятиями (см. [Степанов 1977: 321]). Небезынтересно подчеркнуть также, что номинальные определения соответствуют пути нахождения имени для концепта или концептуальной структуры, т. е. процессу, происходящему в умах говорящих, когда в их сознании складывается та структура знания, которую следует обозначить. «...Субъект подбирает имя для имеющегося у него смысла, или значения, — пишет Ю. С. Степанов, комментируя семиологическую систему К. Попы, — и результатом будет номинальное определение» [Степанов 1977: 344]. Для понимания смысла номинального определения и для самой его формулировки важно, таким образом, установить, какие именно значения подводятся под одно имя. С когнитивной точки зрения такие операции и их результат могут получить свое освещение при обращении к понятиям концепта и концептуальных структур (в качестве отдельных значений в общее значение слова включаются **концепты**, а само общее значение предстает перед нами как их определенный набор, их **интегрированная совокупность**). Такой анализ мы и хотим предложить ниже понятию дискурса.

Не могу не подчеркнуть, что по своей методологии предлагаемый мной анализ представляет собой результат **когнитивного подхода** к языку, в основе которого «убеждение, что языковая форма в конечном счете является отражением когнитивных структур, то есть структур человеческого сознания, мышления и познания» [Кибрик 1994: 126]. В данном случае объективируемая в языке когнитивная структура сложилась в умах людей, специально занимавшихся языком, т. е. лингвистов, а потому она обобщает коллективный опыт и, возможно, разные составляющие описываемой структуры имеют своего собственного «автора» или же принадлежат ученым отдельных школ, представляющим разные ответвления современного функционализма. Для того, чтобы разобраться в конкретном содержании каждой из этих составляющих, предложу сперва некое общее определение дискурса, чтобы затем показать также **место** отдельных составляющих в общей совокупности его признаков и — тем самым — в их иерархии. Итак, на наш взгляд, дискурс может быть определен как такая форма использования языка в реальном (текущем) времени (*on-line*), которая отражает определенный тип социальной активности человека, создается в целях конструирования особого мира (или — его образа) с помощью его детального языкового описания и является в целом частью процесса коммуникации между людьми, характеризуемого, как и каждый акт коммуникации, участниками коммуникации, условиями ее осуществления и, конечно же, ее целями.

Поскольку **тип дискурса** детерминирован типом той социальной активности человека, в рамках которой он осуществляется и с целями которой он **согласуется**, следует сказать, что сами типы подобной активности исторически обусловле-

ны и напрямую связаны с уровнем развития общества и его культурой. Дискурс есть всегда детище своего времени, то есть весь стиль проведения дискурсивной деятельности, все его особенности определяются прежде всего состоянием общества и теми социальными ролями, которые в этом обществе может играть человек. Очевидно, что именно от этого фактора, который в общем можно считать историко-культурологическим, зависит, в каких видах деятельности и типах социальной активности принимает в них отдельный человек или же отдельные группы людей. В разъяснении этой позиции свою существенную роль могли бы сыграть антропологи, культурологи, историки и т. д., ибо только они могут перечислить возможные роли человека в структуре соответствующего общества помимо его роли в качестве представителя семейных или клановых отношений.

Соответственно сказанному, в характеристику дискурса входит историческая составляющая с ее реальным временем и — что особенно важно — составляющая, указывающая на тот тип социальной активности, в рамках которой описывается дискурс. Дискурсивная деятельность носит отчетливо выраженный специализированный характер, т. е. не может быть описанной вне указания на «среду» ее проявления — бытовую, научную, профессиональную (со всеми ее разновидностями) и т. д. Иначе говоря, дискурс проводится в рамках особого социального контекста (его определение см., например, в работах Т. А. Ван Дейка [Дейк 1989 и Караулов, Петров 1989]).

Как указывают Р. Харре и Г. Жиллет, в антропологической парадигме современной науки подчеркивается, что дискурсивные явления имеют место и время в особой среде, какой оказывается социально-психологическое, а не только чисто физическое пространство.

В своей знаменитой работе о трояком аспекте языковых явлений Л. В. Щерба пророчески и провидчески указал на то, что сами языковые явления должны рассматриваться и как особый языковой материал, и как средства проведения речевой деятельности, и, наконец, как элементы системы языка. При этом речевая деятельность протекает, по его мнению, «не иначе как в социальных условиях», а целью ее является особое сообщение [Щерба 1974: 29]. В этой традиции выдержано и прекрасное определение дискурса у Н. Д. Арутюновой: дискурс есть речь, погруженная в жизнь [Арутюнова 1997: 137].

Из сказанного логически вытекает и формула «дискурс — это особая форма **использования** языка». Анализ дискурса, — писали в начале 80-х гг. Г. Браун и Г. Юл, — это анализ употребления языка, а следовательно, анализ, ориентированный на познание главных функций языка в конкретных их проявлениях; такими функциями могут быть и интеракционные и трансакционные, т. е. соответствующие взаимодействию людей с помощью языка, с одной стороны, и передаче определенного содержания в этом общении, с другой. Дискурс создает текст, который, таким образом, оказывается регистрацией (record) коммуникативного акта, осуществленного в устной или же письменной форме [Brown, Yule 1983: 1 и сл.].

Использование языка (см. также подробнее о сущности понятия «использования» у В. З. Демьянкова [Демьянков 2000: 54 и сл., особ. 57]) осуществляется, конечно, в особых целях — «для выражения особой ментальности» [Степанов 1995: 38–39]; это не только язык в действии, но и язык как компонент определенной социальной деятельности людей, как неперенная составная часть самой этой деятельности, носящей, естественно, отпечаток своего времени, как уже было подчеркнуто ранее. При введении в понятие дискурса этих факторов в фокусе внимания оказываются сразу несколько составляющих понятия (в принципе их можно было бы представить и в виде определенного фрейма): использование языка есть **процессуальная деятельность**, у которой есть все динамические характеристики деятельности как таковой, есть **средства** ее осуществления, есть ее **результат** (текст), но главное, **исполнители и их цели**.

Отметим теперь некоторые особенности описываемой нами деятельности. Динамические характеристики дискурса позволяют называть его коммуникативным событием [van Dijk 1997: 2 и сл.]. Такое событие происходит в **реальном времени, on-line** (ср. [Кибрик 1994: 126–127]), и потому фактор времени и «привязанность» ко времени, в рамках которого протекает дискурс, — это его важнейшее свойство (ср. [Дымарский 1998]). Некоторые ученые утверждают на этом основании, что древние тексты не могут быть изучены как дискурс. Думается, однако, что это положение нуждается в некоторой оговорке: так, исследуя, например, речи Цицерона, можно сделать и некоторые заключения о их дискурсивных особенностях, т. е. особенностях использования языка в поставленных им целях и в определенном историческом контексте. Иначе говоря, мы ставим себя в положение исследователя, который наблюдает за развитием логики повествования, делает свои заключения о выборе средств для решения возникающих задач и в этом смысле **восстанавливает ход протекания** деятельности, которая в обычном случае **наблюдаема непосредственно**.

Не случайно поэтому для многих исследователей дискурсивная деятельность ассоциируется с **устной речью**. Особенно интересны в этом отношении пионерские исследования У. Чейфа, по поводу которых А. А. Кибрик справедливо замечает: «Несомненно, устный язык является более фундаментальным видом языка, нежели письменный, и любая интегральная модель языка должна как минимум принимать его во внимание», колоссальная же «гипертрофия письменного языка в качестве лингвистического материала... не оправдана ничем, кроме легкодоступности этого материала и инерции лингвистов» [Кибрик 1994: 128–129]. Трактовка дискурса как устной речи, противопоставленной письменной (ср. также [Шейгал 2000: 10] или [Макаров 1998: 70 и сл.]) тесно связана с обычным значением слова **дискурс** (беседа, разговор и т. п.), но она не может быть поддержана из-за невозможности строгого различения указанных форм речи по присущим им стилям построения текста (ср., например, доклады на международных конгрес-

сах, которые сперва зачитываются, а затем публикуются в виде письменных текстов).

Не исключено, что дискурсивные исследования ориентированы сегодня в ряде школ прежде всего на выяснение особенностей живой устной речи, и это понятно, учитывая ту роль, которую играет речевое общение в повседневной жизни. Не следует забывать, однако, что именно письменным текстам мы обязаны еще большим: в описаниях мира, научных руководствах и учебниках, в массе публикаций на разные темы и на разных языках мы встречаемся с зафиксированными свидетельствами работы человеческой мысли и отражением опыта человека, деятельности по осмыслению мира и его оценке. Если вдуматься, какая часть наших знаний приходит к нам через тексты, — а за каждым текстом стоит дискурсивная деятельность отдельно взятого человека или же группы людей, — становится понятным, насколько важно исследование дискурса как отраженного в письменном виде и приобретающего форму текста/текстов.

С появлением компьютера и интернета, с появлением рекламы в виде бегущих строк, в частности, — со всеми этими ныне привычными формами коммуникации нашего времени, визуальный ряд приобретает все большую значимость в передаче информации, а включение в него языка совместно с изображениями, рисунками, киноматериалами, клипами и т. п. позволяет думать о том, что трудно отдать пальму первенства в изучении дискурса письменной или же устной форме коммуникации.

По той же причине, как кажется, использование языка может в равной степени отражать и монологическую и диалогическую речь, хотя и с большим акцентом на диалогичность как на **интеракциональность** дискурса. По сути своей дискурс представляет собой форму общения людей, т. е. речемыслительный процесс интерперсонального характера. Дискурс **адресатен** как тогда, когда он имеет место в бытовом общении и когда отправитель — получатель/получатели вступают в отношения непосредственного контакта (face-to-face), так и тогда, когда он осуществляется в совсем ином режиме — при обращении одного оратора к коллективу (с четкими или же, напротив, весьма размытыми границами его физического существования) и т. п. Дискурс так же несомненно и **интенционален**, т. е. при его характеристике играют огромную роль его, так сказать, исполнители — и отправитель/отправители и получатель/получатели, разные по своим личностным свойствам — полу, возрасту, социальным ролям и ролям в дискурсе (ср., например, работы Л. П. Крысина).

С интенциональностью вступающего в дискурсивную деятельность человека связано и ее **целеполагание**. Несмотря на очевидную возможность преследовать в дискурсивной деятельности самые различные цели (что, кстати говоря, было особенно ясно продемонстрировано в теории речевых актов), здесь важно подчеркнуть некоторые общие моменты в постановке человеком определенных задач.

Предназначенный для решения определенных социальных проблем, или даже уже — социального заказа — это использование языка «для выражения особой ментальности» [Степанов 1995: 38–39], или, как это еще было отмечено В. З. Демьянковым в его определении дискурса, он «создает общий контекст, описывающий лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т. п., определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который «строится» по ходу развертывания дискурса» [Демьянков 1982: 7]. За каждым типом дискурса проступает свой «возможный мир», действия и объекты в котором оцениваются и осмысливаются по логике этого (воображаемого и, в общем, конструируемого человеком) мира. Близость этого возможного мира к реально существующему может принимать самую разную форму (от достаточно адекватного его отражения до полного искажения, от следования правде или истинности фактов до вымысла, фантазии, от погруженного в прошлое — до предполагаемого, желательного или же неизбежного в будущем и т. д.). Можно вполне говорить поэтому о «мире дискурса» и восстанавливать — по языковым данным или же по ассоциациям с этими данными — его специфические черты (ср. работы А. П. Бабушкина).

В связи с рассмотрением концепта интенциональности как составляющей в понятии дискурса следует учесть, по всей видимости, еще одну его сторону. Нередко указывают, что конкретный тип дискурса создает своего **идеального адресата** (в отличие от просто «воспринимающего» дискурс) и, действительно, дискурс рассчитан на определенную аудиторию. Не менее важно, однако, что у такого дискурса есть и его «создатель», который в построении своей речи должен учитывать и психологию, и возраст, и другие прагматические свойства адресата.

Утверждая, что дискурс адресатен, мы учитываем интеракцию, взаимодействие партнеров по коммуникации, в частности, разделяемые ими знания, мнения, установки, оценки ситуации т. п. Некоторые типы дискурса характеризуются более его ориентацией на говорящего (например, когда в качестве осуществляющего политический дискурс оказываются некие лидеры, политические фигуры с определенным социальным статусом), тогда как другие — на слушающего/слушающих (например, лекции). Любопытно также, что в некоторых типах дискурса приходится говорить об «исчезновении (его) авторства» — наряду с «исчезновением ответственности» за произносимое. Этот признак признается П. Серио за один из главных в прекрасной книге о советском политическом дискурсе. Но есть и другие ситуации, когда автор дискурса неизвестен или же когда в его роли выступает некий коллектив говорящих (ср. президентские речи, которые обычно пишутся специальными командами политологов и социологов). Отсюда один шаг — и возникает тема «бессубъектного дискурса» (ср., например, [Ревзина 1991: 27]). Ясно, что такая ситуация типична не для простого речевого общения, а для более специфических типов дискурса (ср. в то же время анекдоты). По всей видимости, для каждого типа дискурса следует строить его собственную модель, и лишь при

этом условии появляется возможность представить «язык в языке» как особую и социальную, и лингвистическую данность и через язык воссоздавать картину «возможного мира», представленную в этом типе дискурса.

Обращаясь к лингвистической стороне дискурса, следует предусмотреть целый круг проблем, сопряженных с его лингвистическим анализом. Во-первых, языковые формы, из которых строится/построен дискурс, дают основания судить (при его восприятии) о том, что ими выражено на **трех** уровнях — на семантическом (ибо обозначены участники описываемого, наличествующие объекты, обстоятельства совершаемого действия и т. д. и т. п.), на прагматическом (ибо полная интерпретация следующих друг за другом высказываний предполагает установление их речеактовых характеристик: иллокутивной силы, намерений говорящего и т. п., т. е. вычленение информации именно прагматического толка) и, наконец, на интеракциональном (по последствиям для поведения партнеров по речи). Такова, например, модель когнитивной обработки дискурса у ван Дейка. Для такой интерпретации дискурса человеком необходимы, конечно, не только знания о языке, но и знания о мире и ситуации общения. Это означает, что в ходе лингвистического анализа сведения лингвистического порядка постоянно соотносятся с другими типами знания, а также с теми знаниями опытного порядка, которые хранятся в эпизодической памяти человека.

Если дискурс предстает как сложная система иерархии разных типов знания, в его исследовании, во-вторых, заметное место начинает занимать проблема типов знаний или видов информации, представляемых в дискурсе и извлекаемых из него в процессе общения. Существующая значительная специальная литература (см. подробнее [Лузина 2000]) посвящается как дифференциации самих типов информации и их классификации (ср., например, противопоставление информации, вводимой в дискурс преднамеренно или же непреднамеренно, что связывают обычно с возможностями слушающего воспринять не то или не совсем то, что входило в намерение говорящего [Schiffirin 1994: 392]), так и чрезвычайно важной для когнитолога проблеме **инференции**, выводного знания. Ведь весь процесс понимания текста и дискурса можно считать **инференционным**, т. е. построенном на умозаклчениях адресата речи, который на основе знаний языка и знаний мира догадывается о том, что, на первый взгляд, остается «за текстом» и не выражено в буквальном значении языковых форм (ср. [Кубрякова 1996; Диброва 1997]). Именно в результате постоянной когнитивной обработки текста дискурса слушающий делает свои выводы о том, какой фрагмент действительного или вымышленного мира изображается или описывается говорящим и отчего это должно быть для него чрезвычайно существенным. Целый ряд когнитологов рассматривают в этой связи когнитивные механизмы обработки дискурса и общие принципы построения когнитивной модели подобной обработки, вводя для этого специальные понятия (стратегии, схемы, активацию сознания или его фокусировку и т. п.), но в данной работе нас интересует иное, и, завершая ее, мы

вернемся еще раз к тому, в-третьих, что уже говорили о сущности понятия дискурса. В дискурсе отражается и строится один из «возможных миров», а для того, чтобы сделать это и объективировать намерение говорящего и его ментальность, используются **особые языковые средства**. Использование языка сказывается здесь в том, что решение всякого смыслового задания требует активизации вполне определенных черт языка, и из существующего альтернативного ряда средств, из имеющегося набора разных возможностей и приемов **выбираются** или **строятся** конкретные языковые формы. Можно говорить в этой связи о том, что разные типы дискурса требуют разной грамматики и разной лексики, и они их создают (ср. [Степанов 1995: 38–39]). По-видимому, в лингвистическом анализе дискурса демонстрация этого своеобразия и составляет главную его цель.

Чем сложнее типы дискурса, чем в более сложную деятельность человека «погружен» дискурс, тем более сложные правила грамматики вступают в действие и тем более сложные принципы моделирования новой лексики набирают свою силу. У этого явления надо обратить внимание еще на одну его сторону (т. е. не только на выбор из существующей системы определенных ее черт, участков, правил и т. д.): мы много говорили о том, что каждый естественный язык создает свою языковую картину мира, что он создает свой собственный образ ментального мира людей, диктующий, в свою очередь, говорящим на определенном языке особый способ или стиль мировосприятия. В итоге у каждого языка складывается своя система **воздействия** на человека, особенно заметная в области концептуализации и категоризации мира. Присутствуя и на сознательном, а, по всей видимости, и на **подсознательном** уровнях, это воздействие следует изучать и на материале тех специальных форм языка, которые характеризуют разные типы дискурса. В этой связи следовало бы напомнить работы лингвистов не только о языковой картине мира, что, конечно, напрашивается само собой, но и работы о собственно языковой интерпретации ситуаций, событий и предметов разными языковыми формами у А. В. Бондарко, работы когнитологов о том, как язык конструирует мир, работы о разноструктурных средствах номинации в языке, работы о понятии суггестивно-магической функции языка у Л. Н. Мурзина и, наконец, работы по прагматике.

Когда лингвисты приступили к изучению такого объекта, как текст, В. А. Звегинцев, характеризуя состояние лингвистики тех лет, употребил понятие «расширяющейся вселенной». Лингвистика и сейчас переживает период такого экспансионизма. Можно, однако, полагать, что благодаря рассмотрению «новых реальностей языка» выигрывает не только лингвистика: предлагаемая в ней трактовка дискурса важна и для других гуманитарных дисциплин, а также для развития когнитивной науки. Думается вместе с тем, что сам по себе когнитивный подход оказался плодотворным и здесь, где он служил разъяснению такого сложного и междисциплинарного понятия, каким является понятие дискурса.



## ЛИТЕРАТУРА

- Аверинцев 1988 — *Аверинцев С. С.* Попытки объясниться. М., 1988.
- Агеева 1984 — *Агеева Р. А.* Категория пространства и способы ее выражения в языке // Категории и законы марксистско-ленинской диалектики и язык: сб. научно-аналитических обзоров. М., 1984.
- Аполлонская и др. 1987 — *Аполлонская Т. Л., Глейбман Е. В., Маноли И. З.* Порождающие и распознающие механизмы функциональной грамматики. Кишинев, 1987.
- Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.
- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Арутюнова 1990 — *Арутюнова Н. Д.* Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 136–137.
- Бабенко, Васильев, Казарин 2000 — *Бабенко Л. Г., Васильев И. Е., Казарин Ю. В.* Лингвистический анализ художественного текста. Екатеринбург, 2000.
- Бабушкин 1996 — *Бабушкин А. П.* Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996.
- Базарова 1999 — *Базарова Б. Б.* Концептуальный анализ частицы IN в современном английском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1999.
- Балли 1955 — *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
- Баранова 1998 — *Баранова К. М.* Разноструктурные средства описания однотипных ситуаций в современном английском языке (на материале конструкций, выражающих идею притяжательности): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1998.
- Баранова 2000 — *Баранова К. М.* Разноструктурные средства выражения посессивности в современном английском языке. М., 2000.

- Бардина 1997 — *Бардина Н. В.* Языковая гармонизация сознания. Одесса, 1997.
- Барсук 1999 — *Барсук Л. В.* Категоризация как психолингвистическая модель установления референции // Психолингвистические проблемы функционирования слова в лексиконе человека. Тверь, 1999. С. 21–55.
- Барт 1989 — *Барт Р.* От произведения к тексту // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 413–423.
- Бахтин 1979 — *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Бейтс 1984 — *Бейтс Э.* Интенции, конвенции, символы // Психолингвистика: Сб. ст. М., 1984. С. 50–102.
- Беляевская 2000 — *Беляевская Е. Г.* О характере когнитивных оснований языковых категорий // Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. Рязань, 2000. С. 9–14.
- Берестнев 1997 — *Берестнев Г. И.* О «новой реальности» языкознания // Филологические науки. 1997. № 4. С. 47–55.
- Болдырев 1994 — *Болдырев Н. Н.* Категориальное значение глагола. СПб., 1994.
- Борте 1980 — *Борте Л. В.* Речевые закономерности, обусловленные взаимодействием частей речи. Кишинев, 1980.
- Боярская 1999 — *Боярская Е. Л.* Когнитивные основы формирования новых значений полисемантических существительных современного английского языка: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1999.
- Булдыгина 1983 — *Булдыгина Т. В.* Комментарий // Семиотика. М., 1983. С. 594–604.
- Ван Дейк 1989 — *Ван Дейк Т.* Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Вендлер 1981 — *Вендлер З.* О слове *good* // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
- Виноградов 1991 — *Виноградов В. А.* Иерархия категорий в грамматической типологии // Proc. of the Fourteenth Intern. Congr. of linguists. B., 1991.
- Виноградов 1993 — *Виноградов В. А.* Категориальная типология и языковой тип. М., 1993.
- Воробьева 1993 — *Воробьева О. П.* Текстовые категории и фактор адресата. Киев, 1993.
- Всеволодова 1982 — *Всеволодова М. В., Владимирский Е. Ю.* Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. М., 1982.
- Гак 1998 — *Гак В. Г.* Языковые преобразования. М., 1998.
- Гадамер 1991 — *Гадамер Г. Г.* Философские основания XX века // *Гадамер Г. Г.* Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Гальперин 1981 — *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
- Гибсон 1988 — *Гибсон Дж.* Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
- Горелов 1987 — *Горелов И. Н.* Вопросы теории речевой деятельности. Таллинн, 1987.
- Гуревич 1972 — *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972.

- Демьянков 1982 — *Демьянков В. З.* Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 2. Методы анализа текста // Всесоюзный центр переводов. Тетради новых терминов. М., 1982.
- Демьянков 1992 — *Демьянков В. З.* Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория // Язык и структуры представления знаний. М., 1992.
- Демьянков 2000 — *Демьянков В. З.* Функционализм в зарубежной лингвистике конца XX в. // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. обзоров. М., 2000. С. 26–136.
- Диброва 1997 — *Диброва Е. И.* Пространство текста // Категоризация мира: пространство и время. М., 1997. С. 34–36.
- Долинин 1994 — *Долинин К. А.* Текст и произведение (о статье М. Я. Дымарского «Метафора текста») // Русский текст. 1994. № 2. С. 7–16.
- Дымарский 1993 — *Дымарский М. Я.* Метафора текста // Русский текст. № 1. 1993. С. 11–25.
- Дымарский 1998 — *Дымарский М. Я.* Текст — дискурс — художественный текст // Текст как объект многоаспектного исследования. Науч.-методол. Семинар «Textus». Вып. 3. Ч. 1. СПб.; Ставрополь, 1998. С. 18–26.
- Жаботинская 1992 — *Жаботинская С. А.* Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных. М., 1992.
- Жаботинская 2000 — *Жаботинская С. А.* Концептуальная модель частеречных систем: фрейм и скрипт // Когнитивные аспекты языковой категоризации. Рязань, 2000. С. 15–20.
- Жинкин 1982 — *Жинкин Н. И.* Речь как проводник информации. М., 1982.
- Заботкина 1997 — *Заботкина В. И.* Роль инференции в акте порождения нового значения слова // К юбилею ученого: Сб. науч. трудов, посвященных юбилею доктора филологических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборатории теоретического языкознания РАН Е. С. Кубряковой. М., 1997. С. 66–68.
- Залевская 1978 — *Залевская А. А.* Вопросы организации лексикона человека в лингвистических и психологических исследованиях. Калинин, 1978.
- Залевская 1985 — *Залевская А. А.* Информационный тезаурус человека как база речемыслительной деятельности // Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985. С. 150–171.
- Залевская 1999а — *Залевская А. А.* Введение в психолингвистику. М., 1999.
- Залевская 1999б — *Залевская А. А.* Специфика психолингвистического подхода к анализу языковых явлений // Психолингвистические проблемы функционирования слова в лексиконе. Тверь, 1999. С. 6–20.
- Зачесова, Подклетнова 1985 — *Зачесова И. А., Подклетнова И. М.* О структуре словесной памяти // Психологические и психофизиологические исследования речи. М., 1985. С. 95–109.
- Знание языка 1991 — *Знание языка и языкознание: Сб. ст.* М., 1991.

- Иванов 1985а — *Иванов Вяч. Вс.* О взаимоотношении динамического исследования эволюции языка, текста и культуры // Исследования по структуре текста. М., 1985. С. 5–26.
- Иванов 1985б — *Иванов Вяч. Вс.* Лингвистический путь Романа Якобсона // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
- Ирисханова 2000 — *Ирисханова О. К.* Некоторые особенности категоризации отглагольных имен существительных // Когнитивные аспекты языковой категоризации. Рязань, 2000. С. 62–69.
- Ирисханова 2001 — *Ирисханова О. К.* О теории концептуальной интеграции // Изв. РАН. СЛЯ. Т. 60. 2001. № 3. С. 44–49.
- Исследования 1993 — Исследования по глаголу в славянских языках / Под ред. А. Бартошевича, Е. В. Петрухиной. Варшава, 1993.
- Казарин 1999 — *Казарин Ю. В.* Поэтический текст как система. Екатеринбург, 1999.
- Каменская 1990 — *Каменская О. Л.* Текст и коммуникация. М., 1990.
- Карасик 2002 — *Карасик В. И.* Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002.
- Караулов 1988 — *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1988.
- Караулов, Петров 1989 — *Караулов Ю. Н., Петров В. В.* От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // *Ван Дейк Т. А.* Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 5–11.
- Касевич 1998 — *Касевич В. Б.* О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и теория грамматики. СПб., 1998. С. 14–21.
- Категоризация мира: пространство и время. Материалы научной конференции. М., 1997.
- Категории 1987 — Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике. Фреймы и сценарии. М., 1987.
- Кибрик 1994 — *Кибрик А. А.* Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания. № 5. 1994. С. 126–139.
- Кибрик 2003 — *Кибрик А. А.* Анализ дискурса в когнитивной перспективе: Дисс. в виде науч. докл. на соискание ученой степени докт. филол. наук. М., 2003.
- Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. Ч. I–II. Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике. Тамбов, 1998.
- Когнитивные аспекты 2000 — Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. Рязань, 2000.
- Комри 1985 — *Комри Б.* Номинализация в русском языке: словарно задаваемые именные группы или трансформированные предложения? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985. С. 42–49.
- Кравченко 1996а — *Кравченко А. В.* Язык и восприятие. Когнитивные аспекты языковой категоризации. Иркутск, 1996.

- Кравченко 1996б — *Кравченко А. В.* Когнитивные структуры прост-ранства и времени в естественном языке // Изв. РАН, СЛЯ. 1996. Т. 55. № 3.
- Кругликов 1987 — *Кругликов Р. И.* Творчество и память. Интуиция, логика, творчество. М., 1987. С. 23–35.
- Кубрякова 1967 — *Кубрякова Е. С.* К вопросу о пространственном моделировании лингвистических систем // Вопросы языкознания. 1967. № 2.
- Кубрякова 1972 — *Кубрякова Е. С.* Словообразование // Общее языкознание. М., 1972. С. 344–393.
- Кубрякова 1974 — *Кубрякова Е. С.* Основы морфологического анализа. М., 1974.
- Кубрякова 1976 — *Кубрякова Е. С.* Текст и синхронная реконструкция словообразовательного акта // Лингвистика текста. Науч. тр. МГПИИЯ. Вып. 103. М., 1976. С. 23–32.
- Кубрякова 1978 — *Кубрякова Е. С.* Части речи в ономасиологическом освещении. М., 1978.
- Кубрякова 1980 — *Кубрякова Е. С.* Семантика производного слова // Аспекты семантических исследований. М., 1980.
- Кубрякова 1981 — *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
- Кубрякова 1986 — *Кубрякова Е. С.* Номинативный аспект речевой деятельности. М., 1986.
- Кубрякова 1991а — *Кубрякова Е. С.* Обеспечение речевой деятельности и проблема внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М., 1991. С. 82–140.
- Кубрякова 1991б — *Кубрякова Е. С.* Роль номинации в онтогенезе семантического компонента речевой деятельности и проблемы соотношения значения и обозначения на ранних стадиях развития речи // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. М., 1991.
- Кубрякова 1993 — *Кубрякова Е. С.* Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания. 1993. № 4. С. 18–28.
- Кубрякова 1994а — *Кубрякова Е. С.* Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. Т. 53. 1994. № 2. С. 3–15.
- Кубрякова 1994б — *Кубрякова Е. С.* Производные слова с когнитивной точки зрения // Словообразование и лексические системы в разных языках. Вып. 1. Уфа, 1994. С. 39–46.
- Кубрякова 1994в — *Кубрякова Е. С.* Текст и его понимание // Русский текст. 1994. № 2. С. 18–27.
- Кубрякова 1994г — *Кубрякова Е. С.* Начальные этапы становления когнитивизма. Лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 4.

- Кубрякова 1996а — *Кубрякова Е. С.* Инференция // *Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г.* Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. С. 33–35.
- Кубрякова 1996б — *Кубрякова Е. С.* Понимание текста: инференция и области ее действия // Семантика языковых единиц: Доклады Международной конференции. Т. 1. М., 1996. С. 20–23.
- Кубрякова 1997 — *Кубрякова Е. С.* Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) Изв. РАН, СЛЯ. 1997. Т. 56. № 3. С. 22–31.
- Кубрякова 1998а — *Кубрякова Е. С.* О новых путях исследования значения (теория айсберга) // Проблемы семантического описания единиц языка и речи: Материалы международной конференции. Минск, 1998. Ч. 1. С. 38–39.
- Кубрякова 1998б — *Кубрякова Е. С.* Когнитивные аспекты процессов деривации // Фатическое поле языка: Памяти профессора Л. Н. Мурзина. Пермь, 1998. С. 45–51.
- Кубрякова 2000 — *Кубрякова Е. С.* О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике: (Обзор) // Дискурс, речь, речевая деятельность. Функциональные и структурные аспекты: Сб. обзоров. М., 2000. С. 7–25.
- Кубрякова 2001 — *Кубрякова Е. С.* О роли предиката в организации производных слов // Исследования по языкознанию: К 70-летию члена-корреспондента РАН А. В. Бондарко. СПб., 2001. С. 303–307.
- Кубрякова, Александрова 1997 — *Кубрякова Е. С., Александрова О. В.* Виды пространства текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время. Матер. науч. конф. М., 1997. С. 15–26.
- Кубрякова, Александрова 1999 — *Кубрякова Е. С., Александрова О. В.* О контурах новой парадигмы знания в лингвистике // Структура и семантика художественного текста. Доклады VII Междунар. конф. М., 1999. С. 186–197.
- Кубрякова и др. 1996 — *Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г.* Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- Кун 1977 — *Кун Т.* Структура научных революций. М., 1977.
- Курилович 1962 — *Курилович Е.* Заметки о значении слова // *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962.
- Лазарев 1999 — *Лазарев В. В.* К теории обыденного / когнитивного познания (от Коперника к Птоломею) // Вестник Пятигорского гос. лингв. ун-та. № 2. Пятигорск, 1999. С. 25–34.
- Лакофф 1981 — *Лакофф Дж.* Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. Лингвистическая семантика. М., 1981. С. 350–368.
- Лакофф 1988 — *Лакофф Дж.* Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. М., 1988. С. 12–51.
- Лебедев 1985 — *Лебедев А. Н.* Единицы памяти и связанные с ними особенности речи // Психологические и психофизиологические исследования речи. М., 1985. С. 26–44.

- Леонтьев 1969 — *Леонтьев А. А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.
- Леонтьев 1979 — *Леонтьев А. Н.* Психология образа // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1979. № 2.
- Леонтьева 1976 — *Леонтьева А. Н.* О путях исследования восприятия // Восприятие и деятельность. М., 1976.
- Лосев 1976 — *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
- Лосев 1990 — *Лосев А. Ф.* Комментарий // Платон. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1990. С. 826 и сл.
- Лузина 1996 — *Лузина Л. Г.* Распределение информации в тексте (когнитивный и прагматический аспекты). М., 1996.
- Лузина 2000 — *Лузина Л. Г.* Виды информации в дискурсе // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. обзоров. М., 2000. С. 137–151.
- Лурия 1979 — *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1979.
- Макаров 1998 — *Макаров М. Л.* Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь, 1998.
- Молчанова 1988 — *Молчанова Г. Г.* Семантика художественного текста. Ташкент, 1988.
- Моррис 1983 — *Моррис Ч.* Основания теории языка // Семиотика. М., 1983. С. 37–89.
- Найссер 1980 — *Найссер У.* Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии. М., 1980.
- Никитин 1974 — *Никитин М. В.* Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974.
- Никитин 1982 — *Никитин М. В.* Комментарий // *Палмер Ф.* Семантика. М., 1982.
- Никитин 1996 — *Никитин М. В.* Курс лингвистической семантики. СПб., 1996.
- Николаева 1978 — *Николаева Т. М.* Краткий словарь терминов лингвистики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
- Николаева 1997 — *Николаева Т. М.* Текст // Русский язык: Энциклопедия. 2-е изд. М., 1997. С. 555–556.
- Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* От звука к тексту. М., 2000.
- Ожегов 1987 — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 12-е изд. М., 1987.
- Опарина 2000 — *Опарина Е. О.* Язык — текст — культура // Дискурс, речь, речевая деятельность, функциональные и структурные аспекты: Сб. обзоров. М., 2000. С. 152–170.
- Павилёнис 1983 — *Павилёнис Р. И.* Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М., 1983.
- Панкрац 1992 — *Панкрац Ю. Г.* Пропозициональные структуры и их роль в формировании языковых единиц разных уровней. Минск; М., 1992.
- Переверзев 1998 — *Переверзев К. А.* Высказывание и ситуация: об онтологическом аспекте философии языка // Вопросы языкознания. 1998. № 5. С. 24–52.

- Петрухина 2000 — *Петрухина Е. В.* Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.
- Пирс 1983 — *Пирс Ч. С.* Из работы «Элементы логики. *Grammatica speculative*» // Семиотика. М., 1983. С. 151–210.
- Платон 1990 — *Платон.* Собрание сочинений. Т. 1. М., 1990.
- Позднякова 1999 — *Позднякова Е. М.* Словообразовательная категория имен деятеля в английском языке (когнитивный аспект исследования). М., Тамбов, 1999.
- Полани 1985 — *Полани М.* Личностное знание. М., 1985.
- Попова, Стернин 2000 — *Попова З. Д., Стернин И. А.* Понятие «концепта» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 2000.
- Прибрам 1975 — *Прибрам К.* Языки мозга. М., 1975.
- Психолингвистические проблемы 1999 — Психолингвистические проблемы функционирования слова в лексиконе человека. Тверь, 1999.
- Раевская 1999 — *Раевская О. В.* О некоторых типах дискурсивной метонимии // Изв. РАН. Сер. литературы и языка. Т. 58. 1999. № 2. С. 3–12.
- Рахилина 1998 — *Рахилина Е. В.* Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998. С. 274–323.
- Рахилина 2000 — *Рахилина Е. В.* Когнитивный анализ предметных имен. Семантика и сочетаемость. М., 2000.
- Ревзина 1991 — *Ревзина О.* Язык и дискурс // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. М., 1991. № 1. С. 25–33.
- Резин 1994 — *Резин И. Г.* Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке // Вопросы языкознания. 1994. № 6.
- Рябцева 2002 — *Рябцева Н. К.* Лингвистическое моделирование естественного интеллекта и представление знаний // Проблемы прикладной лингвистики. 2001. М., 2002. С. 228–253.
- Сазонова 2000 — *Сазонова Т. Ю.* Моделирование процессов идентификации слова человеком: психолингвистический подход. Тверь, 2000.
- Сахарный 1991 — *Сахарный Л. В.* Тексты-примитивы и закономерности их порождения // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. М., 1991. С. 221–237.
- Селиванова 2000 — *Селиванова Е. А.* Когнитивная ономаσιология. Киев, 2000.
- Селиверстова 1977 — *Селиверстова О. Н.* Семантический анализ экзистенциальных и посессивных конструкций в английском языке // Категории бытия и обладания в языке. М., 1977.
- Серебрянников 1983 — *Серебрянников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.

- Серебрянников 1988 — *Серебрянников Б. А.* Язык отражает действительность или выражает ее знаковым способом? // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988. С. 70–86.
- Серио 1993 — *Серио П.* В поисках четвертой парадигмы // Фило-софия языка: в границах и вне границ. I. Харьков, 1993.
- Скрелина 1987 — *Скрелина Л. М.* Грамматическая синонимия. Л., 1987.
- Скрэгг 1983 — *Скрэгг Г.* Семантические сети как модели памяти // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983. С. 228–271.
- Слобин 1976 — *Слобин Д.* Психолингвистика // *Слобин Д., Грин Дж.* Психолингвистика. М., 1976. С. 19–215.
- Степанов 1971 — *Степанов Ю. С.* Семиотика. М., 1971.
- Степанов 1977 — *Степанов Ю. С.* Номинация, семантика, семиология (виды семантических определений в современной лексикологии) // Языковая номинация (Общие вопросы). М., 1977. С. 73–98.
- Степанов 1983 — *Степанов Ю. С.* Комментарий. // Семиотика. М., 1983. С. 585–589.
- Степанов 1985 — *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
- Степанов 1987 — *Степанов Ю. С.* Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика. М., 1987.
- Степанов 1991 — *Степанов Ю. С.* Некоторые соображения о проступающих контурах новой парадигмы // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1. Ч. 1. Харьков, 1991. С. 9–10.
- Степанов 1995а — *Степанов Ю. С.* Изменчивый образ языка в науке XX века // Язык и наука 20 века. М., 1995.
- Степанов 1995б — *Степанов Ю. С.* Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 35–73.
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
- Степанов, Булыгина 1983 — *Степанов Ю. С., Булыгина Т. В.* Комментарии // Семиотика. М., 1983.
- Столин 1976 — *Столин В. В.* Исследование порождения зрительного пространственного образа // Восприятие и деятельность. М., 1976.
- Телия 1977 — *Телия В. Н.* О способах вторичной номинации — не прямой и косвенной // Языковая номинация (Общие вопросы). М., 1977. С. 73–98.
- Телия 1991 — *Телия В. Н.* Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.
- Топоров 1983 — *Топоров В. Н.* Пространство и текст // Текст: Семантика и структура. М., 1983.
- Тураева 1986 — *Тураева З. Я.* Лингвистика текста. М., 1986.

- Ушакова 1979 – *Ушакова Т. Я.* Функциональные структуры второй сигнальной системы. М., 1979.
- Фрумкина 1992 – *Фрумкина Р. М.* Сходство и классификация: некоторые общие вопросы // Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1992.
- Фрумкина и др. 1991 – *Фрумкина Р. М., Михеев А. В., Мостовая А. Ю., Рюмина Н. А.* Семантика и категоризация. М., 1991.
- Фундаментальные направления современной американской лингвистики: Сб. обзоров. М.: МГУ, 1997. С. 276 и сл.
- ФЭС 1983 – *Философский энциклопедический словарь.* М., 1983.
- Харитончик 1992 – *Харитончик З. А.* Лексикология английского языка. Минск, 1992.
- Хрисонопуло 1999 – *Хрисонопуло Е. Ю.* Концептуализация отношения «включение» в современном английском языке (на материале глагольной лексики): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Иркутск, 1999.
- Цурикова 2002 – *Цурикова Л. В.* Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации. Воронеж, 2002.
- Чейф 1983 – *Чейф У.* Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983. С. 35–73.
- Чернейко 1997 – *Чернейко Л. О.* Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1997.
- Шведова 1984 – *Шведова Н. Ю.* Об активных потенциях, заключенных в слове // Слово в грамматике и словаре. М., 1984. С. 7–15.
- Шейгал 2000 – *Шейгал Е. И.* Семиотика политического дискурса. М.; Волгоград, 2000.
- Щерба 1974 – *Щерба Л. В.* О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 24–38.
- Эко 1998 – *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.
- Языковая номинация: Тезисы докладов Международной научной конференции. Минск, 1996. С. 10–11, 26 и сл.
- Якобсон 1983 – *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
- Якобсон 1985 – *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
- Яковлева 1994 – *Яковлева Е. С.* Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.
- Abstracts of the International Conference and Summer School. «Cognitive/Communicative Aspects of English». Cherkasy, 1999.
- Adriaens 1993 – *Adriaens G.* Process Linguistics: A cognitive-scientific approach to natural language understanding // Conceptualizations and Mental Processing in Language. Berlin; New York, 1993.
- Bierwisch 1983 – *Bierwisch M.* Semantische und konzeptuelle Repräsentation lexikalischer Einheiten // Untersuchungen zur Semantik / Hrsg. von R. Růžicka und W. Motsch. Berlin, 1983.

- Brown, Yule 1983 – *Brown G., Yule G.* Discourse analysis. Cambridge, 1983.
- Bruner et al. 1956 – *Bruner J. S., Goodnow J. J., Austin G. A.* A study of thinking. N. Y., 1956.
- Carey 1988 – *Carey S.* Lexical development // The making of cognitive science. Cambridge (Mass.), 1988. P. 197–209.
- Carston 1988 – *Carston R.* Language and Cognition // Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. III. Cambridge (Mass.), 1988. P. 38–68.
- Chafe 1996 – *Chafe W.* Beyond beads on strings and branches in a tree // Conceptual structure, discourse and language. Stanford, 1996. P. 49–66.
- Chomsky 1970 – *Chomsky N.* Remarks on Nominalisations // Readings in English Transformational Grammar. Waltham (Mass.), 1970. P. 184–221.
- Chomsky 1986 – *Chomsky N.* Knowledge of language, its nature, origin, and use. N. Y., 1986.
- Cognitive Linguistics 1999 – Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology / Eds T. Janssen, G. Redeker. Berlin; N.Y.: Mouton de Gruyter, 1999.
- Concepts of case – Concepts of case / Ed. R. Dirven, G. Radden. Tübingen, 1987.
- Croft 1991 – *Croft W.* Syntactic categories and grammatical relations. The cognitive organization of information. Chicago, 1991.
- Denny 1988 – *Denny J. P.* Contextualisation and differentiation in cross-cultural cognition // Indigenous Cognition: Functioning in cultural context / Ed. by J. W. Berry et. al. n. p., 1988. P. 213–229.
- Dinsmore 1991 – *Dinsmore J.* Partitioned representations. A study in mental representation, language understanding and linguistic structure. Dordrecht, 1991.
- Dokulil 1962 – *Dokulil M.* Tvoření slov v češtině. 1. Theorie odvozování slov. Praha, 1962.
- Dressler 1987 – *Dressler W. et al.* Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam, 1987.
- Dressler 1987 – *Dressler W.* Introduction // *Dressler W., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W.* Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam, 1987.
- Eckardt 1993 – *Eckardt B. von.* What is cognitive science? Cambridge (Mass.), 1993.
- Ellis, Hunt 1993 – *Ellis H. C., Hunt R.* Reed. Fundamentals of cognitive psychology. Madison (Wisc.), 1993.
- Emmorey, Fromkin 1989 – *Emmorey K. D., Fromkin V. A.* The mental lexicon // Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. III. Cambridge (Mass.), 1989. P. 124–149.
- Fauconnier 1994 – *Fauconnier G.* Mental spaces: aspects of meaning construction in natural language. Cambridge, 1994.
- Fauconnier 1999 – *Fauconnier G.* Methods and Generalizations // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology / Ed. Th. Janssen and G. Redeker. Berlin, 1999. P. 95–124.
- Fodor 1980 – *Fodor J. D.* Semantics. Theories of Meaning in Generative Grammar. Cambridge (Mass.); Harvard Univ. Press, 1980.

- Geeraerts 1993 – *Geeraerts D.* Cognitive semantics and the history of philosophical epistemology // *Conceptualizations and Mental Processing in Language* / Eds. R. A. Geiger, Br. Rudzka-Ostin. Berlin; N.Y., 1993. P. 53–79.
- Givón 1989 – *Givón T.* Mind, code and context. Essays in pragmatics. Hillsdale, 1989.
- Gleitman, Gleitman, Landau, Wanner 1989 – *Gleitman L. R., Gleitman H., Landau B. and Wanner E.* Where learning begins: initial representation for language learning // *Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. III.* Cambridge, 1989.
- Gorayska 1993 – *Gorayska B.* Reflections: A Commentary on «Philosophical implications of cognitive semantics» // *Cognitive Linguistics.* 1993. Vol. 4. № 1. P. 47–53.
- Hall 1992 – *Hall C. J.* Morphology and Mind: a unified approach to explanation in linguistics. Lnd., 1992.
- Hampton, Dubois 1993 – *Hampton J., Dubois D.* Psychological Models of Concepts // *Categories and Concepts* / Eds. Iven van Mechelen and oth. Devon, 1993.
- Harder 1999 – *Harder P.* Partial Autonomy: Ontology and Methodology in Cognitive Linguistics // *Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology.* Berlin; N. Y., 1999. P. 195–222.
- Harman 1988 – *Harman G.* Cognitive science? // *The making of cognitive science* / Ed. W. Hirst. Cambridge (Mass.), 1988. P. 258–268.
- Harre, Gillett 1994 – *Harre R., Gillett G.* The discursive mind. London, 1994.
- Harris 1952 – *Harris Z. S.* Discourse analyses // *Language.* Vol. 28. 1952. № 1. P. 1–30.
- Heine, Claudi, Hünnemeyer 1991 – *Heine B., Claudi U., Hünnemeyer F.* Grammaticalization. A conceptual framework. Chicago; London, 1991.
- Herbermann 1981 – *Herbermann Cl.-P.* Wort, Basis, Lexem und die Grenze zwischen Lexicon und Grammatik. Eine Untersuchung am Beispiel der Bildung Komplexer Substantive. München, 1981.
- Hudson 1997 – *Hudson R.* Inherent variability and linguistic theory // *Cognitive Linguistics.* 1997. Vol. 8. № 1. P. 73–108.
- Hudson, van Langendonck 1991 – *Hudson R. A., van Langendonck W.* Word grammar // *Linguistic theory and linguistic description.* Amsterdam, 1991. P. 307–335.
- Jackendoff 1984 – *Jackendoff R.* Sense and reference in a psychologically based semantics // *Talking Minds: The study of language in Cognitive Science.* Cambridge (Mass.), 1984. P. 49–72.
- Jackendoff 1993 – *Jackendoff R.* Semantics and Cognition. Cambridge (Mass.), 1993.
- Jackendoff 1997 – *Jackendoff R.* The Architecture of the Language Faculty. Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1997.
- Jakobson 1971 – *Jakobson R.* Selected writings. V. II: Word and language. The Hague; Paris, 1971.
- Johnson 1987 – *Johnson M.* The Body in the Mind. The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago, 1987.
- Johnson 1993 – *Johnson M.* Why cognitive semantics matters to philosophy // *Cognitive Linguistics.* 1993. Vol. 4. № 1. P. 62–74.

- Johnson-Laird 1988 – *Johnson-Laird Ph. N.* On opening the dictionary // The making of Cognitive Science. Cambridge (Mass.), 1988. P. 186–209.
- Kamp, Partee 1955 – *Kamp H., Partee B.* Prototype theory and compositionality // Cognition. 1955. Vol. 57.
- Keie 1979 – *Keie F.* Semantic and conceptual Development. Cambridge (Mass.), 1979.
- Kintsch 1977 – *Kintsch W.* Memory and cognition. N. Y., 1977.
- Kirkeby 1994 – *Kirkeby O. F.* Cognitive Science // The Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. II / Ed. by R. E. Asher. Oxford, 1994.
- Klix 1991 – *Klix F.* On stationary and inferential knowledge // Abstr. of the XXII-nd International Congress of Psychology. Leipzig, 1991.
- Lakoff 1987 – *Lakoff G.* Women, Fire and Dangerous Things: What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1987.
- Landau 1994 – *Landau B.* Where's what and what's where: The language of objects in space // *Lingua*, 1994.
- Langacker 1987 – *Langacker R. W.* Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical Prerequisites. Stanford, 1987.
- Langacker 1991 – *Langacker R. W.* Concept, image, and symbol. The cognitive basis of grammar. Berlin, 1991.
- Langacker 1999 – *Langacker R. W.* Assessing the cognitive linguistic enterprise // *Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology* / Eds T. Janssen, G. Redeker. Berlin; N.Y., 1999. P. 13–59.
- Levelt 1989 – *Levelt W.* Speaking: From intention to articulation. Cambridge (Mass.), 1989.
- Lyons 1978 – *Lyons J.* Basic problems of semantics // Proc. Of the Twelfth Intern. Congr. of linguists. Innsbruck, 1978.
- McShane 1991 – *McShane J.* Cognitive development. An Information Processing Approach. Oxford, 1991.
- Maienborn 2000 – *Maienborn Cl.* Modification and Underspecification: A free variable account of locative Modifiers // *ZAS Papers in Linguistics*. Vol. 17. Berlin, 2000, Sept.
- Marslen-Wilson 1992 – *Marslen-Wilson W.* Mental lexicon // *International Encyclopedia in Linguistics*. Vol. 3. N.Y., 1992. P. 273–275.
- Mechelen, Michalski 1993 – *Mechelen Iven van, Michalski R. S.* General Introduction // *Categories and Concepts* / Ed. Iven van Mechelen and oth. Devon, 1993. P. 1–8.
- Miller, Johnson-Lairs 1976 – *Miller G. A., Johnson-Laird Ph. N.* Language and Perception. Cambridge (Mass.), 1976.
- Neisser 1992 – *Neisser U.* Two themes in the study of cognition // *Cognition: conceptual and methodological issues*. Washington, 1992.
- New vistas in grammar – *New vistas in grammar: Invariance and variation* / Ed. L. R. Waugh, St. Rudy. Amsterdam, 1991.

- Nolan 1994 – *Nolan R.* Cognitive practices. Human language and human knowledge. Oxford, 1994.
- Noordman 1979 – *Noordman Vonk W.* Retrieval from semantic memory. Berlin, 1979.
- Nyuts 1992 – *Nyuts J.* Aspects of a cognitive-pragmatic theory of language. On cognition, functionalism and grammar. Amsterdam, 1992.
- Osgood 1984 – *Osgood Ch. E.* Toward an abstract performance grammar // Talking minds: The study of language in cognitive Science. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1984. P. 147–179.
- Paprotté 1993 – *Paprotté W.* Requirements for a computational lexicon: a cognitive approach // Conceptualizations and Mental Processing in Language. Berlin, 1993. P. 171–200.
- Petöfi 1987 – *Petöfi J. S.* Some aspects of the construction of text meaning from the point of view of reception // Vorabdruck der Plenarvorträge. XIV. Internationaler Linguistenkongreß. Berlin, 1987. S. 292–308.
- Prince 1988 – *Prince Ellen F.* Discourse analyses: a part of the study of linguistic competence // Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. II. N. Y., 1988. P. 164–182.
- Pustejovsky 1991 – *Pustejovsky G.* The generative lexicon // Computational Linguistics. 1991. Vol. 17. № 4.
- Pustejovsky, Boguraev 1996 – *Pustejovsky G., Boguraev Br.* (eds). Lexical Semantics. The Problems of Polysemy. Oxford, 1996.
- Pylyshyn 1984 – *Pylyshyn Z. W.* Computation and Cognition. Toward a Foundation for Cognitive Science. Cambridge (Mass.), 1984.
- Reed 1996 – *Reed S. R.* Cognition. Theory and application. 4<sup>th</sup> ed. San Diego, 1996.
- Schiffrin 1994 – *Schiffrin D.* Approaches to discourse. Oxford, 1994.
- Schwarz 1992 – *Schwarz M.* Einführung in die cognitive Linguistik. Tübingen, 1992.
- Searle 1992 – *Searle J. R.* The rediscovery of the mind. Cambridge (Mass.), 1992.
- Simone 1995 – *Simone R.* Foreword // Under the Sign of Cratylos. Iconicity in Language. Amsterdam, 1995. P. VII–XI.
- Sinha Chris 1999 – *Sinha Chris.* Grounding, Mapping, and acts of meaning // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology / Eds T. Janssen, G. Redeker. Berlin; N. Y., 1999.
- Smythe 1990 – *Smythe W. E.* Wie sind Symbole zu interpretieren? Repräsentation bei Frege und Pierce // Zeitschrift für Semiotic. Bd. 12; H. 1–2. Tübingen, 1990. S. 47–62.
- Solncev 1978 – *Solncev V. M.* Sign and meaning // Proc. Of the Twelfth Intern. Congr. of linguists / Eds W. U. Dressler, W. Meid. Innsbruck, 1978.
- Spang-Hanssen 1954 – *Spang-Hanssen H.* Recent theories on the nature of the language sign. Copenhagen, 1954.
- Starosta 1988 – *Starosta St.* The case for lexicase. An outline of lexicase grammatical theory. Lnd., 1988.

- Sweetser 1999 – *Sweetser E.* Compositionality and Blending: semantic composition in a cognitively realistic framework // *Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology* / Eds T. Janssen, G. Redeker. Berlin; N. Y., 1999.
- Talmy 1978 – *Talmy L.* Figure and Ground in Complex Sentences // *Working Papers on Language Universals*. Stanford, 1978. P. 627–649.
- Talmy 1988 – *Talmy L.* The Relation of Grammar to Cognition // *Topics in Cognitive Linguistics* / Ed. B. Rudzka-Ostin. Amsterdam, 1988.
- Talmy 2000 – *Talmy L.* *Toward a Cognitive Semantics*. Vol. I–II. Cambridge (Mass.), 2000. P. 495.
- Taylor 1989 – *Taylor J. R.* *Linguistic categorization: Prototypes in Linguistic Theory*. Oxford, 1989.
- Taylor 1992 – *Taylor J. R.* Old Problems: Adjectives in Cognitive Grammar // *Cognitive Linguistics*. 1992. Vol. 3. № 1.
- Taylor 1994 – *Taylor R.* «Subjective» and «objective» readings of possessor nominals // *Cognitive Linguistics*. 1994. Vol. 5. № 5. P. 214–215.
- Taylor 1995 – *Taylor J. R.* On Construing the World // *Language and the Cognitive Construal of the World* / Ed. J. R. Taylor, R. E. MacLaury. Berlin; N. Y., 1995.
- Thagard 1996 – *Thagard P.* *Mind. Introduction to Cognitive Science*. Cambridge (Mass.), 1996.
- The Cognitive Turn. Sociological and psychological perspectives on science / Ed. by S. Fuller et. al. Dordrecht, 1989.
- Theoretical Views 1993 – *Theoretical Views and Inductive Data Analysis* / Eds Iven van Mechelen and oth. Devon, 1993. P. 12–33.
- Tomasello 1995 – *Tomasello M.* Language is not an instinct // *Cognitive Development*. 1995. Vol. 10. P. 131–156.
- Tsohatzidis 1990 – *Tsohatzidis J.* / ed. / . *Meaning and prototypes. Studies in linguistic categorization*. London, 1990.
- Ungerer, Schmid 1996 – *Ungerer F., Schmid H.-J.* *An Introduction to Cognitive Linguistics*. London; New York, 1996.
- Van Dijk 1997 – *Van Dijk T. A.* (ed.) *Discourse as structure and process. Discourse studies: A Multidisciplinary introduction*. Vol. 1. London, 1997.
- Varela, Thompson, Rosch 1993 – *Varela R. J., Thompson E., Rosch E.* *The embodied mind. Cognitive science and human experience*. Cambridge (Mass.), 1993.
- Wierzbicka 1972 – *Wierzbicka A.* *Semantic primitives*. Frankfurt a. M., 1972.
- Wierzbicka 1988 – *Wierzbicka A.* *The Semantic of Grammar*. Amsterdam, 1988.
- Winograd 1983 – *Winograd T.* *Language as a cognitive process*. Cambridge (Mass.), 1983.
- Worth 1972 – *Worth D. S.* *Ambiguity in Russian Derivation* // *The Slavic Word*. The Hague; Paris, 1972.
- Zimmermann 1992 – *Zimmermann I.* *Der Skopus von Modifikationen* // *Studia grammatika*, XXXIV. Fügungspotenzen. Berlin, 1992.
- Zucchi 1993 – *Zucchi A.* *The Language of Propositions and Events*. Dordrecht, 1993.



## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аверинцев С. С. 372  
Агеева Р. А. 473  
Александрова О. В. 323, 516, 524  
Алпатов В. М. 34, 58, 115, 117, 118, 120, 128, 139, 192, 199  
Аминова Ф. Р. 198  
Амирова Т. А. 117  
Апресян Ю. Д. 70, 431, 432, 455, 476, 500  
Аполлонская Т. Л. 360  
Аринштейн В. М. 258, 267  
Аристотель 79, 115, 117, 129, 307, 374  
Арутюнова Н. Д. 72, 122, 168, 169, 202, 204, 227, 264, 265, 279, 397, 419, 510, 526  
Афанасьева О. В. 125, 141, 281  
Ахматова А. А. 375
- Бабенко Л. Г. 510  
Бабушкин А. П. 317, 529  
Базарова Б. Б. 483  
Балли Ш. 265, 266, 349  
Баранова К. М. 15, 314, 489  
Бардина Н. В. 306, 418, 422, 484  
Барсук Л. В. 386  
Барт Р. 507  
Басилая Н. А. 242–244, 251  
Баудер А. Я. 125, 126, 129  
Бахтин М. М. 372, 509
- Бейтс Э. 66, 99, 348, 421, 497  
Беликов В. И. 174, 175  
Беляевская Е. Г. 44, 61, 67, 326, 331  
Бенвенист Э. 76–78, 90, 116, 176, 192, 215, 226  
Бергельсон М. Б. 120, 174  
Берестнев Г. И. 472, 478  
Бирвиш М. см. Bierwisch М.  
Блумфилд Л. 58  
Болдырев Н. Н. 315, 326, 329, 330, 346  
Болинджер Д. 90, 208, 209  
Бондарко А. В. 14, 20, 141, 215, 512, 531  
Бортэ Л. В. 190, 396  
Боярская Е. Л. 452  
Бриттон К. 504  
Брунер Дж. 229  
Булыгина Т. В. 145, 257, 258, 426, 501  
Буслаев Ф. И. 231  
Бэбби Л. 155  
Бюлер К. 494, 504
- Вендлер З. 447, 448, 456  
Вежбицкая А. см. Wierzbicka А.  
Виноград Т. 48, 52, 56, 57, 263, 264  
Виноградов В. А. 248, 466, 502  
Виноградов В. В. 119, 129, 168, 178, 190, 191, 231  
Винокур Г. О. 453, 456

- Витгенштейн Л. фон 100, 101, 127, 169, 182, 308, 310, 464  
 Владимирский Е. Ю. 469  
 Вольф Е. М. 266, 281  
 Воробьева О. П. 509  
 Востоков А. Х. 118  
 Всеволодова М. В. 469  
 Выготский Л. С. 14, 71, 81, 127, 485  
  
 Гадамер Г. Г. 493  
 Гак В. Г. 266, 285, 323, 455  
 Гальперин И. Р. 510, 511  
 Гарвин П. 34  
 Герасимов В. И. 44, 45, 59  
 Гибсон Дж. 470, 472, 483, 489  
 Гивон Т. см. Givón T.  
 Гогошидзе В. Д. 125, 267  
 Голдстейн И. Ф. 84  
 Голдстейн М. 84  
 Гольдберг А. см. Goldberg A.  
 Горелов И. Н. 364  
 Грайс П. 336, 414  
 Гринберг Дж. 90  
 Гумбольдт В. фон 182  
 Гуревич А. Я. 467, 472  
 Гуреев В. А. 125, 151, 184  
  
 Дегтярев В. И. 121  
 Дейк Т. А. ван 230, 526  
 Демьянков В. З. 16, 45, 46, 55, 59, 101, 112, 316, 524  
 Диброва Е. И. 515, 530  
 Долинин К. А. 507  
 Дорошевский В. 99  
 Драгунов А. А. 277  
 Дымарский М. Я. 506, 527  
  
 Есперсен О. 137, 176, 177, 213, 281  
 Ельмслев Л. 33  
  
 Жаботинская С. А. 38, 60, 141, 322, 324  
 Жирмунский В. М. 177, 187  
 Жинкин Н. И. 382, 383  
 Жоль К. К. 56  
  
 Заботкина В. И. 64, 392  
 Задэ Л. 107, 112  
 Залевская А. А. 358, 359, 363, 365, 381, 386  
 Запорожец А. В. 56, 80, 86, 186  
 Зачесова И. А. 364  
 Земская Е. А. 445  
 Зонабенд Ф. М. 38  
  
 Иванов Вяч. Вс. 372, 493, 509  
 Иванов А. В. 86, 87, 90, 255  
 Ирисханова О. К. 343, 346  
  
 Казарин Ю. В. 508  
 Каменская О. Л. 510, 516  
 Кант Э. 182  
 Карасик В. И. 524  
 Караулов Ю. Н. 50, 55, 369, 383, 526  
 Касевич В. Б. 185, 478  
 Кацнельсон С. Д. 117, 133–138, 192  
 Кибрик А. А. 524, 525, 527  
 Кинан Э. 146  
 Киркеби О. 461  
 Кликс Ф. 53, 57, 93, 362  
 Клименко А. Н. 38  
 Климов Г. А. 283  
 Колшанский Г. В. 61, 62  
 Комри Б. 190, 395, 396  
 Косслин С. М. 262  
 Кравченко А. В. 18, 468, 469, 471, 472, 483  
 Крысин Л. П. 528  
 Кругликов Р. И. 360, 368  
 Крушевский М. 498  
 Крюков А. Н. 67  
 Кубрякова Е. С. 14, 18, 20, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 51, 60, 68, 91, 99, 108, 111, 116, 122, 141, 147, 151, 152, 162, 189,

- 190, 192, 196, 219, 220, 244, 247,  
248, 266, 278, 316, 322, 323, 327,  
334, 336, 339, 344, 348, 355, 364,  
365, 379, 392, 398, 405, 408, 410,  
418, 420, 423, 425, 427, 429, 431, 444,  
446, 462, 473, 481, 485, 499, 500,  
514, 516, 517, 524, 530
- Курилович Е. 146, 190, 396, 453  
Кун Т. 308, 459, 492
- Лабов В. 101  
Лазарев В. В. 325  
Лайонз Дж. 35, 115, 133, 134, 136, 137, 211,  
230  
Лакофф Дж. см. Lakoff G.  
Лангакр Р. см. Langacker R.  
Лебедев А. Н. 359  
Леви-Брюль К. 127  
Леонтьев А. А. 66, 361, 510  
Леонтьев А. Н. 90, 364, 366, 470  
Лихачев Д. Н. 510  
Ломоносов М. В. 118  
Лосев А. Ф. 62, 418, 495  
Лузина Л. Г. 518, 530  
Лурия А. Р. 68, 410
- Макаров М. Л. 524, 527  
Медведева Л. М. 195, 266  
Мещанинов И. И. 119, 121, 122, 139, 219,  
220, 229, 247, 256, 269  
Милославский И. Г. 397, 421, 445  
Михневич А. Е. 128  
Молчанова Г. Г. 513  
Моррис Ч. 421, 423, 426, 428, 494, 495,  
501, 503  
Мурзин Л. Н. 531
- Найссер У. 81–83, 374  
Никитин М. В. 425, 490, 498, 499  
Никитевич В. М. 323, 339, 432  
Николаева Т. М. 509, 514, 523
- Ожегов С. И. 373, 456, 506  
Ольховиков Б. А. 117  
Опарина Е. О. 508  
Остин Дж. 103
- Павилёнис Р. И. 56, 94, 165, 167, 186,  
380, 381  
Панкрац Ю. Г. 56, 72, 141, 267, 335, 339,  
394, 425  
Пастернак Б. 233, 375  
Пауль Г. 117, 123  
Переверзев К. А. 20, 424  
Петров В. В. 42, 44, 45, 59, 526  
Петрухина Е. В. 338  
Пешковский А. М. 192  
Пиаже Ж. 56, 71, 85, 86, 142, 143, 186, 242,  
250  
Пирс Ч. 99, 248, 426, 464, 495, 496, 498,  
501  
Платон 79, 115, 418  
Поддъяков Н. Н. 249  
Подклетнова И. М. 364  
Позднякова Е. М. 322, 331, 335  
Полани М. П. 306  
Попова З. Д. 317  
Поспелов Н. С. 118, 119  
Потебня А. А. 118  
Прибрам К. 359–361  
Пустейовский Дж. 443, 449, 452, 453
- Раевская О. В. 349  
Рамендик Д. М. 38  
Рахилина Е. В. 448, 453  
Ревзина О. Д. 529  
Рождественский Ю. В. 117  
Рош Э. 92, 101, 109, 110–112, 308, 310  
Руденко И. Г. 32, 242–244, 246  
Рузин И. Г. 472  
Рябцева Н. К. 320
- Савченко А. Н. 124, 128, 192

- Сазонова Т. Ю. 386  
Сахарный Л. В. 514  
Селиванова Е. А. 322, 339  
Селиверстова О. Н. 281, 473  
Сентенберг И. В. 125, 267  
Сепир Э. 33, 98–137, 269, 278, 279, 522  
Серебренников Б. А. 15, 30, 39, 58, 85,  
119, 123–125, 128, 168, 185, 192, 522  
Серио П. 12, 32, 399, 463, 517, 529  
Сёрль Дж. 44, 224  
Симмонс Р. 383  
Скрелина Л. М. 500  
Скрэгг Г. 55, 383  
Слобин Д. 176, 441  
Соболева П. А. 283, 341  
Солнцев В. М. 174, 495  
Солнцева Н. В. 174  
Солженицын А. 419, 420, 425  
Соссюр Ф. де 492, 494, 497  
Стеблин-Каменский М. И. 29, 253  
Стернин И. А. 317  
Степанов Ю. С. 11, 32, 33, 55, 76–79, 99,  
105, 106, 145, 169, 212, 221–223,  
225, 230, 242, 248, 279, 318, 323,  
343, 349, 399, 405, 423, 426, 430,  
464, 473–475, 477, 484, 497, 500, 501,  
503, 504, 508, 524, 525, 531  
Степанова М. Д. 141  
Столин В. В. 470  
Супрун А. Е. 120, 179  
Телия В. Н. 61, 323, 501  
Телми Л. см. Talmy L.  
Теньер Л. 266  
Тестелец Я. Г. 139, 140, 144, 148, 192, 226  
Титоне Р. 66, 79  
Топоров В. Н. 473, 509  
Топорова Т. В. 70, 194, 195, 242  
Тульвин Э. 363  
Тураева З. Я. 511  
Тёрнер М. 343, 443, 451  
Улуханов И. С. 337, 338, 424, 445  
Уорф Б. 98, 182, 269, 522  
Ушакова Т. Я. 364  
Филлмор Ч. 51, 55, 254, 267, 332, 443  
Фоконье Ж. см. Fauconnier J.  
Фортунатов Ф. Ф. 117  
Фреге Г. 334, 427, 440, 441, 457, 458  
Фромм Э. 263, 264, 399  
Фрумкина Р. М. 14, 16, 101, 111, 127, 130,  
194, 329, 330, 465  
Харитончик З. А. 60, 101, 141, 281, 339  
Хельбиг Г. 141  
Хомский Н. 12, 33, 43, 46, 49, 50, 52, 53,  
55, 59, 69, 152, 156, 220, 356, 379,  
384, 395, 406  
Хрисионопуло Е. Ю. 483  
Цурикова Л. В. 524  
Чанышев А. Н. 116, 260  
Чвани К. В. 154, 155  
Чейф У. 43, 44, 46, 51, 138, 274, 328, 329,  
362, 376, 463, 527  
Чернейко Л. О. 305  
Шарандин А. Л. 151  
Шатуновский И. Б. 400  
Шаумян С. Р. 341  
Шахматов А. А. 119, 190, 265  
Шахнарович А. М. 14  
Шведова Н. Ю. 67, 186, 191, 221, 376, 388  
Швырев В. С. 53, 79  
Шейгал Е. И. 524, 527  
Шевенко С. М. 34  
Шухард Р. 62  
Щерба Л. В. 129, 146, 266, 452, 526  
Эко У. 422, 424, 426

- Энгельс Ф. 258  
235, 241, 246, 263, 264, 270, 271,  
396
- Юдакин А. П. 273  
Cross M. 278
- Юнг К. Г. 86  
Cruse D. A. 100, 103, 111
- Якобсон Р. 90, 99, 248, 492–500, 503  
Dahl O. 101, 102, 104
- Яковлева Е. С. 471  
Denny J. P. 487, 488
- Яхонтов С. Е. 179  
Dijk T. A. van 527
- Adriaens G. 462  
Dinsmore J. 349, 351
- Anderson J. M. 225  
Dixon R. 146, 269, 270, 282, 283
- Anderson St. R. 42, 46–48  
Dokulil M. 196, 197, 328
- Andrews A. D. 153, 154  
Dressler W. et. al. 427, 501, 503
- Anisfeld M. 279  
Droste F. 153
- Austin G. A. 103, 309  
Dubouis D. 319
- Dunbar G. 227
- Bates E. 274, 278, 263  
Eckardt B. von 61, 462
- Beaugrande R. de 33  
Ellis H. C. 358
- Berndt R. S. 279  
Emmorey K. D. 382
- Bickerton D. 95  
Emonds J. E. 156
- Bierwisch M. 70, 95, 103, 153, 449, 450  
Engelkamp J. 262, 263
- Bolinger D. 90, 157, 208, 278  
Fauconnier G. 13, 243, 343, 346, 437, 443,  
451, 473
- Bossong G. 116  
Fillmore Ch. 51, 69, 85
- Brauße U. 213, 230, 234  
Fodor J. A. 69, 441
- Broschart J. 168, 275–277  
Fox B. A. 218
- Brown G. 520  
Fromkin V. A. 382
- Brown R. W. 168, 182  
Gans E. L. 241
- Bruner J. S. 42, 309  
Gardner H. E. 21, 54, 61, 69
- Bybee J. L. 119  
Geeraerts D. 306, 111
- Carey S. 385  
Gentner D. 243, 245
- Carlson-Radvovsky L. A. 76  
Gethin A. 70
- Carston R. 49, 51, 55, 94, 316  
Givón T. 48, 99, 100, 104, 143, 144, 224,  
225, 228, 376, 464
- Chafe W. 43, 51, 55, 463, 524, 527  
Gleitman H. 83, 186, 242
- Chomsky N. 43, 49–53, 59, 83, 152, 153,  
186, 356, 378, 384, 395  
Gleitman L. R. 83, 186, 242, 253, 256, 468
- Claudi U. 74, 213, 224, 225, 241  
Goldberg A. 343, 346, 371, 443
- Cook V. 153, 156, 220  
Goldin-Meadow S. 72
- Croft W. 13, 157, 158, 165, 190, 202, 208,  
209, 211, 223–225, 227, 228, 232–
- 235, 241, 246, 263, 264, 270, 271,  
396

- Gorayska B. 311, 312  
 Gundel J. 227
- Haiman J.** 64, 90, 171–173  
 Hall C. J. 382  
 Haman C. 157, 281  
 Hampton J. 319  
 Harder P. 18, 349  
 Harlow St. 153  
 Harman G. 42, 43, 522  
 Harris Z. 516  
 Heine B. 74, 213, 224, 225, 241, 472  
 Herbermann Cl. P. 443  
 Hopper P. 32, 144, 147, 148, 162, 163, 165, 178, 228, 229, 274, 326  
 Hünнемeyer F. 74, 213, 224, 225, 241  
 Hudson R. 311, 312, 384, 385  
 Hunt R. 358
- Jackendoff R.** 45, 56, 61, 70, 88, 89, 97, 155, 156, 212, 221, 241, 332, 341, 371, 389, 412, 445, 463, 489, 490  
**Jakobson R.** 427, 464, 493, 494, 496, 498–501, 507  
**Johnson M.** 20, 21, 263, 311, 326, 480  
**Johnson-Laird Ph. N.** 42, 46, 66, 67, 83, 87, 88, 95, 192, 193, 219, 243, 260, 382, 385, 387, 388, 460, 470  
**Jorna R. J.** 52, 95  
**Joseph G. E.** 153
- Kamp H.** 450  
**Katz J.** 46  
**Keie F.** 468  
**Keller J.** 155  
**Keller R. A.** 18  
**Kintsch W.** 363, 364  
**Kirkeby O. F.** 461  
**Kleiber** 232, 239
- Labov W.** 101
- Lakoff G.** 20, 21, 44–46, 48, 49, 51, 55, 85, 92, 93, 100, 103, 107, 108, 111, 112, 126, 221, 308, 310, 316, 317, 319, 326, 339, 376, 379, 463, 480, 481  
**Landau B.** 83, 186, 242, 472  
**Langacker R.** 19, 48, 51, 54, 63, 73, 84, 147, 149, 150, 175, 193, 202–204, 208, 212, 230, 232, 236, 243, 244, 253, 263, 348, 386, 387, 397–399, 436, 445–447, 449, 463, 478, 479  
**Langendonck W.** 384, 385  
**Levelt W.** 385, 386  
**Leuninger H.** 153  
**Lichtenberk Fr.** 95  
**Lipka L.** 70, 101  
**Loftus W.** 239  
**Lyons J.** 136–138, 495
- MacNamara J.** 243  
**MacWhinney B.** 274, 278  
**Maienborn Cl.** 458  
**Maratsos M.** 95, 232, 244–247  
**Markmann E. M.** 281  
**Marslen-Wilson W.** 386  
**McCawley J.** 113  
**McShane J.** 71, 86, 143, 186, 242, 250, 355–357  
**Mechelen I. van** 318  
**Menyuk P.** 71  
**Michalski R. S.** 318  
**Miller G. A.** 66, 67, 83, 87, 88, 95, 192, 193, 219, 243, 260, 385–388, 460, 470  
**Miller J.** 47, 48, 236, 241, 246, 270, 281  
**Moravcsik J. M.** 95  
**Mulhall St.** 90  
**Mylander C.** 72
- Neisser U.** 81–83, 472  
**Newmeyer F. J.** 153, 162–164, 167, 168, 175, 214  
**Nolan R.** 248, 468

- Noordman Vonk W. 363  
 Nuys J. 36, 42, 46, 48–50, 52, 69, 324, 405
- Osgood Ch. F.** 361
- Paivio A. 66, 82, 85, 101, 185, 262, 347  
 Paprotté W. 385  
 Parret H. 50, 226  
 Partee B. 450  
 Peeters B. 21  
 Petöfi J. S. 492, 510  
 Pinker S. 95  
 Prince E. F. 517  
 Pustejovsky J. 156, 221, 443, 449, 452, 453  
 Pylyshyn Z. W. 46, 80, 84, 90, 92, 93, 262, 339, 462
- Rauch G.** 161 и сл.  
 Reed S. R. 309  
 Rickheit M. 95, 241, 246, 269, 272  
 Rosch E. H. 92, 101, 109, 110, 112, 310
- Sandra D.** 13  
 Sapir E. 98, 278, 279, 522  
 Sasse H.-L. 230, 232, 234, 270, 271, 273  
 Schachter P. 139, 158, 211, 234, 236, 283  
 Schwarz M. 42, 462  
 Schmid H.-J. 479  
 Searle J. R. 462  
 Seiler H. 245, 266  
 Shepard R. 42  
 Simone R. 437  
 Sinha Ch. 18, 458  
 Slagle U. van 94, 182, 207, 226  
 Spang-Hanssen H. 492, 500  
 Slobin D. I. 176  
 Smythe W. E. 427  
 Solncev V. M. 495  
 Speas M. 220  
 Sperber D. 94  
 Starosta St. 384
- Stechow A. von 156  
 Sternefeld W. 156  
 Stockwell R. P. 213, 214, 225, 230  
 Sweetser E. 451
- Talmy L. 14, 73, 190, 193, 202, 203, 253, 312, 313, 330, 333, 397, 398, 463, 479, 481  
 Tanenhaus M. K. 53, 55  
 Taylor J. R. 16, 19, 97, 98, 100, 108, 109, 113, 207, 230, 308, 311, 399, 402, 447–449  
 Thagard P. 356, 358, 381  
 Thompson S. 32, 144, 147, 148, 162, 163, 165, 178, 218, 228, 229, 274, 326  
 Tomasello M. 241, 242, 315  
 Tsohatzidis S. L. 103, 464
- Ungerer F.** 479
- Varela R. J.** 462  
 Vincent N. 153
- Wanner E.** 83, 186, 242  
 Waxman S. R. 243  
 Wetzer H. 283, 269, 270  
 Wierzbicka A. 69, 70, 126, 145, 146, 208, 209, 239, 249, 281, 282, 373, 377, 398  
 Wilson D. 94  
 Winograd T. 391, 406  
 Wittgenstein L. 100, 101, 127, 182, 310, 464, 499  
 Worth D. S. 396
- Yokoyama O. T.** 238  
 Yule G. 520
- Zimmermann I.** 158, 160, 190, 445  
 Zingeser L. B. 279  
 Zucchi A. 190, 205, 396, 397

Научное издание

*Елена Самойловна Кубрякова*

**ЯЗЫК И ЗНАНИЕ**

На пути получения знаний о языке:

Части речи с когнитивной точки зрения  
Роль языка в познании мира

Издатель А. Кошелев

Оригинал-макет подготовила Л. Кисличенко  
Корректоры Е. Власова, Л. Липова

Художник-консультант Л. Панфилова

Подписано в печать 18.12.2003. Формат 70×100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Баскервилл.  
Усл. печ. л. 45,15. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры».  
ЛР № 02745 от 04.10.2000.  
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153). E-mail: Lrc@comtv.ru

\*

**Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».**

**Тел.: (095) 247-17-57, e-mail: gnosis@pochta.ru**

**Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).**

Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6.

(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication  
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru  
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).